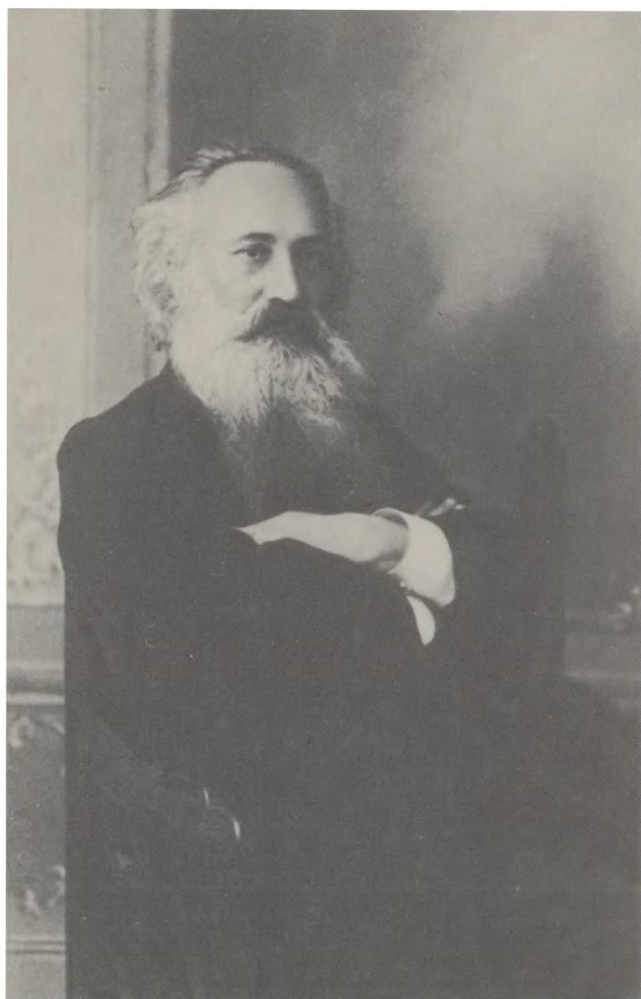


НАУЧНОЕ
НАСЛЕДСТВО

Л.В.Федорова
НАШИ БУДНИ,
РАДОСТИ И ГОРЕСТИ
ВОСПОМИНАНИЯ

Л.В.Федорова НАШИ БУДНИ, РАДОСТИ И ГОРЕСТИ



P. G. D. Dupuy

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
АРХИВ





НАУЧНОЕ НАСЛЕДСТВО

**Серия основана
академиком С.И. В а в и л о в ы м в 1948 г.
Возобновлена в 1980 г.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

академик П.В. Волобуев
(ответственный редактор),
кандидат географических наук О.А. Александровская,
академик А.А. Баев,
кандидат исторических наук Н.В. Бойко
(ученый секретарь),
академик Г.М. Бонгард-Левин,
академик В.И. Гольданский,
доктор исторических наук В.Д. Есаков,
доктор физико-математических наук С.П. Капица,
кандидат технических наук Э.П. Карпеев,
академик И.Д. Ковальченко,
доктор исторических наук А.В. Кольцов,
доктор исторических наук Б.В. Левшин,
академик И.М. Макаров,
член-корреспондент РАН С.Р. Микulinский.
кандидат исторических наук Н.Я. Московченко,
академик Б.С. Соколов,
кандидат исторических наук В.С. Соболев,
доктор химических наук Ю.И. Соловьев,
доктор физико-математических наук А.П. Юшкевич

Москва ВО "НАУКА" 1992

НАУЧНОЕ НАСЛЕДСТВО

Том 20

Л.В.Федорова НАШИ БУДНИ, РАДОСТИ И ГОРЕСТИ ВОСПОМИНАНИЯ

Составитель и автор комментариев
Е.М. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Ответственные редакторы тома:
доктор геолого-минералогических наук
И.И. ШАФРАНОВСКИЙ,
доктор геолого-минералогических наук
В.А. ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ

Москва ВО "НАУКА" 1992



**Наши будни, радости и горести: Воспоминания / Л.В. Федорова. — М.: Наука, 1992. — 370 с.; ил. — (Науч. наследство; Т. 20).
ISBN 5-02-003868-7**

Воспоминания о выдающемся кристаллографе, академике Евграфе Степановиче Федорове (1853—1919) написаны его женой Людмилой Васильевной Федоровой. Воспитанница Смольного института, врач по образованию, обладающая явными литературными способностями, она оставила интереснейший памятник эпохи второй половины прошлого столетия и первой четверти нашего века. Незаурядная личность Евграфа Степановича, мир ученых, быт, гражданская позиция семьи в периоды общественных потрясений — живо и увлекательно написанные страницы книги дают ощущение атмосферы, в которой жила интеллигенция того времени.

Воспоминания Л.В. Федоровой представляют несомненный интерес для самого широкого круга читателей.

Рецензенты:

доктор геолого-минералогических наук *С.А. Руденко*,

доктор геолого-минералогических наук *С.К. Филатов*

Редактор издательства *Н.И. Каверина*

1401020000 -188
Ф ————— 219—91, II полугодие
042(02) -92

© Российская академия наук, 1992
© Л.В. Федорова, 1992

ISBN 5-02-003868-7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю книга "Наши будни, радости и горести. Воспоминания" представляет собой редкую удачу для отечественного жанра мемуарной литературы, обусловленную общностью судеб гениального ученого-кристаллографа, геометра, геолога, минералога и петрографа Евграфа Степановича Федорова (1853—1919 гг.) и его жены, верного спутника жизни и биографа Людмилы Васильевны Федоровой (Панютиной) (1851—1936 гг.).

Воспоминания охватывают большой период — вторую половину прошлого и первую четверть XX века. Первые детские впечатления Л.В. Федоровой сменяются живыми воспоминаниями о годах пребывания в Смольном институте (1865—1871 гг.) и становятся почти хронологическими со времени знакомства с Евграфом Степановичем (1873 г.). Людмила Васильевна закончила Высшие женские медицинские курсы в Петербурге и получила диплом врача. Умная, незаурядная женщина, наделенная явными литературными способностями, она написала не только воспоминания о своем муже, гениальном ученом, но и создала яркую картину той бурной эпохи.

Имя гениального русского ученого Е.С. Федорова пользуется всемирным признанием. Академик В.И. Вернадский ставил имя Е.С. Федорова по своему значению для науки в один ряд с Д.И. Менделеевым и И.П. Павловым.

Важнейшее достижение Е.С. Федорова — вывод 230 законов, по которым могут располагаться элементарные частицы (атомы, ионы, молекулы) в кристаллических структурах (1890 г.). Им изобретен теодолитный метод, включающий исследования формы кристаллов на оригинальном двукружном гониометре и оптических свойств кристаллов на созданном им универсальном столике, который теперь обычно именуется федоровским. Этот метод открыл новую эпоху в области изучения кристаллов, особенно минералов.

Не менее известен вывод трехмерных параллелоэдров-многогранников, нацело выполняющих пространство, которые, по мысли Е.С. Федорова, лежат в основе строения кристаллов.

Упомянутые достижения не только вошли в золотой фонд науки, но и сейчас продолжают играть творческую роль в области структурной кристаллографии, физики и химии минералов.

Фундаментальные труды Е.С. Федорова по теории атомного строения кристаллов, гониометрии, кристаллооптике, минералогии, петрографии лежат в основе многих достижений современной науки. Этим определяется интерес к публикуемым воспоминаниям Л.В. Федоровой, которые наиболее полно раскрывают творческий потенциал ученого.

Остановимся кратко на биографии Е.С. Федорова. Он родился 22 декабря 1853 г. в г. Оренбурге в семье генерал-майора инженерных войск, но его детство и юность прошли в Петербурге, куда семья Федоровых переехала вскоре после рождения сына Евграфа.

Десятилетним мальчиком он уже штудировал учебник геометрии, содержание которого, по его словам, "вызвало такое созвучие струн моей психики, что я был буквально увлечен". И в гимназии, и в военно-инженерном училище будущий ученый отдавал предпочтение математическим дисциплинам, которые, как он сам отмечал, были всегда облечены в его представлении ореолом особой красоты. Шестнадцатилетним юношей он приступил к работе над своей первой капитальной монографией "Начало учения о фигурах" — этот год, 1869-й, Федоров считал началом своей творческой деятельности.

Несмотря на ярко выраженную склонность к математике, свой путь Федоров

нашел не сразу. Стремясь получить высшее образование и всецело отдаться научной работе, сначала он стал вольнослушателем Военной медико-хирургической академии, а затем поступил в Технологический институт, где прошел полный курс химии и выполнил все лабораторные работы. В это же время он примкнул к революционным организациям, сблизился с группой революционеров-социалистов. В 1876 г. Е.С. Федоров получил задание наладить связь с заграничными революционными кругами и побывал в ряде стран Западной Европы (Бельгия, Германия и др.). Он работал там типографским наборщиком, носильщиком на железной дороге и даже молотобойцем в кузнице. По возвращении в Россию он вместе с группой социалистов организовал у себя дома подпольную типографию, где печаталась нелегальная газета "Начало", содержанием которой интересовался Фридрих Энгельс. Позднее Федоров отошел от народников и всецело окупился в научную работу.

Разработка математической теории многогранников натолкнула Евграфа Степановича на вопросы, относящиеся к природным многогранникам-кристаллам. Это побудило его поступить в 1880 г. на третий курс Горного института, где тогда читались подробные курсы кристаллографии и связанной с ней минералогии. А уже в следующем, 1881 г. имя Е.С. Федорова можно найти в протоколах заседаний Минералогического общества, членом которого он ознакомил с учением о выведенных им параллелоэдрах и своей теорией кристаллов, основанной на этом учении. "Традиция приписывает Платону открытие пяти правильных выпуклых многогранников, Архимеду — 13 выпуклых полуправильных многогранников, Кеплеру и Пуансо — четырех правильных невыпуклых многогранников, а Федоров нашел пять параллелоэдров", — писал уже в наши дни советский математик Б.Н. Делоне.

К сожалению, официальные представители кристаллографии и минералогии в Горном институте академики Н.И. Кокшаров и П.В. Еремеев были сторонниками описательного направления в этих науках и не оценили выдающегося значения трудов молодого ученого. Поэтому его монография "Начало учения о фигурах" увидела свет лишь в 1885 г., а сам Федоров даже не был оставлен при институте, несмотря на то, что окончил курс первым по списку с занесением его имени на мраморную доску.

В последующие 10 лет Евграф Степанович занимал скромную должность делопроизводителя и консерватора Геологического комитета, а в летние месяцы проводил геологические исследования на Северном Урале. Именно к этому периоду относятся основные труды Федорова по кристаллографии, создавшие эпоху в науке. Он опубликовал серию статей по симметрии и в их числе обширный труд "Симметрия правильных систем фигур" (1890 г.). Это сочинение содержит знаменитый вывод 230 федоровских пространственных групп — законов симметрии, по которым должны располагаться элементарные частицы в кристаллических структурах (этот вывод был сделан за 22 года до открытия дифракции рентгеновских лучей в кристаллах и за 23 года до первых расшифровок кристаллических структур путем рентгеноанализа).

21 ноября 1889 г. на заседании Минералогического общества Федоров заявил о своем изобретении — теодолитном (двухкружном) отражательном гониометре, а в мае 1891 г. подал заявку в Геологический комитет на изобретенный им универсальный столик для микроскопа с несколькими осями вращения (в первом варианте — с двумя). Так зародился всемирно известный теодолитный метод Федорова, базирующийся на двух созданных им приборах, и, после того как в 1893 г. в трудах Геологического комитета была опубликована классическая монография ученого "Теодолитный метод в минералогии и петрографии", этот метод прочно вошел в минералого-петрографическую практику.

Стесненное материальное положение заставило Федорова покинуть в 1894 г. Петербург и переехать с семьей на Урал, в Богословский горный округ, где он

получил должность руководителя разведочных работ. Здесь Евграф Степанович провел геологическую съемку и составил подробную геологическую карту округа, а также организовал в Турьинских Рудниках первый в России геологический музей практического назначения (ныне — Федоровский геологический музей в г. Краснотурьинске). А в 1895 г. избранный профессором геологии в Московском сельскохозяйственном институте Федоров переселился в Москву, где провел десять лет своей жизни. К этому времени относятся его знаменитые циклы работ по теории кристаллических структур и применению теодолитного метода в петрографии и минералогии.

Труды Федорова получили высокую оценку зарубежных специалистов, в частности крупного немецкого кристаллографа и минералога П. Грота — члена-корреспондента Петербургской Академии наук с 1883 г. и почетного члена Академии наук СССР с 1925 г. В 1896 г. Е.С. Федоров был избран членом-корреспондентом Баварской Академии наук.

Будучи профессором Московского сельскохозяйственного института, Федоров одновременно в 1896—1900 гг. читал лекции в Горном институте в Петербурге, еженедельно приезжая туда. В 1901 г. он был избран адъюнктом Академии наук по кафедре минералогии, однако канцелярская волокита, препятствовавшая организации Минералогического института, заставила его уйти из Академии, в связи с чем он написал резкое письмо ее президенту — великому князю К.К. Романову. В этом письме он подверг уничтожающей, но не всегда объективной критике некоторых членов императорской Академии, "важных представителей нашей бюрократии, которая как своих выдающихся представителей выдвигала биринов, арачеевых, Д. Толстого, Плеве".

После революции 1905 г. некоторые высшие учебные заведения добились права выбирать директора, и ученый совет Горного института обратился к Федорову с предложением занять эту должность. Семья Евграфа Степановича переехала в Петербург. Время его директорства характеризуется подъемом научной работы не только среди преподавательского состава, но и среди студентов.

По истечении трех лет ученый совет Горного института единогласно переизбрал Федорова директором. Но в 1910 г. возник конфликт между Е.С. Федоровым и министром Тимашевым, который считал, что Федоров поощряет революционные настроения среди студенчества. Ученый подвергся ожесточенной травле со стороны черносотенных организаций и вынужден был уйти с поста директора института. В дальнейшем и до конца своих дней Е.С. Федоров продолжает работать в Горном институте профессором, заведующим созданных им кафедр кристаллографии и петрографии — первых в высшей школе нашей страны.

В этот период основное внимание ученый уделял развитию кристаллохимического анализа — метода определения вещества и схемы его внутреннего строения по внешним формам кристаллов. Параллельно он работал над отдельными разделами новой (проективной) геометрии. Его научные заслуги получили мировое признание. Для знакомства с достижениями русского ученого к нему приезжали молодые специалисты не только из России, но также из Англии, Швейцарии и Японии. Многие иностранные академии и научные общества избрали Федорова своим членом.

Величайшим триумфом федоровских идей было открытие М. Лауэ в 1912 г. дифракции рентгеновских лучей в кристаллах и первые определения У.Л. и У.Г. Брэггами кристаллических структур с помощью рентгеноструктурного анализа (1913 г.). Как отмечал Федоров, эти определения стали бесспорным доказательством того, что все кристаллические структуры неминуемо должны подчиняться выведенным им 230 симметричным законам (пространственным группам). "Не могу воздержаться от заявления, — писал он в одной из статей, — что я никак не думал дожить до действительного определения расположения атомов в кристаллах, предусмотренного в прежних моих сочинениях". В фев-

рале 1919 г. Е.С. Федоров был избран действительным членом Академии наук
21 мая 1919 г. Е.С. Федоров умер.

Кончина Е.С. Федорова нашла широкий отклик во всем мире. Вот заключительная часть некролога, написанного академиком А.Е. Ферсманом: "В узких условиях момента перед гибелью культурных завоеваний, перед ужасом жизни у нас часто слабеет вера в будущее, но законы истории неумолимы, великие нации слишком жизненны, а культурные завоевания и идеи бессмертны, и стране, имевшей Мечникова, Ковалевского, Менделеева и Федорова не может и не должно быть страшно за будущее своей культуры"*.

После смерти Федорова его ближайшие ученики и последователи во главе с А.К. Болдыревым (1883—1946 гг.), О.М. Аншелесом (1885—1957 гг.), В.Н. Лодочниковым (1887—1943 гг.), А.Н. Заварицким (1884—1952 гг.) приняли меры для увековечения памяти великого ученого и дальнейшего развития его научных теорий и взглядов. В 1921 г. была официально утверждена кафедра кристаллографии Ленинградского Горного института, основанная Е.С. Федоровым еще в 1905 г. и унаследованная его учеником А.К. Болдыревым.

В 1924 г. в Ленинградском университете возникла первая университетская кафедра кристаллографии, которую возглавил ученик Е.С. Федорова О.М. Аншелес. Обе эти кафедры стали на долгие годы главными центрами федоровской кристаллографической школы. Уже в 1920 г. благодаря энергии А.К. Болдырева был основан Федоровский институт кристаллографии, минералогии, петрографии и рудных месторождений при Ленинградском Горном институте, который должен был объединить последователей Е.С. Федорова и продолжить дальнейшую разработку его идей и методов в перечисленных дисциплинах**.

Активное участие в делах по сохранению федоровского научного наследия приняли вдова ученого Людмила Васильевна Федорова, его дети — сын, впоследствии видный геофизик-климатолог, член-корреспондент АН СССР Евграф Евграфович Федоров (1880—1965 гг.) и дочь Евгения Евграфовна Федорова (1885—1957 гг.).

Ими была пожертвована Федоровскому институту научная библиотека ученого, его письменный стол с резным деревянным креслом и, самое главное, архив Е.С. Федорова с его рукописями и связками писем выдающихся иностранных корреспондентов — П. Грота, А. Шенфлиса, У.Л. Брэгга, Т. Баркера и др. В конце своей жизни Людмила Васильевна передала А.К. Болдыреву законченную в 1927 г. рукопись своих воспоминаний под названием "Наши будни, радости и горести. Воспоминания"***.

Чтение отзывов об этих ценнейших воспоминаниях было проведено в 20-х годах на специальных заседаниях Федоровского института (читали А.К. Болдырев, О.М. Аншелес, В.Н. Лодочников и др.). Труд Л.В. Федоровой получил высокую оценку, все признали необходимость его скорейшего опубликования. Многочисленные затруднения, вставшие на пути этого дела, привели к длительным оттяжкам и проволочкам. Только сейчас, через более чем полстолетия после написания, удастся, наконец, издать воспоминания Л.В. Федоровой.

Кафедра кристаллографии после ареста и ссылки на Колыму ее заведующего профессора А.К. Болдырева была слита с кафедрой минералогии. Федоровский институт временно закрыли. Печать института с изображением федоровского кубооктаэдра-гептапараллелоэдра была изъята как нечто весьма предосудительное и опасное. Несмотря на все эти злоключения, академик В.И. Вернадский, героически хлопотавший об освобождении А.К. Болдырева, об избрании его

*Ферсман А.Е. Памяти Евграфа Степановича Федорова // Природа. 1919, N 4/6. С. 244.

**Болдырев А.К. Федоровский институт... // Ленингр. Горный ин-т.: Юбил. сб. 1773—1923. Л., 1926.

***Рукопись воспоминаний хранится в Ленинградском отделении Архива АН СССР (Ф. 831. Оп. 2. N 50 и 51. Л. 1—564). Там же хранится и машинописный текст рукописи (Ф. 831. Оп. 2. N 47. Л. 1—375). В процессе подготовки воспоминаний к изданию оба текста были сверены составителем тома.

академиком, беспокоился о сохранении текста воспоминаний Л.В. Федоровой. В письме директору Ленинградского отделения Архива АН СССР Г.А. Князеву он писал: "Проф[ессор]* Владимир Никитич Лодочников пишет мне, что вдова акад[емика] Е.С. Федорова оставила в рукописи воспоминания о нем. Он боится, чтобы они не пропали. Я с семьей Ф[едорова] не был знаком и не знаю, жива ли она. Переговорите с Лодочниковым. Сын его — Евграф Евграфович живет в Москве. Значение Федорова все увеличивается, и сохранить материалы о нем необходимо"***.

В 1927 г. В.И. Вернадский обратился в физико-математическое отделение Академии наук с ходатайством о восстановлении пенсии Л.В. Федоровой:

«21.IX.27

В физико-математическое отделение АН СССР.

Горячо поддерживая представление о пенсии вдове академика Е.С. Федорова, считаю необходимым обратить внимание отделения на несправедливость и недопустимость положения, когда вдова одного из самых крупных ученых XIX столетия и одного из замечательных русских научных деятелей живет в нищенских условиях, на границе Existenz-minimum, когда ей не обеспечен черный день, она держится в нашей стране впроголодь. Еще несправедливее, что в такое положение она поставлена уменьшением ранее ей назначенной пенсии. Восстановление пенсии в увеличенном по сравнению с первоначальным назначением размере должно быть достигнуто, и Академия должна добиваться этого самым энергичным образом.

Нам всем жизненное значение Е.С. Федорова известно. Я хочу лишь здесь сказать несколько слов о его влиянии после его смерти. Ученый познается в своем значении не суждением современников, а посмертным своим выявлением.

Работы Е.С. Федорова живы до сих пор и сказываются в нашей текущей научной работе.

В самом большом трактате по кристаллографии одним из крупных английских кристаллографов проф. Теттоном дана глубокая и оригинальная оценка трудов Е.С. Федорова. Проф. Теттон считает, что работы Федорова еще не охвачены современной мыслью, и полагает, что по его путям пойдет дальнейшее развитие этой науки.

На первом Всесоюзном совещании минералогов в январе 1927 г. ученик Е.С. Федорова проф. А.К. Болдырев ознакомил совещание с новым применением кристаллохимического анализа Федорова к определению минералов. Он доказал возможность определения минерала, не принадлежащего к правильной системе, путем измерения одного-двух углов одного кристалла. Работой нескольких лет А.К. Болдырев и его сотрудники свели сложное выражение кристаллохимического анализа к простой и удобной форме и открыли этим путем новое его, мне кажется, широкое применение.

Труд жизни Е.С. Федорова, изданный нашей Академией, "Das Kristallreich"****, был на несколько лет задержан в своем выходе в свет из соображений, ничего общего с наукой не имеющих. Когда он, наконец, вышел в свет, он медленно проникает в научную мысль, так как для его прочтения необходима большая предварительная работа — ознакомление с особым математическим языком, вводимым Е.С. Федоровым. Однако этот труд берут сейчас на себя, как я знаю, некоторые кристаллографы на Западе.

Он остается современным, и с ним неизбежно вынуждены будут считаться, потому что он ставит неразрешенные проблемы методологического, философского характера, с одной стороны, и с другой — его выводы не согласованы с достижениями той методики, которая все более охватывает сейчас кристаллографию, — изучением кристаллов в X-свете. При неизбежном, стоящем на очереди выяснении понятия симметрии, до сих пор едва затронутом логической и философской мыслью, нельзя будет обойти работ Федорова, особенно потому, что основы, на которых построен его "Das Kristallreich", вероятно, не вполне полно им самим выявлены. Мне кажется, что кристаллохимический анализ позволит пойти глубже в выяснение симметрии, чем это дает анализ кристаллов в X-свете.

Так или иначе мысль Федорова является и сейчас живой в науке.

Неужели возможно ставить жизнь его вдовы в то положение, в какое она сейчас в Союзе поставлена?

Акад. В.И. Вернадский*****

Наступившая война временно прервала хлопоты об издании "Воспоминаний". Вернувшись в 1944 г. в Ленинград, И.И. Шафрановский обнаружил федоровский архив в самом плачевном виде. Стекла в помещении бывшего Федоровского института оказались выбитыми, в окна залетали вороны, на полу лежал снег. Пачки писем, перевязанные веревками, были выброшены из шкафа. Часть бумаг

*В квадратных скобках раскрываются произвольно сокращенные авторами слова. — *Примеч. ред.*

**Вернадский В.И. Избранные труды. Кристаллография. М.: Наука, 1988. С. 333.

***Царство кристаллов. Таблицы для кристаллохимического анализа". Эта работа Е.С. Федорова была опубликована на немецком языке его учениками в 1920 г. в "Записках Академии наук по Физ.-мат. отд.", т. XXXVI. — *Примеч. сост.*

****Архив АН СССР. Л.О. Ф. 2. Оп. 1927. N 45. Л. 267—268 об. См. также: Вернадский В.И. Избранные труды Кристаллография. М.: Наука, 1988. С. 332.

вымокла и обратилась в скомканную бумажную массу. В целях спасения сохранившихся материалов И.И. Шафрановский решился передать их на хранение в Архив Академии наук в Ленинграде.

Впоследствии вместе с сотрудником Архива Академии наук доктором исторических наук Н.М. Раскиным им было составлено развернутое описание Федоровского архива*. Среди сохранившихся бумаг оказался экземпляр "Воспоминаний" Л.В. Федоровой. Внуки Е.С. Федорова — Элий Евграфович Федоров (петрограф, доцент Горного института) и Евгений Евграфович Федоров (геолог, живший в Саратове) — передали в Архив АН СССР рукопись "Воспоминаний". Известны попытки издания "Воспоминаний" в сокращенном и существенно переработанном виде. К этому делу был привлечен известный детский писатель-натуралист Виталий Бианки. Однако и эти попытки остались без результата.

Вместе с тем интерес к воспоминаниям Людмилы Васильевны возрастал. В вышедших монографиях, посвященных жизни и творчеству Е.С. Федорова (три издания книги И.И. Шафрановского), и в особенности в книге "Е.С. Федоров" из серии "Жизнь замечательных людей", написанной Я. Кумоком (1971 г.), приводились многочисленные цитаты из "Воспоминаний", широко использовался содержащийся в них фактический материал. Необходимость по возможности точной публикации мемуаров Л.В. Федоровой стала очевидной.

Впервые благодаря серии "Научное наследство" читатель получил, наконец, возможность детально ознакомиться с замечательными материалами, являющимися памятником Е.С. Федорову, а в известной мере — и современной ему эпохе.

Перед нами раскрывается детально и с любовью описанная картина домашнего семейного быта семьи Е.С. Федорова. Огромную ценность представляют записи высказываний великого кристаллографа, его оценка событий. Тщательно фиксирует Людмила Васильевна обстоятельства и условия создания крупнейших научных трудов ученого.

Воспоминания Л.В. Федоровой представляют собой огромное историческое полотно, охватывающее почти три четверти столетия. Перед читателем возникают живые картины Смольного института, подпольной революционной работы молодых супругов, полная лишений жизнь Федорова-студента и начало его научной деятельности, геологические исследования в Богословском горном округе на Урале, куда Е.С. Федоров вынужден был временно переехать, профессорское бытие в Московской сельскохозяйственной академии и, наконец, директорство ученого в Горном институте.

При таком широком охвате почти столетия жизни в один из самых сложных и драматических периодов в истории нашей страны не исключены субъективные мнения и оценки, не совпадающие с теми, которых придерживаются, возможно, многие будущие ее читатели. Мы сочли возможным не устранять их и не пускаться по этому поводу в детальные объяснения с читателями в предисловии и комментариях. В ряде случаев нельзя назвать объективными высказываемые в книге суждения о некоторых крупных ученых нашей страны, отражающие борьбу за свои идеи и нелегкий путь к признанию, которым шел Е.С. Федоров. Эти места в комментариях оговорены.

При подготовке рукописи Л.В. Федоровой к печати составитель и редакторы старались сохранить в неизменном виде первоизданный и самобытный текст. В него внесены только самые необходимые исправления и незначительные сокращения. Комментарии и именной указатель составлены Е.М. Доливо-Добровольской.

Мы выражаем глубокую благодарность члену-корреспонденту АН СССР Семену Романовичу Микулинскому за внимательное прочтение рукописи и ценные советы.

И.И. Шафрановский, В.А. Франк-Каменецкий

*Рукописные материалы Е.С. Федорова. Изд. АН СССР, М.; Л., 1957. Труды Архива. Вып. 14.

ОТ АВТОРА

Сколько раз я просила Евграфа Степановича написать свою автобиографию, но он все отнекивался: "Ну, ты посуди сама, есть мне время заниматься такими пустяками". И вот только под конец уже своей жизни на мои усиленные просьбы хоть описать его недоразумения с Академией наук, он наскоро набросал кое-что¹. Для него его воспоминания были пустяками, а я чувствовала скорее, чем могла судить по его работам, что его личностью будут интересоваться и самой по себе, как даровитостью. Он настаивал одно время, чтобы я занималась с ним, предполагая почему-то, что для меня его учение постижимо. Он меня переоценивал; у меня же не было его эрудиции, из-за чего его даже некоторые профессора не понимали, да к тому же я врач и мать и была бы плохим врачом, если б не следила за своей наукой, и плохой матерью, если бы сама не занималась детьми. У меня и своего-то дела всегда было по горло. Знать поэтому его учение я не могу, но понимаю суть его и новшество, им вносимое в науку, а потому и предвидела, что оно и он сам по себе возбудит интерес; но не предвидела, что и мной, конечно, как его женой, тоже заинтересуются.

Ученики его и некоторые знакомые просили меня писать воспоминания о моей жизни. Им интересно узнать поближе ту, которой выпала честь (и счастье ли для меня лично?) быть супругой такой мировой знаменитости в науке; скажу от себя — и такой необыкновенной по нравственным качествам личности, как Евграф Степанович. Меня просили: "Пишите все-все; даже и незначительные факты для нас будут интересны".

Пишу я, значит, не для публики, а только для интимного кружка, да для наших внуков; а потому и не гонюсь за стилем. Да к тому же я и не писательница, чтобы претендовать на хорошее изложение. Заранее прошу извинить, если мое произведение будет скрипеть, как несмазанная телега. Да извинят мне не только шероховатости и длинноты, но и то, что фигура моего мужа, такая колоритная, не так ясно обрисовывается, как должно, к моему великому сожалению.

ВОСПОМИНАНИЯ

МОЕ ДЕТСТВО*

Точно из меня вынули душу,
Когда похоронили его.
Посвящаю записки не только как мужу,
Но как идейному человеку не от мира сего.

В предгорьях Уральского хребта есть город Кунгур Пермской губ[ернии]. Он красив со своей гористой местностью и двумя реками: Иренью в темных лесистых берегах и извилистой Сылвой с меловыми горами, в недрах которых — таинственные сталактитовые пещеры с их озерами, многочисленными залами и легендами. Если ехать в Кунгур на пароходах по Волге, Каме, Чусовой и Сылве, то просто один восторг: такое разнообразие, никакой дачи и курорта не надо. По крайней мере для меня. С проведением железной дороги мне там уже не пришлось побывать. Сейчас, после революции, и представить себе не могу, что там творится. Прежде основная масса жителей там состояла из мещан, купцов и заводчиков. Небольшая кучка интеллигентного элемента давала немалый процент людей, для которых место это было "не столь отдаленным" от европейской России. Контингент рабочих и низших служащих составлялся из мещан. Крестьян было между ними очень мало. Все они жили небедно в своих домишках. Некоторые купцы и коммерсанты имели по нескольку миллионов. Жизнь вели все патриархальную; жили большими семьями чуть не столетиями на одном месте. Прадеды вымирали, а деды и внуки продолжали их дела; спать ложились и вставали рано. Под праздники и в праздники во всех комнатах в каждом доме мерцали разноцветные лампы. Жили подолгу. Кроме холеры эпидемий других как не бывало на свете. <...>** Многие приехавшие учителя, поженившись на богатых, обрастали там мохом или спивались от безделья.

Более быстрая перемена стала происходить между военными, чиновниками и докторами за последнее время с возрастом высылки.

В 40[-х] годах появился там как политически неблагонадежный доктор Василий Александрович Панютин. Он пришелся там ко двору. Его полюбили за его аккуратность, честность, бессребренность и душевное отношение к больным; и не только как хорошего доктора, но и как веселого, образованного, начитанного человека. Он выписывал "Современник"² и другие журналы, привез с собой обширную библиотеку, которая первая появилась в Кунгуре. Книжки брались нарасхват. В то время там жила небогатая старушка с внучкой красавицей-блондинкой, просватанной за богатого купца. Бабушку эту молодой доктор часто лечил, а внучка пользовалась докторскими книгами; но вот наступил день и час свадьбы. Невесту нарядили подружки. Жених уже в церкви, масса приглашенных, званных и незванных, полна церковь, ждут невесту, хор откашливается, готовится грянуть: "Гряди, гряди, невеста моя"... Но невесты все нет и нет.

Посланные шафера возвратились с ответом, что невеста выехала в церковь,

*Рубрикация текста в рукописи отсутствует. Введена составителями для удобства чтения.

**Угловыми скобками показано сокращение текста. — *Примеч. ред.*

не дождавшись их. А невесты нет. Переполох. Невеста пропала. Жених вернулся домой один. Кунгур — городок небольшой, все там друг друга знают, даже знают, кто куда пошел или поехал, кто что говорил; там трудно укрыться от соседских глаз. И вдруг такой пассаж — пропала невеста, как иголка какая, средоточие злободневного интереса. Это из ряда вон выходящее событие всколыхнуло весь Кунгур. Там в те времена девицы не выходили замуж, а их выдавали, даже помимо их воли.

На следующий день заводчик Андрей Григорьевич Пиликин (впоследствии мой дед, который все это мне рассказывал) ехал по набережной р. Ирени мимо собственного домика доктора, где вдруг распахнулось окно и доктор поманил рукою, прося заехать к нему. Андрей Григорьевич заехал, разговорился о вчерашнем происшествии и, когда гость выразил опасение, что не случилось ли какого несчастья с невестой, так как красавица... Это слово у него замерло на губах — в дверях перед ним показалась вчерашняя пропавшая невеста. Подали шампанское поздравить молодых. Они повенчались в деревне в то самое время, когда в городе происходил переполох. Большую сенсацию произвело это происшествие, поговаривали даже о дуэли, но одними словами все и кончилось. Дуэль в Кунгуре — это же парадокс какой-то.

Через год, после трудных родов жена доктора умерла, оставив ему сына Виктора, такого же красавца-блондина, как сама. Когда пришла пора Виктору учиться, отец отослал его в Пензу в дворянское училище, где его родной старший брат, Николай Александрович Панютин, был безответственным директором, так ему доверяли дворяне*. Между братьями были натянутые отношения, так как из-за Василия Александровича в опалу попал отчасти и Николай, и у них было конфисковано неразделенное еще имение. Василий Александрович дружил с Мусиным-Пушкиным, ездил с ним за границу, подолгу гостил у них в имении, ел у них на золотых тарелках и, после всего этого, из-за них же угодил в Кунгур. В точности я не могла узнать этой истории.

Отослав Виктора, Василий Александрович женился вторично на дочери Андрея Григорьевича, Анне Андреевне Пиликиной. Их фамилия, собственно, Пиликан, но, как впоследствии мне рассказывал дед, Пиликины — собственно укрепившееся за ними прозвище. Их было очень много братьев. Детьми, сделав из трубок растения зоря флейты, они пиликали на них, а обывательские мальчишки плясали и пели: "Пиликины пиликают". Когда же они катались со своими дудками, то целая гурьба ребят бежала за ними и кричала: "Пиликины поехали, поехали Пиликины!" Так с тех пор эта фамилия и закрепилась за ними. Времена и нравы!

В день 16-летия Анны Андреевны состоялась свадьба, и молодые уехали на житье в Пермь за 80 верст от Кунгура, куда перевели Василия Александровича главным доктором в Александровскую больницу. Там, в казенной квартире, от этого брака я и родилась [в 1851 г.]. У деда, Андрея Григорьевича, достигших взрослого возраста было пять дочерей и только один сын — Вася. Все дочери были красивы — в бабушку, у которой, собственно, всех детей было 24. Несмотря на такое множество рождений, бабушка умерла старше 60 лет, с толстой черной косой до пят. Я была ее крестница и баловница, зачастую играла, как вожжами, ее косами.

Мать моя вышла за отца по любви. Дед не стеснял дочерей, и три из них были за небогатыми интеллигентами и только две — за миллионерами. Мать была счастлива с отцом, но недолго. На 21-м году она овдовела. Отец умер внезапно от переутомления сердца, полной пенсии выслужить не успел. Бескорыстие его доходило до того, что он с бедных платы не брал, а еще сам давал на лекарства, и потому, несмотря на обширную практику, скопил слишком мало для обеспечения семьи.

*О нем писали в "Русской старине"³. — *Примеч. авт.*

Мать, такая молодая, красивая, осталась с двумя детьми: мною — Людмилой — и сыном Николаем, а через три месяца после кончины мужа родился и третий ребенок — дочь Эмилия.

Все пермские знакомые приняли в [судьбе] матери большое участие, особенно семьи Ильиных и Поповых. Николай Иванович Ильин и Василий Антонович Попов — сокурсники отца по Казанскому университету и однокурсники его брата Николая Александровича — были большие друзья отца. Они выхлопотали матери половинную пенсию. Она стала еще прирабатывать втихомолку шитьем белья. Мы остались жить в Перми, хоть мать и приглашали родные в Кунгур, но мы туда ездили только гостить. Жизнь тогда была дешевая, и мать умудрилась сохранить сбережения отца и свои удивительные приданные брильянты и украшения с драгоценными камнями, которые и вручила мне с сестрой, когда были мы уже взрослыми.

Вообще наша мать была необыкновенная женщина, прямо героиня долга. У нее было много претендентов на ее руку. Один оператор, как прежде звали хирургов, даже прельщал ее записью именина на нас, детей, но она отказывала всем, говоря: "Я не сомневаюсь найти в вас хорошего мужа, но отца детям моим никто не заменит". Мать наша получила неважное домашнее образование, но отличалась умом, тактом, большой начитанностью и в общем была незаурядна.

Я осталась сиротой трех лет. Странная в детстве память: помнишь до старости пустяки, а более важное как бы не существовало. Так, отца почему-то совершенно не помню, хотя он, говорят, постоянно возился со мною. <...>.

На следующее лето по смерти отца брата Колю и Милю — сестру, вскармливаемую на рожке, — отправили в Кунгур к бабушке, а мать со мной поехала в Сарапул к сестре отца, Варваре Александровне, по мужу Надеждиной. Ее муж, Капитон Евграфович, жил там тоже не по своему желанию, а был выслан туда. Впоследствии и они были переведены в Пермь.

Мои воспоминания раннего детства сосредоточены почему-то больше на квартирах. Первая наша квартира всего в три комнаты, недалеко от Александровской больницы — отдельный домик в три окна на улицу и два — в сад. На одном из них сидит Миля, и моя обязанность — смотреть за ней, пока Катенька, наша бонна из "благородных", уходит в кухню, где она зачастую увлекается разговорами с кухаркой и куда мне вход воспрещен. Мамы нет дома. Я бдительно смотрю и сторожу, чтобы Миля не упала на пол, но ... вдруг Миля исчезает в растворившееся окно в сад. Я благим матом ору. Катенька в перепуге извлекает сестру из заросли сада, да еще с ножницами; успокаивает меня и увещевает: "Не говори маме". Хороша воспитательница! Впечатление было немалое, и потому соблазн поделиться с матерью им был велик. И Катеньки у нас не стало.

Вторая квартира — во втором этаже, большая: в одной гостиной два окна. В кухню нам вход был воспрещен, и я до 7—8-летнего возраста [ее] не помню. Парадная мебель в чехлах, а большой широкий диван — мой приятель — стоит у дверей в столовую, я на нем и скачу, и кувыркаюсь, а по вечерам забираюсь на него помечтать в темноте. Лежу. Тени на потолке и стенах из дверей освещенной столовой причудливой формы доставляли мне материал для фантазии и волшебных сказок. Так я большею частью и засыпала на нем; утром просыпалась в кровати.

На эту квартиру к нам приезжал Виктор, уже кончивший дворянский институт и собиравшийся ехать в Петербург служить в полк. Он был красавец-блондин с голубыми глазами, тогда как мы все в отца — темноглазые. Виктор спасал меня на своем плече от попыток мамы меня наказать за сбрасывание горшков с ее любимыми цветами за окна.

В первых наших двух квартирах я почему-то совершенно не помню спален. В третьей же ясно помню только спальную. Это большая угловая, на две улицы, в пять окон, комната, в углу между окнами мамин киот с прекрасными образами

в кованных золоченых ризах, перед которым по ночам теплилась синяя лампада. Моя кровать напротив; я, засыпая, долго, бывало, любуюсь ее таинственным мерцанием. Вот уж не помню, молилась ли я в это время или нет. Вероятно, машинально.

Эта квартира замечательна тем, что в ней впервые появился Капитон Евграфович Надеждин, дядя по тете Варе — сестре отца. Его перевели из Саранска в Пермь. Он стал к нам часто заходить, и мы у них бывали, особенно дети. Он собирал много детворы и устраивал всевозможные игры либо у себя на дому, либо, когда тепло, на воздухе, в виде разных экскурсий. Например, собирались не раз на Егосихинской горе. Теперь подле этой громадной горы, между ею и Камой, идет поезд на Урал, а тогда по этому склону моя маленькая сестра Миля летела кубарем по недосмотру няни.

Как-то дядя один с массой малюток превосходно справлялся. Все его звали "дядя". Тетя, очень образованная и всегда серьезная, не препятствовала ему поднимать в квартире, что называется, дым коромыслом, но сама не принимала участия в этом гаме, визге, хохоте, плаче и даже реве, так как тут бывали и очень маленькие ребята. Она только изредка улыбалась, глядя из дверей другой комнаты. Я, сколько помню, никогда не видала ее смеющейся. Ее лицо, с правильными сухими чертами, с гладко зачесанными черными волосами, с тонкими губами в усиках, было как-то всегда строго, и мы ее поэтому побаивались.

Как-то мамы не было дома, пришел дядя, посадил меня в гостиной рядом с собой на моего "приятеля" — большой диван, обнял, привлек к себе и сказал: "Тебе, Людмилочка, уже скоро 5 лет, в это время можно уже учиться. Скоро именины твоей мамы, ты ей сделай подарок — научись читать. Вот я принес интересную книжечку, давай посмотрим, а когда выучимся, я подарю тебе альбомчик и напишу там стихи". Дальше я только помню, что к пяти годам я уже читала и 3 февраля, в день именин мамы, произвела фурор. Мама была в восторге, но говорила, что она не думала так рано меня учить; а позже даже забеспокоилась, не от раннего ли учения я почему-то по ночам начала иногда кричать. Я даже помню сон, от которого кричала, почти один и тот же странный сон: будто какое-то золотое мерцание уходило от меня за больницу, и я его никак не могла удержать и принималась неистово орать, чем всех спящих пугала. Но потом оказалось, что это было влияние блеска риз, так как перед сном я слишком на них засматривалась. При переезде на другую квартиру все прекратилось.

Какая же была громадная потеря для всех ребят, когда умер дядя. Милый дядя, ты первый положил начало моего образования и так легко и незаметно для меня, когда звукового способа и в помине еще не было. Я, как сейчас, помню его высокую худую фигуру с большой головой, волосы зачесаны на виски, лоб громадный, по которому я его часто хлопала ручкой, лицо крупное, некрасивое, но удивительно приветливый взгляд его серых глаз и улыбка скрашивали его. Вечная тебе от меня память! Подаренный им альбомчик я сохранила. Там его сочинения стихи и нарисованная им карандашная рисующая изящная фигурка с надписью: "Без жизни, слабо, бледным карандашом начертан я, взрастет Людмилочка и кистью оживит меня". Когда он умер, мне не было и 6 лет, а как он врезался в мою память, удивительно! К сожалению, в его альбомчик я понаклеивала аляповатых вырезных картинок, казавшихся мне тогда верхом совершенства.

Потому ли, что я была старшая, или потому, что была большая шалунья и проказница, только мать почти всегда брала меня с собой к знакомым, где первым делом обращались ко мне: "Ну-ка, Людочка, покажи, на какой стороне у тебя сегодня кок?" Синяки на лбу — вечная принадлежность моей особы.

От знакомых я зачастую не возвращалась домой, а оставалась гостить на более или менее долгое время. Меня даже увозили из Перми: то в Шерью — имение Муравьевых, смотрителя Александровской больницы при отце, то в Нытву к горному инженеру Арсеньеву, главному управляющему заводом. Возвращалась

с запасом новых впечатлений. Так, Серафима Леонтьевна Муравьева выучила меня как-то глупым-преглупым стихам. Глупо, но для мимики и выражения простор, и хохотала же она, когда я декламировала. Когда мама хотела запретить мне их повторять, то ей говорили: "Оставьте, пустяки, так преуморительно это у нее выходит" — и после их декламирования или пения меня всегда крепко целовали. Они воображали, что я забуду, а я и до сих пор помню эту глупость.

Нашу четвертую квартиру я уже хорошо помню всю, кроме кухни. В ней была большая зала, от нее гостиная отделялась аркой. Арка напоминала мне театр. Значит, я была в театре, а как, когда — не помню. Бывало, разгуливаю по зале, сочиняя сама себе игру на сцене, и воображаю себя зрительницей, либо делаюсь актрисой и привлекаю тогда брата и сестру, которых до этого мало помню, особенно брата, так как он подолгу жил в Кунгуре. От парадной лестницы до передней во всю стену шла галерея с окнами в залу.

Раз как-то мамы не было дома. Я, по обыкновению разгуливая, увидела, что по галерее идет дама под руку с мужчиной. В то блаженное время двери днем бывали не на запоре. Мужчина с баками, дама в синем шелковом платье — почему-то врезалось в память. Когда я заявила, что мамы нет дома, то дама, взяв меня за подбородок, сказала: "Ты, верно, будешь Людочка?" — и поцеловала. Это, оказывается, с визитом были Поповы Анна Ивановна и Василий Антонович, переехавшие из Красноярска в Пермь. Последний — на место инспектора врачебной управы. Мы стали часто бывать друг у друга.

В этой квартире мама перехворала воспалением легких, а я, одновременно, корью, и Василий Антонович нас лечил. Я с любопытством смотрела, как он пускал маме из руки кровь, потом, выдвинув вертящуюся на винте табуретку, сел и упал. Я смеялась, так была еще глупа, и такие пустяки даже сейчас помню, точно это было вчера. Странно! Помню еще в этой квартире, как приехавший мамин зять-богач бегал на четвереньках, изображая слона, и катал на спине Колю.

Наконец, мы переехали в двухэтажный каменный дом недалеко от Камы и близ монастыря, где похоронен наш отец, к чему мама, меняя квартиру, и стремилась. Да и безопаснее от пожара. Хозяева жили наверху, а мы заняли низ пока, так как рядом наш хозяин Куринбин строил новый дом, в котором нижняя квартира предназначалась нам. Расположение этой квартиры было очень неудобное. Спальная, гостиная и столовая — все подряд, потом темная длинная передняя, за ней кухня и вход один. <...>

За нашей улицей была базарная площадь. Чуть не каждую субботу приходилось нам испытывать пренеприятное чувство при звуках барабанного боя. Это значило, что по смежной улице везут на эшафот преступника наказывать все-народно на площади плетью. Хорошо еще, что возили не по нашей улице и мы, дети, ни разу не видели этой позорной картины. Но странный наш русский простой народ, называя преступника "несчастненьким", после наказания, "жалючи", засыпая его подаванием — калачами и медяками, бежал чуть не со всего города смотреть на казнь. Наша прислуга всегда бегала глазеть на это любопытное, значит, для них зрелище. Мать только, бывало, пресекала захлебывающиеся от избытка чувств их рассказы при нас.

На этой квартире, кроме разных гостей, к нам стал ходить административно высланный Федор Федорович. Он брал для чтения книги, как и многие другие, из оставшейся от отца хорошей библиотеки. Иногда он оставался и читал матери вслух, а я, тут же играя в куклы, слушала. Мы стали уже привыкать к частым приходам этого доброго Федора Федоровича, полюбили его чтение, особенно, когда он читал Пушкина или Лермонтова, я быстро заучивала наизусть, что мне нравилось, потом распевала, барабанила по железному сундуку, аккомпанировала себе.

Были как-то у нас гости. Квартира была вся освещена. Уже поужинали, вдруг является Федор Федорович "на огонек" пьяным-пьяно, языком не вяжет,

шинель в грязи. Мама была поражена, отправила его с прислугой на чьей-то лошади домой. На другой день он явился с извинениями, но мама его не приняла. Мне было жаль, что прекратилось его чтение. Он разбудил во мне любовь к книгам. Я сама стала почитать Пушкина, Лермонтова, Загоскина, особенно понравился "Юрий Милославский". Даже впоследствии мы, дети, с хозяйскими ребятами разыгрывали его в лицах.

Тут уже я припоминаю наши незатейливые игрушки; бывали и хорошие, они недолго жили, а глиняные с базара — казаки, солдаты, уточки-свистульки, дамы без рук и ног с юбками в виде воронок (в те времена носили кринолины), пряничные лошадки, рыбы, петухи и опять дамы в кринолинах — все были калифы на час: одни разбивались, другие съедались. Поставим, бывало, три стула перед нашим старым другом, большим диваном, — тройка, занавесим его шалью — повозка. Я в ней с куклами, Миля непременно кучер, Коля — либо собака моя, либо пристяжная, загнув голову, скачет с упоением; поехали в Кунгур.

По вечерам обыкновенно мать в столовой у стола работает. Даша-прислуга на скамеечке у ее ног работает тоже или вяжет чулок себе, Миля сзади на стуле, как кучер вожжами, управляет ее длинными косами. Я и брат попеременно читаем вслух либо какую-нибудь детскую книгу, либо священную историю. Кончая Новый Завет, начинаем снова Ветхий, так что мы их чуть не наизусть знали, и это пригодилось нам в учебных заведениях. Нам нравилось представлять, особенно продажу братьями Иосифа.

Зимой, из-за ее суровости, не всегда приходилось гулять; но все же, значит, не в малые морозы нас выпускали, если как-то раз сестра лизнула заиндеветшую щеколду у калитки, приняв, верно, изморозь за сахар, и оставила на ней слизистую оболочку языка и губ. Зато летом мы, бывало, носились без усталости на обширном чистом дворе и огороде. Вместе с семерыми хозяйскими детьми нас было много, и весело так, что мама едва могла нас загнать ужинать.

Изредка посещал нас старший фельдшер Александровской больницы, служивший еще при нашем отце. Он приходил всегда вечером под праздник, большую частью зимою, с противоположного конца города, иногда в сильный мороз, весь заиндеветший. Как только он показывался, мы, дети, выражали неистовую радость. Мы скакали, хлопали в ладоши, кричали, приплясывая: "Курылев, Курылев!" Имени его не помню. Он приносил нам всегда немудреные гостинцы из своего скудного заработка: пряничных зверей, рожки и паточные конфеты в бумажках с изречениями. Сняв в передней последним свой длиннющий, как змея, гарусный шарф, он сейчас же забирался в кухню на русскую печь. Мы все, даже мама, перекочевывали в кухню; ждали с нетерпением конца разговора матери с ним; тогда приставали к нему: "Курылев, расскажи про Вурдалака". Хотя мы этого Вурдалака давно уже знали наизусть, но все же при упоминании о бедном Ване и красноречивом Вурдалаке нас охватывал трепет, жуть, и мы замирали. При открытии же, что это только собака на могиле гложет кость, шумно ликовали. И это в сотый раз одно и то же. Странно, но я до сих пор помню то наслаждение в страхе и переходе к радости. Курылев и ночевал на печи, а на другой день чего-чего он только нам не нараскажет. Когда мы узнали о его смерти, мы плакали. <...>

Мама успокоилась, перейдя в новый дом к осени, прошли ее страхи, что мы сломаем себе шею или ноги, взбираясь на леса строящегося дома, еще без полов, ходя по перекинутым доскам как акробаты, что приводило ее в ужас. Сестру угораздило попасть в яму с известью, хорошо еще, что уже гашеною. Мы были здоровенные ребята, с нас все сходило, как с гусей вода. У нас была своя корова, и мы пили молока сколько угодно. <...>

Квартира эта была теплая, уютная, хорошо расположенная, с двумя ходами и терраской, так что мама, работая, пользовалась воздухом летом и наблюдала за нами, носившимися по двору казаками и разбойниками; зимой и осенью прогуливались по ней в заносы и грязь. Весной и осенью грязь в Перми бывала непо-

мерная, приходилось двигаться только на лошади, которую присылали знакомые за нами.

Только на этой квартире пробудилось во мне чувство религиозности. Не знаю почему. Не то от чтения священного писания, не то мамин такой красивый киот, всегда по вечерам и ночью с зажженной лампадой, располагал к молитве своей таинственностью так, что я стала самостоятельно подолгу молиться; нас не заставляли. Прочту молитву, помяну родных за здоровье и за упокой, а потом молюсь без слов собственно, коленки давит вышивка на юбке, и я решаю, что для Бога все нужно претерпеть, недовольна, когда мама скажет: "Ну, довольно уж тебе, Людочка, молиться-то, вспомни притчу о мытаре и фарисее". Потом я стала вымаливать себе ума: "Ничего мне, Боженька, не надо, дай мне только побольше ума". Почему я тогда предпочла ум всему другому? Загадка. Не потому ли, что часто слыхала безапелляционное: "Ах, это ж говорят люди ума", — и все замолкали при этой фразе.

Лежу, бывало, вечером в кровати, пока не засну, смотрю на тени от движения огня лампы и воображаю, что это, верно, ангелы машут крыльями, но мы, грешные, их не можем видеть. Я занимала целый подоконник и рядом столик для своих кукол. Книги служили стенами квартиры, и я по зимам упивалась игрой в куклы, если, конечно, нигде не гостила. Куклы мои ходят, разговаривают, поминутно переодеваются, благо у них много платьев.

Приближаются праздники Рождества. Чу! Колокольчики! Кто-то несется на тройке. "Тпру!" К нашим воротам. Мы все бежим в переднюю и встречаем дядю Васю, брата мамы. Пахнуло холодом, и из шубы выглянуло его красное лицо: "Ну, я за вами; собирайтесь, вот я продаю здесь кое-какие дела и марш в Кунгур". Вот бывала радость-то! Уже одно путешествие на лошадях что стоило. Необычное раннее вставание до света с огнем, усаживание в возок под свет фонарей. Все это так занимательно для нас, ребят. Эта необыденность нас прельщает новизной. Особенно какое наслаждение летом лихо нестись на тройке в повозке, а не в возке. Коренник несется, задрав голову гордо, а пристяжные чуть не волокут гривы по земле, разинув рты, раздув ноздри, скосив глаза, что видны только белки. Ах, хорошо так катить! Недаром тройка воспета поэтами и особенно Гоголем.

Вот уже смеркается, в деревнях показались огни, в иные окна видны топящиеся печи. Последняя станция; выходят ямщики, больше все татары. <...> За ними из дверей валит пар, и мне желательно было бы посмотреть, как они живут. Запрягая, татары болтают по своему. Готово, опять несемся. Вот и громадная Иренская гора перед Кунгуром. Тормозят экипаж, спускаемся, коренная чуть не садится на хвост, пристяжные идут вольно, отдыхают. Вот в котловине и весь Кунгур с его бесчисленными огоньками. Мы различаем два дедушкиных дома на конце города и от удовольствия кричим и поем.

Но раз нам было не до радости, мы тогда, отыскав дома, все плакали: дядя вез нас на похороны бабушки, моей крестной. Умерла бабушка, когда мне еще не было и 10 лет.

Кунгур с его двумя каменными домами, двумя садами и тремя огородами с чистым и задним дворами и с громадным пространством под заводами представлял для нас великие радости. Вот где можно было брату и сестре упиваться восторгом — чудными лошадьми. У деда был свой конный завод. Коля облюбовал задний двор и по приезде из Кунгура рассказывал всем знакомым с пафосом о чудесах заднего двора, начиная всегда: "А вот как у дедушки на заднем дворе!" — так что знакомые при встречах спрашивали его: "Коля, а что нового у дедушки на заднем дворе?" Его любимая лошадь была Парнас. "Парнастка так несся, что из него перья летели". При пожаре все лошади сгорели, только Парнастка не сгорел — он раньше умер (это когда от молнии сгорели конюшни).

Летом мы с утра до вечера носились, как саврасы без узды, даже и зимой

немало возились с санками на катушке. Трехэтажные два дома разделялись садом. Сначала дед жил в меньшем доме, как младший и с большой семьей, пока не перемерли все его старшие братья. В этом доме из столовой в нижний этаж спускалась глухая деревянная лестница, огороженная только сверху перилами, прямая, без колен, и по зимам в морозы служила нам катушкой. Взрослой я удивлялась тому искусству, с каким мы по ней скатывались вниз без усталости. Конечно, рвали немало одежды, но нам не запрещалось это удовольствие. Разве только дедушка другой раз заметит: "Ну, раззвонились, звонки. Буде!"

В мезонин, состоящий из двух больших комнат, шла лестница из большой террасы парадного хода. Одна комната занималась нами, когда мы гостили, а другая — как чердак, куда был свален всякий хлам, но этот хлам для нас, детей, был целое богатство, и мы испытывали большое наслаждение при своих раскопках, находя такие для нас ценные вещи, как, например, большую модель, прекрасно сделанную из дерева и выкрашенную под камень, — церковь. Мы языками "звонили" во все колокола: тилли-бом, тилли-бом, дополняя воображением остальное. <...>

Спали мы все вместе с мамой поперек широченной двуспальной кровати на громадной перине. Пошлют нас раньше спать, а смотреть за нами — старую няню Феклу, вынянчившую маму и всех ее сестер. Она всегда, сколько я ее помню, в белой чистой холщовой рубашке, синем сарафане, на седых волосах — шелковая черная "головка"; морщинистая, высокая, худая, вяжет вечно чулок, даже когда ходит. Сядет у двери на порог, а мы кувыркаемся по перине, бросаемся подушками, душим до упаду, кричим что есть мочи так, что снизу приходят нас унимать, а Фекла не пускает: "Ишь, не пристали, видно, еще". Потом начинает рассказывать сказки, и мы засыпаем. Счастливая, невозвратная пора детства!

С террасы была дверь в кладовую, а она — целая квартира, в нее привозились с Нижегородской ярмарки всевозможные закуски, ящиками и мешками сласти, орехи, изюм и т.п. Дверь эту иной раз забудут запереть на ключ, мы уже это проглядим и иногда, понаевшись в огороде моркови, репы, гороху, бобов, забираемся в кладовую, поедаем, что хотим, и понапикиваем полные карманы. Тем временем нас запрут и ищут, где дети? Мы колотим в дверь, и нас извлекают. Нам все сходило с рук. Желудки были у нас здоровенные.

Другой дом гораздо больше, и другое впечатление. Тут тишина, и мы притихали. Тут смена нескольких умерших поколений и потому тут много разных преданий. Будто некоторые умершие ходят по ночам. Особенно после ужасного случая со второй, молодой, красивой женой старшего брата деда стали бояться. Она поздним вечером ждала приезда своего мужа, лежа на кровати и читая газету, задремала, а газета от свечи вспыхнула, зажгла ее кружевную кофту и пышные юбки; она, проснувшись, от испуга бросилась бегать и кричать; прислуга, спросонья прибежавшая снизу, пока разобрала, в чем дело, пламя охватило ее всю, и она так пылала, что обручи от кринолина сильно накалились и, падая, прожигали пол.

Я, собственно, жила в этом доме уже в юности, когда не верилось ни в какие привидения, хотя одно явление долго было неразрешимо. В третьем этаже четыре комнаты, по четырем сторонам коридора по комнате; лестница вниз из коридора во второй этаж выходит в переднюю. Лестница эта прямая, а под ней, из противоположного передней маленького коридорчика во втором этаже близ столовой — другая коленчатая лестница в самый нижний этаж, в кухню. И вот в каждой из четырех комнат мезонина, как говорила прислуга, "блзнит". Сидишь, бывало, наверху и вдруг слышишь от времени до времени, что скрипят деревянные ступеньки, по коридору кто-то идет, отворяется дверь, а никого нет. Мы уже так привыкли к этому, что не обращали уже внимания и только вставали притворить дверь. Выдумывали, что это ходят души умерших без покаяния, как, например, сгоревшей. Молодое поколение, и особенно прислуг, это так нервировало, что третий этаж стали только днем посещать и все отказывались там спать. Объясни-

лось впоследствии это очень просто, уже тогда, когда мы с сестрой повыходили замуж и она со своим мужем приехала погостить и познакомить мужа с родней. Избрали они одну из "блзнящих" покинутых комнат. Зять, заинтересовавшись этим явлением, исследовал и как инженер-строитель, путеец понял, что все зависит от акустики расположения обеих лестниц одна над другой. Когда по нижней шли вниз, казалось, поднимаются по верхней, а когда внизу запиралась посредством блока за ушедшим дверь, товерху отворялась дверь в одну из комнат, смотря по силе удара блока. <...>

Бывало, усадит нас дядя Вася в устланную коврами глубокую кошевку, сам правит и катает по всему городу. Мы в кошевке возимся, барахтаемся. А то в сочельник — вечер, мороз — он везет нас к знакомым на елку; чтобы мы не замерзли, покроют кошевую кошмой, под которой мы возимся так, что нельзя замерзнуть.

Из Кунгура мы часто летом наезжали погостить на мельницу к тете Поле, сестре матери; Аполлиария Андреевна Шамонина была замужем за мелкопоместным дворянином, Владимиром Михайловичем. Деревенька их была маленькая, красиво расположенная на берегу большого пруда и реки Бабки. Небольшой барский дом воротами почти прямо выходил на плотину мельницы, [после] которой дорога круто заворачивала по обрыву большой горы с громадными могучими соснами. Вид был очень красивый. За огородом были сосновая и березовая рощи, куда мы всем обществом ходили слушать соловьев. Свет только что брезжит, еле розовеют облака, упоительно пахнет свежими березками, сыровато, а соловьи щелкают и заливаются на все лады. Хорошо было! Не хотелось забираться в постель. Когда я впоследствии читала "Обломова", то Обломовка всегда напоминала мне мельницу тети Поли. Ее шум разве только и нарушал тишину послеобеденного покоя. Все спало, и этот монотонный шум скорее еще убаюкивал, чем нарушал сон. Значит, не спали только во всей деревне Засыпко мухи да дети. Брат с сестрой, бывало, убегут в поле гонять баранов, а я сижу на ступеньках крыльца, слежу за облаками, которые тоже будто дремлют, так лениво ползут. Куры, зарывшись в пыли двора, распушились, иных из них тоже взяла истома, и они спят с протянутыми лапками. Даже собачьего лая не слышно на деревне. Тихо-тихо, жарко, солнце высоко-высоко, сильно печет. Чем не Обломовка? Я воображаю себя принцем из "Спящей красавицы".

А вот совсем другая картина. Перед именинами Владимира Михайловича 15 июля уже за день, за два начинают съезжаться гости из Кунгура и Перми. Два двора не вмещают экипажей, и они стоят в поле оглоблями вверх, а лошади пасутся. Тут уже нам, детям, раздолье. Мы посидим то в одном экипаже, то в другом. Про нас забыли за хлопотами, и нам лафа. Детворы понаехало немало, к нам присоединились и наши деревенские приятели, и мы носимся по всей деревне, лесам и горам. Мы все раз, не чуя ног, летели по дороге с горы, а за нами громадная свинья с поросятами. Упав один из нас, она бы загрызла, но опрометью выбежавший рабочий с вилами спас нас.

Барский дом был небольшой, всего в пять комнат, внизу кухня, людская и длинная комната еще подле нее. Гости поважнее устраивались в двух флигелях по обе стороны первого двора; нас, почти всю детвору, уложили вповалку в комнате при кухне, т.е. настлали во всю длину ее сена, на него кошмы, на них простыни и подушки. Ребятишки уложены, матери еще наверху, но нам не до сна, возбуждение велико, и мы, бывало, до того довозимся, что придут и припугнут нас строгими мерами; тогда настает тишина, но только в нашей комнате; в кухне стукотня ножей, шипенье, говор, хлопанье дверями, шлепанье босых ног, топот вверху не дают нам заснуть и от времени до времени взрывы фыркания от смеха то одного, то другого соседа. Возбудились и трудно успокоиться. Наконец, все начинают угомоняться. <...>

Устраивалось угощение и для крестьян за длинными столами на открытом

воздухе. Мы, дети, шмыгали между столами, нас ловили, шутя. Потом девушки и парни водили хороводы. Тогда не было еще частушек, пели старинные русские песни "Лучинушку", "Среди долины ровныя" и другие, плясовые. Девушки наряжались по большим праздникам в кисейные рубашки с пышными рукавами, в шелковые сарафаны, в дни посвежее надевали бархатные безрукавки. Парни в канавсовых рубашках, плисовых шароварах и тоже плисовых безрукавках. В прохладные дни — в холщовых рубашках и синих, из паневы, сарафанах домотканых. Приезжая, я девушкам дарила красоту, т.е. ленты в косы. Тогда косы были на удивление длинные и толстые. Ничего подобного теперь не увидишь почему-то. В деревне все меня любили и до того, бывало, закармывали шаньгами и ватрушками или пирогами и медом, что дома не обедаю.

Самое любимое мое место здесь было галечник — это обширное пространство, покрытая гальками отмель. Меня сюда привлекало удивительное разнообразие гальки. Я, как ученый муж какой-то, отыскивала самые занятные и увозила в Пермь с собой. Отсюда тоже было хорошо наблюдать грозу, которой взрослые боялись, и потому я свободно ею любовалась.

Когда, нагостившись так в Кунгуре и на мельнице тети Поли, возвращались домой, то наша квартирка казалась малюсенькой. Особенно в большие морозы приходилось пребывать все время в комнатах и вот тут нет-нет да и накуролесишь что-нибудь. Так, у мамы была занятная чернильница, изображавшая медведя, подбирающегося к улью. Она нас с братом так прельстила, что мы не утерпели, сняли ее с комода и поиграли ею, а после этого на полу оказались чернила. Что нам делать? Мы умнее ничего не придумали, как постлать на это место бархатный ковер. Мама, увидя ковер не на своем месте, открыла наши плутни, и они ее так возмутили, что она, сняв с Коли его ременный пояс, отстегала его им в гостиной, куда заперла дверь и не велела ему выходить, меня же высекла сухой вербой, которая вся сломалась и мне было вовсе не больно, но я неистово орала. Когда мама вышла, Коля приоткрыл ко мне в спальную дверь и осведомился, чем меня наказала мама так больно. Я сказала, что мне вовсе не было больно, а я кричала так, чтоб скорее оставила. И вдруг мамин голос: "Ты, верно, ждешь, чтобы я тебя больше высекла?" Но на этом дело и кончилось.

Когда умер дядя Капитон Евграфович, тетя Варя стала жить в Нытве у своей большой приятельницы, Людмилы Вильгельмовны Арсеньевой, муж которой, горный инженер, управлял заводами. Умная, очень образованная, прекрасно знающая иностранные языки, тетя Варя была интересной собеседницей и хорошей помощницей в многочисленной их семье. Всегда перед Рождеством появлялась у нас тетя Варя. Мама ходит, хлопочет по хозяйству, а за ней тетя Варя и все говорит, говорит без умолку. Я наострила уши, не зайдет ли речь про меня, так как на Рождестве у Арсеньевых всегда веселье, значит и теперь, и тетя приехала за покупками. Тетя на меня ноль внимания, и я в унынии. Она исчезает. Я при печальном интересе и только узнаю от мамы, что меня приглашают в Нытву. Я перестаю думать на тетю.

Семья Арсеньевых очень большая, одних детей семь человек: Орест, Александр, Дмитрий, Елена, Илья, Алексей и Мария. Александр Ильич — предобрейшее существо, очень небольшого роста и потому невнушительной наружности; звал меня "цыпинькой"; "моя цыпинька" и непременно "Вы". Он и к своим детям обращался тоже всегда на Вы: "Вы, Лелечка, Вы, Митенька"; никогда не называл: Митя, Леля, Иля. Был очень набожен. Никогда не поднимается с колен, если невзначай наша гурьба детворы ворвется к нему в кабинет и застанет за молитвой. Никогда никто из детей не видел его в раздражении, всегда был приветлив и ласков и нередко приходил даже в сад посмотреть на игры детей и беспокоился все, как бы не ушиблись, если очень расшалимся.

Людмила Вильгельмовна выше его ростом, полная, очень красивая, в молодости, говорят, была красавицей, тоже была для нас предобрейшая, но она как-то

больше занималась Манечкой и еще несколько Лелечкой, а мальчики были всецело под руководством гувернера. Он тоже отличался добродушием. Его характеризует наше пение, с приплясыванием и хлопаньем в ладошки:

Ах! за азбукой постылой
Скука страшная берет,
Но Николай Филиппыч милый
Часто прянички дает.

И вот меня неудержимо тянуло к моим товарищам, в компанию эту веселую. Старшие два сына, Орест и Александр, только наезжали из Петербурга на лето и на большие праздники. Они были уже взрослые и мало нас касались. Митя, Лелечка, Илья, Алеша и я каждое утро учились у Николая Филипповича и получали пряники, если старались. Там же тетя Варя начала со мной заниматься французским и немецким языками, что было единственным горькою пилюлею во все пребывания мои там. Тетя Варя была со мною суха и неразговорчива, и я чувствовала себя при ней связанной и сторонилась ее, старалась избегать.

Так мы вдвоем в возке, не говоря почти, доехали к вечеру до Нытвы. Войдя в буфетную, она меня спрятала у себя за спиной под своим обширным салопом. Заслыша колокольцы тройки, все выскочили встречать. Лелечка первым делом спохватилась: "А Людочка? Отчего ее нет?" Обежала тетю Варю и с криком: "У тети Вари четыре ноги", — вытащила меня за ногу из-под салопа. Вокруг меня мальчики начали пляску диких от радости. Собственно, мне был ровесник только Алеша, а дружила я больше со старшими: Митей и особенно с Лелечкой. Мы были такие друзья, что даже переписывались. <...>

У Арсеньевых я выучилась танцевать, так как на Рождестве у них были вечера с танцами. Съезжались гости. Мне нравилось лансье, где нужно делать реверансы, на которые я была большая мастерица, помню, меня даже ставили в пример другим детям. В детстве все кажется обширнее и все относительно, но зал здесь был громадный, и дети в нем еще казались меньше. Очень большая спальня разделялась портьерой, за которой стояли кровати Людмилы Вальгельмовны, Лелечки, Манечки и моя. Мы, бывало, за портьерой, сдвинув кровати, изображаем театр своего сочинения или танцуем балет, представляем фокусы; с другой стороны, отдернув портьеру, взрослые потешаются над нашими выдумками. Долго потом уgomониться не можем, и высылаются к нам тетя Варя, как ушат холодной воды.

Гости уезжали, наступали будни, и "Николай Филиппович милый" засаживал всю детвору, кроме Манечки, за ученье. Были две классные комнаты, разделенные его и мальчиков спальней, из этой спальни дверь была наполовину стеклянная и стекло снизу завешено зеленой шторкой изнутри. Вход в эти две мужские комнаты нам воспрещался, а через их спальную из классной они могли приходить за указаниями к Николаю Филипповичу, когда он был у нас с Лелечкой. Он занимался то с ними, то с нами, потом, задав нам готовить тут же уроки, погружался в нашей классной в глубокое вольтеровское кресло и засыпал. Так ли? Скорее он исподтишка наблюдал за нашими невинными плутнями. Но тогда мы были уверены в его сне. Я и Лелечка кашляли и сморкались, этим давали знать, что учитель спит. Поверх зеленой занавески показывались глаза, дверь тихо-тихо открывалась и мальчики прокрадывались к нам в одних чулках, помогали решать задачи, танцевали, кувыркались, вообще цель была нас смешить. Мы прыскали от смеху, а Николай Филиппович будто ничего не слышал. При малейшем его движении мальчики исчезали. И так часто, и ни разу он их не поймал. Что-то странно! <...>

Большой дом и густой, спускающийся к пруду сад, полный цветущей сирени. Пруд отделяется от него решеткой, у обоих ее углов по беседке — наши волшебные замки при играх. Самое же большое наслаждение доставляли Pas-de-geans. Ах, эти

гигантские шаги — арена наших состязаний в высоте взлета! Нас, девочек: Лелю, меня, двух близнецов, подолгу гостящих здесь, — Любу и Веру Зеленцовых — заносили большие мальчики. Меня — всегда Митя, Лелечку — сын доктора. Я, как самая маленькая, а потому самая легкая, взлетала выше всех. Митя и я гордились друг другом, и у нас существовала взаимная симпатия. Раз даже он меня так высоко занес, что я сорвалась, и помню ясно, как, перелетев кусты, упала в такую заросль крапивы, что сама не могла выбраться. Не только Митя, а все взрослые перетревожились, не убила ли я; я же, кроме ожогов крапивы и царапин, отделалась только испугом. Хотели нас с Митей разъединить, но мы так протестовали, что вышло только запрещение высоко не заносить. Митя вскоре поступил во II Московский кадетский корпус, тогда еще военную гимназию, и стал жить в Москве у тетки, сестры матери, Елены Вильгельмовны, и мы стали видеться только летом.

В Перми самые близкие знакомые были Ильины и Поповы. Они проявляли такое участие к нашей матери, как дай Бог иным родным. Милый, милый дом Ильиных, такой благоустроенный, тишину которого мы нарушали криками и топотом наших детских ножек. Какое он незабываемое впечатление произвел на мою душу! Это нечто родное. В нем жили сочувствующие нам личности, особенно Ольга Николаевна, проявившая к нам любовь на всю жизнь. Большой, одноэтажный уютный дом в 12 комнат с длинным коридором, по которому мы, дети, без усталости носились взад и вперед. Два двора удивительной чистоты. На заднем, под навесом, две пожарные машины и бочки наготове, в случае чьего-нибудь пожара; нас, детей, они подолгу занимали, особенно Колю и Милю. Большой сад, излюбленные укромные местечки наши с Надей, подругой детства. Детство, детство — счастливая ты пора! <...>

В те блаженные времена в Перми еще не было женской гимназии. Имущие выписывали из институтов гувернанток, а они быстро выходили замуж. И потому явилось большим событием ее [гимназии] появление. Инициаторшей и ее попечительницей была Матильда Фоминишна*. Для примера и поощрения других она отдала в нее Надю во 2-й и 3-й класс. Я тоже настойчиво запросилась; хотя по летам меня не хотели принимать, но все же подвергли экзамену. Экзаменовал инспектор мужской гимназии. Читала и писала я хорошо, знала четыре правила арифметики. Спросил, не знаю ли я какого-нибудь стихотворения. Я раньше слышала, как Надя при мне учила "Ко гробу Кутузова", стихотворение, и заучила его. Я ему его и ответила. Когда же он, желая, видимо, меня озадачить, спросил, кто был Кутузов, то я ему не только объяснила, какой это был полководец, но даже подивила его, рассказав про Наполеона и про других полководцев 12-го года. Я их с братом даже разыгрывала, начитавшись превосходною книгою с портретами про войну 1812[-го] года. Отечественную войну я хорошо знала уже тогда. Спросил еще басни. На законе Божьем я собаку съела, как говорят. Меня приняли, и не в приготовишку, а в I класс.

Гимназию поместили в частный роскошный дом. Наш класс, как самый многочисленный, занял огромный зал в два света с четырьмя зеркальными дверями красного дерева. Я, как самая маленькая, сидела первой на первой скамье как раз против зеркала, в котором отражались все мои гримасы, делаемые для потехи классу. Училась я хорошо, особенно у священника, благодаря чтению с мамой закона Божьего.

Был задан вопрос, какие реки протекали в раю при Адаме и Еве, и вызвана была Крокодилова. Эта фамилия врезалась единственная в мою память. Она и весь класс не знали. Я замахала рукой, встала и прокричала: "Тигр, Эфрат, Геон и Фиссон". Ученицы в перемену забавлялись моими выходками и примеркой на меня своих шляп, смеясь моим ужимкам и представлениям. На Рождество

*Матильда Фоминишна — вторая жена Ильина Николая Николаевича. — *Примеч. сост.*

устраиались живые картины, в одной из них я должна была участвовать, но... какое же было мое разочарование, когда я присутствовала на этих картинах только как зрительница и уже не гимназисткой. Мама, по совету всего Совета учителей, взяла меня из гимназии, объявив мне, что за шалости; но в действительности ее напугали, что такое раннее развитие вредно. Я очень горевала, и для моего утешения меня с прислугой каждое воскресенье препровождали туда играть с девочками. Раз я явилась домой без провожатой. Мама так рассердилась, что больше уже не пускала в гимназию.

Инспектор рекомендовал маме нам в учителя своего брата, кончившего гимназию. Коля учился у него хорошо. На меня же он нагонял такую скуку и апатию, что я не учила ему уроков, особенно по-французски и по-немецки. Сяду за шкаф в угол и мечтаю вместо учения. Жалобы его на меня маме надоели. Наконец, брат поступил в гимназию. Я освободилась от учителя. Маме опять горе. У гимназистов с семинаристами уличные кулачные бои за частую, и Коля приходит в синяках, раз даже его так исколотили, что садиться не мог. Либо он пропадал на целые дни с товарищами на Каме, бегая по плотам. Он и его товарищ Саша Попов (впоследствии доктор и друг брата) не раз проваливались между плотами и спасали друг друга. <...>

Первые дни Пасхи мы всегда проводили у Ильиных с мамой, там и ночевали. Большой их зал во всю длину занят накрытым белой скатертью столом, уставленным куличами, пасхами и всевозможными закусками и бутылками. <...>

Какое сильное впечатление произвела на меня пасхальная заутреня, увиденная мною впервые! Раздели меня в белое платье с пышным бантом. Лошадь прислали за нами Ильины, с которыми мы встретились в церкви монастыря. Между заутреней и обедней время мы провели у архиерея в квартире, где я разглядывала чудные картины, развешанные по стенам.

Ольга Николаевна, моя милая Олечка, вышла замуж за барона Энгельгардта, и без нее образовалась некоторая пустота, ощутимая мною, хотя я и бывала у нее на новой ее квартире. Вскоре умер и Николай Иванович. <...>

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Виктор давно хлопотал о принятии меня с сестрой в институт. Вот пришла бумага за красной печатью о принятии меня по баллотировке в Смольный институт⁴. Она очень запоздала, придя поздней осенью. Мама, взяв ее, перекрестилась, и я учуяла важность этого события. Надо бы скорее ехать, а дороги нет ни колесной, ни зимней. Все распродали, кое-что отдали на сбережение в Кунгур и Серафиме Леонтьевне Муравьевой. Ильины тоже собирались за границу. Поповы собирались переводиться в Петербург. Мама долго искала попутчиков, но кто в такую пору ездит в такую даль? Железной дороги ведь тогда не было до Москвы. Наконец, мама нашла в попутчики жандарма, привезшего ссыльного и ехавшего обратно в Петербург. Отвезла Милю к тете Поле, у которой не было детей, купила возок, и мы на тройке, на козлах с жандармом, поехали так до Москвы. Прощай, Пермь, прощай, Нытва, Кунгурская волюшка, деревенское раздолье... Но я отнеслась к отъезду скорее с интересом, чем с сожалением.

Жандарм был хороший нам помощник. Он нас, спящих детей, выносил на станциях погреться, и в Москве, как знающий, помог маме устроиться в Кокоревских номерах, очень недорогих. Ехали мы, конечно, не без приключений. Раз, в пургу, даже свалились под откос, но ни люди, ни лошади не переломали ног; не раз попадали в полыньи и т.д. Мама наша уже в этом случае проявила героизм немалый. Жандарм, уехавший раньше нас из Москвы, предупредил в Петербурге Виктора о нашем приезде. В Москве мы побывали у Елены Вильгельмовны и видели Митю уже в форме военного гимназиста. <...>

Приехали мы <...> к масленице. Виктор был как раз дежурный по службе

и не мог меня сопровождать на балаганы на Марсовом поле и потому поручил меня сопровождать брату своей жены. Тот не только мне все показал, но даже по кондитерским наугощал и накупил мне массу бонбоньерок: "Это тебе запас в институт". Тут я в первый раз увидела целый поезд карет с кучерами и лакеями на запятках, в треуголках, красных ливреях, обшитых желтыми тесемками с орлами. Я удивилась этому виду. "Вот и ты будешь так кататься, Людочка; это институток катают". Мне даже захотелось скорее в институт. Ново было, любопытно.

Колю отдали в III гимназию. Он самостоятельно бегал повсюду. На Марсовом гулянии всюду пролезал без денег. Маму беспокоила такая вольница в нем. Через год и Миля выбаллотировалась в Московский Александровский институт. Училась я все время не систематично, урывками, то у Ильиных, то у Арсеньевых, дома почти не училась, только читала, и как я подготовлена — был открытый вопрос. За опозданием прихода бумаги о моем принятии в институт я пропустила целую зиму [1863/64 гг.] <...>

Как сейчас помню, провели нас — меня с матерью и братом Виктором — из громадной прихожей с величественным швейцаром в красной ливрее и с булавой в руке в апартаменты начальницы, Марии Павловны Леонтьевой. Она, в синем шелковом платье, в белой наколке (неизменный ее костюм), была с нами любезна и сама лично с инспектором классов меня проэкзаменовала. Я была в ударе и выдержала в 6-й класс, по гимназическому — 2-й. <...>

Меня все это новое так занимало, что я была удивлена, увидев маму плачущей при расставании со мной. Дети — большие эгоисты. Мне запали в душу только слова Виктора: "Ты теперь, Людочка, птичка в клетке".

Всех своих подруг я научила играть в казаки-разбойники. Мы носились по громадному залу с шумом и гамом, так что классные дамы, унимая, говорили: "Вот так новенькая, всех перебудоражила". Первое слово по-французски из разговорной речи усвоила: *silence**. Училась я неважно, но меня мало и спрашивали как ожидавшуюся другого состава учениц. Наступили экзамены, я их не держала, но только присутствовала. Все мои подруги, за малым исключением, перешли в 5-й класс. Я заливалась горькими слезами, расставаясь с ними. Это были мои первые слезы.

Мама не могла меня взять на каникулы, так как квартира Виктора была переполнена. Привезли Милю и оставшихся полными сиротами детей умершего Николая Александровича: за ним умерла и их мать, и детям некуда было деваться. Тут еще Коля не давал маме покоя своими шалостями в гимназии. Из нее его даже присылали со служителем домой. Мама все боялась, что его исключат, хотя учился он хорошо. Виктор хлопотал об определении его в Гатчинский сиротский институт.

Летом я носилась по саду уже не с таким упоением с новыми подругами, да и заскучала по своей пермской волюшке. Когда ложились все спать, я частенько в постели плакала, но маму не хотела огорчать и не говорила ей о своих слезах. Меня иногда сажали вдали от класса, когда поднимался визг и крик воспитанниц, которым я засовывала под пелеринку лягушат или букашек. Все страшно боялись и тех и других, а меня это удивляло, и я хотела их приучить. Не съела же она ее, думала я.

Нас водили летом в Таврический сад. Курьезное, верно, это шествие было для зрителя. Нас выстраивали широкими рядами посередине дороги, впереди самые маленькие 7-го и 6-го класса — кофейные, потом 5-го и 4-го — голубые, 3[-го] и 2[-го] — зеленые и, наконец, 1-й и пепиньерки — лилово-серые; у каждого класса сбоку шли классные дамы, как офицеры, каждый у своей роты. Впереди всех выступал величественный высоченный швейцар весь в красном, в треуголке

*Тихо (фр.).

и с булавой. Сзади шли служители, прислуга и ехала карета со слабенькими. Над нами, как над израильтянами при переходе Чермного моря, стоял тоже столб, но ... пыли. В Таврическом саду нам давалась свобода, мы рассыпались по всему саду. Некоторые из молодежи, из глазевшей на нас публики по панелям, сопровождали нас и в саду, а там, забираясь на вал, с нами переговаривались через забор, так как сад запирался для посторонних. Возвращались мы уже вечером с букетами цветов и гостинцами, с приятным воспоминанием.

Я уже застала Ушинского, но веянье его системы осталось и живо было еще⁵. Самый нелюбимый мною предмет был немецкий язык, который изучался по большим раскрашенным картинам. Я их сначала с удовольствием разглядывала, а потом возненавидела, так как получила за них маленький ноль, а со мной вместе другая — большой ноль. И уж, как я слышу, вызывает Шмидт: "Фрейлейн Молшановска!" — ну, значит, сейчас и "Фрейлейн Паньютин". Беда!

Разучивалась картина *Rotkehlchen**. Раз как-то, объясняя ее, Шмидт вдруг полез под учительский стол, представляя красношейку. Общий смех и недоумение. Красная дама послала двух учениц за инспектором. Тот пришел, извлек "красношейку" из-под стола и увел. Нам было запрещено смеяться. Потом мы узнали, что Шмидт сошел с ума.

Больше всего меня привлекали уроки русского языка. Преподавал его Семенов Дмитрий Дмитриевич, известный педагог. В старших классах он преподавал географию. Особенно мне нравилось писать сочинения, но диктовка меня подводила, я иногда делала кучу ошибок, а другой раз пишу безошибочно. Семенов недоумевал и для проверки заставлял писать на доске или садился подле меня на скамью, думая, верно, уж не списываю ли я у соседки. По временам его урок протекал как игра и доставлял нам большое удовольствие. Мы выучивали ему из "Бежина луга" наизусть роли мальчиков и потом выходили партиями к его столу и разыгрывали как бы театр. Сначала он сам распределил роли между лучшими своими ученицами, в число их и я попала, и даже получила главную роль Павлуши. Я была горда. Потом мы менялись ролями и так, шутя, выучили весь "Бежин луг" Тургенева. Потом принялись за "Крестьянских детей" Некрасова. И так мы много чего у него переучили и все с удовольствием и незаметно. Он нас выучил дикции.

Когда мы перешли в 4-й класс, самый скучный класс — с церковно-славянской грамматикой, — красавец учитель не скрасил даже его и не стер впечатления от предыдущих классов. Для меня этот класс прошел в конце концов в лазарете. Перехворали многие корью, и я в том числе во второй раз. Помню: и день и ночь полумрак. Лампа занавешена. Кончилась корь, мы уже поправлялись, и в этом мраке особенно разыгрывалась неудержимо фантазия, и я, как Шехерезада, придумывала сказки, а остальные с удовольствием слушали и приставали даже тогда, когда уставала и не выдумывалось ничего. После моей импровизации пытались и другие сочинять, но не всем почему-то это удавалось.

Перешла я в 3-й класс. Но тут я должна была покинуть институт на целый год. Мы, собственно, всегда были рады вырваться из его стен. Да: когда нас летом выводили в Таврический сад или купаться на Неву, а уж не говоря о каникулах, а тут мне не хотелось отрываться от занятий и от подруг. Между тем лечивший меня все лето, пока я была на каникулах, доктор Изенберг сказал маме, что, если она меня не возьмет по крайней мере на год и не будет лечить горячими ваннами и молочной диетой, то я умру. Дело было, оказывается, в том, что после кори у меня получилось осложнение в почках. Я получила такое сильное малокровие, что со мной стали делаться обмороки не только в церкви, а даже при стоянии на уроках. Меня посадили на лазаретный стол и давали мне бифштекс и какао на молоке, но мне делалось все хуже и хуже. Оказалось, что как раз при нефритах мясо и какао запрещаются, а нужны горячие ванны с обертыванием.

*Малиновка (нем.).

Был созван консилиум со знаменитостями Раухфусом и Сдекауером и было решено испросить соизволение у императрицы Марии Александровны об отпуске меня на год для излечения. Она написала на бумаге: "Хорошую и способную отпустить, а неспособную совсем уволить". Меня отпустили с тем, чтоб я вернулась в тот же 3-й класс. И мы уехали с мамой в Кунгур, где прекрасного молока сколько хочешь и удобно делать ванны. <...>

Привезла меня мама осенью бледную, одутловатую, вялую. Но уже к Рождеству [1868 г.] я так оправилась, что могла веселиться на всех устраиваемых там пирах. Я присоединилась к занятиям у учителя своей родственницы Глаши, моей ровесницы, с которой мы были неразлучны. Нам зимой устроили ледяную горку, и мы весь день проводили на воздухе, хотя, по тамошним понятиям, мы уже были барышнями-невесты.

Завод деда кончался забором, в нем были ворота, соединяющие соседний завод пароходов англичанина Гакса. Наши семьи были в дружеских отношениях. Для сокращения пути Гакс ездил через эти ворота и наш двор, и потому мы часто с ними виделись. Я и Глаша были равнодушны к красивому их сыну Эде, 19 лет. Он отвечал нам взаимностью. <...>

Летом мы из купальни не выходили. Мои косы не высыхали, и дядя подсмеивался, что они сгниют. К дяде приходил цирюльник брить его. Я подкараулила его в коридоре и попросила меня обрить. Мама так и ахнула. "Зато сватать больше не будут", — утешала я ее. Предполагался на красивом Кротовском озере пикник, и в наказание мама не взяла на него. "Там был Эдя и спрашивал про тебя", — утешала она меня, вернувшись.

Мы с мамой занимали наверху одну из "блязнящих" комнат с балконом. Было очень жаркое лето, душные ночи. Мы изнывали от жары. Я с Глашей перебрались спать на балкон. В третьем этаже — ни комаров, ни мух. Покрыв балконные перила коврами, на полу на тюфяках мы долго не спали, вдыхая теплый ароматный воздух. Ах, хорошо! Над нами бездонное звездное небо. Долго, бывало, толкуем о таинственности бесчисленных миров. Глаша говорит, что простые думают, что звезды — это светятся души умерших праведников. "Глупости. Наша земля тоже светится". Раз утром, выходим к чаю, а дядя смеется: "Ну, уж и спите же вы, вас и барабанным боем не разбудишь. Эдя-то тарцевал, тарцевал перед вашим балконом". Оказывается, в огороде — саду рабочий, куря, заронил огонь в сарай с сеном, и он на рассвете сгорел. В Кунгуре тогда все жители спешили помогать тушить пожар, чем кто мог. Мы, конечно, досадовали, что нас не разбудили.

Осенью мы с мамой выехали из Кунгура на новом пароходе Гакса с их семьей и их родственниками Тет; ехали очень весело по Сылве, Чусовой с ее чудными скалами и Каме до Перми. <...>

В Москве мы остановились, чтоб навестить сестру Милю в институте и поглядеть знакомых. Было воскресенье. Днем мы побывали в институте, обедать отправились к Елене Вильгельмовне, тетке Мити А[рсеньева], где он жил. Он был очень красивый, изящный, с нежным голосом портупей-юнкер. После обеда он предложил играть в почту. Вся молодежь засела за круглый стол. Митя сел подле меня, и началась переписка его со мной, так как он выбрал меня. Из коробки выбирались нужные буквы и складывались в слова. Митя писал все воспоминания про Нытву и спрашивал, не забыла ли я ее. Я все сразу понимала, но нарочно путала буквы и делала вид, что не разберу. Видимо, ему это было неприятно, а меня забавляло. Я и сама не знаю, для чего я была неискренна. Меня что-то смущало, и я для чего-то представляла из себя такую идиотку. Когда мы прощались, то Митя выразил сожаление, что мы уже завтра уезжаем и когда-то еще увидимся. В передней, отыскав мои галоши и увидя мои ноги, он сказал своей тете: "Посмотрите, какая у Людочки ножка, прямо колибри". Это слово, колибри, мне не понравилось почему-то,

и я, верно, сделала недовольную мину. Тетя, заметив это, сказала: "Митя, ты Людочку смущаешь". Между тем Митя был мне очень, очень симпатичен, и я, должно быть, боясь это выдать, разыграла недоступность. По выходе от них жалела и так захотелось вспомнить с ним милую, не забытую мною Нытву.

Я вернулась в тот же 3-й класс. Опять новые подружки, с которыми скоро сошлась. В этом классе были две первые ученицы. Настал урок литературы с новым учителем, Александром Анемподистовичем Радонежским. Мы слыхали, что он читает бесподобно, особенно Гоголя, и ждали его с любопытством. Все примолкли. Входит он в вицмундире, но наружность не вицмундирная — волосы взлохмачены, и все еще продолжает их ерошить: "Здравствуйте, девицы!" Не *Mademoiselles*, как все. Уже это ново. Здравается с нами с первыми, а уже потом с классной дамой, не так, как другие учителя, за то его многие называли невежей потом. Садится за стол, раскрывает журнал и углубляется в его чтение. Тишина. Мы переглядываемся. Классная дама вся красная отчего-то. Наконец он поднимает голову и говорит: "Девицы, давайте знакомиться. Мне про кого-то из Вас говорил как-то Дмитрий Дмитриевич". Опять наклонился над журналом и вдруг: "Панютина Людмила? Поэтическое имя". Я встаю вся красная. Волосы мои такие же лохматые, как у него, так как вились после бритья. Радонежский попросил нас, каждую, что-нибудь прочесть и рассказать какое-нибудь стихотворение наизусть. Я ему сказала из Некрасова "Что так жадно глядишь на дорогу", выученное мною самостоятельно. Когда я кончила, то учитель спросил только: "Это вы когда же учили? В каком классе?" Я сказала, что оно мне понравилось, я и выучила. Потом он сам нам читал.

После урока я получила выговор от классной дамы, что вздумала отвечать выученные не с учителем стихи. Все эти последние 3 года моего пребывания в институте его уроки доставили мне истинное наслаждение. Он знакомил нас с литературой, а руки его были связаны институтским кодексом. Белинского, Писарева и Добролюбова существования мы и не подозревали до конца 1-го класса, да и то познакомились с ними не через него, а урывками, скрываясь от классных дам. Бывало, засядешь за парты на пол, под передником запретная книга, на переднике — учебник. Заходит иногда за парты классная дама, слышишь сморкание, и действует на виду учебник.

Разбирали мы "Дворянское гнездо" Тургенева. Радонежский дал нам его прочесть и написать сочинение по поводу его. В этой книге были "Рудин" и "Накануне", кроме него. Я удалилась в дальнюю аллею сада и глотала "Накануне", ничего не видя и не слыша кругом. Вдруг книга вырвана у меня из рук, и передо мною — классная дама. Запрещенные книги конфисковались. Мы решили всем классом не писать сочинения, пока книгу нам не возвратят. Радонежский в один из уроков спрашивает: "Что же это вы, девицы, не пишете мне сочинения?" Я встаю и заявляю, что виной этому я, книга конфискована за то, что читала "Накануне", про "Рудина" уж умолчала. Классная дама, вся пунцовая, подает книгу, объясняя, что следовало приносить каждую статью по отдельности.

Радонежский, принимая от нее книгу, говорит: "Девицы уже на выпуске, нужно же и пора им знакомиться с жизнью, а то и выйдут из них "дамочки приятные во всех отношениях" и "просто приятные". И вернул нам книгу.

А как он восхитительно читал! При чтении Гоголя мы чуть не валялись под скамейками от неудержимого хохота; даже классные дамы, такие сдержанные, тряслись от смеха, закрывая лицо руками. А сам Радонежский не улыбнется даже. И вдруг он встает и грозным голосом бросает: "Чему смеетесь, над кем смеетесь? Над собой смеетесь! Ведь многие из вас только и годны, чтоб разбирать, что пестро и что не пестро, фалбарочки да оборочки. Так?" Он не только

нас учил, но и воспитывал, заставлял отвыкать от шаблона, будил в нас мысль. Спасибо ему! Хотя некоторые его порицали: "Как он смеет нас так третировать, мужлан!"

Он нам задавал сочинения на разные темы. Так, еще в третьем классе задал написать типы — характеристики. Многие написали "нянь", и наша первая ученица тоже. По прочтении их Радонежский заявил: "Девицы, я вам прочту только два сочинения. Оба они настолько противоположны и вместе с тем хороши, что обоим я отдал дань предпочтения перед всеми". Мы все насторожились. Я, помню, подумала: "Кто эти две счастливицы?" Первым он прочел сочинение нашей первой ученицы — "Няня". Очень хорошо, в сердечных тонах написано. Второе мое — "Кто это?" Это была для меня большая неожиданность. Мне так хотелось написать что-нибудь оригинальное, и я долго медлила; у всех уже были написаны, а я еще не начинала, все обдумывала тему и потом наспех написала куда короче многих и гораздо — первой нашей; и вдруг меня сравнили с ней! Чудеса! Я описала приживалку. Ходит она из дома в дом по своим благодетелям, не имея никакой профессии. В ее порывешем, потертом саквояже между разными тряпками в газетном обрывке шепотка чаю, огрызки сахару и т.п. Не имея определенного пристанища, она всюду подлаживается. Это только канва, а фон я, значит, вышила хорошо, если заслужила похвалу требовательного критика Радонежского. На этом чтении наших сочинений присутствовал инспектор Лядов. "Г-жа Панютина, откуда у Вас такая наблюдательность?" — спросил он меня. Что я ему могла ответить? Я и не подозревала, что я наблюдательна. Урок был последний. Встаем мы в пары, чтобы идти обежать. Подходит ко мне классная дама и говорит: "Откуда у тебя, еще девочки, такая ядовитость? Этак ты и нас всех саркастически опишешь когда-нибудь?" Подозвала к себе нашу первую и поцеловала ее за ее задушевность. Я отчасти была смущена, а отчасти торжествовала. Мое сочинение произвело сенсацию. Весь почти класс после заявления классной дамы перешел на мою сторону.

На другой день в перемену пришел инспектор, вызвал меня и стал увещевать меня заниматься ровнее, а то по одним предметам я не выхожу из 12 [баллов] с плюсом, и нет меньше 10, а по немецк[ому] — вдруг 7. Я ему сказала, что немецкий не люблю. "Ведь Вы бы сразу выдвинулись, а семерка Вас тормозит". Да, она меня тормозила, но тогда бы я не успевала кое-что почитать. <...>

Дали мне прочесть "Обрыв" Гончарова и торопили страшно, так что я решила читать за уроком немца. Я сидела на скамье второго ряда у стены. Каждая скамья была на двоих. Через две недели перемещались от стены к окнам. Между скамьей — проходы, так что учитель мог прогуливаться в любом из них, но в старших классах учителя почти никогда не заходили в проходы между скамьями. Этим мы пользовались и читали за уроками. Я так углубилась в чтение, что перестала сознавать, где я. Я шла с Верой и Волоховым в обрыв, и вдруг толчок в бок подруги вернул меня к действительности. Я вызвана отвечать урок, а я даже не знаю, что задано. Это безвыходное положение меня так напугало, что я просто обомлела и до такой степени стала бледна, что добрейший Herr Richter забеспокоился: "Ach, Fräulein Panjutin, Sie ist krank!" И этим спас — меня отправили в лазарет с двумя подругами. До лазарета немалая дорога по громадным коридорам.

Когда я так удачно выпуталась из затруднительного положения, я оправилась и не знала, как здоровой идти в лазарет, но все же решила идти, так как и подруги рады были прогулять хоть часть урока. Мы, хохоча, пришли в лазарет. Нас встретила лазаретная дама, добрейшее, самоотверженное существо: "Это что? Здоровую привели? Знаем мы, как болит голова, верно, урока не выучила? Ну, полежи, полежи".

* „Ах, фрейлейн Панютина, Вы больны!" (нем.)

Следующий урок был Радонежского. Я, конечно, как прозвонили перемену, убежала из лазарета на урок к нему. Классной даме сказала, что "J'ai mal au ventre"*. Как скажешь правду?

Большая, большая ошибка наших педагогов — не знакомить девушек уже на возрасте, под своим руководством, со всеми выдающимися произведениями литературы. Почему-то запрещенный плод всегда слаще. Нынешние гимназистки, я знаю, уже с 15 лет зачитываются ужасами произведений Л. Андреева, непозволительными для них, Арцыбашева и даже совсем развращающими вещами. Так, мне рассказывал один знакомый, что, придя к своему другу и не застав никого дома, прошел в комнату его 15-летней дочери подле гостиной, чтобы написать записку, и увидел на ее письменном столике такую непозволительно безнравственную книгу, что диву дался. В институте книги проходят через родных и этого ожидать нельзя. Разве что на каникулах. Хотя воспитание вкуса к изящной литературе уже к этому времени успеет выработаться; все непорядочное уже шокирует и даже претит. Воспитание — это великое дело, и от него всецело зависит весь строй жизни общества. У нас в России большинство детей растут, как в поле былинки. Откуда выработаться силе воле, если с детства не привыкнешь сдерживать свои порывы и прихоти.

Когда я поступила, то застала еще некоторые наказания. Так, уж не помню за что, одну ученицу посадили за отдельный обеденный стол, сняв с нее передник. Приехал принц Петр Ольденбургский, увидал, спросил, в чем дело, и заявил, что нарушение формы недопустимо ни в каких случаях; и с тех пор вышло правило никого не наказывать, а сбавлять балл за поведение, и если за неделю сбавлено много, то не пускать в приемный зал на свидание с родителями, и этого почти не случалось, так все застарались вести себя хорошо, взяли себя в руки. В первую же неделю моего поступления в институт забралась я с товарками в дортуар, когда все другие учили уроки в классе, и стали мы прыскать. Вошла классная дама, а мы убежали. Она вернулась в класс и начала дознаваться, кто шалил в дортуаре. Никто, кроме меня, не сознался. Она меня наказала, поставив к доске, стоя учить уроки. Глупо! Те, которые были со мной, называли меня дурой, что, собственно, заслужила классная дама: по своему недомыслию она наказала меня за правдивость. В другой раз я уже не была так глупа. И это воспитательница! Принц оказался лучшим психологом.

Что я могла хорошо учиться, но была ленива к тому, что меня не занимало и потому не нравилось, показывает такой случай. У нас процветало "обожание" — наше общепринятое слово. Эта потребность любви и ласки проявлялась к какой-нибудь воспитаннице, непременно старшего класса, как к недостигаемому существу или к какому-нибудь учителю как избранному авторитету. Больше всего было обожательниц у Радонежского и Барзаковского, учителя истории, конечно, без взаимности и поощрения. Проявлялось оно в том, что обожаемому учителю выучивались лучше уроки, ставилась какая-нибудь изящная чернильница вместо казенной и ручка для пера, мел обертывался в папиросную цветную бумагу вместо простой. Классные дамы не препятствовали такому особому вниманию. Учителя, как видно, не подавали виду, что замечают, хотя это бросалось в глаза. Конечно, для них это было от всего класса, не могли же они знать инициаторшу всего этого великолепия. У меня была очень оригинальная и красивая чернильница и соответствующая ей ручка, подаренная Виктором. Обожательница Барзаковского просила одолжить их ей на его урок. Я заартачилась и сказала: "Уж дам лучше для Радонежского". Она вспыхнула и упрекнула меня скверными баллами у него. Я действительно не выходила у него из 8—9. Меня, правда, мало занимали Пунические и Белой и Алой Розы войны. Вообще никогда войны не любила, разве в раннем детстве, в играх. А тут

*"У меня болит живот" (фр.).

вся история в войнах. Она меня затронула за живое, уколола мое самолюбие. "Я тебе докажу, что я не немогла хорошо у него учиться, а просто не хотела", — и отошла от нее.

Приблизились каникулы, и я во время них дома проштудировала все пройденное с Барзаковским, все-все, начиная с Греции, Рима, Финикии и русскую, вызудила на зубок всю хронологию. К осени вернулась с каникул во всеоружии к историку.

Помню, был жаркий осенний день, в классе все окна были открыты, хотя шторы были спущены, но чувствовалось, как солнце палит. Доносилось пение птичек, вспоминалось каникулярное время. Я раз мечталась. Классная дама велела снять пелеринки. Входит Барзаковский, уткнулся своими близорукими глазами в журнал. Я только расположилась опять помечтать, как слышу: "Г-жа Панютина!" Вмиг все мои мечты разлетелись, настала минута состязания. Я была на него зла, что он лишил меня упоения помечтать, уставилась на громадную карту на подставке и отвечала, отвечала без конца. Он гонял меня по всему пройденному за все время, особенно по хронологии, которую я прежде никогда не знала; наконец, кончил, слышу: "Садитесь, благодарю Вас". Никого больше не вызывал, начал сам рассказывать, ходя взад и вперед. Рассказывал он интересно. Слушать я любила, но того, что он говорил, не было в книгах Иловайского. <...> После урока многие бросились к журналу — я сама не пошла — и кричали мне во все голоса: "Людмила, тебе 12". Была почему-то радость всеобщая, не то от меня не ожидали такого сюрприза, не то от радости, что выручила на этот раз от ответа. С тех пор я у Барзаковского из 12 не выходила и даже как бы сдружилась с ним. Когда он замечал, что я во время ответов за его уроком занимаюсь чтением, то вместо того, чтобы меня вызвать на ответ, как всегда делал с другими, подходил к карте-гиганту и, как бы рассматривая, шептал: "Бросьте читать".

Как-то всех близоруких позвали в лазарет к приехавшему окулисту для назначения очков. Шел урок истории, когда вернулись, и я в том числе; Барзаковский заинтересовался, где мы были. Потом, когда нам выдали очки, я их надела и за уроком Барзаковского; он опять подошел к карте, пока отвечали: "Бросьте очки, не носите". Я нарочно стала надевать на его уроки, хотя они мне уже надоели. Тогда раз после урока он подошел прямо к нашей скамье и громко сказал: "Г-жа Панютина, не привыкайте к очкам, я Вам советую, потому что у Вас ведь не прогрессивная близорукость, при которой они необходимы. Я Вам это говорю по своему опыту". И я ему несказанно благодарна, так как я, дожив до старости, не нуждаюсь в очках даже при работе иглой и крючком.

После русского я любила геометрию, где теоремы старалась доказать самостоятельно. Математик Косинский, как заведенная машина, бывало, ходит взад и вперед, все время потирая рука об руку, если не пишет на доске. Он был молод и недурен собою, но почему-то его и учителей иностранных языков никто не обожал.

Мне нравилась еще физика. Физик как-то устроил из всех воспитанниц класса цепь и пустил ток электричества. Не соразмерил ли он его или нарочно, желая показать его силу, пустил такой сильный, что нас разбросало во все стороны, многие даже попадали и поушибались о шкафы. Институтки — большие неженки и по пустяку из мухи слона делают. После этого все стали бояться электричества и электрической машины. Я, любительница делать не так, как все, оказалась храбрее всех и фигурировала одна на опытах физика. <...>

Всеми моими сочинениями Радонежский был доволен. На одном из них он на целой четвертушке листа написал мне такой хвалебный гимн, как сказали подружки, что всем обожательницам стало завидно; закончил его словами Некрасова "сейте [разумное], доброе, вечное..." и чтобы я не бросала, а продолжала

писать. Он мне сулил литературное поприще. Это сочинение долго гуляло у родных моих друзей, потом мама показала мои сочинения учителю русского языка III гимназии Юрьеву. Он их прочел своим ученикам, ставя в пример институтку. Юрьев их дал напечатать в какой-то детский журнал, пообещав вернуть. Но, к сожалению моему, они так и пропали. Тема была "Листы и корни": по басне Крылова написать повесть, кто не может — рассказ. Некоторые написали чуть не целые романы. Я написала повесть.

Начала так: зимняя вьюга в полях крутит; богатая помещица сбилась с дороги, плутала долго, наконец, тройка вывезла на огонек к деревушке; был недород, и многие семьи голодали, в одну из таких попала богачка, она ночевала, а наутро оказала семье хорошую помощь и, уезжая, взяла воспитывать малютку — хорошенькую девчурку. Воспитала ее как дочь. Когда она, уже взрослая, нарядная, беззаботная, разгуливала в саду, полном цветов, подошел к калитке мужичок, она высокомерно с ним обошлась и ушла на кухню. Это был ее отец. Вот фабула моей повести, а конец такой: она не сознавала, что она лист, а корень-то — это зипун. Вывод: крестьянство — корни, интеллигенция — листья.

Я подолгу жила в деревне и видела труд крестьян, но, правда, нищеты у них не видала, все как-то тогда более уравнивалось.<...>

Часто нас посещал государь Александр II. Я не могу точно определить испытываемого мною чувства к нему. Оно менялось с возрастом. В младших классах фигурировало удивление, что можешь видеть первого человека в государстве, и на первом плане — любопытство с чувством некоторого страха. Царь во всех сказках — нечто могущественное, великодушное, при этом представлении сейчас вспоминались бриллианты, яхонты, и вдруг — простой офицер, правда, представительный, но все же некоторое разочарование. При моем поступлении, помню, как нас, 6-й и 7-й классы — кофейные, выстроили в рекреационном зале. Мы ждали, а царь замешкался где-то. Классная дама послала меня разведать, где он. Я побежала и все твердила: „Qui, Sire; non, Sire”*. Вдруг слышу в коридоре шум, и из-за поворота вышел Он. Я не успела убежать, как [он] обратился ко мне по-русски: "Вот и кофеинка. Где все ваши?" Я ответила, и, потрепав меня по щеке, он пошел, окруженный со всех сторон институтками, в рекреационную. Потом наши мне завидовали.

Потом он стал вовсе не страшен, явилось чувство какого-то благоговения и восторга при виде его, такого всемогущего и вместе с тем простого, которого занимала наша толкотня, и ему даже приходилось самому отодвигать шпингалет для открытия другой половинки двери, чтобы схлынул бурный поток шумящего камлота — голубого, зеленого и сероватого цвета. Его нередко толкали. Мне от толчка сзади пришлось налететь на него. Я смутилась, а он участливо спросил: "Вы не ушиблись?"

При нем была нам свобода. Классные дамы в отдалении старались быть невидимками, да и нам было не до них. Когда мы узнавали о его приезде, то сейчас же прекращалась тишина урока, все бросалось со своих скамеек, учителя торопливо забирали свои портфели. Мы уже забывали о существовании классных дам, у них расплата с нами шла потом, все бежали навстречу. К радости при его виде примешивалось и эгоистическое чувство радости свободы от уроков, учителя не успевали задавать их, и уроки в этот день совсем прекращались.

Государыня бывала редко. Об ее приезде извещали заранее. Начальница распоряжалась делать прически всем на прямой ряд, волос к волосу, и ей показываться. Моя сплошная вьющаяся шапка ее смущала, она не поддавалась никакому ряду, и потому мне велено было примочить кудри сахарной водой.

* „Да, Государь; нет, Государь.” (фр.)

Примочила, и — о, ужас! — образовались два торчащих рога. Они вызвали неудержимый хохот у всех. Начальница при моем появлении тоже сначала пришла в ужас, а потом в недоумение, что со мной делать. Не спрячешь. Повели мыть мне голову. Я, наконец, стала терять терпение. Такая масса занятий, а приходится тратить время на пустяки. Наконец меня оставили в покое.

В коридорах нас выстраивали шеренгой, инспектрисса изображала царицу, шла между нами, а мы, по 10 человек враз, делали глубокие реверансы, нас поправляли и этим немало досаждали. Наконец приезжала царица; по коридорам были застланы ковры, курились фимиамы, зал был украшен зеленью. Она присутствовала на уроках и сама вызывала. Мы страшно боялись, не попала бы она к нам на немецкий. Так и есть. Звонок. Скоро придет Herr Richter. <...> Она пришла и благоговейно слушала урок, задавала сама несколько вопросов, поговорила по-немецки с Рихтером, а тут и звонок большой перемены. Повели ее в зал, пели гимны, играли на роялях. Она как раз стояла у того полукруга, где в середине была я, и обратила внимание на мои волосы, и ей доложили начальница и инспектор, что я была обрита после болезни. <...>

Хотя Мария Александровна была очень умная и красивая, но мы к ней не питали того восторга, как к государю. Чувствовали облегчение с ее отъездом. Помню, как в первый раз, еще будучи принцессой Дагмарой, приехала к нам будущая императрица Мария Федоровна. Меня и мою подругу назначили проводить ее в лазарет, где она выразила желание побывать. Шли мы с ней быстро по коридорам, разговаривая по-французски. Она дала мне поддержать свою муфту, а подруга попросила и ей дать поддержать. Она засмеялась нашей глупости и сама ей передала ее.

Когда я поступила, у нас были два доктора и оба старые. Придя в первый раз в лазарет за компанию с товаркой, которая ходила туда принимать рыбий жир, я увидела этих докторов в первый раз. Один из них при виде меня воскликнул: "Это что за явление? Откуда взялось?" Узнав, что я новенькая, он меня повел под руку по всем комнатам лазарета, говоря: "Вот такими, как эта, кровь с молоком, я хотел бы видеть всех институток". Такая я тогда была здоровая девочка. <...>

У священника у меня было даже 12+(с плюсом). С 3-го класса я начала петь на клиросе, и поэтому было уже не до молитвы. Моя жажда молиться стала пропадать. Пели мы очень хорошо, и приходили даже учителя нас слушать; особенно в посту пелись хорошо великопостные мотивы: "Да исправится молитва моя" превосходно выходило. На клиросе, когда не пели, то пользовались правом присесть на пол, а тут уже не до молитвы. Шепчутся, смешат. У одной певшей всегда ее большой карман был набит всякой всячиной и топырился под передником. Присев калачиком на пол клироса, она вынимала на передник по одному предмету все содержимое кармана. Чего-чего только у нее не было: и наперсток, игольник, записная книжечка, перочинный ножик, пробка, шоколад — и каждый раз что-нибудь новое. "Зачем ты теперь все это выкладываешь?" — спросишь, бывало. "А затем, чтоб не забыть, чем богата, в другой раз ведь некогда". На самом же деле, чтоб посмешить. Это была та самая, с которой мы получали у Шмидта нули. Она оставалась 2 года, и я ее догнала. Наш правый клирос должен был быть начеку, и вот впопыхах она поет, а из собранного в передник вытаскивает и запикивает в карман обратно вещь за вещь. Не благолепно. Меня иногда это злило, и регентша вечно с ней ссорилась. Да, при одном и том же воспитании выходят разные личности, воспитывает и посторонняя среда. "Она верующей считает себя, тоже мотает рукой, становится на колени, но не имеет уважения к своей же вере и религии", — думала я. Таких балаболок среди нас все было не так уж много.

Итак, будучи певчей, некогда было молиться. Но вот наступал великий пост, мы говели; приходило время исповеди, и вот вся обстановка опять восста-

навливала забытые было чувства в душе; безразличие пропадало, возвращался экстаз. В старших классах мы исповедовались по вечерам. Этот полумрак церкви, кое-где у иконостаса — мерцание лампад, от них таинственные тени, чудная живопись ликов святых, тишина, и только благоговейный шопот и шелест наших камлотовых платьев позволяли сосредоточиться в самой себе, наедине со своей совестью. Тогда начиналось переворачивание ее наизнанку, желание быть совершеннее, чище, добрее; пересматривались все закоулки души, все потайные мысли. Все это создавало такое возвышающее настроение, что в то время готова была сделать какой угодно подвиг самопожертвования, самоотвержения, и шла я на исповедь с трепетом. После исповеди, конечно, это настроение скоро испарялось; все это поглощалось обыденщиной, суетою жизни, суетой сует. "Дежурные, дежурные! Барышни! Передники принесли к завтрашнему причастию?" — раздаются возгласы по дортуару. Только уже в кровати мысль еще пытается воспарить ввысь, но утомление берет свое, и засыпаешь.

Вот скоро и конец — перешли мы в 1-й класс, последний год нашего пребывания в институте. В это последнее каникулярное время пускали домой только слабеньких. Была война французов с немцами⁶. Мы, оставшиеся, шили на раненых французов, щипали корпию; классная дама нам читала вслух известия с театра военных действий. Мы больше симпатизировали французам. Почему? Вот уж это тогда для меня было необъяснимо. Немцы — нападающая сторона, может, потому? Какое-то для нас непонятное веяние шло в пользу французов, несмотря даже на то, что, кроме газет, классная дама нам читала вслух в это время роман Толстого "Война и мир", где французы наши враги. У нас почему-то был культ Наполеона. У него была идея соединить все народы, и этим уничтожились бы войны. Мы так его себе представляли.

Как нам грустно было проводить лето не дома, но все же это чтение и работа для увечных доставили незабываемые минуты. Читалось, конечно, с некоторыми пропусками, но так незаметно, что, читая уже дома второй раз, я обратила внимание на пропущенное. Сидели мы обыкновенно за длиннейшим столом в саду, в дождь — под навесом, где и обедали. Охотно ходили на Неву купаться. В купальню нужно было переходить дорогу, и это для нас было уже удовольствие, а еще большее — при виде извозчика. У нас был очень красивый вид из окон на Неву и Охту. Бывало наставишь камеру-обскуру и любуешься, как маленькие человечки ходят.

От времени до времени нас вывозили в придворных каретах с ливрейными кучерами и лакеями на запятках осматривать домик Петра Великого, его дворец, его галерею, Эрмитаж. Зимний дворец показывал нам сам царь, где угощали нас шоколадом. В тронном зале мы с подругой, когда государь вышел со всей гурьбой, уселись было на трон, оказалось, это строго воспрещается, и чуть из этого не вышла история.

Незабываемое впечатление произвела прогулка в Петергоф. Встали рано, расфрантились в новые платья, в батистовые передники и пелеринки, в батистовые белые кокетливые сборчатые шляпочки. Кареты нас доставили на вокзал, где нас, первоклассниц всех первоклассных институтов, ожидал экстренный поезд, состоящий только из вагонов 1-го класса. Мы важно расселись на бархатных диванах и покатили. Солнце сияло. Был чудесный жаркий день. Приехали. У подъезда вокзала нас ждали уже не кареты, а долгуши. Нас размещали какие-то генералы в лентах и звездах, между лошадьми проводили даже под ручку. Все уселись и поехали на ферму к Александре Петровне, великой княгине, супруге великого князя Николая Николаевича-старшего. Пока мы ехали, надвинулась туча грозовая и полил такой дождь, что наш батист висел на нас мокрыми тряпками. А шляпы! Шляпы, наша гордость, — просто мокрые комки.

Приехали. Вокруг нас захлопотали. Разместили институты по разным комнатам. Весь батист с нас сняли. Наш камлот выдержал: с него, как с гуся, вода

вся стекла. К нашему удивлению, помогала нам раздеваться сама великая княгиня Александра Петровна, а из коридора помогали выносить великие князья. Вот было смеху, суматохи! Сам государь что-то командовал, так как его голос раздавался в отдалении. Надев шали, захваченные нашими заведующими, мы такими замухрышками, с мокрыми волосами, пошли завтракать во 2-й этаж. Завтракали за громадным столом. Какой чудный творог с густыми сливками мы ели, пили молоко. Сама Александра Петровна так и бегала вокруг стола, нас угощая. Она поражала нас своей простотой, приветливостью и гостеприимством. Нас, еще девчонок, с позволения сказать, она, уже немолодая, так обхаживала. Мы уписывали за обе щеки, а нам подкладывалось и подкладывалось.

После завтрака повели нас опять вниз. Спускаясь, мы на площадке встретили какую-то даму. Не зная ее, мы не поклонились. Мы двигались лавиной и не успевали дать ей дорогу, за что она нас назвала невежами. Оказалось, это была тоже княгиня, Евгения Максимилиановна. Мы решили тогда всем дамам кланяться. Пришли в ту же комнату, где раздевались, и уже решили, что все гулянье расстроилось, а солнце опять во всем блеске. О, чудо! Наши батисты сухие и глаженные, и даже шляпы, как новые. Для нас это была новость: миг и все сделано в таком количестве. Верно, есть такие машины и жаль, что их нам не показали.

Мы нарядились и поехали кататься по чудному парку, а потом к императрице в Александрию, где чувствовали себя несвободно. Солнце сияло, все блестело вокруг, был такой восхитительный воздух, гам птичек, что сердце трепетало от радости, беспечной юношеской радости. Для нас все фонтаны были спущены, особенно восхищал нас "Самсон"; хохотали под "Грибом". После катанья мы обедали в *Mon plaisir**, налюбовавшись вдосталь на море.

Громаднейший стол блестит хрусталем и серебром, весь в цветах, гремит музыка, мы с подругой бегаем вокруг него, отыскивая себе места. Во главе стола место для государя, и около него все приборы уже заняты. Вдруг подходит к нам Радонежский и говорит: "Охота Вам тут садиться на виду? И покушать-то не удастся как следует". И повел нас в зал рядом, где было много отдельных круглых столиков, так же украшенных фруктами и цветами у каждого прибора. Я подошла к стулу и села автоматически, лакей его быстро пододвинул, и я плюхнула. Здесь, видно, и не садятся сами. За соседний с нами столик сели учителя, и нам было весело, они нас смешили. Когда мы набросились на еду, то они нас предупредили, что блюд будет много и чем дальше, тем вкуснее, а нам уж и кушать не захочется.

Потом мы опять, любуясь морем, слушали музыку. Под вечер пошли во дворец, осмотрели его. В той комнате, где вместо обоев сплошь грезовские головки в золотых багетах, государь, раздав нам букеты роз, попрощался и уехал. Я с наслаждением разглядывала грезовские головки, одна другой лучше. Полюбовавшись фонтанами, мы стали танцевать, "шерочка с машерочкой", как говорили у нас, т.е. дама с дамой. В это время зажгли иллюминацию. Мы вышли на балкон, и перед нашими глазами представилось нечто феерическое: чудная картина иллюминированных фонтанов, нечто волшебное, как в сказке. Мы стояли зачарованные; не хотелось оторваться от этой фантастической, но загремела музыка, и все пошли танцевать.

Наплясавшись вдоволь, напившись шоколаду, поехали кататься после иллюминации и на вокзал. Тут нас провожали великие князья, с которыми мы запросто прощались за руку и приглашали приезжать к нам, а они, смеясь, отвечали: "Мы без спросу не смеем". Мы из окон, отъезжая, махали им платками, к стати сказать, своими, а не казенными, а они — нам.

*Моя утеха (фр.).

Вот и откутили, опять город, пыль; светло, как днем; странно, что только сейчас перед нами красовалась иллюминация. Гулко раздается стук копыт лошадей по мостовой. Душно в каретах, где мы втиснуты по шесть человек. Средние завидуют попавшим к дверцам. Греза пропала, опять проза.

Подобные выезды мирили нас с заточением в казенных стенах. Но не может же быть, чтоб только для них нас лишили возможности провести лето с родными. Наши, злясь на это, решили, что начальство просто боялось, чтоб мы не повыскакивали замуж, не окончив курса. Одна из нас уже была невестой и ждала только выпуска. <...>

Все проходит. Прошло и лето, прошла зима, прошли и выпускные экзамены.

Птички весело запели.
Книги в печку полетели.
Ура! На каникулы пора!

Так пели мы, бывало, приплясывая с притопыванием, перед отъездом на каникулы. Все книги собирались в кучу. Иными они бросались так, что чуть не разрывались. По поводу этого возникал спор, и горячий, в старших классах. "Зачем портить?" — "Э, казна не тонет, не горит". Вот до чего еще мы тогда были глупы, и недаром мне Радонежский написал похвальное слово на моем сочинении "Листы и корни". По поводу этой басни у меня смутно закопошилось в мозгу.

Сейчас уже не каникулы, а навсегда домой. Мы скоро будем свободны, как птицы; но можно ли нас сравнить с ними, не думающими о хлебе насущном? Нет и нет. Хотя и думалось: волюшка мне милей всего, но к этой думе примешивалась забота. Да, уже забота, по крайней мере у тех, у кого не было обеспеченного существования; и не только забота, но и некоторое сожаление к этим, когда-то ненавистным стенам. Говорят, будто человек привыкает даже к тюрьме. Жаль было и разлетающихся во все стороны подруг. Все же радость перевешивала жалость.

У нас был обычай на выпуск наряжаться в белые платья. И вот они висят, как привидения, на бесчисленных растворенных внутренних рамах окон дортуара. Мы в постелях, но классная дама уже не останавливает нас: "Tesez vous, dormez vous, il faut dormir"*. Мы уже не шепчемся, а громко разговариваем и перекликаемся. Теперь уже не сбавят балла за поведение. И опять и радостно, и жаль чего-то утерянного. Утеряно попечение о тебе, теперь заботься сама о себе. Начали выражать свои чувства, и у многих, оказывается, вырывалось нечто подобное моим думам. Так: "Медамочки, прощайте, увидимся ли опять когда-нибудь?" Или: "Господи, что-то из нас каждую в жизни ожидает?" — "Да, жили-жили все почти одинаково и вдруг все по-разному заживем". — "Мне кажется, что вот эти выйдут замуж", — сказала наша первая и начала перечислять, кто именно. В их числе была и я. Зашел спор.

Странно для меня звучало это слово "замуж". Об этом и не думалось, а тут вспомнились Кунгур, женихи. Поехать туда — живо выйдешь замуж. Замуж меня не тянуло, а Митя? Митя — друг. Скорее всего, пошла за него бы. Был еще жених, молодой учитель древних языков в III гимназии. Он хотел ждать моего выпуска. Мы с ним обменялись карточками, только и всего. Мне он теперь не нравился. Мне хотелось зарабатывать, чтоб помогать маме, а то мне пришлось бы ее оставить, выйдя замуж. А как и чем зарабатывать? И опять вся радость пропадала от этих дум.

Май, петербургский май с загадочно-чарующими белыми ночами, гонящими сон, глядел во все окна дортуара, но все же мы заснули. Утром, понаделав

*"Замолчите, спите, надо спать" (фр.).

запрещенные раньше прически, разодевшись в белые платья с бантами всех цветов, отстояли обедню и напутственный молебен. Странно было стоять не на клиросе. Обедали уже не в столовой с классными дамами, а с учителями в рекреационной зале, где был сервирован и украшен букетами большой стол. Обедали с шампанским. Мы уже не серы, как все кошки в темноте, мы различаемся бантами, на нас не камлот шуршит, а шелковые нижние юбки. Шик! Мы эlegantны. Прически, непозволительные в бывшее время, так изменили многие лица, что мы все похорошели, и мы дивились друг на друга. Все были возбуждены и радостны. <...>

Мое белое платье, хорошо сидевшее на мне и оригинальное, было, однако, скромнее всех, наводило на мысль о некоторой разнице меня с ними и наведало грусть. Я сидела, ела и копалась в своих ощущениях и только очнувшись тогда, когда стали подходить учителя чокаться бокалами со своими пожеланиями. Радонежский пожелал мне не бросать писать и "сеять разумное, доброе, вечное..." Потом началось прощание. Клетка открыта и беззаботные птички сейчас разлетятся по всей необъятной России. Мы все высыпали на наш обширный парадный ход, где величественный швейцар, весь в красном, с неизменной булавой, стоял, как истукан, наблюдая за порядком. Его помощники суеились, подавая нам манто. Тут меня встретила мама. Она наняла двухместную каретку. Когда я сказала, что теперь я могу и на извозчике ехать, и пешком идти, моя бедная мама запротестовала: "Все в каретах, и мы не ударим в грязь лицом. Не беспокойся, тебе и так немало предстоит бегать пешком".

Дома меня встретил брат Коля. Он тоже этой весной [1871 г.] вышел из Гатчинского института. Нанятая мамой прислуга Люба, не старая, но солидная, мне понравилась, и мы с братом стали величать ее Любовь Ивановна за ее презентабельность. <...>

Ну, вот я и дома, от института остались одни воспоминания. Да, правда, на другой день — визит к начальнице, нашей бывшей "Маман"; у нее — шоколад, и покончено все с институтом; двери его закрылись перед нами навсегда! Прощайте медапочки, прощай жизнь сказок и мечты, жизнь какого-то взрослого детства, с детской наивностью, с беззаботным объединением конфетами, маковниками и батонами, обсыпанными сахаром с корицей, все это ребячество! Теперь я уже самостоятельный взрослый человек, и трезвая проза жизни требует от меня инициативы. Я выбита из колеи. К чему я годна? К чему я приспособлена? Не разберусь. Беспечность молодости и жизнерадостность берут свое, и я решаю: "Ну, что Бог даст, увидим там, поплыву пока по течению".

Начала подыскивать себе занятий хоть каких-нибудь, для заработка. Попала к художнице в ретушерщицы. Плата была недельная, в зависимости от числа карточек, разная, непостоянная, а я и тому была рада. Сама художница была премилая особа, муж ее пресимпатичный, а лучше всех Христофорик, их сынишка-малютка, с которым я немало возилась. Жили они на Крестовском, не то на даче, не то всегда — не помню, хотя и далеко от нас, но по конке казалось не так далеко, да и, не зная Петербурга, я иначе не смогла бы до них добраться. Бывать у них мне нравилось. Они часто оставляли меня обедать, а когда было мало работы, то мы катались на лодке.

Со вступлением лета в свои права работы становилось все меньше и меньше, и мне приходилось ездить не каждодневно. Вот и началась моя вольная трудовая жизнь, да какая-то шаткая, неустойчивая. Уроки все еще не наклеивались, а Коля давно уже ими обзавелся и зарабатывал хорошо, но все уходило на обзаведение обстановкой и обмундирование.

Квартира наша была почти не обмеллирована: две большие высокие комнаты и третья поменьше — темноватая спальня. В приемной стояли только три кресла, перед ними овальный стол, у другой стены — обеденный стол и всего шесть

стульев. Нужно было немало приработать, чтоб обзавестись необходимой обстановкой. Квартира наша была в доме богача Овсянникова (впоследствии прославившегося поджогом своей мельницы) на углу Надеждинской и Итальянской*, в третьем этаже, выходила на большой квадратный чистый двор, с окнами на юг, и они прямо приходились против окон частной женской гимназии Оболенской. Их общежитие напоминало институт. В самом низу под ними — две лавки с выходами на улицу и во двор: одна — мясная, а другая — медника-еврея. У хозяина мясной младший сын, молодой парень, с превосходным тенором, бывало запоем, так заслушаешься; а у медника два мальчика: Ицко брюнет, а Илья рыженький, кудрявый, не больше 5 лет, тоже певец с прекрасным слухом. Бывало, как затянут "Коль славен наш Господь в Сионе" — превосходно выходит. Мясник поет зычно, а за ним, как кузнецик, пищит, но верно, Илья.

Лето. Тихий вечер, если не считать грохота экипажей по мостовой, я положу на подоконник подушку, а к нему подставляю стол, лягу на стол спиной, а головой на подушку, передо мной небо, гляжу на ползущие облака, либо на звезды и слушаю тенора с кузнециком, а потом аплодирую им и кричу "бис". Они поют. А когда мы с Виктором пели дуэты, то нам из всех окон двора тоже аплодировали. В нашем дворе господствовало какое-то общее духовное дружелюбие. <...>

Осенью брат поступил в Медико-хирургическую академию, а я заполучила уроки в частной школе. Ее содержала немка, которая сама преподавала немецкий язык, я же — французский и русские предметы. Плата мне была хорошая — 40 р. в месяц и вкусный завтрак с прекрасным кофе. Школа была у Никольского рынка, и дети были все богатых купцов. Хотя три длинных стола, заполненные учениками, стояли и в обширном классе, но потолок был очень низкий, и потому было душно; форточек же из экономии дров хозяйка даже в рекреацию не позволяла открывать. Мне, после простора институтских палат, была по временам невыносима эта духота, и раз мне стало так дурно, что еле успела выскочить из класса, как со мной приключился обморок.

Странная это была школа, ненормальная. Я открыла на последнем столе мальчиков 14—15-летнего возраста, читавших только по подсказке и не знавших даже букв, и когда я пересела за этот стол, то хозяйка воспротивилась и перевела меня опять на первый стол с лучшими учениками. Я с ней пыталась спорить, но без успеха. В институте задние скамьи назывались "Камчаткой", но вот здесь была настоящая "Камчатка". Для чего эти отроки были в школе? Ломала я себе голову над этим вопросом, и хозяйку я не взлюбила. А ученики мне говорили: "Мамзель, Вы на нас не кричите, Вы у нас ненадолго — все хорошие у нас недолго".

Пришлось бросить школу из-за болезни матери. Она захворала воспалением легких, а тут как раз пришел дворник и объявил надбавку на квартиру. Сидит наш триумвират — Виктор, Коля и я — на трех креслах и решает, что лучше: позвать ли доктора или купить куру и сварить суп для больной. Тогда у нас в кармане было пусто, все изводили на обустройство. Решили позвать доктора Вейерта из глазной лечебницы, который лечил маме глаза и был бессребренник. Осмотрел доктор маму, осмотрел также, должно быть, и нашу скудную обстановку и отказался от гонорара. У нас был и доктор, и кура, но у мамы не было ни одной целой кофты.

Я помчалась к Анне Ивановне Поповой. Она уже была вдовой и жила с сыном, студентом-медиком, и младшей дочерью; старший сын, моряк, который нас в детстве выпроваживал за шиворот из своей комнаты, куда нас привлекали его ружья, был в плаваньи. Анна Ивановна дала кофты и отправилась сама хлопотать к управляющему нашим домом о [сокращении платы] за квартиру. Но управляющий сказал, что Овсянников такой жох, его ничем не разжалобить, деньги для него — все, а предложил хлопотать за меня у своего родственника

*Ныне улицы Маяковского и Жуковского. — *Примеч. сост.*

Кохманского — начальника контроля при 4-м Отделении, где ревизуют отчеты всех заведений императрицы Марии. Там служат только барышни, исключая небольшое число главных контролеров. Туда я в скором времени и поступила по выздоровлении мамы.

Служба была от 12 часов до 4-х, так что было много времени и для других занятий. Вот я и занялась самообразованием: стала читать по-немецки, на языке, так пренебрегаемом мною в институте. Прочла сочинения Шпильгагена, "Дача на Рейне" Ауэрбаха и др. Коля яро изучал анатомию и даже просил меня будить его и спросонья спрашивать [из] Грубера: *qui musculus* прикрепляется туда-то и откуда. Грубер, их профессор по анатомии, знаменитый анатом, по 10 раз гонял студентов со своих экзаменов. И вот объявилась литографированная [анатомия] Грубера, где собраны были все анастомозы, аномалии и вообще все, что в анатомии Гиртеля не найдешь, все коньки Грубера, на которых он беспощадно резал студентов. При этом спрашивании я невольно изучала самые закоулки анатомии.

Мы с братом Колей очень любили церковные напевы и потому под большие праздники носились к Исаакию послушать концертное пение, особенно "Достойной". Концерты посещать нам было не по карману. В пасхальную заутреню мы всегда носились от церкви к церкви встречать крестный ход — это необыкновенно эффектное зрелище: море огня от свечек у каждого в руке и на куличах. Конечно, тогда у нас уже не было того неизъяснимого чувства благоговения, как раньше. Уже тогда начала разъедать религию критика.

Помню, пошли мы раз с мамой в гости к семье, где были две старшие дочери от первой жены, уже взрослые, и трое детей от второй. Той второй дочери, которая более ко мне подходила, не было дома, и меня повели в комнату старшей и передали ей заниматься меня. Ее все называли нигилисткой. В чем состоял ее нигилизм? Меня это интересовало. Худая, стриженные волосы, говорила как-то беспокойно, брызгая слюной, точно бы всегда сердилась, с отцом и мачехой была дерзка, на меня и на свою сестру смотрела всегда свысока и не удостаивала словом. Я ее не любила, но она меня интересовала. И вот, когда я с некоторым трепетом попала к ней в комнату, где сидел ее жених, студент-технолог, то я сейчас же поняла, что я тут лишняя, хотелось уйти.

Ольга меня рекомендовала жениху так: "Вот цыпленок, только что вылупившийся из яйца, то бишь из института". Он начал расспрашивать, чему нас учили там. Ольга шутовски заметила: "Чему-нибудь и как-нибудь, а больше — болтать по-французски и закону Божьему". Я в душе разозлилась, но спокойно сказала: "Да, и закону Божьему, разве у Вас в гимназии его не преподают?" Они тогда оба начали мне доказывать, что вся религия — пустяки и никакого Бога нет, и человек произошел от обезьяны (по Дарвину, которого и советовали почитать). Я слушала, но мне так захотелось, назло им, защищать существование Бога. Доводами религии их, атеистов, не убедишь, а потому я им задала вопрос: "А кто же создал тех амёб, из которых произошла обезьяна, кто создал Землю, другие планеты, звезды, Солнце и, может, еще что, чего мы не видим и не знаем и что непостижимо нашему уму?" Тогда жених, задумавшись, сказал, что это какая-то физическая сила, нам еще пока неизвестная. А я ему: "Ну, когда ее узнают! А пока эта великая сила и называется Богом, Иеговой и Буддой, и все чтут ее всемогущество". Они переглянулись, и только жених успел сказать: "Ну, если так!"

Нас позвали пить чай. Потом мачеха, придя к нам в гости, рассказала маме, что Ольга спорила и ссорилась с женихом из-за меня и долго дулась на него за то, что он меня назвал умной. С тех пор я у них не бывала, пока Ольга не повенчалась и не уехала с мужем куда-то на завод.

Брат мне ни разу не говорил о слушательницах у них в академии, и потому я понятия не имела о правах женщин на высшее образование. Раз как-то,

будучи в гостях у двух знакомых старушек-сестер на Выборгской стороне, где старшая имела деревянный старый двухэтажный домик, я узнала, что у нее внизу живут две студентки. Я только тогда узнала, что можно женщинам учиться медицине. Студентки — значит нигилистки, так как на вопрос брату, почему он мне не говорил о них, он ответил вскользь: "Да, там есть несколько стриженных с ободранными подолами, которых студенты оттирают". Плед, очки, короткие волосы и подол в "режмошках" — вот атрибуты нигилистки, их теперь немало; как-то все это у меня слилось с понятием студентши, как их полупрезрительно называли. Выходило что-то несимпатичное, а учиться захотелось; интересно, должно быть.

Когда, наконец, встретилась на именинах у старушек с их двумя жиличками, медичками, то увидела двух уже не первой молодости, серьезных, славных барышень, которых и порасспросила про их ученье. После как-то младшая старушка, любившая меня очень (у меня до сих пор сохранились подаренные ею ложечки), рассказывала про студенток: "Носят они плед многие потому, что им не на что купить шубы, а пальтишко ветром подбито, да к тому же плед может служить и одеялом".

Расспросив студенток, что надо знать для вступительного экзамена, я стала потихоньку от мамы готовиться, так как мама очень ценила мою службу: там выслужившимся давали пенсию. Я подучивала тригонометрию, алгебру и физику, латинский язык, а позже стали требовать и греческий. Последний мне трудно было учить без Коли. <...>

А он почти не жил дома: академия и уроки давали ему возможность только есть да спать дома. Признаться, сейчас, под старость, я так основательно забыла греческий, что точно никогда и не учила.

Но на какие средства учиться? Где взять денег? Тогда служить нельзя. Все эти вопросы вставали без ответа, а я все же не бросала заниматься, продолжала на авось. Наше русское "авось" иной раз и вывозит. Меня подгоняло еще и желание приносить пользу народу, будучи врачом, хотя идеи социализма меня еще не волновали, были мне чужды, незнакомы.

Нам с братом за эту зиму удалось прикупить малую толику денег и на них взять сестру Милю из Московского института на каникулы к нам в Питер на это лето 1872 г. Я под руководством мамы сшила ей платье — мой первый дебют на этом поприще. Миля приехала краснощекой пышкой, так что дорогая наша Олечка (Ольга Николаевна, бывшая Ильина, часто наезжала в Петербург из Нижнего, где жила теперь) прозвала ее Милька-Пузан, с французским выговором. Миля, очутившись в первый раз дома, была сначала необщительна и замкнута в себе. Чтоб ее расшевелить и рассеять ее чересчур серьезный вид, который у нас вызывал смех, особенно Виктор и Олечка придумывали разные шутки. <...> Лето она больше провела у Киселевых на даче, куда и я наезжала на праздники, иногда и после службы.

Нас, барышень, там было пятеро с сестрой и двоюродными сестрами хозяйки, ее брат — единственный кавалер, но мы в нем не нуждались, носились по парку, в укромных лужайках играли в мяч, в серсо.

В это же лето в один прекрасный день явилась к нам из Перми старая знакомая, Серафима Леонтьевна Муравьева, — это вдова смотрителя той больницы, в которой мой отец был главным доктором. <...> Из молодых людей ходил к нам только товарищ детства брата, Александр Васильевич Попов, студент-медик, с которым мы очень дружили, гуляли, катались на лодке на взморье. Я под ручку с ним носилась знакомиться с Петербургом. За все время я только раз была в опере, и то меня пригласили в ложу институтские подружки. Ложа шикарная, в бенуаре, литературная под царской, для нее нужны были белые лайковые перчатки; один, два раза — ничего, а больше — накладно бы вышло.

Первым долгом Серафима Леонтьева заявила маме: "Погляжу я, скучно Вы,

душечка, живете. Этак Людочке и замуж не за кого выйти". Она отправилась разыскивать земляков и привела к нам студента-медика Павла Николаевича Серебрянникова, а потом и Виктора Алексеевича Калашникова. А вот уже не помню, как к нам попал студент университета Мейер. Появление студентов внесло большое оживление в наш замкнутый круг. Взяли мы напрокат фортепиано; играли и пели. Особенно хорошо пел Калашников и подкупал меня своим тенором. Пока он пел, он мне очень нравился. А так как ни он, ни я не знали Петербурга, то по воскресеньям он приходил за мной, и мы забирались в такие отдаленные места, что, не зная, как выбраться, садились в дилижанс или конку, идущие в знакомые улицы. Зачастую опаздывали к обеду и получали нагоняй, но были довольны своими открытиями. Мы представляли смешную пару: он — высоченный верзила, тонкий, как жердь, я — маленькая, худенькая, юркая. Меня звали "карманная барышня".

Собирались у нас по субботам: ввиду следующего за ними воскресенья можно допоздна сидеть. Играли и пели соло и хором. Выходило недурно. К хору присоединялся иногда даже Коля, когда пели "Назови мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал". <...>

Наш Коля поет с одушевлением и подвирает. "Николай Васильевич, врете!" — скажет, кто-нибудь, и у них начинается словесная перепалка. Музыка была между прочим, а главное — спорили до упаду о политике, о критике, о беллетристике, даже о Боге. <...>

С приездом Серафимы Леонтьевны мои занятия приостановились, разве иногда только приходилось урывать минутку на службе и решать задачи по алгебре. И то раз я увлеклась и слышу голос за собой контролера: "Вот Вы чем занимаетесь! Зачем Вам это?" Я стала осторожнее.

Вскоре по приезде Серафимы Леонтьевны, приехав из Москвы, сделал нам визит Митя Арсеньев — уже офицер, такой красивый, изящный, с глазами как вишни, с мягким, ласкающим голосом. Я до того была смущена, что, поздоровавшись, убежала в другую комнату, там велела Любове Ивановне накрыть стол и подать самовар, села сама разливать чай, а ее посылала подавать чай на подносе. Мама, Серафима Леонтьевна, тоже знавшая Арсеньевых хорошо, и Митя восседали чинно на наших трех креслах за овальным столом. Я вышла, только когда он стал прощаться. Он сильно пожал мне руку и сказал: "Прощайте, Людмила Васильевна!" Потом, глядя на маму, прибавил: "Нет уже прежней Людочки". Низко поклонился и быстро вышел. После его ухода мама и Серафима Леонтьевна на меня накинулись. Мама упрекала меня за такое невнимание к товарищу детства, который с таким дружелюбием ко мне всегда относился и даже посещал меня в институте, когда бывал в Петербурге, и назвала меня дикаркой. Серафима Леонтьевна только сказала: "И какого ты, Людочка, жениха упустила: красавца, хорошей семьи". (Она все выискивала мне женихов.) Я заплакала. "Чего же ты обиделась, мы же тебе добра желаем". Я плакала вовсе не от обиды на них, а как только вышел Дмитрий Александрович, для меня тоже не стало Мити, и мне так захотелось его вернуть, обласкать, вспомнить Нытву, наше детство. Я жалела, что не услышу большего его милого чарующего голоса и лишилась его многолетнего внимания ко мне. Мне уже, как только он вышел, захотелось зареветь, и я с усилием себя сдерживала, а тут эти выговоры дали предлог к слезам. Я не могла отдать отчета в своем чувстве и поведении. Да, я его любила, но как брата, друга, как красоту. Но почему же я проявила отпор к сближению? Застенчивость руководила мной? Но почему же с другими я не была застенчива? Правда, я к ним была равнодушна, а к нему нет. Копалась я в своей душе, но, видно, была плохой психолог, и мой поступок так и остался для меня без ответа. С глаз долой — и из памяти вон, говорят, так и тут. Я недолго ломала голову над психологическим ответом. Забыла его, хотя слова Серафимы Леонтьевны, что "не для нас же, старух, он приезжал", засели в голове.

Кроме наших завсегдатаев студентов ходил еще к нам студент-медик еврей Коган. Он умудрялся как-то всегда бывать в одиночестве. Он был очень интересный собеседник, юморист и засиживался до трех часов ночи. Мы, молодежь, не замечали времени, но мама изнывала от клонившего ее сна. Она не любила его за долгое засиживание. Но он очень смешил, рассказывая, например, про Грубера, свой первый экзамен у него. Грубер сидит на диване, по бокам его сидят две моськи и внимательно, не спуская глаз, смотрят на экзаменующегося (Грубер экзаменовал на своей квартире). Грубер, роясь в бумагах, тихо говорит отвечающему Когану: "Noch einmal"*. Коган ему повторяет, не подозревая, что говорит нелепость. Грубер опять повторяет "Noch einmal" уже повышенным тоном, а в третий раз уже кричит, моськи рычат. Коган в недоумении. Грубер от нетерпения топает ногами и кричит: "Пшел вон! Приходи еще раз, когда будешь лучше знать!" Коган ретируется, а собаки вслед ему лают. С триумфом гоняет по нескольку раз.

Он очень удачно передразнивал Грубера. Рассказывал, что профессор Лёшь пробривал себе на лбу волосы, чтоб лоб казался обширнее, а другой профессор являлся на лекции во время эпидемии с выбритыми волосами, усами, бородой и даже бровями, был неузнаваем и до того комичен, что смех слушателей не давал ему долго начать лекцию. У Когана был неистощимый запас тем для комичных рассказов.

Прямую противоположность Когану, и даже по росту и по фигуре, представлял Мейер: небольшого роста, с большим лбом, самой выдающейся чертой его лица, серьезный, неразговорчивый, какой-то сосредоточенный в себе, сидит всегда в сторонке от всех. Мама, бывало, как ни приглашает его к чайному столу, он берет стакан чаю и пьет на овальном столе; молчит и слушает, хотя, правда, спорщики не дают никому вставить слово в свой горячий спор. Сначала я мало обращала внимания на Мейера. Он был какой-то незаметный.

Зима 1872 г. была слякотная. Приехала в Петербург Олечка, и мы с ней "плавали" на санях с грязью на шубах. Она меня повсюду таскала с собой. 31 декабря повезла меня в оперетту, а потом к себе встречать Новый год. Было весело. Олечка уехала, а я осталась при прежнем интересе, как говорит, гадая на картах, Любовь Ивановна. Наступили гастроли знаменитой итальянской певицы Аделины Патти. Заговорили о ней газеты и повсюду, даже у нас в нашем салоне, который к празднику обогатился с помощью Олечки диваном, а обеденный стол — новой клеенкой. Говорят, Патти берет шутя такие высокие ноты, что еще ни одна из певиц никогда не брала, колоратура у нее удивительная; будто ее горло уже запродано в случае ее смерти. Оно устроено, как какой-то инструмент, очевидно; но при этом ее пение не лишено чувства, и нежности, и выразительности, и игра у нее превосходная. Ко всему этому она красавица. Я слушала, дивилась и просто не верила своим ушам. Неужели может существовать такое совершенство, и у меня вырвалось восклицание: "Хоть бы разок одним ухом, даже не видя, чуть-чуть послушать". Но об этом нечего было и думать. Ни средств, ни возможности достать билет у меня не было, и я должна была подавить свои желания.

Говорят, чего очень хочешь, то достигнешь, и я достигла без всякого с моей стороны усилия. Как-то днем пришел к нам Мейер и принес мне билет на Патти, конечно, на галерку, за что очень извинялся передо мной — такой славный! — а я готова хоть в самый ад идти послушать такую диву.

Шел "Фауст". Патти—Мargarита — один восторг! В нашей коробке середину тогда заслоняла люстра, и мы, как стадо баранов, шарахались то вправо, то влево и видели зато все происходящее на сцене. Мы представляли такое дружное стадо, каждый член его помогал другому видеть, так — меньшего

*"Еще раз" (нем.).

роста пропускались вперед. Были все почти студенты. Вся наша компания сдружилась, и такая забота о других мне нравилась, было хотя жарко, но весело. Так приятно было встречаться с завсегдатаями галерки Большого театра на итальянской опере⁸ и в Мариинском. Благодаря Мейеру я познакомилась со всеми знаменитостями того времени по нескольку раз. Так, слушала Патти в "Фаусте", "Травиате", "Диноре", "Риголетто". Эту несравненную диву, но и Лукку, Нильсон, Мазини, наших Левицкую, Паллечека и других. Да еще за грошовую цену, в веселой, необычной для меня толпе студентов, где не надо нарядов и белых перчаток. Когда была дурная погода, Мейер заботливо усаживал меня на извозчика, записывая в книжечку его номер. Под влиянием виденного и слышанного ехала я домой. Наивный образ Маргариты и рядом с ней дьявольский Мефистофель долго не давали мне заснуть, а в ушах так и пели знакомые мотивы. В хорошую погоду Мейер неизменно пешком провожал меня до дому. Пока дворник не открывал калитку, гремя цепями, не уходил. Я только тогда вспоминала, что надо же его поблагодарить, а то всю дорогу мы проболтали, идя пешком, собственно болтала-то я, а он подавал только реплики. Я ни разу не удосужилась спросить его, где он живет. Может быть, он, как студент университета, жил на Васильевском острове и каждый раз делал большой крюк, провожая меня. И как это мне не пришло в голову? Даже не полюбопытствовала узнать, как он умудрялся доставать билеты. При наших товарищеских отношениях, для меня Мейер был и остался загадкой. <...>

Муравьевы от нас выехали, а въехал Калашников. Ему решительно не на что было жить. Пермской стипендии он еще не получал, да и выдавалась она с большим запаздыванием, и стипендиаты нуждались. Иногда даже не на что было им купить керосину и приходилось сидеть вечером без огня или уходить куда-нибудь, теряя время. Зачастую в карманы пальто Калашникова мы клали вареные яйца, булки, свечи и уверяли, что не мы. Калашников принужден был еще делиться своими ресурсами и с сестрой, приехавшей учиться. Мы перегородили нашу гостиную и за перегородкой устроили спальную для Коли с Калашниковым, в другой половине вышла гостиная, в комнате Коли устроили столовую. Их обоих целыми днями не было дома — то в академии, то на уроках, свободными были только вечера, субботы да воскресенье. Калашников до того обносился, что раз, присев растапливать печь в комнате, где мы все сидели, вдруг подзывает Колю и шепчет ему что-то. Коля, смеясь, просит нас всех выйти. Оказалось, его ветхая одежда расползлась и ему нельзя встать. В другой раз отправился он на бал танцевать. Мы его надушили. Вдруг звонок. "Кто там?" Калашников — стремглав за ширмы. "Что случилось?" Коля хохочет: "Опять та же история с одеждой". Олечка, эта добрая душа, вкладывала в конверт деньги, надписывала адрес на имя Калашникова, и мы передавали ему, говоря, что принес посыльный, а так как он стал, наконец, не верить, то в самом деле, когда он был дома, послан был посыльный. "Что за черт! Кто это мне благодетельствует?" Так он во всю свою недолгую жизнь и не узнал, кому он обязан.

Опять я помаленечку начала заниматься, хотя зачастую с Мейером бывала в театре в опере. Но вот настала весна, и студенты все разъехались. Опять взяли на каникулы Милю. Она больше пребывала на даче у Киселевых, куда и я ездила в свободное время от службы. <...>

ВСТРЕЧА С Е.С. ФЕДОРОВЫМ

Миля уехала в институт в Москву, а студенты возвратились в Питер, и пошла наша обычная жизнь с субботами. Раз как-то [в 1873 г.] пришел Коля из академии, сел обедать в кухне, как всегда, когда опаздывал, за что его Любовь Ивановна очень любила: "Николай Васильевич добрый, меня жалеет, здесь кушает, чтоб мне поменьше ходьбы было," — заявляла она знакомым. Обык-

новенно мы все, даже гости, высыпали к нему в кухню слушать его рассказы и новости. В этот раз он говорит:

— К нам учиться медицине поступил офицер. Он ходит в форме, сапер, потому от всех отличается, такой молодой, а умный.

— Почему ты это знаешь?

— А видно; видна птица по полету.

Поговорили и забыли думать об офицере. Жизнь текла обычно, и вдруг событие: подох наш громадный черный кот Васька — друг и приятель брата. Этот Васька и спал всегда за ширмой у брата на стуле подле кровати. Коля в него бросал шарики из бумаги, и кот их ловил или отбрасывал. У Коли был еще сенбернар Дар, еще щенок, а уже громадный, и кот с ним препотешно играл. И вдруг брат нашел его под кроватью мертвым. Коля даже прослезился, а потом решил его вскрывать, чтоб узнать причину смерти. На другой день пришел раньше и объявил, что вечером будет вскрывать кота, для чего он пригласил офицера.

— Офицера? Почему офицер? — удивилась я.

— А ты посмотри, какой он умный, ни один студент мне так не нравится, как он.

Поставили за ширму стол, так как мама объявила: "Вскрывайте, только чтоб я не видела". Растянули и привязали коту лапы к столу; приготовили все для вскрытия. Все готово. К назначенному часу, минута в минуту, звонок. Пришел не офицер, а безусый бледный офицерик, с большим выпуклым лбом, с каким-то одухотворенным лицом, такими рисуют фанатиков. Поздоровался, как-то не глядя в лицо; отцепил саблю и поставил в угол. "К такому лицу более шла бы одежда схимника," — подумала я. Коля прочел вступительную лекцию мне и ему, стал вскрывать кота. Калашников помогал ему. Мне было очень любопытно; офицеру, видимо, тоже, и мы перестали друг на друга обращать внимание. Меня очень интересовала *vena azigos*, из-за которой много резалось студентов у Грубера, и я просила брата мне ее показать. Офицер удивленно заметил:

— Я проштудировал всю анатомию Гиртеля и не знаю, что это за вена и где она находится.

— В анатомии Гиртеля она не упоминается, а есть у Грубера, где собрано все, чего нет у Гиртеля. <...> И, только зная ее, Вы пройдете беспрепятственно у Грубера. Я Вам ее после вскрытия покажу. <...>

После вскрытия брат представил офицера Федорова маме. Она его пригласила пить чай, но он отказался и ушел. "Пошел, видно, скорее штудировать Грубера", — посмеялась я.

— Ну что, понравился тебе офицер? — спросил меня брат.

— Да ничего себе, уж больно молчалив.

— Умница, — категорически заявил Коля.

В Контроле, где я служила, в небольшой, смежной со служебным залом комнате устраивался между часом и двумя чай для нас, барышень, отдельно от контролеров, на нашу складчину. Прислуживала нам некто Аннушка. Через несколько дней после вскрытия кота там зашел разговор о гадалке на Песках*, которая предсказала находку украденного у одной дамы. Аннушка тоже подтвердила удивительные случаи ее предсказаний. Заспорили. Спорщицы разделились на два лагеря. Я и Астафьева, как скептики, решили идти проверить гадалку. Она станет Астафьевой гадать, а я следить за ней. К нам присоединилась еще сослуживица, Федорова, и пригласила в воскресенье собраться

*Так называлась территория, где сейчас проходит Суворовский проспект и прилегающие к нему улицы. Это самая высокая часть старого города, которая никогда не затоплялась во время наводнения. — *Примеч. сост.*

у нее в квартире на Песках у церкви Рождества, как живущей недалеко от гадалки. Мы согласились быть у нее к двум часам.

В воскресенье я отправилась к Федоровой. Стали ждать Астафьеву, а тем временем занялись музыкой. Распевали дуэты и не заметили, как подкатило 4 часа. Наша компаньонка так и не пришла. Я стала собираться домой, но меня Федорова и ее мать оставили обедать. Сели мы в столовой за стол, накрытый на три прибора. Подали суп. Я беспечно болтала. Отворяется дверь и входит <...>, читая книгу, офицер, бывший у нас на днях. Я так и вытаращила глаза от удивления.

— Мой брат, Евграф Степанович, — представляет Мария Степановна.

— Да мы уже знакомы, но я не ожидала, что это Ваш брат.

— Да, мы уже виделись, — точнее подтвердил он.

— Как? Когда? — пришла очередь удивляться Марии Степановне. Я стала рассказывать про кота, а он ел и читал. Весь обед он был поглощен своей книгой. Его серьезность и индифферентность меня смущали и подавляли. Я рада была, когда кончился обед, и он ушел. Я осталась до вечера.

Когда я окончательно собралась уходить, то Юлия Герасимовна, их мать, воспротивилась, чтобы я так поздно шла одна, и дала мне в провозятые Евграфа Степановича. Он был серьезен и все молчал. Когда мы вышли, было темно и грязно, моросило. Евграф Степанович предложил мне идти за ним, а он будет впереди указывать мне дорогу посуше. Он был в шинели и ею затемнял все лужи, а я без разбору шлепала по ним и в душе хохотала. Шли мы уже по Итальянской и все молчали, мой кавалер хоть бы раз обернулся. Он стал переходить Надеждинскую с угла на угол, я же перебежала наискось и шмыгнула в калитку и оттуда крикнула: "Благодарю Вас, до свиданья". А он стоит на углу и оглядывается по сторонам, откуда я кричу. Чудак! Придя домой, не раздеваясь, бросилась на стул — и ну хохотать. Мама заявила, что начала беспокоиться, куда я девалась, а Калашников с раздражением заметил: "Да ну, рассказывайте скорее, где были? Что с Вами?" — "А Вам какое дело?" И мы с ним поссорились.

С этих пор завязалось знакомство с Федоровыми. Юлия Герасимовна сделала нам визит, потом и старший ее сын, Евгений Степанович. Стали бывать друг у друга. Евгений Степанович, военный инженер, часто уезжал на постройки; был премилый человек и веселый, добродушный. У него был белый с желтыми пятнами сеттер Кадо-Кадошка. Когда Евгений Степанович шел нас с ним провожать, а с нами был наш Дар, то собаки нас забавляли и Евгений Степанович увлекался и в своей разлетающейся шинели летал, как грандиозная невиданная птица, и приводил собак в неописуемый восторг; поднимался лай и визг. Евграфа Степановича я почти не видела, так он был занят, если не в академии, то в Публичной библиотеке. Я не жалела. Забывала и думать о нем.

3 февраля, в день именин нашей матери, отугощали поздравителей и уже никто не ожидался больше, как вдруг — звонок, и явился с поздравлением Евграф Степанович в полной парадной форме с эполетами⁹. Поел, поговорил немного и ушел. Мы от него никак не ожидали такого внимания. Я с ним двух слов не сказала. Он меня как-то стеснял. С его братом я чувствовала себя вольнее, и он своей простотой и общительностью больше нравился, был симпатичнее.

С наступлением лета все наши студенты разъехались. Приехала Миля уже совсем, окончив институт. Хорошо устроившись в Контроле, я выхлопотала и ей там место. Лето мы больше проводили у Киселевых. Евграф Степанович снял офицерскую форму, так как вышел в отставку[в 1874 г.], желая всецело посвятить себя науке. Он кипятил кости, изучая их внутреннее строение. И в квартире Федоровых стоял запах супа.

К возмущению всех, он должен был оставить Медицинскую академию, перейдя уже на второй курс, из-за циркуляра министра просвещения Толстого,

требовавшего от поступающих аттестата зрелости. Евграф Степанович был только пока прикомандированным от военного министерства. Как он ни хлопотал, чтоб его оставили в академии, ничего не вышло¹⁰. Хотя с латинским он был несколько знаком, но не хотел терять время на изучение мертвых языков, совершенно, по существу, ему не нужных.

Выйдя из академии, Евграф Степанович каждодневно стал ходить в Публичную библиотеку. Путь его лежал как раз мимо нашего дома, и он каждый раз заходил к нам, но так как брат это лето жил на уроках за городом у командира казачьих войск, приготавливая их мальчика в военную гимназию, [и] меня с сестрой тоже не было дома, то он беседовал с нашей матерью. Мама мне как-то говорила, что он очень интересовался моей болезнью, из-за которой меня брали из института, и часто ее расспрашивал про меня. Меня это тогда не занимало, а удивляло, что такой вечно занятый человек тратит свое драгоценное время с мамой на обыденные разговоры. Маме он очень нравился.

У Киселевых мы проводили лето очень весело; все на воздухе, то в саду, то в парке, где нас стали преследовать студенты. Из нас, пятерых девиц, самые красивые были две сестры Поветкины, Катя и Надя, у которых брат читал лекции в Лесном институте; последняя уже была невеста. Особенно Катю преследовал студент с пледом. "Ай, плед идет," — и мы стараемся улизнуть. Из всех них выделялся по форме студент-медик армянского типа. В одно утро, только что встали, прислуга говорит: "Один офицер, не офицер, такой рулястый (т.е. кудрявый), все утро кругом да около дачи ходил, все поглядывал в сад, верно, вас поджидал, не выйдете ли?" Это и был студент-медик, не то армянин, не то грузин. Мы его прозвали "Рулястый". Чтoб избавиться от преследований кавалеров, из парка перебрались в Беклешевку. Раз бежали мы вперегонки, чтoб занять первыми скамейку в кустах на горке. Впереди всех очутилась я; вбежала на горку за кусты к скамейке: "Ах", — а на ней "Рулястый"; по противоположной дороге бросилась вниз. И так каждая из нас сделала ему визит. После этого нам пришлось спастись от него домой. Этот "Рулястый" сыграл некоторую небольшую роль впоследствии в моей жизни. <...>

В это же лето 1874 г. Евграф Степанович в августе поступил на 2-й курс Технологического института. Без офицерской формы¹¹, в своем сером куце пиджачишке, фигура его была непрезентабельна. Видеть его приходилось мне нечасто. Моей сестре Миле чаще приходилось с ним встречаться. Она, выйдя из института, продолжала быть со мной замкнутой в себе. У меня с ней не было взаимной интимной дружбы. Вскоре после выхода из института, она сдружилась с Клавдией Алексеевной, затем с Марией Степановной и все свободное время почти пребывала у Федоровых. Я же дружилась туго, да и больше нее была занята контрольной работой от Кохманского за особую плату, так что приходилось за ней просиживать немало вечеров. То в опере с Мейером. С сестрой нам приходилось видаться и говорить, только идя в Контроль, да ложась спать. Своим замалчиванием она меня отводила от расспросов; живя вместе, мы мало знали святая святых наших душ.

Сидим осенью, пьем чай. Кто-то роняет ложечку чайную. Любовь Ивановна стоит, как всегда, прислонясь к косяку двери передней, и говорит: "Гостя будет". <...> — "Нет, Калашников, — он всегда приходил при падении ложечки." — "Ну, теперь ему не прийти, из Перми-то не скоро прискачешь". Посидели, поговорили о нем, о том, о сем. Звонок. Явился Калашников с чемоданом и свертками. Это была первая ласточка. Это совпадение вызвало смех, и частое соединение такого верзилы с чайной ложечкой смешно. Получив стипендию и уроки, Калашников эту зиму у нас уже не жил, а только часто приходил пить и спорить.

Наша самая большая комната превратилась опять в гостиную, но уже с диваном, и вся ее пустота заполнилась. Коля стал иметь свободную комнату. <...>

С приездом студентов с каникул у нас сталолюдно. Стали опять по вечерам собираться и спорить без конца. Евграф Степанович сначала бывал не часто, а потом чаще и чаще, пока не стал тоже завсегдатаем. Он и Мейер больше помалкивали, когда другие яро спорили, соскочив со стульев, стоя за чайным столом, размахивая руками, кричали. Они сидели поодаль, иногда перешептываясь, каждый на своем излюбленном месте: Мейер на правом кресле, а Евграф Степанович на правом боку дивана. Особенно подливала масла в огонь Серафима Леонтьевна, которая, в конце концов, сводила все споры на какое-нибудь доказательство о существовании Бога. Она, бывало, начинала, а студенты горячо доказывали противоположное. Наконец она замолкала и казалась побежденной, но потом, надев уже шляпу и простившись, возвращалась из передней, топала ногой и, заявив: "А все-таки Бог есть", — исчезала. Это выходило по-галилеевски: "Все-таки [она] вертится".

Мне казалось, все их споры приводили не к отрицанию Бога, а к критике и дискредитированию религии. Религия же только культ Бога. Фейербах говорит: "Не религия делает человека, а человек религию". Поэтому она может быть несовершенна. Бога от религии надо отличать. Они этого как-то не замечали. Бог у всех народов одно и то же: творец, создатель миров видимых и невидимых, одно понятие, а религий разных много. Это нравственный закон, хотя на время воспаряющий душу ввысь, сила, подавляющая все низменное души, всю ее муть. Говорят: "Кто в море в бурю не бывал, тот и Бога не видал". Чем же заменить беспринципному человеку религию, чем утешить тяжкое горе? Это все равно, что разбудить спящего над пропастью и показать ему ее, когда нет никакого выхода оттуда. Много, много думалось под влиянием этих споров. В пылу их споров трудно было кому-нибудь другому вставить слово. Может быть, потому ни Евграф Степанович, ни Мейер не вступались в разговор, а мне очень хотелось узнать их взгляд. Мейер слушал серьезно, а Евграф Степанович — чуть-чуть как бы улыбаясь про себя.

Мейер исчез с нашего горизонта внезапно, и никто не знал, куда. Так и остался он для меня загадкой. Евграф Степанович как-то сумел его, такого молчаливика, вызвать на разговор и считал его очень умным. Последний раз Мейер пришел к нам днем один. В это время мы собирали Олечку на какой-то вечер. Она разглаживала кружева. При приходе Мейера она меня вытолкала в гостиную: "Иди, занимай его, Людка, он твой поклонник". Я вышла, разговор у нас с ним как-то не вязался, а там где Олечка — смех, веселье, я и предложила Мейеру: "Слышите, как у них там весело, пойдемте туда". Обиделся ли он, или из лишней деликатности ответил: "Извините, я Вам, кажется, помешал", — и ушел. Так с этих пор прекратил у нас бывать. Исчез даже из Петербурга. С моей стороны была только некоторая нетактичность, но вот кого меньше всего думала обидеть, так как мы были такие хорошие товарищи. А вышло как будто так. Впрочем, не знаю. Он для меня загадка.

Между тем пришел к нам как-то раз Евграф Степанович и застал только меня одну дома. Между другими разговорами я воспользовалась [минутой] и завела речь о том, что он никогда не входит в спор о Боге и как на этот вопрос смотрит. А он мне: "Да о чем же тут спорить, каждый ведь прав по-своему, это дело веры. И верит каждый по-своему. Будь это доступно математике, — о! — тогда бы я непременно стал настойчиво добиваться его разрешения. А сейчас, если я скажу, что души нет, а человек — это химическая лаборатория, а доказать окончательно не могу ведь этого, это будет голословно. Как же я могу навязывать другим свои измышления? Вот другое бы дело, если б я все доказал с помощью математики или экспериментальными опытами". Его слова меня поразили своей разумностью. Прежде, да и теперь, все развитие начиналось с отрицания Бога. Потом он добавил: "Бога постигать и разъяснять нельзя, его можно чувствовать только. Кто чувствует, тот и настоящий ве-

рующий". Евграф Степанович мне тут рассказал, что будучи мальчиком он очень любил представлять из себя священника и служить, а между тем его редко водили в церковь.

Все наши знакомые студенты были славные парни, а Павел Николаевич Серебрянников особенно, что называется, "душа-человек". Все они стремились приносить пользу не только народу, но и человечеству, и все они считали себя социалистами. И вот их социалистические взгляды на всех них накладывали почти одинаковый оттенок. Каждый из них порознь говорил и утверждал одно и то же. Они были шаблонны. Евграф же Степанович был самобытен всегда; подчас очень оригинален, так что невольно, обращаясь к нему с вопросом: "А как Вы на это смотрите?" — получали всегда неожиданный своеобразный ответ. Мне это очень нравилось, Павла Николаевича это сердило. Ему хотелось нас с сестрой развивать на свой лад в определенном направлении, а замечания Евграфа Степановича как бы мешали. По-видимому, Миля стала быстро воспринимать идеи социализма и по некоторым признакам стала ярая "красненькая", но только в теории; я же, как скептик, туго поддавалась внушению и перемалывала в голове одни и те же вопросы, для меня неразрешимые.

Как возможно равенство в социализме между гением, дураком и злодеем? Если будут тюрьмы, смертная казнь, то какой же это социализм? Даже только при экономическом социализме один двигает вперед науку для блага человечества, а рядом другой разнуздывает свои низменные инстинкты, не в состоянии их сдерживать, сравниваются под одну доску. Для меня это было непостижимо, а для них было желание лишь бы сделать переворот, и как-то сами собой появятся все блага свободы тогда; а по-моему, все эти блага зависят от самого же человека и его качества. Я была за эволюцию. А главным считала воспитание человека в духе гуманности и закала воли. Моя заповедь была: "Не делай другому того, чего себе не желаешь". По-моему, только при этом условии возможно равенство, как требует социализм. В этом отношении я была сектантка.

Помню, повел меня как-то Павел Николаевич в общежитие пермяков на так называемую вечеринку. Это было где-то далеко на Петербургской стороне в одном из ее захолустий. Нужно было проходить двор; у калитки спрашивали пароль, потом сад, и уже тогда проникнуть дозволялось в низкий деревянный дом с закрытыми ставнями. Помню, это было довольно таинственное путешествие в молчании, чтобы не обратить внимания полиции; а на случай ее появления в громадном зале в сторонке был накрыт стол с разными закусками и бутылками, чтобы придать вид вечеринки. Студенты пели. Но, собственно, это была сходка, митинг. Тут было много народу. Многие студенты были в красных русских рубашках и с мохнатыми волосами до плеч, что им придавал свирепый вид. Я сидела и слушала.

Говорилось все на тему о переустройстве существующего строя и, чтоб скорее этого достигнуть, нужно поднимать рабочих на бунты, беспорядки и забастовки, тогда только существующий строй рухнет и настанет ... что? — свобода, равенство и братство, неприкосновенность жилищ и личности. Говорилось приблизительно так, конечно, с некоторыми вариациями. А мне думалось: "Ах, хорошо, если б это было так, чего же лучше?" Ужас, какие были страшные зверства в Великой французской революции, а все же после нее было два Наполеона. Мне вспомнилось: Евграф Степанович как-то в споре с Павлом Николаевичем высказал, что только тогда возможно счастливое и справедливое сожительство людей, когда каждый человек станет нравственнее, с развитым чувством долга.

Когда, видимо, притомились и речи иссякли, я решилась выступить со своими взглядами, на что и Павел Николаевич меня поощрял. Конечно, сначала я волновалась, но потом горячо и проникновенно, говорят, защищала свою точку зрения. Но не успела я еще кончить, как из другой комнаты показался в красной рубашке лохматый бородач, вышел на середину зала и громогласно безапелляционно

заявил: "Довольно миндальничанья, сантиментов! Революция — это зверь во образе человека, а не маниловщина", — и вышел в другую дверь. Мне потом сказали, что это — известный бунтарь. Некоторые стали аплодировать, а большинство шикать, не то ему, не то мне, я так и не разобрала. Я поскорее ретировалась. Павел Николаевич проводил меня до извозчика. А они там пировали до утра. Павел Николаевич не прочь был выпить.

Я ехала и думала: "Первый социалист ведь был Христос: разве возможно согласие добровольное из-под палки? Когда каждый норовит вырвать кусок у другого и перервать тому горло. Что сильнее, добро или зло?" Потом Павел Николаевич мне говорил, что за их ужином происходили горячие споры по поводу моего заявления. Конечно, многие из бывших там были не симпатичны, прямолинейны, заблуждались, и все же это были хорошие люди, люди идеи, из них многие уже за нее пострадали и платились жизнью. Мученики идеи.

Мало-помалу Евграф Степанович стал втягиваться в споры. Так как вследствие своей душевной глубины и широты кругозора он перешагивал через узкие кругозоры других, то вообще наши товарищи его уважали, но, видимо, недолюбливали; к тому же он был аскет в полном смысле, хотя не навязывал другим ничего подобного, но, конечно, высказывал свои взгляды и правила. Они же не прочь были кутнуть при случае. Им, как будто, с ним было не по дороге. Так, Павел Николаевич сказал мне как-то раз: "Смотрите, не увлекитесь им; предсказываю Вам, что с ним будет очень трудно жить, наплачетесь". А я, действительно, стала все больше и больше смотреть глазами Евграфа Степановича и соглашаться с ним, хотя часто, чтоб больше выяснить вопрос и заставить его высказаться яснее, возражала. Тогда он, бывало, говорил: "А я не могу понять, как Вы это не понимаете, логичность всех доводов, кажется, ясна". И старался еще больше уяснить.

Наши студенты пропагандировали разные книжки. Павел Николаевич нам с сестрой составил целый список, что мы должны прочесть, но я, помню, не удосужилась использовать весь этот список. Чернышевского, Миля, Миртова* и многих других я читала уже.

Евграф Степанович вызвался нам изложить Маркса, так как, к стыду моему, мне он был до того скучен, что я его, признаться, не могла одолеть. Мы стали собираться у Федоровых, где Евграф Степанович переводил нам с немецкого, кроме Маркса, и политическую экономию Дюринга, тогда только что вышедшую. Переводит Евграф Степанович из Маркса: "Процесс производства — законодатель и судья капиталистического общества; прибавочная стоимость — специфическая особенность капиталистического способа производства". А мне стыдно признаться, что мне эти стоимости, накопления неинтересны. Дальше: "Критика оружием не может быть заменена оружием критики". У меня встает вопрос: "Почему? А лучше бы было, чем драться". Потом: "Материальная сила может быть свергнута только материальной силой". А Евграф Степанович был противник всякого насилия, Маркс же проповедывал гражданскую войну. Оказывается Маркс же с презрением относился к русским¹².

У Федоровых сначала компания была больше женская. Самая близкая к ним семья состояла из мачехи, двух сыновей и двух дочерей — все взрослые, обе дочери служили в Контроле. Другая семья состояла из матери, собственно добродушной, но прозванной по виду "жаба", двух уже солидных сыновей и трех дочерей. Старшая, очень красивая и самая умная и симпатичная, года через три после нашего знакомства умерла, вторая, рыженькая Анненька, тоже красивая, с стереотипной улыбкой, не сходящей с ее лица, была очень недалекая, но прекрасная хозяйка, гладила даже сорочки крахмальные братьям лучше любой прачки, вообще была трудяга и очень добрая. Евграф Степанович,

*Псевдоним П.Л. Лаврова. — *Примеч. сост.*



Юлия Герасимовна Федорова, мать Е.С. Федорова

когда она сидела в обществе одна поодаль, подсаживался к ней и излагал какие-нибудь философские взгляды. Дивились и говорили: "Ну, нашел кому расспытать бисер! Что она понимает?" — "Я ее уважаю, как хорошего человека, что-нибудь да поймет", — говорил он. <...> Третья сестра, самая образованная, энергичная, здоровенная (в 1919 году умерла от голода). Старший сын, чиновник какого-то департамента, самый состоятельный, содержал всю семью, был большой чудаковатый; сам покупал материю на одежду матери и сестрам, и они носили то, что им не нравилось, чтоб не обижать Мишеньку. <...> А другой брат, инженер, до того вежлив, что отскакивал, как пробка, с извинением, если ему доводилось кого-нибудь задеть, особенно он носился по залу, когда танцевали. Иногда вся эта компания присутствовала на изложениях Ев-

графом Степановичем нам и Конта, и Канта, которого он предпочитал первому.

Вообще за этот период он много передал нам научных, философских и других знаний. После этих лекций у Федоровых пели, играли. Евграф Степанович с своей сестрой пел дуэты: "Не шуми ты рожь спелым колосом", "Не искушай меня", "Моряки". Иногда играл нам соло на рояле <...> или в четыре руки с Марией Степановной. Уже позже он нам изложил свою теорию перфекционизма, которую я ему переписала, он впоследствии напечатал, но, к сожалению, с большими пропусками цензурой, так как он там затрагивал немцев, как больших перфекционистов, и предсказывал их крушение¹³. <...>

Евграф Степанович надумал учиться [переплетному делу] и пригласил меня ему помогать, так как у них и у Коли было очень много непереpletенных книг. Я согласилась: это мне льстило. Но почему он пригласил меня, а не свою или мою сестру? Она и свободнее меня, и чуть не каждый день у них, сдружившись с Марией Степановной.

Работали мы в проходной комнате Евграфа Степановича, его кабинете. Я шила и клеила, он обрезал, что требовало силы. Раз мать его, Юлия Герасимовна, проходя мимо, поцеловала его в потный лоб. Я подумала: "Вот что значит мать, [материнская] любовь; как я с ним ни дружу, а поцеловать, да еще потного, не могла бы". Так он был тогда еще далек мне. Мне и в голову не приходило, что, работая так, интимно, по-товарищески, можно им увлечься.

Работая, мы рассказывали друг другу о нашем детстве. Как оно сильно различалось! Мое такое разнообразное по впечатлениям, а его довольно однообразное, с усидчивым трудом. <...>

Он родился 10 декабря 1853 г. Отец его, военный инженер, генерал-майор, в Оренбурге был немалая шишка, и Евграф Степанович был крестник губернатора Перовского¹⁴. Вскоре вся семья переехала в Петербург, и он [Евграф Степанович] не помнит Оренбурга. Отец их был плохой воспитатель. Он заставлял их играть с ним в карты в вист на деньги, никогда не вывозил их на дачу, а водил пешком в окрестности Питера, чаще всего в Лесной, кормил их там в ресторане,

закармливал их в кондитерских сладостями так, что они почти захварывали. Любил на устраиваемых у себя вечерах кутнуть и так перепоить всех собравшихся гостей-сослуживцев, что их потом развозили денщики по домам.

Мать, очень дельная и образованная, парализовала влияние отца; сама положила первую учебу в них, особенно по музыке. Она — дворянка Ковенской губернии, дочь прокурора в Вильно. Все дети под ее влиянием вышли хорошими. Евграф Степанович уже в 5 лет умел читать, писать и знал четыре правила арифметики. Будучи 7 лет, он взял у старшего брата, приготовлявшегося тогда с учителем в военную гимназию, геометрию Поссе и проштудировал ее всю в два дня. Брат не поверил, а когда проэкзаменовал его, то удивился. Недаром про него говаривал отец: "Этот далеко пойдет". Но не особенно об этом заботился. Учитель [старшего брата] был Шаухфус, впоследствии министр путей сообщения; он тоже не обратил должного внимания на такие выдающиеся способности малыша.

Его, как и всех мальчиков, отец шлепал, когда, расшалившись, они шумели и мешали ему заниматься. Другие ревели, а маленький Граня говорил отцу, не плача: "Тебе же стыдно, тебе же стыдно!" Это мне рассказывала его мать. Значит, у него уже тогда развивалась большая сила воли.

Его на девятом году отдали в Анненское реформатское училище. Он там научился играть на скрипке. Для усидчивости мать приучила их вязать, и он со старшим братом связали по скатерти с замысловатым узором на обеденный стол.

Когда их отец умер¹⁵, всех троих братьев приняли на казенный счет во вторую военную гимназию. Не окончивши последнего года, он перескочил через последний класс в Николаевское инженерное училище, где выдержал отлично экзамены. Хотя, было, запротестовали там, потому что это было не в порядке вещей и тем более что ему не было полных 16 лет, должных быть при приеме, но по конкурсу он вышел из ряда вон, и ему сделали исключение и приняли. Окончив [в 1872 г.], он поехал служить в Белую Церковь саперным офицером. Но военная служба его не удовлетворяла, и он уехал в Петербург, чтоб учиться, и поступил в Медицинскую академию [в 1873 г.], а циркуляр министра Толстого помешал продолжать, и Евграф Степанович сейчас на перепутьи.

Мой брат давал уроки сыну Лесгафта Петра Францевича и, значит, был с ним знаком. Он как-то раз повел меня с сестрой в его музей. Ходим мы, осматриваем. Лесгафт объясняет и все пристально смотрит на меня. Меня стало это смущать, и я старалась отворачиваться. Он это, видно, заметил и спросил меня:

— Вы с Волги?

— Нет, с Камы.

— Ну, это все равно что Волга. У Вас такое лицо, которое только там и можно встретить.

А когда я сказала, что у меня выдаются скулы и я этим похожа на татарку, то он объяснил мне, что у меня развиты не скулы, а мышцы на них, и что это совершенно иное и зависит от упражнения их и бывает у немногих людей, и что на своей



Степан Иванович Федоров, отец Е.С. Федорова



Евграф Степанович Федоров (в центре) с братьями Александром и Евгением (справа)

лекции, когда дойдет до мышц лица, он подробно это объяснит. Он меня заинтриговал, и я стала с интересом ждать лекции о мышцах лица.

Я забыла сказать, что мы с сестрой посещали Владимирские вольные курсы по некоторым вечером¹⁶. Они мне заменили оперу без Мейера. Слушали ботаника Бекетова. Он читал превосходно, точно по книге, но монотонно и потому несколько снотворно. Зоолога Вагнера. Он на первой своей лекции долго стоял, опершись обеими руками о стол, обдумывая лекцию, опустив голову. Кто-то шепнул: "Сейчас стол пойдет", — Вагнер был спирит. Раздался общий смех, чем удивили и смущили и без того застенчивого Вагнера. У Лесгафта слушали мы анатомию и эмбриологию. Его лекции — прямая противоположность бекетовским. Лесгафт воодушевлял, зажигал, не давал дремать, страстно, возбужденно выкрикивал: "Прелестная косточка", — размахивая вонючей-превонючей костью. Он сам говорил, что, если замечал зевающих по сторонам, то, значит, нужно привлечь внимание, дремоту разбудить, и начинал либо показывать, либо покрикивать, и потому у него не дремалось никогда. На этих лекциях мы многому научились, развились умственно. Хорошее это было время. Бывало, по окончании лекции по Владимирской ползет по панели длинная змея слушателей, а Лесгафт, семеня ногами, догоняет нас и всегда говорит: "А вот я вас и обогнал. Добрый вечер", — приподнимал шляпу и исчезал в толпе. Он уверял, что, делая частые и короткие шаги, скорее ходишь, что и доказывал, обгоняя всех нас.

На лекции о мышцах лица он разъяснил очень подробно развитие скуловых мышц, которые всегда участвуют при смехе. Но есть тут одна, которая не у многих развита. Оказалось, у меня развита так называемая мефистофельская мышца. Она руководит горькой усмешкой с сожалением, с иронией, с сарказмом. Редко кто так смеется, а потому она и не развивается у всех.

Под вечер пришел как-то Евграф Степанович. Войдя в приемную, начал говорить, что облака до того низко спустились, что ползут по крышам высоких домов.

В это время Любовь Ивановна из передней за его спиной делает мне какие-то призывные звуки. Иду к ней. Она с таинственным видом ведет меня в кухню и какая-то расстроенная говорит:

— Людмила Васильевна, разве вы все не замечаете, что Евграф Степанович не в себе?

— Как не в себе?

— Вы не видите, что он сошел с ума?

Я поражена и в раздражении говорю:

— Вы сами, кажется, сошли с ума. С чего Вы взяли?

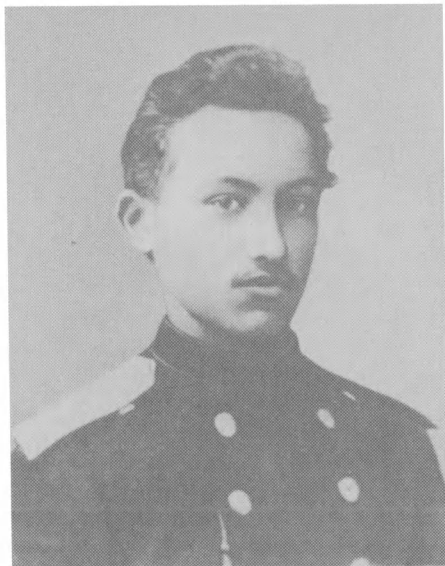
— Разве облака могут ползать по крышам? Потом, в такой холод пришел без пальто, а еще удивительнее, говорит: "Здравствуйте, Любовь Ивановна" и подает мне руку. Я свою не дала, тогда он взял сам, пожал и сказал: "Я Вас уважаю, Любовь Ивановна". Подумайте: мне, кухарке. Он ведь генеральский сын.



Е.С. Федоров — ученик Военной гимназии (1867 г.)



Группа учителей и учеников II Военной гимназии. Е.С. Федоров — крайний слева во втором ряду, сидит



Е.С. Федоров — подпоручик саперного батальона (1873 г.)

Тут уже мне стало смешно и досадно на Любовь Ивановну. Вот как она оценила такой рыцарский поступок. Он же меня умилил. Мы потом над ней потешались. Она не понимала, что не место красит человека, а человек место. Но в эти времена нельзя было с нее и требовать других понятий, она с ними сжилась.

Она была преданная, исполнительная, честная работница, любила нас как родных, особенно Колю. Он, бывало, всегда опаздывал к обеду и потому, для ее облегчения, обедал в кухне, где к тому времени все уже было прибрано и была наведена чистота. Войдет Коля, бывало, в кухню, поводит головой, принюхиваясь, и потом скажет: "Тут у Вас вкусным пахнет и точно яблоками?". — "Ну, уж этот Николай Васильевич, все пронюхает", — говорит Любовь Ивановна, залезая в свой сундук и доставая оттуда яблоки. Она зачас-

тую нас угощала ими. А вот кого она обожала, так это Колину собаку Дара. Этого красавца громадного пса до того избаловала, что он стал огрызаться, когда его тревожили во время сна.

Надо упомянуть и о собаке — сеттере, белом с желтыми пятнами, Кадо-Кадошке. Он — собственность брата Евграфа Степановича, но всегда приходил с ним, и даже без него, к нам. Зная, что Евграф Степанович каждый день заходит к нам, куда бы ни шел, ложился и ждал его у нас. Этим он давал нам знать, что его хозяин где-то близко. Летом Евграф Степанович его купал в бывших тогда "прудах", а осенью или весной, когда холодно, он, не желая купаться, убегал к нам и ждал его у нас. Раз он отстал и потерялся на Невском около Гостиного Двора. Ждали, ждали его, но потом догадались идти туда, где ходили с ним, и нашли его лежащим у Гостиного. Он был очень умный; даже раз потащил за платье Юлию Герасимовну в кухню, когда не было прислуги, а в качалке около окна рабочий белил снаружи стену. Окно было открыто.

Наш начальник в Контроле Кохманский был, собственно, добрый, но очень вспыльчивый и неводержанный, в пылу раздражения он кричал на всех, кем был недоволен. "Ну, загремел опять", — говорили простодушно, когда раздавался из кабинета его крик. Случилось моей сестре вывести его из терпения, и он начал на нее кричать. Она, ни слова не говоря, вышла из кабинета, поднялась наверх в IV Отделение и нажаловалась на Кохманского барону Хюне, его высшему начальству, оделась и ушла домой. Кохманский получил выговор, а Миля вышла из Контроля и стала зарабатывать уроками, уча детей Киселевых. Саша Попов предлагал Миле выхлопотать стипендию и подготовить ее на Медицинские курсы. Миля отказалась. Я позавидовала, но не выдала своего желанья, боясь огорчить маму, которая и так боялась, чтоб я еще не потеряла Контроль. Кохманский, кроме службы, доставлял мне еще кое-какую работу за хорошую плату, из приюта, где он был попечителем. Наградные к Рождеству и Пасхе я тоже получала не маленькие.

Служила я, переплетала, а все же не забывала своего приготовления к курсам. На что я надеялась? Почему я это скрывала даже от Евграфа Степановича? Не знаю.

Скорее, тут мною руководила гордость. Я не хотела никому обязываться, да тогда и мама узнала бы и затревожилась.

У Федоровых пришлось познакомиться с большим приятелем Евграфа Степановича, артиллерийским офицером Николаем Николаевичем Дерюгиным. Это был замечательный человек, но пока я его мало знала. Федоровы его очень ценили.

УЧАСТИЕ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

Евграф Степанович, конечно, не остался равнодушен к своему изгнанию из академии и примириться не мог с существующими порядками и вступил в партию, где занялся подпольной работой¹⁷, но, так как, отличаясь гуманностью, он не сочувствовал насилию — оно ему претило, то ему поручали помогать освобождать заключенных из тюрем¹⁸.

В связи с этой партийной работой на нашем безмятежном горизонте стали показываться тучки. Евграф Степанович начал дружить с новоиспеченным врачом В.Г.Д. Он приходил к нему почти каждый день с каким-то таинственным видом. Они запирались в пустующей комнате Евгения Степановича, который уезжал в Казань на постройки в казармах. Этот доктор был человек состоятельный, обстановка его квартиры была роскошная, с золочеными стульями и, как говорил Евграф Степанович, подавляла его своим видом, но это оправдывалось так: служило отводом глаз полиции. Отовсюду про него шел нелестный слух, так и сыпались эпитеты: болтун, прохвост, хвостун и т.п. Являясь к Евграфу Степановичу по какому-нибудь делу от партии, конечно, порученному ему секретно, он афишировал свое появление, сейчас же запирался с ним tête à tête* и просиживал так подолгу. Вся федоровская семья и наша считали его пустозвоном, предостерегали Евграфа Степановича, но он его защищал и никого не хотел слушать. Скорее всего, это была дойная корова для нужд партии.

Как-то раз Евграфу Степановичу как бывшему офицеру было поручено партией выбрать какую-нибудь военную форму и все принадлежности к ней для освобождающегося из тюрьмы. Он пошел выбирать. Придя из Гостиного Двора, со смехом рассказал брату, военному инженеру, как курьез, что, когда приказчик спросил его, какая ему нужна форма, он ответил: "Все равно, какую-нибудь". Брат пришел в ужас и подивился, как Евграфа Степановича не арестовали, сочтя за мошенника. Собственно, он, поглощенный наукою, не годился для конспирации, он мог наделать массу оплошностей и погубить и дело, и себя. Брат, мать и сестра забеспокоились, да и наша семья тоже. Все мы его полюбили.

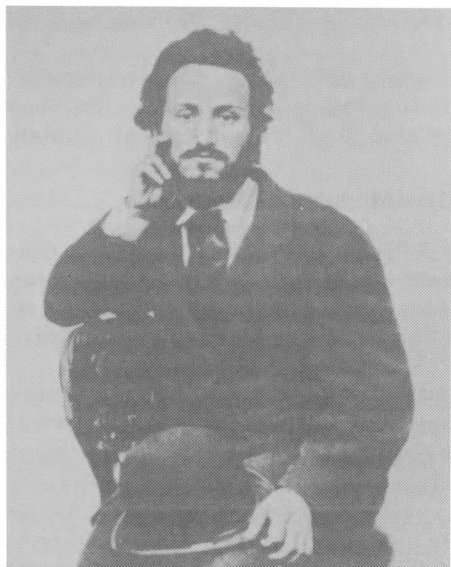
Он поступил в Технологический [в 1874 г.] только ради изучения химии и, перейдя на третий курс, проходил за четвертый, уже кончал; кончив, решил оставить институт, не желая идти на завод. Его тянула наука. Мать и брат не раз высказывали свое сокрушение, что он не намеревается избрать какую-нибудь специальность и тратит время на пустяки — на переплетничество.

Подходила весна. Хоть наши переплеты были и не особенно изящны, но довольно крепки. Мы между тем, покончив со всеми нашими книгами, переплетали книги знакомых. Переплетаю я и думаю: "Скоро лето, хорошо, что кончаем, пора мне подзаняться и курсовыми предметами, совсем их забросила. Сказать ему или не говорить?". В это время Евграф Степанович, точно угадывая мои мысли, спрашивает:

— Вот мы кончаем, не надоело Вам? А что, если брать на заказ? Мы стали бы с Вами зарабатывать, но для этого нужно приобрести усовершенствованные аппараты.

— Да зачем Вам в этом совершенствоваться? Вам нужно скорее выбрать какую-нибудь умственную специальность, а ручной труд уступить посредственности.

*С глазу на глаз; наедине (фр.).



Е.С. Федоров после выхода в отставку из армии

— Иметь какое-нибудь ремесло никогда не помешает. Оно выручит, если очутишься не там, где сам желаешь жить.

— Вот что! Вот куда Вы метите!

— Специализироваться мне сейчас некогда, я нахожу, что мне следует еще многому поучиться, что я и делаю, пользуясь Публичной библиотекой; потом, я принадлежу партии и нахожусь в зависимости от ее распоряжений.

"Экий ты бедный какой", — подумала я. Мне стало так жаль его.

Нас позвали пить чай, а после мы с сестрой ушли домой. Дорогой я все думала о нем. По-видимому, это человек более пригодный для науки, а вязнет в тине подполья, он совсем не пригоден для конспирации, как бы его выцарапать оттуда, пока не погиб. Я решила поговорить с его братом. Мы все начали обсуждать этот вопрос помимо него, и брат придумал спроводить его за границу. Он предложил ему

выдавать ежемесячно небольшую сумму денег и ехать за границу с какой бы он ни пожелал целью. Евграф Степанович с охотой принял это предложение и, получив от партии поручение завязать связь с заграничными рабочими ферейнами, начал готовиться к отъезду.

Он торопился окончить статью о перфекционизме и попросил меня писать ее под его диктовку. Вместо переплетничества я теперь по вечерам ходила к ним писать.

Приближалась весна [1876 г.], а с ней — его отъезд. Когда он, наконец, объявил день своего отъезда, то всем нам стало грустно с ним расставаться. На меня же это известие подействовало удручающе. Я этого не ожидала. Я только тогда поняла, как стал мне дорог этот человек. Мне казалось, что и ему не легко расставаться с нами. Это меня хоть радовало. Он высказал желание со мной переписываться и как можно чаще. Значит, мы с ним не совсем порываем наше содружество. Это хоть хорошо.

Завтра он уезжает в Кронштадт. Стали собирать его к отъезду. Накануне вечером мы с сестрой были у них. Юлия Герасимовна попросила меня сходить с его младшим братом, Александром Степановичем, офицером, приехавшим на побывку из Белой Церкви, купить кое-что. Когда я вернулась, то Евграф Степанович сказал, что ему что-то недостает и пригласил идти с ним купить. Но это был только предлог. "Пройдемтесь", — сказал он, и мы стали ходить по панели вокруг церкви все время. Тут он меня просил непременно ему писать, а потом сказал: "Хотя мы и часто с Вами виделись, но я многого не успел Вам сказать, да и собственно не совсем разгадал Вас".

Он предложил <...> вести переписку с партией через меня. Он будет писать на тонкой бумаге химическим составом, которого не будет видно, а уж поверх обыкновенными чернилами для меня о своей обыденной жизни. По получении от него письма, я должна сейчас же отвечать, что будет доказывать благополучное его получение. "Будем вести не только партийную, но и личную переписку, хорошо? Даете слово?" Я согласилась и сказала, что мне его очень будет недоставать.

Хотелось сказать что-то большее, теплее, но не вышло. "Я в Вас не сомневаюсь. С этих пор мы должны всегда говорить друг другу "ты", — сказал он и пожал мне крепко руку. Это "ты" меня смутило. Разговаривать дальше было некогда, и мы поторопились домой. Тут нужно было кончать нашу диктовку, и мы засели за нее и сидели до света. Кончили.

Под утро я уже пошла в гостинную, где на диване мне была постлана постель, но не легла, а вышла на балкон и, помню, долго стояла в каком-то смятении, которого не могла понять и разобрать, в чем дело. На площади и улицах было пустынно и тихо. Зачирикали воробьи, затрещала где-то вдали пролетка, хлопнула внизу дверь, зазвонили заутреню в церкви Рождества, свидетельнице рождения нашей солидарности во время такого странного свидания вчера; начали появляться люди. Я прилегла, не раздеваясь, но не уснула.

Евграф Степанович тоже потом говорил, что в эту ночь не сомкнул глаз. Он утром уехал на пароходе в Кронштадт, где должен был пересесть на германский морской пароход. В этот день я ничего не могла делать, была сама не своя и бродила по Петербургу из улицы в улицу до усталости. Потом пригласила Марию Степановну на завтра поехать в Кронштадт, где я и она никогда не были, чтоб еще повидать Евграфа Степановича, так как он только сегодня должен был выехать.

Выехали мы с первым пароходом. Приехав, наняли лодку, причалили к громаднейшему пароходу. На него нас не пустили, он уже разводил пары к отходу. Вызвали Евграфа Степановича. Он, очень удивленный, выглянул за борт и, видимо, был очень взволнован при виде нас. Его глаза своим необыкновенным блеском выдавали его волнение, значит, не легко и радостно он уезжает, и это эгоистично меня радовало. Мы перекликались с трудом, так как высота судна была громадна. Мы все-таки довольные вернулись домой, осмотрев хорошо Кронштадт.

Мне было жаль совсем потерять такого хорошего человека, а потому я согласилась быть его звеном с партией, не быв лично социалисткой, — это было для меня туман во облаках, утопия: но Евграф Степанович как бы вдохновлял меня, зажигал. Без него я как бы потухала. Обаяние его высоконравственной личности неотразимо действовало на меня, но разум мой стоял на страже. Я всеми силами боролась с этим очарованием и, как мне ни горько было расставаться с ним, я все же решила не раскисать и усиленно начала готовиться к вступительным экзаменам на медицинские курсы. <...>

Чтобы допустили к экзамену, нужно было к прошению приложить все документы, а они все находились в Контроле. Хранение их там служило препятствием к выходу тайному замуж, так как на службу принимались только незамужние. Хранились они у барышни, которая была за секретаря. У нее была помощница из молодых, большая поклонница итальянского певца Мазини. Она была лично с ним знакома, ездила к нему в Италию и переписывалась с ним. Когда он бывал в России, она вязала ему шарфы, даже ездила на козлах его кареты после спектакля, так как после пения на воздухе он не должен был говорить, берег горло. Вот она-то мне и помогла. Другие ее высмеивали и вышучивали, я же с интересом выслушивала ее излияния, такие еще новые, непостижимые для меня чувства, да еще к певцу. Мне было даже жаль ее, ведь, может быть, в душе он осмеивал ее, беднягу. Повела и я ей свои затруднения, и мое страшное желание поступить на курсы, и мое опасение лишиться места, если не выдержу экзаменов, страхи мамы. Она вошла с сочувствием в мое положение и выручила очень просто: взяла, да и принесла все мои документы с условием ее не выдавать. Мама успокоилась, что я не брошу пока службу. Я же с радостью бросилась подавать прошение, так как медлить дольше было опасно.

Курсы тогда уже были переведены из Медицинской академии в Николаевский военный госпиталь на Конногвардейском проспекте*. Начальник был Величковский, он сам принимал в канцелярии прошения. Я подала чуть не последняя, и если б опоздала еще день, то уже не приняли бы, как мне было объявлено. Медлила я с подачей из-за неуверенности, боялась, готова ли я. А тут еще препятствие: Величковский, рассматривая мои бумаги, вдруг заявляет, что у меня одной бумаги не хватает. Сердце мое так и захолонуло. Оказывается, нужно свидетельство от родителей, что они не препятствуют поступлению на курсы. Вот как! Я не знала. Тут уж я набралась храбрости и вступила с Величковским в многословный диспут. Доказывала ему, что неужели же женщина, будучи совершеннолетней, содержа себя своим трудом и помогая матери, не имеет права учиться без позволения старших. "Ведь я же хочу учиться, а не ишу чего-нибудь непозволительного, я не маленькая" — закончила с пафосом я. Величковский тогда доброжелательно заулыбался и сказал: "С виду Вы совершенно девочка, а так как сегодня последний срок подачи, то обойдемся и без этой бумаги".

Я возликовала. Начало было положено. Что-то дальше будет? Если б только кто мог представить мое тогдашнее состояние, то удивился бы моей смелости, которой я и сама дивилась и раньше бы не поверила; шла на ура; не знала, готова ли я. Мама стонет, даже плачет, что я потеряю такое прекрасное место в Контроле, которое по выслуге дает пенсию, а между тем она уверена, я не вынесу вида трупов. И в самом деле, в скором времени умерла наша знакомая, Холостова. Вид ее мертвой и вся обстановка производили на меня удручающее впечатление. Я долго не могла от него отделаться.

А что как я в самом деле не вынесу, а место потеряю? Да и денег, пока добьюсь стипендии, не будет, тогда что? Плату за учение обещал внести брат. Он тогда много получал на уроках и роскошествовал, покупая и выписывая медицинские книги и журналы. У него образовалась богатая библиотека. Одним словом, я шла на ура. Хотели же Миле помочь выхлопотать стипендию, авось и мне помогут. Наше русское "авось" окрыляет. С мамиными слезами я не могла совладать и успокоила ее, что я этот год не брошу службу, а день — от 12 до 4 — буду служить, а утро и вечер — на курсах, если, конечно, поступлю.

Наступили вступительные экзамены. Они были по вечерам от 6 часов. День я на службе, наспех обедаю и бегу на экзамен. Я попала в первую группу — их было три. Первый экзамен нашей группы был русский. Зал, как казарма, посередине три трехаженных стола. Пришла, все уже сидят и пишут сочинения. Тишина, только шелест бумаги. На стоящей черной доске мелом написаны три темы: историческая, литературная и третья: "Зачем женщине медицинское образование". Я ухватилась за последнюю. Написала эпиграф: *Mens sana in corpore sano* (Здоровый дух в здоровом теле). Главная и великая миссия, предназначенная природой женщине, — быть матерью, воспитать человека. Смертность детей, особенно у нас в России, очень велика. Зависит она почти всецело от незнания, от невежества и пр. и пр. Потом, женщина-врач желательна при женских болезнях, которые часто запускаются из-за стыдливости. А мусульманкам так прямо необходима, она вытеснит знахарок и т.д. — расписалась я. Накатала живо весь лист я, и было уже пора кончать, собирают сочинения. Красивый учитель мужской гимназии, сидя за отдельным столиком, принимает их. Сдала и помчалась домой. Что-то будет?

На экзамен математики запоздала так, что от Величковского получила выговор. Задач нужно было решить несколько: по арифметике, алгебре и тригонометрии. По арифметике числа были с версту. Впопыхах запуталась в них. Не успела еще решить, как стали отбирать задачи. "Ну, думаю, пропала". Но я не сдавалась, с войны без сражения не бежала. Забрала свои задачи и сама отправилась к учителю, заявила, в чем моя ошибка в именованных числах, неоконченную задачу по алгеб-

*Сейчас — Окружной военный госпиталь на Суворовском проспекте, дом N 63. — *Примеч. сост.*

ре он меня заставил доканчивать, посадив меня рядом с собой за столик, потом еще задал другую, пока принимал листки, и наконец отпустил с миром. Что-то будет дальше? Экзаменуют все учителя мужских гимназий.

Экзамен физики. По обыкновению, я опять запоздала. После службы я должна же была пообедать, а экзамены эти начинались раньше, с 5 часов, а этот — и в другой зале. Шла я на него и увидела пресмешную сцену: городской на площади старался схватить пьяного, а тот очень ловко увертывался, но бежать не мог и твердил, дразня: "А вот не поймаешь!" Их окружали собаки, лаяли, скакали, и городскому приходилось еще и от них отбиваться. Если б не экзамен, я бы дождалась конца этой сцены.

Пришла. Экзамен в разгаре. Поступающие в подавленном настроении. "Режет", — первое, что услышала я. Учитель желчный, возражает в повышенном тоне. Дело плохо! Хотя я в институте была первой по физике и учила к экзамену всю сплошь, что было в учебнике Краевича, а некоторые пропускали мелкий шрифт и не могли доказывать с математической точностью и резались. Сцена, мною виденная на площади, до того меня смешила, да я из таких, которые не любят убиваться раньше времени, потому подседа к уже выдержавшим и со смехом шепотом рассказывала, а они в кулак хохотали. Вдруг меня толкают и показывают на учителя. Он, оказывается, меня зовет к себе. Я чуть не со смехом явилась к его столу. Была не была! Вывезет не вывезет! Какое-то странное тогда овладело мною состояние ухарства. Я смело подошла. Учитель желчно сказал: "Не даром же Вы такая веселая, сударыня, Вы, видно, все прекрасно знаете? Как Ваша фамилия?" Порывшись в бумагах, продолжал: "Вот выручите-как нас, мы тут уж очень запутались", — и показал на двух сидевших по обеим сторонам столика экзаменующихся. Помню, дело шло о притяжении, о законе падения тел. Я стала доказывать и отвечать на вопросы. Тогда он обратился к одной из сидевших: "Вот видите-с, что требовалось доказать". — и попросил ее уступить мне место. Я вынула билет. Он начал спрашивать другую сидящую, и того, что она не знала, я должна была отвечать. Мне говорил: "Прекрасно-с", — а ее язвил и вышучивал; меня же не только спрашивал по билету, а гонял по самым трудным вопросам, по которым многие отказывались отвечать, на что он мне жаловался жалобным тоном. Чудак! Не было вопроса, на который бы я не ответила. Наконец: "Прекрасно-с", — и отпустил.

Я никак не ожидала, что выдержу так блестяще. Моих знаний никто не проверял. Сама в себе я не была уверена. Я решила убежать скорее домой, а то неприятно было видеть страх и убитое состояние других, хотя потом говорили, что я эту язву несколько смягчила. Экзамен затянулся допоздна. Все от него устали.

Самые последние экзамены были латинский и греческий. Последний меня очень смущал. Они могли мне испортить общий вывод баллов для конкурса. Но на наше счастье экзаменовал нас, за болезнью учителя древних языков, профессор анатомии Ланцерт. По латыни он заставил меня прочитать и переводить, что я сделала с грехом пополам. По-гречески я только читала с подсказками, а перевел он все сам за меня. Я думала, срезалась, а он сказал: "Ничего, удовлетворительно".

Осталось узнать только результат у русского учителя. Пошла на экзамен третьей группы, где он сейчас экзаменовал. Сидит этот красивый учитель за столиком какой-то невеселый, утомленный и спрашивает троих, которые не сидят, а стоят перед ним. Когда я попросила его сообщить мне, удовлетворительно ли написано мое сочинение (у кого были ошибки в нем — экзаменовали по грамматике), он довольно неохотно стал рыться в кипе бумаг. Наконец вытащил мое сочинение, посмотрел, лицо его прояснилось, и он тоже, как физик, сказал: "Прекрасно-с". Потом попросил: "Вот не поможете ли Вы нам разрешить наши недоразумения?" Касалось что-то Пушкина по литературе, уж теперь не помню. Я сказала, и тем ограничился мой экзамен по ней. Я ушла.

Все экзамены были кончены. Этот красивый, приветливый учитель точно

влил бальзам в мою тревожную душу. Смущал теперь только конкурс. Вот настало неприятное время. Точно образовалась какая-то брешь. Натяжение нервов спало, и наступила апатия. Будь что будет! Все равно! А тут как раз письма от Евграфа Степановича все чаще и чаще напоминают о нем. Меня не тянула к себе политика. Я не считала себя настолько компетентной, чтобы вмешиваться в судьбу народов необъятной России. Я желала приносить посильную пользу, но она могла ограничиться только известными рамками, в которых я уверена была в пользе дела, а там принесешь, пожалуй, непоправимый вред своему отечеству, как свинья под дубом в басне Крылова. Все это я писала Евграфу Степановичу, желавшему знать, что я теперь читаю; а я за это время ничего не читала. До него ли тут было? Про экзамены тоже не упоминала. Поступлю ли еще? Что скажет конкурс? Однако он ждал от меня названий прочитанных мною романов, так как решил прочитывать то же, что я, и потом обсуждать вместе характеристики героев. Потом я его письма передавала назначенному лицу, иногда В.Г.Д., а он — дальше. Поэтому его писем за это время у меня не сохранилось.

Наконец пошла я с тревогой в канцелярию курсов узнавать, поступила ли я. Сидит за столом помощница директорши Ермоловой, порылась в бумагах и говорит, что выдержать-то выдержала я, но конкурса-то еще не было. Значит, скачка с препятствиями еще продолжается. Пошла я ходить по гостям, а там все спрашивают, поступила ли? И так нудно было. Вспомнила я тут Мейера. Нет его, нет и билетов в оперу. А как теперь хотелось бы забыться. Немного погодя опять пошла узнавать, и, пока рылись в списках поступивших, стояла перед конторкой ни жива, ни мертва. Слышу как сквозь сон: "Как? Панютина? Она в списке поступивших". — "По конкурсу?" — "Да, в конкурсном". Держало [экзамены] больше 400, а поступило только 140, и я в том числе. Во мне все возликовало. Даже самолюбие заговорило: "Не осрамилась". А то как будто подчас и стыдно становилось проиграть ставку, как будто спорт какой был, уже не говоря о лишении заветной, манящей мечты учиться.

Несусь, сияющая, по бесконечному коридору госпиталя и думаю: "Я здесь не последний раз". Направо двери, все двери, и все они откроются для меня; налево большие окна, и на подоконнике одного из них сидит, болтая ногами, стриженная особа, должно быть студентка, и говорит мне:

— Вы, верно, из только что поступивших?

— Да, а что?

— То-то сияете. Это нетрудно отгадать по Вашему телячьему восторгу. Как-то будете кончать? Посмотреть бы тогда на Вас. Сияния-то ненадолго хватит.

— Вы как ворона каркаете, — бросила я ей и побежала, а она захохотала.

Итак, я студентка. Ура! Евграфу Степановичу о моем поступлении на курсы написала его сестра, и он был очень обижен, что я ему не сказала раньше про мое желание учиться, он бы мне мог помочь, а я тем-то и гордилась, что достигла все без посторонней помощи. Дорогая Олечка, узнав о моем поступлении, предложила мне стипендию по 20 руб. в месяц.

И вот с 9 до 11.30 я на курсах, оттуда буквально надо было бежать прямо в Контроль, где приходилось иногда получать выговоры за опоздание. Но с Песков на Казанскую* — не маленький конец. Хотя моя контрольная работа от этого не страдала, но было неловко. А что же было делать? Вот обиднее всего — мне приходилось не дослушивать лекции ботаника Бородина. А он замечательно хорошо и интересно читал биологию клеточки, точно чью биографию. <...> После службы, пообедав наскоро, я мчала к 6 часам на практические занятия, больше на микроскопах. Так каждый день. Придя домой, напившись чаю, засаживаюсь за книги до 2—3 часов ночи. Теперь уж было не до театра, не до гостей. Едва, бывало,

*Ныне улица Плеханова. — *Примеч. сост.*

успеешь написать письмо Евграфу Степановичу, а он выговаривает, что мало пишу, жалуется на мою неискренность. Ему хотелось бы, чтобы я ему высказывала всю мою душу. Ну, это уж дудки! Я старалась, напротив, и от себя-то самой завалить ее занятиями по горло. Придут, бывало, в воскресенье гости, сидят у чайного стола, разговаривают, а я у своего занимаюсь и переговариваюсь с ними.

Но вот пришло время получать препарат. Я приноровила к праздникам Рождества. Хорошо, что получила для препаратки руку: она легче ноги.

Евграф Степанович писал каждую неделю, сообщал, что он одно время был носильщиком на железной дороге, а теперь молотобойцем в кузнице, чтоб завести знакомство с рабочими и познакомиться с их жизнью. Меня это злило. Мне было жаль, что он взялся не за свое дело, хотя все же лучше, чем

здесь попался бы в лапы охраны. Он просил излагать ему мои взгляды на прочитанное мною из беллетристики, а мне и читать-то ее было некогда, но, в угоду ему, стала кое-что читать и критиковать героев и произведения. Помню, что на счет героев Мордовцева Евграф Степанович выразился отрицательно: неестественны, ходульны, деланные. Мы условились, что читать, и он там как-то доставал книги. Ему, видимо, хотелось меня досконально узнать, а меня уже несколько тяготило это.

Объявлена была война с Турцией¹⁹. Брат мой, будучи уже на 5-м курсе и не желая выходить ускоренным выпуском, уехал студентом на войну. Евгения Степановича перевели в Казань. Занятия курсовые меня все больше и больше поглощали. Таким образом, мне некогда было и думать о своих чувствах к Евграфу Степановичу, и только меня к тому принуждали его письма. Писал он мне лично только изредка; а то — на тонком листе, черными чернилами — для меня, при обработке химическим способом получалось другое письмо — к партии, написанное красным цветом. И это посылалось раза три в неделю. Я же должна была ему отвечать. Выходило так: он знал про нашу жизнь хорошо, мы же про него — мало.

Прошла зима. Приближалось время экзаменов. Мое совмещение курсов с Контролем меня в конце концов так утомило, что к концу зимы мое сердце начало давать перебои. Пошла я к профессору Чудновскому. Никогда мне не забыть приветливости этого со статной фигурой человека, стоящего передо мною и говорящего:

- Я с коллег не беру, — и отстраняющего предлагаемые ему деньги за визит.
- Я еще далеко не коллега.
- Ну, половиночка.

Очень скоро помог, а узнав все мои тревожения, покачал головой и посоветовал летом хорошенько отдохнуть и не заниматься книгами.

Я тогда задумалась, как отдохнуть? Прежде всего решила бросить Контроль, да и принуждена уж была ввиду экзаменов. Когда я вошла в строгий кабинет Кохманского, где часто гремел его голос, распекая кого-нибудь, и заявила ему, что должна покинуть Контроль, вызвала с его стороны быстрый вопрос: "Вы выходите замуж?" — "Нет". Он удивленно расширил глаза и, придвинув мне кресло, вопро-



Людмила Васильевна Панюткина, будущая жена Е.С. Федорова

сительно устался на меня. Когда я объявила ему, что поступаю на Медицинские курсы, его лицо из сурового преобразовалось в удивительно приветливое: "Вот как! Это большое, хорошее дело. Поздравляю. Желаю успеха большого, большого". Встал, расшаркался и крепко, долго жал мне руку. Я была поражена, никогда не могла ожидать получить такое трогательное сочувствие от такого бюрократа; скорее, думала, он поощрит мое замужество, а к курсам отнесется свысока.

Мы ведь, студентки, были тогда еще пионерки. Но, видимо, веяния уже пошли другие, и общество от травли стриженных перешло к сочувствию высшему образованию женщины. Показателями этого было все наше начальство: Величковский, Ермолова и ее помощница — все из высшего общества. При открытии курсов на торжественном молебне присутствовали даже великие князья — представители царствующего дома. Я поступила в самый расцвет курсового благоденствия. Какую массу препаратов мы пересмотрели в микроскопы, было так интересно заниматься!

Выдержав переходные экзамены хорошо, стала второкурсницей. Все дела с руи долой. Как-то даже странно. Передо мною встала дилемма отдыха. Я думала, думала и надумала уехать в Кунгур к дедушке: там и воздух хорош, молоко своих коров, сытно, спокойно и здорово. Решено, еду. Если маму не уговорю, уеду одна или с сестрой. Что затратим на проезд, наверстаем там на даровщине. Но вот как быть с Евграфом Степановичем? Ну что ж, пускай выберет в передатчики кого-нибудь другого, но тогда порвется связывающая нас нить. Ну что ж! Все равно нам не по дороге. Я не революционерка. Это он меня втягивает в политику. Я хочу быть земским врачом, непременно в деревне, чтоб бороться с предрассудками темного народа. Так тогда думала я, а Мария Степановна мне удивлялась и говорила: "Я себя не могу представить в деревне, без концертов и оперы". Жизнь впоследствии распорядилась нами по-своему: ее пригвоздила к деревне по выходе ее замуж за земского доктора, меня же дарила больше городом.

Я решила всю дурь из головы и из сердца выбросить, переменить обстановку, чтоб больше ничего не напоминало Евграфа Степановича, и был предлог порвать переписку с ним. Я себя убеждала: ведь это человек идеи, он закаляет себя, старается развить в себе непобедимую силу воли, от всяких чувствований бежит он. Помню, вечером лежу я, одетая, на кровати, руки под головой, глаза устали в потолок, и думаю, думаю о наших отношениях с Евграфом Степановичем. К чему они могут привести? Будь с моей стороны равнодушие, тогда куда бы ни шло. В конце концов он сядет на казенные хлеба и все тут, потянет и меня за собой, а я хочу учиться, учиться. И чем больше думаю, тем больше прихожу к решению порвать; чтоб не увлечься бесповоротно. Помню, меня очень раздражал световой зайчик, бегавший по потолку, а мама мешала, все спрашивала, не больна ли я, и звала пить чай. Я была довольна, только узнав из недавнего письма Евграфа Степановича, что за границей с ним вместе живет интеллигент, сын одного московского богача, бывший студент университета и теперь там учащийся. Они вместе проводят вечера, читают и занимаются науками*.

Вскоре я написала Евграфу Степановичу, чтоб он для переписки избрал кого-либо другого, а я уезжаю до осени в Кунгур. Был вызван Николай Николаевич Дерюгин из имения матери, и ему была передана переписка.

Мама, я и сестра уехали, Любовь Ивановна тоже — к брату погостить в Жиздринский уезд. Мама очень горевала по квартире, которую, конечно, сдали, как она ни была для нас удобна и мила, мы и все тут друг к другу привыкли. Мне жаль было ребят, особенно Ильюшку.

Последнее письмо Евграфа Степановича принесло мне желанное известие,

*Циммерман Эмилий Эмильевич. — *Примеч. сост.*

что он прекратил свою дружбу с В.Г.Д., и вот из-за чего. С войны мне брат прислал золотом 100 руб. через Глеба Успенского, известного писателя, с которым он там сдружился. Но Успенский с извинениями передал мне только 50 руб., а остальную половину остался должен, и ее пришлось мне получить только при окончании курсов. Вскоре после этого раз ночью нас разбудил резкий звонок. Мы все повскакивали. Обыск! Большой переполох. Любовь Ивановна уже знала, что сразу нельзя открывать, бросилась ко мне в спальню: "Нет ли у Вас тут чего запрещенного? Давайте мне". Потом уже у двери спрашивает: "Кто там?" Вдруг голос В.Г.Д.: "Мне очень нужно бы повидать Людмилу Васильевну". Я перепугалась; значит, что-нибудь случилось с Евграфом Степановичем. Оказывается, что же? Просто для дела он просит по телеграфу выслать 25 руб. Оказалось, В.Г.Д. заведывал какой-то там при партии кассой и ссужал своими, в случае чего, а сейчас у него не оказалось денег, так он явился за ними ко мне в 3 часа ночи. Эффект! Потому и явился ко мне. Значит, Евграфу Степановичу приспичила большая необходимость, и надо его выручать. Я, конечно, ни слова не говоря, отдала свое золото. Через некоторое время получила от Евграфа Степановича извинительное письмо и деньги обратно. А его дружбе с В.Г.Д. был положен конец. Все были рады.

Мы поехали не одни с мамой, с нами был попутчик, пермяк, студент университета П. По Волге мы поехали на Курбатовском пароходе, как на самом дешевом, так как он тащил за собой арестантскую баржу и потому плыл дольше других пароходов; а нам это и было на руку. Торопиться некуда, а на долгих остановках на пристанях мы с сестрой и студентом успевали погулять на берегу. Раз даже влезли на крутую гору подле Елабуги к развалине древней башни, и еле успели слезть к отходу парохода, до того гора высока и крута. Наши юбки цеплялись за поросли кустов, не давая скатиться, но зато задерживая ход. Измучились, а мама, глядя на нас, волновалась, что уедет без нас. Хорошо было ехать! Мы с сестрой все время сидели на самом носу парохода. Смушала душевный покой только баржа с своей сетчатой клеткой, похожей на гигантскую мышеловку. В ней копошились несчастные люди — продукт неправильного воспитания и режима.

В Перми посетили могилу отца и поехали в Кунгур на лошадях в двух экипажах на перекладных: мама — со студентом, я — с сестрой. Нам, выезжавшим только на дачу к Киселевым, эта поездка на пароходе и лошадях доставила неизмеримое удовольствие, хотя, болтаясь в экипаже без удобств, только с двумя картонками для шляп, зачастую стукались лбами. Чем дальше я удалялась от Петербурга, тем больше я отрешалась от прежнего мира, от призрака Евграфа Степановича, стараясь не думать о прежнем, как бы погружаясь в нирвану, безразличие какое-то, без всяких забот и волнений; старалась жить настоящим моментом и набирать только окружающие меня впечатления; старалась не вспоминать. Мне это хорошо удавалось.

Кунгурская жизнь с ее катаниями, пикниками, с чисто растительным прозябанием быстро восстанавливала утомленный организм, крепила не только тело, но и душу. Бывало, дядя кричит среди дня из окон, сзывая нас из садов. "Ватрушки, ватрушки горячие, кто хочет горячих, скорей приходите!" Приходим. На столе большущие три блюда: ватрушки творожные, картофельные, шанежки такие вкусные, что невольно съешь побольше. Молока пей, сколько хочешь. Как тут не растолстеть? <...> Я тут тоже зацвела. Все говорили, что похорошела; о перебоях сердца забыла и думать. Невольно, уписывая что-нибудь, иногда вспоминала Евграфа Степановича. Что-то он ест на скудные средства, которые ему дает Евгений Степанович, и еще отсылает в них отчет, хотя тот этого от него и не требует. С немецких габерсупов не захворал бы он там. Или иногда точно нахлынет какая-то волна и зальет мне душу жалостью и умилением к нему.

Пролетело лето. Мама уехала с сестрой. Ей надо было приискивать квартиру, а у сестры с сентября начинались уроки. Я осталась до конца сентября, так как занятия на курсах начинались с октября. <...>

Назад в Петербург меня дедушка не пустил ехать одну, а дал в провожатые монахиню, которая поехала туда по делам. Студентка и монахиня! Но мы с ней ладили. Я уважала ее убеждения, а она даже хвалила, что я хочу быть лекаркой немощному. Ехали мы на лошадях деда, по тамошнему — на долгих, до Перми, останавливались на станциях кормиться. Только за сено с кучера брали деньги, овес был свой, за молоко же и хлеб не желали брать. Вот какое тогда было бескорыстие и уважение к монахине. По Каме и Волге монахиня ехала на пароходе во 2-м классе, а я в 1-м, в общей дамской. <...>

Из Москвы я дала телеграмму. Наша новая квартира на Песках была ближе к курсам; не такая светлая как та, так как была в нижнем этаже. Приехала я жизнерадостная, жаждущая заниматься, свободная от службы, свободная от всего, стряхнувшая с себя всякие чары. Как бы какой-то дымкой заволокло мое непонятное чувство к Евграфу Степановичу. Я опять стала весела, дурашлива, вообще ожила, подавленное чувство прошло и забыла думать о нем. Точно куда-то далеко-далеко отошел от меня Евграф Степанович, и я решила с ним больше не переписываться, чтоб ничем не связывать себя. Я помню хорошо эти мои чувства. Все это мною было обдумано раньше, и я приехала независимая, веселая.

Вот я и дома. После дороги стала мыться. Сестра на уроке. Я плещусь, как утка, мама стоит подле, расспрашивает меня и вдруг говорит: "А ты знаешь, Евграф Степанович вернулся из-за границы". Я так и онемела. "Его семья еще не вернулась из Казани от Евгения Степановича, где проводит лето, и он живет один в пустой квартире", — продолжала мама. Ее голос доносился до меня как из тумана густого-густого. Я еще не успела прийти в себя от изумления, как звонок, и мама говорит: "Да вот, верно, и сам он, он каждый день заходит справляться, когда ты приедешь". Слышу голос Евграфа Степановича: "Ну что, приехала Людмила Васильевна?" Сердце мое захолонуло и забунтовало. Я была рада под предлогом мытья остаться одна и не выходить, пока не овладею собой. Я не хочу выдавать свое волнение. В конце концов нужно же идти. Решила говорить не "ты", а "Вы".

Я вышла и увидела Евграфа Степановича все в том же куцем сером пиджачишке, в котором он уехал за границу, но за год еще больше обносившемся. Сам он еще больше похудел, утерял свои густые длинные ресницы, веки красные и вздуты, глаза воспалены. Он их повредил, работая в кузнице. Он произвел на меня удручающее впечатление. Мне стало его очень жаль. Но почему я так волнуюсь? Можно ли это мое чувство любовью назвать? Не пойму. Разбираться в этом было некогда, нужно было спешить на курсы, чему я, признаться, была рада. Я старалась не говорить, глотала чай и кусок за куском. Спешила. Мама выручала, расспрашивая его про за границу.

Он у нас не остался, а пошел меня провожать. Дорогой он прежде всего задал мне вопрос: "Во-первых, почему это "Вы", а не "ты", когда мы условились перед моим отъездом за границу говорить друг другу "ты". Во-вторых, до моего отъезда мы солидаризировались, значит, мы должны быть большие друзья, а ты не предупредила меня, что хочешь поступить на курсы; а тебе, значит, нужна была подготовка, зная это, я, может быть, и не поехал бы за границу, а помог бы подготовиться. В-третьих, почему это я за целое лето не получил от тебя ни одного письма и даже ты не сообщила мне своего адреса. Вот так дружба! Прошу быть откровенной".

Пока он говорил, во мне был полнейший переполох и хаос. Искренней-то я как раз и не хотела быть. Что же мне было делать? Неужели, как пушкинской Татьяне, сказать: "Я Вас люблю, чего же боле?"... Зачем? Когда я и сама не понимала, что происходит со мной. Сама не разберусь в себе. Как быть? В это время мы уже подошли к Николаевскому госпиталю. "Вот, значит, я и хорошо поступила, что не сказала про курсы, а то бы помешала уехать". И юркнула в ворота.

Пока я бегала, выправляла студенческий билет, встреча с товарками и беседы

с ними отвлекли мои мысли от Евграфа Степановича. Но на лекциях мое возбужденное состояние мешало мне сосредоточиться. Час-два тому назад я была так спокойна, счастлива даже, что, расставшись с Контролем, могу спокойно заняться курсами, ничто и никто не будет мешать, а сейчас все мое благодушие рухнуло, и я в смятении, лекций не слушаю и все перемалываю в уме одно и то же: "И чего Евграфу Степановичу, этому партийцу, погруженному в политику, от меня надо? Нашел бы себе какую-нибудь социалистку, а я не сочувствую его деятельности. Ведь он по своим способностям и знаниям большего заслуживает, чем быть каким-то носильщиком или молотобойцем и вечно под угрозой ареста, ссылки, тюрьмы и только окончательно погубит себя в конце концов, схватив чахотку. Я не желаю и не буду ему в этом помогать. Не буду, не буду!" — решила я.

Он как-то говорил, что в тюрьме при желании прекрасно можно заниматься, никто не будет мешать. "Ну и прекрасно, пускай засядет", — с раздражением думала я, и сейчас же мне становилось бесконечно жаль его. Я не хотела привязаться к нему, а он? Он тянул меня, как опилку железную магнит. Мне не хотелось из-за неопределенной какой-то туманности засесть в Туруханский край на казенные хлеба, да еще без всякой заручки из какой-нибудь специальности.

Я почти целые дни проводила на курсах. На этом втором курсе такая масса занятий, выдают препарат за препаратом. Обедать приходилось даже в разное время. Это было мне на руку. Евграф Степанович не мог меня застать "при всем своем желании меня видеть", как говорила мама.

После лекций, отобедав и переодевшись в кофту, я сейчас же убегала в препаровочную, и так до вечера, и воскресенье даже проводила там. За этой работой мне некогда было думать об Евграфе Степановиче, хотя не раз приходило искушение его повидать. Вскоре все-таки он застал меня за обедом. При всем моем желании не волноваться при виде его, я не могла. Мои щеки пылали, и я торопливо ела и убегала то за тем, то за другим, а он был очень бледен и молчалив. Я даже испугалась, здоров ли он? Как я ни торопилась, он все же пошел провожать. Проводил не до госпиталя, а вынудив у меня обещание в воскресенье в удобное для меня время свидеться с ним наедине для переговоров, ушел, не прощаясь. Ну, опять, видно, хочет втянуть меня в политику, и я решила во что бы то ни стало отбояриться от его поползновений.

При неудачных сдачах препаратов многих гоняли по несколько раз. Этим объяснением можно было оттянуть наши переговоры, но у меня шло хорошо и не было передержки. Главная моя ближайшая цель были курсы, хотя и не такая возвышенная, как туманность социализма: этот мираж среди зыбучих песков нашей неравноправности, этот огонек расплывчатый в тумане нашей жизни казался мне слишком далек, нереален. Ведь зло жизни в самом человеке, а не вне его. Разве экономическим равенством сравнишь гения и идиота?

Мария Степановна, его сестра, говорила, что не может представить своей жизни без Петербурга, без оперы и концертов, я же решила уехать в деревню земским врачом и там приносить пользу, леча физические, душевные недуги, борясь с косностью, пьянством, вообще мечтала о воспитании народа. На одних мечтах далеко не уедешь.

Настал день нашего сговора с Евграфом Степановичем. Я приготовилась к отпору и была неприветливо настроена. Он пришел точно, минута в минуту. Я только что отобедала. Мы вышли и [направились] машинально в отдаленные улицы Песков и принялись ходить взад и вперед по досчатым тротуарам около какого-то длинного забора. Улица пустынная. День серый, скоро сумерки, под ногами слякоть. Он без пальто, в одном пиджачишке. Его бледные щеки зарумянились, глаза сильно блестят. Он, видимо, волновался. Я, настроенная воинственно, наблюдала с любопытством, приготовясь парировать его назойливость. Я в этот момент как будто его не любила. Он стал мне чужд.

Но вот он заговорил, наконец: "Я тебе делаю предложение", — и замолчал

опять. "Теперь что-то важное, верно, хочет предложить", — подумала я, затаив дыхание. Он молчал. Тогда я заговорила: "Я так подавлена своими занятиями, что положительно отказываюсь от чего бы то ни было. Невозможно уже больше перегружать себя". Молчание. Потом заговорил каким-то изменившимся голосом и на "Вы": "Вы, очевидно, меня не поняли. Я предлагаю Вам выйти за меня замуж". От изумления я мгновенно остановилась и повторила как во сне: "Замуж?" Так это слово было для меня неожиданно. Мы мгновение простояли друг перед другом. Я пошла. Евграф Степанович за мной. Я как-то плохо соображала, и мой язык буквально прилип к гортани, так что я еле им ворочала: "Вы меня поразили. Вы же противник влюбленности. Да ни у Вас, ни у меня ничего нет. Курсы я не брошу. Как быть?" Пока я говорила эту благоразумную тираду, душу мою заливала опять дивная волна любви — она ликовала. "О! О средствах не беспокойтесь, они будут. Я давно мечтаю завести бесцензурную газету, значит, типография будет нелегальная, подпольная, а партия всегда готова помочь всему противоправительственному, на первое время". Тут уже мое сердце упало:

— Значит, Вы мне предлагаете фиктивный брак?

— Нет, зачем? Я не признаю брака не по любви — это разврат, и никогда не связал бы себя фиктивным браком.

— Тогда что же?

Тут он мне прочел целую лекцию: «Половая проблема громадной важности, хотя Шопенгауэр находит, что "половая любовь, после любви к жизни, является самой могучей и деятельной из всех пружин бытия", но, по-моему, над всем нам дан начальник — мозг, но тут *circulus vitiosus*: мозг тоже зависит и страдает от нарушения функций тела, но я надеюсь, что я смогу победить страсть, вожделение, зов тела к телу. Влюбленность — это не любовь. Слово любовь для меня священо. Влюбленность обманчива и ей поддаваться никогда не следует, она зачастую, после удовлетворения, проходит. Влюбленность — мыльный пузырь, он играет всеми цветами радуги, но скоро лопается, и от него на некоторое время остается только мокро, и то ненадолго. Байрон из Венеции когда-то писал своему другу: "Я не могу приехать, безумно влюблен, должен остаться здесь, пока не пройдет это". Разве это любовь, когда заранее знает, что скоро пройдет? О, любовь это совсем другое, это нечто постоянное. Разве мы можем разлюбить мать? Даже хоть бы и не жили вместе? Влюбленность должна все время подогреваться. Вон с глаз и из сердца вон. Словом "любовь" злоупотребляют, разменивают на мелкую монету: я очень люблю свеклу, конфеты, селедку и т.д. Любовь — это великое, громадной важности чувство, это не замаскированная похоть, любовь — это духовное средство, даже слияние душ. Прежде всего, она облагораживает половые отношения. Она возвышает животную сторону отношений и должна дать истинное наслаждение в жизни. При удовлетворении, говорят, наступает часто разочарование. Недаром говорят, что брак — могила любви. Нет, то, значит, была не любовь. Все семейные неурядицы, дразги сглаживает любовь. Влюбленность проходит, когда проходит красота, любовь — никогда, так как при ней играет роль не одна только внешность. Кто объяснит это таинственное, непонятное влечение к одному определенному субъекту, называемое любовью, когда становится невозможу жить одному без другого? Вот тут-то и опасно смешать с влюбленностью. Для этого нужно время, испытание. У нас оно не малое. Я-то в себе уверен вполне. И я люблю тебя всю, как ты есть, и навсегда. Пойми меня, и я тебе это докажу. Так, значит, мы повенчаемся, найдем квартиру, обставим ее как можно дешевле. Я буду работать и еще кое-что. Курсы свои ты не бросай. Мы так устроим, что твои курсы не пострадают, если только...» — Тут Евграф Степанович замаялся. Я поняла и добавила: "Если не угодим туда, куда Макар телят не гонял". — "Вот именно", — подтвердил Евграф Степанович. Моя душа в этот момент возгорелась такой жалостью к нему, и я сказала порывисто: "Я пойду за тобой всюду, куда бы судьба тебя ни бросила".

В это время сильно заморосил дождь, было уже совсем темно, зажигали фонари. Крепко пожав по-товарищески руки, мы разошлись, чтобы объяснить своим матерям о нашем решении пожениться. Моя мать, узнав, только сказала:

— Я это предвидела; но только чем же вы жить-то будете?

— У меня останется моя стипендия, а у Евграфа Степановича, значит, что-то есть в виду.

Потом я, смеясь, добавила:

— Если нам нечего будет есть, то я вернусь к тебе, а он к своей матери. Надеюсь, Вы нас не прогоните?

— Надеюсь, Евграф Степанович не доведет до этого.

Бедная мама и не подозревала, до чего мы можем довести себя.

Речь Евграфа Степановича я даже записала, хотя в ней многие слова мне, как девушке, были не совсем понятны, но эта речь меня восхитила, доказав еще раз благородство его души, и я была горда любовью такого незаурядного человека. Тут я вспомнила предостережение Павла Николаевича Серебрянникова: "Смотрите, не увлекитесь им, с ним трудно будет жить".

Пусть! Пока же во мне все пело, и было море по колено, как на картине Репина студенту в богатой шинели со студенткой, шагающих по воде. Эту картину очень критиковали на выставке за неправдоподобие. Теперь она мне ясна и близка будет всегда. Это чувство молодечества я испытала сама. Что будет, то будет, но только вместе с ним.

Несмотря на то, что, прохаживаясь взад и вперед подле забора, мы, верно, отмаршировали не одну версту, я все же долго не могла заснуть. Любовь — это гипноз какой-то, это мучительное блаженство, которому слишком большое усилие надо было мне употребить, чтоб не поддаваться, отвлекаться, не давать разгораться этому пожару, — теперь нахлынула шумно, радостно и затопила всю мою душу. В романах — он и она, сад и луна, аромат цветов, поцелуи, а мы, герои нашего романа, в тумане Петербургской осенней моросилки, шлепая по слякоти тротуара, прислушивались к какой-то новой для нас обоих в наших душах, очаровывающей нас музыке.

Читала я тоже в романах, что любовь проявляется бурно — объятиями, поцелуями прежде всего, что любящих неотразимо влечет друг к другу и даже происходит какое-то забвение разума, как, например, в романе Гончарова "Обрыв" у Марка Волохова с Верой. Я тогда девической неопытностью не могла понять, что, собственно, произошло, но, видно, нехорошее, что заставило их, любящих, разьединиться, как врагов, и удручало так бабушку. По прочтении этого романа я вообще насторожилась. Марк мне был несимпатичен, Веру жаль, а особенно бабушку.

Точно формулировать, почему так, я не могла бы. Для меня влюбленность и любовь были до сих пор синонимы. Я этих слов не различала. Евграф Степанович дал мне толчок к пониманию. Я думала, что и любовь не вечна, как и все под луною. И вот сейчас я сама стою перед этой дилеммой. По романам выходило, что только настоящая любовь все, все преодолевает, а на самом деле это только влюбленность. Мы же с Евграфом Степановичем, как однородное электричество, отталкиваемся, в нас преобладает застенчивость и рассудочность. Уж любовь ли это? Или это-то и есть настоящая любовь? Думала и передумывала я.

Заратустра: "Мужчина боится женщины, когда он любит. Тогда она способна на всякую жертву и для нее все остальное лишено цены". Так говорил он у Ницше. У нас, как будто, выходит так же. Теперь я успокоилась. Пришла в равновесие по отношению к Евграфу Степановичу. Он меня любит, любит! Чего же боле?

Мать Евграфа Степановича, узнав о его намерении жениться на мне, спросила: "На что же ты будешь содержать жену?" — "Жили же мы теперь как-то?" — ответил Евграф Степанович тоже вопросом. "А дети?" Этот вопрос заставил его задуматься.

Моя мама принялась за шитье венчального платья. После нашего объяснения Евграф Степанович стал к нам ходить каждодневно по вечерам и предложил мне заниматься с ним высшей математикой и помогать в затруднениях по другим наукам. Так как я день проводила на лекциях, сестра на уроках, а по вечерам у меня были практические занятия, то он приходил после окончания всех моих занятий; приносил и читал нам газеты и разные книги, критические статьи Протопопова, Михайловского и других. Все работали и слушали.

У нас в это время занимала на время одну комнату очень близкая наша знакомая, Елизавета Васильевна Бострем, вдова, дочь Анны Ивановны Поповой. Жила она у нас, пристроив старшую дочку Олю в Мариинский институт, с младшей, презабавной маленькой трехлетней Аней. Эта девчурка звала меня "Любмила". Когда я уходила на курсы, она, взяв грифельную доску под мышку, ходила кругом по квартире, говоря: "Я — Любмила, пошла на службу". Когда я возвращалась домой, то она радостно выбегала меня встречать: бывало, обхватит мою шею своими пухлыми ручонками и уверяет меня: "Любмила, я тебя очень люблю". Когда ей нужно было идти в свою комнату во время чтения Евграфа Степановича, она пресерьезно говорила: "Евграф Степанович, подождите чуть-чуть, я сейчас вернусь". Тот всегда переставал читать и терпеливо ждал возвращения Ани, как ни просила его Елизавета Васильевна продолжать. Аня не мешала чтению, возит-ся подле меня на диване со своими куклами и тряпками. Ее и не слышно. Евграф Степанович с ней очень дружил и играл в прятки. Будучи таким серьезным, он, видимо, любил детей и не отстранял их от себя, если не был поглощен наплывом идей и соображений.

Когда вернулись из Казани мать и сестра его, то я стала ходить заниматься математикой к ним после всех моих занятий. Федоровы, по отъезде Евгения Степановича в Казань на службу, переехали на Итальянскую близ Надеждинской. В этой квартире было всего четыре больших комнаты вместо пяти прежних, а к ним приехали как раз две внучки Юлии Герасимовны жить и учиться на высших курсах. Так как Евграф Степанович вернулся из-за границы экспромтом, после их переезда, то ему не было отдельной комнаты; но зато была большущая и холоднущая передняя, как зал какой; при ней кладовая, по стенам с полками, и еще холоднее, с окном и потому светлая. В ней Евграф Степанович устроил химическую лабораторию, расставив по полкам склянки, банки, колбы, реторты и реактивы; подле окна стол, а перед ним стул — и кабинет готов. Переднюю перегородили гардеробами, книжными шкафами и ширмами, и он устроил там спальню. Он уверял, что в холоде хорошо заниматься, а спать превосходно.

У Федоровых иногда собирались, и преимущественно молодежь: пели, играли на рояле, в разные игры и даже танцевали. Евграф Степанович никогда не танцевал, но в музыке и пении участвовал. Пел с Марией Степановной дуэты "Не шуми ты, рожь, спелым колосом", "Не искушай", "Моряки", играл соло, даже наизусть, но никогда не пел один при обществе. Соло он все же пел, только один на один, как говорила Мария Степановна, и просила ее не выдавать, что сказала нам его тайну. [Вот] романс, который он пел чаще всего:

Когда моя радость начнет говорить,
Воркуя нежнее голубки,
Я, жадный, боюся слово проронить,
Слетевшее с розовой губки.
И очи не смея поднять на нее,
И слушал бы, слушал, да слушал ее.

Когда же, уставши, замолкнет она
И вспыхнет на щеках румянец,
Живей на челе молодым белизна
И ярче в глазах ее глянец,
Тогда я отважно гляжу на нее
И все целовал, целовал бы ее.

Последнюю строку он повторял: "И слушал бы...", а не "Целовал бы..."

Как-то было странно узнать, что Евграфу Степановичу, такому серьезному всегда и даже редко смеявшемуся в молодости, не были чужды чувства и слова этого романса. Мне стало это понятно только после его пылкой речи мне.

Занимались мы с ним всегда в столовой и, даже когда были гости, не бросали занятий. В приемной — веселье в полном ходу, зовут нас или его аккомпанировать. "Пока не закончим, не пойду", — неизменно отвечал он. Кончаем мы заниматься — у них игра или танцы в полном разгаре. Мы берем стулья и усаживаемся в дверях между столовой и гостиной, как в ложе, и смотрим. Эта наша обособленность не нравилась. Евграфа Степановича, как большого оригинала, чудака, человека "не от мира сего", как его звали, еще извиняли, но меня просто стали не любить, особенно изменила свое отношение ко мне его мать. Она звала меня Людинойкой и жаловалась всем своим знакомым, что я совершенно заполонила ее сына. Меня даже это несколько обижало, так как, надо правду сказать, инициатива-то была не с моей стороны. Она называла всех студентов "студентшами" и не любила их; не была уже со мной по-прежнему приветлива, а только холодно-вежлива и отдавала явное предпочтение моей сестре. Особенно ее корбило наше "тыканье", как она выражалась, когда мы говорили на "ты". Я старалась при ней не употреблять "ты" в разговоре с Евграфом Степановичем, а Евграф Степанович еще нарочно чаще вставлял, и, когда я его останавливала, он говорил: "Ничего, пускай привыкают". Он и с моей сестрой условился на "ты".

Юлия Герасимовна была воспитана совершенно в ином духе: танцевала даже на балах, где присутствовал император Александр I*, когда ее отец был главным прокурором в Вильно.

В последнее время, когда я приходила заниматься, то стала каждый раз заставлять у Федоровых одного знакомого студента-медика. Это был большой приятель Александра Васильевича Попова, и даже одно время они вместе жили в одной комнате. Этого студента мы не особенно долюбливали за его вечные шутки и прибаутки. Даже в серьезных разговорах он все вышучивал и потому казался несерьезным. За глаза его звали скоморохом. Я появлюсь, он — за рояль и поет романс:

Только станет смеркаться немножко,
Буду ждать, не дрогнет ли звонок,
Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок.

Поет с комическими ударениями на словах. Оказалось, что он стал женихом Марии Степановны.

Я в конце концов объявила Евграфу Степановичу, что ходить к ним заниматься не стану. Тогда он нанял на Песках комнату в нижнем этаже, вход прямо из передней; оставил все столы своими склянками и стал заниматься здесь химией. Я же приходила только днем по воскресеньям и то ненадолго, уделяя время от пре-паровочной. Помогала я ему только в мытье посуды. Жил-то он все же у матери. Комнату эту продержали недолго, хозяева почему-то забеспокоились, очевидно, их смущала химия. Евграф Степанович опять ее перетащил в свою кладовую.

Но вот раз он пришел к моему обеду и пошел меня провожать до госпиталя. Был какой-то озабоченный. "Что-нибудь случилось?" — спросила я. "Да. Когда в партии узнали, что один член ее женится и намерен открыть подпольную типографию, то вместо конспирации зазвонили во все колокола и разослали многих разыскивать удобную квартиру, а шпики не дремлют, они уже насторожились. Нам приходится отложить венчание. Согласишься ли ты выждать, когда улягутся слухи? Как ты относишься к гражданскому браку, явному, но не тайному сожителству без венчания? Об этом надо серьезно подумать, и ты не давай мне сейчас

*По-видимому, Николай I. — *Примеч. сост.*

ответа". Опять мне было не до лекций, спасала препаровочная, думы одолевали.

Когда я объявила маме, что наше венчание отложено на неопределенное время и шитье платья можно отложить, она забеспокоилась и пристала ко мне с расспросами. Без разрешения Евграфа Степановича я не имела права открывать тайну. Я, кажется, была единственная любящая невеста, не жалевшая, признаюсь, об отдалении времени свадьбы, так как с нею отдалялось и время нашего ареста, несомненного для меня. Уверенность в любви Евграфа Степановича ко мне одобрила и сняла с меня гнет борьбы с любовным недомоганием. Так как он зависит от партии и теперь главная его цель — типография, то прежде всего надлежит думать о ней, а не о личном счастье. Мать его, узнав об отсрочке свадьбы, похвалила его за благоразумие и увещевала избрать какую-нибудь специальность.

Получив, наконец, от Евграфа Степановича разрешение, я открыла маме всю правду. "Твоя мать очень умна и не заражена предрассудками и может дать добрый совет, как поступить в нашем затруднительном положении. Объясни ей, что наша газета будет только обличительная, будет раскрывать перед обществом только неблагоприятные поступки правительства и только потому подпольная, что бесцензурная". При этом открытии мама так и ахнула: "Да ведь это, слава Богу, что так случилось, и я узнала, а то бы вы как куры во щи попались!" Но когда я ей сказала, что рано или поздно так и будет, то она запротестовала и заявила, что никогда нас до этого не допустит, и предложила устроить типографию у нее на квартире и чтоб никто, кроме работающих, к нам не приходил, а с работающих взять слово запечатать свои рты.

Евграф Степанович пришел в восторг от предложения мамы. Хотя он ее жалел больше всех нас, если бы мы попались, но другого выхода не было, а с ней было меньше шансов к провалу. Так как эта квартира наша была мала, то Евграф Степанович взялся подыскивать более подходящую для оборудования типографии.

Все же венчаться нам сейчас было нельзя, и мы его отложили до более благоприятного времени. Заговорили было мы о гражданском браке, конечно, явном. Моя мать на это сказала так: "Хоть я и не очень-то довольна таким оборотом дела, но, совершенно уверенная в благородстве Евграфа Степановича, предоставляю Вам свободу действовать по Вашему усмотрению. Вы не маленькие". Его же мать просто взбунтовалась, готова была на все и объявила, что когда он приведет в дом венчанную жену, то она ее встретит в своем доме с распростертыми объятиями, а невенчанную не впустит на порог своей квартиры.

Все это вышло к лучшему; мы перестали бывать друг у друга, чего добились помимо своей воли, и рады были радешеньки получившейся так легко конспиративности. Она писала своему старшему сыну Евгению Степановичу в Казань, что мы с ними так рассорились, что, переехав на другую квартиру, не дали своего адреса и перестали у них бывать. Бедная, она и не знала, какой опасности ежедневно подвергался так ею любимый сын и причины нашего исчезновения. Она, узнав суть дела, сочла бы, наверно, нашу мать не героиней, а безумной. Но Евгений не был на их стороне и в письмах к Евграфу Степановичу называл выпады матери и сестры против нас предрассудками.

Но какой был прекрасный сын, любящий сын Евграф Степанович. Во всю свою жизнь он только раз, ненароком, до слез оскорбил свою матушку. Она всегда сама к завтраку готовила рубленую селедку. И вот раз, порезав руку, все же продолжала готовить, хотя соль и причиняла ей боль, не желая поручить прислуге, как ее ни уговаривали. Евграф Степанович, чтоб положить конец всему этому, выбросил селедку в помойное ведро. Произошел полный переполох: мать плакала, брат и сестра рассердились на него, и даже вся наша семья выразила негодование. Он заверял, что так неосмотрительно поступил, желая ей же добра.

Переехали мы на Кирочную* против Саперных казарм в дом Коробова в нояб-

*Сейчас улица Салтыкова-Щедрина. — *Примеч. сост.*

ре 1877 г. Наша новая квартира занимала весь третий, последний, этаж каменного дома во дворе, окнами на Кирочную, которая была перед нами, как на ладони. Перед нашим домом на улицу был одноэтажный деревянный флигель, где жил сам хозяин, а мы как бы под его охраной. В случае неблагополучия мы могли выставить сигнал, и кому нужно он был виден далеко с улицы.

Квартира наша была, кроме кухни, на солнечной стороне, потому спущенные шторы не удивляли. Она состояла из шести комнат: три — большие светлые, все по два окна, четвертая — темная (проходная, с тремя дверями: в кухню, в переднюю и на черный ход, на ту площадку лестницы, куда и парадная дверь выходила) и кухня — занималась нашим семейством. Спальная, приемная и кабинет брата, ожидаемого со дня на день с войны для сдачи выпускных экзаменов в Медицинской академии. Из передней, против темной комнаты, тянулся длинный темный коридор, который шел справа вдоль всей нашей спальни и одной смежной с ней комнаты в конце коридора с дверью в него. Из этой комнаты была дверь в другую, рядом с ней. Одна стена этой последней комнаты выходила в пустое пространство, не примыкая ни к чьему дому, а другая примыкала к уборной в конце коридора. Журчание воды этой уборной было кстати, так как другая стена коридора примыкала к чужой квартире. Все это было предусмотрено. В начале коридора тоже была запирающаяся дверь. Эти две комнаты были совершенно изолированы. В них-то и была типография нашего "Начала", как мы с Евграфом Степановичем окрестили нашу газету²⁰.

Работали в ней от партии, кроме Евграфа Степановича, еще двое: Бух и Ногин, по прозвищу "Птаха"²¹. Это было удивительное создание. Он почти никогда не выходил из квартиры и из своих двух комнат. Бух зато каждодневно выносил газеты. Жили они у нас как бы жильцы и будто богатые, так как одевались шикарно. Бух в цилиндре на голове, в лайковых перчатках, с дорогим портфелем в руках. Нелегальные паспорта были на каких-то чиновников министерства чуть ли не финансов.

Платили они нашей прислуге хорошо, были с ней вежливы, нетребовательны и совсем ее пленили, особенно тем, что не давали ей стлать постель. Так что она не раз говорила: "Вот ведь какие, видимо, богатые, а живут так скромно, даже у них никто не бывает". Она, бедняга, и не подозревала, что ее любимцы могут ее загубить. Это меня и Евграфа Степановича мучило немало, но делать было нечего. Эта прислуга, Любовь Ивановна, так сжилась и сроднилась с нами, что, кажется, скажи мы ей всю правду, то она и тогда, пожалуй, не оставила бы нас. Она себя называла нашей "старой собакой".

При переезде жильцы перевезли все нужное сами, кроме вала. Он был слишком тяжел. Перевезти его нужно было без лишних свидетелей и потому выждали, когда Любовь Ивановна уйдет в гости. За это время узнаем пренеприятную новость из достовернейших источников, что в примыкающей к нашему коридору маленькой квартирке с дверью на нашу площадку лестницы, налево от нашего парадного входа, против двери заднего, живет сыщик. Риск немалый. Податься назад уже нельзя. Нужно выжидать, когда его не будет дома. Сыщик, наконец, куда-то уехал, а Любовь Ивановна не уходит. Тогда мама спрашивает ее:

— А ты, Люба, дала Маше (давняя подруга Любви Ивановны) адрес новой квартиры, куда переехала?

— Нет еще.

— Так что же ты? Вот и сходила бы сегодня. Кстати, и жильцы сегодня не будут обедать. Их не будет дома.

— И то правда, так я пойду.

Ушла, а без нее привезли вал. Это оказалась такая тяжесть, что его тащили в третий этаж с немалым трудом, да еще сплеховали — забыли перевязать веревкой заколоченный ящик. Я стояла на лестнице и смотрела, как пыхтел даже гер-

кулес-извозчик, ворочая его. Внеся и вытирая пот, он даже любопытствовал, что это в нем такое тяжелое. Я сказала: "Книги. Да и потому тяжело было нести, что забыли обвязать веревкой". Он удовлетворился этим ответом, а особенно — щедрой подачкой на чай.

Любовь Ивановна по утрам у жильцов убирала комнаты, приносила им кофе и завтрак. Будто бы они поздно вставали и сразу же завтракали. На самом же деле, проработав иногда всю ночь, они утром все запирали в шкаф и приглашали Любовь Ивановну, которая решительно ничего не заметила за целых без малого два года их житья у нас. Убрав и накормив их, она спокойно уходила в кухню готовить обед. До шести часов она к ним не входила. В это время кто-нибудь из нас, большею частью мама, садился в гостиной на диван, который нарочно поставлен был перед дверью в переднюю, напротив двери парадного входа нарочно не на запоре. В нее тихо-тихо входил Евграф Степанович и моментально скрывался за дверью в коридоре. Жильцы, все приготовив, впустив его, запирались и работали. Парадная дверь запиралась, уходили с дивана, и каждый был занят своим делом. Когда кончалась работа в типографии, то Бух пел громко, чтобы слышно было из-за стены спальни, большей частью "Вдоль по Питерской..."

Он знал, что я и Евграф Степанович намерены пожениться при первой возможности. Тут уж Евграф Степанович либо исчезал в открытую парадную, либо оставался у нас. Любовь Ивановна и не подозревала его пребывания у жильцов, а у нас, если и видела, то так привыкла к его частым визитам, что не обращала на них внимания.

Хотя мы жили, как на вулкане, но занимались каждый своим делом: мама-хозяйством, сестра — уроками, брат — экзаменами, и его целые дни не было дома, я усиленно занималась, пользуясь его кабинетом и обширной его библиотекой. Все три стены с полу до потолка установлены были полками с книгами. Брат с войны привез немало денег золотом и помогал мне уплачивать за курсы.

На случай обыска мы так себя обставили, что на суде трудно было бы доказать нашу причастность и Евграфа Степановича к типографии, так как при Любови Ивановне мы с жильцами не имели никакого сообщения, только когда она уходила в гости, что было не часто. Мы больше всего хлопотали обелить маму и ее. Никто из нас лично не принимал участия в работах по набору, кроме Евграфа Степановича. Он был и редактор²². Мы служили только прикрытием и таким хорошим, что полиция сбилась с ног, ища типографию "Начала"²³. Социалисты прозвали нас "троглодитами", так Кравчинский в своем журнале окрестил нас. Из них почти никто не знал, где и как она оборудована и почему полиция так долго не напала на ее след.

Мы сами не ходили в гости, и потому и у нас никто не бывал, кроме Николая Николаевича Дерюгина. Еще одно обстоятельство, смущавшее нас немало, хотя служило как бы обелением нас, был пост городского около нашего дома, уходившего только изредка вглубь улицы, а больше день и ночь маячившего у нас взад и вперед. Итак, под охраной хозяина дома, сыщика и городского работала наша подпольная типография.

А сколько, однако, было случаев попасть под подозрение. Раз как-то, сижу занимаюсь в кабинете брата — звонок. Они так редки, что настораживаешься. Любовь Ивановна докладывает, что меня хочет видеть Коган. Мамы и Мили не было дома. "Ну и запрятались же Вы, еле-еле по адресному столу отыскал", — радостно говорит Коган, пожимая мне руку. Я скорее усадила его на диван в кабинете. Сидим мы, разговариваем о том, о сем, о проявлениях начинавшегося террора, спрашивает, читала ли я "Начало", хвалит его направление. Закрытая дверь тихо-тихо открывается, и в ней появляется лицо Евграфа Степановича и быстро скрывается. Коган его знает; сидели мы как раз против двери. Коган, видимо, поражен, быстро прощается и уходит. Я не задерживаю.

Потом я упрекала Евграфа Степановича:

— Что же это ты убежал, поставил меня в неловкое положение перед Коганом?
— Я думал, что ты разговариваешь с Колей, а когда увидел Когана, то растерялся.

— Да зачем же тогда крался потихоньку?

— Я уже начал привыкать ходить крадучись, и ты знаешь, как мне трудно притворяться, и я теряюсь и счел за лучшее улетучиться, не сообразил.

Правда, он был слишком правдив, и подполье с его конспирацией не для его прямой натуры. Мне было жаль, что он залез не в свою сферу. Как бы его вытащить из нее, пока не поздно?

Еще нас немало тревожил происходивший в январе 1878 г. суд над 193 революционерами²⁴, где судилась и моя двоюродная сестра Юлия Панютина, кончившая Николаевский сиротский институт, хотя я с ней не имела никакого дела, но не докопались бы, что мы сестры, и не надумали бы порыться и у нас.

Потом еще как-то раз — это было уже 31 марта — готовлюсь я в кабинете к сдаче нервного сплетения, пишу длинную историю запутанных разветвлений на нарисованном мною человеке; углубилась в это занятие. Звонок прервал его. Пришел соученик Коли по Гатчинскому институту. Коля, как только мог, избегал его (он подозревался в сотрудничестве с охранкой), но никак не мог окончательно отделаться от него. Спрашивает: "А Коли нет дома?" Говорю: "Нет". Не уходит. Сама боюсь, чтоб не услышал он ритмический стук вала, зову его в кабинет и, хотя неловко было, запираю дверь в переднюю. Не явился бы опять Евграф Степанович. Вот беда!"

— Можно мне порыться в книгах? Мне нужна такая-то.

— Пожалуйста.

Стараюсь быть спокойной, а сама боюсь; села заниматься. А он, роясь в книгах, спрашивает:

— Может быть, Коля пошел к зданию суда?

— Зачем?

— Там сейчас много народу: оправдали Веру Засулич, а она бежала.

— Бежала? Если оправдали, то, значит, и освободили, зачем же ей бежать?

Он мне объяснил, что из-за каких-то формальностей ей нужно было опять вернуться на время в предварилку. Я, чтоб отвязаться от него, сказала, что готовлюсь к экзамену и мне не до Засулич теперь. Он ушел, не подозревая, где раки зимуют. У меня отлегло от сердца. Но почему он пришел как раз после бегства Засулич? Как ищейка, все же что-то вынюхивал. Засулич еще в январе 1878 г. стреляла в Трепова за распоряжение того высечь заключенного политического в предварилке.

Весной я перешла на третий курс. Коля окончил академию, у Грубера — первым. Тот его после экзамена даже встал, обнял и поцеловал, подарив ему все свои сочинения. Коля мог бы остаться при академии и сделаться хирургом, но он предпочел место земского врача в Новгородской губ[ернии] в селе Молвотицах, чтоб отслуживать стипендию. Такие уже тогда были веяния. Он уехал и увез с собою своего Дара — громадного сенбернара, к сильному огорчению Любови Ивановны. Они были оба ее любимцами, даже, пожалуй, Дар был любим в первой степени. Она обливалась долго горячими слезами при воспоминании о них.

В партии социалистов-революционеров уже тогда начали нарождаться другие веяния, и чем дальше, тем больше нарастало воинственное настроение. Наша газетка продолжала мирно существовать²⁵. В начале августа Кравчинский-Степняк убил шефа жандармов Мезенцева и скрылся. Шли усиленные обыски и аресты.

По соседству с нами на Кирочную переехали Поповы, что нам не улыбалось. Не будь мы подпольные крысы, дело было бы другое. Мы все очень любили Поповых, особенно добрейшую Анну Ивановну. Мы опасались за них, если нас откроют. Катя, их прислуга, бывала часто у Любови Ивановны, и та у нее. Катя эта

познакомилась с городовым нашим, с тем, который покрасивее, и вскоре стала его невестой, а потом и его невенчанной женой. Он оказался поляк. Мы боялись, не привела бы она его к нам, и просили Любовь Ивановну его не приглашать к себе. "Я и сама не люблю городских", — заявила она.

Лето, конечно, провели мы в городе. Я спасалась с книгой в Таврический сад от комнатной духоты. Евграф Степанович все так же, как заведенные часы, приходил работать. Особенно меня дивил "Птах". Почти никогда не выходя из типографской комнатухи, он легко мог нажить туберкулез, хотя такая самоотверженность и объяснялась нелегательностью положения, но мне было его крайне жаль, такого молоденького, хрупкого, стойкого фанатика идеи. Что лето, что осень, что зима — для него все равно. Он свободнее был бы в ссылке. Здесь — просто раб идеи. Да все ли ему равно? В его душу не влезешь. Молчит и работает, страсто-терпец, для каких-то будущих благ. "Кто душу свою положит за други своя, спасен будет", — слова Христа. Он, поди, в Него не верит.

Евграф Степанович, поработав, был занят и умственным трудом в Публичной библиотеке, дома, и нам читал что-нибудь вслух. Да и со мной у него был роман, хотя наедине мы встречались только на улице, особенно чаще всего на Надеждинской, когда я возвращалась из детской больницы, а он — из типографии домой, на Итальянскую. Он жил полной жизнью, а этот отшельник меня просто поражал.

Вышла я как-то из детской больницы и встретила Евграфа Степановича. Хотя моросилки и слякоти не было, но чувствовалась ноябрьская сырость. Он пошел обратно со мной и говорит: "С этого дня, Людмила, я считаю тебя как бы уже своей женою. Начинается террор, полиция вся на ногах, а потому, если меня арестуют и сошлют, то, я надеюсь, ты поедешь за мною. Я без тебя уже не могу жить; если же тебя сошлют, то я последую за тобой куда бы ни было, так и знай. Конечно, лучше, если б один из нас был на свободе и мог помогать другому. В ознаменование этого я заказал печатку с твоим и моим именами и с датой 1878 г. на память". В это время мы подходили к Ковенскому переулку. На углу остановились, чтобы проститься. Он, взяв мою руку, притянул меня к себе, сказав: "Мы теперь муж и жена, можем закрепить этот союз поцелуем". Мы в первый раз поцеловались, но второпях и так неловко, что только стукнулись носами. Я в смущении убежала; оглянувшись, увидела, что он стоит еще на углу и уже потом пошел к себе домой. Это было 27 ноября 1878 г. На улице было сыро, серо, неприветливо, а у меня на сердце радостно и светло. Я теперь куда угодно пошла бы за ним, хоть в пекло, на эшафот — всюду.

Потом уже, пораздумав хорошенько, пришла я к такому заключению. Террор террором, но к нам-то он никак не относится. Никто из нас ему не сочувствует. Так. Но полиция и жандармерия усилены, под боком у нас живет шпион, с другого — городской, легко [обнаружить] типографию. За нее по головке не поглядят, сошлют. Что же тут хорошего? Без книг, без всякой профессии, что будет там делать Евграф Степанович, когда, по-видимому, он человек науки?

Мои думы были сами по себе, а жизнь шла сама по себе. Прошло лето, осень, шла зима, настал и 1879 год. Наш уклад жизни точно застыл в одном положении. Но партия бурлила. Наше мирное и только обличительное направление газетки "Начало" не стало удовлетворять уже боевую организацию партии, и она обозвала его "Мочало". Выдвинулся лозунг: цель оправдывает средства.

Евграфа Степановича как противника всякого насилия, откуда бы оно ни исходило, это направление озабочивало; но партия настаивала на перемене фронта и соответствующем ему имени газеты. Под давлением силы, которая ведь и солому ломит, наша правдивое, обличающее всякую несправедливость, скромное, без сенсаций не кровожадное "Начало" переименовалось в "Народную волю"*²⁶.

*Автор здесь ошибается: "Народная воля" к типографии на Кирочной не имела отношения. — *Примеч. сост.*

Название громкое, что и говорить, произвело сенсацию, и большую, как фейерверк. "Начало" просуществовало с лишком полтора года²⁷, а долго ли просуществует "Народная воля" с ее боевым настроением — это вопрос. И опять замолчит обличительное слово, и наверно не обойдется без жертв.

С появлением "Народной воли" с ее девизом борьбы полиция совсем освиrepела, начались повальные обыски. Нас пока эта беда миновала. Но "Народная воля" работала все ночи: мы опасались, чтоб не обратили внимание на неугасаемый огонь в окнах и мелькание теней, наш сыщик-сосед и нижние жильцы — на ритмический стук вала. Ночью он слышнее при тишине.

Это во-первых, а во-вторых, появление еще четвертого сотрудника, кроме прежних, вызвало даже наше неудовольствие. Мы его прозвали "Черный", потому что он был сильный брyнет с бронзовым лицом, что бросалось в глаза каждому. У нас было условие не расспрашивать, чтоб потом не проговориться. Все же говорили, что он болгарин. Странно, болгарин орудует "народной русской волей". Скорее, он был еврей. Признаться, он нам всем не очень-то нравился. Даже Любовь Ивановна его недолюбливала. Она прозвала его "навозный жук" и удивлялась, что наши жильцы завели себе такого неприветливого товарища. Евграф Степанович как редактор часто препирался с ним. Он был плохой конспиратор; ходил с надвинутой на глаза шапкой, не только подбородок, но и все лицо погружал в воротник пальто и вся его манера была какая-то заячья, как будто он хотел спрятаться. Он этим невольно мог обратить на себя внимание. Мы, бывало, смотрим на него из окна и дивимся, как это наш поляк-городовой не признает его за вора. Как-то не предупредив, проскальзывал он на лестницу, и мы часто находили дверь не запертой, и у меня украли шубку, очень хорошую. С таким конспиратором очень легко было влететь в пасть полиции. И удивительно, как это мы через него не попались.

Террор все больше и больше проявлялся, наша вся семья и Евграф Степанович ему не сочувствовали. Мы сидели, как на иголках. 1 апреля в государя Александра II на Дворцовой площади стрелял студент Соловьев, но не попал ни одним выстрелом. Мы невольно впутывались в эту кровавую кашу и долго не знали, как выбраться из этого противного нам положения²⁸.

Евграф Степанович посвятил Николая Николаевича Дерюгина, своего неизменного друга, в наши дела, и мы все обсуждали, что делать. Даже партия раскололась на террористов и на сочувствующих ему. Мы вообще не допускали убийства самого по себе, а тут считали его не только бесполезным, но и вредным. Оно, как гидра, ведет к тому, что вместо одной отрубленной головы вырастают две, увеличивается жандармерия, идет усиление охраны и репрессий, за одного убитого всегда казнят многих, многих. Обсудив хорошенько, было решено, что, так как инициаторшей всего дела Евграф Степанович выставлял меня, то я и должна вести переговоры с партией через "Черного", как уполномоченного ею в газету "Народная воля".

В один из вечеров весны, услав Любовь Ивановну в гости, я пошла в типографию. Я заявила "Черному", что мы по убеждениям эволюционисты, противники смертной казни, не сочувствуем террору, считаем его вредным и потому издавать террористическую газету не согласны и просим выехать с ней в другое место. У меня с ним произошло бурное объяснение. Он хотел даже силой заставить держать типографию; стал меня запугивать, но тут мою сторону поддерживали милые люди: Бух и Ногин. Эти благородные души не могли согласиться с доводами "Черного", опирающимися на силу. Они защищали волю каждого действовать по своим убеждениям. "Черный" говорил:

— Вы оплачиваете только одну половину квартиры и не можете заставить нас съехать с нашей половины.

— Что ж, оставайтесь, а мы съедем.

— Тогда Вам несдобровать, когда узнают о нашей типографии, — отпарировал он свирепо, глядя на меня своими огненными глазами в упор.

Этот человек в гневе, верно, страшен. Я постаралась как можно спокойнее сказать:

— Да, нас тогда, несомненно, арестуют на нашей новой квартире, но мы скажем, что мы потому и переехали, что у нас в квартире обнаружилась типография запрещенной газеты.

— Вы тогда должны на нас донести.

— Мы люди, желающие действовать по убеждению, а не из-под палки. Мы не доносчики. Это уж более чем слишком, что он позволяет себе говорить, — сказал я, обращаясь к Буху и Ногину, и вышла.

Вот почти дословно мой разговор с этим неприятным человеком.

А Бух и Ногин уже наперед знали, что им с уходом от нас несдобровать. И правда, когда впоследствии их арестовали, то Ногин застрелился²⁹. Бедный "Птах"! Право, в ссылке он был бы более на воле, чем в типографском застенке. Мне было страшно тяжело расставаться с этими добровольными мучениками. Но что же делать? Нельзя же идти против своей совести. Так мы и расстались. Они уехали, как бы жильцы, а мы еще некоторое время жили в этой квартире, приискивая другую, поменьше, да и для виду, заботясь о выведении и истреблении пятен от типографской краски. Помню смешанное чувство во мне: сильно было жаль уехавших и какое-то чувство облегчения и легкости испытали мы после их отъезда, а особенно когда узнали о благополучном их переезде.

Теперь мы уже совсем не причастны к убийствам. Это успокаивало совесть. Такой чистой души человек, как Евграф Степанович, не мог сознательно убить себе подобного. Эта липкая кровь убитого, хоть и врага, не давала бы нам покоя, если б были соучастниками в убийстве. Итак, мы освобождены от этой жути, и наши нервы не натянуты, как струны, готовые лопнуть. Мы свободны, свободны, как птицы, и от этой вечной конспирации. Как хорошо! Теперь, не боясь никого, можем ходить к своим хорошим знакомым и они к нам; но мы уже отвыкли ходить в гости и принимать их.

В эту весну с прекратившейся Турецкой войны стали возвращаться войска. Пришел и саперный Преображенский полк. И вот на улице против нашего дома встречали солдат. Стоял аналой, священник в светлом белом облачении, толпы народа и, наконец, идут марширующие рота за ротой. У каждого солдата на штыке либо венки, либо букет из живых цветов. Крики "ура" так и раскатывались по воздуху. Изю всех окон нашей квартиры также несло "ура", так как к нам понашло много знакомых и заполнили окна. На этой войне погиб Дмитрий Александрович Арсеньев. Его, раненого, несли на носилках, а шальная пуля добила его. Он только что женился, как его взяли на войну. Его жена, узнав о его смерти, сошла с ума. Война ничего не щадит... <...> Убит тоже красивый жених Сони Поповой, а та сейчас кричит "ура", стоя во весь рост на окне, и также машет платком. Вот сила воли!

Наша квартира не уступала в благонамеренности и патриотизме другим, в этом мог убедиться наш хозяин, а особенно городской, оказавшийся преобладающим шельмецом. Моя сокурсница Зверева, с которой мы готовились то вместе в Таврическом саду, то порознь по своим квартирам к сдаче больного, будучи назначены его кураторами, жила тоже на Кирочной улице, но с другого ее конца, ближе к Литейному проспекту. Она жила как раз в том доме и в том же парадном подъезде, где жили сестры Соловьевы, покушавшегося на жизнь царя. Так как у Зверевой не было книг, по чему готовиться, а у меня сколько угодно, то Любовь Ивановна то и дело сновала с одного конца Кирочной на другой ее конец с записками и кни-

гами и передавала их швейцару. Когда разнесся слух о покушении Соловьева, у нашего дома появился другой городской, а наш красивый блондин, интеллигентного вида поляк, куда-то исчез. Раз Любовь Ивановна, вернувшись от Зверевой, говорит: «Вот чудеса-то. Прихожу в швейцарскую и вижу уже не прежнего швейцара, а нашего поляка. Я ему говорю "здравствуйте" и называю по имени и отчеству, а он мне не кланяется и уверяет, что меня совсем не знает и что он совсем не то лицо, за которое я его принимаю. Я — к Кате, спрашиваю, где ее муж, спрашиваю, отчего у нас другой городской, а она мне говорит, что мужа куда-то послали на время из Петербурга. Не то она меня обманывала, не то и сама не знает, где он». Через некоторое время городской наш опять появился на своем посту. Любовь Ивановна, как-то побывав у Кати, с ужасом спрашивает меня: "Вы в Ваших записках к Зверевой ничего такого непозволительного не писали?" Я ее успокоила. Тогда она, все еще взволнованная, рассказала вот что. Сидит она у Кати, та перед ней расставила такую обильную и дорогую закуску, что Любовь Ивановна диву далась. В это время входит из другой комнаты офицер в дорогой енотовой шинели с бобровым воротником. Любовь Ивановна даже привскочила. Катя хохочет, а офицер отдает Любви Ивановне честь и говорит:

— Швейцаром-то Вы, Любовь Ивановна, меня узнали, а офицером не хотите признавать?

— Матушки светы! Да как же это Вы в офицеры попали?

— Я теперь всякую форму имею право надеть и куда угодно идти. Я даже все записочки Вашей барышни прочитывал. Я теперь все могу.

Вот тут же Любовь Ивановна сильно перетрусилась и говорила, что ей просто кусок не лез в горло, как Катя ни старалась ее угощать. Наш городской, значит, вдобавок еще был и сыщик. Вот под какой охраной выпала доля работать нашей типографии.

После отъезда наших жильцов я для занятий переселилась в их комнаты, а кабинет занял Николай Николаевич Дерюгин. Это был самый близкий неизменный друг Евграфа Степановича, человек необыкновенный, с громадной силой воли, из бесшабашного офицера-артиллериста—кутилы и драчуна — усиленным трудом превратившийся в очень образованного, усидчивого, серьезного человека. Он уже кончал Институт путей сообщения и работал над проектами, которые надписывала каллиграфически сестра моя Миля. Их склоненные головы над планами на преддиванном столе в гостиной чуть не соприкасались. Точка соприкосновения у них была не только у их лбов, но, по-видимому, и в их сердцах, и мы с мамой, глядя на них, одобрительно посмеивались и переглядывались.

Типографская работа, конечно, много времени отнимала у Евграфа Степановича от занятий научными предметами, но все же он их не бросал и продолжал ходить заниматься в Публичной библиотеке по вечерам и для заработка еще успевал делать переводы научных статей. Его родные и не подозревали с его подпольной деятельности. Он все время до нашего переезда жил у своей матери.

Наконец, мы и он с нами переехали на угол Кавалергардской и Конногвардейской (потом переименованной в Слоновую)*, где был Николаевский госпиталь с моими курсами, и мне приходилось только переходить к ним дорогу. Квартира состояла из четырех больших комнат, светлых, окнами на Конногвардейскую улицу, а с другой — в большой, чистый, светлый двор, откуда при закате солнца наступало очень эффектное освещение комнат. Приемная, рядом спальная, через коридор комната Евграфа Степановича и рядом, ближе к передней, [комната] Николая Николаевича Дерюгина. Мы порешили

*Ныне — угол улицы Красной конницы и Суворовского проспекта. — Примеч. сост.

в этой квартире повенчаться. С переездом было много затрачено и пришлось немного пообжидать. Но сама судьба распорядилась по-иному.

Начались лекции. Это был уже мой четвертый курс. Не могу не упомянуть о наших выдающихся, как на подбор, профессорах. Слушать их прямо было наслаждение. Одни их имена уже много говорят сами за себя. Раухфус — по детским; Тарновские два брата: Вениамин и Ипполит — сифилитолог и гинеколог; Шперк — по кожным болезням; Эйхвальд — по внутренним; два Бородина — ботаник и химик, вдобавок композитор; Лавдовский — гистолог, прозванный нами "пикриновая кислота", душивший нас на препаратах; Бакст — физиолог, мучивший выводами из высшей математики, на что наши тщетно протестовали, так как при поступлении она не требовалась и на курсах не преподавалась. В издающихся им для нас литографированных записках и выходящих по листочку, я заметила в этих выводах ошибку, но все же сомневалась в себе и показала Евграфу Степановичу. Он подтвердил. Я ликовала. Значит, он не даром терял время, занимаясь со мной. Указала нашим на абсурд, гордилась и испытывала тщеславие, когда они дивились моим познаниям в математике, уж далеко не таким, каким они представлялись им.

Ланцерт — анатом, превосходно рисовавший разноцветными мелками кости, мышцы и ткани на доске, так что на лекции прежде знакомились с картиной препарата, а потом уж с самим, почему лучше запоминалось. Физики — Фан-дер-Флит, Егоров, Усов. Не могу умолчать, не выразив своей глубокой благодарности этим прекрасным профессорам. Я их не всех еще перечислила. Чего-чего только они нам не демонстрировали. Особенно Рейер, хирург. Мы видели многое, что не удалось видеть ничего подобного многим докторам, как я узнала впоследствии. Все искривления позвоночника, ног, размягчение костей — *osteomalacia*, очень редкая болезнь. Да всего и не перечисть.

В начале этого года первая лекция Рейера началась с обхода больных по палатам. При входе в первую же палату Рейер говорит: "Кто желает из вас воспользоваться случаем и познакомиться с дифтеритом? Тут у одного больного на ранке пальца появился он. Больного скоро унесут; но у кого хоть малейший насморк, не советую даже и входить в палату". Я не пошла смотреть, хотя у меня и не было насморка, подумав: "Успею еще познакомиться", — и прошла в другую палату одна. Все, посмотрев, пришли ко мне, и начался обход больных. Вскоре после этой лекции у меня поднялась сильно температура. Позвали доктора Попову-Чернову. Она меня выслушала, выстукала, осмотрела и пока ничего не нашла, решила, что начинается что-то серьезное и обещала приехать вечером. Уехала, вскоре же вернулась и извинилась, что забыла посмотреть мне горло, а как взглянула — ахнула. У меня был дифтерит, а в горле я не чувствовала боли. Не иначе, как я его схватила на лекции Рейера. Никто из всего курса не заразился, а только одна я, не ходившая смотреть его. Странно! Однако, как летуч контагий! Наши переполошились, особенно Евграф Степанович и мама. Я лежала в его комнате. Он буквально не отходил от меня. Он сидел день и ночь на кресле около моей постели и спал сидя, положив голову на мою подушку. Как его не упрашивали этого не делать и садиться дальше, пугая заражением, но он не послушался и в продолжение всей моей болезни не выходил на воздух и был моим фельдшером, исполнял все предписания врача, и даже записывал мой бред. Удивительно, как это он не заразился?! Это ли не любовь?!

Прохворала я долго; потом карантин, рождественский пост отодвинули еще наши венчание.

Как-то раз Евграф Степанович подает мне связку писем и говорит: "Я хочу, чтоб ты их прочла при мне". Я читаю. Пишет какая-то женщина, называя "дорогой Евграф Степанович" и подписывается в последних письмах уже "Ваша

Анна", а в самом последнем даже и "твоя Анна". Я недоумевала, почему Евграф Степанович раньше мне ни слова не говорил про эту Анну. Признаться, мое сердце сильной ёкнуло. Я испугалась. Неужели между нами стоит женщина? Неужели между нами возможен разрыв? Я молча передала ему пачку, так как слова застряли в горле. Мы смотрим друг на друга вопросительно. Ни звука. Но в это мгновение я решила встать и уйти. Готова была разрыдаться, но гордость пересилила. Я молча встала, но Евграф Степанович взял меня за руку:

— Постой, куда ты? Ты удивлена, а я, пожалуй, не меньше твоего. Пишет это мне все время сестра Циммерман[а], с которым я жил за границей. Он мой приятель, про которого я тебе рассказывал, и про нее рассказывал.

Она с матерью приезжала навестить брата в Германию (я помню, он рассказывал) из Москвы. Вернувшись домой, она начала писать, а Евграф Степанович из вежливости отвечал.

— Она писала все чаще и чаще мне, а под конец уж и "твоя". Поверь, я никакого повода не подавал, и почему она вообразила себя моей, не понимаю. Она славная барышня, сестра товарища — вот и все. Я ее, собственно, мало знаю. Они пробыли у нас всего месяц. Она меня через брата лучше знает. Я не знаю, как ее разуверить в ее ошибке, и решил посоветоваться с тобой.

— Напиши брату ее, что ты женишься на днях. Она узнает через него, — посоветовала я, в душе ликуя, при чужом-то горе! А каково ей, если она полюбила?

Но вскоре мы отвлеклись другими вопросами жизни. С 30 сентября [1879 г.] "Народная воля" начала выходить под редакцией Морозова, боевого направления³⁰. Я еще повторяю, Евграфу Степановичу претило всякое насилие. По своей натуре он был индивидуалист. В партии индивидуальность стирается, член ее делается как бы гайкой, винтом целого. "Партийность, особливо, если она бездарна и суха, не любит свободы, широкого размаха" (А.П. Чехов). Для Евграфа Степановича партия — это пеленки. Он не допускал убийства человеком человека, загадочного по своему бытию существа; не допускал даже самоубийства, не зная назначения человека в мировой экономике, где ни один атом не пропадает, а претерпевает только эволюцию. Он не любил также стадности. "Толпа — дура. Ею всегда руководят вожаки. От ума их зависят ее действия. Она поддается внушению, и потому она так удобна для агитации. Даже бывают повальные сумасшествия, эпилепсии, например в монастырях. Для неуравновешенных субъектов падучая заразительна и без микроба, недаром говорят: пример заразителен". Евграф Степанович был самобытен. Всякая партийность его связывала, дисциплина его подавляла. Его творческий ум не мог успокоиться и не давал ему удовлетворения в подполье, а наука все больше и больше притягивала к себе. Ему стало уже не до политики с ее террором, которая требовала конспирации, на что он по своей правдивой натуре не был способен, а рассеянность — следствие наплыва мыслей — могла легко его погубить.

В начале января 1880 г. мы окончательно, наконец, порешили обвенчаться. Пошла я к нашему курсовому священнику. Выходит ко мне величественный, как лунь, седой старец.

— Что угодно?

— Я студентка и пришла попросить Вас повенчать меня с моим женихом.

— А вы не родственники между собой?

— Нет.

Смотрит упорно мне в глаза:

— Вы, студентки, ведь бедовые.

— Ну, не все же.

— А как вас отличишь? — смеется. — Во-первых, раньше трех недель нельзя венчать из-за оглашения в церкви, уж такое правило, которым не имею права пренебрегать; во-вторых, вы оба когда говели?

— Да уже так давно, что и забыли.

— Вот видите, без исповеди и причастия тоже не имею права венчать.

Упала я духом.

— Что же делать, батюшка? — взмолилась я.

— Ведь вы оба, поди, атеисты?

— Не совсем, мы хотим законнорожденных детей.

Он погрузился в думы. Я сидела, еле дыша.

— Так вот что, приходите через три недели, я вас перед венчанием исповедую и причащу за обедней, а после нее повенчаю.

Назначено все это было на 3 февраля — день Анны, именины мамы. Никого из знакомых и родных решено было не приглашать, а когда все соберутся вечером к маме на именины, объявить. Свидание мое со священником вызвало воспоминания о горячих спорах о Боге посещавших нас когда-то студентов. У них было так много уверенности в его небытии, безапелляционного отрицания всяких верований и даже самого существования Христа; а рядом вспоминались другие воззрения. Так, Пирогов, хирург по своей специальности, и материалист сначала, писал: "Замечу, кстати, что этим пошленьким резонерством я затыкал не однажды рот православным догматикам и семинаристам... Я целые часы ночью болтал на эту тему. И ни ему, ни мне не приходило в башку, что ни о всеведении, ни о правосудии творческом нам не суждено знать, и не нам, не нашему человеческому уму судить о свойствах абсолюта. Почти с того же давнего времени у меня составилось и крепло верование, я начал убеждаться в предопределении". Вот и решай, на чьей стороне правда — истина? На одной чашке весов желторотые юнцы, на другой — корифеи науки, многие, не один Пирогов: Берклей считал мир вне нас как бы хаосом и только комбинацией наших ощущений, но потом кончил признанием существования Бога. Ньютон говорил: "Малое знание отрицает Бога, великое — утверждает его". Антон Павлович Чехов [отмечал]: "Все знают и понимают только дураки и шарлатаны". "Мы не успели кончить спора о существовании Бога, а ты — обедать", — сказал как-то Белинский жене. А разве возможно его когда-нибудь окончить? Вечно останется вопросом. Поэтому Евграф Степанович считал пустыми такие разговоры. У каждого свой бог или никакого. Хорошо это, дурно — тоже вопрос.

Разбредили наши симпатичные спорщики кто куда. Павел Николаевич Серебряников женился на женщине-враче, и оба врачуют в Перми. Мейер так и не знаю где, пропал для нас. С Калашниковым мы поссорились еще зимой 1876 г., и он перестал у нас бывать, и потому я с ним встречалась только у Федоровых, хотя он еще лучше стал петь и похорошел, но не производил уже на меня того впечатления, как раньше. Он отшатнул меня окончательно на своей вечеринке, куда он пригласил меня и Милю. У него в комнате было тесно и жарко, но довольно весело. Молодежь — студенты и студентки — шутили и дурачились. Под конец вечера Калашников, сидящий на своей кровати, как хозяин, взял, да и растянулся на ней, подложив руки за голову. Меня эта невежливость взорвала, я сердито сказала:

— Калашников, встаньте!

— Почему? Мне так удобно.

— Мало ли что, я не позволяю Вам лежать при нас.

Он поднялся и сказал с иронией:

— Скажите, пожалуйста, студентка — и вдруг такие церемонии, а в госпитале солдаты перед Вами не лежат, а все во фронт становятся?

Я, возмущившись, сказала, что нельзя сравнивать больных с нахалами, оделась и ушла с сестрой. С нами вышли еще кое-кто.<...>

Вернулась я как-то с курсов пораньше, Евграфа Степановича еще не было дома; села заниматься за наш общий с ним стол и увидела на нем большой заказной пакет со вложением карточки на имя Евграфа Степановича. Он пришел уже, когда смеркалось и рассказывал о своих мытарствах по редакциям. Из-за экономии керосина мы рано ламп не зажигали. Я придвинула скамеечку к топившейся печке и стала читать перед ней. Евграф Степанович подсел ко мне, обняв меня за талию. Тут я вспомнила заказное письмо. Он распечатал, стал читать, потом, поглядев на кабинетную карточку, подал ее мне, сказав:

— Вот познакомься, Анна Эмильевна [Циммерман], та самая, которая мне пишет.

— Фотография дорогая, лицо на ней красивое, интеллигентного вида.

— Они люди богатые, у них в Москве свой дом на Кузнецком и доходное предприятие.

— Тебе бы выгоднее на ней жениться, — говорю я.

Евграф Степанович встает, вынимает из стола пачку писем, подходит ко мне и, ни слова не говоря, бросает всю пачку писем с портретом в разгоревшуюся печь. Я не успела ахнуть, как все запылало.

— Ну вот, чтоб это дело покончить раз и навсегда и не вспоминать о нем, я это сделал.

Мне жаль было этого красивого портрета и как-то обидно за женщину.

Но, однако, какая цельная, сильная натура была у Евграфа Степановича. Ничего половинчатого. После этого он мне, смеясь, сказал: "Ты, кажется, уж Бог знает что вообразила. Но заверяю тебя, что я еще не знал женщины и ты будешь первая моя жена; жена, друг, мать моих детей — у меня сердце трепещет при этих словах. Не скажу, чтоб мне легко далось воздержание. Я считал нужным обуздывать силу желания, не соответствующего разуму. Правда, еще в Инженерном училище товарищи затащили меня к женщине, но меня взяло такое омерзение, что я бежал и с тех пор дал себе слово не прикасаться к женщине без любви. Товарищи меня прозвали бабой, тряпкой, красной девицей. Я сторонник раннего замужества, но с длинной проверкой, боясь быть захваченным врасплох. Бросаясь очертя голову под влиянием одной только страсти, легко ошибиться и испортить себе всю жизнь".

И чудили же мы тогда! Евграф было довел себя до того, что начал недомогать, воздерживаясь от самого существенного, по понятиям большинства, при сближении с женщиной. Великий подвижник Феодосий под Киевом, ухаживавший сам лично за прокаженными в зловонных язвах, говорят, возможен только в России. Евграф — своего рода тоже подвижник, только на иной почве, но также с высокими идеями добра и гуманности. Поглощенный науками и изысканием средств к существованию, он говорил: "Я не имею еще права обзаводиться семьей". Он был тверд в своих нравственных принципах. Ему приходилось, конечно, нелегко, подавляя свою чувственность, но он не хотел быть в зависимости от нее. Им не управлял эгоизм, как у других. Им руководили долг, мораль, доброта. Он очень боялся скотоподобия. Мы все сплетены, говорят, из разных низменных инстинктов. Например, что пишет знаменитый Пирогов в предисловии к своей книге "Вопросы жизни": "Цинически откровенным я и перед самим собой не хочу быть. Цинические поступки в жизни лучше оставить, не трогая и не подвергая анализу. Это лучше для самого себя. Иначе попадешь в ретирады души и оттуда напустишь вонь и в то, что искренно хотелось бы оставить чистым, как оно есть на самом деле. У нас у всех на душе довольно грязи. Если, опустившись на это дно, муть взбалтывать, то потом сам не отличишь чистого от грязного". Возможно ли что-ни-

будь подобное применить к душе Евграфа Степановича?! Никогда! Слова "цинизм, циническое" несовместимы с его именем. Его душа чиста, чиста как кристалл чистой воды и никакой ретирады в ней не было и не могло быть.

Отто Вейнингер в своем сочинении "Пол и характер" пишет: "Женщина представляет собою сплошную чувственность, в мужчине, помимо чувственности, живет многое иное". Не знаю, так ли это? Но наше долгое совместное сожительство, наш, так сказать, "не фактический" брак, наша платоническая любовь оставили во мне глубокий след восторга. Не забыть мне никогда, что это было за очарование, какое было блаженство сознать наше единение, зная, что такой серьезный, выдающийся по уму и знаниям, по честности и благородству намерений, такой чистый душой и телом человек предпочел меня всем другим женщинам, часто повторяя: "Ты моя, моя единственная, ты моя душа". Душа-то наша был, собственно, он, куда выше по знаниям. Гениальность его уже и тогда чувствовалась, но он еще не напал на путь ее применения тогда.

Наконец мы повенчались 3 февраля 1880 г., после обедни. Перед обедней исповедовались, за обедней причастились. У Евграфа шафером был Николай Николаевич Дерюгин. В шафера мне студентки прислали совершенно незнакомого нам молодого человека. После венчания священник нас поздравил, сказав мне: "Ваш муж — необыкновенный человек". Меня удивили его слова, и я спросила Евграфа, что бы это значило? Тогда Евграф выразил свою догадку: когда батюшка спросил его на исповеди о прелюбодеянии, узнав, что ничего подобного он и не знает, то сейчас прекратил исповедь. Верно, это для него необычно.

Повенчавшись, пошла я на курсы в канцелярию, стала читать развешанные по стенам объявления; слышу, наша директриса Ермолова все кого-то зовет. Наконец меня толкают: "Панютина, да Вы не слышите? Ермолова просто надсадилась, зовет Вас". — "Как меня? Она зовет все какую-то М-ме Федорову". Хохочут. Оказывается, это она звала меня поздравить с законным браком. Тогда я только уразумела, что я теперь М-ме Федорова, хотя сокурсницы до самого окончания курсов именовали меня Панютиной.

Настал вечер. Мы все приготовили к приему гостей. Раньше всех приехала Клавдия Алексеевна Киселева, старая наша знакомая, у которой я с сестрой так часто гостили на даче. Входит, поздравляет маму с днем ангела и с новобрачными. Мы удивлены: откуда она знает. Оказывается, один их знакомый сегодня утром явился к ним во фраке с белым галстуком и в белых перчатках со свадьбы, где был шафером у совершенно ему незнакомой студентки Панютиной. Бывают же такие случаи. Клавдия Алексеевна поторопилась заказать шоколадный торт в виде каравайя черного хлеба, вставила серебряную золоченую солонку с сахаром и как бы благословила им нас.

Я не верю в предопределение, как наш знаменитый хирург Пирогов. Наша жизнь чуть не сплошь зависит от случайностей, и вот такие ничтожные случаи, как смерть кота, пустой разговор о гадалке, привели к таким важным событиям и последствиям в нашей жизни с Евграфом Степановичем: соединили нас навсегда. Не будь этих незначительных случаев, и, может быть, никогда и не узнали бы мы друг друга и даже о нашем существовании. Говорят даже: все в жизни зависит от случая. Ну, хоть не все, но многое, очень важное в жизни. Да почти все наши заболевания и самая смерть — зачастую следствие укуса паразитов: клопа, блохи, комара, вдыхания микробов и т.п. В жизни связано великое с мизерным.

Вскоре повенчалась и моя сестра с Николаем Николаевичем Дерюгиным. Это тоже был незаурядный человек с громадной силой воли. Раньше драгун, помещик, маменькин сынок, учился "чему-нибудь и как-нибудь". Сам рассказывал про бесшабашные кутежи офицерства. <...> Ему как порядочному, умному и доброй души человеку стала претить такая пустая безнравственная жизнь, с травлею евреев, этих забитых париев. Он начал пополнять свое скудное

образование и много читать. Попал на стезю идеализма, попал, так сказать, на истинный путь. Он даже отдал свое имение крестьянам. Хотя, собственно, что есть истина?

СТУДЕНТ ГОРНОГО ИНСТИТУТА

Мы зажили дружно все вместе: мать хозяйничала, Николай Николаевич кончал курс, я училась уже на четвертом курсе, один Евграф еще плавал в пространстве, не пристал еще к пристани. Бухгалтер Езерский прославился изобретением четверной бухгалтерии, а ее придумал Евграф Степанович, служа в это время у него. Езерский присвоил себе чужой труд. Евграф не стал оспаривать, но порвал с ним отношения за его неблаговидный поступок и лишился главного заработка. Тогда стал подумывать об избрании какой-нибудь специальности.

Он взял программы всех высших учебных заведений и стал выбирать, на какой из них остановиться. Просмотрев, нашел, что программа Горного самая обширная, не узко специальная, есть чему еще поучиться и многие отрасли наук ему тут мало знакомы, а особенно его заинтересовала кристаллография. Он начал готовиться и напал на мысль об учении о фигурах. Он, совместно с приготовлением, начал писать работу "Учение о фигурах"³¹. Заработок его от репортерства и переводов в газеты был скудный. Он вскоре решил, что так как он полностью платить за стол не может, то будет есть только хлеб с маслом и селедку. Как мы все его ни упрашивали не делать таких глупостей, он засел на эту диету. Не могла же я допустить его одного так скудно питаться и присоединилась к нему. И, право же, не жалела. С удовольствием вспоминаю это незабвенное время. Мама даже с некоторой досадой, смотря на нас, говорила: "С милым рай и в шалаше". Это и верно. Я в то время голода не ощущала. Когда Евграф уходил к своей матери и там угощался, я отъедалась у своих. Я у его матери еще не бывала. Она не любила студенток. Она подарила Евграфу очень красивого щенка ньюфаундленда. Назвали мы его Милордом.<...>

Для поступления в Горный мало было подать прошение, а должно еще было показаться министру лично и только тогда можно было получить разрешение на поступление. Евграф показался министру и ни тпру, ни ну, так что из-за этой волокиты пришлось терять массу времени. Чтoб дорваться до учения, у Евграфа была скачка с препятствиями. <...>

Как-то раз, <...> вечером, я хотела пробежать от больницы к себе домой напиться чаю, закусить и кое-что взять на ночь с собой; подошла к первой калитке палисадника, чтоб пройти по аллейке и выйти через другую калитку на улицу. Вижу, у калитки стоит солдат с ружьем и не пускает меня.

— Почему?

— Не приказано пущать после 9 часов.

— Я тут же живу, мне только перебежать через дорогу.

— Все равно другой Вас, барышня, не пропустит у другой калитки.

И другой не пропустил, и куда я ни совалась, нигде не пропускали. Вернулась я в барак. Но наши будут беспокоиться. Евграф — горячка, не натворил бы чего! Значит, Петербург на военном положении. Мне посоветовали написать записку, и солдаты с удовольствием передали; принесли мне все, что мне было надо. Мы все, застрявшие тут, устроили чай, закусили и ночевали и только утром стали свободными гражданами Российской империи.

В это время генерал-губернатором Петербурга был Баранов. Он составил совет из некоторого числа членов, уже хорошо не помню, скольких, кажется десяти. Появлялись решения этого совета за подписью смехотворной формы: совет десяти, а потом подпись — Баранов, и выходило: совет десяти баранов. Они подавляли подобным образом все разрастающийся террор. В феврале взрыв во дворце³², открытие типографии "Черного передела"³³.

Типография "Народной воли" после переезда от нас просуществовала всего три с половиною месяца, т.е. проработала, так как переехала-то она несколько раньше. Мы теперь отошли совсем от политики и были только наблюдателями и ждали, к чему-то приведет террор, не ожидая ничего от него хорошего. "Народная воля" была ликвидирована при вооруженном сопротивлении, и Ногин, эта "Птаха", сам лишил себя жизни. Когда я узнала об этом, то долго не могла забыть это истощенное существо с его черными, лихорадочно горящими глазами, грустными-грустными. Для этого еще почти юноши идея была выше жизни, и он самоотверженно глотал свинцовую пыль, не щадя легких. Оказалось, что он проживал без всякого паспорта, а полиция его искала, и ему нельзя было показываться на улице. Ногина почти никто не знал, а между тем [он] оказался у Коли на фотографии в группе медицинских студентов. Значит, понимал, какой огромный вред приносил себе. В. Бух*, этот корректный джентльмен с аристократическим лицом, блондин, по меньшей мере уйдет на каторгу. При типографии были еще две женщины, тоже нелегальные: одна за хозяйку квартиры, другая за прислугу, и обе помогали работать. Жаль их всех³⁴.

Придя как-то от матери, Евграф говорит, что матушка совсем больна: у нее от нарыва на большом пальце распухла вся рука, какие-то пошли красные полосы и ее лихорадит. Я испугалась: по-видимому, начиналось заражение крови. Евграф сказал уже ей, что приведет меня. Мы пошли, она встретила меня хотя радушно, но несколько жеманно. У нее оказались и железы под мышкой желваками от припухания, и это показывало на необходимость немедленного разреза нарыва. Этот нарыв на большом пальце — панариций — сам не прорывается, потому что у него апоневроз упруге, крепче других пальцев, и его надо обязательно разрезать глубоким разрезом, а то можно лишиться фаланги пальца. У нас в клинике умер здоровенный молодой геркулес-дворник, придя уже с заражением крови от панарициума. Хотя я была уже на четвертом курсе, но не решилась сама резать ей, а пригласила Попову-Чернову, сама же скорее стала делать теплые соленые ванны для размягчения кожи. Юлия Герасимовна была очень довольна, и я видела, что лед между нами таял. Потом я ходила каждодневно на перевязки и прижигала ей ляписом разросшиеся грануляции, и лед между нами растаял.

Евграф удивительно был вынослив к своим страданиям, был стойкий во время своей боли, доказал это несколькими случаями, но когда были в опасности его близкие, очень терялся, падал духом. Он очень любил свою мать и баловал ее, покупая ей из своих ничтожных средств сласти, до которых она была большая охотница. Принимая их, она и не подозревала, что сам он сидит на одной селедке. Хотя вскоре Евграфу удалось заполучить более выгодную работу при вновь вышедшем журнале "Русское богатство"³⁵. Наш пост прекратился.

За это время Мария Степановна вышла замуж за врача [Николая Афанасьевича Золотавина], который, будучи студентом, пел при моем приходе "Только станет смеркаться" и которого мы тогда не любили. Юлия Герасимовна ввиду их отъезда в Ножевку Пермской губ[ернии], где муж Марии Степановны получил место земского врача при больнице, стала приглашать нас переехать к ней жить. Так как Николай Николаевич кончил, стал инженером-путейцем и тоже уезжал на постройку железной дороги на Кавказе, а меня с Евграфом приглашал к себе на лето Коля, где я могла практиковаться в его амбулатории, мы решили, что Юлии Герасимовне лучше всего поехать к Евгению Степановичу в Казань, куда он ее и приглашал.

Подошло время и моим экзаменам. Приготовлялась я к физике. Нужно

* На самом деле — Николай Константинович Бух. Василий — его нелегальное имя. — *Примеч. сост.*

сдавать электричество у Усова. Учю, какие элементы притягиваются к положительному, какие к отрицательному электричеству. Это конек Усова. Он всех это спрашивает, говорят, в первой группе. Запоминание этого мне так трудно давалось. Все, что я пойму, я всегда усвою хорошо, а на память брать нужно было очень много времени, а экзамен не ждет. Учусь и злюсь, путая притяжения. "А хочешь, я тебе помогу, — говорит Евграф, — хотя я еще и сам пока не уверен, для этого нужны еще опыты, но я составил теорию и передам тебе ее, а ты проверь ее на экзамене. Если она ошибочна, то все равно так или иначе будешь перевирать, где же их все запомнить, а по моей теории ты подумаешь и, сообразив, ответишь". Я его послушала. Проверить это дома было уже поздно. Я решила это сделать на экзамене. Если теория ошибочна, то все равно не она одна может лишит меня полного за все года максимума по физике, начиная со вступительного экзамена.

Пришла я на экзамен, а так как моя фамилия по алфавиту стояла из последних, то я решила не сидеть на экзамене, а навестить своего больного; вожусь с ним, меня студентки спрашивают: "Разве Вы уже держали у Усова?" Говорю: "Нет еще". — "Так что же Вы, экзамен уже кончается". Я бегу и вижу, Усов и ассистенты собирают бумаги. Усову показался подозрительным такой поздний мой приход, и вместо того, чтобы меня скорее отпустить и самому избавиться, он спрашивал меня, кроме билета, по всему электричеству и, наконец, дошел до своего излюбленного притяжения, которое, по рассказам отэкзаменовавшихся, никто верно не определял. Я начала отвечать по теории Евграфа и все верно, так что Усов, видимо, заинтересовался и долго гонял меня от одного элемента к другому и написал мне максимум. Я, счастливая вдвойне, и от него, и от удачной проверки теории, вихрем ворвалась в нашу комнату и чуть не задушила Евграфа в объятиях. У нас тогда был такой бурный восторг. К сожалению, Евграфу так и не удалось за всю жизнь на опытах проверить свою теорию³⁶. Не проверенную, не хотел пускать в свет. Его и так в начале его научной деятельности упрекали в дилетантстве. Он не хотел, как он выражался, дразнить собак.

Прихожу я как-то с курсов и вижу, Любовь Ивановна поливает уксусом и постным маслом большую селедку-астраханку, и так показала она аппетитной, что я не утерпела, взяла кусочек. Потом кусок за куском съела всю. Любовь Ивановна заохала: "Да что же это Вы, Людмила Васильевна? Ведь это я приготовила для прачки. Она сейчас придет завтракать, и я не успею сделать другую". Я и сама себе удивилась, с каким удовольствием я съела ее всю. Потом мама с Любовью Ивановной долго что-то перешептывались. С этих пор я стала капризна на еду, по утрам на голодное поташнивало. Не понимала, что со мной происходит. Наши же посмеивались, говоря: "Готова".

Все же моя беременность протекала легко, не мешала мне заниматься. На курсах не замечали, и я про нее забывала.

Экзамены сошли хорошо. На нашем курсе была С. — первая жена Плеханова. Она не поехала за ним за границу. Она срезалась на диагностике, и ей нужно было поупражняться в ней, за лето подучиться у какого-нибудь доктора и привезти от него удостоверение в ее занятиях. Она уже оставалась два года на разных курсах, что только и позволялось, а на третий год нельзя было оставаться. Дольше двух лишних лет не полагалось быть на курсах. И вот она была в безвыходном положении, тем более что у нее, еще в довершение всего, и в кармане было пусто. Узнав об этом, я предложила ей ехать с нами, так как прожить там дешевое и сытное. Брат и я станем с ней заниматься по диагностике. Чего же лучше? Ей будет стоять только проезд по железной дороге, на лошадях же мы с нее ничего не возьмем. Так и порешили. Она согласилась. Мы стали собираться, проводив Юлию Герасимовну в Казань.

Наши еще пока оставались, им предстояло сдавать квартиру. Мама ехала на Кавказ с Милей, которой предстояло там подолгу оставаться одной при разъездах Николая Николаевича по постройкам; тем более что у мамы с Евграфом произошло столкновение из-за маминой некоторой оплошности. До нашего переезда на Кирочную мы все время забирали провизию в лавке Овсянниковского дома, где по старому знакомству маме оказывалась льгота: она платила не ежемесячно, а как ей было удобно. С Кирочной же стало далеко ходить, адрес мама опасалась дать и затянула последнюю уплату. Евграф, до того чуткий ко всякому долгу, узнав о мамином долге, поднял бучу, собрав сейчас же деньги, послал Любовь Ивановну уплачивать с извинением. Возвратясь, Любовь Ивановна спокойно рассказала, что там и не беспокоились и нас не разыскивали, так как были уверены, что за нами не пропадет. Все хорошо, что хорошо кончается, но мама несколько обиделась на Евграфа Степановича и сказала даже мне, как и Павел Николаевич когда-то, в том же духе: "Ой, Людмила, трудно тебе будет с ним жить".

Мы поехали еще в мае. Погода нам благоприятствовала, особенно на лошадях. Солнце нас прямо жгло. Евграф сел рядом с ямщиком, лицом к нам, и всю дорогу мы разговаривали, прерывал [нас] часто Милорд. Он нам досаждал, гоняя стада баранов; когда же, разогнав их, он возвращался к нам, то все бараны неслись без конца за ним. Чтобы их остановить, мы его засаживали в экипаж, откуда он мигом выпрыгивал при виде другого стада, как только переставали обращать на него внимание. Он смешил и досадовал.

Приехали мы на станцию. Евграф пошел заказывать самовар. С. пошла за ним. Я еще не успела вылезти из экипажа, как и ямщик ушел. Экипаж высокий, с подножки нужно прыгать, а я решила, что прыгать мне опасно. Я стала ждать ямщика. Станционный дом в два этажа. Одно окно отворилось, из него Евграф крикнул: "Что же ты не идешь?" — и скрылся. Я ему и крикнуть не успела. Наконец, пришел ямщик и высадил меня. Я поднялась во второй этаж и попала в большие, очень темные сени. Начала по стенам шарить, отыскивая двери и хорошо, что догадалась крикнуть Евграфа, так так, когда он открыл дверь, осветив сени, я стояла над открытым люком в подполье и еще шаг — провалилась бы туда.

— Ах, какая ты неосторожная, почему раньше не крикнула?

— А почему же ты раньше не позаботился открыть дверь?

— Да я заговорился и не видел эту дыру. Да, какой я! Страшно подумать, что могло произойти от моей невнимательности.

И так долго он мучился раскаянием и упреками себе. Он, что бы ни делал, так увлекался данным делом, что, пропуская что-нибудь существенное, спохватывался и, хватая себя за голову, мучил себя упреками.

Приехали мы к вечеру в большое село Молвотицы, по обоим концам которого на холмах красовалось по церкви. Квартира брата состояла из трех комнат. Его спальная, кабинет он отдал нам, и приемная. Конечно, за поздним временем мы С. оставили ночевать, положив в приемной на диване, а на другой день она должна была приискать себе комнату, что было легко, так как село большое, несколько лавок, все можно было достать, включая даже шампанское, потому что в его окрестностях много богатых помещиков, и докторам там было не скучно и выгодно бывать. Брат даже ей порекомендовал у вдовы священника, просвирни, и уверял, что та ее закормит задарма, заугощает вкусными просфорами — своей гордостью. Коля редко бывал дома, все больше в разъездах по больным помещикам и пунктам. С. ушла искать себе комнату, а мы рады были наконец остаться одни. Евграф все еще не мог забыть своей оплошности на станции и изливал Коле свои опасения и самобичевал себя. С. вернулась опять к нам.

Ехала я, не закрываясь зонтиком, и на другой день у меня от ожога

солнцем все лицо покрылось пузырями, потом, когда весь эпителий сошел, снова кожа стала удивительно бела и нежна. Приехал к брату в гости его сослуживец-доктор. Познакомились. Здороваясь, он говорит: "Вот что значит петербургская-то барынька: какая беленькая, да нежная, и солнце на нее не действует". Может быть, он подумал, что я притираюсь чем-нибудь. Тогда я ему сказала: "Увидали бы Вы меня двумя днями раньше, то не то бы сказали". Когда же ему рассказали причину моей белизны, то он хотел мне дать совет всегда быть такой. Тогда Евграф заметил, что нужно обращать внимание больше на душевные качества, а не на одно лицо.

— Нет, и лицо много значит. Душевные-то качества не скоро узнаешь.

— Да, конечно, но, если оно от природы уже такое, а не от искусственных ухищрений.

— У нас, людей, женщина старается привлекать всеми способами — завитушками и притираниями — мужчину, а в природе, собственно, наоборот, самцы украшаются разным оперением для привлечения самки, — вставил Коля.

— Но женщина ведь не самка!

Они заспорили.

— Женщина должна быть украшением природы, совершенством. Красота! — кричал доктор.

— Но красота без души для меня не красота, — возражал Евграф.

Доктор потом, прощаясь со мною, сказал с комичной грустью:

— А нас природа обезобразила зачем-то волосатостью.

Этот доктор Евграфу не понравился.

— Должно быть, бабник, — решил он, хотя Коля опроверг это заключение.

С. чуть не неделю прожила у нас, все не находя для себя ничего подходящего. Евграфа, наконец, взорвало, и он объявил, что если она еще не найдет комнату, то он пойдет, наймет сам и заплатит все вперед. "Она мне надоела". Тогда я, боясь обидеть С., пошла к просвирне и наняла задешево две прехорошенькие, уютные, светлые чистенькие комнатки, обещая ей доплатить. <...> С. принуждена была переехать. Вместо благодарности, она на меня надулась, а я ведь ее еще учила выслушивать, когда Коли не было дома. Я принимала с ней по утрам больных, разрезала нарывы, делала перевязки, а Коля потом проверял.

При доме не было садика. Мы с Евграфом забирали плед, макинтоши, книги и уходили в какое-нибудь укромное красивое местечко с красивым видом вдаль и блаженствовали в лоне природы, то читая порознь, то я шила, а он читал вслух. Так приятно и мирно проходило время, если б не дутье на меня С. "Зачем ты с ней связалась?" — упрекал меня Евграф. Приближался уже август, а Евграф ни разу никуда не поехал, я же иногда ездила с Колей к его знакомым помещикам.

Зовет меня как-то Евграф в нашу комнату и показывает какую-то записку без подписи. В ней он приглашается прийти в назначенное место в назначенное время. Почерк С.

— Что это значит? — удивилась я.

— Неужели не догадываешься: это твоя подруга назначает мне свидание.

— Не может быть! Тогда ты не ходи, — говорю.

— Нет, я пойду, но только не один, а с тобой.

Мы пошли. Он меня поместил так, что сразу при входе меня не было видно. Пришли мы поодиночке, с разных сторон. Сидим. Приходит С. — прямо к Евграфу, но, не успев еще ничего сказать, она наткнулась на меня. При виде меня она стала как кумач красная и, ничего не сказав, быстро скрылась. Евграф сказал: «Вот так фунт! Вот "не может быть" тебе. Это тебе благодарность за все твои заботы о ней». После этого она перестала показываться к нам и в амбулаторию, прекратила с нами всякое сношение.

Приехав, брат привез на ее имя повестку на деньги. Из-за разъездов по больным он ее некоторое время задержал. Нужно было передать лично. Послали за С. Она пришла, не здороваясь ни с кем, набросилась на брата с упреками за задержку, схватила повестку от Коли и свидетельство о работе в амбулатории, требуемое профессором, и, не поблагодарив его даже, выбежала рассерженная от нас. "Вот так фурия", — засмеялся брат. А Евграф только сказал: "Это, Коля, за то, что ты учил ее. Почему-то некоторые люди считают других обязанными им все предоставлять и помогать, а сами болтают только о высших материях. Для них, видите ли, это мещанство".

Главная улица Молвотиц — длинная-предлинная, прямая, как стрела, от одной церкви до другой. Мы жили на середине ее, и если высунуться из окна, то видишь ее всю в оба конца. На другой день С. промчалась в почтовой таратайке мимо нас, отвернув демонстративно лицо от наших окон. Я бы не упомянула о казусе с С. — Бог с ней! — но он характеризует Евграфа Степановича.

Молвотицкий "Невский", широкий и пыльный, обычно днем безлюден и тих, но по утрам и вечерам точно оживал; выпускали на поле или загоняли скот. Блеяние, мычанье, крики и визг ребят, говор, звуки рожка и бича пастуха нарушали тишину и покой, и мы рано вставали. В воздухе долго от пыли стоял туман. Понемногу все затихало, пыль рассеивалась и только на этом проспекте во многих местах оставались памятки всего этого нашествия в виде свежих лепешек; старые уже не так резко выделялись, покрытые пылью, хотя продолжали лежать, пока не превращались сами в пыль. Сколько ни ратовали Коля и я о гигиене, но, за недосугом, все оставалось в прежнем виде.

По праздникам улица и днем оживала. По ней гуляла вся аристократия Молвотиц. Разряженные гуляющие ходили взад и вперед из конца в конец: купцы, приказчики, учителя (были две школы), все со своими семьями, набиралось их немало. Особенно выделялась своим бравурным видом — "мне сам черт не брат" — писарша, заматавшая пыль шлейфом своего шелкового платья.

Встали мы в одно из воскресений и видим: каждый крестьянин у своей избы выметает дочиста улицу. Что сей сон обозначает? Оказалось, из монастыря сегодня принесут икону Божьей матери, как крестьяне называли, — "Владычицу". Потому у каждого дома был поставлен стол, покрытый скатерью. На нем разложены приношения: мотки ниток и шерсти, яйца, огурцы и пр. Мы с Евграфом всегда относились с уважением к чужим убеждениям и религии и никогда ни у кого ее не подыряли, считаясь с ее нравственным воздействием, хотя уже потом, позже, пришлось прочесть воззрение на этот счет, одинаковое с нашим, у таких корифеев, как Л.Н. Толстой: "Религия и нравственное учение разделяются только в рассуждениях, на деле же это одно и то же"; Морис Флюиель: "Религия есть высший и благороднейший деятель в воспитании человека"; Гамсун: "Так как я принадлежу к числу тех, кто, в отличие от многих других, еще не разрешил вопрос о Боге, то я отдаюсь на некоторое время мыслям о Боге и его творении" (в "Сказочной стране"). Я могла бы еще больше привести цитат, но и этих довольно.

Евграф иногда любил посмеяться над недостойными служителями алтаря, над предрассудками и суевериями. Так, теперь нельзя было без возмущения смотреть на монахов, приехавших за образом. У этих монахов окружность талии равнялась окружности дождевого зонта, которым они укрывались от палящего солнца. Буквально из них вытапливался жир, это были не аскеты, как подобает монахам, а упитанные тельцы, боровы. Народ от деревни к деревне нес образа, а они ехали за крестным ходом на тройке, так как от одышки еле ходили. За ними с грохотом тащила четверка лошадей полуторасаженный железный ящик на шести колесах. После молебна у каждого стола снимались скатерти, все дары с них вываливались в него. Этот громадный ящик быстро наполнялся

и исчезал за околицей, где те же крестьяне покупали, что им нужно, у монахов за деньги. Все — и служба, и сбор, и торговля — шло с поразительной быстротой, совсем не благолепно. Нас это крайне удивляло и возмущало. Шарообразные фигуры монахов и этот торг были омерзительны. Крестьяне нас дивили своей индифферентностью к такому несообразию. Они так горячо молились своей заступнице усердной, что кроме нее ничего не замечали. При виде такой усердной молитвы и беззаветной веры мы не решились выступить с критикой. Коля в этом случае всегда исчезал, потому что не мог видеть этих "Йоркширов", как он их окрестил. Крестьяне Колю любили как хорошего доктора и доброго человека. За него, верно, и нас полюбили. Мой брат был безалаберный бессребреник.<...>

Евграф еще до лета 1880 г. писал старшему брату (благодаря его за желание помогать ему во все время его учения), какую массу предметов ему придется сдавать за 3 года: 1) физика. 2) химия органическая, неорганическая (за 3 года), 3) высшая математика (за 2 года), 4) начертательная геометрия (за 1 год), 5) геодезия и сферическая геометрия (за 1 год), 6) аналитическая механика (за 1 год), 7) прикладная механика (за 1 год), 8) строительное искусство (за 1 год), 9) зоология и ботаника (по 1 году), 10) минералогия (за 2 года), 11) законоведение и политическая экономия (по 1 году), 12) кристаллография (1 год), 13) пробирное искусство (за 1 год), 14) богословие (за 3 года), 15) иностранные языки (все 3 года), 16) статистика (за 1 год). "По первым двум предметам я имею в виду обстоятельно соединить свои знания", — писал Евграф.<...>

По приезду в город Евграф держал экзамены в Горный. Пошел он держать на 4-й курс, но там требовалась сдача каких-то практических работ, а их у него не могло быть, [так что] пришлось поступить на 3-й курс. Профессор Войслав по механике всеми силами старался его провалить. До того сам зарепортовался, что смешал равнодействующую с линией силы и приставал настойчиво к Евграфу: "Это у Вас сила? Это у Вас сила?" Евграф стойко и убежденно повторял: "Да, это сила, а та — равнодействующая". Потом, обратясь к ассистирующему профессору механики Тиме, спросил: "Скажите, профессор, кто из нас прав?" Тиме в смущении уклончиво ответил: "Не я Вас экзаменую". Тогда Войслав, весь красный, спохватился и стал вывертываться, уверяя, что хотел сбить Евграфа, а теперь видит и убедился, что его не собьешь. Математик Георгий Тиме тоже старался срезать Евграфа разными придирками и ухищрениями, но не удалось сбить его. Евграф уже кончал доказательства, вся доска была исписана, как подоспело время перерыва к завтраку. Тиме хотел отложить экзамен на после завтрака, но Евграф, боясь, чтоб выведенные уже формулы не стерлись с доски, настоял окончить до перерыва.

Бедному Евграфу Степановичу не облегчали труда пробраться к учению, а всеми силами тормозили, кто как мог. Почему это? Не было у этих профессоров чутя, что перед ними незаурядная величина. Другой и менее способный легко пролезал в профессию даже, ему препятствий почему-то не было. Ему как бы раскрывались дружеские объятия всего заведения. Нищие писал: "Но больше всего ненавидят того, кто летает". Я тут вспомнила наших профессоров. Они незнающей не давали поблажки, просили здорово. Но у них было горячее желание помочь и передать все свое богатство знаний желающему учиться. Это внушало мне такое громадное, громадное, если можно так сказать, уважение ко всем профессорам вообще, как к высокой, беспристрастной, нелицеприятной научной величине. И вот мой наивный энтузиазм потерпел крушение и оставил на душе какое-то сальное пятно, и чем дальше, тем оно больше расплзалось.

Приведу еще письмо Евграфа, относящееся почти к этому же времени.

Из него видно, чем он только ни занимался. Мне кажется, что пристань он к какой угодно отрасли науки, он всегда оставил бы след, внося новое, свое — до того он был разносторонен. Это письмо к старшему брату:

"Дорогой Евгений! Ты пишешь в своем последнем письме, что твои отношения ко мне установились уже давно; ничего нет отраднее для меня. Но, к сожалению, я не могу этого сказать относительно моих отношений к тебе, даже до настоящего времени: причины этому ты можешь отчасти понять и сам... Но, впрочем, это такой предмет, о котором не имеет смысла и толковать³⁷. Отношения, во всяком случае, обуславливаются оценкой личности и степенью сходства в деятельности. Что касается второго, мы довольно далеки друг от друга, в отношении же первого ты не можешь не видеть, что я высоко ценю некоторые качества. Вообще понятие о личности столь сложно и приобрести его в некоторых случаях столь затруднительно, что кажется не особенно удивительным, если я даже до сих пор колеблюсь по некоторым вопросам. (Я это начало привела как доказательство прямоты и правдивости Евграфа. — Л.В.Ф.) Что касается моих занятий, то ты уловил верно характеристику и, если приписал принятый мною метод Вунду, то это зависит частью от незнакомства с тем именно, чем я занимаюсь, частью по незнанию главнейших деятелей по этому вопросу. Собственно, литературой по этому вопросу я стал заниматься только теперь, когда именно стали они мне только теперь известны ближе. Ты был прав, когда говорил о недостаточности моих средств для этого дела, но все-таки теперь мне не нужны никакие специальные ресурсы; я поневоле должен довольствоваться тем, что нахожу в Им[ператорской] Публичной библиотеке, а это не составит, может быть, и десятой части всего того, с чем полезно было бы познакомиться, а делать расходы сверх этого была бы своего рода роскошь, не оправдываемая обстоятельствами. Что касается самих опытов, конечно, было бы бесполезно, а для некоторых и необходимо, завести кое-какие инструменты, но теперь я по необходимости должен ограничиться малым, ибо это малое, разумно направленное, может дать очень многое. Теперь я испытываю различные методы, которые можно бы применить для численного определения разных психических способностей, а для таких предварительных опытов особенно точных инструментов, конечно, не требуется. Полученными даже покамест результатами я очень доволен, и они возбуждают во мне многочисленные надежды. Вопросы и методы очень просты. Количество требуемых опытов должно быть очень значительно, и ты, как всякий готовый посвятить на это дело некоторую часть своего свободного времени, мог бы принести большую пользу. (В письме всего он не мог изложить, отложил до свидания. — Л.В.Ф.) Надежды мои на будущее тем яснее, что несколько моих первых опытов привели к результатам, близким к тем, которые я вскоре встретил в специальных журналах нескольких последних лет, и только немного, по моему мнению, их опередивших, так что уже теперь я предвижу, что может вскоре появиться по этому вопросу. Мои философские работы, а именно по истории человечества и отдельного лица, привели к еще более замечательным результатам, по крайней мере замечательным в том отношении, что сделанные обобщения (начало их — 1876 г.) согласуются с громадным количеством фактов. Как я говорил, я уже по этому предмету написал две статьи, но их не приняли по причине их непопулярности³⁸. Конечно, я работать продолжаю и буду ждать удобного времени. Кстати, ты приписываешь мне неведение истории. Хотя я далек, чтоб владеть ею самостоятельно, но занимался ею много: последние 2—3 года я почти ею и занимался. Вообще дела идут у меня как нельзя лучше: Людмила (я. — Л.В.Ф.) тоже, конечно, перешла на 4-й курс и помогает в моих занятиях. Нужно заметить, однако, что у них экзамены столь строги, что только несколько % счастливо переходят без всяких неожиданных неудач".

В этом письме он сообщает о высылке братьев Короленко.<...>

Приехали мы на Сергиевскую* к нашим, вернувшимся с Кавказа. Они взяли отдельную от нас квартиру, а нам в этом же доме Рубана, только на другой лестнице, присмотрели поменьше квартирку и две комнаты с коридором, с двумя ходами, очень удобную, во втором этаже. Зять получил место. Ему надо было вставать рано, а у нас должен был появиться ребенок в этом году на свет, наш первенец, и он мог мешать спать. Обедали мы у них. Первую большую комнату разгородили ширмой на кабинет и спальню, а в другую, поменьше, пригласили жить нашу знакомую, уже немолодую заштатную учительницу, Сусанну Федоровну, за стол и за квартиру, с тем чтоб она оставалась с будущим младенцем, когда нас не будет дома. Мы боялись поручать его необразованной, неизвестной няне. Сусанна, нежно-розовая блондинка, горбатая, скорее

* Ныне улица Чайковского — *Примеч. сост.*

кривобокая от вышивания на пальцах в детские годы; очень образованная, знающая три иностранных языка, наивно добрая, незлобивая, начитанная, но до глупости наивная. Например, собираюсь я в госпиталь делать анализ мочи своему больному. Сусанна спрашивает: "Как это Вы делаете?" — "Измерим количество сначала, потом удельный вес, пробуем реакцию, кислая или щелочная". Вдруг Сусанна заплелась, зафыркала, убежала в кухню к водопроводной раковине и ее начало тошнить. Что такое? Что с ней? Я сначала не поняла. Оказалось, она вообразила, что мы пробу делаем на языке, а мы все делали так аккуратно, что и рук не замачивали.

Настало время моих родов. Евграфа выпроводили в квартиру наших. Он в это время усиленно занимался учением о фигурах и был просто поглощен и торопился кончать, боясь, что ребенок будет мешать заниматься, а у наших он свободно и спокойно мог продолжать писать. Но он, оказалось, не мог от беспокойства усидеть и, как ни удерживали, прибежал, уселся на кресле напротив и так всю ночь терзал себя, хватаясь за голову, при моих муках. Он потом говорил, что хотел страдать со мною вместе. Чудак! Даже забыл про свои фигуры. Продолжались мои страдания всю ночь до 12 час[ов] дня. Я совсем обессилела, и когда появился, наконец, ребенок, из меня хлынула кровь, и я потеряла сознание, хотя акушерка была наша курсовая, очень хорошая и опытная. Тут Евграф и особенно мама потеряли голову. Мама выскочила на первый двор и кричала вне себя: "Доктора, доктора!" Евграф тоже на лестнице, а потом с ним было дурно. Николай Николаевич привел уже заранее приготовленного доктора Штольца. Я была маленькая, субтильная, а ребенок крупный. Когда я очнулась, надо мной стоял доктор. Он перенес меня с кушетки на мою кровать, сел подле меня, Евграфу посоветовал заниматься своим делом и не мешать ему. Сам через каждые четверть часа давал мне лекарство с вином, не давая мне заснуть, что мне смертельно хотелось. Давая тоже мне понемногу пить, он так просидел со мной семь часов и уехал после семи, вечером, заказав ни под каким видом не оставлять меня одну и давать мне все время понемногу пить, так как от большой потери крови у меня была невыносимая жажда. Он уехал, убедившись в надежности моего пульса сам, никому не доверив меня. Собственно, это мой благодетель настоящий. Наши все, за это время отдохнув, настаивали, чтоб теперь пошел уснуть Евграф. Хотела его заменить мама, но он не согласился, желая быть сам начеку. И вот мы остались одни. Сначала он сел подле меня и давал мне пить понемногу, но я уже стала пить все реже и реже и дремала, тогда он на цыпочках ушел за ширму к своему письменному столу. Жажда, однако, все же не давала мне спать, и я от времени до времени просила пить, а Евграф: "Сейчас, сейчас", — а сам оторваться от стола не может. Мысли его бегут, нужно их скорее записать. Я в это время испытываю муки Тантала. Эти "сейчас" удлиняются: надо же успеть записать. За ширмой: "Пить". По за ширмой: "Сейчас, сейчас, только минуточку подожди". Хорошо еще, что ребенок, как положили его в коляску, так и не шевельнулся всю ночь, а то моя сиделка совсем растерялась бы. На ночь, наконец, Евграфа прогнали спать. Вот при каких условиях ему, бедному, пришлось писать о своих фигурах, свою первую работу по своей специальности. <...>

Ребенок наш был очень крепкий и спокойный мальчуган, спал по семи часов не просыпаясь, значит, был здоров. Я, бывало, даром торопилась с курсов для его кормления грудью. Бабушка, моя мама, его купала и наблюдала за ним. Ночью Евграф и я могли спокойно спать и днем заниматься. Евграф этого никак не ожидал, он думал, что ребенок очень будет мешать нашим занятиям и не даст, пожалуй, мне окончить курсы. Когда его крестили, то он даже и тогда не заплакал. "Христос с тобой, ребеночек, какой ты славный", — сказал священник, окрестив его. В феврале ему было уже 3 месяца, и Евграф зачастую стал делать разные эксперименты над ребенком, то вода рукой, то двигая шерстяной

шарик перед его глазами. Этих шариков я сделала семь, всех цветов радуги, и вешала перед ним. Болтая ножонками, он качал коляску, а с ней качался и шарик. Евграфа удивляло, как крепко держало ручонкой шарик дитя, когда он его ему подставлял и отнимал. Евграф в это время был сильно занят своими научными работами и в Горном.

В воскресенье 1 марта [1881 г.], вечером, после обеда у наших, я пришла покормить ребенка, пока там обедала Сусанна. По воскресеньям всегда кто-нибудь приходил из наших общих знакомых. Сижу беспечно и кормлю грудью дитя. Сусанна Федоровна, тоже пришедшая с обеда, говорит из своей комнаты, что меня ждут там пить чай. В это время звонок на парадной двери. Я пошла открывать, спрашиваю через дверь, кто звонит. Слышу мелодичный голос Кибальчича. По этому одному его голосу, бывало, сейчас же отличишь его от всех других. Это был замечательно чарующий голос.

— Это я, — и входит.

— А Евграф у наших, — говорю.

— А Вы и Ваши ничего не знают и не слышали разве, что произошло сегодня?

— Нет, — говорю, — а что?

— Убит Александр II!

Я так и остолбенела.

— Я пойду к Вашим, Вы приходите скорее, я расскажу при Вас тогда все подробно всем зараз.

Ушел. Я еще не пришла в себя, как выскочила Сусанна Федоровна, вцепилась в мое платье.

— Не пушу! — повторяет она.

Что с ней, чего она хочет? Говорит в страшной тревоге, что она ни за что не останется одна, боится.

— Чего же Вам-то бояться, ведь не Вы же убили?

— Как чего? А вдруг будет поголовный обыск, а тут я одна. Вы студентка, наверно начнут со студентов.

— Ну, пока доберутся до меня, то я уже буду к тому времени дома, — говорю.

— Нет, нет, не пушу! — держит за платье.

— Опомнитесь, Сусанна, меня же там ждут. Я пойду и пришлю к Вам Любовь Ивановну, а за это время не успеют же у всех сделать обыск. Трусиха!

Тогда только она меня отпустила. Однако, посылая Любовь Ивановну к ней, я думала, что и нам без лишних ушей свободнее беседовать.

Кибальчич рассказал, как долго выслеживали, как карета с царем изменила намеченное раньше направление, как один из террористов чуть не в последнюю минуту решил, что не способен убить, и тревоги при разных затруднениях Перовской, и, наконец, горняк-студент Рысаков, бросив бомбу, убил. Когда Кибальчич рассказал, что царя увезли во дворец еще живого, но растерзанного, рассказывал так, точно это был какой-то для всех праздник и для наших тоже, хотя Евграф в задумчивости прохаживал, молча, взад и вперед. Меня же, признаюсь, охватили жуть, ужас. Это тот, которого я так часто видела в институте. Вместо его величественной фигуры теперь у него один корпус с торчащими обломками костей из кровавых лохмотьев мяса, сухожилий и нервов, в луже крови, смешанной с грязью улицы. Представив все это себе, я не скрывала своего омерзения к такому кровавому ужасу. "Да и что же дальше? — думала я. — Чем эта кучка террористов заменит царя? Что у них приготовлено для принятия всей России в свои руки? Кто, наконец, дал им право распоряжаться судьбами России? Посмотрим, как еще к этому отнесется народ". Я раздумалась, выражение моего лица, видимо, так отличалось от сияющего лица сестры, сидящей со мной рядом, что Кибальчич, прежде симпатизировавший мне, потом говорил,

что нашел мою сестру отзывчивее, а потому симпатичнее. Он, бедный, очевидно, ожидал чего-то светлого, какого-то избавления.

Когда мы возвращались к себе через черный ход по заднему дворику, Евграф молчал. Я спросила: "Что же дальше?" А он, в раздумье, ответил: "Увидим. Скорее всего будет другой Александр; если струсит, даст конституцию, а если нет, то будет еще похуже реакция; а исполнителям не сдобровать, во всяком случае повесят". "Теперь и Вера Фигнер не уберется", — подумала я. Она, спасаясь от сыщиков, забегала то к нашим, то к нам. Она иной раз у нас высыпалась и отдыхала, чуть не падая от усталости. Жаль было смотреть на ее маленькую, хрупкую, изящную, измученную фигурку. Я боялась ее ареста, так как была уверена, что в одиночке ее погубит чахотка³⁹. Мы с ней часто спорили, и не мудрено: она оптимистка, я же пессимистка в политических делах. Для нее цель оправдывала средства. У нас даже вышла распря из-за фотографической группы медицинских студентов, где был снят и Ногин. Уезжая, мне на хранение ее оставил брат, наказав, чтоб я ее хранила "пуще зеницы ока". Вера Николаевна, желая снять Ногина, хотела взять для этого фотографию с собой, я ей ее не дала, так как она по своей нелегальности человек ненадежный: у нее, где день, где ночь — сама не знает. По ней, для дела всем нужно жертвовать, а я не имела права распоряжаться не своей вещью и не сдержат слова, данного брату. Чья тут правда? Вопрос философский. Каждая по своему права, пожалуй. Вспомнилось откуда-то:

Все та же единая
Сила манит нас вперед неизвестная;
Та же пленяет нас песнь соловьиная;
Те же нас радуют звезды небесные,
Правда все та же ...

А все же правда должна быть одна для всех.

Через неделю после убийства Перовскую арестовали, а также Ю. Богдановича. Он тоже наш знакомый и у нас бывал. Мы не ожидали, что он и Кибальчич попадут в эту кровавую кашу. До Кибальчича тоже добрались. Говорили, что его выдал Рысаков как изготовителя бомб. Что разговоров-то было! Говорили, что к арестованным не допускают родственников, что всегда дозволялось прежде. Несчастливая мать Перовской, приехав из Крыма для свидания, увидела дочь только тогда, когда ее везли на казнь.

Казнили пятерых на Семеновском плацу 2 апреля⁴⁰ в 10 час[ов] утра. Хотя Желябова, самого-то главного зачинщика этого покушения, арестовали еще 26 февраля, гораздо раньше, до исполнения убийства, но он не стал отрекаться и признал себя инициатором дела. Так что повесили и его вместе с Перовской, Кибальчичем, Александром Михайловым* и Рысаковым. Михайлов, говорят, два раза срывался. Его все же не помиловали. Ужасно! С одной стороны, эта даром пролитая кровь, с другой стороны, не давала покою мука за этих фанатиков, верящих в какое-то чудо. И так было тяжело думать о них, что нет слов для выражения. Не свойственно было нашим душам с Евграфом подобное дело. После их смерти, с восшествием на престол Александра III все затихло, продолжались от времени до времени аресты нелегальных. Посещения нас Кибальчичем, Богдановичем, Верой Фигнер подвергало нас не раз быть арестованными, но удивительно — судьба нас хранила.

Подошла весна и вместе с ней и окончание моих курсов. Выпускные экзамены у нас кончавшие держали либо осенью того же года, либо весной следующего года. Я решила держать весной 1882 г. На лето мы были приглашены в Казань матерью и братом Евграфа. Покончив с курсами, раскассировав и сдав квар-

*Людмила Васильевна здесь ошибочно назвала Александра Михайлова, тоже народовольца. Повешен был Тимофей Михайлов. — *Примеч. сост.*

тиру, я в начале мая отправилась одна с ребенком. Евграфа задерживали еще занятия и экзамены в Горном. <...> По Волге я ехала в 1-м классе в общей дамской каюте, по желанию Евграфа, для удобства, и чтобы не быть одной с ребенком, а как раз, кроме меня, там никого и не было. Но хорошо, что ребенком прельстился старичок-лакей и потому часто заходивший. Мне это было на руку, так как я почувствовала, что захварываю. <...>

На пароходе я вспомнила в связи с нашей женитьбой один разговор об ученых женщинах, рассказанный очевидцем и происходивший тоже на пароходе прошлое лето. Евгений Степанович отстаивал мысль, что научное развитие несколько не помешает женщине честно и добросовестно исполнять семейные обязанности, но зато даст женщине самостоятельность, известную устойчивость. А.А.Б. (наш общий знакомый, женатый на дамочке): "Стала бы себе щи варить, да чулки штопать? Как же! Очень нужно!" Его жена: "Женщина, у которой голова занята научными тонкостями, очень вероятно, будет тяготиться будничным выполнением своих обязанностей".

Добряк Евгений сидел всю почти жизнь в ее цепких руках в кольцах. Он говорил всегда добродушно: "Человек, как человек", — и никого никогда не хаял. Я привела замечания только троих разговаривающих, но и того довольно, и из этого видно, какие были тогда взгляды на нас, пионерок. Все толкующие одного не сообразили, что нет правила без исключения, что все зависит не от одной только учености, а от воззрений самих женщин, от их добросовестности и их понятия о долге, наконец, от их воспитания.

Федоровы мне выслали лошадь. Кучер, не зная меня, а я его, не подал ей мне. И я, уже усаженная лакеем на нанятом им извозчике, было поехала, когда кучер, догнав и догадавшись, пересадил в свой экипаж. И до чего же мне было трудно это пересаживание. Руки и ноги болели, ребенок точно за день потяжелел, я боялась его выронить. Никто меня не встретил, потому что как раз в этот день у них совершался переезд на другую квартиру с садом и террасами, где ребенок мог бы играть на воздухе. Я там встретила Марию Степановну, приехавшую разрешиться тоже первенцем. Роды ее были опасные, с наложением щипцов, и я с Юлией Герасимовной опасались за ее жизнь и ребенка, но с прекрасным акушером все обошлось благополучно. А я все больше и больше расхварывалась. Юлия Герасимовна, видимо, не доверяла моей болезни и говорила: "Разве с таким цветом лица, как у тебя, бывают больные?" Я и сама не понимала: сижу или лежу — здорова, пойду или возьму ребенка — боль в ногах и руках. Ребенок процветает и всех дивит своим спокойствием, значит, молоко у меня хорошее. Что бы это значило? На террасе две кушетки, на одной я, на другой Мария Степановна разлеглись. Мария Степановна стонет от жары, а я ее не чувствую. Тогда я догадалась смерить у себя и у нее температуру. У нее оказалась нормальная, а у меня 40,2. Узнав об этом, Евгений Степанович послал за доктором. Оказалось, у меня сочленованный острый ревматизм. Тогда Юлия Герасимовна перетрусилась, уложила меня в кровать и наняла няню или сама все время таскала внука на руках и только приносила его попитаться ко мне. Евграф приехал испуганный. Меня лечил доктор Годнев, впоследствии член Государственной думы*. Он меня скоро и хорошо поправил. Так что я домой вернулась совершенно здоровой.

Вернувшись из Казани, мы решили искать квартиру на Васильевском острове, так как мне теперь, с окончанием курсов, не надо было посещать их ежедневно, а Евграфу как раз наоборот. И я буду за него спокойна, так как, живя на Сергиевской, он, чтобы не терять времени, дорогой читал. Раз, переходя улицу по набережной, он попал под налетевшую на него шикарную пару в саях. Она хотя и подмяла его под себя, но сетка на лошадях помешала ему

* На самом деле он был членом Временного правительства. — *Примеч. сост.*

попасть под сани. Он отделался пустячными синяками, но изрядно разорвал хорошее пальто, очень сильно сокрушался. Меня это раздражало: не себя жалел, а пальто. Могло бы кончиться хуже.

Искали мы поближе к Горному, а пока наняли у папиросниц на Среднем проспекте комнату. Спокойный нрав нашего ребенка, уже тогда 9-месячного, и тут сослужил нам службу. Эти молодые работницы фабрики Лаферм так прельстились им, что они целое воскресенье провозились с ним, а мы пользовались этим и приискивали квартиру. Нашли на углу 13-й линии и Среднего, в 1-м этаже, в две комнаты, передняя и кухня. Первая комната большая, с двумя окнами во двор, а вторая поменьше, с окнами в чей-то заросший сиренью сад. Нам это так понравилось, что мы из-за этого больше и наняли ее.

В этой квартире наш сын девяти месяцев начал ходить, чем всех почти восхищал. Евграф купил ему деревянную лошадь, он встал, держась за нее сзади и, двигая ее, стал ходить, а скоро и один. Я ему сшила коричневую шубку, опушенную соболем, и такую же шапочку. При гулянии он всех восхищал, прохожие им любовались. С черными глазами и светлыми локонами он походил на херувима Мурильо, как говорили студенты Горного, посещавшие нас: Медведев, Маевский, Ячевский и др. Екатерина Павловна Мушкетова, тогда еще знавшая только Евграфа, который заходил к Ивану Васильевичу, не раз, встречая нашего сына, любовалась им, не зная, чей он. Раз, не выдержав, спросила у прислуги, чей это ребенок, и, узнав, что Евграфа Степановича, выразила ему свой восторг и желание познакомиться и со мной. С тех пор мы и стали знакомы. Евграф, которого, в сущности, это не так занимало, как меня, и то не мог удержаться, чтоб не поделиться с братом относительно этого удивительного впечатления, производимого на всех нашим первенцем, которого Евгений прозвал "ангидрит", говоря шутя, что Евграф, по его мнению, ничего другого создать не может, как нечто вроде этого. <...>

На эту квартиру к нам стали [приходить] нелегальные, осколки от генерального разгрома. Кто им дал наш адрес, неизвестно. Наши все еще были на Кавказе. Нам в это время, собственно, было не до них. Я рассчитывала эту зиму исподволь подготовиться к выпускным экзаменам, а они немало отнимали времени. Хорошо еще, что наш бюджет в это время позволял нам их кормить. Но было их жаль, верно, им не было другого, лучшего пристанища. Они день или некоторое время проводили у нас, а на ночевку куда-то исчезали. Из них самые симпатичные были Прибылева-Корба, кроме того и красивая; потом по кличке Магдалина, она, верно, ее получила за роскошную густую русую косу, а по-настоящему — Христина [Гринберг]. Еще была дама, до того молчаливая, что по целым дням, бывало, ни слова не произнесет, как немая. Вот ее нелегальное имя и отчество путал Евграф с Корба, так что они у него вечно менялись именами и из-за этого приходилось попадать впросак. Раз приехали к нам гости, когда они обе были у нас. Я была в кухне, Евграф представил их наоборот; прихожу [я] и представляю по условию. Вышло недоразумение. Отговорила я, что Евграф их еще мало знает. Те все же смотрели на них с некоторым недоверием.

Юлия Герасимовна подарила Евграфу роскошную шубу, покрытую тонким сукном, на меху ангорского барана. Как раз в это время пришел к нам Аполлон (совсем не Бельведерский). Кому-то там надо бежать, а не в чем, вид у него ужасный, рассказывает он, а самому Аполлону от нас выйти нельзя — на всех четырех углах перекрестка по сыщику. Что тут делать, не бросать же этих людей в пасть льву? И мы, разнарядив Аполлона в эту дорогую шубу, выпроводили его благополучно вон. Потом опять как-то говорят нам, что одной очень популярной нелегальной нет пристанища, а нужно скорее бежать за границу, и перед отъездом нужно ей устроить свидание со многими, а негде, и просили нас во всем этом помочь. Мы согласились. Она пришла. Мы ей уступили нашу спальную. <...>

В этот же вечер, как поселилась у нас эта нелегальная, приходит дворник и спрашивает: не ночует ли у нас кто-нибудь, так как полиция велела осмотреть все квартиры. Мы, признаться, струхнули. Я сказала спокойно: "Смотрите, только где же у нас тут ночевать, нам и самим тесно". Он заглянул в кухню, а в комнаты не пошел. Дворник на весь дом, не очень большой, был один. Он к нам благоволил за хорошее к нему отношение и, главное, за щедрое вознаграждение к праздникам. Очень симпатизировал он и нашему сыну, называя его "мой молодой барин", здоровался с ним за ручку, а ребенок, здороваясь, лепетал что-то на своем воляпюке, часто повторяя "прру, прру", что значило лошадь, потому что дворник нанимал нам всегда извозчика, если мы собирались куда-нибудь ехать, и сажал его к Евграфу на колени. А что если бы дворник не ограничился кухней, а пошел бы и в спальную? Его несколько шагов перевернули бы всю нашу жизнь. Мы эту особу скрывали чуть не неделю. Пожалуй, это вышло и лучше, так как сыщики, видимо, устали ее ждать в этом месте.

В воскресенье, как было условлено, мы в 12 часов уехали, чтоб дать свободно им устроить свидание с нашей жилицей. Вернулись мы нарочно попозже и тащили уже уснувшего ребенка. Входим во двор и что же видим? Окна освещены во все лампы, а шторы ни одна не спущена, в квартире же немало народа. Такое халатное отношение к своей и нашей безопасности возмутило Евграфа. Позови дворник сыщиков и укажи им только на наши окна, или хозяина, так как он видел, как мы уехали и как вернулись. Либо случайно дворник не видел освещения нашей квартиры, либо он нам так покровительствовал, что сомнительно. Придя домой, Евграф на все это указал собравшемуся люду и просил их больше нас не посещать, так как нам предстоит обоим в скором времени держать экзамены, да и не по средствам. Томительно было выжидание, пока они все по одиночке с промежутками выходили, хорошо еще, что не досидели до закрытия ворот на Средний и булочной на 13-ю линию. Осталась только одна наша жилица. На другой день вечером, как было сговорено, я нарядила ее в своей кружевной шарф, примазав и туго заплетя ее густые темные волосы. Придала ей вид беременной, привязав подушку. Она стала походить на мещанку. Спокойно прошла она двор, ворота — потом Евграф бежал, справлялся. Ее и след простыл. Она из наших рук перешла, значит, в другие руки. С наших плеч как гора свалилась. Позже мы узнали, что она уже за границей. С этих пор изредка посещали нас только Магдалина да Корба.

Приведу относящееся к этому времени письмо Евграфа к брату относительно наших благоприятных ресурсов:

«Благодарю тебя за ту крупную поддержку, которую ты мне оказывал в продолжение двух лет. Теперь, расчислив свой бюджет, имеющиеся остатки и виды на будущее, я считаю возможным, что до лета мне больше поддержки не понадобится. К сожалению, бюджет оказался превышающим мои ожидания, однако все-таки и при нем надеюсь справиться до лета. Расчет основан на следующем: счета показали, что для домашних потребностей (кроме дров, которых имеется небольшой запас) до найма прислуги было необходимо 65—70 руб. При прислуге расход возрос на 15 руб., т.е. 80—85 руб. В запасе имеется около 200 руб. Основываясь на поддержке профессора геологии (Мушкетова), я надеюсь переводами в Горном журнале заработать руб[лей] около 100. Значит, на 4 месяца почти хватит. У нас же предполагается окончить занятия (с экзаменами) к 1-му мая, т.е. через 4 месяца. После этого я надеюсь получить стипендию*; на лето же получу особые средства для командировки на Урал. Что будет в будущем году, увидим, если же и раньше того потребуются подмога, то извещу об этом благодарственно. Что касается научных работ, то я приостановил их на неопределенное время ввиду необходимости заняться разными предметами, ввиду предстоящих проектов, экзаменов и т.д. Что касается переводов, они у меня не отнимают много времени, т.к. приходится только изложить то, с чем я и без того хотел познакомиться, да и вообще сама по себе эта работа благодарная (при теперешнем моем положении), так как в один вечер можно заработать рубля 4, и притом не выходя из дома. Я теперь начал изложение геологической теории Ке́йп'a, если только не встретится препятствий со стороны редакции (я еще не получил ответа). Надеюсь, что работа попадет в февральский

*Не получал. — *Примеч. авт.*

или мартовский номер журнала. Теория эта весьма важна для геологии и очень интересна, так что рекомендую познакомиться. На русском языке она еще не излагалась в подробности. До сих пор я поместил только маленький перевод "О растворимости хлористого серебра"..."»

Каждая лишняя трата живо отзывалась на нашем бюджете, где каждая копейка была учтена. Это во-первых; во-вторых, из этого письма видно, что Евграфу пришлось даже научные работы своим отложить для множества других занятий, а тут такое количество нелегальных. Что за жизнь этих нелегальных — самая безалаберная. Многие из них мне представлялись маниаками. <...>

Сначала опять сдавалось все препарированное, а уже после успешной сдачи всего этого давался пропуск на экзамены устные. Пришла я записываться в анатомический театр (так называлась у нас препаровочная) на получение препарата. После долгой отвычки от специфического запаха этого здания меня в нем затошнило. Конечно, тут немалое влияние имела и моя беременность. Не ко времени она появилась, да что поделаешь. Не откладывать же еще экзамены на год. С двумя ребятами еще труднее будет. Для нас, кончающих, большое значение имело получить руку или ногу, так как с последней проваландаешься гораздо дольше и это отнимает много драгоценного экзаменационного времени. Товарики мне объявляют, что записывает и назначает препарат новый ассистент, только что поступивший, Колонтаров, и смеются: "Любитель ножек". Вот, думаю, беда моя. Вхожу к нему в кабинет и что же вижу? За большим столом сидит преважно "Рулястый", только не в форме студента, а в форме врача. Это была для меня большая неожиданность, и я несколько как бы смутилась и не могла скрыть улыбку. Он же сильно вспыхнул, вытаращив глаза, а потом зарылся носом в бумагу. Зато от любителя "ножек" получила "ручку". Видно, по знакомству. Бывают такие непредвиденные удачи! Ему я, верно, задала задачу вспомнить, где и когда он меня видел.

Сдав препараты по анатомии, гистологии и пр., я стала больше пребывать дома за книгами от дня экзамена до экзамена, а то приходилось забираться на курсы с утра и возвращаться только к ночи домой. Ребенка Евграф относил перед лекциями к семье профессора Любавина: жена его была моя девичья подруга. Их дети составляли Графчику компанию, а мы были за него спокойны. Когда же Евграф оставался дома, то сам смотрел за ним, и раз наши знакомые застали отца глядящим штанишки сыну. По этому поводу было много разговору и удивления всесторонности Евграфа. Готовясь к экзаменам, я засаживалась в спальную с закрытыми дверями, а Евграф занимался в большой комнате и смотрел за ребенком, игравшим тут же на ковре и бегавшим из угла в угол и кричащим. Иногда он брал скамеечку, подставлял ее к моей двери и, глядя в замочную скважину, заявлял: "А во мама". Тогда Евграф брал его, говоря: "Маме нельзя мешать".

Конечно, все это я слышала, оно меня умиляло, но и немало мешало. <...>

При этих переходных на последний курс экзаменах Евграфа стало выясняться, что шедшему все года первым студенту Маевскому придется спасовать перед Евграфом. Эти экзамены стали состязательной ареной. Курс разделился на две партии, чуть не держащие пари: одна была за Евграфа, другая, более многочисленная, за прежнего первого. Я помню, как ко мне забегали то Медведев, то Ячевский, чтоб передать, как обстоит дело на поле экзаменационной битвы, чья берет верх. Они все волновались, и их тревога заражала и меня, хотя Евграфа их хлопоты дивили, и он хладнокровно говорил: "Из-за чего это они хлопочут? Не все ли им равно, кто из нас окончит первым?" Мне все-таки было приятно видеть такую симпатию к нам. Товарищи уговаривали Евграфа усиленно заниматься экзаменами и бросить посторонние занятия, но у него были срочные переводы — его заработок, а потом он перед самым экзаменом никогда не занимался, а что-нибудь читал из беллетристики для отдыха мозга. Был полный триумф их партии. Победил Евграф; Маевский добровольно оставил себя еще на год, надеясь тогда окончить первым. Победу праздновали у нас шумно, ликовали, хотя тор-

жество и не изобиловало яствами. Веселье было неподдельное и неподкупное. К тому же и я кончила. <...>

Возвратясь домой, я от Евграфа получила подарок: серебряный докторский значок. Это меня очень тронуло, так как Евграф не любил заниматься покупками и хлопотами, даже и относительно своей одежды. Мне самой приходилось покупать ему костюм по мерке или заказывать, а он даже примерять отбояривался. Покончив с экзаменами, Евграф проводил меня до Казани, а сам поехал в студенческую командировку на Урал. В Казани Евгением Степановичем был нанят двухэтажный особняк с садиком и двумя террасками — верхней и нижней. Была серая лошадь Ловкий, на которой мы каждодневно катались, и бабушка с внуком кормили ее арбузными корками и хлебом. Бабушка очень гордилась внуком и возила его по гостям. Евгений Степанович все продолжал звать его "ангидрит". Богатый купец-порядчик даже справлялся во всех святцах и не мог найти такого имени. Евгений Степанович над ним потешался.

Мы с Евграфом условились, что сыновей буду называть я, а он — дочерей. 14 августа [1882 г.] появилась на свет у меня дочь Людмила. Вскоре приехал и Евграф. <...>

Из Казани в сентябре поехали мы на Самолётском пароходе. Погода была превосходная. Я с малюткой Милой поместилась в общей дамской, чтоб, когда буду уходить, ребенок не оставался один. Дам было много, и они соглашались послать за мной лакея, если ребенок заплачет, но мои ребята были не рёвы. <...> Дамы удивлялись, что мои дети не плачут. Они боялись, что Мила будет мешать им спать, а она даже не пикнула ни разу. Одна из них подолгу наблюдала Милу, когда я уходила, говорила потом мне: "Почему это она лежит, не спит и не плачет. У меня их было семеро, и пока я их растила, то просто была великомученица; мои малые и побольше ребята ревели напропалую, еще и няньки были, а Вы и без няньки обходитесь". Что мне было ей сказать? Значит, нерационально воспитывали. Воспитание — это усвоение навыков. Мои дети не привыкли, чтобы их таскали на руках, и потому они лежат спокойно, если сыты и сухи. Они уже улагодворены. Я им рассказала, какой концерт несколько вечеров подряд задавал мой сын, приученный бабушкой засыпать на руках, во время моей болезни сочленованным ревматизмом. Привычка — вторая натура.

Приехав в Петербург, мы поселились на углу 8-й линии и Среднего пр[оспекта] в доме Раузера на 3-м этаже. Квартира из четырех комнат, кухни и комнатки для прислуги была теплая еще и потому, что в ее толстых стенах проходили дымовые трубы, а из-за этого выходило мало дров. Евграф был ею очень доволен во всех отношениях. Так как в простенках были сделаны шкафчики, то на их полки ушла вся его химическая лаборатория. Это ему было удобно, и он этой квартирой дорожил; а я была не совсем довольна ее низкими потолками и побаивалась, что испорченный дымоход может нас спалить. Тут Евграф стал помогать Маевскому изучать химию. Задавал ему задачи на дом. Мы окна никогда не замазывали, и потому легко было проветривать квартиру.

Этот год сын наш нас удивлял тем, что очень неправильно говорил: потолок называл "полоток", пароход — "пахород", локомотив — "молякотив". Стоя на кресле у окна, мимо которого по 8-й линии проходили часто похоронные процессии и было много карет, он пел: "таета, таета", вместо карета, но зато хорошо запоминал их число. Евграф досадовал, что, начав ходить девяти десятцев, он отстал в речи, а между тем нас удивляло проявление больших способностей к счету. Так, он любил перелистывать толстые книги и считать листы. Такой еще маленький, плохо говорящий, стоит, бывало, на кресле у письменного стола отца, который пишет научные работы, и считает, считает до миллиона. Если что забудет, спрашивает, что дальше, и так досчитался до биллиона и хотел знать, что дальше. Тогда Евграф сказал ему: "Научись сначала правильно говорить, тогда скажу". Он призадумался, потом захлопал в ладоши, заскакал и

закричал: "А я заню, заню, будет тлильон (трильон)". Евграф был очень удивлен. Не знал, что думать. Если он играл в мяч, то непременно считал.

В октябре вернулись наши с Кавказа и пока поселились у нас. Столовая наша переехала в приемную, а они поселились в ней. Зажили мы все вместе мирно. Евграф после обеда читал нам вслух газету.

У зятя замечательно хороший был характер, тактичный. Не могу того же сказать про Евграфа, такту-то как раз у него и не было, он был подчас резок. При всей своей доброте, он мог очень обидеть человека своей невоздержанностью при выражении недовольства, даже преувеличивая его, что сам в душе ощущал. На постройках зятя ценили за его честность. Все что он построил, было прочно и дешево. Он был инженер-практик, Евграф же не мог даже представить себя в возне с подрядчиками. "Они меня бы совсем облапошили, и я, верно, попал бы раньше под суд, чем что-нибудь поспел бы построить", — говорил он. По натуре это были разные люди, но по принципам и качествам душ они сближались, дружили и любили один другого. Евграф и проектов не любил, и когда ему пришлось сдавать, то это для него была самая неприятная работа. Он вечно что-нибудь терял: то циркуль, то расчет — и, искавши, выходил из себя, как капризный ребенок, топал ногами, швырял, что лишнее попадалось под руки. Мне было смешно [смотреть] на него и жалко. Я шла ему на помощь "Не ищи, я тут уже искал!" А я как раз тут-то, где он уже искал, и находила. Николай Николаевич, бывало, с добродушной улыбкой говорил: "И чудак же ты, Евграф!" А Евграф тактичность называл той же дипломатичностью, которую ненавидел. "Дипломатам язык дан, чтобы скрывать свои мысли", — говорил Талейран.

Евграф очень ценил искренность. Изречение Монтеня: "В глубине души все дозволено", — для него было не оправдание. У него и душа должна была быть чиста от недозволенного, поэтому он выкладывал наружу то, что скрывалось другими, и о нем составлялись превратные понятия.

С окончанием мною курсов моя стипендия прекратилась, а Евграф из Горного не получал никакой, и нам на одних переводах туго приходилось сводить концы с концами, тем более что это был последний год пребывания Евграфа в Горном и нужно было много времени посвящать ему. Хотя обе бабушки оказали мне большую подмогу, понашив для внучат все приданое и продолжая снабжать их костюмами, все же шитья разного у меня было по горло, и Евграф зачастую гнал меня от швейной машинки.

Маевский все чаще и чаще просиживал с Евграфом за химией. В этом и прошел весь год. Экзамены свои Евграф выдержал блестяще. Записали его на мраморную доску золотыми буквами как первого и прикомандировали к музею Горного института с содержанием в 40 руб. Я уехала с ребятами в Казань, а ему еще пришлось долго возиться с разными формальностями. Хорошо еще, что он остался не один, а с нашими, а то он все не хотел отпускать меня и написал такое письмо, что я даже забеспокоилась. Вот это письмо:

"4 июля 1883 года. Моя милая Людочка! Писать тебе письмо составляет для меня настоящее утешение, а теперь именно я нуждаюсь в таком утешении. Повторяю еще раз: несчастье быть счастливым, вернее, быть в привилегированном положении. Теперь я сознаю, что, благодаря этому положению, благодаря установившейся между нами связи, я, к несчастью, этим самым лишился значительной части своей свободы, и, пожалуй, своего счастья, т.к. счастье совершенно свободного человека действительно может не зависеть от внешних обстоятельств, но не то для человека, объективно связанного. Думал ли я об этом, когда сам с такою искреннею радостью бросился к себе в объятия; я действительно тогда упустил из виду, что этим самым подрезываю себе крылья. Странно, что, вовсе не доверяя в этом другим, я сам-то не мог понять этого. (Надумав, я прихожу к заключению, что преувеличивал свои силы и потому слишком на них полагался). Но, может быть (и, пожалуй, вероятно), что в сущности я этим ничего не потерял; возможно, что не так, так иначе я все-таки сделался бы субъективно игрушкой обстоятельств. Правда, что, отстранившись от такой всеобъемлющей супружеской близости, я не был бы связан тем, чем связан теперь, но весьма вероятно, что по тем же законам человеческой природы,

которая при более нормальном течении жизни налагает столь тугую, но и то время столь возвышенную и этим самым привлекательную и даже завидную связь, при менее нормальной жизни пришлось бы подчиниться еще более крепкой зависимости, но зависимости тяжелой и отвратительной.

В самом деле, даже в теперешней жизни жизнь холостяка далеко не представляется более свободной и тем более возвышенной; может быть, человек, по крайней мере с обыкновенными силами, действительно неизбежно с возрастом попадает в зависимость от обстоятельств, т.е. всегда приходит к сознанию невозможности противиться им в некоторых отношениях. Теперь, например, я чувствую себя как бы заключенным в тюрьму и только благодаря тому, что непреодолимая сила влечет меня к тебе, а обстоятельства препятствуют этому, а не потому, чтобы я принципиально считал нужным ехать к тебе безотлагательно. Поверишь ли, что дело доходит до того, что приходится бороться с собой, чтобы не наплевать на все чинодральские порядки и без рассуждений сесть в вагон и поехать.

Словом, теперь я нахожусь в положении страдающего заключенного, готового лбом своим проломить себе выход на свободу; а прежде-то? Прежде я в тюремной обстановке не видел ничего для себя неприятного; скорее, склонен был видеть в ней завидное уединение. Поэтому ты можешь чувствовать уже, насколько я сознаю себя обессиленным. Не знаю точно твоих чувств ко мне, но я буду душевно рад, если ты их не разделяешь вполне, хотя, конечно, с полным равнодушием не мог бы примириться, а ищу хоть тень взаимного сочувствия. Если бы я раз убедился в равнодушии, то теперь не то, что прежде, теперь это было бы для меня очень горько, хотя оно, как будто бы, было полезно; но вернее, что я ошибаюсь; вернее всего, что без взаимного сочувствия мы оба были бы бессильны.

На днях я прочел наши письма, относящиеся к 1876 и 1881 годам; это преимущественно мои; полезное чтение. Я советовал бы и тебе сделать это, особенно письма 1876 г.; впрочем, нет, не делай этого, так как труд этот только еще более усилит имеющиеся чувства; вряд ли это полезно; для меня это служило утешением по моей слабости; я сознаю себя теперь в том глупом положении, которое всегда возбуждало во мне насмешку, что каждая вещичка, ассоциирующаяся в моем представлении с твоею личностью, если можно так выразиться, каждый твой след сам по себе как бы служит мне утешением, а между тем ощущаю такую потребность в утешениях этого рода, что не борюсь с собой даже ввиду совершенной бесцельности действия.

Нельзя сказать, чтобы теперь в какой-нибудь момент испытывал горькое чувство, по крайней мере, то горькое чувство, которое я несколько раз всего в жизни испытывал и притом именно, кажется, только при совместной с тобой жизни в те минуты, когда мне представлялась возможность разрыва драгоценной связи. Это, как и всякое чувство, сопровождается своеобразными физическими выражениями и прежде всего спиранием горла, кончающимся сильнейшим утомлением его мускулов. Не очень давно мне приходилось испытывать это, и ты, может быть, заметила тогда, что я именно находился на той границе, дальше которой идут неудержимые рыдания; я убежден, что не только дети, но каждая самая сильная женщина разразилась бы в рыданиях от гораздо слабой степени его же чувствования. Теперь нет ничего подобного, мало того, теперь слабая степень горького чувства сопровождается сладостным сознанием того, что оно само в то же время меня очищает и облагораживает, что благодаря ему я буду справедливее и мягче к драгоценному для меня существу; рядом с этим всегда у меня является масса планов, каким образом еще лучше украсить и еще выше поднять нашу совместную жизнь. Одним словом, теперь я чисто-сердечно должен вымолвить то слово, которого я так боялся, которого я не только избегал произносить, но даже страшился считать его справедливым, должен сказать, что я тебя люблю и притом, пожалуй, люблю не по-своему, а как любят все порядочные люди, т.е. всем своим существом. Теперь, когда я сам сознаю свое бессилие, я даже не краснею перед этим признанием, считаю это только долгим искренности. Будет очень жаль, если я, спустившись в этом отношении до уровня других, пойду и в других отношениях к пониманию, но именно благодаря этому чувству я думаю найти опору от дальнейшего понижения. Теперь я в твоей власти, а я уверен, что ты не дашь мне понизиться. Конечно, ты можешь ошибаться, а я всегда буду строгим критиком, но я знаю, что ты не пожелаешь моего понижения, что умышленно ты уже не можешь действовать в этом направлении.

Я пишу тебе столько, что, кажется, при свидании нечего будет и говорить, а между тем все уклоняюсь, а не доказываю своей мысли. Я говорил, что не испытываю теперь настоящего горького чувства, но, странный факт, испытываю его физические спутники. Вчера вечером ощущал столь сильное непроизвольное щемление гортани, как будто перед этим я очень долго рыдал и плакал; усталость гортани доходила до физической боли; да и все время у меня остается неловкое ощущение в этом органе, а уже Дарвин сказал, что физический спутник обратно вызывает (хоть в слабой степени) и свою субъективную причину: я, так сказать, без всякого повода чувствую психическую горечь и, что бы я ни делал, все окрашивается оттенком горечи.

Сегодня получили твое письмо, а дня два тому назад получили письмо от Коли, где он сообщает о своем намерении жениться. Но все внешние факты я откладываю до желанного свидания. Пока прощай до завтра; завтра я надеюсь получить решительные данные о времени свидания. Впрочем, еще. Прочитав свои прежние письма, я теперь вижу, что я тогда был прав

в том, что любовь — очень печальная слабость для человека, живущего принципиально жизнью, и что тогда я был принципиально чист, т.е. не любил тебя по-настоящему. Если бы кто-нибудь и тогда непременно желал бы навязать мне это слово, я должен был бы сказать, что я люблю многих; теперь отлично помню, как мало выделялась тогда в моем представлении твоя личность от других и притом даже не в смысле сочувствия, а в смысле уважения. Действительно, говоря искренне, я и тогда должен был бы сказать, что ценю тебя выше всех, кого я знал, и что единственно ты могла бы стать задушевным другом всей моей жизни, т.к. полное объединение жизни может быть основано лишь на высшем уважении. Но, пожалуй, другие лица (недалеко сказать, Ан[на] Андр[еевна])(моя мать — Л.В.Ф.) вызвали во мне гораздо большее сочувствие.

Как я был прав, когда основывал свою жизнь на объективных данных; так с тех пор все изменилось во мне субъективно, но именно в тебе сосредоточиваются теперь, как будто, все чувства, которые в то время у меня расплывались во все стороны. Правда, что такое сосредоточение чувств, ведущее к образованию чувствования, даже страсти, я считаю весьма печальным фактом; но что было бы, если этот печальный факт относился не к естественной подруге жизни, а к какой-нибудь посторонней личности, а это именно могло бы, а может быть, и должно было бы случиться, если бы я сделал неправильный шаг в объективном отношении! Я, конечно, был бы весьма рад, если бы снова разлюбил тебя и почувствовал бы себя свободным, но при том сосредоточенном уважении, которое обуславливается объективными причинами, я никогда не отказался бы от тебя, как от естественной подруги жизни. Я начинаю даже думать, что полюблю именно тебя настоящим образом, я не особенно еще упал, так как субъективные сосредоточения и расплывания — факт весьма изменчивый и, может быть, всегда, когда принцип станет на дороге субъективного сосредоточения, я отрешусь от последнего. Правда, что теперь я предвижу неизбежное сопутствие горечи с каждым таким фактом, но, по крайней мере, остается возможным, что действия мои останутся согласными с принципами во всех случаях. Потеря во всяком случае большая. Может быть, здесь действует закон специализации, и, как прежде, мысль моя экскурсировала почти с равным правом во все отрасли знания, так и субъективные чувства, и как теперь интеллект мой остановился значительной частью на известной отрасли наук (но не одной науки), так и чувство специализировалось на тебе, на самом важном для меня субъекте, а в других лишь в слабой мере по степени важности.

Мне представляется, что твоя любовная история как раз обратна, что субъективная специализация у тебя преобладала в отношении ко мне именно в начале нашей связи, а теперь большая часть (может быть, громадная ее часть) сосредоточена на детях. Это вполне нормально и желательно. В этом отношении ты, значит, счастливее меня, так как чувство все-таки не так сосредоточено. Я думаю даже, вспоминая нашу недавнюю жизнь, что теперь ты искреннее можешь сказать, что ты уже меня не любишь (т.е. по-настоящему) и что разлюбила ты меня именно тогда, когда явились заботы о Графике. Вспомни! Еще раз повторю, если это так, я очень рад, но при условии, если после детей место у тебя занимаю я, а я именно так и думаю. Желать противного, значило бы прямо не сообразоваться с объективными указаниями и, значит, желать худшего для детей, для тебя самой, а следовательно, и для себя, значило бы отрешиться от сознательного мирозерцания и играть не чувствованиях. Из этого ничего хорошего не выйдет и, если субъективная страсть нашептывает о взаимности, то это уже я отношу к несовершенству современной человеческой натуры.

Еще и еще: ты, может быть, замечаешь, что я перечитываю свое собственное письмо и, представляя себе, думаю лишь о степени его справедливости, я несколько не чувствую ни стыда, ни горечи. Я наслаждаюсь, когда перед тобою, т.е. вполне откровенно, бичую самого себя, а сознавать присутствие в себе слабостей было для меня всегда самым тяжелым фактом. Оно, пожалуй, тяжело и теперь, но тяжело не изложение его перед тобою, т.е. откровенное признание, а тяжело лишь то, что теперь я считаю себя гораздо слабее, чем прежде.

25-го ноября мы будем праздновать 5-летний юбилей, и вот, вспоминая эти пять лет, я нахожу, что, начав с отсутствия настоящей любви, я совершенно незаметно поддавался этой страсти, в особенности по мере того, как приходилось удаляться от тех субъектов, сочувствие к которым шло дальше питаемого к ним уважения. Не могу точно уяснить себе первый 1879 и даже следующий год, хотя, по-видимому, страсть тогда была еще в зародыше, но даже по сохранившимся от 1881 г. письмам я заключаю, что уже образовавшаяся страсть по ее напряженности далеко ступшевается перед теперешнею. Правда, что разлука мне была очень тяжела, но, имея интересные и важные занятия, я охотно мирился с мыслью о разлуке месяца на 3 и более и допускал даже мысль о годовой разлуке. Теперь я не знаю, что было бы, если бы это могло осуществиться; возможно, что через год ты меня и не застала бы в живых. В прошлом году я после краткой разлуки рвался к тебе из Кунгура, находясь сравнительно в хороших условиях. Развилась ли она с того времени, я прямо решить не могу, но предполагаю, что да. Может быть, настал предел? Твое отношение как раз обратное; письма 1881 года носят еще следы неостывшей страсти и, может быть, именно в это время мы были, так сказать, равны; но не берусь решать, продолжался ли с прошлого года процесс твоего отрывания; по-видимому, да. В таком случае можно опасаться, что он не пошел дальше. Пусть юбилей наш ознаменуется состоянием окончательного равновесия хоть в том смысле, как я это выразил раньше. На основа-

нии общих физических законов нужно ожидать, что состояние равновесия будет сопровождаться столь хорошими отношениями, каких только можно желать.

6 июля. Я точно сошел с ума. Решил непременно ехать завтра. Нужно сказать, что уже 2-й день, как я писал предыдущие строки, и все остается в этой же неизвестности. Теперь 6-й час утра, и я уже больше 2-х часов как встал и вовсе не смыкал ночью глаз. Только что шлялся по департаментам и т.п. Вместо отпуска — целая каша. Но, по-видимому, я успел вызвать сочувствие, и есть маленькая надежда, что послезавтра, т.е. 8-го, удастся выехать, но вернее, что 9-го, и не думаю, чтобы после 10-го. Итак, надеюсь, что это письмо последнее. Твой Евграф”.

По бокам письма написано еще:

”Как бы я желал тебе написать наверно о времени приезда, но, как видишь, не удастся. Хочу скорее отправлять письмо, а между тем хочется еще что-нибудь приписать. Ну, да, впрочем, довольно этого. Я возлагаю самые розовые надежды на предстоящую нам жизнь. Прав ли я? Ведь это также зависит и от тебя. Соберись с силами (но все-таки не так, как Коля). Анна Андреевна просит кланяться, но я протестую и желаю все добавочное передать лично. Ради скорейшего приезда думаю прямо валять по железной дороге”.

Получила я это письмо, такое необычное для сдержанного Евграфа. Его смятение меня разволновало. Куда девалась его выдержка, застенчивость? Один на один со мной он, конечно, не сдерживал своих чувств, но чтоб писать — это не в его духе. Например, он не мог видеть, когда при других ”миндальничают” влюбленные или супруги. Он большое число лет до женитьбы был аскетом и гордился своим воздержанием. Не скажу, чтобы оно легко ему давалось, но все же он смог испытать свою волю, руководясь разумом. Он любил меня платонически, но с условием, чтоб я была с ним неразлучным другом. А тут даже до скорого свидания не утерпел, чтобы не излить своих чувствований. Правда, раньше нам не приходилось расставаться надолго, потому он и был спокойнее, должно быть. Уезжать приходилось по необходимости: для доставления удовольствия видеть внуков бабушке и из-за скудности наших средств.

Передо мной встала задача привести его в равновесие, чтобы он мог спокойно начать заниматься. Когда он приехал и первый пыл приутих, я ему сказала шутя: ”Гони природу в дверь, она влетит в окно. Чего же ты испугался? Я же не воспользуюсь твоею слабостью и не стану для своих прихотей из тебя веревки вить. Хорошо еще, что она проявилась не к посторонней особе, а к жене, которую ты страстно любишь и уважаешь”.

Я не знаю, все ли мужчины или только меньшинство из них считают разные мимолетные связи и увлечения при живой жене допустимыми и даже как-то оправдываемыми. Даже такие колоссы, как Толстой, Герцен и Серов, композитор, могли увлекаться неинтеллигентными женщинами. Все они большого ума, люди с принципами. У Толстого могло служить извинением постоянное детоношение жены; но Герцен подорвал семейный покой своей любимой Натали и домашний очаг; а Серов платонически любил жену, а физически жил с простой женщиной. Чудеса! Крафт-Эбинг, знаменитый психиатр, считает это ненормальностью.

Я обрадовалась, увидев, наконец, Евграфа занимающимся на верхней терраске. Дети играли в садике, хотя Мила все еще не собиралась ходить. Каждый день мы днем катались. Провожая нас, Евграф уже стонал, шутя: ”Опять вы уезжаете!” Мне было только немного неприятно, что Евграф как будто ревновал меня к детям и был требователен к этим крошкам, хотя любил их и возился с ними охотно. Так, он накупил им чучел птиц, статуэток из гипса и резиновых животных. Мила рано начала говорить и, сидя в громадном кресле, называла верно всякую фигуру, показываемую Евграфом: галку — гака, пигалицу — пи, кошку — кис, собаку — ам-ам и т.д. Но Евграф обижался, когда при виде его она говорила не ”папа”, а называла какую-нибудь фигуру, и стал звать ее ”обезьяна”, потому что она может только перенимать, обезьянить, а ей не было еще 8—9 месяцев. Так и слышатся возгласы зятя: ”И чудак же ты, Евграф”. Ему самому хотелось иметь детей, он ими не тяготился.

В свободное время от занятий Евграф то возился с детьми, то спорил со

своим братом. Они были оба хорошие математики, но противоположны по характерам. Евгений Степанович — бесхарактерный добряк, все оправдывающий, Евграф же — требователен к другим так же, как к себе. Иногда по вечерам поигрывали в карты. Юлия Герасимовна очень любила винт. Чтоб ей доставить удовольствие играть без болвана, Евграф выучил и меня винтить. Он играл, хотя и избегал карты, увлекаясь, как почти всем, что начинал делать. С братом у них поднимались шумные споры, когда Евграф подводил того, прекрасного игрока. Меня же карты до того не увлекали, что первый роббер я играла хорошо еще, третий — рассеянно, а дальше возбуждала всеобщее негодование, так как не могла уже поднимать век и удержать зевоту. Карты действовали на меня снотворно. Меня изгоняли, и я мигом засыпала в темной комнате на диване. Евграфа крайне удивляла эта моя особенность. Это развлечение для других — снотворное для меня.



Е.С. Федоров после окончания Горного института (1883 г.)

Вернувшись из Казани, мы уже не застали наших, они переехали в дом Рубана на Сергиевской, опять в ту же квартиру. После приятности и радушия летней жизни мы стали жить да поживать, а добра не наживать, так как на 40 руб. с двумя ребятами не раскутишься. Еле-еле перебивались. Я начала подумывать о моем личном заработке. Представился прекрасный случай. Моя товарка по курсам собиралась уезжать в провинцию и уступала мне место врача в детской больнице принца Ольденбургского. Под руководством Раухфуса мне представлялись такие широкие возможности, хуже, если все пере забуду, но смущала возможность занести детям заразу и оставление их на чужие руки. Евграфа же мое желание просто пугало за детей, а потом он так грустно-грустно сказал: "А о третьем ребенке, самом большом, ты и не думаешь? Тебе его разве не жаль? Что он будет без тебя делать?" И во всю нашу жизнь он не мог привыкнуть к моему отсутствию. "Да не все ли тебе равно, ты в кабинете занят, все равно не сидим вместе", — спрашиваю я. "Нет, не все равно, я хоть не вижу тебя, а чувствую тебя тут близко". Вот и поди же. А моя работа так стала одолевать, просто закабалила даже, что и поговорить-то толком некогда с Евграфом было. Ему же как раз в это время требовалось сочувствие, утешение.

Раз он говорит: "Странно, что это Маевский не идет и не возвращает мою химию, которую взял только на лето; придется самому к нему сходить". Возвращается какой-то удрученный. Оказывается, Маевский умер. Говорят, отравился. Вот ужас-то! Такой красивый, способный. Может быть, случайно? Нет, говорят, намеренно. Неужели из-за честолюбия? Поди, узнай человеческую душу! Евграф махнул рукой на свою химию. Она так и пропала, а у него были задуманы работы.

Он тогда пошел к профессору Лисенко в химическую лабораторию Горного и обратился к нему с просьбой разрешить заниматься по химии. Что же ему ответил Лисенко? — "Я не люблю жидов". Евграф так вскипел, что решил за лучшее повернуть ему спину. Он услышал слова Лисенко: "Вот теперь я убе-

дился, что он не еврей, так как если уж тот пристанет, то не отстанет". Евграф после этого не мог видеть Лисенко. Какое недостойное служителя науки отношение к жаждущему ею заниматься, да еще тем более к своему ученику и вдобавок даровитому, какой бы он ни был национальности. Двери учебного заведения открыты не только для симпатий профессоров.

Потом товарищи, кончившие с Евграфом, пристают к нему: почему он не едет за границу, так как по правилам кончившего первым посылали всегда для усовершенствования за границу. А Евграф и сам не знает, почему его не посылают. Тогда ему советуют хлопотать. А он им: "Я считаю начальство инициатором всяких правил, и оно первое должно их выполнять, а не заставлять выпрашивать у него этого выполнения. Обивать пороги министерств я не стану". Не стал и не поехал, а на его место почему-то послали сына Кулибина — директора Горного департамента. Почему? Да просто потому, что он сын Кулибина и имел счастье кончить с Евграфом Степановичем, с каким-то там Федоровым с черными кудрями. Профессора не протестовали, а скорее способствовали. Мы не знаем, как внес в науку этот сынок, побывав за границей. А пошла-ка тогда Евграфа Степановича туда?! Наука несомненно бы выиграла. Все эти несправедливости на душе оставляли неприятный налет.

РАБОТА В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ. УРАЛЬСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

По воскресеньям мы отводили душу у наших, забираясь туда с утра и возвращаясь оттуда со спящими на извозчике детьми. Там продолжали собираться нелегальные: Лопатин, два брата Златопольские, Иванецкая, Любатович, Степулин*, Салова, Морейнис, Франжоли, Завадская, Вера Фигнер — и другие, легальные, как-то: Протопопов и Кривенко — литераторы. Ничего они тогда не злоумышляли, кажется, а отдыхали душой в мирной семейной обстановке в откровенных разговорах за чаем⁴¹. Между ними стал изредка появляться бывший офицер и потому хороший знакомый Николая Николаевича и Евграфа — Дегаев. Я больше всех симпатизировала Завадской. Она — сестра жены большого приятеля Николая Николаевича и несчастная. Ее гражданский муж Франжоли, арестованный в Одессе, при переезде в Петербург выскочил из вагона, намереваясь бежать, ушиб позвоночник. У него, должно быть, сделалась атаксия, он еле ходил, и его приходилось переворачивать при сильных болях. Жена его очень любила и даже впоследствии не перенесла его смерти и лишила себя жизни. Она как-то, смотря на детей, сказала мне при виде моей возни с ними: "Я понимаю Вас; какое счастье иметь ребенка от любимого человека, как я бы хотела этого, но для меня это уж несбыточная мечта". Мне с этих пор она стала еще милее.

Не всех занимали мои дети, но зять их любил и, бывало, подхватит какое-нибудь смешное выражение и долго потом повторяет. Он любил их наивность. Когда-то Графчик, увидя у них в окне первую четверть луны, обратил на нее внимание и говорит: "Во какая у бабы Ани маленькая нюня, а у нас на Васильевском большая". Долго зять потешался: "Итак, Графчик, у бабы Ани маленькая нюня, а у вас большая?" — пока не показали Графчику и у бабы Ани "большую". Евграф же совершенно иначе реагировал на наивность. Он говорил: "Эх ты, нюня! 4 года (а ему всего-то 3), а не умеет правильно сказать." Видите ли: какая-то там знаменитость уже трех лет умела читать; а я ему возражала, что не хочу, чтобы мой сын в 3 года был взрослым, он мне так милее. Николай Николаевич поддакивал, повторяя: "И чудака же ты, Евграф!"

*По-видимому, ошибка. Надо — Степурин. — *Примеч. сост.*

Евграфу приходилось часто по вечерам уходить по разным делам своим, и потому как-то так совпадало, что не пришлось ему в последнее время встречаться с Дегаевым. В одно из воскресений опять он приходит в отсутствие Евграфа, сидит в одном углу, а Мила в противоположном от него углу играет на ковре. Вдруг она поползла живо-живо (ползала она очень быстро, сидя, забирая одной ногой, как веслом) к Дегаеву и на своем воляпюке что-то начала ему лепетать. Он, взглянув на нее, спросил: "Чей это ребенок, как необыкновенно он ползает?" Мила ему понравилась, и, узнав, что это дочь Евграфа Степановича, [он] спросил, почему [Евграф] не бывает, когда все собираются, прибавив: "Я ведь знаю, что он наш соумышленник". Зять возразил: "О нет, Евграф уже давно отстал и занят теперь только наукой и прокормлением семьи"⁴².

В марте 1884 г. у наших ночью был произведен тщательный обыск. Николай Николаевич, Протопопов, Кривенко и многие другие были арестованы и посажены в предварилку. Оказывается, их предал Дегаев. Он сделался провокатором после своего ареста, ценою своего освобождения предавая других⁴³. После ареста зятя мама с Милей и с Любовью Ивановной переехали к нам.

Немного раньше их переезда пришел к нам Иван Васильевич Мушкетов. Я заторопилась готовить чай. Евграф вбегает ко мне в столовую и говорит, что Иван Васильевич торопится: пришел на минутку. Он предлагает Евграфу несколько лет подряд каждое лето ездить на Урал в экспедицию для составления геологической карты. "Решай скорее, нужно дать сейчас же ответ, желающих много". Впопыхах я согласилась. Если предлагает Иван Васильевич, значит, хорошо. А потом уже сообразила, что семь лет подряд я с Евграфом должна расставаться каждое лето, но дело уже сделано. Для Евграфа это же важно. Не держать же его все время у своей юбки. Иван Васильевич, кроме того, и службу выхлопотал ему в Геологическом комитете, хотя неважную, в 75 руб., исполняющим должность консерватора и делопроизводителя⁴⁴. "Это я-то консерватор", — смеялся Евграф. Когда выдали деньги на дорогу в экспедицию, я стала снаряжать его, сшила сама, как портной, из чертовой кожи белый китель; совсем его обмундировала, и он засиял новыми форменными пуговицами⁴⁵.

Чтоб подольше не разлучаться, я решила ехать с ребятами в Кунгур к дедушке, кстати и показать ему правнуков. Выехали мы в апреле на страстной неделе до Рыбинска, сели на большой шикарный пароход в 1-й класс, что было чрезвычайно приятно после душного вагона 3-го класса. Весна была ранняя, и погода нам благоприятствовала. Мы ехали точно молодожены. 8-го числа должен был быть первый день Пасхи. Капитан объявил нам, что 7-го мы приедем засветло в Ярославль и будем там стоять всю ночь, чтоб дать возможность служащим посетить храм. Когда мы причалили к Ярославлю, то Евграф сейчас же убежал в город, захватив с собой салфетку. Он, не стесняясь теперь деньгами, накупил в превосходной кондитерской-булочной пасху, кулич, бабу, пирожное, пирожки, булки, а детям шоколадные яйца. Раскутился.

С наступлением ночи я все это вынесла на палубу и расставила на покрытый скатертью столик, сервированный подле окна нашей отдельной каюты, где спала Мила. Евграф же с Графчиком пошел к церкви. Я села около столика и смотрела, как они поднимались в гору. Евграф что-то все рассказывал и показывал ребенку. Они скрылись. Я сидела в одном платье. Погода была восхитительная — ни ветерка. Мутные волны тихо плескались о борт парохода. На нем царил тишина и удивительная была наведена чистота. На горе слева вырисовывался на фоне ясного неба храм, сияя огнями и разноцветными шкаликами, по берегу дымили площадки. Изредка доносилось церковное пение и звон. В городе зажигали иллюминацию. Начинало светать и свежеть, но не хотелось двинуться с места. Это была такая необыкновенно красивая картина, что мне ее

никогда не забыть. Жалела, что не художница — ни красок, ни пера. Совсем стало светло, заходили по пароходу люди. Наконец, показались и мои. Оказывается, они не только были у церкви, а гуляли по городу на иллюминации. Мы разговелись. Так было все вкусно и так все проголодались на чистом воздухе! Это путешествие было — одна отрада. Этим удовольствием мы обязаны Ивану Васильевичу Мушкетову. В Перми даже жаль было расставаться с пароходом.

В Кунгуре Евграф пробыл несколько дней, пока ему шили кожаные мешки и сумки в виде ранцев. Но он и там не терял времени, лазил в знаменитую Кунгурскую пещеру. Туда надо сначала ползти несколько саженей в узком ходе, а потом идут грандиозные залы, на потолке их висят сталактиты, а снизу сталагмиты, из которых уже образовались колонны. При огне получается эффектная картина. Без огня там тьма и опасно: можно провалиться либо в расщелину, либо в озера, а их там несколько. Евграф издал особую брошюру про эту пещеру⁴⁶.

Евграф уехал. Я стала жить чисто растительной сытной кунгурской жизнью и крепнуть. "Вот что значат родные-то хлеба", — посмеивался дедушка. "Ничего, Питер подведет", — думала я.

Муж писал мне весьма неутешительные письма. Их экспедиция состояла из заведующего хозяйственной частью Яковлева, двух топографов Кончи и Паисия Павловича Иванова, прикомандированного к Евграфу; ботаника Кузнецова и студента-медика, которому за все время экспедиции решительно нечего было делать. Яковлев оказался до того непредусмотрительным и нераспорядительным, что все лето морил всех их голодом, особенно партию Евграфа, которой приходилось заходить далеко. Хорошо еще, что у Евграфа были дружеские отношения с рабочими, а то ему пришлось бы опасаться за свою жизнь, так как рабочие сильно роптали и собирались его одного бросить в горах. Яковлев себя поставил с Евграфом не по-товарищески, а вообразил себя как бы начальником над всеми и начал делать свои замечания и предписания. Евграф дал ему отпор. Яковлев даже позволил себе по отношению к Евграфу грубости.

Возвратилась я из Кунгура с дядей Васей, который поехал в Нижний на ярмарку, где я с детьми дня два погуляла.

В Петербурге Миля с мамой были уже не одни. В июле Николая Николаевича выпустили из предварилки. Вскоре и Евграф дал телеграмму о своем приезде. Я наняла коляску и поехала его встречать с детьми. Когда я его увидела, то готова была не узнать: передо мной стоял какой-то паломник с кудрями по плечам, до измождения похудевший, не то грек, не то болгарин, до того черный, что узнать нельзя, точно не снимавший одежды долгие годы, до того она была потерта и тускла, со специфическим запахом; а давно ли вся она была с иголочки? Когда мы ехали по Невскому, то встречные нас оглядывали с любопытством. "А ведь меня действительно принимают за иностранца", — убеждался Евграф.

За границей его принимали за итальянца, в России — за еврея, даже евреи. Едет Евграф раз наверху на конке. Сел рядом еврей и спрашивает: "Вы из наших?" Как ни уверял Евграф, что нет, тот твердил: "Рассказывайте". Ни братья, ни сестры не были похожи на него.

Дочка наша, малютка Мила, 2-х лет, была преуморительная и забавная. Выходя утром в столовую и поворачиваясь во все стороны, она говорила: "А во какое у Милы платье, а во какая коса (мышинный хвостик), а лифчик теплый во какой, бабушка сошила". Евграф поправлял: "Скажи: сшила". Она пресерьезно повторяла: "Нет, сошила". А потом: "Ячик говорил чепи, чепи, а Мили — чепчик". Это всем нравилось, а Евграф менторствовал, и никак его, бывало, не убедишь, что каждому овощу свое время. Чего требовалось с такой малютки? Непонятно даже, а он боялся хвастливости. Евграф уж чересчур был мнителен. Страшно боялся, чтоб дети не вышли шалопопами.

В октябре Николая Николаевича выслали в Валуйки, место его родины. В ноябре сестра и мама уехали к нему. Первое время мы скучали по ним. Одно было приятно — с нами осталась Любовь Ивановна. Я как-то возьми, да скажи: "Наши уехали, теперь за меня некому заступиться". Что тут было с Евграфом! Он чуть не плакал. Сказала я это по поводу такого случая. Евграф прочел в газете вслух о деле пристава Мироновича, убившего и обокравшего кого-то для удовлетворения прихотей жены. Я в это время пришла очень озябшая в своем драповом пальто, в котором ходила и зимой после кражи у меня шубы, стала ежиться и говорить, что озябла. Евграф вспыхнул: "Что же, прикажешь и мне убить кого-нибудь для твоей шубы?" Я встала из-за стола и ушла в спальную. Там я заплакала. Наши все напали на Евграфа. Вечером Евграф пришел ко мне, встал на колени, положил голову на мои колени и шептал: "Прости, прости меня, забудь, ведь ты знаешь, как трудно мне добывать деньги". Но я же и не требовала, а просто только сказала, что озябла. Целую неделю почти он приставал ко мне с вопросами: простила ли, забыла ли его обиду.

Он был добр, но нехватки терзали его, нервы иногда не выдерживали напряжения. Этот год нелегко еще было сводить концы с концами. Консерваторство только еще улыбалось. Я не знаю, чем бы мы жили, если б не позаботился о нас Иван Васильевич. Большое подспорье была нам Любовь Ивановна. Она сказала мне: "Евграф Степанович еще немного получает, так Вы платите мне меньше и не торопитесь с'уплатой. Я могу и подождать". <...>

Евграф много писал по своим работам, но не засиживался допоздна, предел было 1 час ночи; и меня гнал спать, если я заработалась. Все свое жалованье он всегда отдавал мне, приговаривая: "Мало, но только, пожалуйста, чтоб не было долгов". И мы умудрились теперь не делать долгов, а даже он начал выплачивать свой долг Евгению Степановичу.

У Лопатина на Петербургской стороне была библиотека для заключенных в тюрьмах. Подставным собственником ее был Николай Николаевич, который ее успел продать за 1,5 тысячи и деньги передать Лопатину, пока шли их аресты. Заведовал этой библиотекой Василий Караулов. Жена его поступила одновременно со мной на медицинские курсы, но при переходе на 2-й курс срезалась и принуждена была уйти с курсов. Брат Василия, Николай, был нелегальный. Оба они высоченные, особенно младший Николай, поэтому удивительно, как он так долго не попадался. Василий с женой и детьми у нас бывали, заходил и Николай. Но это уже были последние могики после погрома Дегаева. Вскоре и они канули в вечность, и мы уже их больше не видели. Да и сам Дегаев-Иуда исчез. Через несколько лет уже узнали мы, что он в Австралии профессорствовал, там и умер⁴⁷. По постановлению партии террористов, он должен был предать Судейкина, которому он последнее время служил, сделавшись провокатором в благодарность за свое освобождение из тюрьмы. Нам рассказывали, что ему был поставлен ультиматум: или убить Судейкина, или быть самому убитым. Он согласился на первое. Но, не доверяя ему, партия командировала двоих, которые и убили Судейкина, а Дегаев только предал своего мецената, впуслав и спрятав их в конспиративной квартире Судейкина. После убийства все трое свободно вышли и спровадили Дегаева.

Этой весной [1885г.] Евграф, уезжая на Урал, поручил меня моему брату. Коля, как доктор, должен был бдительно следить за мной, так как летом у меня ожидалось появление третьего ребенка. Брат был командирован в посад Сольцы Новгородской губернии для санитарных исследований и писал там свою диссертацию на степень доктора. Он с женой уехал раньше Евграфа. Я же, проводив мужа, дожидаясь окончания экзаменов в юридической академии, где учился брат жены Коли, чтоб ехать с ним, а не одной. Без Евграфа мне было так тоскливо, что, когда мы выбрались из Питера и поехали на лошадях, то, как школьники, поки-

дали экипаж и набирали букеты полевых цветов, вдыхая аромат полей. Наняла я полубонну-полуприслугу — дворянку, которая наивно говорила, что ее родители так любили, так любили ее, что не учили, жалели, а теперь приходится быть прислугой. По этому поводу Евграф потом говорил: "Смотри, какие вещи бывают". И все боялся за наших детей. Я, смеясь, говорила: "Ну, нагородил огород". Любость Ивановну мы оставили при квартире. Она могла понадобиться нашим.

В Сольцах жилое хорошо, квартира была, как дом помещика средней руки, с тенистым садом. Графчик сдружился с денщиком. Только и слышишь, бывало: "Степанов, ты куда идешь? И я с тобою". Степанов этот был хороший повар, и мы ели превкусно. Он был большой любитель музыки. Хозяйский сын часто играл на пианино, очень недурно. Степанов увлечется музыкой и все на свете позабудет, забудет даже, что он повар и должен в это время быть в кухне, где за него зато распоряжаются две громадные хозяйские собаки. Наконец, Евгений Евстафиевич, брат жены Коли, начальник Степанова, заявил, что посадит его на гауптвахту, если собаки еще раз съедят мясо. Графчик стал следить за Степановым и уводить его от соблазна. Их дружба была трогательная. <...>

5-го июля у меня появилась на свет вторая дочь — Женя. К нам приехала навестить меня сестра моя, Миля. Она приехала в Петербург, чтобы внести залог за мужа, которого близкие его друзья взяли на поруки. Я с ней и вернулась домой. Евграф сокрушался, что не в силах был помочь Николаю Николаевичу, но где же ему было взять несколько тысяч, нужных для залога?

В феврале этого года было пятилетие нашей свадьбы, но Евграф поставил датой нашего брака 25 ноября 1878 года, когда заказал печатку с нашими именами и запечатлел этот день нашим первым поцелуем на углу Ковенского переулка на виду у всех прохожих. По поводу этого юбилея он даже писал брату, которого жалел за его холостую жизнь. Письмо в 1884 г.:

"Геня. Поздравляю с новым годом и желаю всего лучшего, особенно здоровья. Капиталы мои находятся не в столь блестящем положении, как я ожидал. Уроков вышло гораздо меньше; разных чрезвычайных расходов было очень много. Однако, говоря вообще, на работу в этом году мне очень повезло. Кроме жалованья (75) и переводов, дающих, впрочем, очень мало, имеются выгодные уроки, предложено составить каталог одного учебного журнала, да еще предложение составлять статьи, чем, впрочем, я не пользовался. Вообще к весне только надеюсь собрать некоторый излишек, который пойдет на уплату долга... Последнее время я как-то сошел с колен. Приходится заниматься почти всем, а потому выходит слишком мало. Разве что хоть немножко пополнил пробел в современной журнальной литературе. Тебе, вероятно, известно, что 25-го ноября мы с Людмилой праздновали пятилетие. Хотя я и весьма скептически отношусь ко всякого рода юбилеям и даже вообще празднествам, однако должен сказать, что даже не выделяя ничем особым этого дня, мы с Людмилой глубоко чувствовали важность этого дня. Мне кажется, что он важнее даже всех других периодов семейной жизни, так как, укрепляя сознание прочной связи, освещенной таким промежуток времени, он застает нас все-таки еще в начале нашей совместной жизни, а, конечно, большая разница видеть прочное счастье впереди или только вспоминать о прошедшем.

Если тебе будет интересно несколько ближе познакомиться с розами и терниями нашей семейной жизни, то я готов сделать это с большим удовольствием и откровенностью, но, конечно, при полном согласии с Людмилой, без которой я вообще чувствую себя теперь одиноким и бессильным. Пока скажу только, что разумный брак, даковым считаю наш, есть действительно благо, как бы придуманное свыше для того, чтобы унести из пределов человека, по необходимости окруженного суетой и пошлостью обыденной жизни, из ее пределов, и притом, в счастливом случае, в течение всей его жизни. Ты можешь видеть отсюда, как человек, находящийся в нашем положении, должен смотреть не только на браки, основываемые на узких расчетах, но даже вообще на поздние браки. В крайнем случае приходится смотреть на это, как на странный отказ от важнейших личных прав человека, даруемых ему природой в продолжение такого-то времени. Но этого мало; право недостаточно иметь, но нужно и уметь им пользоваться; всякое же умение приобретается опытом. Неупотребление же права всегда приводит к ослаблению способности им пользоваться и впредь. Пользование же это, в свою очередь, сопряжено с таким напряжением интеллектуальных сил, каких, может быть, не требует никакое другое дело.

Ты, конечно, поверишь мне, что я, заведя об этом речь, не имел никаких задних мыслей. Однако, раз как завел об этом речь, сейчас же увидел возможность полезности для тебя указаний, приобретенных мною на опыте, говоря вульгарно, испытанных на собственной шкуре; я, особенно же ввиду расположения, которым пользуюсь с твоей стороны, почувствовал себя даже обязанным высказать

хоть вкратце, но как можно выразительнее результат своего опыта, так же искренне желал бы, чтобы и ты воспользовался теми благами, которые я уже на основании опыта считаю после идейных и, так сказать, не личных благ высшими личными.

Прожив пять лет при весьма стесненных обстоятельствах, я, кажется, имею право более солидное, чем идеальные картины влюбленных, говорить о своеобразной прелести семейных уз как о факте, стоящем выше материальных недостатков и лишений, или попросту бедности, и теперь не остановлюсь перед советом даже весьма молодому человеку не останавливаться перед препятствиями для заключения разумного брака, лишь бы сам человек находился в том положении, что мог быть убежден в его разумности, а это предполагает, между прочим, продолжительное знакомство своего спутника в жизни. Что же касается людей, проживших большее время вне брака, то прежде всего я сожалею о их потерянном времени, а, кроме того, думается, что тем самым они уже поставили себе некоторое препятствие для выполнения разумного брака, так как, повторяю еще раз, с этим связана такая работа интеллектуальных сил, которая, полагаю, легче всего дается только еще молодому субъекту. Вступая в новое пятилетие семейной жизни, я ясно сознаю, что не только ничего не потерял через это, но, напротив того, приобрел много такого, что делает семейный союз еще светлее и прочнее, что, так сказать, прошел школу, которую необходимо пройти каждому семейному человеку.

Твой брат Евграф".

При всей мягкости своей натуры он был скуп в наружных проявлениях своих чувств и посторонним казался холоден.

Это лето [1885 г.] Евграф с Урала писал более утешительные вест, так как Яковлев был устранен. Он, оказывается, любил выпивать; его заменил Люциан Антонович Лебедзинский, красивый брюнет и превосходный, деятельный хозяин; кормил партию хорошо, все были им довольны. Евграф вернулся даже не таким изморенным и не нахвалится, бывало, этим Лебедзинским. Сестра моя увезла от нас Любовь Ивановну, что очень жаль; пришлось поменять прислуг. Евграф очень много занимался, я тоже — по дому и с детьми. Сын стал хорошо говорить, что Евграфа успокоило.

Старшая дочка была презанимательная девчурка. И Евграф примирился с их психологией. Младшая была спокойная и, как картинка, красивая, так что удивлялись, привыкнув видеть обыкновенно бесформенные личики младенцев. Прислуги все боялись, чтоб ее не сглазили, так все над ней ахали. Я была против всяких наказаний, но Евграф находил, что нужно развивать сдерживающие центры и потому расшалившегося сына сажал на стул на 5—10 минут, приговаривая: "Сядь, успокойся!"

Видю, бывало, сын сидит на стуле, говорит: "Я уже сижу 5 минут, мне можно встать, или еще сидеть до 10 минут?" Евграфа нет дома, я не сажала, спрашиваю: "Кто тебя посадил?" Оказывается, сам себя посадил, потому что обидел Милу. Дядя Геня летом, играя с ним в бокс в Казани, еще выучил его драться. Он это применял на своем ровеснике дяде в Кунгуре, а сейчас на Миле. Мне пришлось, чтоб его отучить драться, шлепать его по руке, которая ударяла Милу, чтобы показать, как Миле больно. Он тогда решил лучше самого себя наказывать за невоздержанность.

Евграф ежемесячно ездил в казначейство за получкой жалованья для Геологического комитета, брал извозчика и меня с Графчиком и Милой прокатиться. Для ребят это был большой праздник. Заезжали к Борману за шоколадом. Евграф накапливал разных шоколадных фигурок, клал их в столовый ящик стола и ежедневно выдавал каждому из детей понравившуюся фигурку. Дети не были жадными лакомками. Они сначала поиграют, а потом уже скушают фигурку. Особенно баловал детей Лебедзинский, привозя им каждому по коробке прекрасных кондитерских конфет, которыми они без подсказывания всех угостят и прислугу, и сами никогда все сразу не съедят, а каждый день понемногу после обеда. Лебедзинский привозил всегда три коробки; вручая мне третью, говорил: "Это нашей, уральской", — так все звали новорожденную Женю. "За нее скушает мама", — прибавлял он.

Вот раз как-то из стола пропала выбранная Милой шоколадная чашечка с

блюдечком, Мила — в слезы. Почему слезы? Потому ли что сама взяла или жаль фигурку? Психологический вопрос, важный для нас, родителей, с воспитательной точки зрения. В это время у нас жила кухарка и девочка лет 13, племянница прачки. Эта девочка гуляла с детьми, когда мне самой было некогда. Она ходит с ними по 8-й линии, а я из окон их вижу, так как не доверяла ей, конечно. Она уверяет, что взяли фигурку дети. "Ты видела?" — "Нет". — "Наши дети ничего никогда не возьмут и не солгут", — уверяет кухарка. Больше всего думалось на Милу, но через посредство тетки этой девочки узнали, что взяла она. Она раскаялась, и Евграф стал и ее приглашать выбирать фигурку. Евграф успокоился и как бы возгордился своими детьми.

Жалость, это непрактичное чувство, была у него очень развита. Все скаредные интересы были ему чужды, и потому он очень часто, и даже еще при скудном заработке, помогал другому, находящемуся в худшем положении. Так, еще переплетая и покупая для этого материал, он помог приказчику, жаждущему учиться, продолжать ученье и стать статистом, а пока, до получения места, уступил нашу столовую, и мы его кормили. Этот Николай Михайлович Бычков прожил у нас не малое время, благо наши средства теперь это позволяли, и мы даже чувствовали себя чуть не Крезами.

Паисий Павлович Иванов был очень слабохарактерен, любил картишки и, увлекшись ими, на пароходе часто проигрывал взятые на Урал деньги, и Евграфу приходилось его дальше везти на свои, так что потом он уже брал всегда излишек на долю Иванова. Мы умудрялись еще прикапливать по 5 руб. в месяц, кроме выплаты долга брату Евграфу; потом стали помогать давно знакомому семейству слепого, состоящему, как и наше, из пяти человек. Евграф говорил: "Кусок в горло не лезет, когда знаешь, что рядом с тобой люди голодают", — давал, а себе урезывал, поварчивая, когда ему казалось, что позволим излишнее; и досадовал, и смешил, когда советовал невозможное, например, завести детям кожаные наколенники, чтобы не продирали дети чулок.

Этот год пришлось завести новые знакомства. Мы вообще избегали знакомств и поддерживали только старые, так как оба были слишком заняты. Нас и не тянуло к людям, у нас было много и своего внутреннего содержания.

Первым начал у нас бывать Лебедзинский, и нередко; как холостой, он не требовал с моей стороны визита, и это было приятно. Он был славный человек и нужный Евграфу, и тот ему. Раз я очутилась без прислуги, никого дома, я пошла на чердак снять белье, выхожу с корзиной и слышу, кто-то к нам поднимается по лестнице, а уже почти вечер, я хочу скорей убраться, а корзина тяжела; вижу перед собой Лебедзинского, волоку корзину по площадке, а он бегом ее подхватывает и вносит в квартиру. Он, всегда такой денди, нарядный и с корзинкой белья был каким-то анахронизмом для меня. Узнав, что я без прислуги, спрашивает: "Я вам помешал, значит". — "Вам нужно прежде всего сесть, а я и при вас буду складывать белье, мне, главное, нужны простыни". А он: "А я буду вам помогать, хорошо?" И мы с ним вытягивали простыни и смеялись, как школьники, пока не пришел Евграф, и нам надо было пить чай. С этих пор у нас с Лебедзинским установились дружественные отношения. Он оказался простым, душевным человеком.

С Паисием Павловичем Евграф еще на Урале сблизился, а его жена еще в прошлый год сделала нам визит. Она была заядлая картежница, просиживающая в Благородном собрании по известным дням чуть не всю ночь за картами, и потому я ей не очень симпатизировала. Она раз так продулась там, что явилась ко мне занимать.

Бывал у нас и ботаник Кузнецов. Его я как-то мало раскусила. Помню только, как он и Иванова всегда кипятились, играя вместе в винт. Смешно было на них смотреть. Евграф очень дорожил ее мужем как добросовестным топографом и просил меня устраивать иногда картежную игру у нас. Пришлось завести карты. Я как хозяйка отлынивала, да и собиралось так много желающих повинтить, что меня избавляли от этого снотворного для меня удовольствия.

Этой весной 1886 г. мы поехали с Евграфом до Казани, куда нас опять пригласили. Взяли с собой прислугу-финку с девочкой ее Идой. Эта прислуга была очень хорошая, честная, а детям не хотелось расставаться с Идой. Поехали мы через Рыбинск, чтобы побольше побыть на воздухе. Было половодье, и была Пасха, а потому мы быстро катили вниз по матушке по Волге и нас всю дорогу в ее верховьях сопровождал звон церквей из многочисленных там сел и деревень.

Евграф, в Казани пробыв денечек, уехал на Урал. Мне, конечно, было не так тоскливо оставаться тут, на людях, как одной дома. Но меня подивили дети; Мила канючила: "Зачем уехал папа?" А Графчика унять было нельзя, так плакал он. Бабушка его старалась прельстить тем, что папа ему привезет с Урала особенно интересный подарок <...>

Они сейчас в Вишере, погода скверная, дожди, проваливаются выше колен в снег. Лошади без травы. Провоз провианта затруднен, и вот под влиянием всех этих тревог Евграф видел тревожный сон:

"... особенно врезалось мне в память, как ты сидишь со мною и ласкаешься, и я чувствую себя счастливейшим человеком. Потом мы с тобой и братом идем по грязи по улицам Петербурга; ты рядом с братом, а я сади и спешим на конку; я страшно устал и не могу поспеть за вами, вот вы уселись в вагон и поехали, а я остался один и проснулся с тяжелым чувством. Сто первый раз повторяю, что только в разлуке сознаешь всю грозную мощь привязанности..."

А потом, в другом месте того же письма от 29 мая 1886 г. пишет:

"Лодочники молят о холоде, так как в теплую погоду от тающего снега речки наполняются водой и по ним нет возможности подниматься. Сижу я в лодке и мечтаю... Как ты думаешь, о чем? О том, когда мы прибудем на ночлег, я раскину палатку и устроюсь с тобой..., т.е. буду писать тебе письмо; в моей маленькой палатке два места, одно занято мною, а другое, к несчастью, я сюда положил вещи, но так и кажется, что оно устроено для тебя. Перед отъездом сегодня я оставил для тебя открытое письмо, это уже мое четвертое письмо. Когда-то я и от тебя буду иметь восточку? Становится темно, пора спать, но наверно и во сне я не расстанусь с тобой".

На Молебном Камне* бело от снега, но все здоровы и даже взятый ими чахоточный рабочий, ослабевший до того, что его тащили, где можно, на лошади, поправился, хотя Евграф пичкал его хиной; и только 3 июля — безоблачное небо.

А тут [в Казани] хорошее лето, музыка гремит в саду допоздна. Спим, не закрывая окон. Как-то мне не спалось; на улице шум, топот сотен ног расходящейся публики из сада, говор, и вдруг как раз перед моим окном сильный красивый голос запел "Демона": "И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя", — да так зычно, что дети все проснулись. Мила с Еней заревели, в дверях показалась вскочившая с кровати испуганная бабушка Юля. Она рассерженно ворчала: "Это все эти сумасшедшие казанские студенты, когда только они спят".

Когда я как-то вошла в кабинет Евгения Степановича, он меня представил сидящему у него военному инженеру: "Моя невестка". Тот особенно как-то радостно заулыбался, расшаркался передо мною, а когда я подала руку, то стал пожимать, не отпуская. Мы переглянулись с дядей Геней, чему он так обрадовался, первый раз видя меня? Потом начал сердечно поздравлять нас обоих. Оказывается, он не дослышал и вместо "невестка" ему послышалось "невеста". Мы смеялись, а Юлия Герасимовна вывела троих внуков показать инженеру. Потом он, извиняясь, говорил комплименты о моей молодости. Знакомые смеялись, что то студенты поют под окном серенады, то я в невесты попадаю. А очень просто: дядю Геню все сослуживцы любили и желали ему добра.

Так проходило мое лето в культурном обществе, а там, далеко на севере, в дебрях Урала, то от жары, то от холода, от мошек и комаров изнывал Евграф. То сидя на одних сухарях или грибной похлебке, то разговляясь олениной у зырян и вогулов или супом из куропатки и рябчика. Даже на самом перевале Урала комары и мошкара не дают покоя. В довершение всего от сильных напряжений за-

* Гора на Северном Урале. — *Примеч. сост.*

болел мускул на ноге у Евграфа, а у Иванова — зуб. Пришлось им без дороги через завал леса, прочищая для лошадей путь, тащиться одному с болью в ноге до дурноты, а другому с сильной болью зуба. Обрадовался, когда можно было сесть на лошадь. Рабочие тоже все уже поослабли. 25 июля у них уже запахло осенью; пошли туманы, холода, зато комаров не стало; непрерывные дожди, дороги-тропы вроде рек стали, а кругом чистое болото, лошадям выше колен, и опять верхушка палатки черная от мошкар. Они уже спустились по Сосье, и 2 августа тепло, а ночью подмораживает. У Евграфа опять была тревога: пришлось угнать людей, а те 12 дней не возвращались. Он с Ивановым в тумане заблудились, но, к счастью, напали на чум. А 14 августа показался снег на гребне Урала, и понемногу все ближе и ближе к ним, свидание не за горами. <...>

Под конец лета приехал Евгений Евстафиевич, брат жены Коли, в Казань. Я с ним и с детьми гуляла. Он уехал. Поджидаем Евграфа. Дядя Геня шутит: "А вот погодите, придет муж, я ему пожалуюсь, что Вы с молодыми людьми гуляете, что Вам серенады поют". Он вообще любил пошутить. Наконец, приехал Евграф вечером. Оказывается, их пароход пришел еще утром и в виду Казани сел на мель, так что Евграфу пришлось целый день смотреть на Казань, как лисе на виноград, и он еще не успел прийти в себя от досады, как Евгений Степанович вздумал шутить, повторять свои выдумки, что я без него гуляла с молодым человеком, "а не скажу с кем", — добавил он. Евграф пришел в такую ярость, что мы с бабушкой Юлей испугались. Хорошо, что дети уже спали. Он вскочил со стула, подступил к брату и кричал: "Не смей касаться грязными мыслями моей чистой жены! Слышишь! Слышишь! Никогда ничему не поверю, пока она сама мне не скажет, знай это!" Мать и брат старались его урезонить. Последний сказал, что он не ожидал, что его шутки могут так взволновать. "Оставь при себе свои пошлые шутки и выдумки!" — продолжал кричать Евграф. Тогда брат спокойно сказал: "Хорошо, а ты успокойся и успокой маму и Людмилу Васильевну". Евграф только тогда опомнился. Он был вспыльчив, но отходчив. А как он был красив в пылу этого гнева! Потом я его пожурила, и братья примирились.

Назад из Казани поехали мы ради удобства и экономии через Рыбинск, но Волга сильно обмелела, пришлось в туманные ночи стоять, и мы ехали целую неделю. Пароход был большой, удобный, и в 1-м крассе были только мы, да еще одно семейство саперного офицера с целой пятеркой детей. Жена его оказалась тоже врачом. Трое старших детей у нее от первого брака, а двое от этого. Ехали они без прислуги. Все наши дети вместе играли и танцевали под музыку пианино и были довольны, что долго едем. У Евграфа с сапером нашлось много общих воспоминаний. Я больше присматривала за детьми. Мать же тех детей была чистая библейская Мария. Она за разговорами совершенно забывала о детях: если бы я вовремя не схватила ее младшего сына, он кувыркнулся бы за борт. Когда я ей об этом сказала, то она с раздражением сказала: "Как он мне надоед! Пускай бы утонул". Сказала она, конечно, в сердцах это, но и не двинулась с места. Ее муж совсем по-иному отнесся к моему заявлению и, как ни было ему приятно вспоминать их прошлую офицерскую жизнь, он сейчас же встал и пошел посмотреть за детьми. Мы с ним смотрели за детьми, жена же его сидела в рубке с Евграфом. Он же потом жаловался, что они порядком ему мешали заниматься: он и на пароход брал с собой работу.

Эта семья, по приезде, с нами познакомилась. Еще на пароходе эта дама, не имея при себе портмоне, положила в мое 3 рубля своих. Я при прощании забыла отдать. Пошла к ней для отдачи их. В передней встречает меня муж ее и говорит, что жена сейчас выйдет. Она переодевается, так как только что пришла от коревых больных из больницы. Она с другого конца коридора кричала, чтобы я осталась, но я не осталась. Эта эпидемия кори была злостная, с крупозным осложнением в легких. А у моих детей еще кори не было. Я, передав деньги мужу, ушла не домой, а к бездетным знакомым. От них нарочно пошла пешком и пришла уже домой,

когда дети спали, вывесила платье в сени. Эта новая квартира на Галерной, которую нам наняла и [в которую] перевезла всю мебель жена слепого, была просторнее, и потолки высокие, и была [в ней] еще темная комната, где мы себе устраивали ванну. <...>

Как по расписанию, через определенный промежуток, у всех моих детей началась корь, да такая, что чуть не стоила им жизни. Не поймешь, откуда ее дети схватили, я ли занесла, или в этом виновата наша квартира. Когда дети захворали, мы очистили нашу приемную, самую большую комнату, поставили посередине три кровати, у стены диван и стол. Евграф придвинул свой стол письменный к настежь открытым дверям, соединяющим кабинет с этой комнатой, уселся за него и так писал свои научные работы. Удивительно, как он мог сосредоточиваться на них. К нашему счастью, к этому времени переехал в Петербург для сдачи диссертации Коля, прекрасный доктор, он и спас детей. Графчик уже совсем умирал; со мной дурно, Евграф умчался за Потехиным, известным специалистом по детским болезням, которого жена его с раннего утра не видала, — такая масса больных. Коля привел меня в чувство и говорит: "Ну, Людмила, возьми себя в руки, не раскисай, все равно, пан или пропал. Давай делать холодные ванны". Графчик лежит, как неживой уже, мы его спустили на простыне в ванну, он начал оживать. Положили мы его на диван. Он вдруг сказал: "А часы-то стоят". Потом опять температура поехала вверх. Мы опять его в ванну и спасли. Приехал Потехин и одобрил наш энергичный прием. Я рада была, что не было Евграфа, а то он очень теряется, когда близкие больны.

К 10 декабря дети почти поправились. <...> Евграф сейчас же, как дети стали поправляться, купил рыбий жир, стал угощать им не только детей, но и себя, показывая им пример, когда они морщились. "Кто хочет с папой пить рыбку? Идите!" Миля первая всегда подавала пример. Это была удивительная девочка: когда она была еще крошкой двух лет, она не давалась, чтобы ее носили, и на 4-й этаж взбиралась сама, приговаривая: "Миля сама, сама". <...>

Дети вскоре после поправки захворали коклюшем. Этот год был для нас тревожный. Удивлялась я Евграфу, как он стоически выносил все невзгоды и работал, работал. Работ у него уже было подготовлено немало.

В начале апреля [1887 г.] он уехал на Урал, а я с детьми весной — на дачу. <...>

Оказывается, Евграф проездом на Урал узнал из газет о грандиозном пожаре в Лесном и закидывал меня письмами, заботясь, не у нас ли горело. Он обещал детям, что в дни их рождений он даст три выстрела — салют в честь их. И вот 5 июля, в день рождения Ени, раздаются три выстрела. Дети бегут и кричат: "Папа стреляет на Урале в честь Ени. Оказывается, у нашего соседа, полковника, тоже было какое-то торжество и тоже салютовали. Вечером в этот день устроили мы иллюминацию, как желал Евграф. <...>

Евграф проявил заботу о физическом развитии Графчика и заказал мне купленные им велосипед и трапецию взять с собой на дачу. Графчик быстро научился и носился по парку, когда мы гуляли там.

Евграф писал, что у них на Урале в этом году необыкновенно ранняя весна. Все деревья распускаются зараз. Он мне писал очень часто: и с дороги, и из Москвы, из Чистополя, из Перми и Богословска, а мои письма долго не доходили, хотя я писала каждое воскресенье. До Ивделя они с Кузнецовым этот раз катили на тройках. Но у них, у бедных, плитки шоколада все поломались, у Евграфа обсыпались персидским порошком из помятой коробки, а у Кузнецова облиты карболкой. Вымывшись в бане, они пошли на Уральские горы, а там холод и дождь. 29 мая он писал в начале работ из Ивделя:

"Все время проводим здесь отвратительно; почти ежедневно в гостях и проигрываем в винт; просто даже тошно стало, а я, дурак, торопился с возвращением с Южной Тошемки".

А 19 мая писал:

«Поднимаясь по Южной Тошемке, кое-как преодолеваю холод. Около 6 час. вечера попадает на встречу какая-то русская женщина. Я весьма удивился, и, когда проехали дальше, спросил своего вогула: "Неужели она здесь живет?" (Мне было известно, что по Южной Тошемке живет только одно вогульское семейство.). Он ответил, что она, должно быть, заблудилась. Конечно, я скорее вдогонку, и что же оказалось: она в воскресенье (вероятно, 10 мая) вышла с приска около Северного рудника, шла в Ивдель и заблудилась, и две недели, по ее словам (вероятно, 9 дней), таскалась по лесам без пищи, а главное без огня (при ней даже спичек не было), пока не забрела в такие дебри, где мы ее встретили. Вся она осунулась: кожа на лице и на руках красная и дряблая, взор неподвижный и едва в состоянии произносить слова, едва слышным голосом часто что-то лепечет про себя (вероятно, говорит нам). Я сейчас угостил ее чаем с водкой и небольшим куском хлеба, затем посадил на лодку и повез с собой. Переночевала у нашего костра, и на другой день утром мы оставили ее на юрте Фаддеева с запасом спичек и всего съедобного, с тем чтобы она ожидала возвращения хозяев, которые ее привезут в Рябиновку, для чего я оставил 40 копеек... Помни, что посреди всех лишений, я нахожу единственное утешение в мыслях о своей дорогой семье и надежде застать всех здоровыми и не потерявшими лета понапрасну».

Зиму 1887—1888 г. мы жили на 10-й линии подле Высших курсов. Квартира из четырех больших комнат была очень презентабельная, окнами на улицу, с ее 5-го этажа перед нами расстился город и его крыши на далекое расстояние, и даже виднелось море. В комнатах горячие печи были сами по себе, а холод сам по себе. У Евграфа мерзли руки и, чтоб продолжать писать, он должен был вставать и греть их у печки.

С курсов к нам заходили две курсистки, две противоположности. Одна, брюнетка, обедала у нас каждодневно — протезе знакомых Мили, разводка. Она по окончании курсов выскочила замуж за смазливую с разноцветными галстучками телеграфиста. Любовь испарилась живо. Она с ребенком на руках очутилась в безвыходном положении. Ей дали возможность учиться, а мы — даровой обед. Евграфу она очень не нравилась, и он весь обед читал газету, а она говорила, что боится его. Его-то?

Другая была сестра его близкого товарища по офицерству. Она, придя уже после нашего обеда, заявляла, что голодна, и мне приходилось посылать прислугу за вырезкой и готовить самой бифштекс, так как прислуга только что убралась и надо же ей было отдохнуть и не ждать ее ворчанья. Она и то их недолюбливала. Эта барышня любила пофилософствовать. Про нее говорили, что не успеет ступить на порог, как уже начинает сказ о высоких материях. Как всем нравилась ее сестра, прозванная "Пчелкой", так эта не очень-то. Проходила она прямо в кабинет, забиралась с ногами на кушетку и в полулежачем положении заполонила Евграфа разговорами. Он был в претензии, что я с ними не сижу, а мне было не до разговоров. Раз Евграф мне выразил неудовольствие, что она так бесцеремонно лежит, но я успокоила его, сказав, что вследствие ее болезненности она очень устает на курсах.

Этих курсисток разогнал дифтерит, появившийся у Графчика. Я уединилась с ним в дальнюю комнату, и с помощью Коли мы его выходили; девочки не заразились. За ними даже нечего было присматривать Евграфу, так они увлекались игрой между собой и их привлекало фортепиано, только что подаренное бабушкой Юлей. Евграф доволен был, что никто из посторонних его не отвлекает от его научной работы. К нашему удивлению и удовольствию, не заразился больше никто. Когда я Графчика спустила с кровати первый раз только часа на три и хотела его опять уложить, он заартачился, заигравшись, Евграф уговаривал меня не укладывать его. Как я его ни уверяла, что это опасно, потому что зачастую после дифтерита бывает паралич ног, если не уберечься. "Ну, у Вас, докторов, всегда преувеличения, лишние опасения". На другой день сын уже не мог встать от паралича; весел, здоров, а ноги не действуют. Нам приходилось носить его на матраце

в другие комнаты 3 месяца. Евграф сильно испугался и мучил себя угрызениями совести и раскаянием.

Он очень обрадовался, когда нас стали приглашать летом в Кунгур, куда рано весной 1888 г. мы с Евграфом вместе выехали. Опять расстались мы на целое лето. Он с Подчерья писал, что рабочие целые дни таскают мешки с мукой, пекут хлеба и заготавливают сухари, а потом заберутся в дебри Урала, где

"от тебя не придется получить письма до Усть-Шугора, в котором мы будем уже на обратном пути в середине августа. Тысячу раз целую тебя за письмо от 17 мая. Ведь это для меня единственное чуть не на всю экспедицию. Оно получено в Чердыни 23 мая и теперь уже пришло сюда, пройдя через Пермь, Нижний, Ярославль, Вологду. Странно, что не получил от тебя прямо из Кунгура. После получения письма, хотя и первого, чувствую себя именинником". <...>

Кунгур с его благодатным воздухом и обильным питанием живо поправил Графчика. <...>

Все три мои двоюродные брата были музыкальны и их младшая сестра Вера с прекрасным голосом, и мы приятно проводили время среди природы и музыки. Я спросила Машеньку про Мишу, сына тети Поли. "Миша стал мужиком". — "То есть как, ведь он дворянин?" — "Ну, омужился". Он, оказалось, толстовец. <...> Когда он учился в гимназии, я с ним занималась, когда бывала в Кунгуре. Он был красивый и способный мальчик.

В один из прекрасных летних дней мы только что отообедали, слышим — звон колокольчика. Мы к окнам. В ворота влетает тройка. В повозке никого. На козлах красивый блондин в синей рубашке, бархатной безрукавке и в ямщицкой шапке с павлиньими стразами. "Миша!" — кричит Машенька; он: "Я за Вами с Людочкой". Я без детей не поехала, и дед дал нам еще тройку. Сколько воспоминаний по пути! Стали проезжать вброд Бабку — чистую, прозрачную, как кристалл, речку. Вспомнилось детство, счастливая пора, когда все занимало, особенно эта переправа: шлепанье лошадей, брызги воды и стаи рыбок в прозрачной воде, замирало сердце, когда шуршали колеса по галькам, хотя речка в этом месте по колено лошадям. Кажется, все то же: и галечник у мельницы, где я набирала коллекции галек и увозила в Пермь; под проливным дождем любовались грозами; тот же дом. То, да не то! Он, точно, уменьшился, слинял и молчит, нахмурившись; не слышно ни стукотни ножей из кухни, ни суеты прислуг. Миша живет один с женой и ребенком. В самом доме какая-то вымороченность. Кабинет Владимира Михайловича забит каким-то хламом. Это тетя Поля перед смертью сделала Плюшкиным в юбке и все собирала; а Миша говорит: "Зачем бросать, иное пригодится". Во флигелях живут семьи мельника и засыпки. Все новые лица. Даже моих прежних друзей не узнаешь, так скоро состарились. Миша женат на поповне, умеющей только читать и писать. А какое тяжелое чувство было у меня, когда я познакомилась с повседневной жизнью опростившегося Миши: с утра до вечера какие-то оглобли, колеса, лошади и т.п. Я-то, занимаясь с ним, мечтала об университете для него. Мечты, мечты! Где вы?

На деревне грациозные сарафаны заменяются неуклюжими кофтами, на месте бархатных безрукавок — рыночные драповые кофты, обшитые грошовым атласом; ни роскошных кос, все больше крысы хвосты. Что это? Старики бают: "Трудная жизнь ноне, под барином лучше было".

У Машеньки это лето пропало кольцо с дорогим бриллиантом. Она купала детей, сняла кольцо, и его не стало. Отказали даже одной из горничных. Но я на нее не думала. Пошли как-то гулять на гору, что против дома деда, на берегу Сылвы, откуда расстился привлекательный вид. Забыли взять с собой кедровые орешки, "сибирское красноречие", послали Граф-

чика. Он что-то долго не возвращался, мы пошли к нему навстречу и с горы увидели его с цыганкой у ворот. "Не украла бы его", — крикнула Машенька, и мы побежали к воротам. Цыганка пристала к нам, предлагая гадать. Я наотрез отказалась. А Машенька заставила гадать, кто взял кольцо и найдется ли оно. Цыганка, внимательно посмотрев на ее ладонь, буквально сказала так: "Его у тебя, красавица, никто не брал, ты его при себе носишь; найдешь, но не скоро". Машенька возмутилась враньем цыганки: "при себе", что это значит! Я ее пристыдила, что она верит пустякам. Тем дело и кончилось пока. В письмах из Петербурга я иногда осведомлялась о кольце, оно не находилось.

Зиму 1888/89 г. мы прожили на 13-й линии. Квартирка была всего в три комнаты, уютная, в нижнем этаже и с садом. Жильцов было мало, все бездетные, в саду бывали только хозяева да мы. Нам тут нравилось.

Все участники экспедиции решили в складчину преподнести Лебедзинскому альбом с уральскими видами, в благодарность за его хлопоты о них. Он вовремя и хорошо их кормил, исполнял их требования, не так как Яковлев, моривший их голодом. Евграф, снимая виды Урала, привозил негативы, и я с ним вместе проявляла и печатала их. На серебряной крышке альбома изображен был выпукло Молебный Камень. Я его преподнесла на вышитой мною подушке. Собралось довольно много народу, и наша квартирка была переполнена.

В этот вечер я убедилась, как хорошо Сергей Николаевич Никитин относится к Евграфу и недоброжелательно к Шредеру Ивану Федоровичу. Стоят в приемной Шредер и Евграф и что-то излагают друг другу. Я вошла в кабинет, ко мне подошел Сергей Николаевич Никитин и говорит: "Удивляюсь Евграфу Степановичу, о чем это он может разговаривать с этим дурачком, Ванечкой. Все равно, что рассыпать бисер перед свиньей". — "Ну, уж Вы чересчур", — возмутилась я, а он мне: "Неужели Вы не видите, что он глуп и вдобавок пролаза".

Вечер вышел удачным, было оживленно, особенно за ужином; на нем разошелся Феодосий Николаевич Чернышев и много рассказывал и смешил. Евграф тоже был воодушевлен удачным торжеством, довольством Лебедзинского, а еще больше тем, что мог его отблагодарить хоть чем-нибудь. Собственно говоря, Лебедзинский исполнял только честно свою обязанность, но много ли таких людей. Стоило посторонним только кое-что сделать для Евграфа, как он старался уже чем-нибудь отблагодарить.

К этому времени голова Евграфа усиленно работала, и он, ища сочувствия и одобрения, часто захаживал к своим профессорам: Еремееву, Карпинскому и Мушкетову. Евграф не обращал внимания на костюм, поглощенный всецело наукой. Ему было не до того, да и средства не позволяли изысканно одеваться, и шел, бывало, таким замухрышкой, что я его предостерегала, что по одежке встречают, а по уму только провожают. Но его как встречали, так и провожали. От Еремеева Евграф часто возвращался рассерженным: "Ты представь себе: прихожу к нему, голова моя полна мыслей, они так и просятся наружу, начинаю их излагать, а он начинает рассказывать про свою супругу, которая рыщет за границей. Ты посуди, какое мне дело до всего этого. И я только даром время потерял". Или жаловался Евграфу, что была у него одна дочь, а теперь корми и зятя-прохвоста. Евграфа возмущала такая профанация дочери: "Неужели он это перед каждым так чернит дочь? Или хочет отделаться от меня во что бы то ни стало и заговаривает зубы мне?"

Всеми способами Еремееву хотелось сплавить Евграфа из Петербурга на какой-нибудь завод. И раз чуть было не уехали. Для меня и для детей

это было бы приятнее, чем сидеть в каменном ящике, но Евграф не только не хотел бросать науку, хотя он, верно, и там нашел бы время заниматься ею, но он просто боялся практического ответственного дела и говорил мне: "Ты что тогда скажешь, если расхитят у меня казенные вещи и я попаду под суд?" Да и зачем ему ехать на завод, когда ему на самом деле нужна кафедра, академия; а это-то ему и не давалось. Невозможно предположить, чтобы профессора не понимали хоть не гениальности, но выдающихся способностей своего ученика. Скорее, Еремеев умышленно затапывал Евграфа. Он не хотел, чтоб ученик превзошел учителя, затер его. Так думалось мне.

А.П. Карпинский очень любезно и с интересом выслушивал Евграфа, но, по выражению Евграфа, он для него сфинкс. "Собственно, один Карпинский должен меня лучше всех понимать, но А.П. ни холоден, ни горяч, а как-то безразличен, всегда терпеливо выслушивает, но не высказывается. По временам мне кажется, что я ему надоел. Другое дело, Иван Васильевич Мушкетов. Он не только выслушивает, хотя и знает, что не вполне понимает, но реагирует горячо, уверяя меня, что видит во мне новатора, что для проведения моих идей нужна кафедра". Вот слова самого Евграфа. А я сама не раз слышала это же от Ивана Васильевича. Запоминаются иногда пустяки. Так, раз мы сидели у Мушкетовых за обедом и ели апельсиновый компот, и милый Иван Васильевич придумывал, как бы провести Евграфа на кафедру и советовал ему попробовать предложить в университете читать параллельные лекции, конечно, без вознаграждения. Евграф попробовал: он однажды пошел в университет и встретил на набережной Докучаева, сказал ему, зачем идет, а тот ему: "Э, батенька, чего захотели, урвать кусок от нашего пирога". Этот цинизм до того поразил моего бессребренника Евграфа, что он долго не мог прийти в себя: "У них на уме пирог, а не наука".

Что мог сделать один Иван Васильевич? Евграфа даже и в Геологическом комитете не старались провести в геологи, несмотря на его геологические работы по составлению карты Северного Урала. Чем это объяснялось? Я решала — просто завистью. Собственно, ведь и миром управляет зависть. Все же Иван Васильевич умудрился через Костычева втиснуть Евграфа в марте 1889 г. на конкурс по замещению кафедры в Лесном институте.

Вот письмо самого Евграфа по этому поводу Николаю Николаевичу в Полтавскую губернию:

«Дорогой Николай Николаевич! Только что окончилась, и весьма громко, история с замещением кафедры минералогии и геогнозии в Лесном институте. В ней пришлось и мне сыграть видную роль. За освобождением вакансии со смертью бывшего доцента был объявлен конкурс. Явилось много конкурентов. Но до официального признания дошло только четверо: Венюков — доктор геологии и пр. и доцент СПб университета и непосредственный заместитель Иностранцева; Лебедев — старый адъюнкт по минералогии в Горном институте, читающий уже 14 лет; Кокшаров — хлыщ и сын знаменитого академика и пролазы, еще почти мальчуган, хотя окончил курс Горного института в 1882 г., и я. Нужно заметить, что в Лесном институте настоящих специалистов по этим предметам не имеется; тем не менее ученые работы конкурентов, у кого они имеются, переданы на рассмотрение трех профессоров Лесного института, все-таки наиболее компетентных к даче подобных отзывов. Им же поручено и оценить достоинство пробной лекции, которую один за другим каждый из конкурентов прочел в тесном кружке совета Лесного института вечером 28 марта. Вот выдержки из частного письма от одного из этих профессоров, написанного тотчас после лекции к одному из наших профессоров, давших обо мне частную рекомендацию: "28/III—89 г. Сейчас я с лекций и думаю, что Вам интересно будет мнение о них. Во-первых, нужно сказать, что Ваша рекомендация блистательно оправдалась: Федоров представил мастерской, строго научный очерк о выветривании, рассказанный последовательно, систематично и без малейших погрешностей".

Дальше идет весьма неодобрительный отзыв о лекции Венюкова и неодобрительный отзыв о лекции Лебедева. О Кокшарове говорится: "Кокшаров представил не лекцию, а ответ ученика на экзамене, да и то ученика плохого. Он, например, утверждал, что если в полевой шпат

вкраплен кварц, то при выветривании кварц удаляется сначала растворением, а после него остаются в шпате пустые гнезда. Отзыв о работах, а главное, о лекциях будет составлен в смысле исключительно благоприятном для Федорова. Выборы в пятницу с 2 час. дня. По окончании их тотчас же пошлю телеграмму, а в случае избрания Федорова, я решился опротестовать выборы в министерстве".

31 марта до выборов я от всех целые дни получал поздравления с успехом, так как и некоторые профессора Лесного института открыто выражали то же мнение о лекциях. Но вот получена телеграмма в четыре слова: "Кокшаров избран, подробности после". Вчера получено письмо, в котором сообщаются результаты выборов:

Кокшаров — 5 белых, 4 черных.

Федоров — 3 белых, 6 черных.

В письме по поводу выборов упоминается о позоре Лесного института. Теперь со всех сторон получаю трогательные выражения сочувствия и часто весьма резкие выражения возмущения совершившемуся подлостью. Нужно полагать, что сподлившая сторона постаралась потропиться представить выборы на министерское утверждение до удобного момента для выражения протеста. Недаром, как я слышал, Кокшаров еще до лекции передавал знакомым, что ему "предлагают" место в Лесном институте. Я полагаю, что в этом случае успех для меня значительный. В самом деле, у нас, как везде, совершается много подлостей. Но даже в тех случаях, когда она совершалась в более тесных кругах, я не видел еще такого возмущения ею, такого более или менее общего выражения негодования. Теперь у нас в горных кругах довольно ясно выражается настроение дилеммы: кто за Кокшарова, тот за недобросовестность в ее крайних проявлениях. Начинаю готовиться к путешествию. На этот раз придется отправиться далеко вниз по Печоре и на Печорский Урал. Перед отъездом придется засесть за корректуры своего первого обширного отчета по исследованию Урала».

Евграф приводил выписки из письма и телеграммы Костычева к Ивану Васильевичу Мушкетову, который давал Евграфу их списать. Вот какие дела делаются на свете! Чем заслужил этот Кокшаров к своей особе такое внимательное отношение, и что выиграла наука от его назначения? Любопытно бы знать, какую величину представляет Кокшаров-сын в научном мире, через кумовство пролезший на кафедру?

В эту зиму профессор Любавин с семьей, самой близкой нам, переселился в Москву. Дети мои распрощались с Борей, Митей и Таней. Вместо них приехал из Москвы Эмилий Эмильевич Циммерман — приятель Евграфа по загранице. Это его сестра когда-то писала Евграфу, и письма ее были им сожжены. Участь ее оказалась печальной. Она, узнав о женитьбе Евграфа, сейчас же вышла замуж за давно к ней сватавшегося доктора. У нее уже было трое детей, когда муж перезаразил их всех дифтеритом и они все умерли, а сам бедняга остался сразу одиноким.

Циммерман был женат на дочери знаменитого актера Шумского, ввиду этого ее допустили дебютировать в Александринский театр. Она была недурна собой, с тонкими чертами лица, на сцене красива, и дома после театра я, бывало, люблюсь ею, а она смеется: "Еще бы, подмазанной да не быть красивой, тогда я без этого должна бы быть просто урод". Я не ожидала, что можно так незаметно подводить глаза и придавать им блеск. "Тебе и не подобает этого знать, это не твоя специальность", — возражал Евграф и сворачивал разговор на какую-нибудь серьезную тему. Их двое мальчиков, Миля и Сережа, были ровесниками Графчика и Милочки.

Раз, в бытность нашу у них, зашел разговор о развитии силы воли у детей и перешел на модный тогда вопрос о гипнотизме и внушениях. Будто бы можно внушить свои мысли другому человеку даже через запертую дверь, и соответственно настроенный очень легко поддается внушению. Евграф сомневался. Эм[илий] Эм[ильевич] решил попробовать на Евграфе. Втихомолку от него решено было спрятать его фуражку, а Эм[илий] Эм[ильевич] станет внушать искать ее, а после этого чтобы он вынул из карманчика часы. Вышел курьез. Во время внушения мы все притихли. Евграф покорно стоял. Вдруг он вырвался из рук Эм[илия] Эм[ильевича]. "Где моя фуражка?" — забегал, ища ее, вынул часы и заявил, что пора ехать домой. Мы засмея-

лись. "Ну, я тебе внушил искать фуражку и вынуть часы, а ехать домой не внушал, это у тебя по ассоциации идеи, а потому вы должны остаться," — упрашивал виновник ассоциации. "Ну, нет, мне просто надоело такое дурацкое стояние и потянуло к более полезному делу." На извозчике ехали сначала молча, каждый погружаясь в свои думы. "Как много загадочного в природе, — думала я. — Собственно, что такое сам человек? Неужели только сложная электрохимическая машинка? На небе мириады сияющих звезд, для чего и для кого мерцают они?" В это время Евграф прервал поток моих вопросов: "Конечно, я не могу отрицать внушения, но мне кажется, не всякому можно внушить что угодно. Истерики, слабовольные, может, и легко поддаются, но я и представить себе не могу, чтобы я поддался внушению на убийство или даже кражу, как та барышня." (Одной очень порядочной барышне внушено было украсть в лавке; она украла, в лавку вернули краденое, а она, говорят, мучилась совестью долго.) "Лучше не ломать голову над этими вопросами, а предоставить их компетентным экспериментаторам. Тут нужны опыты и доскональное знакомство с делом", — решил Евграф и успокоился. Плохо, конечно, когда сапоги начнет тачать пирожник, а пироги запечет сапожник.

Красивый и умный, Циммерман был очень интересный собеседник, и Евграф, бывало, с ним не наговорится. Его дивило, что у Евграфа в Геологическом комитете чисто чиновничья должность. "Это ты-то консерватор со своими новшествами в науке!" — как бы повторяя слова Николая Николаевича Дерюгина, говорил он. Тогда многие говорили: "Мы — профаны!" И мы, профаны, видели, что Евграф Степанович не малая величина в науке, а те, кому это ведать надлежит, не замечают. Евграф поправлял: "Не желают замечать". Все возмущались.

Прихожу как-то к Никитиным. Сергей Николаевич в этот день вернулся из Москвы. За чаем[он] говорит мне:

— Передайте Евграфу Степановичу, что его в Московском университете не признают и игнорируют его работы.

— Почему же они его не критикуют печатно? — спросила я.

— Чтобы критиковать, нужно хорошенько познакомиться с трудами, а они их, видимо, не понимают; проще игнорировать и лаять из-за угла

— Ай, Москва, знать она сильна, что лает на слона! — вот слова Сергея Николаевича.

Не скажу, чтобы это игнорирование Евграфа не удручало, но, однако, не смущало.

— Ничего, потом заговорят. Я сделал большую глупость, начав печатать по-русски. Увидим, что дальше скажет заграница⁴⁸. Она уже отозвалась в лице Шёнфлиса. Мой вывод, однако, вернее его, и он должен был со мной согласиться, а не я с ним.

У Шёнфлиса чисто фигур вычислено было меньше и он добавил, соображаясь с выводом Евграфа⁴⁹. Да, это университет! Его в Геологическом держали в черном теле чиновником. А между тем мне Евграф рассказывал под большим секретом, что чуть ли не самый видный геолог, получив для определения новую окаменелость, показывая ее Евграфу, назвал ее, а Евграф не согласился с его определением и назвал, как сам думал. Тогда этот геолог, не краснея, провозгласил: "Вот-вот, я то же и говорил". Побежал ее всем показывать под данным Евграфом названием, приписывая его себе. "Пустяк, но я за него покраснел и подивился его безастенчивости и тому, что так может ошибаться выдающийся специалист, собаку съевший в палеонтологии," — возмущался Евграф.

Видя такое отношение к Евграфу сослуживцев, я ни с кем из них не завязывала семейные знакомства. Только Сергей Николаевич с женой сделали

первые нам визит, и у нас продолжалось знакомство. Евграф отдавал должное уму и знаниям Сергея Николаевича, но ему не нравились люди крайнего безапелляционного натурализма, в этом отношении слишком прямолинейные, каким был Сергей Николаевич, и он звал его "дарвинист". Жена его, Екатерина Алексеевна, была очень хорошая, работающая личность. Из трех мальчиков Никитиных — Бори, Юрия и Димы — и часто бывавшего у них Бори Чернышева только младшему Диме был ровесник Графчик, но все же все они хорошо играли вместе, хотя и были порядочные драчуны между собою. Самый старший дружил с самой младшей моей Еней. Он перед ней представлял разные фокусы, ходил на голове, [изображал] разных зверей так, что смешил нас с Екатериной Алексеевной. Юрий с Милой играли в четыре руки на рояле. Мила в 6 лет уже играла недурно разные вещи и даже оперу "Жизнь за царя". Ее игрой все восхищались. У Мушкетовых один их знакомый, сам пианист, был прямо поражен игрой такой крошки и даже вызвался брать ее с собой в симфонические концерты, но я не решалась ее отпускать без себя.

Мои дети больше всего любили бывать у Алексеевых. Ребят у них семь человек, с моими — 10. Квартира в Горном большая, простор для беготни; шум, гам не воспрещались, особенно когда их матери не было дома. Приходишь, бывало, в воскресенье, дети все гурьбой открывают на звонок дверь, выходит Владимир Федорович, на правой руке у него Леночка, на левой Сонечка. Мама пошла прогуляться, запоздала, а малытки кушать хотят и обе начинают реветь, а он их таскает, старается развлечь. Я ему помогаю их утешать. Славные были Алексеевские ребята — добродушные и прямодушные. <...>

Владимиру Федоровичу тоже не везло. Он рассказывал нам казус, которому трудно было поверить: его сотоварищ, известный химик, воспользовался откровенностью Владимира Федоровича и выдал за свою работу в Химическом обществе изложенное ему важное исследование. Алексееву ничего больше не оставалось, как развести руками на такое нахальство и уйти со сцены. Он советовал Евграфу быть осторожным и не излагать преждевременно своих идей. Этот химик при царе впоследствии занимал важные посты и стал академиком. Напрасно Алексеева считали толстовцем, он был им отчасти, да и больше по необходимости. В деревне дети могли бегать босыми, могли жить без пересудов. Он был поборник науки, а не отвергал ее. Правда, у него было недоверие к врачам, но и денег не хватало на них. Из-за этого они чуть было не погубили одного из сыновей. Я, узнав, что у них сыпной больной с высокой температурой, прекратила свои посещения. Они решили, что это крапивница у Коли и успокоились. Потом написали мне, что Коля поправился без всяких докторов и даже пополнил, только почему-то очень бледен. Отправилась я к ним, и хорошо, что без детей. И что же вижу? Коля весь распух, и у него ясное шелушение кожи, значит, была скарлатина, а сейчас отеки от нефрита. А они мальчика усиленно кормили мясом, предполагая у него малокровие, а оно — яд при болезни почек. Я пристыдила Владимира Федоровича и посоветовала ему сделать пробу мочи на белок, и тогда он убедится в правоте моего диагноза. Он послушал, сделал анализ, открыл массу белка, благодарил и просил совета. Удивительно, что никто из всей семьи не заразился. Я им спасла Колю, вовремя захватив болезнь и вовремя посоветовав сделать дезинфекцию. Алексеевы тогда еле перебивались и зачастую занимали у нас деньги.

С получением маленького имения в Лужском уезде, недалеко от ст[анции] Плюссы Варш[авской] ж[елезной] д[ороги], они переехали туда, предложив нам занять их квартиру с условием кормить Владимира Федоровича в его приезды в Петербург. Он оставил за собой только одну небольшую ком-

нату. Мы переехали, а так как мебели у нас было мало, то он продал нам всю свою. Перевезя все, мы уехали в Кунгур. С Евграфом расстались в Перми. Для нашего пароходика Кама — как море, перед изъеденными круглыми, отвесными, как древние башни, скалами, на Чусовой он — скорлупка. Наверху сосны кажутся игрушечными. Какая величавая природа тут и какая мизерка человек перед ней. В Кунгуре на пристани шумная встреча, особенно детей. Вот и Кунгур, эта прекрасная санатория с катанием и пикниками. <...>

Тогда как мы наслаждались прекрасной погодой и благами жизни, Евграф писал:

"Это лето на Урале обещает быть холодным, хоть иногда и жарит солнце, поэтому комаров меньше. Палатка новая оказалась превосходной — не пропускает комаров; спать стало спокойнее. Насчет провизии в этом году так роскошно, что люди не могут съесть даже по полужению. Июль, а дожди, жаркие дни и морозные ночи. Отцу Паисию приходится возиться с починкой инструментов".

Вот и у нас запахло осенью: от дождей немощные улицы Кунгура превратились в шоколадную жижу. <...> Нас до Перми проводила Машенька; а из Перми мы направились уже на большом пароходе в Ножевку, куда нас еще весной приглашали на все лето сестра и зять Евграфа. Туда и Евграф хотел заехать за нами, чтобы вместе вернуться домой. На пристани в Ножевке нас встретил зять Евграфа — доктор Николай Афанасьевич Золотавин. Он, оказывается, был предоброго и пресветлого характера существо. Где он — там и смех. Усадил нас в экипажи, и мы покатили на тройке. Всю дорогу он нас смешил. Их казенный домик в пять комнат с садиком был уютен. Мальчики их — Коля, Шура и Вава — были погодки с моими ребятами. Мария Степановна, всегда сдержанная, все же приняла меня радушно. У них гостила в это время Юлия Герасимовна.

Самые младшие, Еня и Вава, сдружились и были неразлучны все время. Вава подставлял к буфету стул, залезал на него, вынимал из сахарницы два больших куса сахара, слезал со стула и, рассмотрев куски, больший подавал Ене. Мы с Марией Степановной, смеясь, наблюдали эту сцену из гостиной в зеркало. Николай Афанасьевич оказался замечательно гостеприимным хозяином; не знал, как нас только угостить и повеселить, возил в лес по грибы и за брусничкой. Устроил как-то пикник на берегу Камы с ухой из ее рыбы. Я любовалась с высокого берега родной мне рекой. Она спокойно и величественно катила свои волны в мутную Волгу. При слиянии их, с парохода, ясно различался цвет каждой реки. С наступлением темноты эффектно из костров стреляли искры, уносясь за дымом к небу, пахло хвойным дымком; вспоминался Кунгур. Дикие и красивые места около Ножевки, но куда красивее и разнообразнее окрестности Кунгура.

Мы вместе с Евграфом вернулись в Петербург. О радость, нас встретила вернувшаяся от наших из Полтавской губернии Любовь Ивановна — "наша старая собака", как она сама себя называла. У нее там вышел неудачный роман с железнодорожным сторожем. По приезде, провозившись с разборкой и уборкой, уставшие, мы постарались пораньше залечь спать. Дети уже спали. Евграф лег уже, когда я с удовольствием растянулась на свой кровати. Наступила относительная тишина, только еще у врага Евграфа, Тиме, наверху слышались шаги, но я все же погрузилась было в сон, как почувствовала, точно меня всю жжет крапива, и слышу голосок Милы: "Мамочка, меня кто-то кусает". Проснулся и Евграф. Я зажгла свет и увидела настоящее нашествие иноплеменных. Такого количества клопов за раз я во всю свою жизнь не видала. Евграфа брало такое омерзение при виде клопа одного,

и он ловил его бумажкой или вызвал ко мне за помощью, а тут — мириады!

— Ну, не больно-то приветливо нас встретил Горный, — смеется Евграф.

— Мама, это Тиме их на нас напустил, он папу не любит, — заявил полусонный Графчик.

— Не говори глупостей, скорее, они ползут снизу, от сторожей.

И откуда это дети, не слушая, все слышат? Мы всю ночь провозились, ловя отвратительных паразитов с детей. Наутро я яростно принялась за их истребление: под всеми кроватями и матрацами развешала пропитанные дегтем тряпки, и все клопы сгнули.

Из Казани переселились в Петербург Евгений Степанович и Юлия Герасимовна и поселились в большой квартире на Песках. Мы часто стали к ним ездить, и они к нам; родные близкие люди; было с кем отводить душу, наболевшую за наше житье в Горном за эти две зимы. Собственно, по научным заслугам Евграф уже и тогда имел право рассчитывать на внимание к себе, а между тем его третировали, как какого-то школьника.

В то время в Горном жили весело. Садик был в хорошем порядке. Осенью и весной в нем был клуб взрослых, играли дети, мои тоже с Любовью Ивановной резвились там. Я не влюбила этот мир Горного за его холодное отношение к такому выдающемуся питомцу, как Евграф, этот эгоистичный суетный мир, меркантильный, "дарвинистский", как называл Евграф, без искры идеала. Кроме Мушкетовых и Алексеевых, я всех избегала. Может быть, будь у Евграфа другого пошиба жена, она сумела бы всякими ходами и подходами добиться кафедры своему мужу; я же заискивать не любила и знала гордость своего мужа. И могу похвастать, что он никогда не обивал порогов у сильных мира сего. Наше правительство загнало своей политикой такого талантливого человека в подполье, где, конечно, он был не у места, и за это время теряла наука. Не попадая на кафедру, собственно, терял не один Евграф Степанович Федоров, а главное — наука. Вся эта служба консерватором отрывала его от науки. Ему почти всю жизнь пришлось тратить время не на то, к чему его тянуло, поэтому сколько же еще непочатого материала унесено теперь с ним в могилу. Сколько драгоценного времени затрачено им на то, что могла бы сделать и посредственность.

Зимою в Горном устраивались вечера друг у друга. На катке по вечерам гремела музыка Финляндского полка, собиралось большое общество. Дочки Еремеева и Тиме были центральными фигурами. Мы, собственно, были отщепенцами, и я не ходила в их компанию. Евграф ходил к профессорах по своим делам, на катке возил наших детей на кресле-саниях; вообще не стеснялся, что его игнорировали. Он говорил, что самое лучшее не обращать внимания, потому что мы от них ведь не зависим. Когда он и меня звал на каток, я под разными предлогами отказывалась и слушала только их музыку, да и та сама ко мне в уши лезла.

Над нами жил профессор математики Георгий Тиме. Еремеев был лиса, а этот — прямо волк, скаливший зубы на Евграфа, как на безобидного теленка. Когда Евграф ему преподнес, как своему бывшему учителю, свою математическую брошюрку "Аналитические формулы в улучшенном виде" (т.е. применимые и в других случаях)⁵⁰, в канцелярии Горного было много народа, а он демонстративно, взглянув только на заглавие, не читая, разорвал ее. Много было разговору по этому поводу.

Евграф имел смелость гения залезать в область других наук, чтоб проложить дорогу своей. Он же был пионер, основатель ее, до него кристаллография была не наука, собственно. За этот заход, хоть и по пути, в их

святое святых узкие специалисты его возненавидели, ругали его келейно, не имея возможности критиковать явно, не понимая его работы из-за своей плохой эрудиции. Так и Тиме мог ли понять все работы Евграфа: и геологические, и кристаллографические, и химические, и петрографические и т.п.? Он и то как-то сказал Евграфу: "Нечего стараться, если б можно было, то немцы давно бы уже выдумали"⁵¹. И это учитель! Подрезывает крылья и отнимает энергию у ученика. Потом, впоследствии, когда Евграф не нуждался в его одобрении, он, прочтя брошюрку, нашел, что формулы верны и выразил что-то вроде извинения, а потом даже надоедал Евграфу своими советами.

Этот Тиме, все время, пока мы тут жили, измывался над нами и всеми способами старался уязвить Евграфа. Так, их прислуга приходит как-то раз, приносит книгу Евграфу от Тиме и говорит нашей Любови Ивановне: «И за что только наш барин злится на вашего? Он его иначе не называет как сторожем, будто он сторожит квартиру Алексеева. Говорит мне: "Снеси вот эту книгу вот тому сторожу, что под нами". Я нарочно пошла к Николаю (сторож, живущий еще ниже нас), прихожу назад и говорю, что Николай не понимает, зачем ему книга, а сама в душе смеюсь. "Я же тебя разве к Николаю послал? — кричит. — Послал ну, к тому..., к Федорову". Я иду к сторожу Федорову, возвращаюсь с тем же. Тогда он топчет ногами и кричит, что он послал к Федорову, что живет под нами. Я тогда и говорю: "Так этот Федоров разве сторож? Он же барин, инженер"».

Любовь Ивановна называет ее умницей, что проучила его. Весь этот разговор я слышала из коридора и столько его рассказывала, что заучила наизусть. Ну, достойный это поступок профессора? А вот и еще. Слышу, в нашей кухне громко выкрикивает мужской голос; а из коридора Любовь Ивановна говорит:

— Вы ошибаетесь, господин профессор, это чад на лестнице из Вашей кухни, а наши господа давно пообедали, и у меня уже вся посуда вымыта, посмотрите.

— Дура! — кричит Тиме.

— Много лет живу у своих господ, "дуры" не нажила, а от чужого, да еще от профессора, получила. Стыдно Вам, господин! — крикнула она ему вслед. То он присылал сказать, что ему надоела беготня детей, то то, то другое. А у Алексеевых тише было?

Когда же у него во время балов всю ночь танцевали и топотали так, что все наши лампы и посуда звенели, дети просыпались, мы же молчали. Ни справедливости, ни деликатности не было у этого господина. Любовь Ивановна очень за нас обижалась, особенно когда услышала, что Тиме назвал Евграфа жидом. "Я не знаю, кто был отец у Вашего барина, немец, еврей ли, только я знаю, что у нашего папаша был генерал и дедушка — генерал", — и показывала портреты. Мы смеялись, а Евграф ей говорил: "Собака лает, ветер носит, слышали?"

Тиме иногда был просто невменяем. Раз, перед балом, зимою в мороз, приказал вымыть лестницу; образовался, конечно, каток. Гости не могли подниматься, падали. Дам тащили мужчины, тоже падая, молодежь хохотала, а постарше роптали и возвращались вспять. Любовь Ивановна смотрела в щелку и рассказывала нам, какая была потеха, пока не приказано было рубить лед ломами. В Горном раз из-за Тиме был большой переполох: его арестовали, переряженного женщиной, и, не веря ему, что он профессор, полиция его не выпускала до тех пор, пока не приехали его выручать из Горного.

Принесли нам студенты билеты на их бал в Благородном собрании. Мы

взяли и подговорили компанию. В то время Олечка со своей сестрой и ее семьей жила уже в Петербурге. Мы их и пригласили. Давка там была невообразимая. Мы поднялись на хоры и оттуда смотрели на эту кутерьму. Тогда в моде были кружевные платья и стеклярус. Он цеплялся за кружева, тюль и газ и рвал в этой тесноте все платья, к которым прикасался, и сам отрывался. Странно было видеть на разряженных: цветы — и разом лохмотья. Видим, протискивается фрак, под мышкой у него клок, расчищая дорогу дочке и супруге Еремеева. Маменька красная, гневная, рассыпая блески и тщетно подбирая висящие на ней клочки, стремится к выходу из ненавистой гущи тел. Евграф, по обыкновению находчивый на сравнения, нас насмешил: "Она курьезную разыграла для нас пантомиму, собственно сама всех задирает, а другие у нее виноваты". Ей не было дела, что изобилие народа дает студентам больше дохода. Справа за колоннами мы увидели Мушкетовых и протиснулись к ним. Евграф уехал раньше, не любя нарушать обычного режима.

Получила я из Кунгура письмо, где пишут, что пропавшее брильянтовое кольцо Машеньки нашлось. Она спускалась сверху и услышала, что что-то постукивает о выпуклые столбики перил лестницы. Она была в нижней шелковой юбке, обшитой бархатным биз. Она стала ощупывать юбку и ощутила в одном из биз какой-то небольшой твердый предмет. Подпоров бархат, вынули кольцо. Она его носила почти два года. Предсказания цыганки сбылись, а мы ее прогнали за глупые выдумки, а главное, так несправедливо было отказано хорошей прислуге, как я ни ратовала, что по одному подозрению нельзя обвинять человека.

Тут, кстати, расскажу тоже странное совпадение или случайность, как называть и не знаю. Но только, если б я не сама была этому свидетельницей, то усомнилась бы в его правдивости. Вскоре после получения этого письма мы были в гостях у Ивановых. Было много гостей; шел "картеж" на двух столах с выходами. Я, как неиграющая, сидела в углу дивана с дамами; вели разговор о мистицизме. По-моему, он страшен. Видя склонность некоторых дам к суеверию, я не рассказала о сбывшемся предсказании цыганки. В это время садится подле меня на кресло Лебедзинский и говорит: "Людмила Васильевна, позвольте Вашу руку, я Вам погадаю". Я объявила, что не верю, и пошутила, что, предскажи он мне страшное, я, пожалуй, как Пульхерия Ивановна из "Старосветских помещиков" от самовнушения умру. "Мне, мне", — заторопились дамы. Он нагадал одной, что разведется с мужем. "Никогда этому не бывать". Он успокоил ее, что ненадолго. Я думала, он шутит, и потому спросила его:

— А себе-то, небось, не гадаете?

— Я уже давно предсказал свою участь, еще когда изучал хиромантию по своим рукам. Моя участь плачевная: я умру в сумасшедшем доме, сойду с ума.

— Ну, пустяки.

И это говорил цветущий, красивый, молодой, образованный, совершенно тогда здоровый горный инженер. Конечно, из нас никто его предсказанию не поверил, и все принялись над ним шутить, что "он, верно, сойдет с ума от любви", заметила одна дама. "Он, верно, уже влюблен безнадежно, что не женится до сих пор", — кокетничали с ним дамы.

Когда я дома рассказала Евграфу, что Люциан Антонович занимается хиромантией, то Евграф отнесся скептически: "Пустяки, надо же было чем-нибудь занять дам". Скоро, однако, сбылось расхождение и схождение дамы с мужем. У них вышла из-за карт и проигрыша такая сцена, что муж убежал от нее и вернулся только через несколько месяцев. Мы смеялись и прозвали Лебедзинского магом. Приблизительно лет через пять Лебед-

зинский захворал гуммой в мозгу и действительно умер в психиатрической больнице. Он схватил свою болезнь на Белом море. После его смерти я напомнила Евграфу о предсказании. "Брось, не думай об этом, все равно не объяснишь. Может быть, в хиромантии изложена теория вероятности".

Пришла я на Пасхе к Никитиным. Екатерина Алексеевна и говорит:

— Показать Вам свое новое визитное платье? А Вы когда будете делать визиты?

— Какие визиты?

— Да по начальству.

— Надо мною никакого начальства нет.

— Как? Начальство Вашего мужа — и Ваше начальство.

— Я это не признаю и визитов его начальству собственно оттого и не делаю, что оно начальство моего мужа.

— Ну, знаете, Вы этим много теряете.

— Очень вероятно. Муж ходит, когда есть дело, и даже дети их сдружились с моими, и они ходят к ним. Начальство для того и начальство, чтоб по заслугам и способностям миловать и карать. Оно должно быть справедливое, нелицеприятное. А мой муж, если бы не Иван Васильевич Мушкетов, все эти годы сидел бы на 75 рублях со своими незаурядными способностями и знаниями. Человек должен руководиться своею совестью, а не поклонением в виде визита. Все это избитые истины, а всем миром управляет зависть; по-моему так, незлобивы только к тем, кому не завидуют. Что, разве не правда?

Она со мной согласилась и кое-что порассказала о геологическом "муравейнике".

Алексеевы нас уговорили поехать на дачу в Плюссы. Они приискали нам дачку в имении одного латыша, Ивана Карловича Стабель, — маленькую, всего в две комнаты с кухней и терраской во фруктовом саду на горке. С террасы [открывался] красивый сельский вид на поля и доли. Большую дачу в глубине занимали генеральша с двумя взрослыми дочерьми и сестрой, вдовою князя. Эта последняя премилая и предобрая была особа, полная, всегда в капоте. Она полюбила моих детей, была с ними ласкова и часто возилась с ними. Генеральша, всегда затянута, чопорная, черствая, даже суровая к своей младшей дочери Сонечке, старалась всеми способами [уличить] моих детей в каких-нибудь неблагоприятных поступках, но тщетно. Она, приехав на дачу и узнав, что есть дети, заявила безапелляционно: "Ну, значит, в это лето нам ни фруктов, ни ягод не видеть". Была она потом крайне удивлена, что дети за все лето не сорвали ни одного яблока, ни вишни. Раз она увидела, что дети собирают орехи с орешника, сидящего бордюром вокруг всего сада, а сад громадный. Она злорадно подскочила: "Кто позволил?" Оказалось, хозяйка разрешила рвать сколько угодно. Я все это, конечно, писала Евграфу, а он радовался и писал мне: "Вот видишь, мое воспитание не прошло даром и развило в них честность, правдивость и силу воли. Я теперь уверен, что мой сын не станет пьяницей, как его уже не порти в будущем гимназия".

Вечно Евграф о ком-нибудь да заботится. Точно нянька невоздержанного Иванова, особенно когда тот выпьет лишнее; а тот не прочь выпить и от радости, и с горя. Теперь Евграф поручил мне заботу о старике, отце Иванова. Он лишился места и весь в долгах, а Паисий проигрался на пароходе, и Евграф везет его на свой счет. Нельзя же ему остаться без топографа, да еще такого хорошего, как этот. Всю дорогу на лошадях их преследовал снег до самого Богословска*, откуда Евграф прислал мне телеграмму,

* Ныне г. Карпинск. — *Примеч. сост.*

а из Никито-Ивделя письмо. Вот оно:

«Всеволодоблагодатск, 19 мая [1890 г.]»

Моя милая, моя любимая, неоцененная душа, голубочка, ты не можешь себе представить, в какой степени мысли мои всецело поглощаются тобою, когда мне приходится попасть в уединение, как сейчас. Только вчера послал тебе из Мостовского письмо, из которого ты могла заключить, что я сейчас должен быть на Денежкином Камне*, но вышло иначе. Меня крайне удивило, что никто из местных жителей не приходит ко мне наниматься, а только приплыне. Оказывается, что именно теперь восхождение на Камень считается совершенно невозможным. Камень еще сплошь покрыт снегами и притом толстыми, но под влиянием двух-трех теплых дней снега эти разрыхлились, и ходить по ним стало рискованно или, по крайней мере, невозможно трудно. Мало помалу все это выяснилось: не удалась даже предполагавшаяся экскурсия по Сосьве, так как только что хотели по ней отправиться вверх, а она страшно прибыла и стала непроездною; по берегам у нее сплошь был разбросан лед, который теперь понесло, так что ко всему присоединяется еще ледоход. Скрепя сердце, я должен был констатировать невозможность экскурсии и пожалеть о даром потраченном времени и деньгах. Из Петербурга я смело мог бы выехать 10 мая, а теперь придется пробыть в Ивделе около недели. Все-таки Ивдель я предпочитаю пред Богословском, и причина этого предпочтения кроется в моей дикости.

В Богословске и в Турьинских Рудниках** меня встретили, что называется, с распростертыми объятиями, и управляющий округом Фигнер, по-видимому, посвятил мне почти целый день, несмотря на бесконечную цепь забот, хлопот и занятий, которыми он теперь завален. Несмотря на мой настоячивый отказ, он принудил меня переселиться к нему в его обширную квартиру и просто заставил провести у него два дня. Один день был день специальных удовольствий: утром он показал мне завод и все объяснял, затем свез нас по железной дороге в Филькино на Сосьве, оттуда назад проехали в рудники, куда нас приглашали по телефону. Телефоны в Богословске проведены почти к каждому чем-нибудь заведующему и находятся в вечной работе, особенно те, которые проведены к Фигнеру; с ним нельзя просидеть 10 минут, чтобы в это время два или три раза звонок не вызвал его к телефону. На рудниках мы провели вечер допоздна. Несчастный отец Паисий снова проигрался (на 5 руб.), а я-таки маялся беседами с хозяйками, управителем рудников Шамариным и его женою; оба они мне очень понравились и, к величайшему моему удовольствию, эти несколько часов были для меня даже приятны. Несмотря на все это, я все-таки постарался поскорее удрать из Богословска, дождавшись лишь Лебедзинского, который телеграммою предупредил о приезде. И вот с тех пор я отделился от компании, а неудавшаяся экскурсия заставила меня возвратиться на общий путь и привела к продолжительному и полному одиночеству. <...> За мою побочную экскурсию я отчасти вознагражден лишь тем, что познакомился с местом будущего медного рудника и мог снять вблизи Денежкин Камень. <...>

21 мая с. Никитоивдельское.

Второй день просиживаю здесь, по-видимому, осужденный на продолжительную тоску, так как даже главные свои вещи оставил в Петропавловске с просьбою их доставить. Вчера перед отходом почты написал Григорьеву корреспонденцию о голоде во Всеволодоблагодатске для помещения в газете, начал писать новый рассказ "Страшная встреча". Получил от хозяина собрание сочинений Гл. Успенского. На меня произвел большое впечатление "Хороший русский тон", в котором старая барыня, слишком напоминающая Цебрикову, характеризует теперешний упадок русской интеллигентной жизни сравнительно с былым. Тут сквозит исключительно женская точка зрения, но правильно ли изложена хоть она? Приходило мне в голову переписывать свои очерки, составляемые в карандаше, в письмах, но это почти неосуществимо⁵². Теперь все-таки переживаю самое трудное время экспедиции, хотя физические муки еще не появлялись: нет ни комаров, ни лишений в пище, ни крайнего утомления. Иногда только является ощущение наслаждения природою, а вообще берет какое-то раскаяние, особенно теперь, когда, собственно, я взялся, в сущности, не за свое дело.

Р. Ивдель. 24 мая. К ночи.

Сегодня я в первый раз готовлюсь спать в палатке и то только потому, что выехал вверх по Ивделю для снятия фотографических видов. Завтра же должен вернуться в село. Благодаря жарким дням вода велика и река шумит; зелень на деревьях едва показывается. Безоблачно, а сейчас стало холодно, комаров до сих пор почти нет.

26 мая.

Милая, пишу перед самым отъездом. Не описываю некоторых подробностей, довольно скучных и неприятных, двух последних дней, отчасти благодаря торопливости. Шлю тысячи горячих поцелуев тебе и детям. Представь себе, что сейчас все раскурились, но, садясь на коней, все остаются безусловно без табаку, так что даже Иванову и нашему новому курящему доктору придется обойтись без табаку; в экспедиции и запаха табаку не будет. Любопытно, как это выйдет с отцом Паисием. Люциан Антонович и прочие шлют поклон. Твой Евграф.

*Гора на Северном Урале. — *Примеч. сост.*

**Ныне г. Краснотурьинск. — *Примеч. сост.*

Да. Ты, мой бедный Евграф, весь почти в этом письме: неутомимый работник, казался себе беспомощным ребенком в практических делах, с энтузиазмом принимающийся за порученное ему дело и исполняющий его с елико возможной добросовестностью; тогда как весь пламень его души рвался к его теоретической научной работе, а судьба ему навязывала практические работы, хотя и не без пользы для общего дела, но отрывала от излюбленного им дела. Ему закрывалась дорога к нему, и он тосковал, когда не был занят по горло.

Хотя он и жаловался на невоздержанность своих компаньонов, их пристрастие к вину и вину, но все же тут подобрались хорошие люди, лучшие из обыкновенных людей: Кузнецов даже стал впоследствии академиком. И Евграфу, как ни претили ему карты, лучше бы было не избегать их компании и не оставаться одному. Они были люди как люди, с их безобидными страстишками и привычками и, когда дорывались до угощения или карт, то были как рыбы в воде и как никак отвлекали Евграфа от его мрачных дум. Иванов мне не раз говорил: "Евграф Степанович, собственно, не нашего поля ягода, он не от мира сего". Что правда, то правда. Он рвался на работу, стараясь заглушить работу мозга мускульной.

У хозяина нашей дачи была небольшая семья. Он — грузный, жена — предобродушное создание — вечно за ткацким станком, солидная дочь Эмилия, с которой я почти не имела никакого дела, а только Любовь Ивановна, сын Карл лет 19—20 и младшая дочь Роза 16 лет. Это была настоящая роза, здоровая, краснощекая, симпатичная хохотушка, в простые дни при работе бегающая босая с подоткнутой юбкой, а в праздники нарядится, что барышня, но в дмотканые материи. Она сдружилась с Милой: где она, там и Мила. Они играли в четыре руки на фортепиано; 6-летняя Мила куда лучше играла Розы: та ускоряла такты, и Мила ее учила. Роза с малых лет училась у учителя музыки. Сам Стабель выписывал немецкую газету. Усадьба была большая с двумя фруктовыми садами, запущенная, с полуразрушенным обширным помещичьим домом, и для восстановления требовалось много хлопот. Они купили выморочное имение⁵³. Сын их без устали работал и повсюду брал Графчика с собой. Бывало, видишь — въезжает большущий воз сена, а наверху кудрявая головка Графчика. Тут славное было житье. Детей все полюбили, даже генеральша заблаговолила. А хозяйка просто заобожала Еню: "Мой Еничка, ах, мой красавица Еничка!"

Меня уважали и выражали большое почтение за мое удачное лечение все крестьяне. За 1/2 версты от нас была небольшая деревенька Лишевицы. В ней, оказалось, жила на даче моя знакомая Лисовская с дочкой Муней. Муж ее, известный библиограф, приезжал по праздникам, и тогда устраивались общие гулянья и пикники по окрестностям, в которых я не могла принимать участия, так как каждый праздник Любовь Ивановна будила меня раньше обыкновенного: "Вставайте, посмотрите, что к Вам понаехало народу, издалека даже".

Выхожу на терраску — ее ступеньки и траву вокруг нее облепили сидящие и лежащие больные. Чисто Силоамская купель⁵⁴. Так и провожусь, бывало, весь день с ними. Я там на много верст приобрела большую славу как врач. Я была неплохой диагност и потому удачно помогала. Брала только у тех, кто давал и что давал. Прожив там 1,5 лета, я навезла яиц, масла топленого пропасть, а сушеных грибов, яблок и варенья на целые два года.

Удивительное дело, мне пришлось прививать оспу сотне детей, даже 11—10-летним, а это так недалеко от столицы. Фельдшер обязан был разъезжать по пунктам с прививкой, а меня крестьяне умаливали о прививке, и я сама ездила в Вольное экономическое общество в Петербург.⁵⁵ <...>

Бывали курьезы в моей практике. Так, одной женщине прописан был мною рецепт, и она должна была получить лекарство в аптеке в Луге; немного погодя, приходит и говорит:

- Никак не поймаю доктора-то.
- Да зачем тебе доктор? Ведь я тебя лечу, — спрашиваю.
- А рецепт-то подписать?
- Да ведь я же его тебе подписывала, чего же тебе еще?
- А аптека разве отпустит?
- Конечно, я же доктор.
- Да какой же ты доктор, коли ты баба?

171 верста отделяет эту окрестность от Петербурга, и она даже не слышала о существовании женщин-врачей. Мужья их жили там, [работая] кучерами, дворниками, а жены многие — в кормилицах и, возвращаясь, живут опять в грязи и вони. Поразительная косность. Так, мне пришлось посещать болевшую падучей, бывшую кормилицу. Вхожу в калитку — крытый крышей двор, в жиже навоза настланы две доски к крыльцу, пока идешь по ним, то эта жижа хлюпает, темные-претемные вонючие сени, половину избы занимает русская печь, выгреблены тлеющие угли, распространяющие яды углекислоты; в маленьких окнах нестворчатые двойные рамы без форточек; стекла мухами загажены; мух мириады повсюду, и они облепили больную.

- Почему же вы хоть окна-то не вымоее? — спрашиваю.
- Да не намоешься их.
- Чего же вы мух не выведете?
- А они опять налетят.

Много мух навозных, больших. Тут нужна была большая культурная работа. Рядом с крестьянами — латыш-помещик. Обидно.

Жара. Июль. Мои все ушли гулять с Любовью Ивановной. Я одна сижу на терраске с книгой. Тишина, только птички поют, стрекочут стрекозы мимо меня, кузнечики пиликают, каждая букашка счастлива по-своему. Сижу я вся в зелени, кругом аромат цветов. Кажется, какая дивная жизнь, какое, собственно, счастье жить, дышать... Положительно человек создан для счастья, но он не умеет его создать; для того чтоб быть счастливым вполне, нужно, чтоб и кругом тебя все были счастливы. Я раз мечталась. Вдруг — шорох. Сзади раздвигаются кусты и передо мною в них лицо мертвеца. Аж жутко стало, хотя я не робкого десятка. Оказалось, это из Лишвиц больной гастральгией, про которого мне давно говорили, что он иногда своим криком не дает по ночам спать окружающим. Я лечила только тех, кто сам ко мне обращается, а не навязывалась. Он ездил за 50 верст к земскому врачу. Тот, играя в карты, долго заставлял себя ждать всех больных, а этому прописал только касторку, которая при этой боли ни к чему. Приходила ко мне баба с болью в руках и, не заставая меня несколько раз, рассердилась и пожелала мне: "Чтоб у ней ноги отсохли и болели, как у меня руки". Лисовская гуляет как-то и видит: эта баба ползает на коленках. "Отчего ты к Людмиле Васильевне не покажешься?" — спросила Лисовская. "О, матушка, за нее-то меня Бог и наказал, я ей пожелала болеть-то в ногах, а хворь-то на меня накинута". У нее оказался сочленовный острый ревматизм, начавшийся с рук. Я ее вылечила салициловым натрием, а она осталась в уверенности кары Божьей.

Алексеев часто увозил нас на своей лошадке в двухколеске к себе в крошечное именье, где вся семья жила по-крестьянски, т.е. всю работу — и полевую, и домашнюю — исполняли сами. Пока это было им в охотку. Я им предсказывала, что они не выживут тут так долго. При этой затее как они будут учить детей? Да и устанут они оба в конце концов, что уже и сказывалось на его жене, которая проявляла и тогда уже некоторую раздра-

жительность; месит тесто: "Уф, устала". Бросается на скамью. Изба у них в две большущие комнаты с обширной русской печью; семья не маленькая, устанешь работать ухватом. Летом здесь хорошо, но зимой в заносы трудно.

5 июля рождение Ени было отпраздновано торжественно. При утреннем нашем выходе мы были поражены видом нашего балкона; он, как в Троицу, разукрашен был березками, на столе в вазе большой букет цветов, бутылка сливок с венком, блюдо с венком и на нем 2 ф[унта] сливочного масла, корзина с разными ягодами. Это хозяйский подарок, <...>

Вскоре после этого торжества я получила пренебрежительное письмо от Евграфа. Оно меня очень озаботило. Он пишет:

"Ушминский склад. 11 июня [1890 г.].

Моя драгоценная, не везет мне чего-то в этом году; все как-то не удается. Вот и сейчас я как бы состою в лазарете. Мне сейчас нужно было бы выехать на Ауспию вместе с Лебедзинским, только что отправившимся на Сосьвинский склад, и я, встав довольно рано, сделал было все приготовления и начал натягивать сапоги, но здешний слуга, по неразумию, смазав их мазью, повесил на солнце, отчего они так высохли и отвердели, что надеть их, казалось, нет возможности. Не смоги надеть правый, я принялся за левый и с некоторым усилием быстро надел, но почувствовал, что что-то надорвалось в области поясницы, т.е. то самое, что уже раз случилось со мной 2 сентября 1887 г. и после чего я с собою стал брать бинты. Наш доктор меня туго забинтовал, но я все-таки помучился и сейчас сижу забинтованный на складе. Я уже писал тебе о неудачном вырывании зуба; к счастью, после того я почти не страдал от зубов, хотя нахожусь под постоянным опасением зубной боли. Но в этом году меня преследует еще одна болезнь, от которой не имею никакой надежды отделаться все лето — это кровотечение из носу. Первый раз оно случилось 28 мая утром, после первого же ночлега под открытым небом, при утреннем умывании, и с тех пор оно преследует меня чуть не половину дней, преимущественно по утрам и очень часто при умывании. На днях я с отцом Паисием в течение пяти дней производил весьма утомительную экскурсию на Чистоп*. Во все это время у меня только раз началось кровотечение, именно в тот день, когда по случаю ветра мы почти не работали, и то от прикладывания снега, около которого мы ночевали, кровь быстро остановилась. 8 июня в полночь мы, страшно утомленные, пожалуй даже переутомленные, вернулись сюда. Переутомление было столь сильно, что первую ночь мы с Ивановым почти не спали; вторую ночь еще сильнее чувствовалось утомление, но все-таки спали, хотя и не хорошо, и только я почувствовал себя пришедшим в полное нормальное состояние, и вот, как встал, так вскоре и кровь... Вот и поди! Как тут быть?

Каков отец Паисий? С 28 мая, когда он выпивал и раскуривал с одним из местных золотопромышленников, он до сих пор не выкурил ни одной папиросы, хотя я лично несколько не сомневаюсь, что, если бы из нашей компании нашлся кто один человек, взявший в руки папироску, то и отец Паисий оказался бы в числе курящих. Но теперь по уговору никто не курит и, хотя встретившись с золотопромышленником, отец Паисий, видимо, испугался, что взял с собою мало табаку и моментально купил весь табак, какой ему тогда можно было получить, однако, следуя общему примеру, он соблюдает почти воздержание. Он уже готов признать за собою большую силу воли, но я в этом крайне сомневаюсь и полагаю, что весь запасенный им табак будет в свое время выкурен.

Наша экскурсия на Чистоп 4—8 июня произведена как раз в критическое время перелома с зимы на лето. Значительную часть дня 4 июня я еще шел по снегу; около Ушмы едва показались почки, а еще выше деревья были голы, как зимою. Однажды я через довольно большую речку Чопорью, впадающую в Ушму подле склада, переходил через грандиозный ледяно-снежный мост, который и снял фотографически. 8 июня вечером из камней в первый раз как бы посыпались комары, деревья зелены, а видимый издали снег почти растаял; громадные снега на гребне Урала тают с большою быстротою, так что вода в реках сильно поднялась; дни стали жаркие, даже ночи становятся теплыми; сейчас в воздухе парит, ходят густые облака или тучи и чувствуется близость грозы.

12 июня. Ауспия.

Судьба на недели привязала меня к этой речке, чтобы руководить разведками. Вчера, по болезни, я сидел на складе, а сегодня во втором часу я отправился на присланных для меня лошадях. На неделю я остаюсь почти как один, и в такие минуты мысль моя всецело поглощается тобою, и чем бы я ни занимался, я ловлю себя на этой мысли. С сегодняшнего дня начинается моя разведочная деятельность. Я чувствую себя в весьма комичном положении. Стараюсь заговаривать и требую отчета от штейгеров, но, видимо, они мало обращают на меня внимания, а я сам пока не решаюсь проявлять резкой самостоятельности. Сколько раз приходит мне в голову, что напрасно я взялся за это дело; может быть, это даже недобросовестно. Посмотрим, что будет³⁶.

* Гора на Северном Урале. — *Примеч. сост.*

14 июня. Там же.

Только что отобедали, хотя и не знаю, который час, так как у меня часы часто останавливаются, и я ставлю наобум. Вчера больше туманило, а сегодня больше все лет дождь, а так, как я расположился на биваке у реки, то и опасаясь, что как-нибудь вода меня отсюда спихнет. Не могу в точности передать испытываемые мною чувства. Преобладает сознание, что я здесь лишний, но еще даром служу предметом зависти. В самом деле, несмотря на дождь, в палатке у меня хорошо, имеются всякие нужные предметы; есть шуба, чтобы закутаться, башмаки и чулки для перемены промокших, и вообще, войдя в палатку, я даже в самом неблагоприятном случае, как сегодня, быстро перехожу в нормальный вид. Мало того, даже выхожу я из палатки, собственно, для очищения совести. Ведь и без меня работа шла бы своим порядком, больше я сам присматриваюсь к частностям работы. Теперь скажу о рабочих в шурфах. Что им приходится работать мускулами до утомления — в этом еще нет ничего удивительного. Один выбрасывает лопатой камни с дна шурфа на землю больше, чем на сажень; два другие, изредка чередуясь с третьим, наеивают на насосе, четвертый без отдыха разрубает бревна на плахи для крепей и иногда заменяет кого-нибудь в шурфе. Но что должно быть особенно тяжело — это проводить целые дни в воде и холоде. Ведь они только что прорубили промерзший слой почвы, значит, вода под ним не может быть теплою, а между тем, они буквально целый день стоят в этой воде и производят в ней всякие работы: выбирают и выгребают породу, забивают крепи. Руки постоянно леденеют, так что они часто греют пальцы у рта, а при всяком взмахе лопаты, а тем более ударе балды в воде, они густо окатываются холодною мутною шурфяною водою, будучи одеты наголо в одной рубашке, так как иначе было бы даже тяжело работать. Какое им дело до дождя, когда и без того им некогда просохнуть. Какое им дело до непролазной грязи на дороге до шурфа, так как худшие места этой дороги едва лучше, чем стоять в шурфе. И при всем том здорового, крепкого русского человека не покидает бодрость и веселость духа; они, хоть и не поют, но улыбка часто показывается на их устах. В довершение, придя домой и плотно поевши, они спят почти под открытым небом (берестяной балаган защищает только с одной стороны), не имеют достаточно теплого покрывала, так что, когда тухнет огонь, зуб на зуб не попадает и даже не для всех хватает надежной подстилки (кошмы). Я нахожу, что иштейгер, ведущий почти такую же изнеженную жизнь, как и я, также почти бесполезен, так как по установившемуся в партии порядку каждый более или менее знает, что ему делать, чередуются по-товарищески. Играть же роль просто надсмотрщика очень не похвально...

Вот что между прочим томит Евграфа — его привилегированное положение. Ну, а как быть? Нужно же, конечно, более привычному нести черную мускульную работу. У Евграфа была своя собственная палатка, а Лебедзинскому, верно, не было отпущено средств из казны на палатки для рабочих. Народная молва говорит: "За битого двух небитых дают". Ну, а за гениального? Его не оценишь. Его беречь надо.

Несмотря, однако, на спянье под дождем и изморозью, никто у них простудой не хворал. А Евграф всегда по приезде с Урала схватывал насморк уже в Петербурге. Вот что значат микробы. Там воздух чище. Но Евграф устал за эти 7 лет от трудной экспедиционной работы. Да и не он один, все его спутники утомились и радовались, что это уже последний год их мытарства. Но без экспедиционного жалованья Евграфу предстояло ограничиться 75 руб. консерваторского жалованья. Не умирать же от непосильной работы в сырости и холоде! К тому же я кое-что прикопила от экспедиционных денег. Проживем! Лелею надежду больше не расставаться.

14 августа, в Милочкино рождение, балкон наш так же был разукрашен, как в Енино, только вместо ягод корзина наполнена была фруктами и на разукрашенном цветами столе, кроме сливок и масла, красовался поросенок. Нас всех трогало такое внимание хозяев. Княгиня подарила Миле на три рубля серебряных пяточков, и Милочка считала себя чуть не Крезом. Мила была ее любимица: ее восхищала музыкальность Милы, ее мягкий нрав и разумность не по летам. Мила действительно поражала своими способностями. С ней заниматься было прямо наслаждение. Она воспринимала все быстро и была, собственно, самоучкой и гналась за Графчиком, а он был с ленцой. <...>

Евграфа радовали письма детей, и сам специально для них писал интерес-



Семьи Федоровых (правая часть снимка) и Золотавиных (семья сестры Евграфа Степановича).
В центре мать Юлия Герасимовна, слева сидит брат Евгений Степанович.

ное что-нибудь. Например, он из Вятской губернии им писал даже не только для них интересное, но даже поучительное.

"Прошу прочесть детям. В здешних местах водится много ужей, но мне до сих пор не удалось наблюдать живых ужей. Замечательно, что по рекам ужи водятся чаще всего у мельниц. Отчего это происходит? А вот разберем. У мельниц ставится плотина, загораживающая речку, а для этого вбивается бревенчатый сруб, а по сторонам набрасывается целый вал хворосту, а хворост засыпается землей, или, если есть, заваливается громадными камнями. Для змеи нет приятнее, как где-нибудь, где нагромождено много колоднику или хворосту; человек боится тут сломать ногу, а змееныш заберется в самую чашу и там наслаждается. Кушают они больше всего мышей, а, вероятно, около мельницы и мышей побольше, чем в других местах. Вчера видел на куче хвороста двух сильно свернувшихся дохлых змей (мужики отличают ужей от змей, последним именем они окрещивают гадюк и вообще тех, которые жалят ядовитыми зубами). Вчера же смотрел, как путешествует рак по дну реки. Он, видимо, очень ленив и часто, часто останавливается, а когда сидит на месте, его и не узнаешь и примешь просто за пятно из водоросли или какой-нибудь грязи, разбросанной клочками по дну реки. Видел, как рак подцепил клешнями маленькую рыбку и плотно держал несчастную. Часто приходится мне видеть, как маленькие рыбки, удирающие от щук и других хищников, выскакивают из воды и делают несколько прыжков на воздух. Впрочем, нередко прыгает и крупная рыба. На днях одному из здешних мужиков прямо прыгнула в лодку порядочная щука. Зачем играет эта рыба — не знаю".

Конечно, не знаю, многие ли отцы так внимательны к детским письмам, но Евграфа нельзя в этом винить, он всегда на них отвечал. Так и теперь обоим ответил, хотя Графчик и не дописал.

"Милая Мила. У нашего главного конюха Варушкина есть рыжая собака с острым носом и очень ласковая и добрая; когда ее гладишь, она не знает, что делать от удовольствия. Твой папа ездит на высоком, долгоном, но тощем саврасе; хотя этот конь и слаб, но когда он скоро ходит, то все другие кони должны бежать рысью, потому что его ноги все равно, что ходули. В толких местах он, однако, часто падает, а потому папа заранее встает на таких местах и идет пешком. Очень благодарю тебя, дорогая Мила, за твое первое письмо и ожидаю вскоре (22 августа) получить от тебя с почтою и другое. Жду не дожидусь, когда с Вами снова встречу. Твой любящий папа Е.Ф.

Ушминский склад. 11 августа.

Милый Графчик. Умная Мила подала хороший пример, первая написала письмо папе, который так вас любит. Да и тебе не следовало бы бросать письмо недоконченным, но стараться написать папе обо всем важном и интересном, что у Вас было летом. Там, где теперь живет папа (в деревянном доме), кругом почти горы, а с южной стороны очень, очень высокая гора Чистоп, а вправо от нее тоже высокая гора Пакна, но много меньше Чистоба. Сейчас темная ночь. Небо ясное, и много звезд ярко блещут. Над Пакною разгорелся месяц ярким полукругом, но у вершины Чистоба спустилось густое облако, как будто этого высокого места нам видеть не следует. Вчера, когда я проезжал верхом на своем коне, издалека увидел гребень Урала, я заметил, что одна из самых высоких гор — Лундхусен, с которого берет начало река Лозьва, — как новым чепчиком, покрылась сверху свежим снегом. Твой любящий отец Е. Федоров”.

Мне только раза два за лето пришлось съездить в Петербург по делам корректур Евграфа. У него уже тогда шла деятельная переписка с заграницей. Мах Вауер запрашивал у него рефераты со статей. Конечно, мне приходилось заезжать к матери и брату Евграфа. Они жили на собственной даче в Полюстрове, где завели коров.

От Евграфа получают сборные письма. Например, начинает 30 июня, продолжает в июле:

”Когда пишу это письмо, по моим 9 часов; у Вас в это время нет еще и семи и Вы, вероятно, в самом разгаре веселья; может быть, пьете или только что отпили шоколад в честь новорожденной, а я почти собираюсь спать. Сегодня к вечеру долго шел дождь и поднялся столько комаров, как я их еще не видал почти в этом году. Спокойной ночи. От души радуюсь, если Вы веселитесь сейчас, как я это воображаю. Не дай Бог чего другого”.

Продолжает 23 июля, когда мы уже давно отпраздновали два рожденья. Недолголюбивал, когда ему по необходимости работ приходилось быть в складах. Так, 11 августа пишет из Ушминского склада:

”Наконец вчера я возвратился сюда после довольно утомительного переезда с Сосьвинского склада, где я пребывал долгое время почти без всякого дела, кушая власть, как в Петербурге, почти немисливо; и что еще составляет последнюю новость экспедиции — в течение нескольких дней подряд проигрывали в винт с пересадкой (по 1/400), причем я большею частью оставался в маленьком выигрыше. Я назвал теперешнее положение экспедиции временем падения Римской империи и, следовательно, разврата. Публика, которая при моем отправлении на Виссум была некурящей, теперь прибыла на Сосьвинский склад такую же курящую, как прежде, и за отсутствием настоящего табаку тянула махорку (впрочем, во время курения махорки присутствии в помещении склада не допускалось). Ты, если увидишь Марию Антоновну (жена Иванова — Л.В.Ф.) предложи ей сделать вид, будто она не знает, что Пасенька снова начал курить, а так как с ним вместе бросила курить и она, то для курения ему придется секретно выходить из дому и прогуливаться по улице, что составит полезный моцион. Здесь я чувствую себя как нельзя лучше. Я заведу разведками на р. Петропавловской, но уже к моему приезду здесь найдено хорошее золото, так что работа на этой речке и заведование разведками приобретает вид настоящего дела. Вероятно, 2 сентября выедем отсюда и, если отправлюсь далеко вниз по Лозьве, то еще из Ивделя отправлю письмо с отцом Паисием. Горячие поцелуи и радостный в ожидании встречи. Твой Евграф”.

А я получила это письмо 27 августа только. За это время чего-чего только не передумала. Ведь его партия в одно лето была надолго застигнута туманом на голых камнях гребня Урала без пищи, без огня, в легкой одежде, и их спас вогул, рабочий Каслопов, с опасностью для жизни, рискуя провалом в расщелины, пробравшийся в склад за помощью. Евграф всегда с воодушевлением рассказывал о геройстве Каслопова и повесил его фотографию в своем кабинете. А сколько раз приходилось Евграфу вместе с россыпями скатываться по кручам, спасали его рабочие веревками. Теперь скоро конец этим беспокойствам. Теперь только забота, на что жить. Но я не любила заранее хныкать, я была в этом отношении беспечнее Евграфа.

В сентябре к приезду Евграфа мы вернулись с дачи в Горный. Дети пользовались садиком. Девочки сдружились с дочерью Карпинского, как Еня их звала, ”Карпишны”. Даже весною Маруся, расставась с Милой, при отъезде

нашем на дачу заплакала. Зимой катались также на катке; извлекали удовольствие от поездки Евграфа за жалованьем, катаясь с ним на извозчике, заезжали позавтракать к бабушке. А особенное удовольствие доставляли всем *jour fix** у них.

Собиралось порядочно гостей и детей, устраивались квартеты. Евгений и Евграф играли на скрипках, виолончелист был виртуоз, попавший впоследствии в оркестр Мариинского театра, на рояле менялись играющие, так как мало кто мог верно держать такт. Одна дама даже блестяще играла, а с квинтетом никак не могла сыгратся. А Милочка-малютка уже и прошлую зиму, когда ей было тогда только 6 лет, аккомпанировала, сначала более легкие вещи, а потом все труднее и труднее. Ножки ее еще не доставали до педали, и она, собственно, не сидела на стуле, а только у самого его кончика и, не теряя такта, успевала нажимать педаль, так быстро это делала; все удивлялись ей. Все дети, бывало, бегают, резвятся, зовут ее, а она, малютка, отказывается от игр. Что такое талант? Я только знаю, что он требует бережного к себе отношения. Гений — это талант плюс терпение. Они играли из "Фауста", "Руслана и Людмилы", Шуберта, начали с Данкля. Мила уже в 7—8 лет играла все оперы в четыре руки с Евграфом. Начала ее учить я, но куда, потом отстала от нее. Евграф просто наслаждался, играя с нею. Удивительно, что такой еще ребенок так мог понимать музыку.

Конечно, на этих вечерах не обходилось без винта. Редко, но все же мне приходилось заменять партнеров. Со мной винт становился еще шумнее, изгнанная, я заваливалась в темной спальне на диван, моментально засыпала, и меня будили к ужину. У нас тоже не обходились собрания без карт. Особенно ярые спорщики были Иванов и Кузнецов, они, и выйдя из-за карточного стола, не унимались долго.

С 1891 г. на нашем горизонте появились первые ученики у Евграфа: Вульф и Карножицкий. Вульф в Горном показался не более двух раз, а Карножицкий несколько больше.

Мы урезывали себе во всем, стараясь наводить экономию, ввиду того что Евграф не рассчитывал никуда ехать в это лето. Хотя дачка у Стабель в Лишевицах и стала мала, но из-за дешевизны мы с Евграфом на это лето оставили ее за собой. Мы переехали в мае. Евграф должен был по субботам на воскресенье приезжать к нам. Он всю зиму после службы просиживал над своими научными работами, а сейчас остался за корректурами и рефератами для немцев. Верно, получит отпуск со службы. Я писала ему по приезде на дачу:

"Привет тебе в твоём уединении, мое ненаглядное несносное создание. Как-то ты там поживашь один? Вспоминаешь ли нас? Мы тебя часто вспоминаем. Так как бывает совсем не так, как предполагаешь, то и с нами вышло все не так, как мы думали. Приехали, выходим, а нас никто не встречает, хорошо еще, что встретили знакомого крестьянина, он приехал на паре, чтобы везти пассажиров со станции. Я к нему. И что же оказалось? Мост, по которому едут в имение Стабеля, перестраивается, и прямо нельзя проехать, а нужно в объезд, верст 12. Представь мою досаду, так как за это удовольствие пришлось заплатить 3 руб.: нам пару, да для вещей одиночку. Ехали местами по ужасной дороге, Любовь Ивановна порядком трусила. Приехали на дачу около 6 часов; а здесь, оказывается, нас и не думали считать своими жильцами, так как не получили письма, где я извещала, что беру дачу, а твоё извещение, что мы выезжаем, пришло только что перед нашим приездом, посему постройка не происходила, и мы теперь занимаем две комнаты в большой даче, а гуляем по всей. Иван Карлович обещает так или иначе нас устроить и рад, что мы приехали, а Софью Петровну (генеральшу) не хочет. Мы сегодня хорошо погуляли, дети носятся вволю. Благоприятствие воздуха здесь какое, просто чудо! Хотя мне тоскливо без тебя. <...>

* Определенный день недели для приема гостей (*фр.*).

Многим дачникам пришлось хуже моего, и никакая копейка не могла помочь. Приехав на машине, наняв лошадей, на нашу сторону никак попасть не могли, так как все три моста, какие существуют, сломаны и строятся новые, и дачникам приходится жить на той стороне или возвращаться вспять. Дети носятся до упаду, им нет дела до наших российских порядков. График все с лошадьми, возит песок в сад, сам правит. Все бы хорошо, да одолевают комары, как на Урале".

Сейчас Евграф сидит в душном Комитете за своими канцелярскими обязанностями, зато без комаров; а придет домой и засядет за свою научную работу. Сколько было поводов подорвать в нем уверенность в своих работах. Он чувствовал и видел, что к нему относятся, как к ненормальному субъекту. Еремеев так прямо вертел пальцем у лба, когда обращались к нему [узнать] о его мнении об Евграфе. Его работа "Теория структуры кристаллов", поданная на Макарьевскую премию, была отвергнута академией³⁷. В списках конкурентов на премию Е.С. Федорова не оказалось. Эта работа сложная: она и кристаллографическая, и минералогическая, и математическая. Она была поручена для оценки математику К. Андрееву, он ее и забраковал. Это было Евграфу передано по секрету Гадолиным, который даже дал прочесть ему отзыв Андреева. Евграф прочтя его, прибежал ко мне возмущенный: "Как ты думаешь, какое главное назначение Академии наук? В ней должны быть только такие светила науки, которые могли бы оценивать работы будущих светил, начинающих выдающихся научных работников. Членов должно быть немного, но большой эрудиции и ценности. Так? А ты представь, как проявил себя академик Андреев*, еще математик! Он мою работу не понял, так как ни кристаллографии, ни минералогии он не знает. Откажись, коли не компетентен. Верно, помешал гонор. Он дал отзыв только по предисловию, где я как раз опровергаю выводы, противоположные изложенным в моей работе. Да какой же это тогда математик! И какая же должна быть совесть у этого человека, когда он решается браковать то, чего не понимает?"

Евграф долго не мог забыть этой несправедливости. Его, кажется, не так удручало неполучение премии, как человеческая подлость. Характерно [для] Евграфа, хотя называя его почему-то "волшебником", кутила-академик Шмидт отозвался: "Er ist kein akademischer Mann"³⁸. Да, Евграф был не от мира сего. Если бы все люди были такими, как он, то, пожалуй, могло бы быть счастье на земле.

Наконец, приехал к нам Евграф и как раз, когда погода изменилась к худшему, даже пошел снег. Роза в заботах о цветах забегала, прикрывая клумбы рогожками, я и Евграф ей помогали. Она была в восторге от нашей помощи, милая девушка. Всем хозяевам понравился Евграф своей простотою. <...> Однако Евграфу пришлось приехать к нам только раз. Ему предложили ехать на разведки на Белое море; меня же пригласили наши в Ромны, Полтавской губ[ернии], где зять был начальником участка на Харьковско—Николаевской ж[елезной] д[ороге]. Я выехала с детьми, а Любовь Ивановну оставила на даче "пастись", как она сама выразилась. Все равно за дачу уже было уплачено. Евграф нас проводил и выехал сам.

Эта командировка давала меньший заработок, но была легче уральской, хотя он предпочитал дебри Урала населенным пунктам. Он и там избегал быть "складочным обывателем", как он выражался. Тут складов не будет, зато все сам промышляй. Топографические, геологические и легкие разведочные работы он и там считал подобием дела, так что тут ему будет легче, он скорее окончит работы и успеет заехать к нам. Мы так и порешили.

* К.А. Андреев был не академиком, а членом-корреспондентом Академии. — *Примеч. сост.*

** "Он не академический человек" (нем.).

Наши получили такую путаную телеграмму, что не могли нас встретить. Мы наняли извозчика, хотя тут было чуть не два шага. Едем мимо какого-то сада. Вдруг Мила замахала рукой и закричала: "Тетя Миля, тетя Миля!" Подъехали и увидели Милю и Николая Николаевича в саду. Они нас встретили замечательно радушно. <...> У них точно поместье: одноэтажный каменный дом, квартира в семь больших комнат с широкой длинной верандой, обвитой витисом; перед ней громадный цветник с роскошной ковровой клумбой перед лестницей; большой сад, хотя еще молодой, а за ним бахча с арбузами и дынями, которые мы потом ежедневно поедали — арбуз не арбуз, дыня не дыня. Я во всю свою жизнь столько не ела их, как здесь. За садом и бахчой в глубокой выемке под гору ходили поезда, забота Графчика. Он выучил наизусть расписание и, как начальник станции, пунктуально бегал на перекидной мостик через выемку встречать и провожать поезда. Чудный южный воздух, вечное солнце живоительно действовали на нас, петербуржцев, но от жары я раскисала, и Мила обожгла до пузырей свою нежную шейку и ручки — оказалось, здесь нельзя носить открытые платья.

Дом был от города на большом расстоянии. Под вечер там и сям раздавалось пение малороссиян, и проходили гуляющие интеллигенты из города, тоже с песнями. Иные, с хорошими голосами, очень недурно пели. Сидя с работой в саду на скамье, я любовалась, как угасал пылающий закат, и со всех сторон обширного горизонта вспыхивали непрекращающиеся зарницы. Где-то, верно, гроза, дожди, сырость, слякоть, а тут постоянное солнце, появляющиеся облачка тают на небе без остатка. Мне это было необычно, и я удивлялась, откуда берут сочность арбузы и дыни на потрескавшейся почве бахчи.

После посланной мне телеграммы о благополучном приезде в Сумский посад на Белом море, от 14 июня, я уже получила от Евграфа письмо; пишет, между прочим:

"Прежде всего контраст: вы это утро, нужно полагать, изнывали от жары, а я кутался, а мой спутник-кузнец зяб даже в ватном пальто..."

Пишет, что сначала была гроза, с ночи подул холодный ветер и неистовствует, и есть предположение, что в море наделает много бед, и пароход "Кемь", которого он ждет, верно, из-за бури опоздает. Ему пришлось проехать на перекладных 400 верст. Он не жалел, так как познакомился с ледниковым, или, точнее, моренным ландшафтом — для лошадей он убийствен, так как по дороге нет и 10 саженей ровного места, совершенная противоположность степям, вниз и вверх, спуски страшно крутые. Нужно иметь привычку здешних лошадей и ямщиков сдерживать сначала, а потому пускать лошадей вихрем вниз, где никакая лошадь не сдержит повозки. Самая замечательная особенность моренного ландшафта — это так называемые озы: посреди двух озер или болот гребнем высится, как железнодорожная насыпь, на несколько верст полоса оза. Проезжая дорога — прекрасный тракт — забирается на самую высь оза, а больше нигде ехать. Озы бывают и узкие, только для пешеходов; на проезжих дорогах по бокам вбиты столбы для безопасности, потому что высота оз 8—15 саженей. Даже из озер выступают короткие озы. Не так, как на Урале: тут он нанял "шикарную отводную" квартиру, где сейчас ему сделали визит сотский и урядник. Обедал там хорошо и мылся в бане, может быть, в последний раз. <...>

В августе Евграф дал телеграмму, что едет сюда к нам. В назначенный час мы с Милей собрались его встречать. Миля что-то замешкалась, уверяя, что Либаво—Роменские поезда всегда опаздывают. Приходим на вокзал, а поезд уже пришел, и там почти пусто. Евграфа нигде не видно. Мы и туда

и сюда — нет его. Меня начала брать тревога. Наконец, видим, на платформе отходящих поездов стоит он себе, облокотившись на колонку. Я бросаю ему на шею:

— Что с тобою? Зачем ты забрался сюда?

А он, как не живой, и мямлит:

— А я хотел уехать в Петербург.

Почему? Зачем? Не повидавшись с нами?!

Оказывается, обиделся, что опоздали встретить. Миля возмущалась таким капризом. Я повела его мыться и, когда мы остались одни, сказала досадливо:

— Ты меня просто поражаешь своим поведением — точно ты сошел с ума.

— Я и впрямь схожу с ума, чуть замечу твое охлаждение ко мне.

— Но ведь этого же нет, в этом надлежит сначала убедиться, а не сумасбродить от пустяков. Я тебя просто-напросто стану скоро бояться.

— Ты — меня?!

Мы оба засмеялись. Распря кончилась. Его пожурили и наши. Зять все повторял: "Чудак же ты, Евграф".

В таких вспышках проявлялась уже не одна любовь Евграфа, а вся страстность его натуры. Его беспомощность в этих случаях действовала на меня обаятельно: порождала как бы материнскую заботливость о больном ребенке.

Обыкновенно дети, мама и зять ложились спать рано. Зятю надо было по службе рано вставать. Евграф засиживался за своими работами, хотя предел его писанью был 1 час. Он в этом отношении старался быть точным. Мы же с сестрой не могли оторваться от волшебной декорации, как эта ароматная южная ночь с ее зарницами, а особенно, когда полная луна потоки света льет на обширный цветник. Эта декорация напоминает оперу "Фауст", и мне хочется петь. Я рву траву и преподношу, как Фауст Маргарите, Миле букет, и мы хохочем. Вспоминаем Гоголя. Мы готовы были просидеть до утра на ступеньках веранды; но всегда либо Евграф, либо мама в конце концов лишали нас этой очаровательной картины, прогоняя спать.

Поэзия кончалась и, с отъездом в Петербург, начиналась проза жизни в сером тумане столицы с Еремеевым и тому подобными благодетелями. Он усиленно хлопотал сплавить Евграфа в провинцию, хотя Евграф еще в 1889 г. должен был отказаться, на первый взгляд, от заманчивого предложения. Лучше приведу письмо самого Евграфа к брату:

«Теперь я имею тебе сообщить курьезную вещь и курьезную особенно для тебя. Ты всегда (в последнее время) свысока относился к молодым инженерам и сводил их к нулю, утверждая, что инженер может выработаться только продолжительной практикой. Если так ты относился ко всем вообще, т.е. к людям вообще, могущим приложить свои силы к разным требующим практики отраслям труда, то что же ты должен думать обо мне, который учился практическим предметам только по необходимости для экзаменов, никогда не имея ни к каким из них никакого интереса, и притом вечно занятого своими теоретическими идеями и действительно не прилагавшего никогда никакого внимания предметам практики и убежавшего от людей практики. И представь себе меня, едущего на практику, на рудник, и притом не на практикантское место, как это предлагают всем, а прямо для выполнения каких-то неведомых мне поручений и притом едущего не вследствие усиленного прискивания себе места, а, скорее, против всякого желания, соглашаясь же на поездку (вероятно, продолжительную) лишь на основании побочных соображений, а вовсе не из желания оставаться на таком месте, и с полной уверенностью, что как бы благоприятно ни сложились обстоятельства, придется много-много через 4—5 лет бросить это, как и все подобные места, навсегда.

Я уже кое-что писал об условиях (очень выгодных) этого дела матушке. Теперь прибавлю, что в ответ на приглашение на это место, я говорил, что желаю заниматься теперь математической минералогией и что сам чувствую себя неспособным заведывать практическим делом, а мне на это отвечали, что мне предлагают и меня рекомендуют именно на основании того, что хорошо меня знают и желают оказать мне же услугу, так как именно на

таком месте в данное время я буду обеспечен материально и в состоянии продолжать свои работы, в чем мне будет даже оказана посильная помощь как на месте, так и из Петербурга.

Нужно прибавить к этому, что место это не казенное и не может служить синекурою, а напротив того, на горных приисках частной компании, и меня приглашают для выгоды этой же компании, рекомендуя меня таким, как я сам себя рекомендую, т.е. что у меня главный интерес по науке, не касающийся производства, но что некоторый интерес я могу приложить и к улучшению тамошнего рудничного дела, в виду чего просят не утруждать меня черною работою; как выражается рекомендующий меня профессор Еремеев, не размещивать меня на медную монету, а предоставить мне произвести нужные исследования и составить указания по всем частям рудного дела, согласно с последними указаниями науки, и предоставить потом мне вести все дело.

Сам же запрос о рекомендации сделан приблизительно в следующих выражениях: "Рекомендуйте молодого инженера из только что окончивших курс, но получившего солидную научную подготовку. Ваша рекомендация послужит ручательством, что к нам придет не какой-нибудь самозванец, а именно такой инженер, какой нам нужен, и деньги на проезд не пропадут даром. Опытных инженеров мне не нужно; я уже достаточно наварился на них. Если же нельзя этого выпуска, то не позже, как предыдущего". Это пишет не какой-нибудь идеалист, а один из солидных горных генералов, бывший начальник всех уральских заводов (правительственное место), бывший директором Горного департамента (т.е. высшее правительственное место по горному ведомству), а теперь перешедший на частную службу. Этот генерал пользуется при том сравнительно хорошей репутацией и как человек, и мне ручаются, что такой человек меня не обидит.

Пишу тебе все это как потому, что мое назначение, конечно, будет весьма интересно, полагаю, что для меня небезынтересны будут и обстоятельства, сопровождающие это назначение, а в особенности потому, что люди, даже посвятившие всю свою жизнь практике и притом практике именно инженерной, могут иметь мнение весьма отличное от твоего и скорее приближающееся к моему.

Еремеев ручается за меня, что я дело выполню хорошо и что мало вероятно, что мне самому не понравится новое положение, хотя само собою подразумевается, что еду туда лишь на несколько лет. Я, конечно, не имею полной уверенности, что его надежды оправдаются, но не считаю их и вовсе неосуществимыми. Его я предупредил с самого начала, что если в совокупности мне там будет предаваться научным занятиям менее удобно, чем в Петербурге, то я, конечно, вернусь в скором же времени. Выгоды же нового положения для меня, между прочим, те, что не придется опасаться за кусок хлеба, а главное, буду в состоянии исполнять свое давнишнее желание — уплатить долги. При этом напомним, что считаю себя должным тебе 900 руб. или круглой цифрой 1000. Если мне удастся скоро тебе заплатить, то, полагаю, это будет полезно и для твоих целей.

Из частных источников я узнаю, что там, куда мне предлагают место, директором состоит опытный инженер и что его имеют в виду удалить при первом удобном случае. Мне мнится, что сначала мне предложат занятия, от него не зависящие — геологические изыскания и, когда я окончу это занятие, мне прямо предложат (т.е. имеют в виду) его место, а до того времени постараются не давать ему понять, что я приехал занять его место. Если, как мне говорили, он человек плохой, то такой оборот я не считаю недобросовестным, а не то откажусь. Твой брат Евграф».

И отказался. Дело оказалось темным. Было не в духе Евграфа подводить товарищей. Такая рекомендация от Еремеева, который всегда характеризовал другим Евграфа, молча показывая указательным пальцем на свой лоб, должна бы была с самого начала переговоров показаться странной; Евграфу же тогда с его чистой и ясной душой было трудно понимать людские каверзы, а легко нарваться на нечистое дело. После этого он настоялся⁵⁸. Теперь же, когда долг брату уплачен, не прекращались летние командировки, меня с детьми не забывала наша милая родня — я гощу каждое лето у кого-нибудь из них, то наши материальные дела не так уж плохи, но беда в том, что научными работами Евграфу приходится заниматься урывками, тогда как ему следовало бы посвятить им все свое время. А это не удастся. Сильные мира науки были, верно, не на высоте своего величия, что одни не понимали его, а другие сознательно не допускали к своему пирогу. Теперь Евграф сразу отбояривался от Еремеева.

Мы должны были переехать из Горного, так как Алексеевы решили вернуться на зиму из деревни. Я даже с удовольствием покидала Горный,

из-за всех этих недружелюбных взглядов кругом, кроме Мушкетовых да еще, пожалуй, Курнаковых. Но Алексеевы нас предупредили о приезде поздней осенью, и я долго не могла отыскать по нашим средствам квартиры. Раз поздно ночью, все уже спали, вдруг — звонок за звонком. У нас переполюх. Что такое? Пожар?! Евграф не может попасть в рукава, я мечусь, одевая детей, а звонок, не переставая, звонит. Вообще что-то, значит, неотложное. Прибегает наконец Любовь Ивановна и успокаивает, что это приехали Алексеевы. Евграф был возмущен — не могли дать заранее телеграмму — разделся и опять лег в постель, посоветовав и мне так же поступить, но я вышла к ним и помогла устроить постели для детей. Пришлось взять первую попавшуюся квартиру. Она была очень хорошая, но для нас несколько дорога. Но что же было делать? В ней было пять комнат, ванна, балкон, тепло и только 2-й этаж. Мы жили в ней до нашего отъезда в Богословский округ и жаль было расставаться, так была хороша.

На этой квартире у нас чуть не ежедневно стали бывать Вульф и Карножицкий. Вульф произвел на нас самое благоприятное впечатление, сперва своею красивою и симпатичною наружностью, мягким голосом и обращением. Он звал Евграфа не иначе как "дорогой учитель", "многоуважаемый Евграф Степанович" или даже "глубокоуважаемый"; способный, усидчивый, но с громадным самолюбием, он был замкнут в себе, и мы не знали его святое святых. Александр Николаевич Карножицкий был совсем в другом роде. У него не было той вкрадчивости, как у Вульфа, он тоже способный, даже больше Вульфа, но не усидчив, любитель музыки, оперный абонент, сам скрипач и немало времени тратил на нее; душа его была нараспашку. Он вращался в университетских кругах, и мы, в своей скорлупе, от него узнавали об их обычаях и нравах, подсиживаниях друг друга и интригах, для нас столь необычных.

Я была рада, что они приходили не по утрам, так как не мешали мне заниматься с Графчиком. Я его готовила в гимназию. <...> Евграф как-то купил у букиниста большую книгу немецких сказок с многочисленными картинками и начал их читать, а переводить заставлял Графчика. Он занимался у него немецким, а у меня французским и латынью, на случай, если отдадим в классическую, чтобы попал в университет, так как у него были незаурядные способности к математике⁵⁹. Евграф занимался в столовой, где и Мила уже непременно присутствовала. "Ну, как будет *Perfektum* от такого-то глагола?" — задает Графчику вопрос Евграф. Пока Графчик соображает, Мила уже говорит. Эта была какая-то скороспелка. Ее прогоняли в детскую, а она и оттуда кричит за Графчика.

С выходом учебника по кристаллографии к Евграфу посыпались письма из разных городов, изъявляющие похвалы⁶⁰. Приведу отрывок из письма старого профессора Одесского университета Пренделя:

"Ваш учебник представляет из себя элементарное руководство, построенное на последних выгодах науки, оно производит на меня отрадное впечатление уже по одному тому, что оно не носит на себе шаблонного характера всех наших русских, да и большинства иностранных руководств по этому предмету. Я его прочел от доски до доски с живейшим интересом, не скрою — много нового встретил в нем. К сожалению, однако, я не могу его рекомендовать своим слушателям и вот почему: я читаю натуралистам, которые у нас в университете обладают такою слабою подготовкою по математике, что мне приходится им предварительно пред вступлением их в курс кристаллологии излагать начала сферической тригонометрии и аналитической геометрии, особенно жутко приходится им, когда они слушают специальный курс. Вы, вероятно, предполагаете, что в университете на естественном факультете приходится высшая математика в объеме, сходном с объемом ее в Горном институте или в Институте инженеров путей сообщения. Я был бы доволен, если бы хоть половину того мои слушатели знали. Я сам на старости лет начал математикой заниматься. <...> Ваш учебник является для нас, натуралистов, учебником будущего, когда, наконец, в программы наши будет как обязательный предмет включена высшая математика. Остаюсь всегда готовый к услугам Р. Прендель".

Тиме переменял фронт и теперь следит уже за математическими работами Евграфа и делает свои замечания в дружеской форме и подписывается: "С почтением остаюсь", "С совершенным почтением". <...> После заинтересовался работами Евграфа и часто стал приглашать его к себе.

Это лето [1892 г.] Евграф уехал в командировку на Ветлугу⁶¹, покончив с ней, заедет к нам в Ромны, где я с детьми вот уже второе лето. Вскоре по приезде нашем сюда Мила захворала дифтеритом, верно, заразилась в дороге, хотя и в Полтавской губ[ернии] он угнездился почему-то. Я лечила ее сама по способу брата Коли, вылечившего Графчика, когда ему было 7 лет. Ухаживать за больной мне помогала мама, и мы с ней были в карантине.<...> Милочка, правда, по нраву была добрая, послушная, прямо удивительный ребенок: вынослива не по-детски, без малейших капризов даже во время болезни. Все прислуги ее обожали и предсказывали, что она не жилища на белом свете. Я им желала типун на язык. "Мамочка, я, верно, умру?" — бывало, жалобно спрашивала Милочка во время болезни. "Что ты, деточка, зачем так рано умирать, я тебя вылечу". А сама боюсь, боюсь, как бы чего не сплеховать; а не зная здешних докторов, не доверяла им. Милочка поправилась, но пока сидела в карантине. <...>

Из-за болезни Милы я запустила переписку с Евграфом. Он забеспокоился и написал Николаю Николаевичу, где сообщал, что как раз в рождение Ени он предпримет экскурсию по Ветлуге вверх на несколько сот верст и 1 августа окончит ее. Поэтому и у нас был он пораньше на этот раз.

Под конец этого же лета появилась в городе холера. Она распространялась по реке. Мы вдали от города и не помышляли о ней, ели фрукты, ягоды, овощи, только, конечно, не пили сырую воду и прекратили купанье. Но я сделала большую глупость, хоть и сама доктор: приняла соды, что в холерное время недопустимо. Со мною ночью произошел припадок холерины. Я лежала без сознания. Пока послали за доктором и за фельдшером, Евграф метался и тряс меня, взывая: "Людмила, скажи, что с тобой делать?" — и как все его ни останавливали, он не унимался, был вне себя. До того, однако, дотряс меня, что я, еще не приходя в сознание вполне, сказала: "Пустите из самовара под простыню пара", — что сейчас же было сделано, еще до прихода медицинского персонала. Вышло хорошо. Потом мы долго над Евграфом смеялись, что, верно, когда я умру, то он своей настойчивостью оживит меня.

В сентябре Евграф уже был в Петербурге, откуда писал, найдя там книгу Шенфлиса:

«Он упомянул даже о моих демонстрационных приборах, упустив очень много гораздо более существенного. Самая замечательная и ценная на меня ссылка такая: «Eine Schrift von Fedoroff, welche eine vollständige Ableitung aller Raumgruppen und ihre Beziehung zur Kristallsymmetrie enthält, ist 1890 unter dem Titel: "Symmetrie der regelmässigen System der Figuren" im russischer Sprache erschienen.»⁶² Таким образом, верность всех моих выводов засвидетельствована пред всем миром в этих немногих словах. На этой же странице он упоминает об указании мною на его собственные ошибки. Целую и жду с нетерпением. Твой Евграф». <...>

Циничное замечание Докучаева о намерении Евграфа урвать у них кусок пирога запомнилось ему, и он говорил: "А у меня ловко из-под самого носа вырывают куски, я и оглянуться не успеваю, только помажут по губам". Так, вздумали его выбирать в секретари Минералогического общества. Многие прямо ему говорили, что подадут за него; а подали все за Чернышева, так как

* "Сочинение Федорова, которое содержит полный вывод всех пространственных групп и их связь с симметрией кристаллов, появилось в 1890 г. на русском языке под названием "Симметрия правильных систем фигур" (нем.).

он всех конфиденциально заверил, что ему необходимо быть выбранным только на несколько месяцев по каким-то там служебным соображениям и что, уходя, он прямо переуступит это место Евграфу Степановичу. Когда это было объявлено Евграфу, он расхохотался: "Ждите у моря погоды, а я ее не дождусь". Его сторонники были удручены и называли себя кто дураком, кто ослом. Тем дело и кончилось. Все одно к одному.

С Вульфом у Евграфа вышла неприязнь. Написал он диссертацию и преподнес ее уже напечатанную без предварительного просмотра Евграфа. Просмотрев ее, Евграф прибежал ко мне: "Читай и вдумайся. Хотя ты и плохой математик, а верно поймешь этот абсурд, ведь это показывает его полнейшее незнание математики". Теперь я уже забыла, в чем состояла нелепость вывода, так поразившая Евграфа, но я тогда поняла даже, хоть и с помощью Евграфа, что все вычисление сводилось к нулю, значит, никакого доказательства и не было. Евграф, конечно, указал на это Вульф в первый же раз, как он явился. Он должен был диссертацию перепечатать. И за указанные ему ошибки, вместо благодарности за избавление его диссертации от провала, он точно возненавидел Евграфа, прекратил вовсе свои посещения нас, прервал с "многоуважаемым учителем" всякие отношения и начал открывать Америки после Колумба, т.е. как будто не зная работ Евграфа, то же самое писал, но только не одновременно, не раньше, а всегда позже. Самомнение у этого господина было громадное⁶³.

Как-то раз Евграф меня предупредил, чтобы я приготовила вечернюю закуску и чай, так как он пригласил А.П. Карпинского и П.В. Еремеева на демонстрацию придуманного им оптического столика к микроскопу⁶⁴. Пришел и Карножицкий помочь Евграфу. Когда эта демонстрация кончилась, пошли мы ужинать. Я думала, что их займет этот столик, особенно потому, что это изобретение их ученика, и они будут продолжать ученые разговоры. Ничего подобного. Еремеев паясничал, как не подобало бы серьезному ученому, и рассказывал анекдоты, Александр Петрович ухмылялся. Евграф в душе бесился — не улыбался даже на анекдоты; как, должно быть, ему было обидно такое равнодушное отношение к его излюбленному детищу. Когда распрощались, Карножицкий вышел с профессорами; потом вернулся и рассказал, что Еремеев вертел пальцем у лба и смотрел в упор на Карножицкого. Что это значило? Карножицкий страшно возмущался. Об упорном же молчании Карпинского сказал:

— Разве у этого иезуита что узнаешь?

— Иезуит — это уже слишком сильно сказано, политик — вот и все, — возразил Евграф.

— Да его в университете и в ученом мире зовут так, — уверял Карножицкий.

Когда мы уже ложились спать, Евграф сказал: "А знаешь, хотя Александр Николаевич и вводит нас в курс дел своими рассказами, но лучше бы интриг их не знать, спокойнее, да и смотришь на человека без предвзятого предубеждения, а то просто все противны становятся".

Я долго не спала и думала: Карножицкий, молодой ученый, не верит старому профессору, что изобретатель столика — тронутый умом. Профессор, специалист должен быть авторитетным, компетентным в этом деле. Не может же он не понимать? Нет, он не хочет понимать, он заминает, затирает молодую выдающуюся силу. Посредственность, конечно, гения не может понять, ее зависть берет только. Подвела резюме: Войслав старался во что бы то ни стало срезать Евграфа, профессор Лисенко отказал ему от занятий в химической лаборатории. Профессор Тиме сначала травил его как только мог, профессор Еремеев старался внушить всем невменяемость новатора; профессор Докучаев боялся, как бы Евграф не урвал кусок от их пирога. Этот хоть

прямодушен. Потом он уж и предлагал, да Евграф сам отверг. (Есть письмо от Докучаева). Академик Андреев лишил премии Евграфа неизвестно за что, так как за эту же работу его выбрали в Баварскую академию. Это все служители у алтаря науки. Что-то дальше будет. Ницше в своих изречениях немало правды говорит: "Вокруг изобретателей вращается мир: невидимо вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава, и это называется мировым порядком. Медленно течет жизнь всех глубоких родников, долго должны они ждать, прежде чем узнают, что упало в глубину их... Все великое уходит в сторону от базара и славы. В стороне от базара и славы издавна жили изобретатели новых ценностей". И еще: "Ты стал выше их, но чем выше ты поднимаешься, тем меньше кажешься ты в глазах зависти".

На другое утро Евграф за утренним кофе бодро провозгласил: "Как они там не относятся к моему изобретению, а я уверен, что оно имеет большое значение и потому будет жизненно". И ушел на службу удовлетворенный. Я за него успокоилась, хотя и обидно было, и зло брало на вчерашних мудрецов за их индифферентность без малейшего поощрения. Евграф был чистое дитя по сравнению с этими мужами Олимпа. Хорошо, когда есть близкие люди, сочувствующие, которым можно излить наболевшее на душе. К таким относились Иван Васильевич Мушкетов и моя дорогая Олечка. Она к прошлой зиме переехала в Петербург со своей сестрой, вдовой Верой Николаевной Степановой, сын которой Вася поступил студентом в Горный, а дочь Сонечка — на Бестужевские курсы. Они поселились близко от нас на Васильевском острове. Они были мне, как родные, знавшие меня с детства, и я до сих пор еще оставалась должна Олечке за свою стипендию.<...>

Ивану Васильевичу Мушкетову очень нравился Графчик, который бывал у их сына Мити, а тот — у Графчика, и вот отцу хотелось, чтоб наш сын еще больше сдружился с его сыном и потому он стал просить нас, чтобы мы отдали Графчика в филологическую гимназию, куда будущую зиму должен был поступить Митя. Но Графчик знал очень мало по латыни, а греческого еще и не начинал; по-русски он писал безошибочно, если был внимателен, и по другим предметам он был недурно подготовлен, но отличался большой невнимательностью, думал о чем угодно другом, только не об уроке, этим выводил из терпения меня и Милю, которая летом бралась с ним заниматься; а что подделает с ним учитель, которого обещал нам подыскать Иван Васильевич? Он читал лекции в Филологическом институте, и ему было легко это сделать. Решили попробовать. Наняли учителя. И что же? Он его быстро подготовил по латыни, по греческому, мы даже диву дались. Учитель оказался прекрасным педагогом и не только заставил учиться этому мертвому греческому языку, а даже полюбить себя. Графчик говорил: "И так мне, мама, стыдно было сегодня, что я готов был провалиться, не зная урока". А учитель был в восторге от ученика, не столько от успехов его, а от нравственных качеств мальчика, и говорил нам, что жаль отдавать такого в гимназию, где идет быстрая порча. Но жизнь берет свое, и Графчик на следующую зиму поступил во 2-й класс.

На лето [1893 г.] мы поехали опять в Ромны; Евграф же — на экскурсии в Вятской губернии. Она, конечно, гораздо легче уральской экспедиции, но Евграф предпочитал дебри Урала населенным местам. Он там знал только своих рабочих, сотоварищей по экспедиции, а тут первым долгом урядник, разные сотские. Например, он пишет:

"Деревня Зеленые Луга на реке Усте. Вечером 26 июня.

Сегодня пережил нечто особенное. Я остановился на ночлег в местности, изобилующей деревнями, в расстоянии около 1 версты от ближайшей. Любопытство всегда сопровождает нас

(я не могу себе представить никого любопытнее серого мужика), но на этот раз наше расположение на лугу, замеченное одним проходившим мальчиком, вызвало у населения целую панику. Беспокоили нас много и раньше; но когда уснули, около половины двенадцатого ночи, ко мне на луг собралось целое "общество" — так человек 50 с десятским во главе. Не могу представить себе причины их страха, однако многие его не разделяли и ругали других. Десятский принужден был толпою и отличался большою почтительностью, как и вся толпа. Пришлось выйти из палатки. Суть вся в их темноте. Пришлось одному из грамотных прочесть начало открытого листа. Тогда все мигом успокоились, все ушли и наступила тишина. Однако, видно, ночью дали знать сотскому, и тот недалеко от нашего места ночлега оберегал наш сон. Я услышал причитания и встал раньше четырех; сотский представился и очень много ругал "общество" и извинялся. Однако мы поторопились собраться и уехали".

Евграф заботился, чтобы дети и летом не оставались без учения. Миля мне помогала и занималась с Графчиком, я с Милой и со всеми ими музыкой. Женя на ученье была ленива и особенно не любила писать, а когда садились заниматься, то она так жалобно говорила: "А нельзя завтра, а не сегодня?" Тогда я пела: "Morgen, Morgen, nur nicht heute"*. Особенно ее приводил в уныние рояль. Мила рвалась к нему и тосковала о нем в ее годы; а Женя: "Нельзя ли завтра?" Заиграем с ней в четыре руки что-нибудь плясовое, развеселое, а у нее кап-кап на клавиши слезы. "Милейшая, разве же это так грустно? Это же так весело, что мне плясать хочется под твою музыку", — проходя, заметит Николай Николаевич и рассмешит Женю.<...>

В августе уже приехал Евграф. Раз прибегает в смятении, запыхавшись, железнодорожный сторож и сообщает, что поездом человеку отрезало ногу. Зять как человек гуманный и к тому же безупречный служака пришел в ужас, страшно побледнел, крикнув мне: "Пойдемте! Что делать?" Я захватила полотенца и побежала с ним и с сестрой. На путях лежал в обмороке с раздробленными ногами человек, совсем еще молодой. Тут уже было много народу, и все эти люди только ахали. Я распорядилась скорее как можно ту же перетянуть полотенцами ноги выше ранения и тем уняла излияние крови. Появился пульс. Несчастный очнулся. Когда его спросил Николай Николаевич, зачем же он шел по рельсам, когда есть переходный мостик, то оказалось, что он сам бросился под поезд, желая умереть. Тогда какая-то женщина задала ему вопрос: "Да зачем же тебе, милый, так рано захотелось умирать?" Он ответил, что вынудила это сделать неразделенная любовь. Это хорошо, что с ним говорили, так как отвлекали его ото сна. Но все равно едва ли он выживет. Приехала подвода и его увезли в больницу. Когда мы вернулись, и я стала рассказывать Евграфу и спросила, почему он не пошел нам помочь, то он сказал, что, верно, без него там было много лучше его помощников. И я ведь знаю, что он плохо выносит вид страдания и скорее мешал бы. Свои собственные страдания он выносил стойко.<...>

В конце августа Евграф с Графчиком должны были уехать. У того и у другого начинались занятия, я же с девочками еще осталась до конца сентября. Погода была чудная, много фруктов, ягод, а холера разгуливалась не на шутку. Графчик корпит теперь в гимназии над греческим, а без него не попадешь в университет, куда принимают только классиков, даже без экзаменов. По приезде Евграф писал, что всю ночь от Пскова он не спал, уступив место даме, которая просто кричала, стиснутая в тесноте, а сам сидел на площадке. Еще пишет, между прочим:

"Теперь, пока я еще не вошел в занятия, я с особенною отчетливостью и определенностью чувствую тоску разлуки, ни дать ни взять как иногда чувствовал себя на Урале и в других местах разлуки, так бы и перелетел, но крылья коротки. Утешаюсь, что это разойдется и станет легче. Но все-таки для меня всегда будет наслаждением и отдыхом получать от тебя

* "Завтра, завтра, только не сегодня" (нем.).

письма, и теперь я уверен, что ты не будешь меня мучить и окажешься достойною и благодарною супругою... Вверху играет соседка, знакомые звуки — все те же экзерсисы, к которым мы уже так прислушались за зимнее время. Но именно поэтому от них отдает чем-то родным... На сегодня довольно. Еще раз напоминаю, что почти с трепетом жду письма. Мало материалу, так пиши больше о своих чувствах; мне хочется чувствовать тебя поближе. Расцелуй детей и милых родственников. Я всегда их считал страшно добрыми и радушными, но то, что я видел, превзошло всякие ожидания. Я вижу с их стороны такую трогательную любовь, которая безусловно вызывает взаимность, и я, даже если бы долго их не увидел, во всяком случае еще долго буду нежно носить и лелеять их дорогой образ. Я их не могу отблагодарить за гостеприимство, так как это было бы не то: это именно была неподкупная любовь, не нуждающаяся и даже не признающая благодарности. Не знаю только, чем я заслужил, чем мы все заслужили?

Расцелуй их от меня. Пиши. Твой Евграф".

Так, мой Евграф. Легко желать, но иногда приходится жить-то не так, как хочется, а как судьба велит. Так и тут, вместо скорого и радостного свидания вышло не так, как мечталось и хотелось, а пришлось пережить настоящую трагедию. <...> Лучше я буду приводить мои письма. Первое письмо к Евграфу:

"4.IX.1893. После вашего отъезда Николай Николаевич слег в постель, и мы с Милей просиживаем все ночи напролет, так как он болен не на шутку и температура бывает даже до 40,5°. Сначала мы никак понять не могли, что за болезнь такая, а так как у него за это время было несколько нарывов, то я боялась, уж не заражение ли крови у него. Пригласили доктора из городской больницы осмотреть и нарывы, которые, он нашел, что уже проходят, и причина болезни не они, хотя пока тоже не мог определить причину жара". <...>

Из второго письма:

"6.IX. Николай Николаевич все еще болен. Всего хуже то, что болезнь какая-то смешанная: не то примешалась простуда, не то инфлюентного типа. Вчера температура была нормальна, и он даже ходил, а сегодня опять сорок с лишком, нарывы теперь почти прошли. Меня заботит, что вы обедаете в столовой (Фон Дервиз), тогда как и там ходят слухи о холере. Пишите мне как только можно чаще, хоть открытыми письмами. Если почувствуете малейшее нездоровье, то не запускайте: 1) у вас есть капли, которые дала, 2) в шкафчике подле постели аптечка, а лучше всего шлите сейчас же за Штанге (доктор)..." <...>

Потом Евграф писал о том, как его "мажут по губам" (собственно, это мое выражение). Он подал на премию две работы: "Теодолитный метод" и "Учебник по кристаллографии". Вопрос о премии отложили до появления иностранных отзывов⁶⁵. В своей книге "Фауна нижнего девона восточного склона Урала" Чернышев ставит имя Евграфа всегда на видное место, например, начинает описание (геологическое) Урала с его исследований, упоминает очень часто и описывает из его коллекций едва ли не больше 30 видов (в том числе Fedorow). "Видел Глинку, который, вместо гнева, счел нужным заявить, что он упоминает мое имя с 1-й лекции студентам-слушателям. Курнаков заявил, что в своем сочинении принял мои новые сокращенные названия. Вид немецких и русских книг внушает уважение. И все это без всякого толку".

В это тяжелое для нас время у нас с Евграфом шла перепалка письмами. Он мне написал сотни, я меньше, так как, не спав ночи, приходилось высыпаться как попало днем; приезжали доктора и просто не видно было, как уходило время. Сердце мое разрывалось на два фронта: с одной стороны, сестра, мать и страдалец Николай Николаевич, такой превосходной души человек, а с другой — муж и сын. Конечно, мое сердце рвалось больше к ним, к своему гнезду, а долг требовал быть там, где приходилось спасать жизнь человека. Но путаница диагнозов меня начала наводить на мысль: уж не актиномикоз ли у больного? <...> Меня очень опечалило, что выборы отложены, потому что этим связывают нам руки что-либо предпринимать. "Я рада, что мой дорогой сынишка хорошо учится и развлекается".

Я это писала на основании письма Евграфа:

"В субботу Графчик начинает ходить в школу рисования по средам и субботам от 5—7 вечера. Уроки у него идут хорошо очень, здоровье также; каждый праздник возю куда-нибудь... Мой прибор на выставке в Чикаго встречен очень сочувственно, его просят оставить!"⁶⁶

Мое письмо к Евграфу от 24.IX:

"Ты, конечно, понимаешь, что если я не пишу долго, то, значит, нет возможности писать, и ты это больше поймешь, если узнаешь, что у нас не только опасно болен Николай Николаевич, а также и мама. Она так была встревожена болезнью Николая Николаевича, что с ней начались в левой ноге и руке контрактуры, а сегодня ночью с ней рвота желчью и в довершение всего я нашла ее утром с разбитым лицом, без сознания, в нервном параличе. Ты, я думаю, можешь представить наш ужас с Милей. У Николая Николаевича сегодня ночью перелом болезни, и мы провозились с ним, а днем консилиум (3-й уже) с приехавшим доктором из Харькова, а тут еще такой ужас с мамой. <...> К довершению всех "благ", здесь проявилась сильная холера. В городе мрут, как мухи. Ты нас только напугал с телеграммой о Коле, так как нам нужна помощь сейчас же, а Коля ведь может приехать через неделю, не раньше, да еще и дадут ли ему отпуск в виду холерного времени. И наивный же ты у меня! Николая Николаевича осматривали пять врачей, все нашли тиф и воспаление легких; очень, очень опасно, но надежда нас не всегда покидает. Бывают, правда, ужасные дни, так что теряешь голову. Хотя я здесь и очень пригодна, но подчас жаль, что врач и больше видишь, чем кажется на вид".

Это письмо я писала на упреки Евграфа, что не пишу чаще. Наивным я называю его за то, что он советовал мне уехать, если я не согласна с докторами, но ведь я могу ошибаться, я одна, а их пятеро. Я считала основной болезнью Николая Николаевича актиномикоз, и все эти проявления intermittens'a, тифа, воспаления легких, нарыв были на актиномикотической почве; основываясь на бывшем у него зимою затяжном флюсе, нарывчиках и припоминая, что, гуляя во ржи, он часто соломинкой чистил в зубах, что я не советовала делать. Следовало бы исследовать гной под микроскопом; но врачи отнеслись скептически к этому и верили больше своему диагнозу, потому что болезнь то баловала нас улучшениями, то даже как бы поправлением. Я еще писала Евграфу:

"Чего ты хочешь? Чтоб я бросила больного, пока не миновала опасность и потом бы упрекала себя, если бы ему стало плохо? Так что ли? Я считаю себя обязанной Николаю Николаевичу. Он много сделал и хотел делать для наших детишек, просто душа не поворачивается бросить его в такую минуту".

<...> Между тем положение Евграфа было тоже трагическое. Приведу поводы: главное, конечно, разлука, а потом это мазание по губам обманчивыми обещаниями. Выдумал он надеяться на премию, на выборы в академию, веря уверениям и обнадеживанию его благожелателей⁶⁷. А потом получал щелчки в нос. Они ему были чувствительнее без меня, которой он привык изливать всю горечь обиды. Он как-то потерял точку опоры, нервы его издержались и он проявил это неравновесие в своем письме к моей сестре и в последних письмах ко мне, откуда видно, что дошел до белого каления. Но сначала приведу выписки из более ранних его писем. Так, он пишет к 16 сентября — к моим и Милиным именинам.

«В Академии, кажется, провалился, прямо не слышал, что-то говорят уклончиво о затягивании выборов, которые, по-видимому, снова состоятся и не скоро. Сегодня прочел в газетах про награды на выставке в Чикаго по предмету свободных художеств, награждены между прочим Чебышев и Федоров. Не по нашему ли это адресу?... Давно ли мы расстались с вами, а вот уже на носу и ваши именины, и я посылаю вам поздравления и лучшие пожелания. Теперь уж телеграммы не ждите (они нас пугали — Л.В.Ф.). При более благоприятных условиях были намечены и более благоприятные подарки, а теперь о них нечего и думать. Скажи Миле, что покупаю третью тетрадку Шуберта (вторая по случаю 14 августа* содержит между прочим "Ständchen" и "Aufenthalt"), то, что так часто пела Маша (его сестра — Л.В.Ф.). "Doppelgänger" и пр.»

* День рождения Милы. — *Примеч. сост.*

Он еще заботился о подарках! Он и Милочке написал:

«Милая Мила, очень благодарю тебя за то, что ты не забыла папу и написала ему письмо. Я хотя еще и не писал тебе отдельного письма, но всегда в письмах к маме вспоминал о вас, просил целовать и сказать тебе, что тебя ждут две тетради Шуберта в четыре руки. Одна за 14 августа, а другая помечена 16 сентября, когда я и пишу это письмо. Очень желал бы, чтобы вы все провели этот день весело <...> и чтоб дядя начал серьезно поправляться. Вчера (во вторник) я играл в четыре руки с Юрием Никитиным. Он играет частью на фисгармонии, частью на рояле. Когда приедешь, нужно будет попросить на время ноты и у них, особенно пьесы Шумана; например, вчера мы играли с ним "Два гренадера". Графчик сейчас в рисовальной школе, а там придет готовить уроки к завтрашнему дню. Мы ходим с ним обедать в столовую Дервиза, а на днях он начнет, может быть, ходить обедать к Степановым, хотя это для него и не очень удобно. Ни арбузов, ни дынь у нас нет, зато ездим в разные места. Кроме бабушки, были в Ботаническом саду, в Маринском и Александровском театрах и у Никитиных. Я не замечаю, чтоб Графчик скучал, хотя ему мало приходится заниматься игрушками. Очень уж много гимназических занятий... Пиши чаще и напоминай об этом маме. Любящий папа». <...>

А Евграфу дома не доставало Милы. Я обрадовалась, когда узнала, что <...> к нам в дом приехали мать и брат Евграфа: ему будет легче переносить одиночество. Евгений выбран в секретари Технического общества.⁶⁸

Оказывается, награда в Америке присуждена Евграфу. Он замечает по поводу этого:

«Велик барыш! Во всяком случае, у иностранцев, даже за океаном, встречаешь гораздо больше сочувствия, чем у себя дома. Печатание моих работ делается хроническим. Приехав сюда, застал письмо Макса Бауера, извещающего, что "Проблема minimum" будет напечатана в ближайшем номере. Сейчас получил от Грота корректуру 2-й части нового сочинения. В Академии лежит моя статья о новых приборах, а сейчас думаю представить статью о систематике многогранников и принимаюсь за окончание уральского отчета⁶⁹. Для кого я так стараюсь? Сегодня виделся с Курнаковым, которого вскоре назначат профессором вместо Сушина и который жалуется на свою судьбу, что ему не удастся заведовать лабораторией, т.е. заниматься по месту, которое занимал Лисенко, а теперь Алексеев. Заметь, что его первая диссертация по химии (около четырех листов) только что сдана в печать в Горный журнал. Про меня он уже который раз повторил, что я могу быть спокоен, что через 5 лет что-нибудь наверное будет устроено. Я ему заявил, что это, наконец, обидно слышать, и он с этим согласился. Курьезно. Это жалуется Курнаков, а не обижен Шредер. Впрочем, временно и последнему поручаются лекции, которые усилят его содержание. К чему я тебя огорчаю? Ну их... в рай, и я был бы вполне счастлив, если бы и тебя не трогали такие пустяки.

А мне обидно за него. Такие рождаются не часто.

Из другого письма:

«Наконец-то я получил от тебя ответную телеграмму — гора спала с плеч, и я в телячьем восторге. Если б вам было нужно, я готов писать не то, что каждый день, а хоть каждый час. Не только получать твои письма, но писать тебе доставляет мне величайшее наслаждение и какое-то успокоение и удовлетворение, а в последние дни я заниматься все равно не могу и, когда нахожусь дома, то все больше играю на рояле. Особенно изучаю маленькую штучку Цезаря Кюи "Berceuse", которую получил от Карножицкого и за которую я ему очень благодарен. Сейчас проиграл несколько часов подряд, а эту штучку уже порядочно выучил, а то из двух тетрадок Шуберта, составляющих мои подарки Миле. Ну, как же я рад повороту к лучшему. Да только прочно ли? А я уже совсем было собрался ехать к вам. О вас приходили справляться Вера и Ольга Николаевны...»

Оказывается, Бострем и все знакомые приходят справляться и просят мне передать все дружеские чувства, а я скорее ожидала порицания, что покинула надолго мужа и сына. Дальше пишет:

"Графчик здоров, по-прежнему ходит обедать к Вере Николаевне, вообще занимается хорошо, а я по-прежнему вожу его по праздникам. В воскресенье были в Василеостровском театре, давали глупую комедию Корша "Столичный воздух". Графчику понравились лучше драмы: "По крайней мере, можно смеяться". За весь месяц он сидел только один раз "за леность", хотя на самом деле не за леность, а за много ошибок в греческом переводе. Грек, по-видимому, им очень доволен и был ужасно удивлен, что он сделал много ошибок, не хотел поставить ему худого балла, но посадил его "за леность". Графчику же из-за греха опротивела гимназия: "Каждый день приходится дрожать". <...>

А тем временем Евграф сообщал:

«Буду ли избран в Академию или нет, но переворот во мнении окружающего ученого мира относительно меня произошел, и я уже не та неизвестная величина, которую изображал во мнении большинства до последнего времени, а величина довольно крупная, если только не имеющая права на первое место. Письма с выражением отзывов в этом роде становятся для меня самым обыденным явлением. Вот, например, в только что полученном письме проф. Пренделя, т.е. одного из имеющих наибольшие права между специалистами в России: "Ваши работы по идеям и применениям их к кристаллографии и минералогии до такой степени или новы, или же выхвачены из новых сфер математики, что...", а дальше: "в виду того глубокого интереса, который работы Ваши представляют для меня лично (в особенности последняя, "Теодолитный метод")..."»

Но не по этому поводу я пишу тебе это письмо. Это еще пустяки и стало для меня довольно обыкновенным. Но что я сегодня услышал, так, что называется, ушам своим не веришь. Давно ли не только ты, но и почти все называли Еремеева как единственного кандидата в академики, а я изображал сравнительно с ним совершенную ничтожность. И что же я слышу сегодня? Приходит ко мне в Комитете Меллер и в каком-то смущении запинаясь, видимо собираясь выговорить что-то трудное. И действительно, трудное. Примерно он начал с того, что у нас в Горном преподавание по кристаллографии и минералогии отстало и что программы слишком обширны, учат многому лишнему и ничему не научают, что, по его мнению, программу нужно изменить и что об этом он желал бы переговорить со мной. Я сам как раз такого мнения и охотно иду навстречу такому предложению, но, с другой стороны, хотя фамилия Еремеева не произнесена, но ему поставлен крест, а так как он еще жив и достаточно бодр, то это выражает намерение объявить ему войну.

Кажется, я усматриваю правильно, что, если война окончится поражением Еремеева, то меня имеют в виду его заместителем, это я слышу от того самого Меллера, про которого Мушкетов еще весной говорил, что он проведет Кокшарова. Впрочем, может быть, или я в чем-нибудь ошибаюсь, или Меллер рассчитывает на мою глупость и политиканствует. Во всяком случае, он приглашает меня произвести суд над Еремеевым, и вот это-то меня и озадачивает по неожиданности. Впрочем, пока еще не пустой разговор; а к нему он приступил с видимым смущением. Хватит ли смелости идти на настоящую войну?... Начинаю попиливать на скрипке...

Другое письмо сообщает:

"Моя милая! Был я сегодня у Бекетова и узнал... ну, что узнал? Знаешь, конечно, что я узнал и, конечно, про выборы в Академию. Оказывается, что выборы должны быть произведены в течение полугодия, а вот полугодие прошло, и я все равно что провалился, потому что решено не подвергать баллотировке, а заменить прежнюю комиссию новою и снова приняться за кандидатов. Тут как раз приехал Арцуни и распространил про меня что-то неблагоприятное, предложил Еремеева и теперь Еремеев первый кандидат, а я, следовательно, оставлен за штатом, т.е., по-видимому, хоть и буду еще некоторое время числиться кандидатом, но уже не первым. Оказывается, что опять немцы (в Академии партия) взяли верх и Еремеев их кандидат. Еще хуже, по-видимому, пришлось со Столетовым, выбора которого я ждал со дня на день. Немцы его уже совершенно забаллотировали (тоже без баллотировки), и он даже не может быть больше выставлен кандидатом, так что Бекетов даже отказался участвовать в комиссии.¹⁰ Все это страшные секреты, про которые, впрочем, вероятно все знают хорошо, кроме меня, который узнает лишь кончики..."

В третьем письме опять у него надежды:

"Моя милая! Что-то давно от тебя нет писем. Впрочем, теперь остается только ожидать извещения о выезде. Кстати, я тебе сообщу об одной новости, которая, вероятно, тебя успокоит насчет средств в текущем году. Я не писал тебе ничего о представлении своих сочинений на премию Минералогического общества, ожидая того письма, которое только что получено. Кстати, оно может служить для противодействия тем неблагоприятным слухам, которые, по-видимому, старался распространить Арцуни. Это письмо адресовано Гротом на имя дирекции Минералогического общества по просьбе последнего. Тебе, вероятно, будет приятно прочесть его целиком, почему я привожу на следующей странице полный перевод... В уверенности, что письмо Грота по крайней мере поспособствует материальным средствам, я теперь смело могу смотреть тебе в глаза и с нетерпением жду вашего приезда, про Графчика и говорить нечего. Он очень скучает и ждет. Привет и поцелуй. Твой Евграф".

Перевод письма Грота:

«Дирекции Имп. СПб. Минералогического общества. Нижеподписавшемуся сделалось известным, что Имп. Минералогическому обществу предложены для премии сочинения г. Федорова: "Теодолитный метод" и "Краткое руководство по кристаллографии". Нижеподписавшийся с радостью приветствовал бы присуждение премии, так как представленные работы относятся, по его мнению, к

самым важным приобретением в области кристаллографических исследований последнего времени. В первом из этих сочинений автор подверг разработке метод исследования, дающий в руки возможность более всестороннего изучения кристаллов, чем это было до сих пор; он не только применил этот метод к исследованию ряда важных примеров, но и дал полную математическую теорию этого метода. Универсальный гониометр, изобретенный автором, и связанная с употреблением его система вычислений обогатила науку новым выдающимся средством для исследования кристаллов. Тот же метод применен также и к микроскопическим и кристаллооптическим определениям, и через это область приложения и значение этих определений расширилась в чрезвычайной мере. "Краткое руководство по кристаллографии" содержит в себе изложение результатов продолжительных теоретических исследований автора о симметрии кристаллографических многогранников. Хотя уже незабвенный Гадолин дал весьма элегантный и элементарный вывод возможных форм кристаллов, однако в этом выводе крылся недостаток, который впервые был устранен Федоровым введением понятия о "сложной симметрии". Через это теоретические основы вывода видов симметрии кристаллов получили свою окончательную форму, на этом автор мог основать новую номенклатуру, которая, без сомнения, вскоре будет принята всеми. Считая себя вправе и даже обязанным как почетный член Имп. Русского Минералогического общества изложить свои взгляды об упомянутых выдающихся услугах столь превосходного (ausgezeichneten) члена этого общества, нижеподписавшийся может только горячо ходатайствовать о присуждении премии. Проф. П. Грот".⁷¹

После всех этих писем обидно мне было за Евграфа. Сделали бы профессором, да тогда бы и просили о переделке программы; метят другого, а он для него составляй программы, тому самому не суметь, видно. Опротивели мне все эти выборы и ожидания, только нервируют Евграфа. Точно насмешка какая или дразнят. Надо выехать его утешить, но тут Миле одной не справиться. Но вот кто меня тоже приводил в отчаяние — это мама. <...> Она психически стала ненормальна. Но понемногу мама начала приходить в себя и, хотя даже принялась за свои обязанности, но, если ее сравнишь с тем, как она была, то видна большая разница во многих ее привычках и памяти. Очень тяжело бывало на нее смотреть: такая еще красивая, моложавая, а что-то утеряно и, верно, невозвратимо. Вот как обстояли дела, когда я в конце концов, убедившись в своем бессилии помочь Николаю Николаевичу, так как все больше и больше убеждалась, что у него актиномикоз или вообще какое-то заражение крови, что требует все время хирургического лечения в больнице, куда его скорее отвезут, если я уеду, да и Евграф начал меня сильно беспокоить своим нервничанием: и по нас-то изнывал, и все неудачи на выборах нервировали его — я решила ехать во что бы то ни стало. <...>

Стала собираться к отъезду. Миля уговаривает остаться, даже больной упрашивает жалобно, надрывая мне сердце: "Останьтесь, помогите Миле". А Евграф уж решил ехать сам за нами, если я не дам телеграммы сейчас же о выезде. Я написала Евграфу, что безумие тратить ему деньги на лишний проезд, когда у нас их и так мало.

И вдруг получаю от него короткое заявление: "Я написал Эмили Васильевне, что я тебя возненавидел и ты можешь совсем не возвращаться ко мне, если тебе там так нравится".

Нравится?! Ошарашил меня, сумасшедший! В ненависть его я, конечно, не поверила. Это в нем заговорило отчаяние. Мне ужасно стало его жаль, надо скорее ехать, ехать. Но заговорила и гордость. Нужно его облить холодной водой, чтоб он опомнился и пришел в себя, и я написала ему:

"Покорно благодарю, Евграф Степанович! Если ты рад, чтоб я осталась на всю зиму, то я это постараюсь устроить. Н.Н., если только он встанет (на это есть еще до сих пор сомнение), то должен непременно уехать в Крым; мама, верно, останется, а я предложу ей провести с ней зиму. Верно, она этому будет очень рада. Одним словом, ты можешь насчет этого не беспокоиться и продолжать жить спокойно, как начал. Надеюсь, что ты позаботишься о костюме Графчика сам (у него свои деньги), если распорядился не передавать Вере Николаевне. Я бы не хотела, чтоб деньги Графчика тратились на что-либо другое, кроме детей. Я так устала за это время, ведь вот уже два месяца, что мы с Милей не раздевались,

и до сих пор не удается спать как следует, что прошу тебя еще не подбавлять неприятностей и, если тебе так ценно время, потерянное на письма, то и Бог с тобой, не пиши. Мне уже надоело повторять, да и ты сам мог бы, кажется, понять, что чем чаще пишете, тем я спокойнее. Ну, что же, коли ты один из бессмертных, и с тобой не стоит говорить смертным. Как быть? Целую моего милого далекого Графчика. Чтоб ему, хоть немножко, написать своей маме..." <...>

Только послала ему это письмо, как получила от него отчаянное:

"Милая (сейчас он меня ненавидел, а тут "милая". Л. В. Ф.). Везде и во всем какая-то странная судьба. Не хотел тебе писать этого письма, хотел дожидаться от тебя, а тут Графчик пристал с письмом. Если бы ты знала, знала, как я боюсь тебя огорчить, а между тем берет опасение, что огорчил предыдущим письмом и вот опять берусь за письмо. Что ни хочу делать, все идет наоборот. В одном был, между прочим, постоянен: в ненависти к сумасшедшему Тиме. Теперь хожу по улице с отпечатком переживаемых обид и огорчений и вдруг встречаюсь с этим Тиме, и он это замечает и как будто хочет утешить; как будто на него находит тень отеческой заботливости, а я только что собирался произвести действие, которое вызвало бы его вражду и ненависть. Конечно, мне нет особенного расчета ни от его любви, ни от его вражды, но при виде сочувствия (может быть, я введен в заблуждение) его становится жалко чем-нибудь обидеть. Вообще я замечаю, что невзгоды меня могут сильно ослабить физически, но они, кажется, поднимают меня нравственно: человек от удач теряет способность сочувствовать другим, а я замечаю прилив доброты и жалости. Не может быть, чтобы ты не пожелала бы усиления во мне этих чувств, а между тем неудачи меня не столько ожесточают, сколько вызывают к доброте. Положим, что все это непрактично, но как практичный человек я давно потерял существование. Кажется, я пишу ужасные глупости!... Ты, конечно, приедешь. Ты должна приехать, хотя бы из-за Графчика; но как бы ты не хотел тебя видеть в период неудач! Как бы я хотел скрыться в какую-нибудь скорлупу, где бы ни ты меня не видела, да и избавился бы от удовольствия встречаться с другими... Стоит ли посылать такие глупые письма? Поцелуй деток. Твой Евграф".

Жизнь Евграфа учит: правдивый сам, он стал уже побаиваться введения себя в заблуждение дипломатами. Его смятение в этом письме ясно сказалось. Он был, видимо, сам не свой, когда писал и сестре:

"Дорогая Эмилия Васильевна! Только что получил письмо от Людмилы, объясняющей причины задержки в отъезде. И я, и матушка от души жалеем больного; болезнь Николая Николаевича страшно болезненно отзывается на всех и особенно на матушке, которая вечно мучится мыслью о его состоянии, особенно когда она узнает о переносимых им страданиях. Мне самому также не приходится приносить особых уверений в моем глубоком уважении и истинно дружеских питаемых к нему чувствах. Каждый из нас сделал бы все возможное, чтобы облегчить ему страдания и скорее вырвать из когтей страшной болезни. Но Вы, собственными глазами следящие за его состоянием и своими ушами переносящие его стоны, видите на деле, что никакие усилия врачей не могут принести ему скорой помощи. Если Людмила вот уже полтора месяца все надеется на немедленное его поправление, а вместе с тем откладывает свое возвращение, то ясно, что она ошибается. Больной не поправляется, а те печальные последствия, какие могут явиться от ее промедления, лишь усиливаются. Я не берусь судить вообще, какую непосредственную помощь она оказывает больному, но я не сомневаюсь, что она служит к утешению Вас и Анны Андреевны. Но не захотите же Вы допустить, чтоб облегчение Вашей тяжести послужило причиной большого отягощения положения близких Вам лиц и прежде всего наших бедных деток.

Какие бы обстоятельства ни произошли, наши дети должны быть вместе, и я не могу допустить такого продолжительного их разъединения. Так как Людмила отклоняла мои порывы приехать самому и взять детей, то приходится ей ехать безотлагательно, и должен Вам сказать откровенно, что такое страшное ее невнимание к своей собственной семье надолго оставит во мне чувство горечи. Но этим я не хочу сказать, чтобы я настолько не рассчитывал на себя, чтобы не мог пробыть без нее. Если она желает посвятить себя, пока возможно, заботам о Вашем муже и моем друге, то это только делает ей высокую честь и в моих собственных глазах окрашивает ее высокую натуру. Но пусть она сначала привезет детей, а там решает, как знает, и я не думаю оказывать на нее давление, хотя, конечно, и Вы хорошо поймете, что, бросив детей, она во всяком случае наносит ущерб своей семье. Итак, милая Эмилия Васильевна, собирайтесь с силами и требуйте немедленного ее выезда (если она еще этого не сделала) и не заставляйте то чувство горечи по отношению к ней, какое у меня уже накопилось, разрастись до глубокой вражды. Поцелуйте и деток, и мою драгоценную супругу (которую я подчас ненавижу). Передавайте привет Анне Андреевне, Николаю Николаевичу, и позвольте мне хоть заочно поцеловать Вашу ручку, чтобы хоть как-нибудь выразить Вам свою горячую преданность и глубокую скорбь по поводу постигшего Вас несчастья. Про себя не пишу, а чувствую очень плохо. Ваш Е. Федоров".

Он-то меня пугает своей ненавистью, а я его не боюсь, потому что не верю. Все это временное. Я ведь его знаю чуть не лучше его самого. Пришлось ему написать до Окезда еще одно письмо, уже третье:

"Моя милая, пребываю в ожидании письма о тех вещах, которые нужно вам выслать для вашего возвращения. И тебе не совестно, что ты об этом не подумала раньше? Впрочем, Бог с тобой. Какие последствия ни были бы от твоей беззаботности о нас, твоих ближайших, во всяком случае, ты руководилась светлыми мотивами и потому... и потому я глубоко раскаиваюсь в своем временном на тебя гневе. (Ага! Началось раскаяние. Я так и знала — Л.В.Ф.). Ты, по отношению к нам, конечно, заслужила этого гнева, но ты стоишь выше того, чтобы мы могли применять к тебе обыкновенную мерку и должны пасть ниц перед твоей доброю и твоим великодушием. Конечно, тебя будут боготворить все те, кто видел твою самоотверженность, а с этими буду и я, от тебя пострадавший.

Эти дни я нахожусь в каком-то угаре. Я как-то расползаюсь в пространстве и чувствую, что теряю тот строгий контроль, который до сих пор руководил мною в моих действиях. В первый раз в жизни я энергически борюсь с неблагоприятными для меня течениями и в первый же раз в жизни имею случай наблюдать для меня благоприятные результаты не от истинной моей деятельности, а, так сказать, от политики, от формы обращения, от выбранного для этого момента и т.п. Я так распознал в этих действиях, что если не добьюсь никакого результата окончательно, то, кажется, буду окончательно потерянным.

Вчера в заседании естествоиспытателей в университете я был буквально окружен, и это, кажется, опять в первый раз в жизни. Я вижу, что заставил интересоваться своими трудами и что начинаю приобретать прочную почву и в России. Не хочу тебе ничего писать о возможных результатах моей теперешней политической деятельности, но скажу только, что надежда на скорое достижение результатов не потеряна. Но только теперь я не прямо предоставляю на усмотрение других вознаградить меня по заслугам, а хочу борьбою добиться такого вознаграждения. Вот эта-та мелкая борьба и поглощает мое время и кружит мне голову, слишком я к этому не привычен...

Сегодня большую часть дня провел в объяснении всех своих приборов лицам профессорского персонала университетов (неразборчиво: Левинсон-Лессинг и Голицын — Л.В.Ф.). По-видимому, за неблагоприятным для меня течением, даже пагубным, которым я, по-видимому, обязан нерешительности Александра Петровича и наговорам Арцруни, теперь наступает реакция, и сам Арцруни начинает у нас падать с пьедестала. Кажется, признак: сегодня Чернышев мне говорил, что 14 лет высоко чтит Арцруни, а теперь начинает в нем разочаровываться. Впрочем, и я с своей стороны стараюсь содействовать такому разочарованию. Впрочем, я опять заговорил о глупостях..."

Наивный мой Евграф не знает, чтоб стать политиком, нужно с малых лет привыкнуть лицемерить. <...>

"Да и ты меня смущаешь. Хотя и написала я тебе, что не приеду на твое обидное признание, но теперь обижаться на тебя не могу, ты совсем не в себе. Я не могу понять, что тебя так волнует? Все у нас обстоит благополучно: все мы здоровы, любим все друг друга, детишки здоровые, способные, прекрасные. Нехватки в деньгах? Так это мы рассудим как быть, когда я приеду. Только нужно немного терпения. Меня сильно смущает, что Мила до сих пор не систематично учится; но и это скоро устроится по силе возможности. Я вижу, что страшно ты соскучился по нас, но еще недолго осталось подождать. Зато как будет приятно свидеться после такой долгой разлуки. Эх ты, мое бедное неразумное дитя! Твоя все та же Людмила".

Шуб, конечно, я просила не присылать, а привезти их на вокзал при встрече. Здесь было не холодно и в пальто. Помню, какое двойственное чувство я испытывала: и домой-то тянуло, и точно радостная волна заливала сердце при мысли о нем, и сейчас же брала тоска, покидая своих в их несчастьи, и я чувствовала как бы угрызения совести. <...>

В Петербурге были встречены Евграфом с шубами. Он в карете не знал, кого из нас слушать, так девочки наперерыв щебетали.

Вернулась я инвалидом, с больной рукой. Евграф забеспокоился и притащил моего сотоварку по курсам Колоколову, думского врача. Она мне заявила, что не понимает причины моей болезни и потащила к Шершевскому, доктору по нервным болезням. Он решил, что мне нужен отдых и советовал нанять бонну, чтобы она помогала по крайней мере хоть шить. Я так и сделала и наняла премилую немку Эмилию. Милочка у нее быстро выучилась говорить по-немецки, но у Графчика все время поглощала гимназия и школа рисования.

Евграф понемногу мирился с своей судьбой — быть забракованным. Он возымел надежду на Академию еще с тех пор, как прочел лекцию в Артиллерийской академии о проблеме минимум, и Шиф, профессор, выразил ему свое восхищение по поводу доклада и сказал, что недаром комиссия выбрала его

первым кандидатом в Академию наук. А когда был назначен академиком Еремеев, сказавший перед этим Евграфу цинично: "Надену мундир, пойду куда следует, и буду выбран", — то А.П. Карпинский утешал Евграфа: "В следующий раз Академия выберет Вас".

"Академия, выходит, просто орден какой-то за выслугу лет, а не учреждение, дающее возможность особенно выдающимся научным силам без помехи разрабатывать свою специальность. Гениальности там не требуется. Таких, как Менделеев, — днем с огнем поискать — там не надо"⁷². "Ты знаешь, что свой пророк в отечестве не признается и, значит, это хороший признак, что Академия наша тебя бракует. Теряет, конечно, наука, но виноват не ты, а Академия, которой горя мало от этого", — так старалась я утешить Евграфа.

УРАЛ. ТУРЬИНСКИЕ РУДНИКИ. МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Заходит к нам как-то раз Екатерина Павловна Мушкетова за Митей, который был у нас, и говорит, что Ивану Васильевичу некогда самому прийти к Евграфу Степановичу, а потому он просит его зайти к нему, и поскорее, для очень важных переговоров.

Побывав у Мушкетовых, Евграф вернулся озабоченный и умиленный. "Иван Васильевич так меня тронул своей заботливостью обо мне, что не знаю только, как ему выразить свою признательность. Вообрази: я служу себе по инерции, так как лучшего ничего не представляется, и думаю только о своих научных работах, а вот находится такая добрая душа, которая, как нянька, следит за неопытным ребенком и направляет его стопы, куда следует. Иван Васильевич предупредил меня, что, прослужив в Геологическом комитете 9 лет, я перестаяю уже получать повышение в чинах, так как эту должность полагается занимать не выше определенного чина, и, следовательно, служа дольше, я теряю года для производства в пенсию, что очень мне важно для семьи в случае моей смерти. Сами по себе чины мне, конечно, не нужны. И вот Иван Васильевич советует мне (так как геологом меня почему-то не считают достойным сделать, хотя я и составил геологическую карту Северного Урала), бросить Геологический комитет и уехать куда-нибудь на время на завод. Конечно, он более всего желал бы меня видеть в Академии или на кафедре; но что же делать, когда это мне не дается. Повторяю, это единственный мой профессор, да еще Гадолин и химик Бекетов, которые понимают, как необходима мне профессура".

Вот задача! Теперь Евграф принялся обдумывать, куда ехать. Его не прельщали ни большие деньги, ни почет, ни слава, он только искал возможности разрабатывать безостановочно наплывавшие в его мозг научные идеи и желал провести их в мир. Кто хорошо понимал, что он за человек, бессилен был помочь ему, а кто мог доставить ему эту возможность, либо не понимал его, либо не желал понимать и помочь ему, и точно образовалась целая коалиция против него в ученом мире. И вот, предоставленный на волю судьбы, он как раз имел то, чего не добивался, а его научные труды, как ни задавливались чиновничьими и инженерными работами, все же росли да росли, так как энергии у него был непочатый край и неиссякаемый ее источник.

Евграфу больше всего был знаком Богословский округ, и дела там падали, он и написал туда, конечно, не будучи уверен в успехе, но вскоре же получил приглашение от главноуправляющего, Александра Андреевича Ауэрбаха, приезжать в эту же весну в качестве геолога, и ему будет дана полная самостоятельность и возможность не забрасывать научные труды. Евграф, конечно, согласился. Да и ничего не осталось больше делать.

Зиму мы прожили хорошо; было много музыки: у бабушки внизу квартеты, игра Евграфа с Милой в четыре руки, и Александр Николаевич Карножицкий дал мне с Милой билеты на воскресные студенческие концерты в университете.

Странный был субъект Карножицкий, наш завсегдатай, немало он доставлял нам хлопот: поселился в соседнем доме с нами, вызывал с нашей стороны помощь во время болезни и даже пришлось как-то от себя приглашать врача и платить ему от себя. Чем-то он травился, перепугал нас, а причина этого непозволительного поступка так и не выяснилась. Евграф назвал его за это психопатом. Он был самолюбив, а его тоже затирали, он завидовал Евграфу, что не раз и высказывал. Раз даже рассердил меня, заявив:

— Если б я так сидел и все бы только работал, то тоже не меньше бы написал Евграфа Степановича.

— Ну, нет! Сидели бы, сидели и ничего бы не высидели, а Евграф потому и сидит, что голова ему не дает возможности встать, а Ваша голова не заставляет Вас сидеть.

— Так Вы меня считаете безмозглым? Не ожидал!

— Нет, я, да что я — Евграф Вас считает способным, но Вы разбрасываетесь по пустякам. Ведь правда?

— Что правда, то правда, — согласился он, смиряясь.

Как-то раз, уже после 12 часов вечера, звонок—является Карножицкий. Не раздеваясь, входит в гостиную, садится, и все молча. Я и Евграф переглядываемся.

— Что с Вами? Зачем Вы так поздно пришли? — спросил наконец Евграф.

— На первую половину вопроса я никак не могу ответить, что со мной, я и сам не разберусь; а пришел потому, что, идя мимо Вас и увидав у Вас огонь, мне захотелось неотразимо быть с вами. Я сейчас под влиянием оперы "Аиды", которая меня так сильно возбудила, что я сам не свой.

Я ему предложила успокоительные капли, но он отказался и ушел.

— Вот несчастный, не может совладать с собой, — сказала я, а Евграф заметил:

— Безвольный.

— Жениться бы ему надо, да ресурсы больно мизерны — возразила я.

— А у нас с тобой больше было? Ему открыта дорога: он работает при Университете, а все хнычет; не ходи по театрам, коли тебя так они возбуждают, что не можешь совладать с собой. Не люблю я таких сопляков. Прошу тебя, будь ты с ним осторожна, он юбочник несомненно.

Он был мистик. Отчасти тут играла иногда роль рисовка: во, какая я загадочная натура, но все же он не всегда играл роль, и ему следовало бы основательно полечиться. Приведу письмо Евграфа ко мне в Ромны, характеризующее его мистицизм, а кстати, тогдашнюю издерганность нервов и Евграфа:

"Пишу сейчас после дурно, почти мучительно проведенной ночи, и причина этого — исключительно вчерашнее посещение Карножицкого. Он поистине человек особенный, какой-то странный, больной и ненормальный тоже, и даже соприкосновение с ним способствует передаче болезненности. Он вчера зашел к ночи по обыкновению на минуту, а кончилось тем, что пришлось почти напоминать о позднем времени. Он зашел вчера еще первый раз, но уже ночь испорчена. Он вчера был в ударе и рассказывал о своих приключениях и сразу привел меня в такое состояние, что я, хотя слушал и с большим интересом, но просил перестать, несмотря на то, что он, увлекшись, почти сам напрашивался рассказать нечто самое ужасное в своей жизни, что висит над ним подобно мертвой руке, стремящейся задушить. Я не буду излагать в письме его рассказов (если ты их хоть частью не знаешь уже), но могу только сказать, что те ужасы, которые измышлял Гоголь для своих страшных сказок, положительно слабы сравнительно с этим, что Карножицкий испытал, по его словам, в действительности. Наконец, между прочим, был назван день его смерти (24 ноября или декабря будущего года).

Надеюсь, что ты сохранишь это в достаточной тишине, чтобы не только ни разу не упомянуть ему об этом, но всячески дать ему возможность забыть об этом. Рассказы его своею сказочностью, чудесностью произвели на меня такое впечатление, что я их, конечно, не забуду. Худо то, что, как

оказалось, Графчик, страшно хотевший спать и уже улегшийся, так как уже перестал понимать учимый урок, не заснул, а слушал его рассказы. Еще странность, что, если верить Графчику, он отнесся к ним равнодушно и самым флегматическим тоном заявил, что ему все это кажется выдуманным, а меня пробирает мороз по коже.

Я долго не мог заснуть, несмотря на старание развлечь себя чтением, а ночью проснулся и подвергся такому впечатлению ужаса от простого ожидания, какого еще никогда не испытывал, и удивляюсь, как-таки никакой галлюцинации не приключилось, а чувствую, что последствия могли бы быть нехорошие. Я тогда подумал о том, что едва ли хорошо, что мы так надолго с тобой разъехались; тогда бы я у тебя нашел защиту от своих воображаемых ужасов. Никогда я не воображал себя таким трусом. Фактического могу тебе привести только то, что особа, бывшая близкой к Карножицкому, на днях умерла: ее кто-то отравил гнуснейшим образом. Когда он на лицо (чуть даже не на два) заявил подозрение, те были приглашены в полицию, начисто отперлись в своем ужасном преступлении, были совершенно освобождены и тогда явились к Карножицкому и сознались в своем ужасном преступлении, очевидно, взяв с него слово сохранить это в тайне. Неужели и это "фактическое" все продукт его воображения, больной фантазии: на меня же ужас наведен его рассказами о постоянных посещениях умершей в связи с разными странными и загадочными стечениями обстоятельств..."

Евграф со своей правдивостью признавал совершенную правдивость и в других; потом был слишком деликатен, чтоб не выслушивать наболевшее в душе страдающего, к тому же добр; да и сам, с издерганными нервами, в это время был впечатлителен. Карножицкий пробегает день, а ночью занимается, и можно ему было поверить, что он ясно видел и чувствовал прикосновенья умершей, так как либо галлюцинировал, либо, засыпая, видел во сне. Вообще нам, здоровым, хотя и жутко думать и слушать о галлюцинациях, но ни понять их, ни верить в их реальность, ни вызвать их мы не можем, и потому отвергать их реальность для больного не можем тоже.

Как-то шла я с Милой с концерта в сопровождении Карножицкого. Было начало весны, день был превосходный. Я пожалела, что надела калоши.

— Снимите, — говорит он, — и положите в мой гроб.

— До тех пор я уже несколько галош сношу и этих уже не будет; ну, Александр Николаевич, и ипохондрик же вы. Под приятным впечатлением музыки и такой хорошей весенней погоды неприятно вспоминать о гробе.

— Да ведь мой гроб—футляр от скрипки, но и о настоящем я часто думаю. Хорошо умирать молодым! — процитировал он стих Добролюбова.

В нас тогда бурлила жажда жизни, а он врывался в нее как диссонанс. Особенно он косячился, что мы скоро уедем, и хныкал, и ныл, казалось, чистосердечно все повторял: "И что я без вас буду делать? Совсем пропаду".

Весной умер Николай Николаевич, этот прекрасный, добрейшей души человек. После моего отъезда его свезли в больницу в Харьков, а похоронили на его родине в Валуйках. Миля уехала потом в Шаталовку, в имение к тем знакомым Николая Николаевича, которые его брали на поруки, когда он был арестован. Мама приехала к нам. Это нас задержало, и Евграф уехал один в Богословск, чтобы приготовить нам пристанище. Нельзя же было маму везти на авось. Мы сами не знали, что нас ожидает. Свободных казенных квартир не было, и Евграфу пришлось нанять дом, где раньше был трактир, и его заново отделявать.

Пришлось уезжать как раз тогда, когда дети требовали учения, особенно Мила. Гимназии-то и в провинции есть, а консерваторий-то там нет, а оставлять девочку здесь мы не решились. Так жаль было расставаться с нашей милой квартирой, с квартетом, с бабушкой и дядей Геней. И вот они нам посоветовали не бросать пока квартиру, а раньше испытать, что нас там ожидает, и маму не везти пока, а оставить у них. Они возьмут ее с собой на свою дачу и уступят ей весь верх в три комнаты. Мы так и порешили. Графчика без экзамена не пускали, и я взяла его из этой архиклассической гимназии совсем. Мы наконец двинулись, к великой печали бабушки. Ехали на ура, так как дела округа были плохи; заводы работали либо впустую, либо даже в убыток, особенно медные рудники,

которые Половцев собирался уже продавать. Евграф ехал спасать все это, как знаменитый доктор к опасно больному.⁷³ Оправдает ли он такое к нему доверие?

Хотя все эти вопросы и тревожили, но мы ехали с большой приятностью на пароходах от Рыбинска до Перми. И дешево, и мило, особенно после долгого перерыва, плыть по Волге. От Перми до Кушвы тоже занятно было ехать. Егошихинская гора разбудила много воспоминаний. Смущало несколько путешествие на лошадях от Кушвы до Богословска в 240 верст. Меня заботило, найдем ли мы два экипажа крытых. С нами ехала Анна Ивановна. С Эмилией пришлось расстаться, ее не пустил отец так далеко, а она заливалась слезами, расставаясь с нами: полюбила очень Милу. А эта Анна Ивановна ни слова не знала по-русски и только теперь с прислугами начала обучаться и говорила преуморительно.

Приехав в Кушву к уполномоченному от Богословского округа, узнали, что Евграф позаботился, и нас ожидали два прекрасных крытых экипажа; закусив, покатали на двух тройках. Сначала дорога была очень приятная, до Верхотурья; везли нас быстро. По бокам дороги розовел шиповник и шли с котомками богомольцы; воздух прекрасный, смолистый, природа величественная; нескончаемые леса, а в них такие величавые, грандиозные деревья, особенно лиственницы, какие пришлось увидеть в первый раз в жизни, про которые Евграф рассказывал с восхищением бывавшему у нас известному художнику Шишкину, а тот пользовался снятыми Евграфом видами для своих картин.

В Верхотурье мы успели только закусить, как нам подали лошадей, мы и не успели его осмотреть. Казалось, Евграф был не практичен, но его забота о семье была ощутима: он во всех своих письмах предупреждал о трудности пути, где часто на станциях задерживают, приходится переезжать несколько паромов, предупредил даже, что между первой станцией после Верхотурья, Караулом, и второй, Латинской, есть громадный лог, в который приходится спускаться по крутой горе, а потом подниматься на другую, противоположную горищу. В этом месте часто происходят несчастия и лучше выходить из экипажа, если лошади плохи; бывали случаи, что, не сдержав, они скатывались прямо и ломали себе ноги. Все его предостережения заставили меня быть начеку. В Карауле уже начинало солнце садиться, когда мы расселись по экипажам, ожидая ямщиков. Первой тройкой, где сидела я, Графчик и Женя, сел править сам хозяин, пьяный-распьяный; я запротестовала и объявила, что с ним не поеду, а он, недолго думая, погнал лошадей. Я испугалась, вспомнив Крутой Лог. Мы все закричали; я схватилась за армяк ямщика, чтобы он не упал на нас, и орала что есть мочи. И уже проезжая почти Караул, стала махать, зовя крестьянина, высунувшегося из окна на мой крик. Он прибежал, высадил хозяина, который не мог даже держаться на ногах и говорить, только что-то бормотал, [и] сел сам на козлы. Графчик его поблагодарил, а тот так благодарно ответил, улыбнувшись: "Я очень рад, что могу услужить". Мы все дрожали, у меня разболелась голова.

Не предупреди меня Евграф заранее, я с ужасом думала, что бы могло нас ожидать, так как еще до лога одна пристяжная, испугавшись в лесу костра, поднялась на дыбы, порвала ремешки и понесла было, а лог пришлось переезжать глубокой ночью, дети уже спали, и выходить из экипажа ямщик не советовал. Все мои страхи где-нибудь застрять оказались напрасными, и нас безостановочно катили, только на 3-й станции мы хорошенько выспались.

При въезде в Богословск нас поразил необычный, какой-то таинственный вид уральских снеговых гор, про которые так часто Евграф вспоминал. Привезли нас на почтовую станцию в Богословск, а не в Турьинские Рудники* — место-

* Ныне г. Краснотурьинск. — *Примеч. сост.*

жительство Евграфа. От недосыпания и такой долгой тряски у меня разболелась голова. Я требую лошадей — говорят, нет. Так близко, и придется сидеть тут, пожалуй, весь день. Хотя Евграф писал и раньше говорил, что тут управляющим Петр Николаевич Фигнер, брат Веры Фигнер, но не было расположения идти в гости, хотелось домой, и всего-то до Турьинских Рудников 12 верст. Брала досада. "Чьи вы будете? К кому едете в Рудники?" — спросила хозяйка. Когда я назвала свою фамилию, хозяйка повеселела: "Так не ваш ли это папенька, что сюда так часто ездит и справляется: мол, не приехала ли его семья? Славный, добрый барин и все-то он о чем-то думает, сурьезный. Если это он, то я пошлю свою парнишку за ним к управителю". И вышла.

Дети, смотря в открытое окно, вдруг увидали папу, едущего мимо; он так был погружен в думы, что как дети ему ни кричали, он проехал, не обращая внимания, но не прошло и пяти минут, как он был уже у нас. Оказалось, что он, заказав заводских лошадей, хотел ехать нас встретить на соседней станции и ждал запряжки у Фигнера и, не придя вовремя мальчик, он бы от нас уехал. Он мне говорил, что он не мог подолгу высидеть дома и заниматься от тоски по нас и, когда был свободен, бежал в гости, что потом послужило поводом к рассказам обо мне как о строгой жене, так как с моим приездом он засел дома.

На двух экипажах мы поехали к Фигнеру, куда, собственно, было два шага. Там помывшись, почистившись, отдохнув и пообедав, покатали в Турьинские Рудники, куда прибыли уже к ночи. На нас глянул из темноты двухэтажный белый каменный домик. Вошли вниз через черный ход в темную переднюю, а из нее — в большую с низким потолком комнату. Евграф крикнул: "Елизавета Павловна! Вы здесь? Дайте, пожалуйста, нам закусить". Это была дочь хозяйки, первое время нам прислуживавшая. Она принесла хлеб, масло и холодную говядину, и мы при догорающем огарке, держа тарелки в руках [быстро поели, стоя], так как свечей больше не было, а в комнате была всего одна длинная, двухаршинной ширины скамья. Девочек уложили на нее, а бонна сама захотела лечь на пол, и Графчик спал на полу. В кабинете, наверху, была одна кровать, стол и стул.

Несмотря на неудобства, все разоспались, хотя Женя ночью и свалилась со скамьи. Евграф громко крикнул сверху: "Кто хочет смотреть квартиру?" Все повскакали. Квартира в семь комнат, две большие и пять маленьких, была светлая, вся в окнах, как фонарь, и солнечная. Пришлось при неудобствах прожить немалое время, хотя кое-кто и снабдил нас столами и стульями, даже кроватями и гардеробом. Наконец, наша пустыня начала наполняться: принесли три дивана, раздвижной обеденный стол, стулья, заказанные Евграфом еще до нашего приезда, и мы приобрели некоторое удобство. Внизу образовалась столовая, комната девочек и комната Графчика, пока не приехала мама; наверху приемная, кабинет, подле — спальня наша и еще проходная комнатка с лестницей вниз. Мне не нравилось только, что потолки внизу были низки: они меня, привыкшую к высоким, точно давили, и я убегала наверх. Евграф смеялся и говорил: "Я хотел бы, чтоб ты дольше не привыкала к низкому потолку, чтоб подольше пребывала со мною наверху".

В окно его кабинета всовывались ветки цветущей развесистой черемухи; врывался прекрасный чистый воздух, несмотря на грязный, весь в навозе двор, но куда уже, по распоряжению Евграфа, привозили щебень и песок, и двор скоро принял чистый вид плаца; я против окон, уложив дерном клумбочку, насажала цветов, а подле забора поставила скамейку, и вышел садик. Хозяйка с двумя дочерьми дивились такому быстрому превращению их навоза в цветы. Домик был чистенький, хорошо отремонтированный, но печи зимою сдали, так как, пока их чинили, хозяйка таскала кирпичи; Евграфу не раз приходилось их подкупать, а смотреть за работами самому было некогда.

Обставившись и дождавшись, когда нам привели тройку лошадей с тележкой, что полагалось в наше личное распоряжение (мы должны были только кормить кучера), мы стали делать визиты. Я, рассчитывая попасть чуть не в деревню, не подумала о визитных платьях, и мне казалось не совсем ловко ехать на первое знакомство в простенькой кофточке в такие шикарные квартиры с электрическим освещением и к хозяйкам, даже дома элегантно одетым. Евграфу, не придававшему значения костюму, все это казалось сущими пустяками, хотя потом это оказалось не совсем так.

Первый наш визит был, конечно, к главному управляющему Ауэрбаху. Примчали мы на паре на отлет к большому двухэтажному каменному дому, буквально примчали. Евграф не привык к скорой езде и часто кучера останавливал: "Ты эдак нам, братец, головы сломишь". Но кучер, татарин Вильдан, был превосходный. Я любила так нестись, но в угоду Евграфу, особенно с детьми, сдерживала; а Вильдан-то и старался угодить, собственно, барину. Он его просто заобожал и служил рекламой добродетелей Евграфа. Выскочил лакей, доложил, и к нам вышел высокий, видный, красивый, с седоватой богатой шевелюрой Александр Андреевич Ауэрбах. Мне он очень понравился: у него было какое-то располагающее к себе добродушие, чувствовалась доброта. Он ввел нас в гостиную, куда вышла к нам его жена, Софья Павловна, высокая полная дама с нездоровым, несколько одутловатым лицом. М-ме Ауэрбах любезно нас приняла, как подобает хозяйке *comme il faut**, но это любезность вынужденная, напускная, не от сердца — это чувствовалось. Да и то сказать, ведь надоедят же, наконец, вечные гости, а у них каждый день кто-нибудь, представительство, *poblesse oblige*** — нельзя иначе. Чистосердечно скажу, я ей не завидовала. Все почти почему-то недолюбливали ее. Потому ли, что она себя держала свысока, почему либо другому — не знаю.

Они вскоре отдали нам визит, пригласили на обед с детьми. Тут мы познакомились со многими служащими и, между прочим, с инженером-путейцем Павлом Юлиановичем Майером и его семьей. Дочка их Маруся была годами между Милой и Женей и потому подходила к обеим; это способствовало нашему быстрому сближению с ними, и я с детьми чаще всего бывала в Богословске у них, а Евграф — у Фигнера, по своим делам. Маруся со своим братом Сережей, моложе Жени, подолгу гащивали у нас.

В Турьинских [Рудниках] через два-три дома жила тоже на своей квартире семья Кихлер. Он — окружной инженер; про этих инженеров бывает дурная слава, что они не брезгают поборами. Я спросила Евграфа про Кихлера. Он мне так ответил: "Всяким частным слухам не всем доверяй. Всегда больше говорят про человека худое, чем хорошее. Но я про Кихлера ничего худого не слышал. Да и не наше это дело и нас не касается. Это дело следователя". А семья их была подходящая: у них тоже девочка, как Маруся, Эля; и стала дружить с моими девочками, а мать, Эмма Ивановна, обрусевшая немка, симпатичная толстуха, часто забегала к нам по соседству. Им на дом не полагалось лошадей, и они должны были брать за деньги из пожарной по надобности, и потому Элю мы всегда брали с собой, когда ехали кататься.<...>

Бывало, раздается голос Эммы Ивановны на всю квартиру: "Людмила Васильевна! У нас сегодня пельмени, приходите кушать!" Это она стоит у открытого окна в столовой, облокотясь с улицы на подоконник, так низко были внизу окна к земле. Это окно долго у нас стояло без рамы, которая вывалилась, и пока ее чинили, на ночь окно заставлялось большим подносом, придерживаемым

* Буквально: как следует, прилично (фр.).

** Положение обязывает (фр.).

утюгом. Блаженные тогда были времена: никому и в голову не приходило залезть и нас ограбить, поубивать всех утюгами.

В Турьинских же Рудниках жили брат и сестра Савицкие, Бронислав Николаевич и Валерия Николаевна, очень милые люди, приветливые и хлебосольные хозяева. Хотя Савицкий был по золотому делу, добыча его шла у него хорошо, даже прибыльно, и Евграфа оно не занимало особенно, но у него с этим дельным инженером находилось много общих разговоров. Савицкий ценил Евграфа.

Евграф считал еще очень дельным инженером Литауера, на шахте в шести верстах от нас. Он жил с женой и с маленьким сыном. Сыниска этот всегда сейчас же подставлял мне скамейку под ноги, когда я садилась у них в кресло, садился на другой ее край и изображал из себя кучера, погоняя кнутиком воображаемую лошадь; был преуморительный мальчуган. Почти никогда нам не пришлось долго просиживать у Литауера, хотя Евграфу было необходимо много его порасспросить о железном деле; являлся либо сам Шамарин, управляющий шахтой, либо присылал за нами и приглашал к себе. Литауеры даже стали обижаться, но он был помощником Шамарина и зависел от него.

За шахтой на железном руднике жил Де-Кампо-Сципио, Григорий Осипович, который тоже был в уральской экспедиции помощником Лебедзинского и потому хорошо был знаком Евграфу. Сципио и Шамарин были женаты на родных сестрах, Ольге и Софье Юльевнах, племянницах Ауэрбаха. Мне пришлось завести большое знакомство. Я, собственно, большая домоседка, а Евграф для разных справок и разговоров по необходимости вечерами ездил то к тем, то к другим, и, конечно, со мной.

Это первое лето нас удивило: 24 июня, в день Ивана Купала, когда, по поверью, зацветает в эту ночь папоротник, встаем и глазам не верим: бело, на крышах и на деревьях снег, на земле даже не тает и все продолжает валить. Особенно поражена была наша бонна Анна Ивановна. Она все время ахала: "Вот куда мы заехали, что и лета нет! Я замерзвала", — уверяла она прислугу, а те хохотали над ее коверканием русских слов. Слово "замерзвала" вошло у нас в обиход, в память ее. Евграф с детьми куда-то пропал и необычно опоздал к обеду. Он был всегда пунктуален, если кто-нибудь не задерживал; а тут все правила нарушил. Наконец, являются все сияющие и объявляют, что катались по снегу в лесу на санях; попустились обедом, боясь, что снег растает.

Все общество захотело отпраздновать именины доктора Ивана Ивановича Белавина и закатило такой грандиозный фейерверк в лесу, что чего-чего тут только не было: и колеса, и лягушки, и ракеты, и бенгальские огни, сказочно красиво освещавшие опушенные снегом деревья и снежный ковер, необычайная была картина. Все это прекрасно удалось.

Мы не имели теплой одежды, но наше внимание от ощущения холода, верно, было отвлечено зрелищем. Все в шубах с участием спрашивали нас, не зябнем ли мы, заботились, чтобы мы не простудились. Тогда Софья Павловна, не сходявшая с своей выпряженной долгуши и сидевшая на ней, как на диване, с ногами под пледом, пригласила меня к себе и укрыла пледом. Вообще в Богословске всеми способами старались развлекаться, когда позволяло время. У мужчин преобладали карты. Евграф не долголюбивал карт, играл всегда по маленькой, но садился, чтоб не расстраивать компанию, да и между картами не забывал дела, чем досаждал картежникам, особенно не любившего этого Шамарину.

У Евграфа была такая натура, что, за что бы он ни взялся, он предавался этому делу с жаром, и даже за картами входил в азарт. Мне бывало смешно и досадно видеть, как он из-за какого-нибудь пустяка кипятился. На возвратном пути домой, бывало, скажешь: "И чего ты горячишься, вся эта игра и свеч не стоит". Он соглашался и сейчас же с жаром начинал мне доказывать, что не пойдя его

партнер с червей, то у них был бы большой шлем. "Ты пойми, большой шлем! Это не часто приходит!" И опять начинал кипятиться. Он в этом был неисправим. У Шамариных он не любил бывать из-за карт.

Шамарины были очень расчетливы. Когда мы бывали у них одни, они оставляли нас закусить и пить чай, что у нас и у всех полагалось на сон грядущий; но зачастую Шамарины сами назовут гостей, а за чаем подадут несколько сухариков — это там, где гости приезжают за несколько верст, где у каждого свои коровы, птица, свиньи. Раз вышел с сухариками курьез. Пили у Шамариных чай, М-ме Кихлер проголодалась, но все стеснялась взять сухарики, так как их на всех было мало; заговорила с кем-то и, наконец, решилась взять один, и видит, что вазочка пуста, ни одного. Она про себя подумала: "Вот какой-то злодей лишил меня даже последнего сухарика". На другой день приходит к нам и рассказывает, что, возвратясь, им с мужем пришлось будить даже прислугу, чтобы перекусить. Все обедали рано и привыкли ужинать; прокатившись 2 раза по 6 верст, еще больше захочешь есть. Она сказала, как она была лишена каким-то злодеем последнего сухарика Евграф вытянул губы: "О! Этот злодей я! Я долго ждал, но вижу, никто не берет, заговорился и невольно один за другим все и съел, спохватился, да уж было поздно". И начал извиняться. Хохотали же мы над ним!

Он по временам бывал очень забавен. Я не знаю, как объяснить, такие, например, его выходки: у тех же Шамариных как-то мужчины допоздна заигрались в карты, а мы, дамы, загулялись по саду при луне; начали все собираться домой, уже в передней, в пальто, заговорились и вдруг Евграф: "Людмила, едем же скорее, я страшно есть хочу!" Tableau!* Тогда Шамарины засуетились, предлагая остаться закусить. Но мы, конечно, все отказались и уехали. Потом сам Евграф подивился своей нетактичности. Наверно, все примут это за нарек. <...> Особенно его и меня смутил подобный же инцидент у Савицких, где всегда не только радушно принимали, но обильно и вкусно угощали. Играли в карты. Валерия Николаевна только и ждала окончания роббера. Выходят из кабинета игроки, и Евграф во всеуслышание обращается ко мне: "А что же ужин, Людмила?" Хозяйка заспешила: "Сейчас, сейчас, пожалуйста в столовую!" Так было неловко, но Евграфу все извинялось, знали, что он не от мира сего, все его почему-то любили, не только уважали за его знания, правдивость и справедливость. Потом, когда я Евграфа спросила: "Что это ты, галлюцинировал что ли? Вообразил, что дома?" Он мне ответил, что он превосходно сознавал, где он, и сам не понимает, как это у него выскочило, по привычке, должно быть, так как я его кормлю.

Евграф был очень занят все утро до обеда разъездами по съемкам и шахтам, следил за шурфами, отыскивал свою излюбленную гранатовую породу как признак близкой руды. Он торопился направить дело, чтобы приезжать потом только летом; устраивал музей, где собирал шлифы, которые я ему шлифовала. Сiju за учением детей, а сама шлифую, иногда так увлекусь, что шлиф выйдет как кружево, вся порода вывалится. Евграф меня журит, но раз как-то я ему этим угодила, навела на какую-то мысль, получились какие-то правильные узоры.

За неимением у Евграфа дневного времени мы очень редко бывали на обедах у Ауэрбаха, разве только по приглашению, а я и рада была, меня эти парады стесняли. Я предпочитала поездки в лес за грибами или ягодами. Иногда устраивались грандиозные пикники, чуть не на целый день. Места для них выбирались самые красивые, живописные, то на отвесной вершине неприступного скалистого утеса, прозванного Камешек, куда меня тянули на буксире: Евграф за одну руку и за другую еще кто-нибудь. В первый раз, помню, Евграф, втянув

* „Картина!“ (фр.)

меня, сказал: "Любуйся!" Действительно, открылся обширный чудный вид: полукругом цепь снеговых уральских гор, лес, мох до горизонта, только со стороны подъема горизонт загораживали деревья, подходящие к вершине Камешка. К нему вела красивая дорога-аллея все в гору, и когда по ней ехали впереди верхами, а сзади экипажи, то это была изрядная процессия и интересное зрелище.

Дети мои тоже стали кататься верхом. Я, было, сначала протестовала, но в угоду Евграфу согласилась, так ему хотелось доставить им удовольствие. То собирались в ложине, у бурливой реки. Тут вбивались колья для картежных столов. Кстати скажу, что Евграф никогда на воздухе не садился играть. Он любил природу и детей, и либо играл с ними, либо беседовал с кем-нибудь, либо рассматривал обнажения, камни, цветы. Мы набирали грибы, каждая семья привозила, что хотела: ветчину, пирожки, ватрушки, мороженое, варили шоколад и т.п. Фельдшер обыкновенно ловил сетью рыбу. С наступлением вечера разжигали костры, варили уху, жарили грибы.

Всходила луна, таинственно освещала наш луг, серебрила реку; там и сям красное пламя костров, разбрасывая искры, освещало копошащихся вокруг них людей; шум голосов, смех, крики бегающих детей, пение оживляли наш табор. В стороне похаживает взад и вперед Евграф, пощипывая бородку, его уже, верно, обуюли идеи, и он неудержимо унесся за ними, и не заставить вернуться к разостланным коврам вокруг скатертей. Детям было там раздолье: весь день на воздухе. Конечно, Евграф редко посещал пикники, но нас не стеснял, и мы, бывало, закатывались с обеда до вечера. Весело там жилось детворе.<...>

Евграф объявил мне, что без меня он здесь не останется. Я поехала в Екатеринбург*, определила сына в гимназию, где он выдержал хорошо экзамены в следующий класс, поместила его у своих самых близких мне знакомых Клепининых — это моя бывшая подруга Надя Ильина, теперь вдова. Там как раз были дети, подходящие по возрасту к Графчику, и он не скучал.

Сама я отправилась в Петербург. И как же мне было странно ехать одной! Поехала за мамой, чтоб везти ее к нам в Турьинские Рудники, а нашла ее на даче у Евгения Степановича в параличном состоянии спячки; пришлось ее пристроить в больницу Покровской общины. Я наняла за 50 руб. отдельный домик там в саду, и за ней ухаживали две сестры милосердия и вернувшаяся из Воронежа Миля. Пока расскассировала квартиру, отправляла вещи, опоздала на пароходы и пришлось ехать по железной дороге в Челябинск. Хорошо, что в Петербург возвратилась сестра Миля. Ей инженеры, сослуживцы Николая Николаевича, собрали пособие, выхлопотали пенсию и предоставили место в Управлении по постройке железных дорог. Мама осталась на попечении сестры, а мне, как ни горестно было ее покидать, пришлось торопиться, чтобы где-нибудь не застрять. По совету Евграфа не жалеть денег на хороший экипаж от Челябинска до Екатеринбурга, пришлось нанять большой дормез, в котором я буквально болталась, но зато меня не мочил дождь. Ямщик, чтоб сократить несколько верст, поехал через какую-то мукомольню, где запрещалось ездить почтовикам. Рабочие его остановили, стали заворачивать тройку. Ямщик слез с козел и со словами: "Я тогда умываю руки", — ушел. Я, плотно закрытая со всех сторон кожей дормеза, лежу ни жива, ни мертва; вокруг меня галдят рабочие. Я ни звука. "Кой черт там? Да, видно, спят. Да ну их к Богу, долго нам тут возжаться с этой чертовщиной? Эй, ты, куда запропал?? Вези уж, что ль!" Ямщик сел, и мы поехали. "Спужалась, ты, барыня? — сочувственно спросил меня потом ямщик. — Зато сколь скоротали верст!"

В Екатеринбурге, повидавшись с Графчиком, двинулась дальше. Евграф выехал меня встречать, где паром уже не ходил из-за льда. Он нанял лодку

* Ныне г. Свердловск. — *Примеч. сост.*

и ждал меня. Я подъехала уже вечером и нам пришлось переправляться в полной темноте. Какая радость была неожиданно увидеть Евграфа, да еще с лодкой, так как я знала, что паромы не ходят, и побаивалась. Темь, о борта лодки шуршат льдины, а дальше понукание кучера на шлепающих в воде, перевозящих экипаж лошадей, вброд, с фонарем. Измученная, я, наконец, приехала домой.

Евграф не любил хозяйственных дрызг и потому жаловался мне потом: когда я только что уехала, пришел кучер и заявил, что вышло все сено у коровы; приходит Мила от Анны Ивановны и передает, что кухарка, настряпав булочек, половину съела сама. Евграф разрешил по-соломоновски: кучеру сказал, "жди барыню", а Миле — "кухарка сама настряпала, сама и съела". Анна Ивановна прекрасно шила, у нее хороший немецкий язык, но воспитательница она была плохая. <...> При недовольстве на Милу, она переставала с ней говорить по неделе. "Да ведь Вы же и наняты, чтоб говорить с детьми по-немецки!"

Прожили мы эту зиму 1894/95 г. не совсем спокойно. Графчик перехворал корью и скарлатиной. Мне пришлось съездить опять в Екатеринбург. Потом захворала скарлатиной Женя. Больная и я помещались в комнате девочек, Анна Ивановна, как передаточный пункт, в столовой, Евграф с Милой наверху. В квартире холод, но для больной в жару — это хорошо; а каково было мне ночью поминутно вставать с теплой постели к ней. У меня наготове были валенки, спала я в дохе на заячьем меху. Женю я лечила сама, так как доктор лечил девочек Шамариных, и из пятерых одна у них умерла. Я решила за лучшее уединиться. <...>

Иван Иванович Белавин был прекрасный доктор от округа, следящий за наукой; больница его блистала чистотой. Он после уборки приглашал свою жену обойти и осмотреть. Евграф, смеясь, говорил, что в Богословском округе две достопримечательности: геологический музей и больница. На рельсовом заводе тоже был хороший доктор Токарев; земские же врачи бесконечно менялись и были любители выпивки. В санитарном отношении округ был хорошо поставлен.

Евграф был доволен, что попал сюда, у него появился интерес к делу. Нужно было изловчиться поднять падавшее производство; тут было живое дело, а не чиновничье, как в Геологическом комитете, где он исполнял должность делопроизводителя. Здесь он самостоятельно работал, повсюду ездил, лазал по кучам отбросов руд, опускался в шахты и вообще орудовал, что было сил. За что бы он ни брался, он, теоретик, становился пригоден к практике. Он любил Урал. Его не смущали 40-градусные морозы. Он, петербуржец, легко их переносил. Часто, чтобы поспеть к утру в назначенное место, он выезжал с вечера на ночь, после ужина. Мороз, луна, снег искрится, как сахар, вывездило, щеки сильно щиплет, все время их трешь, когда его провожаешь, тройка заиндевела, полозья визжат; я ахаю, как бы он не отморозил носа, а он ничего, доволен, хотя уже усы и борода из черных сделались седыми и при поцелуе вымачивают наши физиономии. "А зато, ты посмотри-ка, какая ночь, что-нибудь бывает подобное в Петербурге?" Зима там, действительно, красива. Днем вечное солнце, когда, конечно, нет пурги, все блестя и радуется; летом тоже, если уж прояснит после дождя, то уже надолго безоблачное небо, и солнце палит. Такую погоду Евграф называл "уральская настоящая погода". Как будто другой тут нет и не бывает. Но не бывает добро без худа, так и тут: лето отравляют в лесу комары. "Здесь что, вот побывали бы со мной в экспедиции, то волком взвыли бы; вогулка* кормит ребенка грудью, и вся кожа у нее и у него черна от комаров. К этим кровопийцам там привыкли".

В день возвращения Евграфа все время прислушивались, не звучит ли вдали колокольчик, и ежели был признак, то дети начинали скакать, припевая:

* Народность Северного Приуралья, современное название — манси. — *Примеч. сост.*

"Папа едет, папа едет!" Немка шипела: „Ne, ne, nicht so laut!“* Бежали отворять ворота. Часто и ошибались — тройка проносилась мимо. Мы жили на главной улице. Но вот, наконец, вкатывает во двор и наш долгожданный. Прислуга суетится: барину ужин! Прислуги и служащие низшие все его любили и старались услужить не за страх, а за совесть.

Жили в мире и довольстве. Особенно, когда наша мебель, посланная мною из Петербурга, наполнила всю квартиру и стало уютно, а уж когда привезли рояль, вот то была общая радость. Долгожданный Милой и Евграфом, он стоял, испытывая их терпение, несколько дней нераскупоренным на табуретах и постепенно отогревался, так как везли его на лошадях в трескучий мороз и возчик заботился, что в ящике: "Что-то уж больно трещало". Но рояль дошел в исправности. Теперь мне было необычно не трястись над каждой копейкой, а даже помаленьку откладывать про черный день.

Не скажу, чтоб Евграф был не на своем месте. За что бы он ни брался, он был у места, но все же ему пришлось для своих главных теоретических работ уделять только оставшееся свободным время от практических занятий. Забыть о них он, конечно, не мог, он тянулся к ним всей душою. "Ну, теперь я буду отдыхать от забот и наслаждаться вполне", — говаривал он, садясь дома за письменный стол.

Странно он работал: не старался уединиться, как другие, от шума, никогда не закрывал дверей из кабинета, любил, когда я тут поблизости и даже захожу в кабинет; в Петербурге даже не давал мне стеснять бегающих через его кабинет детей. Походит, походит, бывало, взад и вперед, пощипывая бородку, погруженный в думы, сядет потом, попишет, опять встанет, а кругом суета сует.

С утра на весь день к нам приходила мохнатенькая, черная с белой грудкой маленькая собачка Мальчик. Он считал своим долгом провожать Евграфа в музей; проводив, возвращался к нам. Детям подарили черную пушистую сибирскую кошечку Минку. Часто во время нашего обеда эти два существа нас потешали, преуморительно играя вместе в прятки. Минка прячется за диван, а Мальчик входит ее искать в проход между двумя диванами, стоящими под прямым углом. Минка, как стрела, пролетает с дивана на диван над Мальчиком. Тот так поражен, что стоит в столбняке. Евграф ходит взад и вперед по другой стороне комнаты, любясь их игрой и хохочет чистосердечно фокусам Минки. Ее черный хвост, распушенный, как у белки, так и мелькает, и прыгает она, как белка, прямо носится по воздуху. Внезапно она вспорхнет на грудь к Евграфу, поиграет цепью от часов и унесется трепать Мальчика лапками по мордочке. Бывало, Евграф сидит наверху в кабинете и сосредоточенно пишет; Минка, расшалившись внизу, несется наверх, одним взмахом она уже на письменном столе, стоя на задних лапках, передними играет пером. Я порываюсь ее прогнать, а Евграф хохочет, так как она, прогнанная, точно со мною шутит, возвращается моментально и удирает при моем приближении, поймать ее невозможно, приходится и мне с ней как бы играть. Евграфа это не раздражает, а забавляет, хотя она изрядно ему мешает и даже размазывает написанное. В этом случае у него небывалое терпение. Но вот сидит в кресле Евграф и читает, на коленях у него спит мирно Минка, знает, что тут уж ей никто не помешает; или бегают Евграф с привязанной на веревочке бумажкой и хохочет над бегающей за ним, скачущей и кувыркающейся в воздухе Минкой.

Встречать наступающий новый 1895 год все инженеры решили вместе вкладчину в Богословском, в главном доме. Громадный стол в громадном зале уставлен был изобильно закусками, сладостями, фруктами и даже шампанским. Я с Евграфом сидела посредине стола, против нас Фигнер с женой. Было много

* "Не так громко!" (нем.)

тостов, особенно за оздоровление производства, что зависело от Евграфа; веселья особенного не было, но была приятная компания и было много радушия, даже всеобщего. Одним словом, встретили приятно Новый год.

После ужина все стали просить Петра Николаевича петь (Фигнер-певец — его брат). Он перед началом пения сказал: "Чтоб вдохновиться, я всегда избираю какую-нибудь даму и пою все ей одной." Начал он с романса "Я вновь перед тобою стою очарован и в ясные очи гляжу..." Смотрит на меня и как бы поет мне, и так все романсы. Это меня сначала смутило, но так как я близорука, то стала разувирать себя, что это мне только кажется, и старалась побороть свое смущение, да и не знала, как реагировать на это отличие. Вообще я теряюсь, когда меня хвалят или благодарят.

Но вот поехали домой. Евграф во время пути сказал мне, что Фигнер-то избрал меня своей вдохновительницей, "а ты, кажется, и не обратила внимания, так как ничем не выразила, кроме сухой благодарности; я всегда в этих случаях считаю себя как бы должником и даже чересчур пересаливаю и даю повод к превратным понятиям". Я рассказала о своем смущении. "Однако, как ты искусно можешь скрывать движения души".

Оригинальны бывали наши званые обеды: в квартире 7°, даже 5°, пахнет дымком от неисправных печей, стол раздвинут во всю большую комнату, кругом его гости и хозяева в шубах, дохах и валенках, точно это какой-то заезжий дом, все точно курят — это так "пар от дыханья волнами ходил", а горячие кушанья обволакивали всех туманом. Необычно, смешно и весело бывало от изобилия шуток.

Как-то была чудная зимняя ночь, я вышла на крыльцо, а потом за ворота. Улица была пуста, кое-где в домах мерцали огоньки и лампадки разноцветные. Полная луна стояла высоко-высоко в бездонном небе и заливала все селение мягким светом; в глубине небес мерцали мириады звезд ярко-ярко; снег блистал алмазными искрами. Стояла удивительная тишина, обыватели все попрятались по домам, изредка только вдали тявками собаки. Был небольшой морозец. Дети уже спали. Евграф в кабинете писал. Я походила, походила, но меня потянуло поближе к природе. Я послала в кучерскую сказать, чтоб Вильдан запряг одну лошадь, и пригласила Анну Ивановну со мной покататься. Мы выехали за селение; дорога пошла громадною снеговой поляною, окаймленною вдали кругом лесом. Вот где царствовала луна! Ни малейшей тени нигде; светло, как днем. Вдруг вижу, сбоку дороги с моей стороны сидит громадная серая собака, распустив по дороге хвост. Подъезжаем — она и не двигается, чуть наши полозья не задела ей хвост. Вильдан яростно хлестнул ее кнутом, тогда только она побежала к лесу. В округе чуть не все собаки наперечет. "Чья же это, Вильдан, собака, такая большая? Я в первый раз ее вижу", — спросила я Вильдана. "Да это, барыня, не собака, а волк". Услыша это, моя немка в ужасе вскочила, схватила Вильдана за тулуп и давай кричать: "Вильдан, назать! Вильдан, назать!" Я еще опомниться не успела от удивления, что существуют мирные волки. Волки и смирение — парадокс. Признаюсь, почувствовала большое облегчение, когда въехала в Рудники. Было, лучше быть ночью подальше от природы.

Узнав о нашем происшествии, Евграф стал выговаривать Вильдану: "Зачем же ты поехал мимо волка, а не повернул раньше назад? Ведь лошадь могла испугаться, да удивительно, как он не бросился на лошадь, особенно когда ты его ударил, чудак!" Вильдан уверенно сказал: "Лошади здесь привыкли, а волк и зайцем сыт". "У зайца пистолета нет, а у человека есть пистолет, волк знает это", — добавил он прислугам. Анна Ивановна долго потом хваталась за виски и повторяла: "Schrecklich!"* Потому-то тут и ездят с колокольцами, чтобы волк

* „Ужасно“ (нем.)

вовремя удирал, а мы выехали без колокольчика. Наши знакомые ездили нарочно слушать волчий вой и искали случая увидеть хоть одного волка, но им этого не удалось, как нам.

На другое утро Евграф будил детей, заявляя громогласно: "Кто хочет слушать, как мама вчера встретила с волком и Вильдан выпорол его плетью?" После рассказа о смирном волке кому-нибудь у Евграфа всегда следовал рассказ о встрече топографа П.П. Иванова на Урале с медведем: стоит Паисий Павлович один в лесу, наклонившись над нивелиром, и, заслышав хруст валежника под чьими-то шагами, не поднимая головы, спрашивает: "Это Вы, Евграф Степанович?" Не получая ответа, смотрит, а перед ним громадный Михаил Потапович на задних лапах. Иванов не успел опомниться от испуга, как медведь повернулся и ушел, не торопясь. Евграфу за 7 лет экспедиции не пришлось встречаться ни с волком, ни с медведем. Хотя он и возил с собою револьвер, но говорил: "Я больше боюсь револьвера, чем дикого зверя". С ужасом думал об убийстве даже животного. Не понимал людей, находящихся прелесть в охоте. Особенно удивлялся гуманисту Л.Н. Толстому, любившему охоту.

Хотя сам Евграф не принимал участия, но с охотой рассказывал, как лодочки на Урале острогами ловили шук. "Почему-то рыбу не так жаль, когда убивают? Тоже ведь, поди, страдает?"

У Евграфа дела шли хорошо, он не только питал надежду, но и был уверен уже, что закрывать медные рудники не придется. Он стал реже разъезжать. Инженеры попросили его прочесть им лекцию о его научных работах и познакомиться их, кстати, как обстоит дела округа. Разоделись мы: Евграф в сюртуке и в лучшую крахмальную сорочку, я в платье с шелковым жилетом, и понесли на обещанную лекцию-доклад, где фигурировала гранатовая порода, как преддверие в рай открытий. Погода была погожая, а потому мы были только налегке одеты: Евграф в шубе, без тулупа, я в ротонде без дохи. Евграф, обдумывая лекцию, не замечал, как ухарски гнал Вильдан. Вдруг я почувствовала, что снег залепил мне все лицо и я лежу в снегу; хочу подняться, но еще больше увязаю в снеге; наконец, вижу, и Евграф рядом не может вылезти из сугроба, и Вильдан уже нам помог выбраться. Оказывается, на косогоре при раскате нас выбросило далеко от дороги в сугроб. Первый и последний раз в жизни я видела, как Евграф раскричался на слугу: "Погоди, он нам когда-нибудь свернет головы!" — чего он никогда не позволял себе и даже всегда сдерживал мое раздражение. Он горячился, мне же неудержимо было смешно. Вильдан был так смущен, что Евграф уgomонился и тоже принялся удивляться, как это мы оба не чувствовали своего полета, это был какой-то миг. Пришлось заехать к Щербаковым, где Евграфу дали другую рубашку, а я высушила на лампе свою вставку. Конечно, пришлось опоздать на лекцию, а Евграф старался всегда быть пунктуальным.

Собралось много [народа], были инженеры и с рельсового завода с разряженными женами. Слушали все со вниманием, а потом заторможили Евграфа расспросами. Вернувшись, Вильдан постыдился рассказать прислугам, что нас вывалил, а только сказал: "Барин опасливый, а барыня смелая". За это, кажется, и ценил меня. Раз он взял из пожарной сани, которые, видимо, ему очень нравились, и повез катать детей с немкой по новой дороге. Я пошла посмотреть и что же вижу: сначала от саней отваливается бок, дальше бонна, еще дальше — один за другим ребята, а Вильдан, рассыпав всех по дороге, мчит себе один. Потом прислуги задразнили его этими саними.

Ехал как-то Евграф от нас в Богословск с Фигнером. Они всю дорогу неумолчно разговаривали. В пылу разговора вдруг Петр Николаевич неудержимо начинает хохотать; Евграф в недоумении смотрит на него, не понимая, что с ним. В это время замечает, что как будто экипаж стоит. Смотрит вперед — лошадей нет, а они с

Петром Николаевичем среди грязи, как на диване, сидят и разговаривают; кучер же с передком угнал от них. Так они сидели и беседовали, пока кучер не привез слесаря.

Пришла весна, выставили рамы, и в квартире нашей стало тепло; Мила и Евграф играли на рояле в четыре руки, уже не жалуясь на ооченелость рук от холода. Теперь каждый вечер садились они за рояль, так как Евграф чаще проводил дома вечера. Они играли каждый раз разное: оперы, симфонии и пр. Мила играла, как взрослая, такое у нее было понимание музыки, была ведь почти самоучка. Евграф говорил: "Истинное наслаждение играть с Милой". Да, это был большой талант. Не пришлось отдать в консерваторию из-за выезда сюда, а 12-летняя девочка требовала еще не только музыкального образования, и я учила ее сама. Здесь существование наше было хорошо обеспечено, но для большого развития продуктивности талантов необходима столица. Забираясь в глушь, терял не только Евграф, но и Мила. <...> Евграф очень гордился Милой. Она и к языкам была очень способна. Механик привез из Берлина жену-немку, ее берлинский выговор затруднял всех ее понимать, и только одна Мила могла с ней разговаривать. Раз, сидя с ней рядом за обедом, Мила мне говорит, что немка ее спрашивает: из какого она места Германии, так как приняла ее за немку.

Перед нашими окнами была лавка Бурдакова, высокое крыльцо которой было вроде террасы, установлено по бокам скамьями, и к нему вела широкая лестница в 15—20 ступеней. Когда у нас играли, то обыватели Рудников сначала гуляли по тротуарам взад и вперед, слушая музыку, а устав, садились на лавки и ступени. Евграф, бывало, увидев уже заранее собравшуюся публику, звал Милу: "Пора играть, публика заполнила и ложи, и партер". Вот какое удовольствие могли доставлять эти два разносторонние существа. <...>

Возвратился как-то Евграф из Богословска и сообщил мне, что приехали два только что кончивших учебу горных инженера. "Одного назначают ко мне помощником, а другого на завод. Я взглянул на обоих и решил, что назначенный ко мне будет только мне мешать и попросил переменить на другого, хотя и этого, конечно, придется учить, но хотя не безрезультатно, как мне кажется. Вот ты сама увидишь, что я не ошибусь в выборе". Приехал вскоре и помощник: высокий, с большим интеллигентным лбом, держит себя с достоинством, сдержанный, корректный. В общем он нам понравился. Это был Василий Васильевич Никитин⁴.

Евграф был удивителен по отношению к людям: одни были для него до того безразличны, что он даже путал их друг с другом, особенно дам, уверяя, что они на одно лицо, как и их дамский почерк. К некоторым же личностям он проявлял особое внимание. Так, у нас был один знакомый, неспособный к наукам, но в практической жизни очень дельный с довольно красивым, видным лицом, и Евграф говорил про него: "У Кости лицо министра, следовало быть им, он и держит себя, как министр". К отдельным личностям у него было какое-то чутье. Так, он в экспедиции сам выбрал топографа Иванова, и он оказался лучше другого, хотя [Евграф] раньше не знал ни того, ни другого. <...>

Я не сомневалась поэтому и теперь в выборе Евграфа. Потом оказалось, что и в выборе Василия Васильевича он не ошибся. Это оказался не только способный, а и "золотой человек", по выражению Евграфа; как такового, Евграф очень ценил его. "Ну, уж что Василий Васильевич обещает, то будет сделано", — говаривал он. И верно. Например, Василий Васильевич уехал повидаться со своим братом, тоже инженером, на Сосьвинский завод на пароходе. А возвратиться ему пароходом не удалось к обещанному сроку, так как начался ледоход. Он начал нанимать лодку, но все лодочники отказались везти; тогда он купил лодку и, не умея почти грести, со всевозможными препятствиями и опасностями приехал к обещанному Евграфу сроку. Евграф всегда чтит людей, добросовестно

исполняющих свой долг, и своим помощником стал даже гордиться. "Вот это человек!" — с восхищением восклицал он. Свое восхищение Василием Васильевичем он часто выражал, и вот мне удалось подслушать один курьезный разговор. 11-летняя Маруся Майер признавалась Жене в своем равнодушии к младшему 16-летнему сыну Ауэрбаха, Толе; а Женя, 10 лет, сказала на это: "Он мне не нравится, мой идеал — Василий Васильевич". Смеялись мы с Евграфом. "Это, знаешь, хороший урок в распознавании людей, такие люди и должны быть примером", — заявил Евграф. К сожалению, таких людей мало.

Евграф не прерывал отношений с Иваном Васильевичем Мушкетовым, и у них шла переписка, в последнее время очень деятельная, так как за освобождением кафедры в Петровско-Разумовском сельскохозяйственном институте поднялся вопрос о замещении ее Евграфом. Костычев не забыл лекций Евграфа в Лесном институте и стал ратовать за него. Было несколько кандидатов, а Евграф был теперь связан условием на 5 лет с Богословским округом. У Евграфа опять был нарушен покой на некоторое время. Собственно, сельскохозяйственный институт — арена не по нему, на ней ему предстояло сузиться до специальных запросов института, но его прельщал минералогический кабинет и возможность разработки своих научных идей. И вот, когда кафедра очистилась от конкурирующих кандидатов Павлова, Обручева, тогда Евграфу было разрешено с той и с другой стороны ездить на лето и продолжать работы в Богословском округе.

Иван Васильевич Мушкетов еще в январе [1895 г.] писал ему, между прочим:

"...Мне кажется, не подлость нас заела и не подлецы, а бесхарактерность и частая бессознательность преступная наших граждан, приученных к этому многовековым холопством, рабством и забитостью. Так же Карпинский, вовсе не подлец, а "сапог", как его определили еще кадеты. То же Еремеевы, Глинки и пр., в сущности, несчастные рабы, самые типичные, боящиеся каждого форменного куста, не имеющие между собою ни капли солидарности, имя им легион. Вы, как будто, в претензии, что я за Вас хлопочу, но это я считаю своим долгом, потому что, по-моему, Вы полезнее на кафедре, чем в Богословске, уже потому, что Богословск — для Половцева, а кафедра — для всех, да и к тому же, занимая кафедру, Вы сохраняете Богословск; об этом я уже переговорил с Ауэрбахом. Жизнь наша устроена и многих так воспитала, что не только ученых, но наши певцы, актеры, художники и пр. признаются таковыми только в известной шкуре, при известной обстановке. Это было и будет всегда и везде. Без такой обстановки деятельность самого великого гения останется без влияния..."

Ему очень хотелось лично поговорить с Евграфом, и он надеялся это сделать при встрече.

"Получил Ваше последнее письмо и ужасно пожалел, что Вы так далеко, и я не могу Вам высказать всего того, что имею сказать; хотелось бы потолковать с Вами о многом, но в письме нельзя. Вы возбуждаете принципиальные вопросы...", — писал он.

Мы стали собираться в Москву. Все свои дела Евграф поручил Василию Васильевичу. Дети со слезами расставались со своими любимцами: Женя с лошадью, а Мила с кошками и собаками, хотя Минка отличалась так, что все были поражены, и общая любимица получила отставку: она съела всех своих перворожденных котят. Евграф говорил: "Я тоже жалею скотов, но все же рад ехать в Москву".

В конце сентября [1895 г.] Евграф уехал, а я осталась еще ждать окончания переходных экзаменов Графчика. Так как эту зиму он переболел и корью, и скарлатиной, то мы советовали ему остаться в том же классе, но он не захотел и, выдержав экзамены, приехал к тому же поезду, на котором ехали и мы. Приехав в Москву, мы сначала поселились в гостинице, так как наша квартира была пуста. Евграфу одолжили только кровать, стол и стул.

Еще из гостиницы мы с Евграфом сделали визит Кулагиным — семье профессора-

зоолога, так как жена его была родная, средняя, сестра Шамариной и Сципио. Николай Михайлович шутил: "Кого вы находите красивее: меня или Шамарина?" Это было нетрудно сказать, так как оба были некрасивы: у Шамарина было все лицо изрыто оспой и какое-то незначительное, а Кулагин, хоть и рыжий, но с открытым, симпатичным лицом, и жена его, Анна Юльевна, красивее сестер; кроме того, Николай Михайлович и их завсегдатай, живший над ними, Николай Николаевич Худяков были очень интересные собеседники, и у них всегда было не скучно.

Квартира наша во втором этаже, в шесть комнат с коридором, была хороша: потолки высокие, окна все на юг, на цветник, с балконом, хотя и общим с другой квартирой. Обставляя ее, мне пришлось порядком побегать, хотя Евграф советовал: "Купи деревянные простые столы и табуреты, дешево и мило, и оригинально", — а сам все-таки любил уют и не выносил перестановки мебели. "Вот людям нечего-то делать!" — ворчал он. Квартира готова, надо ехать выбирать рояль, нужно ехать вместе с Евграфом, а его, бывало, не вытнешь для покупки его собственного костюма, приходилось приглашать портного на дом, и даже тогда он стонал: "Как ты любишь меня мучить!" И потому часто его костюмы плохо на нем сидели. Но рояль он поехал с охотой выбирать, конечно, уже в заранее мною намеченном месте: раскутился и денег не пожалел, купил в 1200 дивный концертный рояль; кроме рояля, купил и фисгармонию. Вот как мы стали кутить!

Музыка была для Евграфа отдыхом. Он не жалел времени и на обучение детей пению. Они еще маленькие, стоят, бывало, перед ним, поднявши носы, и поют „Гусельки“, а он дирижирует: "Раз, два, три, начинайте!" — рукой и ногой бьет такт. И с таким это он воодушевлением с ними, бывало, распевает, что не думает о потере своего драгоценного времени.

Собираясь на первый совет профессоров, Евграф говорил: "Как-то меня примут, я ведь новичок в их деле; судя по петербургским, традиция для них много значит". Но профессора, однако, встретили его не как новичка, а как "немалую известность в науке".

Директор Рачинский был вдовец. С ним жила дочь его. Она была замужем за сыном Л.Н. Толстого, Сергеем Львовичем; была очень образованная — училась в Оксфордском университете в Англии; была очень богата, получив от матери наследство, которое отец ей еще удвоил, а одевалась она и жила больше даже, чем просто, и, несмотря на все блага ее жизни, была несчастна, так как знала, что у нее злостная чахотка и ей не жить; а в то же время она в скором времени должна дать жизнь другому существу и боялась передать ребенку такое ужасное наследство — чахотку. Однако, она родила здорового мальчика; с такой любовью и щепетильностью ухаживала за ним, а в это время говорила мне: "При исследовании мокроты у меня опять нашли коховские палочки, боюсь передать ребенку, а не видеть его — выше моих сил". Между тем ребенка следовало бы удалить сейчас же после рождения. Мне каждое пребывание у нее душу надрывало.

О Рачинском я лично не могла составить определенного мнения, потому что я сидела в комнатах его дочери, он же — в кабинете с Евграфом, когда же собирались за чайным столом, он продолжал разговор с Евграфом. Потом дочь его умерла, и у него бывал только один Евграф. О нем Евграф отзывался так: "Одно я мог заключить, что это человек, несомненно, высокообразованный, гуманный, хороший, но не энергичный, как то подобало бы директору". Он жил донельзя скромно, никаких приемов не затевал. У него изредка бывал Лев Толстой. Я как-то увидела его издали и приняла за крестьянина, так как он был в полушубке и валенках. Рассказывали, что когда он первый раз явился к Рачинскому и хотел пройти без доклада, то прислуга загородила ему путь: "Куда ты лезешь, мужлан!"

В помощники назначили к Евграфу честнейшего, добросовестного и аккуратнейшего немца, Августа Эрнестовича Купфера. Особенно Евграфа, как не любившего хозяйственных дел, он выручал, помогая ему сводить кропотливые хозяйственные расчеты по лаборатории. При его аккуратности и щепетильности в кабинетах Евграфа была чистота, и Евграф говорил: "Купфера по чистоплотности я могу сравнить только с Наталией Дмитриевной Белавиной; я воображаю, что бы у меня было без него; он как бы дополняет то, чего во мне недостает". Он был неутомим, как и Евграф; был угодлив и подвижен, как угорь, все суетился, быстро бегал, а ему шел уже 7-й десяток. Он преуморительно сгибался и выгибался, здороваясь, а еще уморительнее говорил по-русски, коверкая слова. Имея хорошие познания в области зоологии, ботаники (составлял коллекции бабочек и растений, продавал в музеи), минералогию же знал не хуже Евграфа, по химии был специалист — адъюнкт, не мог только во всю свою жизнь в России, где и родился, научиться правильно говорить по-русски. Спросишь, бывало, Евграфа:

— Что, Август Эрнестович, ушел уже?

— Да, он пошел положить себя спать, — смеется Евграф.

— Ну, как это вы, Август Эрнестович, столько времени занимаясь со студентами, не постарались научиться правильно говорить по-русски? — усовещевала я его.

— Как? Как? Эти помещики, мамашеньки сынки меня хорошо могут понимают.

— Или:

— Ах! Людмила Евграфовна замечательно, замечательно! Музыкантьис!

Дети составили целый словарь из его смешных слов. При некоторых он заставлял Евграфа даже шикать на него: "Я сегодня так устал, все время писал, писал", — говорил он, например, делая ударение не на том слоге, где нужно. Тогда Евграф шипел: „Ш-ш-ш". А излюбленный его рассказ, как он ночью, во время смуты в Петровско-Разумовской академии, спасал сына при пожаре, завернув в шубу малютку, <...> вызывал не панику, а еле сдерживаемый смех, хотя он рассказывал замогильным голосом: "Пылат, пылат, дым, пламя, бежу, Эдя в шубе сдох, сдох! боюсь разворотить и вижу, нет: дышает, дышает!" Евграф иногда имитировал этот рассказ, подражая и голосу, и жестам Купфера.

В общем, это было предоброе существо. Даже в нашей домашней жизни он был нам помощником во многом: остановятся ли часы, не горит ли лампа почему-либо, не открывается ли склянка, всегда прибегали за помощью к нему. Евграф не любил заниматься этими "пустяками", а Август Эрнестович говаривал, возясь терпеливо с каким-нибудь винтиком: "Без этих пустяков нельзя жить". Приходишь к ним перед Рождеством в гости (жена его и сын-гимназист хорошо говорили по-русски) — Август Эрнестович в черной шелковой шапочке, в белом переднике месит большой ложкой пряники Sandkuchen к Рождеству, либо моет свои великолепные пальмы, которые он выращивал из семян. Жена его, красивая, но рыхлая и с пороком сердца дама, им командовала, а он суется и там и тут, ничего не запуская, Евграф очень ценил его.

Прожили мы зиму очень хорошо — тепло, уютно и приятно. Конечно, со всеми перепознакомились, но окончательно понятие о каждом из них составить не успели, для этого требовалось немало время. Для молодежи на большом пруду был устроен большой каток, и наши ребята после занятий проводили время на воздухе, катаясь на коньках. Евграф усиленно, спокойно занимался и писал свои научные работы, или беседовал с симпатичными ему профессорами.

Подошла весна [1896 г.] Я должна была выждать окончания экзаменов у сына в гимназии. Евграф же, покончив с чтением лекций и экзаменами, отправился в Богословский округ, взяв с собою Женю, скужавшую по Турьинским Рудникам, где осталась любимая ее лошадь Мухорка. Они уехали. На другое утро слышу вдруг голос Евграфа. Я перепугалась, уж не крушение ли поезда, болезнь, да мало

ли что? Но голос его веселый: "Где мама? Где мама?" Оказывается, они приехали в Нижний, взяли отдельную каюту, и Евграф, по обыкновению, засел за писание своей работы, а Женя, предоставленная самой себе, давай плакать по маме, а Евграф вместо того, чтобы ее урезонить, вернулся, потратив напрасно время и деньги. Он, положим, резонно говорил, что он хотел доставить удовольствие, но раз его нет, то он не хотел ее мучить. Он ни при каких случаях не выносил насилия и, как ни был экономен, швырял деньги, если только знал, что этим доставит большое удовольствие кому бы то ни было, и этим с моей стороны вызывал протест. <...>

Мы большею частью ездили через Рыбинск, чтобы поменьше пребывать в вагоне. Зато наслаждались в 1-м классе пароходов американской конструкции. Для нас эта езда по Волге и Каме была прямо увеселительной прогулкой. В первый же день мы заказывали стерляжью уху. Евграф советовал попробовать хариуса, которых ему пришлось есть в экспедиции по Уралу. Хотя сам он не любил изысканных блюд, а предпочитал простую и дешевую еду. Но Половцев, приглашая его в Петербург на совещания по делам округа, всегда угощал его в ресторане роскошным обедом с винами, и удивлялся, когда Евграф до них или до какого-нибудь ракового соуса не дотрагивался. Зато Евграф с удовольствием съедал чудную грушу-дюшес и сожалел, что хоть одну не мог сунуть в карман для нас. "Этот туз Половцев, верно, считал меня большим профаном во всех этих деликатесах и воображал, что я польщусь на все эти ядовитые яства", — смеялся Евграф.

Округ Богословский, собственно, принадлежал Половцевой, а не ее мужу, и она уже отказывалась вкладывать громадные суммы в эту разинутую пасть без дна. Одна золотая добыча только была поставлена хорошо и давала прибыль. Вопрос шел о закрытии медного рудника. Евграф усиленно настаивал о незакрытии и все повторял: "Ни в каком случае". А Половцевы сомневались. Они не знали, кого слушать. У Евграфа стало появляться немало недругов. Но все же послушались Евграфа и ждали.

В этот свой приезд в Рудники Евграф очень много работал над шлифами, которые раньше я ему шлифовала, а теперь был нанят специальный шлифовальщик, но их требовалось так много, что приходилось прибегать и к моей помощи под наблюдением Евграфа, так как мои шлифы достигали большой тонкости, хотя Евграф и из плохого шлифа извлекал что-нибудь ему нужное. Уезжая на разведки, он часто говорил: "Пожелай мне встретиться с гранатовой породой". Или: "Еду на свидание с гранатовой породой". Он заметил, что, где эта порода, то в недрах поглубже — медная руда. Потому-то он так настойчиво отговаривал от закрытия медных рудников, что зачастую встречал гранатовую породу. Исследуя работы на шахте у Шамарина, был удивлен, как безалаберно они велись. Приезжая домой с видом недоумения, пожимая плечами, конфиденциально говорил мне: "Непонимание полное своего дела: рудоносная железная жила идет так, а работы ведутся как раз в противоположном направлении; ну, конечно, только одни затраты и больше ничего. За мое соглядатайство у них на меня косо посматривают и стараются отвлечь картами и разговорами. Я предвижу, что все это кончится переворотом: либо я уйду, либо многие из них. Конечно, мне ни того, ни другого не хотелось бы, но Половцев от меня уже требует категорического ответа. Я не доносчик, и, конечно, всеми способами буду их выгораживать, но ведь он же не дурак, сам поймет, кто у него непроизводительно высасывает деньги из кармана. В этом отношении мое положение здесь не из приятных, но само дело меня заинтересовало, хотя несколько и отвлекает от научных занятий. Хорошо еще, что у меня такой серьезный, прямо неоценимый по своим качествам человек, помощник Василий Васильевич, а что бы я стал делать с тем херувимом, которого мне чуть было не навязали".

Иван Васильевич не совсем верно определил работы Евграфа только для

магната Половцева. От жизнеспособности округа зависит жизнь массы людей. Им кормятся все обыватели и рабочие. Они все боялись закрытия заводов и питали немалые надежды на Евграфа, что и выражали трогательно ему.

Все высшее общество жило в общем дружно и даже весело: пикники, обеды, вечера, гости. Ничто пока не предвещало, что оно меньше чем через 2 года все разлетится, кто куда. Началось это с отъезда Литауера, очень дельного инженера, но он увидел, что ему с Шамариным не по пути. На его место вступил Н.С. Успенский. Жена его, Аделаида Ивановна, пела и часто участвовала в благотворительных концертах; Ауэрбахи закатили грандиозный бал с выписанными из Москвы для котильона фигурками. Ставились бумажные щиты на рамах с юмористическими фигурами перед танцующими; кавалер, например, выбирал какую-нибудь безобразную ведьму на щите, а из продранной бумаги вылетала красивая дама, или дама выбирала тонкого как глиста денди, а из щита вылезал толстущий, как бегемот, делопроизводитель Плевинский. Смеху было довольно. <...>

В Рудниках жил старик-инженер, у которого была атаксия. Он не мог ходить и ездил по комнатам в кресле на колесах, сам им управляя. Он жил со старушкой-женой, Юлией Михайловной, в довольно обширном деревянном доме, наискосок от нас. Этот дом им одолжили их старые близкие знакомые старики, уехавшие из Рудников. Чтоб дать пропитание Бутову Логгину Федоровичу — этому несчастному безногому, ему была поручена библиотека округа, за плату в 50 руб. Он очень был интересный, начитанный собеседник для Евграфа, да к тому же еще такой старожил округа, с молодых лет пригвожденный к нему. Жена, тоже образованная и славная такая, очень полюбила моих детей и чуть не каждый день приходила повидаться с нами и поиграть в короли с девочками и с Зельмой Ивановной, нашей немкой, премилый особой, которую и она полюбила. <...>

В это лето состоялось утверждение выборов в Баварскую Академию Евграфа и как раз за те работы, которые забрала наша Академия наук⁷⁵. Когда Евграф объявил об этом Ауэрбахи, то он даже воскликнул: "Не может быть!" А вот у нас бывает на Руси. При этом сейчас же вспоминается русский „могикан" — Менделеев.

Детям подарили белого котенка. Они его наряжали в куклину блузу, чепчик, чулочки, так и таскали, как ребенка; поедом кататься, они его уложат в куклину постель. Катаемся иногда долго, а Евграф от времени до времени спускается вниз и наблюдает, как котенок до нашего возвращения, не двигаясь, спит. "Чистая противоположность Минке — какие разные темпераменты!" — удивляется Евграф. <...>

Наступает осень, мы на отлете. Является Василий Васильевич, милый человек, к Евграфу за инструкциями; доброхотно, по своему почину, берет на свое попечение наш сиротливый домик, обреченный на вымерзание за всю зиму. От такого режима даже рояль не спускает тона, постепенно нагреваясь. Приедем, а наша квартирка проветрена, прибрана и все это заботами того же Василия Васильевича. Такая внимательность с его стороны очень трогала нас всех. "Оба мои помощника не только помогают мне в моих делах, но и стараются скрасить мои тяготы жизни", — заявлял Евграф, умиляясь⁷⁶.

Чем дольше жили в Петровско-Разумовском, тем больше вырисовывались отношения Евграфа с сотоварищами-профессорами. Кулагин — зоолог, натуралист, но его Евграф ни разу не звал "дарвинистом", что у него обозначало некоторую иронию, некоторое верхоглядство как бы; с удовольствием проводил с ним время.

Наши соседи с общим с нами балконом, Вильямс Василий Робертович и Мария Александровна, были славные люди; к нашему удовольствию большие любители музыки, так что наша игра не только не стесняла их, но даже доставляла им удовольствие. Василий Робертович уверял, что под музыку приготавлился

к лекциям, и она ему не только не мешала, а даже вдохновляла. Через стену, приложив ухо, можно было различать голоса, хотя слов и не разобрать. При встречах Нового года мы стукались с той и с другой стороны, поздравляли друг друга. По вечерам иногда в теплое время беседовали вместе. Мария Александровна, молодая еще, не могла ходить от атрофии мышц. Несмотря на такую близость, мы прожили в мире и согласии несколько лет подряд с этими милыми людьми.

Семья профессора органической химии Николая Яковлевича Демьянова, очень ценимого Евграфом хорошего ученого и человека, была многочисленна: жена Амелия Федоровна и девять человек детей. Некоторые из них по возрасту подходили к моим девочкам, и потому мы сначала сдружились, и только под конец нашего пребывания в Разумовском между М-те Демьяновой и мною пробежала какая-то черная кошка. Какая? Я так до сих пор и не знаю. М-те вдруг почему-то не стала со мной при встречах раскланиваться, стала даже отворачиваться от поклонов детей. Спрашивают меня другие дамы, что между нами произошло, а я сама ничего не могу понять. Что за притча такая? Николай Яковлевич, как всегда, любезен. Евграф не хочет верить и говорит, что это мне, должно быть, показалось. Он не любил ссор, особенно между сослуживцами. Он говорил, надо их избегать, от этого страдает дело. Однако мы перестали друг у друга бывать. Дети видались на катке. Потом вдруг получаю от М-те записку, приглашающую нас всех на *jour-fixe* и в приписке просьба забыть про наши недоразумения.

Под конец вечера я нарочно дождалась, когда все разошлись, спросила Амелию Федоровну: какие же это были недоразумения, заставившие ее мне не кланяться. Она не дала мне говорить, а просила позабыть, как будто ничего и не было между нами. Конечно, я больше про это не вспоминала, но не забыла, неприятный осадок остался. Я любила некоторых ее детей, особенно вторую дочь Машу, ровесницу Милы, и которую я вылечила от аппендицита. Евграф был рад нашему примирению и справедливо заметил, когда я сказала, что 10 мужчин лучше уживаются вместе, чем две бабы, что я и она ведь не бабы, и, смеясь, добавил: "Перемирие заключено, ложись скорее спать в мире и покое".

Евграф по своему нраву был удивительно мирный человек; познакомившись со всеми профессорами, не захотел сделать визита только одному профессору зоотехники Придорогину, а послал ему свою визитную карточку, что того, конечно, обидело. "Сам не понимаю, по мне этот человек антипатичен, я не могу видеть его глаз, они меня отталкивают". У него были большие черные глаза.

При нас умер прежний священник, и к нам назначили другого — Николая Ивановича Боголюбского, очень образованного человека, профессора Духовной академии. Он был не ханжа и с достоинством нес свой сан, никому не навязывая своих убеждений, считая это делом совести каждого. Он и жена его, Софья Александровна, сделали нам визит, когда меня не было дома. Евграфу они оба понравились своей простотой как в обращении, так и в одежде. Потом мы очень хорошо сошлись с этой многочисленной семьей. Эта многочисленность нам и нравилась, так как мы все любили детей, а у них были славные ребята. Мы, бывало, собирали много детей и затевали игры. Шум, гам, смех, беготня, неподдельное веселье; благо, квартира большая. Евграф не только не препятствовал, но, бывало, выйдет из кабинета и половит кого-нибудь или загородит дорогу бегущему и опять уйдет заниматься. Удивительно, как он мог сосредоточиваться при таком шуме, но он даже не запирал дверей кабинета. Николай Иванович вел с Евграфом философские разговоры. Он специально изучал философию в академии, а Евграф много читал по философии, и у них находились общие темы. При нашем переезде в Петербург он и там не забывал нас.

По своей специальности и по духовному складу всего больше подходил к

Евграфу физик Владимир Александрович Михельсон. Он жил с матерью и сестрой. Эта семья нам очень нарави́лась своей высокой культурой и импонировала нашему мирозерцанию, так сказать. Проведя, бывало, время с Владимиром Александровичем, Евграф говорил: "Я с ним душу отвел". Или: "У меня с ним душа отдыхает". Это был человек большой честности, добросовестности и корректности. Я же в обществе его матушки и сестры чувствовала себя, как рыба в воде, для них у меня, что было на уме, то и на языке; я не боялась пересказов вкривь и вкось с их стороны. Евграфа Владимир Александрович высоко ценил, понимая, что перед ним незаурядный человек, хотя и сам был далек от заурядности. Он весь вылился в своей актовой речи 1900 г. „Физика перед судом прошедшего и перед запросами будущего. Один эпиграф к ней уже характеризует его прекрасно:

“Не отставай от века” — лозунг лживый —
Коран толпы. Нет, выше века будь!
Зигзагами он свой свершает путь,
И вкривь, и вкось стремя свои разливы.
Нет! Мысль твоя пусть зреет и растет,
Лишь в вечное корнями углубляясь,
И горизонт свой ширит, возвышаясь”.

Они сходились с Евграфом в этом и во многом другом и понимали друг друга хорошо, что не могу сказать про всех профессоров. Иные не совсем понимали Евграфа, что выяснилось раз у нас на обеде. Все профессора по какому-то случаю обедали у нас. Шел спор о политике. Профессор Карышев говорит Евграфу: "Ну, Вы, узкие специалисты, лучше бы помолчали, что можете Вы понимать в общественных науках, сиречь в политике!" Евграф, смеясь, сказал окружающим: "Ну, господа, будьте судьями, кто из нас более узкий специалист". И доказал свои знания, кроме своих специальностей — кристаллографии, петрографии, минералогии и геологии, — в физике, химии, математике, даже в ботанике и даже больше — в политической экономии, но сознался, что самые слабые знания у него по зоологии, палеонтологию никогда не любил, хотя по необходимости зубрил, а анатомию и физиологию понемногу забывает. Карышев спасовал, даже разинул рот от удивления и воскликнул с пафосом:

— Да когда же это Вы, батенька, успели понахватать все это?!

— Не нахватать, а изучить, — поправил его Евграф.

Как мало Карышев понимал Евграфа Степановича, показывает еще одно столкновение между ними.

Ежегодно в Москве в одном из ресторанов праздновался годовой праздник института: составлялась складчина, устраивался обед с изобилием вин; питье их сопровождалось, конечно, тостами. Многие могли много пить, не пьянея, что Евграфа, не пьющего больше бокала и рюмки, удивляло. У Н.Н. Худякова излишек вызывал только бледность, но он становился еще словоохотливее и интереснее и начинал говорить речи стихами. Н.М. Кулагин пылал, как красный пион; а на многих становилось смешно смотреть, а иногда и неприятно. Так мне рассказывал Евграф. Дамы там не присутствовали, чтоб не стеснять [мужчин] и дать им насладиться вволю. И вот, на одном из таких обедов, встает Карышев, поднимает бокал, после тоста, выпитого за жен, предлагает тост за бедных мужей, так как, по его мнению, нет необманутых женами мужей. Сам он разошелся с женою. Евграф взбесился и так накинулся на него, что их пришлось разнимать, и не успокоился, пока Карышев не взял последних слов назад. Знай хорошо Евграфа, Карышев не позволил бы себе в присутствии Евграфа ничего подобного. После этого Евграф невзлюбил Карышева, хотя и не показывал ему вида.

Старик Шредер Рихард Иванович при нас умер, и его заменил Мейер Эмилий Адольфович, с семьей которого впоследствии мы даже сдружились. <...>

В эту зиму 1896 г. Евграф был приглашен читать лекции в Горный институт в звании адъюнкта по кристаллографии, куда он ездил в течение 4 лет на курьерском поезде, который ради него останавливался на платформе Петровско-Разумовской. Он выезжал утром в пятницу на казенной институтской лошади, а возвращался в воскресенье. Иногда дети и я его провожали на полустанок, а если не провожали, то смотрели из окна его кабинета на увозивший его поезд. Кабинет его окнами выходил не в парк, но зато из них была видна такая ширь да гладь и божья благодать в виде полей и лесов, что еле окинешь глазом, и все это с птичьего полета дома на возвышенности: и дали были в миниатюре, а поезд Николаевской железной дороги казался игрушечным; змейкой извиваясь, скрывался, наконец, за лесом и оставлял нам на прощанье один дымок. Как все в мире относительно: уж если целый поезд выглядит игрушкой, то какой же букашкой в нем копошится человек, создатель этого самого поезда и мировых идей.

Все другие окна квартиры и балкон выходили в парк. Какой это обширный чудный парк с его многочисленными прудами и заводами; с его заиндевшими могучими деревьями зимой, с белоснежными полянами. Замечательно он бывал хорош как при солнце, при розовом освещении заката, при луне, так со свинцовым сумрачным небом, обрисовывающим еще яснее белых гигантов. В лунные вечера мы нарочно ходили на каток, чтоб налюбоваться дивной картиной. Когда же приходила весна, мы не могли оторваться от балкона.

На Рождестве, желая повеселить детей, я в воскресенье 29 декабря устроила елку, предложив молодежи костюмироваться; пригласила кое-кого и из профессоров.

С неутомимой Зельмой Ивановной мы понашили костюмов не только своим, но и детям Демьяновых, так как Маша жалобно пожаловалась, что у них не из чего сшить. Машу мы нарядили Снегурочкой, Мила — французская крестьянка, Женя — итальянка... Остроумно придумали костюм для самого младшего сына Демьяновых, Миши: сшили колпак и привесили ему длинную седую бороду, и вышел гном; все дивились нашей находчивости.

Начали собираться, зажгли елку. На лестнице поставили служителя, чтоб не забрался под маску какой-нибудь мошенник. Елка уже догорала. Евграф с Милой сели играть в четыре руки свадебный марш из оперы "Сон в летнюю ночь" Мендельсона для начала танцев. Когда они кончили, вошел профессор Карышев; запирая дверь в переднюю, говорит: "За этих ряженных я ручаюсь", — сел за рояль и начал играть аккомпанемент к прологу оперы "Паяцы". Дверь в переднюю чуть приоткрылась, в щель ее высунулся пестрый паяц и запел пролог: "Смейся, паяц". Спел превосходно. Наши ряженные, конечно, столпились у рояля и дверей. Вдруг дверь распахнулась, выскочил певчий паяц, а за ним колесом полетел через гостиную в зал белый паяц, в это время из передней повалила целая змея ряженных парами: рыжий, типичный, в клетчатом костюме, англичанин, с чопорной долговзлой англичанкой, бэби с соской и с нянькой, еврей в длиннополом лапсердаке с пейсами, с морщинистой желтой кожей шеи, с ним еврейка в парике, удивительно типичные обе маски, помещица Коробочка с крепостной, разбитной девкой, отплясывающей залихватски русскую, пропойца весь ободраный и в заплатках, с сизым носом, с мерзавчиком и редькой в руках. Всех и не перечислишь. Завершали шествие Добчинский и Бобчинский. Изумительное было зрелище!

Евграф был заинтересован, не узнавая никого, хохотал и поражался выходкам многих, пляска с гиканием и ухарством крепостной заставляла думать, что это какой-нибудь студент, а впоследствии оказалось, что это была жена одного ассистента, очень бонтонная, сдержанная дама. Приставания ко всем и целые рацеи хриплым голосом пьяницы смешили немало, и трудно было представить, что это В.Р. Вильямс. В конце концов я не утерпела и, когда стали тан-

цевать, побежала и нарядилась в старомодное со шнипом шелковое платье, накинула на плечи бабушкин шарф, на лицо — претенциозную с седыми буклями маску, на голову кружевную наколку и помчалась здороваться с Евграфом. Он вежливо со мной раскланялся и не узнал. Я пустилась танцевать и вальсировала до упаду; подошла к нашему добрейшему доктору Е.И. Кондакову и поздоровалась, не изменяя голоса, и спросила, неужели он меня не узнает. Он даже по голосу не узнал, так как по моим танцам и по осиной талии принял меня за очень молоденькую. Евграф тоже удивился, откуда у меня взялась такая талия. Танцы перемешивались с играми и играла не только молодежь, но даже профессора и Евграф, а особенно интересно было смотреть, как Карышев с Кулагиным бегали кошкой и мышкой. Евграф в это время был в круге и сильно реагировал на успехи кошки и опасности мышки. Этот вечер превратил всех солидных ученых в беспечную веселую молодежь. Этот грандиозный маскарад был, собственно, для нас сюрпризом. Никогда не забыть мне его. <...>

Мы, приехав летом 1897 г. в Богословск, уже не застали там Фигнера. Он перевелся по своей инициативе в Катав-Ивановский завод, а за ним туда же переселились Сципио, Филипповы и толстяк Плевинский. Этот последний любил покушать и, бывало, у Ауэрбаха после обеда идет горячий общий спор и вдруг раздается храп — это Плевинский в сторонке в кресле спит. Танцевал он поразительно легко, как мяч отскакивая от пола; служака был дельный и добросовестный.

Пошли перетасовки. Фигнера заменил Шамарин, этого — Успенский. Самые симпатичные нам люди уехали, стало грустно бывать в доме уехавших Фигнеров, у Шамариных, у этих прижимистых людей. Их кусок как-то не лез в горло, все казалось, что они каждый считают. У Фигнеров было просто разлитое море. У них самовар не сходил со стола. Мне было даже жаль Анастасию Ксенофоновну, сидящую всегда за самоваром, но она уверяла, что привыкла и, потом, им же дают на представительство. Грустно было проезжать и мимо домика Сципио, где тоже не стало хороших людей.

Приехала ко мне с визитом Софья Павловна Ауэрбах одна. Евграфа не было дома; сидим мы в гостиной, разговариваем. Однако, я замечаю, как будто она волнуется. Я не припомню; как она начала, в каких выражениях заявила мне намеками подозрение, что Евграф наговаривает на всех Половцеву и потому последний недоволен всеми делами округа. Меня такое подозрение на такого чистого человека, как Евграф, возмутило, и я горячо начала ей доказывать, что она понятия, значит, не имеет об Евграфе Степановиче, коли так говорит. Это человек дела, справедливости, правды, науки, знания, добросовестного отношения к своим обязанностям; его задача — спасти заводы от упадка, от убыточности, поднять их производительность. Он за это взялся и должен выполнить. На то он и призван. Не его вина, если он невольный отличитель художого, убыточного ведения дела. Для него все личное не играет роли, когда дело идет о деле. Ведь от добра добра не ищут, а потому зачем тому же Половцеву менять людей и приглашать Евграфа, коли дела у них шли хорошо. <...> И Половцевы оба не так глупы, чтоб из-за наветов расставаться со служащими, прослужившими уже несколько лет. Ведь деньги-то до сих пор шли из их кармана, а не в карман. Я, кажется, ее урезонила, и она даже извинилась.

Для Евграфа это была не новость, так как он знал, что все люди судят по себе. Не обращая внимания ни на что, он продолжал с Василием Васильевичем спасать округ. Евграф брал иногда при поездках с собой и детей. Так, раз возил с собой в Петропавловск девочек, где им по дороге с Камешка показывал Уральские горы, которые оттуда ясно видны, и легко различим Мо-

лебный камень и Золотой. Интересны бывали поездки на рельсовый завод к Ауэрбахам или к Диевым. Тут нас закармливали гостеприимные хозяева. Сам завод представлял преинтересную картину, особенно когда открывали мартеновские печи и огненная лава бросалась из отверстия печи с бешеной пляскою искр в желоба и текла, накаленная докрасна, распространяя жар вокруг, в болванки, а из них еще раскаленными эти глыбы, треща между валами, выполняют еще горячими змеями все длиннее и длиннее, превращаясь в рельс.

На возвратном пути из округа мы этот раз заезжали к Фигнеру в Катав-Ивановск по его приглашению. За нами на станцию Лозовую были высланы две тройки. Мы покатали по берегу быстрой и каменистой реки справа, а слева — отвесная стена скалистой высоченной горы; напоминала эта дорога отчасти Военно-Грузинскую. К сожалению, любоваться видами нам помешал дождь. Подкатали мы к двухэтажному шикарному белому дому — это был дворец Белосельских-Белозерских с роскошной обстановкой и полный чудных картин. Девочкам с Зельмой Ивановной отвели комнату внизу, окнами в сад, мне же с Евграфом наверху с картиной восхитительной мадонны, на нее я налюбоваться не могла. Пробыли мы у Фигнера дня два в кругу симпатичных людей, так как все у них собирались, чтоб повидаться с нами, хотя Петр Николаевич, Евграф и Сципио исчезли до обеда, показывая завод и советуясь с ним как с экспертом.

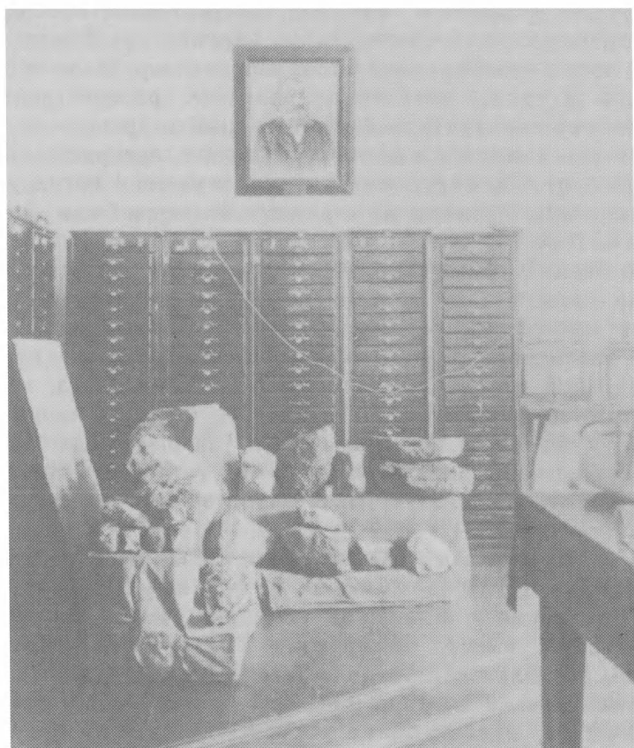
Возвратясь в Разумовское, принялись все за занятия, хотя Графчик уже с августа, приехав один, трубил в гимназии, живя пока у Любавиных. <...>

По совету Грота и по приглашению немецких ученых Евграф по прекращении лекций в институте выехал за границу и в сочельник был уже в Берлине, откуда дал нам поздравительную телеграмму и писал часто⁷⁷.

Хотя Еремеев сказал недавно Евграфу, что его известность еще не дошла до Технологического института, т.е. не перешла даже за Неву, академик Клейн, посвятивший Евграфу целых два дня, произнес речь в музее, приблизительно сказав, что считает за честь приветствовать в его лице не только первого минералога в России, но, по его личному мнению, и первого представителя этой специальности во всем мире, что его заслуги оценены не только в Берлине, в чем убедится сам Евграф, но и во всей Германии. В интимной беседе он возмущался, что высший авторитет по минералогическим наукам занимает кафедру в Сельскохозяйственном институте, и собирался хлопотать у высших властей, даже у самого царя, за Евграфа, от чего Евграф отбодрялся и руками и ногами.

Так встречали Евграфа повсюду: в Гейдельберге, Мюнхене, Вене, и все вводили в свои семьи, что в праздники считалось в Германии большим почетом, и угощали обильными обедами. Грот даже встретил при выходе из вагона, и в Мюнхене Евграф пробыл не менее недели. Грот не только познакомил Евграфа с музеями, но со всеми достопримечательностями города и даже театрами.

Встреча нового 1898 г. была в ресторане в среде семьи и друзей Грота, а на другой день с супругами Грот Евграф ездил на Штернбергское озеро. <...> При встрече и при прощании с Гротом у Евграфа были объятия и поцелуи, и Евграф, ехавший за границу с большой неохотой, вернулся точно вспрыснутый живой водой. Теперь ему казались такими мизерными все эти хлопоты Миллера о переводе его из адъюнктов в профессора, потому что он, видите ли, не знал, что Евграф член Баварской академии; он — формалист — даже решался преступить правило и разрешить Евграфу не посещать советы профессоров, но Евграф все это отклонил и продолжал ездить адъюнктом на лекции в Горный. На масленице студенты устраивали у нас концерт, и опять был пляс. Молодежи было много, было кому танцевать. <...>



Одна из комнат Федоровского геологического музея в Турьинских Рудниках. 1909 г.

Это лето 1898 г. было, мы считали, последним, пятым по условию в Богословском округе, и Женя уже начала сокрушаться, но, к ее удовольствию, Половцев предложил Евграфу приехать еще и следующее [лето], 1899 г.

Приехав как-то к нам зимой, Василий Васильевич сообщил, что в округе ходит сап, а потом, посетив нас в апреле, успокоил Женю, что он сам навестил лошадей наших и что они здоровы. Этот милейший человек всех нас покoraл своим добродушием.

В Турьинских Рудниках мы после занятий много катались. Поехали как-то по грибы; возвратились — во дворе лошадь фельдшера Н. Дурбышева. Что такое? Бегу наверх. На полу в гостиной таз со льдом, в спальне на кровати Евграф, и Дурбышев ему прикладывает на голову компресс, а Евграф берет меня за руку и говорит слабым голосом: "Не пугайся, у меня только боль в голове, очень сильная с левой стороны". Как тут не пугаться, когда он днем лежит, и не сам пришел из музея, а привели его под руки? Признаков паралича нет. Может быть, небольшое кровоизлияние? Все ужасы приходили на ум. Я схватила за термометр. В это время приехал вызванный доктор Иван Иванович Белавин. Пока ничего определить не мог, но ввиду повышенной температуры боялся воспаления мозга, велел лежать, холод на голову и микренин, а я еще и аспирин начала давать, и Евграф скоро поправился. Оказалась инфлюэнца с невралгией головы. Приехав опять его навестить, доктор не застал его дома: он был уже в музее.

Пришел Евграф и принес с собою книгу, которую он завел в музее для записи посетителей, так как многие приходят без него, а ему интересно, кто интересуется его музеем. Оказывается, первая подпись, "как и подобает",

смеялся Евграф, начальника губернии: губернатор писал, что ему было очень интересно познакомиться с минералогией, и она ему очень понравилась, так что он желает Федорову здесь продолжать свое учение до конца. Евграф добавил: "дней своих". За губернатором подписался барон Клодт, за ним еврей Фленкель и многие другие. Иван Иванович тоже расписался, так как уже раньше побывал в музее.

А музей действительно вышел на славу. Потом про этот музей вот что писали: "**Турьинские Рудники** (родина электротехника и изобретателя беспроводного телеграфа профессора А.С. Попова).

Очень ценным учреждением Рудников является Федоровский геологический музей, основанный в 1894 г., названный так в честь профессора Е.С. Федорова, главного организатора. Музей этот считается на Урале самым обширным, самым богатым и наилучше поставленным. Главнейшая его задача — объединить и сосредоточить в себе все материалы и сведения по геологическому строению обширного Богословского округа. Помещение музея занимает 64,6 кв.сажени. Геологическая коллекция содержит 80 000 образцов горных пород и несколько сот рудных штуфов, отдельных минералов и окаменелостей. Эта коллекция делится на два больших отдела: один относится к общей геологической карте округа; другой — к рудникам, приискам и разведкам. Коллекция окаменелостей содержит более 500 экземпляров. В числе их много представителей девона третичного и послетретичного периодов. В музее собрана масса карт, планов и пр. Между прочим, имеется одна громадная карта, вычерченная в масштабе 1:10000, состоящая из 197 планшетных листов размером каждый 0,25 сажень. Это первая по величине карта в России. Она хранится в особой несгораемой комнате. В качестве научно-вспомогательных средств в музее имеется два микроскопа с разными принадлежностями, фотографическая камера, универсальные столики, горные компасы, геодезические инструменты, шлифовальные приборы, чертежные, химические и др. принадлежности. Музей имеет богатую библиотеку, заключающую в себе все важнейшие издания по геологии, минералогии, кристаллографии, палеонтологии и химии. Федоровский геологический музей является первым и пока единственным в мире учреждением, которое неизбежно устанавливает для последующих геологических изысканий порядок их выполнения, наиболее совершенный, дающий в руки исследователей все материалы, как подтверждающие их выводы, так и представляющие им возможность в любой момент исправить свои ошибки. Ближайшая цель музея — чисто практического характера: по мере прибывания шурфов на разведках и по мере движения вперед разведочных забоев в действующих рудниках в музей периодически доставляются образцы, точное определение которых ведет к созданию точных геологических планов и разведок и дает твердую опору для того или иного направления разведочной линии. Поэтому результаты определения разного рода заключений немедленно препровождаются в виде геологических рапортов, карточек и т.п. тем лицам, в чьем ведении находится разведка рудников и пр"⁷⁸.

Ну, не всесторонний ли был человек Евграф Степанович — создатель такого практического музея? Он — и теоретик, и математического склада ученый, и создатель музея, и организатор дела. Добыча округа стала приносить небывалые прежде всего доходы, особенно по медному делу.

В провинции вести быстро разносятся. Вот и губернатор узнал и заинтересовался. Умора была с этим приездом. Евграфу было предупреждение от барона Клодта (заместителя Ауэрбаха, собиравшегося уезжать уже совсем из Богословска) о посещении музея губернатором, и он [Евграф] уехал в музей; а мы с нашими гостями сидели у окон и ждали проезда губернатора с шахты, с поезда. "Бурдаковская ложа" была полна купцами и приказчиками, вооруженными биноклями и подозрными трубами, припелелся урядник на хромом



В Турьинских Рудниках.

Е.С. Федоров — крайний справа, слева сидят Л.В. Федорова, дочери Мила и Женя, рядом с ними стоит сын Евграфа.

одре, все засуетились на террасе. Появилась красивая лошадь, ее оседлали, и урядник молодцевато загарцевал на шахту. Наконец, послышались колокольчики, ближе, ближе. Подзорные трубы нацелились на шахту. Сначала почему-то пролетел вихрем Успенский, потом в открытой коляске, делая честь направо и налево, как император, проехал губернатор с бароном Клодтом, скрючившимся и прижавшимся к сторонке, совсем не так помпезно, как обычно ездил один. Их эскортировали гарцевавшие урядники на прекрасных лошадях, исправник в экипаже и экипаж за экипажем, в одном из них А.А. Ауэрбах (уже в отставке). Потеха была смотреть. Ведь это пермский царек!

В это лето уехали Шамарины и Ауэрбахи. Софью Павловну недолго любили и потому не жалели, что она уехала.

У Евграфа появился еще ученик — Евгений Дмитриевич, студент, высланный из Петербурга за беспорядки в университете. Славный и серьезный молодой человек⁷⁹.

Вернувшись из Рудников, все принялись за усиленные занятия. Мила готовилась к экзаменам на аттестат при мужской гимназии. Графчик тоже весной должен был кончить гимназию. Миле приходилось немало заниматься и музыкой, особенно, приготавливаясь к концертам в школе Вильборга, где она училась; приходилось заучивать по 14 листов наизусть, но ей это давалось легко. По получении ею аттестата я мечтала отдать ее в консерваторию, тоже ради аттестата, так как она и без него играла превосходно. И ради ее музыки мы часто посещали концерты. <...> 15 декабря у Милы был последний экзамен. С ней поехала Зельма Ивановна, а мне нездоровилось. Зельма Ивановна рассказала, что Мила вышла с экзамена вялая, так что Зельма Ивановна испугалась, что она срезалась. Оказалось, у Милы все экзамены сошли очень хорошо, а на другое утро Мила не встает и температура у нее 39°. Через день-два слег Графчик, потом Евграф. Я этих двоих уложила в нашу спальную,

а сама металась между Милой и ними. У всех был неистовый кашель, и потому доктор определил грипп. Я же стояла за тиф, и потом оказалась моя правда, что я проследила на постепенном заболевании Жени, которая ни за что сначала не хотела лечь в кровать. <...> Самым несносным был поправляющийся Евграф. Его чуть не силой нужно было удерживать в кровати, особенно когда в его кабинете приключился потоп от лопнувшего водопроводного бака над его потолком.

Когда все поправились, мы решили ехать в Петербург, пока у нас будет тут ремонт. <...> 15 мая [1899 г.] я с Милой и Женей выехали в Петербург. Евграф, проводив нас, тоже скоро уехал в Богословск. Графчик держал выпускные экзамены, хотя после тифа это трудно: ослабевают память. В Петербурге мы остановились у Миши. <...>

В Петербурге много времени мы посвятили бабушке, но немало и разным музеям; пробыв там, двинулись в Москву, а из Москвы с окончившим гимназию Графчиком и Зельмой Ивановой — в Турьинские Рудники, куда катили безостановочно. <...>

Из прежних инженеров в округе уже почти никого не осталось. Половцев хотел сместить и Савицкого, но Евграф с удивлением только спросил его: "Да зачем же? Дело у него идет блестяще". И Савицкий долго еще служил. Это последнее лето нашего пребывания здесь мы как бы прощались со всеми излюбленными местами, вспоминая наши прежние прогулки и ушедших лиц. <...> Вообще много воспоминаний оставалось от Рудников. В это лето посетил Евграфа и музей Левинсон-Лессинг. <...>

Почему-то на некоторое время не стало видно Ю.М. Бутову, бывавшую у нас чуть не ежедневно. Думали: не захворала ли. Даже Евграф заметил ее отсутствие. Прислуги в этих местах всеведущие, говорят, что к ним приехали какие-то гости из Москвы и Юлия Михайловна все плачет почему-то. Потом говорят: гости уехали, а вон Королева (Ю[лию] М[ихайловну] теперь все звали так) еле идет по улице и плачет. Мы все к окнам. Юлия Михайловна, шатаясь, еле тащится. Евграф выбегает, вводит ее. Она от рыданий не может говорить и только повторяет: "Мы пропали, мы пропали". Когда же Евграф узнал, что все дело в продаже дома, то ушел в кабинет со словами: "Я думал бог знает что, а из-за таких пустяков стоит ли так волноваться, уладится все и дело с библиотекой". — "Нет, управление отказало. Оно не намерено теперь покупать домов". Значит, библиотеку уничтожат! Я в порыве жалости говорю Юлии Михайловне: "Не плачьте, мы купим Вам этот дом, верно, он недорого стоит, если управление не согласится". Пошла к Евграфу и сказала ему об этом. Мы успели отложить тогда 3 тысячи. Евграф сказал флегматично: "Ну, что ж, покупай, если у тебя хватит денег, ведь ты же ими распоряжаешься, а не я". И так мы успокоили Юлию Михайловну. Она бросилась успокаивать мужа, который ночи не спал от мучительных болей в ногах, вызванных беспокойством.

Подошел август, Графчик уехал в Москву в университет. Мы сделали прощальный обед; а 30-го нам служащие вскладчину устроили прощальный обед в музее. 30 августа, когда мы вошли в переднюю, то все мужчины вышли к нам навстречу. Первое, что мне бросилось в глаза — это раскинутая среди елок палатка. Ко мне подошел Б.Н. Савицкий с своим лунообразным приветливым лицом и, взяв меня под руку, повел, объясняя, по всем комнатам, где, начиная с палатки Евграфа, все было декорировано зеленью, ископаемыми и даже шлифами и инструментами так искусно, что выходило очень картинно. За обедом речам и воспоминаниям не было конца, и даже Женя держала речь. <...> Ей рукоплескали, И.И. Белавин посулил ей сделаться ученой по стопам отца или доктором по примеру матери. Он еще указал, что Евграф сумел выбрать себе пособников, соответствующих ему, как Василий Васильевич — утешности, а Евгений Дмитриевич (Стратанович оставался заведующим музеем) —

идеал чистоты. Богословцы уехали в час ночи, а мы, рудничные, оставались до 3-х часов; осматривали училище, где в зале были устроены танцы. Бронислав Николаевич нам показал золото, все виды земли, где его находят, как горит рудничный газ. Вообще обед имел сердечный характер и очень тронул нас. Потом пошли частые прощальные обеды. <...> Все уговаривали нас подольше остаться и приезжать каждое лето.

Евграфу нужно было уже спешить к началу лекций, и он на другой день принялся оканчивать свои занятия по округу; а я распродала вещи, чтоб окончательно распрощаться. Бедная Женя, она особенно тосковала, расставаясь с своей верховой лошадкой Мухоркой. Он так привык к ней, что при встрече лизал ей руку и ходил за ней, как собака, когда она собирала грибы, ржал, когда чуял ее близко. Когда наши уходили далеко, а я оставалась одна с привязанным Мухрой, то уже сейчас по нем узнавала, что Женя приближается. Женя от тоски вдалась в лирику, писала стихи. "Это хорошо, по крайней мере, скорбь нашла исход", — успокаивал меня Евграф, хотя Евграф и не показывал вида, что знает о ее поэтическом настроении. Распродав вещи и оставив кое-что Бутовым, мы двинулись. Жаль было думать, что, может быть, в последний раз едешь по Волге.

Когда я вернулась в Москву, то первым делом отправилась к Гилевым, чей был дом теперь, где жили Бутовы. Те, которые одолжили этот дом пожизненно Бутовым, умерли, и дом по наследству перешел к их дочери — жене Гилева, учителя пения в Елизаветинском институте. Дом стоил всего 900 рублей, а с меня Гилев запросил 3000. Почему 3000? "Значит, вы люди богатые, если покупаете дома другим, а мы люди бедные, и у нас растет дочка, о которой мы прежде всего должны думать, а не о благотворительности другим". Я хотела урезонить, собственно, его жену, так как дом-то ее, а не его. Но куда тебе! Она не желала даже со мной говорить и, указывая на девочку лет пяти, все повторяла: "Видите, у нас растет дочка, и эти деньги мы истратим на нее". Торговалась я с этими меркантильными эгоистами целую зиму. А старики за это время немало волновались. Наконец, порешили, что я плачу 3000, а все расходы по продаже — его. А он и тут надул, чтоб платить ему меньше, что дом продан за 2000. Рассчитались мы с ним уже к весне. Но осенью он должен был еще передать мне кое-какие бумаги. На том и расстались. Старики ожили. Управление устыдилось и стало уплачивать квартирные мне по 15 р. в месяц. <...>

После праздников Рождества и Нового года я заболела сильно и непонятно. Наш доктор растерялся. Позвали московскую знаменитость Герье. Он сначала определил желёзистую лихорадку, в то время ходившую. <...> Тогда Герье нашел все это у меня от слабости сердца при миокардите. Недалеко от меня столик и рядом табуретка просто ломились от склянок с разными кардиакми. Одну ночь я прямо-таки умирала, доктор и Зельма Ивановна всю ночь напролет провозились со мной, не пуская Евграфа, так как он терял совсем голову. Мне дурно, белье от поту хоть выжми, а наш милый доктор, но плоховатый диагност, до того растерялся, что открыл форточку. Потом я сама сказала им, что уж не уремия ли у меня? Оба доктора замахали руками. <...> Позваны были еще два доктора по болезням нервным и ушной. <...> Наконец, приехал Коля, мой брат, вызванный Евграфом из Оренбурга, где служил врачебным инспектором. Назначен был консилиум, а перед этим одну ночь чуть было я опять не умерла. <...> Коля выслушивая мое сердце, заверял меня, что он находит его совершенно здоровым, а все дело у меня в правой воспаленной почке. После консилиума он весь столик с лекарствами убрал и прописал мне капсюли N 2 русский и N 3 американский с *Natrium bicarbonicum* (двууглекислой соды) три раза в день и пить горячую воду с мо-



Е.С. Федоров на Кедабекском месторождении в Закавказье (1902 г.)

локом, не меньше шести больших чашек. Кофе, чай и все раздражающее почки запретил; а мне раньше, как раз, прописывались раздражающие их лекарства. Я быстро стала поправляться. Наш доктор дивился. Захворала я 19 января, 17 марта приехал Коля, а 2 апреля я встала с постели, но не могла ходить еще. Только неделя прошла с бывшего 26 марта консилиума — я хожу. Ну не чудо ли? Вот что значит верный диагноз!

А еще невероятнее: 20 апреля мы все на радостях сидели в ложе бельэтажа Мариинского театра*, как раз против сцены, и смотрели оперу "Фауст" с Шаляпиным — Мефистофелем и Марковой — Маргаритой. Это Евграф сделал Коле сюрприз, показав Шаляпина, которого тот жаждал видеть. Евграф же сам не любил Шаляпина, как лихоимца. Про него шли такие слухи.

Коля уезжал в Петербург, а потом опять приехал и все сидел у окна с историей Шлоссера в руках и любовался на чудные пихты в нашем садике. Потом в мае Коля с женой уехали в Оренбург, пригласив нас побывать у них этим летом, так как Евграф был приглашен в два места: в г. Кедабек на Кавказе и в Семипалатинскую область на Воскресенские рудники, куда перешел П.Н. Фигнер.

В этот же день вечером уехал и Евграф на Кавказ сначала; из Керчи прислал телеграмму и с дороги открытки с пароходов. Он был очень заботлив, даже и при совершенном моем здоровье. <...>

27 мая [1900 г.] выехали и мы, взяв с собою прислугу Лену. 28-го в Нижнем сели на пароход "Принцесса Мария" в роскошный 1-й класс с пианино для

* У автора ошибка. По-видимому, это Большой театр. — *Примеч. сост.*

Милы, перед которым висел портрет принцессы Дагмары. Опять мы встретились с ненаглядной Волгой. Все время почти проводили на палубе. В первом классе пассажиров всегда наперечет. Графчик, 19-летний студент, второкурсник, с задором и критицизмом начал определять профессии едущих. Особое наше внимание обратил на себя скромный на вид пассажир в сером пиджачке с шаловливой девчуркой лет шести и с дамой тоже не помпезного вида, как большинство [пассажиров 1-го класса] <...> Оба все время останавливали девочку и пытались ее усадить. Я вступилась за нее, уверяя, что она никому не мешает и это у нее от избытка энергии, а тем более когда, разговорившись, узнала, что они петербуржцы. Оказалось, что эта девочка — племянница, а он сам — академик Марков, математик, тоже из не совсем понимающих работы Евграфа. В Академии его характеризовали "лающей собакой", хотя лаял он, говорят, за правду, оттого его и не любили там. Когда он пожелал узнать кто я, то я смеясь в душе, назвалась женою их недруга Е.С. Федорова и наблюдала произведенное удивление. Он как-то точно опешил, но все же оценил Евграфа по заслугам, сказав, что новаторам нелегко пробить дорогу по причине их непонимания окружающими и всегда легче идти по проторенной тропе. Значит, он не считал Евграфа самозванцем, выскочкой⁸⁰.

В Самаре мы сошли с парохода, и наше начатое было знакомство окончилось. В Оренбурге на вокзале нас встретил Коля с женою. Оренбург — полуазиатский город с верблюдами на улицах. Впечатление особое произвел заезжий двор-ярмарка, с разноязычным галдением, люди, лошади и верблюды — все смешаны вместе — суeta суeta. Ходили мы по вечерам на бульвар на берегу Урала слушать музыку, есть мороженое и пить фруктовый квас в саду Общественного собрания. <...>

После двухнедельного пребывания в Кедабеке Евграф выехал в Баку и посетил могилу отца, умершего там во время командировки⁸¹; из Баку прислал нам телеграмму, и мы подъехали к почтовому поезду, где и встретились в Кинеле и поехали все вместе на Челябинск. Там, пересев, плелись нудно до Омска. По дороге, в Уфе, на вокзал выехали повидаться живущие там теперь Кихлеры, взяв с нас слово заехать к ним на возвратном пути. <...>

В Омске после деревянных домов бросается в глаза кадетский корпус, самый большой каменный дом. В гостинице узнали, что пароход по Иртышу на Воскресенскую пристань, куда нам надо, только вчера ушел; здесь они ходят не по расписанию. Приехали мы вечером в воскресенье, а пароход, говорят, пойдет не раньше четверга. Евграф в понедельник решил ехать на лошадях, все же будет на 2 дня раньше. Присматривали уже экипаж... Вдруг объявили, что через час пойдет пароход "Александр". Общая радость! Наш пароход тянул баржу, и потому мы подвигались медленно.

Евграф нам читал "Долой оружие" Суттенера, но мы часто прерывали чтение, выходя на палубу смотреть, как спускали лодку и посылали ее измерять глубину, так как баржа сидела глубоко, а капитал был неопытный, потому что опытного морского офицера взяли на войну⁸². Пишут: "Долой оружие", — а войны, точно фатумы, висят над человечеством. Говорят, что при них надо вспоминать закон Мальтуса⁸³, но на войне уничтожаются самые здоровые субъекты и, верно, поведет к вырождению, хотя скрещивание может и улучшить породу.

На другой день наша баржа села на мель, наш пароход не мог ее стащить, подъехал другой — "Иван Игнатов", оставив свою баржу, помог стащить нашу к 11 часам вечера, и мы благополучно пристали к берегу на ночевку, что проделывали, боясь мелей. каждую ночь. Но и днем гуляли по берегу. Ночью нас догнал отпущенный с войны настоящий капитан, и мы пошли быстрее, но встречный пароход предупредил, что есть большая мель впереди,

и капитан, причалив пароход к берегу, отправился на лодке ее исследовать. Пассажиры вылезли на берег и собирали букеты.

В четверг пришлось пересест на другой пароход, "Хрушев". Он был гораздо меньше, и Евграф с Графчиком перешли в нашу дамскую, а мы в их мужскую, которая была больше. Капитан этого парохода походил на Василия Васильевича, и мы говорили, что в его образе едет с нами Никитин. В пятницу утром наша баржа опять села отдохнуть — как ни билось, не стащили, была послана лодка к берегу за помощью у крестьян, но не успела она причалить, как баржа тронулась к общей радости, а капитан заметил: "Вот капризная-то дама". Мы из-за нее простояли 5 часов.

Вечером причалили к берегу, а сами покатали в Павлодар и в 5 часов утра были уже там, где должен был нас принять 3-й пароход, чтобы доставить на Воскресенскую пристань. Евграф жалел, что не поехал на лошадях. Это уже была суббота. О, ты, матушка Русь! К довершению всего пришел пристав и объявил, что дальше не пойдет ни один пароход, потому что тот, которого мы должны ждать, ушел спасать сидящих на мели, и посоветовал ехать на лошадях. Так мы и сделали. Выехав в 12 часов, катили быстро по степи 25 верст и скоро примчали к Фигнеру.

Какая громадная разница в обстановке с Катав-Ивановским дворцом! Деревянный дом для них только еще отделяется, и они на простенькой квартире. Но зато Настасья Ксенофонтовна уже не вечно за самоваром, как там, где представительство ее обязывало и мне было ее тогда жаль. Здесь все было по-иному. Я с Евграфом ночевали у Фигнеров, а Зельма Ивановна, девочка, Графчик и Лена — в вагоне. Здесь чувствовался недостаток оборудования. Евграф уже предвидел, что здесь, верно, нехватка в деньгах и едва ли развернешь разведки во всю ширь.

На другой день на игрушечном поезде, в тряских вагонах, в невыносимой жарнице, отправились в Экибас, где кое-что закупив и напившись чаю, двинулись дальше в трех экипажах. Через 6 верст проехали медный заводик в несколько домиков, а через 4 версты, проехав под каменную белую арку, увидели и несколько юрт, и два уютных белых каменных невдалеке друг от друга домика. К одному из них мы и подъехали. Этот домик предназначался нам, а другой был инженера Риккеля, как бы помощника Евграфа и заведующего медным рудником.

Домик был премиленький, в пять комнат с кухней и комнатой для ванны. Но странно было видеть дома без заборов, дворов и садов, прямо среди степи, уходящей со всех сторон за горизонт. Виднелись в отдалении кое-где юрты киргизов, да и то не всегда. Днем мы изнывали от жары, а под вечер появлялся ветерок, приятный, ласкающий скорее, чем освежающий. Бывало, я пойду подальше от дому и растянусь на сухой траве; либо наблюдаю за букашками и ящерицами в траве, либо подложу руки под голову и наблюдаю появление на небе звезд. Жара нас порядком донимала и ночью, поэтому мы спали с настеей открытыми окнами. Говорили, что здесь нечего опасаться, и вот раз под утро просыпаюсь и вижу: вплотную у окна наш сторож-киргиз, ухмыляясь, смотрит, как мы спим. Я ему замахала рукой, и он, не торопясь, ушел.

Когда же привезли для Милы рояльчик и у нас вечером играли в четыре руки, то сначала в открытое окно всовывалась одна любопытная киргизская физиономия, за ней другая, пока не заполнялись оба окна ими, голова над головой. Раз мы удовлетворили их любопытство, впусив их в комнату и дав потрогать клавиши и струны. Они, как дети, радовались и дивились.

По вечерам после ужина мы гуляли. В большой дали у юрт горели костры, там доили и коров и кобылиц и готовили ужин, была красивая картина.

Пахло полынью, мир и тишина, костер за костром угасали. Когда же бывали лунные вечера, степь, заласканная белым мягким лунным светом, точно дремала в тишине, не хотелось говорить, а в молчании предаваться очарованию. Иногда только Мила садилась за рояль, играя чудную "Лунную сонату" Бетховена, точно волшебная фея вносила дивные звуки в тишину этой таинственной ароматной ночи.

Наконец, пришли газеты. Война с китайцами разгорается, они убили всех посланников. В начале июля приехал окончивший Сельскохозяйственный институт в Петровско-Разумовском ученик Евграфа Петр Семенович Кудрявцев. Он выпросил Евграфа взять его на лето, чтобы под его руководством написать диссертацию. Ему была приготовлена юрта, очень комфортабельная, убранная коврами, но он без нашего приглашения застрял у нас, поселился с Графчиком в одной комнате, куда шлялся без церемонии через кабинет Евграфа, а столовую избрав своим кабинетом. Евграф, не привычный к такому нахальству, только удивлялся, а у него духу не хватало его выселить. <...> Он становился невыносим, стеснял нас сильно. Девочкам приходилось сидеть вечно с запертыми дверями. Мила как-то собрала ноты и пошла в столовую, где стоял рояль, собираясь играть, вдруг захлопнулась дверь. Там был Кудрявцев. Зельма Ивановна, смеясь, спросила Милу: "Ist da eine Tieger?"* И с тех пор мы звали Кудрявцева тигром. <...>

Я не способна скучать, так как всегда найду себе дело, но чего-то здесь мне не хватало иногда: выбора книг нет, читай, что придется, веди знакомство с неинтересными пустыми людьми по необходимости. Но вот раз Евграф, уйдя утром, вернулся вскоре в сопровождении П.Н. Фигнера и еще нескольких мужчин. Оказывается, они привели не говорившего по-русски американца, недавно приехавшего из Америки, и просили меня его занять и угостить. Стала я с ним говорить по-французски (немецкий язык он не знал); но он до того убийственно изъяснялся, что трудно было понимать: вместо homme произносил — гом, вместо l'homme — лом, femme — фем; как писалось, так и произносил, но все же мы понимали друг друга. При прощании он заявил мне и Фигнеру, что расскажет в Америке, как в России, чуть ли не на границе с Китаем, он встретил такую образованную женщину, как я. Потом Евграф говорил, что они все были рады от него отделаться, так как никто его не понимал и удивлялся, как это я умудрялась его понять.

Мне тут не доставало деревьев, кустов и цветов. Поехав как-то в Экибас, я услышала крик петуха; чем-то родным повеяло на меня, когда я увидела продававшихся кур с петухом. Евграф мне сказал: "Купи, но куда ты их посадишь?" Тогда мы купили всю большую клетку с 23 курами и петухом. "Ты теперь довольна?" — спрашивал Евграф, кормя сам их крошками и смеясь над их драками.

Если ехать по Бояноульской дороге, то встретится горка, и только с нее видна зелень Бояно-Ула, а со скалы за версту от Кумыс-Тюбэ открывается очень красивый вид. Оригинальнее всего поездка на соленое озеро: точно на катке зимой ходили по льду. Здесь вся вода соленая. Сначала, не предупрежденные, мы вымыли ею волосы и потом еле-еле отмыли наши колтуны. Нам привозили по железной дороге в бочках воду с Иртыша. Глухая Лена, наша кухарка, не слушая меня, пила сырую воду и схватила тиф. Здесь тиф летом — частое явление, потому что у киргизов нет ретирад, и Иртыш в половодье смывает все нечистоты. Позванный мною доктор Нанява не приехал, верно, потому, что мы никому не делали визитов. Евграфу положительно не оставалось времени на знакомства, а я и рада была их не иметь. <...>

Евграфа возили исследовать расхищаемые бирюзовые копи, а на другое утро

* "Там тигр?" (нем.)

он нас повез на них. День был хорош, и мы прокатились около 23 верст в Эки-Тюбэ. Там распрягли лошадей. Бояноульские горы и озеро были хорошо видны, а на горизонте пылал степной пожар. Взобравшись на скалы, мы сели, и Евграф нас сфотографировал. В расщелинах осыпей видели нескольких гадюк, быстро передвигающихся; набрали мелких осколков бирюзы на поверхности довольно большого пространства, усыпанного ею. В сумерках были уже дома.

Когда мы стали упаковывать оставляемые нами вещи в ящики и забивать их, Маржан* принялась плакать, а Женя тосковать по лошадям и верховой езде, я же рада была отделаться от "тигра" — дарового нахлебника. Уже сидя в экипаже при отъезде, Евграф подозвал "тигра", передал ему 100 руб. со словами: "Я, пока Вы не получите от управления, даю Вам свои личные деньги. При получении возвратите". А я просила его сохранить вещи и, если не приедем на будущее лето, то выслать все ящики нам.

Переночевав у Фигнеров, так как только в 2 часа ночи заявились к ним (они оба не спали и ждали, даже с обедом), выехали на пароходе и через 2 часа были в Павлодаре, а на 3-й день — в Омске. Зато в Челябинске пришлось посидеть. От Вязовой носились от окна к окну, восхищаясь видами. В Уфе расстались с Евграфом и Леной и поехали с Эммой Ивановной, встретившей нас, к ним. Кихлер купил дом, хотя и деревянный, но не маленький, а двухэтажный, и живут хорошо. <...>

От духоты и жары каюты и вагонов мы хорошо отдохнули у Кихлеров (иотнапоминаний о войне при виде старенького генерала с забинтованной рукой и хромающего фельдшера). А как только сели на поезд, погостив дня четыре у Кихлеров, так сейчас же даже пошли разговоры о войне, так как с нами в одном купе ехала жена офицера, бежавшая из Благовещенска при его бомбардировке, а с ней — годовалый сынишка Боря и трехнедельная дочка Маргарита. Увидят ли эти дети своего отца? <...>

В Разумовском узнали печальную новость: Сереженька Толстой 3 месяца как осиротел и заменяет теперь ему мать англичанка, ее друг и соученица по Оксфордскому университету.

Звонок — и горничная мне докладывает, что меня желает видеть какой-то седой господин. Выхожу, передо мной незнакомый господин, кого-то, точно, напоминает, но не узнаю. Спрашивает: "Вы меня не узнаете?" Голос тоже знакомый. — "Извините, не узнаю." — "Я же Гилев, у которого Вы купили дом". Тот перед летом был молодой, а этот седой. Заметив мое изумление, он закрыл лицо руками и зарыдал. Я его пригласила в кабинет, и он рассказал, что на полученные от нас деньги они повезли дочку в Крым, а она там от тифа умерла, жена же его бросила и ушла в сестры милосердия, и у них ни дочки, ни денег. От горя он и поседел, и постарел. Он жалобно говорил: "Это нас бог наказал за то, что мы хотели обидеть стариков, да еще больных". Как он ни был мне раньше неприятен, а тут мне его стало очень жаль. Передав мне бумаги, он ушел, оставив во мне неприятное чувство. Узнав от меня всю эту историю, Евграф задумался и сказал: "Да, это хороший урок возмездия за худые дела". <...>

Этой зимой мы часто посещали концерты и театры, особенно оперы, что было полезно для музыкального образования Милы. Кого-кого мы только не переслушали, даже абонировались на симфонические концерты. Могла бы быть такая приятная жизнь, если б не тревога за Графчика. В унисон с бунтовавшими киевскими студентами затевают и московские устроить сходку. В Самарской губернии от чумы умерло уже 60 человек; а студенческие беспо-

* Прислуга. — *Примеч. сост.*

рядки — тоже своего рода чума, зараза не тела, а души. Графчика тоже гложет уже этот микроб. <...>

В конце февраля приехали к нам в гости Любавины: Екатерина Федоровна, Таня и Боря. Боря пошел с Графчиком гулять по парку, а вернулся один и сказал, что Графчик уехал в Москву; а Таня рассказала, что на Тверском бульваре курсистки и студенты устроили баррикаду и сидят там, окруженные войсками. Евграф в это время был в Москве, и, вернувшись, рассказал, что стекла фонарей и во многих окнах выбиты. В 9 часов вечера все мы пошли провожать к паровику Любавиных и при возвращении около парка увидели подехавшую тройку и пару, заполненные молодежью, которые выкрикнули: "Да здравствует...", — а что, не поняли, верно, "свобода".

Графчик вернулся поздно. Просили мы его не пропадать и этим нас не тревожить, но он на другой же день угнал и даже не ночевал дома. Чего мы тут только не передумали. Наконец, получили от него телефонаду, что сидит в участке. Утешил! В 4 часа утра вернулся. Приехавшая Анна Андреевна, учительница, сообщила, что на сегодня назначена большая сходка и даже уже приготовлена карета Красного Креста. Ого! Графчик отправился к паровику. Евграф, я и Мила—за ним и уговорили вернуться. Евграф просил его не уезжать без разрешения. Тогда он разлегся на свой диван, не обедал, ничего не пил и не ел весь день; пугал сестер, что застрелится. Чего мы только с Евграфом не придумывали, даже нам в голову приходило отправить его в больницу, где бы его принудительно кормили. Но он начал есть. За это время Евграф начал сесть.

Из-за чего загорелся сыр-бор, мы не могли уяснить. Это была мания какая-то, хотя наше правительство своими порядками раздувало пожар недовольства не только у студентов; но молодежь отзывчивее, экспансивнее, скорее подпадает под гипноз агитаторов и рвется пострадать за правду. Правительство во многих случаях догадало свою несостоятельность. Стоит вспомнить хоть ту же Ходынку в мае (14) 1896 г.⁸⁴. Его нераспорядительность, халатность, разгильдяйство — все налицо; но и народ выставляется тут в непрезентабельном виде. А как он покажет себя в революцию — это вопрос.

При воспоминании о Ходынке берет жуть. Еще будучи в Рудниках, мы прочли в газетах о катастрофе на Ходынском поле. Все, кто про это читал, возмущались халатностью распорядителей и глупостью народа, польстившегося на железную кружечку и на мешочек с гостинцами. Иначе не назовешь причину этого непонятного безумия, которое произошло. Вернувшись уже в Петровско-Разумовское и услышав всевозможные рассказы об этом событии, мы только тогда поняли весь ужас этого происшествия.

Начинали собираться еще накануне чуть ли не целыми семьями. Под вечер благодушно рассаживались на травке закусывать. Но поле быстро стало заполняться народом и за ночь столько прибыло, что люди к утру стояли плечо к плечу. С входных сторон поля напирали вновь прибывающие, не замечая пока с краев компактности массы. Со стороны киосков с подарками проходы между ними были слишком узки и заграждались полицией. Конечно, среди этого люда не все льстились на подарки, многие шли из-за любопытства, поглазеть и поразузнать настроение народа, поэтому там немало погибло и настоящей интеллигенции. От бывшей незадолго на этом месте выставки остались ямы, как колодцы, прикрытые только досками и рытвинами. Кто попадал туда, того так и погребли там, втапывая ногами одного на другого; кости хрустели, слышался вой, но люди зверели все больше и больше, спасая каждый себя.

Мне рассказывали некоторые наши низшие служащие и их жены, что они наутро побежали посмотреть, думая увидеть государя. Они его действительно увидели возвращающимся в коляске, страшно бледного и закрывающего руками лицо. Хотели пробраться в толпу, но были страшно удивлены: еще издали

они услышали вой, а ближе почувствовали сильный смрад, идущий с поля, и увидели, что над этой гущей людей стояло как бы облако не то пыли, не то пара, до того удушливого, что двух захватывало и мутило. Потом оказалось, что испарения от потных тел и испражнений смешались и поднялись над головами этих несчастных в виде желтого облака, что, к довершению всех мук, душило их до обморока. Люди били друг друга, щипались, сходили с ума, умирали, но выбраться не могли из создавшейся гущи. Тут люди создали из человеческих тел себе капкан, из которого смогли выбраться только самые сильные, нахальные люди, из-за чувства самосохранения потерявшие нравственное чувство. Они вскарабкивались на плечи соседей и шли по плечам и головам толпы, как по мосткам, до того была компактна масса из тел. Тут не мудрено было озвереть. До гуманизма ли тут?! Это такой ужас! Невероятный!

Евграф не мог слушать спокойно. Он бегал взад и вперед, хватаясь за голову и все повторяя: "И это люди, люди, люди! Да где был их разум тогда? Вот и правда, что толпа — дура".

После этого каждый мыслящий человек должен был бы призадуматься, что ожидает Россию при революции в ней, когда народ так неразумен и его легко поддеть на удочку посулами. Но уже чувствуется приближение грозы. Всеобщее какое-то недовольство, даже и в высших кругах, хотя между ними и простым народом громадная пропасть. Нет справедливости нигде, а студенты — наш барометр.

Это лето [1901 г.] мы решили провести в Разумовском, осматривать достопримечательности Москвы. Мы побывали только в Третьяковской галерее картин — замечательная! В апреле уже стояли чудные дни. <...> А воздух ароматный от распускающихся лиственниц и берез! Евграф пока сильно занят экзаменами. Он был рад, что никуда не поедет и может заняться, не отрываясь, своими научными работами; но к нему стал наезжать заниматься Самойлов. И у нас немало перебывало гостей, гостивших по нескольку дней: Коля — племянник Евграфа, Щербаков Виктор Степанович — бывший студент Горного еще при Фигнер, но пострадавший за идеи, поэтому скитающийся вечно с одного места на другое. <...>

Летом слухи о беспорядках рабочих на заводах в Петербурге стихли после грандиозного пожара на Балтийском заводе, где предполагался поджог, потому что было несколько пожаров и в других местах. Но атмосфера была напряженная, и все что-то точно ожидалось.

В начале же января [1899 г.] умер академик Еремеев. При этом вспомнились слова А.П. Карпинского, обращенные к Евграфу: "После Еремеева мы Вас выберем". Эти слова тогда нас мало утешали, неизвестно ведь, кто кого переживет, да и не больно-то приятно ждать чьей-нибудь смерти. Из-за этих странных слов у Евграфа появилось раздвоенное чувство. Он жаждал расширения поля деятельности, но его смущало царствующее тогда кумовство в Академии наук. Понемногу сглаживалось впечатление, произведенное этим известием; время шло и шло, и другие события заслонили его. <...>

Меня больше беспокоил Графчик, так как он уже был записан на первой же сходке в университете. Дверь в аудиторию была забаррикадирована. Ему надоело слушать ораторов, и он как-то вылез ползком и попал в коридоре в ловушку: была устроена засада, где его и записали.

От времени до времени к нам заезжал Василий Васильевич [Никитин]. Евграф принимал его уже не только как ученика, но как друга, приятеля, так он импонировал нравственному облику самого Евграфа. Этого человека нельзя было не уважать и не любить.

Но вот как-то рано утром раздался звонок, и горничная меня предупре-

дает, что к барину пришел какой-то мальчик. 1 час — время нашего обеда, а у Евграфа все еще этот мальчик. Наконец, выходит Евграф из кабинета и с ним маленького роста, востроносенький человек, на вид кадетик военного корпуса, а между тем на нем тужурка горного студента. Евграф рекомендует: "Студент Болдырев! Приехал позаниматься у меня". Мы сели обедать. Евграф все время за обедом беседовал с ним. Потом весь день занимался, и только под конец вечера они вышли к нам на ужин. Горничная вошла и спросила: "А где прикажете постлать этому мальчику?" Мне показалось, что Болдырева шокировало слово "мальчик", и я ответила: "В кабинете, но г-н Болдырев уже студент". До того он был моложав, что было странно. Когда мы остались вдвоем с Евграфом в спальней, я выразила удивление по поводу этой моложавости: "Совсем мальчик, и с задором". А Евграф мне ответил: "О! Этот мальчик, я предвижу, по меньшей мере, будет профессорствовать. Вот увидишь сама".⁸⁵ <...> Потом Болдырев стал наезжать к Евграфу заниматься; он был всегда серьезен не по летам. Евграф был им всегда доволен, хвалил и не тяготился им, не жалея, что отрывается от своих научных занятий.

9 февраля наш директор Рачинский предупредил Евграфа, чтоб он не пускал сына в Москву, так как на сегодня назначена сходка в университете совместно с рабочими и приготовлены уже войска. Я ужаснулась. Графчик уже уехал. Потом мы узнали, что ректор Тихомиров сам призвал войска и они расположились вокруг университета. Все собравшиеся там и застряли, а кто выходил, того препровождали в манеж. В этот вечер мы должны были ехать в Благородное собрание на концерт. Хотя нам было не до концерта, но мы поехали в Москву, надеясь узнать что-нибудь более достоверное, да и не сиделось на месте. Я с дочерьми поехала даже раньше, чтоб от профессора Любавина узнать хоть что-нибудь, но он и сам ничего не знал, кроме того, что университет окружен и туда и оттуда никого не пускают. Мы направились от Любавиных по Арбату, думая пробраться на Тверскую к Дворянскому собранию около университета. По Арбату шли войска с барабанным боем. За ними гнались мальчишки, гарцевали конные жандармы. Это нагоняло на нас еще больший страх. В концерте в антракте только и говорили о студентах, и все знакомые выражали нам сочувствие.

Все это было так ненормально, дико, так всех озлобляло, потому что вся эта молодежь имела близких, у которых о них душа болела; и правительство наказывало, собственно, нас, родных; а студенты, напротив, пылая священным огнем жертвоприношения, считали себя героями. Какая недалеко-видность у заправил! Я, по крайней мере, узнала в концерте, что нужно идти к полицмейстеру, а там видно будет, что делать. Вечером студентов перевели в манеж, а оттуда ночью в Бутырскую тюрьму. Чего только мы, родители, не переиспытали за это время! Мы мучились нравственно, нас заставляли терять время на подавания прошения для каждого свидания. Пока напишешь прошение, пока простоишь в громадной очереди, да вернешься домой — уже вечер; а завтра надо ехать на свидание. На эту процедуру тратилось и много времени, и сил. Евграф, хотя и беспокоился, но утешал меня, говоря, что в молодости он сам много раз готов был засесть в тюрьму, только в одиночку, чтоб ему ничто не мешало сосредоточиться на научной работе.

На другой день я, как только встала, полетела в дом градоначальника. Оказалось, что там уже многие родственники пишут прошения, испрашивая свидания со студентами. В очереди сам Гурко принимал прошения и давал разрешения.

В первый раз мне очень тяжело и обидно было переступить порог тюрьмы.

Грязь, зараза и деморализующее ее влияние не выходили у меня из головы. Поднялась я на верхний этаж и села на скамейку подле самой лестницы, по которой вприпрыжку взбегали студенты. Повсюду серые тужурки, обладатели их веселы, смеются, шутят. Мой тоже прибежал наверх через две ступеньки; заметив в моих глазах слезы, удивился, что я так беспокоюсь. Что это?... Не тюрьма, а университет? Графчика поместили с его товарищем Дмитриевым и другими в трех палатах с незакрытыми дверями в коридор, так что они все общались.

Некоторые отцы и матери поплатились жизнью из-за своих мальчишек. Так, я знаю лично двух отцов, которых разбил паралич, а затем смерть. В Бутырьках с одной матерью сделался такой сердечный припадок, она так кричала, что я вынести не могла и убежала скорее домой. Мне говорили потом, что она умерла после этого.

Вот уж где горе и смех рядом. Подписывалась я как-то под одним прошением: "жена статского советника такая-то". Статский советник тут выше считался профессора. Подле меня стояла дама, только что приехавшая из провинции; посмотрела на мою подпись и сказала мне: "Хорошо, что я приехала и увидала, что не так страшен черт, как его малюют; муж мой и я до того волновались, нам так представлялось ужасным, что сын наш в тюрьме. Муж даже просто рвал на себе волосы, повторяя: сын безупречных родителей, сын дворянина—и вместе с уголовными преступниками. Я так боюсь за мужа, что сейчас же пошлю ему телеграмму успокоить его, что сын наш не с преступниками, а между сыновьями статских, действительных статских советников и генералов и что просто хотят мальчишек приструнить".

В большинстве, кажется, волновались отцы, а у нас, наоборот, волновалась больше я, а Евграф, узнав, как обстоит дело, даже как будто и совсем успокоился. "Вот, если б его одного арестовали, хуже бы было". Но мальчишек не успокоишь, они лезли на рожон, немало там дебоширили. Устроили иллюминацию: сожгли соломенные матрацы — тогда их разъединили, заперли двери камер, а у дверей поставили по солдату с ружьем. Конечно, не все хотели делать такие глупости, но "взялся за гуж, не говори, что не дюж". Мы, родители, ждали, что их скоро выпустят, а их не только не выпускали, верно, за их хулиганство, решили всех перевести в тюрьму в Архангельск, где уже начался ремонт в ожидании студентов. Я, узнав, кто там доктора, скорее написала своим коллегам-докторам, прося следить за здоровьем сына и в случае его болезни мне телеграфировать. Получила любезные письма с обещанием исполнить все просимое. В конце концов начальство решило разъединить студентов, разослав их по разным тюрьмам, каждого поближе к родной губернии. Мы были этому рады. Мой угодил в числе девяти как петербуржец в новгородскую тюрьму. Тогда мы решили эту Пасху провести в Петербурге с родными, поближе к Графчику, которого я намеревалась на Пасхе посетить. 19 марта Графчика увезли. Все же мы с Евграфом успели с ним попрощаться и свезти ему съедобного и книг.

На Пасхе, во время пасхальной заутрени, мы ходили к Казанскому и Исаакиевскому соборам любоваться эффектным зрелищем крестного хода и миллионными огоньками свечечек, усыпавших ступеньки храмов; любовались иллюминацией и, проголодавшись, пошли разговляться к Миле, где мы вместе с пришедшим Евгением Степановичем весело провели время до 4 часов утра. Евграф ушел к нему ночевать.

На другой день я решила ехать в Новгород на свидание с Графчиком. Мы бабушке, чтоб ее не расстраивать, не говорили о его аресте. Она просто ужаснулась бы, узнав, что ее внук в тюрьме. Так что я выехала в 10 часов вечера, а наутро была в Новгороде. <...> Я вообще не люблю гостиниц, но и самый город — какое-то сонное царство, хотя домики уютно выглядят

из гущи зелени; но на улицах пустота, многие [улицы] поросли травой и кончаются полем, на них царство кур, свиней и коз. Вековечные кирпичные стены кремля, как страж, господствуют над всем этим мирным житием, охраняя его покой. Я, не теряя времени, занялась своим туалетом. Мне нужно было прифрантиться умеючи, чтоб произвести надлежащее впечатление на аристократа-губернатора, показать, что и мы не лыком шиты. Я надела прекрасно сидевший на мне светло-серый суконный костюм-талер, на шею старинные кружева. Подкатила я лихо на дребезжащем извозчике, сопровождаемая пылью и лаем собак из подворотен закрытых ворот, к губернаторскому подъезду. Меня встретил лакей, а другой передал мою карточку, и пока я поднималась по лестнице во второй этаж из швейцарской, то на верхней площадке меня уже встречал губернатор. Мне понравилось, что он не заставил меня ждать, и это расположило в его пользу. Он провел меня в свои обширные апартаменты, держал себя с большим тактом и даже радушием, так что я заключила, что передо мной умный и образованный человек, а не капрал-законник, и я решилась сказать, что правительство наказало, собственно, нас, родителей, а дети чуть ли не гордятся, что попали в тюрьмы, как многие писатели и все прославляемые политические деятели. Тогда губернатор Медем удивил меня, сказав: "Собственно, студенты ведь только орудие в руках умелых руководителей, сидящих за кулисами от арены действия". И этот либерал успокаивал меня, что заботится всеми мерами облегчить пребывание в тюрьме молодым людям и даже разрешил на дворе построить гимнастическую площадку]. Он проводил меня до самой лестницы и заговорил со мной при прислуге по-французки, вручив мне разрешение на свидание на целый час.

Свидание происходило при начальнике тюрьмы. Графчик рассказал, что на девять человек у них четыре комнаты: три спальни, а четвертая — общая, да еще светлый коридор. Сыну моему очень надоела вечная игра в шахматы, и он даже стал проситься в одиночку, чтобы начать беспрепятственно заниматься. Меня же это заботило. Не заболел бы чахоткой или нервно. Поэтому я решила поселиться на лето в Гунгербурге*, поближе к нему, тем более что Евграф был опять приглашен в Кедабек, куда и меня приглашали с дочерьми, но я не хотела быть далеко от нашего узника. Тем более что в Гунгербурге летом будет жить сестра Евграфа Мария Степановна, ее муж — доктор и три их сына-студента, и мы, значит, будем не одни.

Мы так и порешили и вернулись в Петровско-Разумовское; но вскоре Евграфу пришлось выехать опять в Петербург, так как сильно захворала его мать. Немного погодя выехали и мы. У Юлии Герасимовны оказался тиф, при ее возрасте <...> это опасно, и ей становилось все хуже и хуже. В 6-м часу утра 7 июня [1902 г.] она умерла. Похоронили ее на Преображенском кладбище, куда был подан для всех ее провожавших особый вагон по распоряжению Шаухфуса, тогдашнего министра путей сообщения и прежнего учителя ее детей.

В Гунгербурге мы наняли маленькую дачку-особнячок недалеко от моря. Ходили обедать к Марье Степановне. Сюда же приехала и Фрося, жена пасынка Юлии Герасимовны, с дочерью Леночкой. Вся эта наша молодежь проводила весело время: бросалась шишками, пела, играла, гуляла в лесу и по пляжу. В курзале ни разу не были, как-то не тянуло. Все не забывалось про нашего узника — это отравляло беззаботное житье. Так проходило время, когда вернулся из Кедабека Евграф. Он туда рекомендовал Болдырева, студентика, приезжавшего к нему заниматься в Разумовское, и сокрушался, узнав, что тот тоже вдается в политику: "Занимается больше, кажется, не своим делом, не наукой, к чему его обязывают его способности, а государственными

* В настоящее время — Усть-Нарва. — *Примеч. сост.*

делами, в которых он, я уверен, ничего не смыслит. Это общая наша болезнь, как корь. Куда я его могу теперь рекомендовать? Надо поднимать производство, а он мутит рабочих, а те же рабочие подают мне адрес благодарственный, что я спас их от нужды, так как при закрытии заводов они лишились бы заработка. Они считают меня своим спасителем, а за мной едет смутьян, портящий дело. Выходит несообразность".⁸⁶ <...>

Ночи уже темные начались и, если не было в курзале фейерверка, то Мария Степановна, Николай Афанасьевич с сыновьями [играли в карты] по вечерам. Так, один вечер они играли, а я сидела на диване, как раз почти против балконных дверей. Их собачка Икс вдруг в саду лайкнула как-то нерешительно, потом точно взвыла и визгнула. Глаза всех обратились к незапертой двери балкона и на фоне ее темного пространства выделился ... Сначала мы не могли прийти в себя от изумления, а потом чуть не все враз закричали: "Графчик!" Он оброс волосами и бородой, потому-то мы его сразу и не узнали. Всех студентов выпустили на волю без последствий. На другой же день мы все сфотографировались у нашей дачки. Радость была большая. Дали Графчику отдохнуть и поехали домой.

Вдруг узнали, что Евграф [стал] академиком уже с 1 сентября. Получив от Н.Н. Бекетова (химика) еще раньше письмо, где он спрашивал, согласен ли Евграф быть выбранным в Академию адъюнктом, Евграф не считал себя вправе отказываться⁸⁷. Но поставил условие, чтоб ему был дан минералогический кабинет; а кабинет после этого присоединили к геологическому, которым заведовал Ф.Н. Чернышев. Значит, Евграфу предстояло зависеть от него, что Евграфу не улыбалось. Дело это тянулось, скорее, оттягивалось, а Евграф тем временем, хотя и волновался, но усиленно занимался и успевал уделять время новым ученикам.

Раз он меня предупредил, что к нему приедут заниматься несколько студентов Московского университета, и просил меня напоить их чаем. Приехало семь студентов, позанимались, пришли пить чай. За чаем беседовали с Евграфом, и инициаторами разговоров и вопросов были двое — это Ферсман и Артемьев, остальные больше слушали. Меня крайне удивил один вопрос Ферсмана: "Почему это, Евграф Степанович, когда мы читаем ваше учение, изложенное в учебнике Вернадского, то решительно ничего не понимаем, а слушая Вас, все это так понятно и ясно?" Когда Евграф вышел в кабинет, то этот самый живой Ферсман обратился ко мне: "М-те, позвольте нам Вас поблагодарить и идти заниматься". Я, собственно, была и рада — мне нечего было с ними делать. Я не любила почему-то, когда меня называли М-те. После их отъезда Евграф выделил Ферсмана и Артемьева, сказав: "Эти меня поймут, я уверен". А когда я указала на бойкость Ферсмана, то Евграф сказал: "О! Этот?! Этот далеко пойдет!" — "В каком отношении?" — спросила я. — "Во всех отношениях!"⁸⁸. Потом Евграф в шкафу отыскал недавно вышедший учебник Вернадского, который не удосужился еще просмотреть, и начал его перелистывать. Вскоре прибежал ко мне и заявил с изумлением: "Вернадский изложил мою теорию так, что я и сам ничего не могу понять, не мудрено, что студентам трудно разбираться в этом хаосе. Там сам черт ногу сломит". Всех чаще стал у нас бывать Артемьев, и не только для занятий с Евграфом, но как наш знакомый.

Был у Евграфа еще ученик — Калачевский. Этот нашей всей семье нравился, а Евграфа он раздражал своей неловкостью. Спросишь, бывало: "Что, Калачевский еще занимается?" А Евграф: "Разве он занимается?! Он больше ползает по полу", — т.е. отыскивает уроненный кристалл, предназначенный для измерения. Приходит Евграф обедать.

— А что же Калачевский?

— Он предпочитает обеду ползание по полу, — отвечает с раздражением Евграф.

Калачевский, наконец, приходит обедать.

— Нашли кристалл?

— Нет.

Садится, протягивает мне глубокую тарелку для супа, а на мелкую со звоном и дребезжанием вылетает из обшлага искомый кристалл. Общий хохот. Виновник и сам от души смеется. Эта кротость и незлобивость его к Евграфу нас всех умиляла. Премилый был студент. И нам жаль было с ним расстаться.

Евграф с приезжающими учениками занимался в своем домашнем кабинете, при нем была небольшая кладовая с полками, уставленными банками с нашим вареньем. И вот в этой-то каморке вечно кто-нибудь занимался, мешая Евграфу самому сосредоточиваться на его научных работах, и понятно, что лишнее отвлечение его раздражало.

И вот он стал льстить себя надеждой, что Академия даст ему возможность беспрепятственно работать в более благоприятных условиях, располагая большими денежными средствами, чем в Сельскохозяйственном институте, когда его выбрали туда в адъюнкты, хотя он уже с 1894* г. был членом Баварской академии. Но Евграф был скромн, он гнался не за почетом, а преследовал только выгоды науки и потому обрадовался, что ему теперь дадут возможность раскинуть всю свои экспериментальные работы, в которых у него была большая нужда. Его обширный ум раскидывался по всем отраслям науки и ломал барьеры на своем пути. Но для этого, к сожалению, мало было одной теории, а на опыты и исследования не хватало средств. Потому многое им задуманное приходилось откладывать в сторону.

Радость его не оправдалась: Академия, ничего ему не обещая, потребовала его переезда в Петербург. На адъюнктское содержание с наемной квартирой, без профессорского, нашей семье стало бы трудно жить. К тому же Евграф привык затрачивать и свои личные средства на нужды науки, а тут и самому-то не стало бы хватать на прожитие. Здесь пришлось бы бросить так поздно, так трудно доставшуюся кафедру, такой уют, способствующий умственной работе, хотя, конечно, его место должно было быть не в Сельскохозяйственном институте, где его предмет второстепенный. И стыдно за Россию, что такому-то человеку, который родится в 100 лет раз, не давали возможности осуществить свои стремления. Собственно, терял от этого не лично Евграф Степанович Федоров, ему жилось очень хорошо в Петровско-Разумовском между радушными и любимыми им профессорами, среди природы, в чудном парке, со своими любимыми занятиями, которым никто и ничто бы не мешало, если б он не взялся добровольно за ученье пришлых учеников. Кто же терял? Да, конечно, в лице его теряла наука, не только русская, а и всемирная, так как наука интернациональна. А теперь сколько невыполненных заданий! Итак, чего только не придумывал Евграф, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А время шло да шло. Настал и 1903 г.

По обыкновению наша молодежь веселилась каждые святки. И у нас собирались ряженые, и всегда говорили, что нигде не бывает так весело, как у Федоровых. Тут Евграф, бывало, только выйдет, полюбуется на веселящихся и уйдет в кабинет, даже не запирая дверей, если никого нет из старших. Так, среди усиленных занятий всех членов нашей семьи, а главное Евграфа, музыкальных и праздничных развлечений проходила наша мирная жизнь. Иногда подобный отдых просто был необходим Евграфу.

Так, обдумывая как-то раз свою работу, Евграф ходил, пощипывая бороду,

* Год указан ошибочно, на самом деле — 1896 г. — *Примеч. сост.*

то присаживался на диван, ложился, закрывая глаза руками, то опять вскакивал и ходил, ходил; жаловался мне, что никак не может сообразить одну вещь, из-за которой стала работа. В это время пришли гости. Видимо, Евграф был им не рад, но как хозяин должен был присутствовать, а заниматься-то тогда приходилось мне, так как, если у него забродило в голове, он уж не мог оторваться от назойливо лезущих мыслей. Мне не раз бывало неловко за него в подобных случаях, так как он не слушает гостя и точно просыпается, когда тот обращается к нему с каким-нибудь вопросом, не зная, что отвечать. Мне тут смех и горе было, приходилось выручать, подсказывать или отвлекать гостя разговорами. Приедет кто-нибудь из другого города повидаться, а Евграф—в периоде наплыва идей; гость рассказывает много интересного, а Евграф поводит рукою по лбу и не реагирует на слова ничем, вперив глаза в пространство. Или еще хуже: в самый интересный момент рассказа встает и начинает ходить по анфиладе комнат вдоль всей квартиры, гость за ним, а я, как на иголках.

Хорошо, когда это были очень близкие люди и уже знающие это свойство Евграфа. Так, теперь пришли Кулагины приглашать на именинный обед, подняли какой-то заинтересовавший Евграфа вопрос и отвлекали его от мыслей на некоторое время. Когда они ушли, Евграф пришел в негодование, что он потерял мысль и что ему придется завтра тратить попусту время, тогда как ему необходимо решить неотложный вопрос. Не хотел идти. Я стала его уговаривать отложить на один день обдумывание. Мозг отдохнет и скорее придет к выводу. Он возражал, что не он руководит мозгом, а мозг им; он не может отрешиться от мыслей, когда они уже заходили в голову.

Однако, на другой день мы были на именинном обеде, где были профессора, было много интересного говорено и много было тостов разных; даже провели там весь вечер, вернувшись поздно. Евграф отвлекся от дум своих и скоро заснул. На другой день его опять что-то отвлекло, а ночью [он] вскочил и ушел в кабинет. Я думала, он захворал, но нет — он сидел и писал, а наутро пришел ко мне торжествующий: "А ведь ты была права, поздравь меня — сегодня ночью просыпаюсь и так ясно увидел решение долго мучившего меня незадачливого вопроса. Верно, мозг отдохнул и заработал продуктивно".

3 марта [1903 г.] пришла из Академии наук бумага, разрешающая Евграфу продолжать профессорство в Разумовском до конца 1903 г. А дальше что? По уставу Академии, члены ее, не живущие в Петербурге и не участвующие в ее заседаниях, конференциях, не получают содержания от нее. Мечта Евграфа об устройстве кабинета на свое адъюнктское содержание разлетелась, как дым, и к довершению оставила очень горький осадок. Все же мысль, что до конца этого года мы не двинемся никуда из Разумовского, нас успокоила. Значит, все пока остается по-старому, хоть это хорошо! А сколько должен потратить Евграф на проезд? А зачем ему туда ездить без Минералогического музея? А зачем его присоединили к Геологическому, когда умер Еремеев и стал кандидатом Евграф? Невольно у меня возникли эти вопросы, но я их не задавала Евграфу, а старалась, чтоб он поменьше думал об Академии. Она ему, как видно, сейчас ничего еще не могла доставить, кроме звания адъюнкта. А к чему это ему? В этом сумбуре мне разбираться было трудно.

Без моего согласия Евграф никогда не решал наших общих жизненных вопросов, а я всегда соглашалась с его интересами и попускалась своими. Например, прежде нашей семье более улыбалась жизнь на заводе с обеспечивающим содержанием, куда мужа Еремеева не раз пристраивал, чем жить, нуждаясь, в Петербурге. Но я никогда не понуждала его бросить Петербург, пока он сам не нашел это необходимым. Так и теперь, как мне ни было бы жаль расстаться с милым Разумовским, я представляла мужу полную свободу действий; он, бедняга, и сам терялся. И хочется, и колется, и что-то или

кто-то не велит. Даже генерал Дубровин, непременный секретарь Академии наук, встретив Евграфа, заметил ему, что он "остался между небом и землей". И, действительно, Евграф и сам чувствовал, что попал в какой-то тупик, между двух огней. Он решил тогда ездить на заседания конференций, чтобы получать адъюнктское жалование, а на него устроить себе кабинет в Академии, заполучив там хоть бы две-три комнаты. С этой мыслью он носился и стал хлопотать об этом, приведя Н.Н. Бекетова — "старого младенца", как его характеризовал Ф.Н. Чернышев, — этим решением в восторг. Он действительно был чист, как младенец, что Евграфу и нравилось: подходя к нему, нельзя было ждать каверз. <...>

В Петровско-Разумовском все наше общество не "картежило", а большинство любило музыку. Евграф, как ни дорожил временем и потерю его считал чуть не преступлением, но все-таки не пропускал устраиваемых каждую неделю в актовом зале института любительских концертов. Он вообще был сторонник таких развлечений для молодежи, в свободное время от занятий и сам вечерами играл то в четыре руки с дочерьми, то на фисгармонии; иногда Мила играла на рояле, Евграф на фисгармонии, а Женя пела. Гуляющая в парке московская публика приходила к нашему балкону и слушала. Единственная тут скамья бралась чуть не с бою, а студенты садились прямо на траву. Одна наша знакомая, попав раз в это общество, рассказывала, как восхищалась публика нашей игрой, когда же затрубил рожок о закрытии парка, то им не хотелось уходить.

А нам самим, бывало, весной трудно было оторваться от балкона. Внизу в нашем личном садике сплошь цветет ароматная сирень, конусы чудных темных пихт со светлыми, точно кружевными, каймами красуются перед нами; всходит луна, пощелкивает вдали соловей. Тишина. Но вот с прудов доносится неумолчное кваканье лягушек; из парка слышится пение студентов, а из нашей гостиной несутся звуки рояля — это играют Мила с Евграфом. <...> Луна заходит, скрипит коростель. Евграф не выдерживает безделья и идет читать в постель и спать; а мы, бездельники, сидим до рассвета, пока не появится дымка тумана. Ах, и хорошо же было, и все это прошло и не вернется вновь!

В это лето нашу квартиру ремонтировали, а нас переселили в так называемую министерскую дачу, в которой когда-то министры земледелия проводили лето. Эта дача построена в парке еще во времена Елизаветы Петровны, и она часто ее посещала. Круглая большая терраса этой дачи с белыми колоннами, с куполообразным потолком, выкрашенным в удивительную по своей прочности голубо-синюю краску с желтыми звездами, была уставлена лимонными, миртовыми деревьями в кадках из оранжереи. При даче был садик. В клумбочках насадила цветов, хотя рядом находился чудный, декоративный, душистый цветник, его аромат распространялся к нам. Мебель красного дерева прежних времен, обитая кретоном, была необыкновенных размеров. Евграф говорил, что она демонстрирует, как широко прежде жили, хотя и просто. Когда по звуку рожка публика покидала парк, мы шли гулять и как бы становились обладателями всего этого дивного парка с его цветниками и историческим прошлым. Особенно жутко по вечерам было проходить около одного прудка, где был утоплен убитый студент Иванов при Нечаеве и только по торчавшему кончику башлыка был обнаружен⁸⁹. Вспоминались вся эта кошмарная история и "Бесы" Достоевского. Как русский человек не пользуется выпадающим ему счастьем! Все эти ужасы делаются ради революции, а она — ради счастья людей, всеобщего счастья. Возможно ли это? Люди не умеют его ценить, особенно русские.

Здесь к нам приезжал Эрн с женой и детьми, как бы отдавая визит за пребывание Евграфа у них в Кедабеке, куда и меня приглашали, но тогда помешал арест Графчика. Пошатнувшиеся дела Кедабека Евграф поднял на большую высоту, и ему была обещана помощь для основания кабинета при

Академии, так как от личной награды Евграф отказался. Эрн ему рассказал, что, желая пригласить его, по настоянию Эрна, обратились все же в Геологический комитет за рекомендацией об Евграфе и А.П. Карпинский и Ф.Н. Чернышев аттестовали Евграфа как совершенно непригодного. И Эрн поручился за него на свой страх. <...> Евграф и у них оправдал себя. Куда бы он ни поехал, он везде оставлял полезный след.

Квартира наша уже давно была готова, а мы все еще не хотели расстаться с парком. 1 сентября встаем и диву дивимся: все бело, снег так и валит, и он нас выжил с дачи.

30 сентября [1903 г.] Евграф получил от академика А. Фаминцына поразившее Евграфа письмо следующего содержания:

"Многоуважаемый Евграф Степанович! На днях в Общем собрании Академии была прочитана записка Ваша на имя Президента, в который Вы заявляете желание выйти из состава Академии⁹⁰. До сих пор не писал я Вам потому, что узнал о ней лишь из доклада неперменного секретаря 6 сентября. Для всех членов Академии она явилась неожиданностью и вызвала всеобщее недоумение.

Высоко ценя научное значение Ваших работ и желая сохранить Вас в Академии, я и решился написать Вам следующие строки. Заслушанное в общем собрании прошение Ваше об увольнении из Академии произвело на меня очень тяжелое впечатление. Прежде всего я пожалел о том, что Вы предварительно не запросили ни меня, ни Николая Николаевича [Бекетова] о настроении к Вам Академии и о настоящем положении Вашего дела. По наведенным мною подробным справкам оказалось следующее: 1) имеется в виду теперь же приступить к баллотированию Вас в академики; 2) при нашем организующемся Минералогическом кабинете две большие комнаты предназначены для Ваших занятий; 3) Академия не отказывалась и не отказывается приобрести нужные Вам приборы. Задержка лишь за Вами, так как Вы ограничились до сих пор лишь заявлением, что на это потребуется до 60 000 рублей, не обозначив даже, на какие предметы они предназначены; Вы, кроме того, не пожелали ознакомиться ближе с организующимся Минералогическим кабинетом. Академия наша, бедная средствами, не может за раз израсходовать такой суммы, в продолжении же нескольких лет это дело и могло бы устроиться, но, конечно, не иначе, как при личном Вашем содействии.

Не могу скрыть от Вас, что заносчивым тоном Вашей бумаги Вы восстановили против себя многих членов Академии, расположенные же к Вам члены Академии очень пожалели, что Вы ее написали, не осведомившись предварительно о положении Вашего дела. Единственным средством, способным изгладить впечатление записки, мне представляется заявление с Вашей стороны, хотя бы в частном письме ко мне, что на основании полученных от меня сведений, Вы не будете настаивать, чтобы Вашему прошению об отставке был дан дальнейший ход. По бывшим примерам этот способ действия может поправить дело.

Ввиду всего вышесказанного мне было бы очень желательно получить от Вас указания, при каких условиях Вы бы сочли себя удовлетворенным и возможным приступить к академической деятельности. Мне крайне желательно устроить Ваше дело к общему удовольствию и Вас, и Академии. Душевно преданный Вам А. Фаминцын".

Вот ответ Евграфа на это письмо академика Фаминцына:

"М[илостивый государь] А[ндрей] С[ергеевич]. Чтобы не вызывать бури горьких воспоминаний о пережитом мною в течение продолжительной моей научной деятельности, я в своем ответе на Ваше письмо ограничусь лишь фактическими поправками по порядку: 1) Еще в конце прошлого года я писал Н.Н. Бекетову о том, что я начинаю себя чувствовать обязанным подать в отставку из Академии. В феврале я его лично видел, и он лишь вскользь упомянул о том, чтобы я не торопился подавать увольнение. Я это сделал лишь в мае. 2) Я подавал записку об устройстве при Академии Минералогического института и в ответ получил только, чтобы я подавал немедленно об отставке или переезжал в Петербург. Я исполнил, хотя и поздно, желание самой Академии. 3) Откуда взяты Вами 60 000 руб. на устройство Минералогического кабинета, мне не известно. Мое предложение немедленно по выборе в Академию, предложение, одобренное Н.Н. Бекетовым, было, чтобы Академия не расходовала ни копейки, а только оставила в течение 2—3 лет только те деньги, которые шли бы мне жалованьем, если б я не стал получать из Академии. И [господин] неперменный секретарь настаивал на том, чтобы я заменил этот оборот прямым указанием в необходимости такой суммы (мое жалование), чему я последовал и в чем теперь раскаиваюсь. 4) Лучшее свидетельство, что Академия нашла более достойных минералогов, чем я, заключается в Ваших словах, что кому-то поручена организация Минералогического кабинета, о чем я даже не имел никакого понятия и о чем меня ни Академия официально, ни кто из академиков частным путем не предупреждал. Полагаю, что одного этого достаточно, чтобы мое пребывание в Академии стало немислимим.

Наконец, 5) Вы сами изволите говорить о моем заносчивом тоне, хотя я не могу даже себе вообразить, что именно Вы имеете в виду, но полагаю, что, помимо всего остального, и этого достаточно все для той же цели.

В заключение позволю себе обратить Ваше внимание на то, что настроением [господ] академиков я никогда не интересовался, не интересуюсь и не буду интересоваться. Для меня достаточно и научных интересов. Мне даже непонятно, как Вы можете у человека чистой науки допустить подобные интересы.

Вывод из всего настолько ясен, что едва ли нужно сюда что-нибудь добавлять. Остается только принести Вам благодарность за Ваше личное расположение, побудившее Вас взяться за перо. Как и всякий живой человек, не могут не ценить весьма высоко это..."

У него в черновой не окончено, верно, „расположение”.

И как же его эта цифра 60 000 возмущала. Она точно на него набрасывала какую-то тень, не совсем благовидную. На него, такого невиданного бессребреника. Это свойство знала не только я, но и все близко его знавшие. Эти 60 000 рублей еще больше его оттолкнули от Академии.

Подал он в отставку, так как Академия туго шла ему навстречу, точно затягивала с устройством Минералогического кабинета, и Евграф мне заявил, тоскуя об этом: "Без кабинета я не согласен даже и с даровым билетом ездить на одни заседания; чего доброго, меня еще обяжут шить мундир. Что он будет мне стоить? А потому я в нем буду себя чувствовать прямо несчастным, как наряженная собака в треуголке, когда меня даже и крахмальная сорочка стесняет". Много было приведено резонов за и против и, наконец, Евграф решил отказаться от Академии. Вся эта история с ней его так нервировала, что он стал плохо спать, да и мешала сосредоточиванию на его настоящих научных занятиях. В одно время Евграф начал было успокаиваться, как получил через 4 месяца письмо академика Фаминцына, удручившее его числом в 60 000 руб. А тут вскоре нагрянули такие события и ворвались так внезапно в нашу мирную трудовую и счастливую жизнь, что порою точно мозг начинал мутиться от несуразности того "нечто", что нарушило наш покой и опять разъединило меня с Евграфом на некоторое время. Тут забота об Академии вылетела из головы сама собой. Стало как-то не до нее, с ее медлительным ходом. "Видимо, не торопятся меня заполучить. Да и к чему я им? Я им не ко двору, я не политик, я для них слишком прямолинеен", — уверял меня Евграф.

За последнее время у нас появились новые знакомства. С прошлой зимы у нас переменялись соседи, вместо Вильямсов поселились Фортунатовы. Алексей Федорович Фортунатов поступил на место умершего Вернера. Так как их семья большая: муж, жена, два взрослых сына — студенты университета — да еще три поменьше, и дочь — то Вильямсы им уступили свою большую квартиру, а сами перешли в нижний этаж деревянного дома. Эти соседи — тоже любители музыки, и даже второй сын, Александр Алексеевич, пел. Старший, Константин, очень способный к наукам, подавал большие надежды сделаться ученым и сдружился с Графчиком. Набиралась славная компания молодежи. Тут как раз приехал погостить мой двоюродный брат Степа, товарищ детских игр Графчика в Кунгуре, а сейчас студент Казанского университета. Как истый провинциал, приехал с большим багажом и даже с матрацем. Мы над ним потешались. Он его таскает каждое лето с собой взад и вперед; дешевле бы стоило купить новый. Наивный Степа этого не сообразил. Он стал красивым и славным пареньком. В газетах прошел слух о предстоящей войне с Японией. Думалось: неужели и этих всех милых мальчиков не пощадит этот бич?

В воскресенье утром 5 октября не успела я встать с кровати, как узнала, что у Графчика ночью был обыск; но так тихо, что ни я, ни Евграф ничего не слышали. И только одна Женя, а потом и Мила слышали в Графчикиной комнате шаги и шелест бумаги и заподозрили обыск. Продолжался он с 3.30 до 7 часов. Делал обыск сам частный пристав. Графчика разбудили, а



Семья Е.С. Федорова. 1900 г.

Степу едва добудились. Он, поздно вернувшись из театра, так крепко спал, что при виде полиции долго ничего не мог сообразить и представлял из себя смешную фигуру. И беззаботные мальчишки хохотали, рассказывая эту сцену, и особенно над распоротым Степиным матрацем, в котором тоже шарили. Они смешили, а нам, родителям, было не до смеха, хотя у Графчика и ничего предосудительного не нашли, кроме песен уголовных заключенных в Новгородской тюрьме, списанных им в бытность его там. Но, значит, он на примете у охранной полиции, и за ним следят. Я говорила: "Смейся, смейся! Уж раз попал ей в лапы, не скоро выпустит".

Весь обед прошутили, радуясь, что так дешево отделались, но не успели еще встать, как горничная доложила о приходе околоточного, желающего видеть молодого барина. Оказалось, Графчика пригласили в полицию. Ну, дело плохо! С его заносчивым, дерзким и вызывающим тоном, появившимся у него еще с последнего класса гимназии, нельзя ожидать ничего хорошего; ему не сдобровать! <...>

22 октября [1903 г.] на почте и в канцелярии, куда утром Евграф заходил, его стали все поздравлять, и с чем же? С выбором в директора Горного института, а он сам ничего не знал. Но вскоре пришло письмо от профессора Долбни. Вот оно:

"Многоуважаемый Евграф Степанович.

С выходом в отставку И.И. Лагузена начали циркулировать слухи, большею частью неосновательные, о вероятном назначении на директорский пост разных лиц, по мнению нашей профессорской коллегии, совершенно неподходящих для такой должности. Ввиду этого профессора решили недели две тому назад выйти из пассивного состояния и наметить кандидатов на должность директора, о которых и поставить в известность министра через Н.А. Иоссу.

В самом начале этих совещаний, происходивших большею частью у меня на квартире, в числе весьма желательных кандидатов упоминали Вас, многоуважаемый Евграф Степанович. Ваша кандидатура была принята единогласно, и многие из лиц, принимавших участие в совещаниях, обратились бы исключительно к Вам, если бы вопрос об избрании директора зависел от Совета и если бы могла быть твердая уверенность, что Вы согласитесь воспользоваться избранием. Но надлежало прежде всего позаботиться об институте и устранить всеми возможными способами искаательства лиц, коих попoldзовения справедливо почитались особенно вредными. С этой целью намечены были из нашей среды все те лица, коих кандидатура могла бы быть уважена министром. Таких лиц оказалось двое: Н.С. Курнаков и В.Н. Липин. Из них Н.С. Курнаков отказался от предложения

по невозможности совместить с директорством три ординатуры, которые он занимает (у нас, в Политехническом институте и в Электротехническом институте); В.Н. Липин не может воспользоваться предложением, потому что министр не согласится на совместительство директорской должности с управлением делами Стенбок—Фермор.

Я уполномочен профессорами убедительно просить Вас, многоуважаемый Евграф Степанович, прийти нам на помощь и стать во главе Горного института. Лично я всегда находил, что Вы — единственный человек, не только достойный этой чести по размерам своего авторитета, но и обладающий всеми потребными качествами для поднятия слишком упавшего престижа директорской власти. Зная Ваши чувства относительно института и всей корпорации горных инженеров, я уверен, что Вы не откажетесь отдать часть Ваших сил на служение весьма важному и общему, даже более — общественному, делу. Ваш огромный научный авторитет оградит Вас от мелких неприятностей, связанных с административной деятельностью, а искренняя поддержка со стороны лучших представителей профессорской коллегии облегчит Вам правильное вершение студенческих дел.

Тороплюсь обо всем Вас уведомить на тот конец, чтоб Вы могли бы, получить предложение от министра и иметь уверенность в том, что Ваша кандидатура горячо поддержится профессорами, отклонить предложение. Будем ждать с нетерпением Вашего ответа и немедленно поставим в известность подлежащее начальство о Вашем согласии. С глубоким уважением к Вам И. Долбня".

А вот письмо Евграфа Степановича к нему:

"Ваше письмо поразило меня своей неожиданностью. Менее всего я ожидал всеобщего доверия со стороны коллегии Совета Горного института даже в чисто ученом отношении. Еще менее мог бы я допустить что-нибудь подобное в отношении административной роли. Вероятно, Вам известно, что я целиком отдан науке и малейшее отклонение от дела, которому я целиком посвятил свое время вот уже 34 года, для меня болезненно. Не Вы ли, Иван Петрович, выражали когда-то (это было уже очень давно) удивление такому исключительному влечению? Однако я с тех пор не изменился в этом отношении. Мыслимо ли при такой идиосинкразии принимать на себя обязанности, которые могут оставить мне для любимого занятия лишь очень мало времени? Я, конечно, вполне лишен административных способностей, и, думается, мои коллеги это хорошо понимают и этого от меня и не ожидают.

Директор высшего учебного заведения есть администратор особого рода. Он, собственно, человек, имеющий меньшую власть, чем любой ученый из членов Совета, он слуга корпорации. Ясно, что согласие или несогласие зависит прежде всего от нравственной высоты самой корпорации. И Ваша подпись ручается мне за эту нравственную высоту. Я вижу, что, согласившись стать директором, я имел бы удовольствие исполнять постановления, руководимые лучшими намерениями и большою опытностью. С этой стороны я не усматриваю опасности, и в Вашем лице усматривал бы истинного директора, не сделавшегося таковым по каким-то второстепенным обстоятельствам жизни.

Но теперь посмотрим на вопрос с общественной стороны. Согласившись на директорство, я во всяком случае явлюсь в положении непривычном, незнакомом и, следовательно, непрочном, а между тем окончательно лишусь того прочного и устойчивого положения, которое занимаю теперь, при котором могу не отрываться от науки. Ведь Вы сами прежде всего считаете меня человеком чистой науки, и, следовательно, в пользу этого дела для меня сомнения не представляется. Первая обязанность директора быть готовым каждую минуту оставить свое место. С другой стороны, единственная, на мой взгляд, обязанность директора, как такового, это отстоять средства, необходимые для научной высоты института. А чтобы достичь этого, мало доверия со стороны министра, надо, чтобы его убеждение передалось и Государственному совету. Пример Лагузена показал, что простых обещаний в этом деле недостаточно. Достичь же чего-нибудь большего я считаю прямо невозможным. Полагая, что приведенных доводов достаточно, я закончу выражением глубокой признательности за оказанное доверие и прошу Вас от глубины души поблагодарить всех моих коллег. — Е. Федоров".

Ответ И.П. Долбни на это письмо:

"Многоуважаемый Евграф Степанович.

Позвольте Вас благодарить за скорый ответ, не лишающий нас надежды видеть Вас в своей среде и во главе коллегии. Горячими искренними приверженцами Вашей кандидатуры являются наши молодые профессора, примыкавшие к И.В. Мушкетову, а теперь, естественно, тяготеющие ко мне. Да послужит это обстоятельство для Вас утешением и справедливым воздаянием за Ваши высокие качества, которые хотя и пользуются общим признанием, но немногими приветствуются столь искренно и радостно, как нами.

О моей кандидатуре не стоит говорить: она никогда не была бы принята министром. То же следует сказать о Лебедеве и Коцовском, хотя, конечно, причины отклонения кандидатур весьма различны в трех случаях. Я, впрочем, никогда не возбуждал о себе вопроса. И если бы сам министр пожелал назначить меня, то я бы с радостью уступил место Вам, как более достойному. Я показал уже Ваше письмо коллегам и думаю, что все Ваши сомнения легко устранимы. Мы все будем стараться облегчить Вам управление институтом, если, разумеется, Вы встретите надобность в нашем содействии.

Я никем не уполномочен, но могу сказать (не для оглашения), что, вероятно, министр не утвердит Лебедева на пятилетие профессором минералогии; тогда кафедра будет свободна. Когда начнутся с Вами переговоры о должности директора, Вы будете господином положения: у Вас не может быть соперников. Тогда Вы можете выговорить себе право совмещать пост директора с должностью профессора. Нечего и говорить, что Совет сочтет для института большою честью обладание таким профессором, как Вы. В случае кризиса, о котором Вы беспокоитесь, у Вас останется профессура и Академия.

Итак, дорогой и многоуважаемый Евграф Степанович, будем надеяться, что наше искреннее желание видеть Вас во главе института, увенчается успехом. С нравственной стороны, я уверен, Вы получили удовлетворение, ибо Ваша кандидатура выдвинута самыми честными представителями профессорской коллегии, у которых нет личного интереса и которые привыкли в общественных делах руководствоваться только чувством чести и долга. Глубоко уважающий Вас И. Долбня.

P.S. Уже сегодня наша молодежь направилась по этому делу к Иоссе, чтобы не терять дорогого времени. 27 октября 1903 г."

Вот ответ Евграфа на это письмо И.П. Долбни:

"Глубокоуважаемый Иван Петрович, обстоятельства минуты не только нарушают мирный и привычный ход моих занятий, но и ставят меня в необыкновенно щекотливое положение. То теплое или даже горячее отношение ко мне коллег вызывает у меня восторг и лишает меня силы ограничиться сухим и ясным ответом, но я хорошо вижу несущественность этих трогательных намерений. Скажу коротко: мыслимо и в среде нашей администрации допустить к себе идейного человека, а я, может быть, чересчур высокомерно отношу себя к таковому. Стать во главе оказывающей столь трогательное доверие ученой корпорации — высокая честь и удовлетворение, но исполнять обиденные обязанности при моей идиосинкразии есть самопожертвование. Идейный человек не может отказаться от жертвы, но при условии, если его опытность подсказывает ему, что цель может быть достигнута. Ну, а разве это возможно? Могу ли я остаться хотя на одну минуту директором, если, например, хоть один студент будет принят по протекции прямым приказом министра и против желания и постановления Совета? Допусти это я раз, и все мои мечты об единении профессорской коллегии и студенчества в одну семью разлетаются в прах. Значит, если даже министр согласен на назначение меня директором, я должен требовать, чтобы в пределах Горного института ни одно постановление Совета не было нарушаемо министерским приказом, ни один студент не зависел бы ни от кого другого, кроме Совета. Подумайте же, мыслимо ли не только мне, на которого министр смотрит как на захудалого профессора, но даже человеку, прогремевшему во всей администрации, ставить или даже упоминать о подобных условиях? Какой министр согласится на ограничение своей министерской власти? А между тем это ограничение вызывается самою сущностью дела. Без этого даже признака самопожертвования были бы действием безумным, так как на руках у меня безграничное дело, в пользу коего я совершенно убежден.

Итак, повторю слова первого письма: такое исключительное доверие со стороны министра я считаю совершенно невероятным. Что же я должен чувствовать, когда вижу, что некоторые мои коллеги, вопреки этой очевидности, стремятся сделать мое директорство возможным? Конечно, не ради меня они к этому стремятся, а ради пользы дела; но в данном случае это стремление так связано с моею личностью, что я чувствую себя виновным, наделав такое беспокойство. Не знаю вообще, может ли из этих беспокойств выйти какая-нибудь польза, но ясно вижу одно, что прямая цель никоим образом не будет достигнута. Если ни удастся достичь того, что ко мне последует обращение от министра, то что может выйти, если я поставлю ему необходимым условием — полную неприкосновенность семьи Горного института, а не поставить этого условия я не могу? Ведь это будет сочтено за дерзость, за высокомерие и может отразиться на том, что, вопреки Совету, умышленно будет назначено самое несимпатичное и деспотическое лицо.

Вот чего я опасаясь и прошу принять во внимание. Как бы прикосновение моей личности к делу Горного института не принесло бы ему существенного вреда! Подумайте и взвесьте. — Е. Федоров".

"Многоуважаемый Евграф Степанович.

В ответ на Ваше последнее письмо я могу сказать, что при современном строе высш[их] учеб[ных] заведений вторжение министра в учебное дело является неотвратимым и неизбежным. Нахальство человека, одержимого властью, оскорбительно не только для директора, но еще более для Совета. Более потому, что директор министру подчинен гораздо сильнее, чем Совет. Если, несмотря на коллективную организацию, Совет не пробовал сопротивляться министру, то было бы странно предъявлять какие-нибудь требования одному директору. Во всяком случае, Вы можете рассчитывать на решительную поддержку самых активных элементов Совета. Эти элементы еще раз свидетельствуют Вам свое глубокое уважение не только потому, что чтят в Вашем лице именитого ученого, но еще и потому, что вполне ценят Ваш независимый характер и Ваш благородный образ мыслей. Душевно преданный Вам и искренне уважающий Вас И. Долбня".

13 ноября 1903 г. он еще писал:

"Дорогой и многоуважаемый Евграф Степанович.

Не подумайте, что мы перестали заниматься вопросом о Вашей кандидатуре: мы продолжаем

за развитием этого вопроса следить по-прежнему. В департаменте теперь все говорят о Вас и утверждают, что никого другого не могут назначить, кроме Вас. Мы все будем очень счастливы, если наше желание скоро осуществится. Ибо кандидатура Ваша вышла из самых чистых и самых честных побуждений, чуждых всякого личного интереса. Мы такого мнения, что ни одна корпорация в России не имеет такого достойного представителя, как наша, и мы не могли не воспользоваться преимуществами своего положения. О всяком новом определенном фазисе в деле Вашего назначения директором я, по просьбе остальных товарищей, буду Вас извещать. Сердечно преданный и глубоко уважающий Вас И. Долбня".

А вот финал эпопеи выборов — письмо от 11 декабря:

"Дорогой и многоуважаемый Евграф Степанович, очень извиняюсь за то, что надоедаю Вам своими письмами; я, однако, не могу оставить Вашего письма без ответа. Вы, конечно, понимаете без особых комментариев, что в Совете нет единодушия: тут скопление всяких элементов, с преобладанием инстинктов Павла Ивановича Чичикова. Тем не менее около Вашего имени удалось составить внушительное единомыслие (были, однако, исключения).

На тот случай, если бы Вы уклонились, некоторые господа (из Чичиковской породы) говорили о Коновалове, но решения по этому предмету не состоялось и, вероятно, Коновалов не имел бы большинства. Те лица, которые имели конференцию с Иоссой по директорскому вопросу, говорили, как теперь оказалось, о Коновалове на тот случай, если бы соглашение с Вами не состоялось. Иоссу просили доложить Ермолову, что профессора желали бы представить свои соображения министру через депутацию (в состав депутации предназначались Курнаков и я). Ермолов отклонил депутацию, и доклад Иоссы, сделанный неизвестно в какой форме, принял к сведению. После этого в департаменте твердо называли Вас. Мы все думали, что Вам сделано формальное предложение. Слухи о Вас продержались очень короткое время, после чего твердо был назначен Коновалов.

Зная теперь, что Вы никакого предложения не получали, я понимаю двуличие и лицемерную политику Коновалова. Я не говорю о министре. Во-первых, потому что подлость — его право, принадлежность, так сказать, его профессии; во-вторых, потому, что в наше время рекомендация Совета есть вернейшее средство провалить всякую кандидатуру. Но, являясь к нам конфиденнтом министра, сеньор Коновалов распространяет слухи, что он уступил лишь настояниям Совета. И когда я публично заявил по этому предмету правду, [господин] Шредер и К^о с чисто полицейским усердием начали меня обвинять в распространении опасных для порядка слухов. Вот что происходит у нас.

Мне осталось служить до пенсии 1 год 4 месяца. Я считаю дни и часы, когда бремя подлой службы наконец с меня свалится. Но могут наступить обстоятельства, когда, быть может, не удастся дослужить до пенсии. Я глубоко опечален, что единственный в истории института случай окончился неудачей. Но мое горячее желание видеть Вас первым между нами да послужит доказательством того уважения, которое я питаю к Вашему научному авторитету и Вашим личным высоким качествам. И. Долбня".

Это письмо комментариев не требует. На пост директора вступил Коновалов к всеобщей нашей радости. Мила осушила свои слезы, которые проливала, предполагая скорый отъезд из здешнего нашего рая.

За это время пришло письмо от Графчика к Жене, где он пишет, что сидит в Таганской тюрьме и что его, очевидно, с кем-то спутали, на него похожим, и допрашивают о том, о чем он совершенно не имеет понятия, а ему не верят. Все это нас взбудоражило.

В ноябре приехал Кёлле — директор Кедабекских заводов, с женой и маленьким сыном Ральфом, и предлагал Евграфу инспекторство над их заводами, на что Евграф не согласился. Он не гнался за деньгами.

У нас в институте тоже была сходка. Повсюду какое-то бурление студентов. Оно, конечно, ставило директоров между двух огней, и, как ни уговаривали профессора нашего директора Рачинского, он все-таки решил уйти в отставку. По этому поводу по вечерам у нас в квартире совещались профессора.

В один такой вечер, когда уже все собрались, приехали Короленко с Григорьевым, оба — прежние знакомые Евграфа, отблагодарить за поздравление с юбилеем. Владимир Галактионович очень поседел и пополнел, но остался цветущим, с красными щеками. Напившись чаю, он по приглашению студентов ушел в их общежитие, куда звали и Евграфа, но ему нельзя было оставить собравшихся профессоров. За ужином говорилось о нем [Короленко] и о неизбежности войны, всем претившей⁹¹. Над Фортунатовыми висел уже дамоклов меч, у них уже идут разговоры, идти ли Косте вольноопределяющимся или лучше ждать, пока

заберут. Как жаль было этого прекрасного юношу, которому мы все симпатизировали.

А в нашей семье тревога за Графчика все нарастала: он все сидит и сидит в тюрьме. Наконец я, скрепя сердце, поехала в охранку. Меня провели к жандармскому полковнику. Он, привстав из-за стола, стоящего посередине комнаты, предложил мне стул против себя. Порывшись в бумагах, он спросил:

— Ваш сын был знаком со студентом с[ельско-] х[озяйственного] и[нститута] Петровско-Разумовского Крумбюгелем?

— Так вот из-за чего сидит Графчик! — подумала я и ответила:

— Я не могу назвать знакомством, это слишком много, но Крумбюгеля я знала, так как он приходил к мужу как ученик-студент к профессору, не больше.

— Но Ваш сын очень интересуется политикой?!

— Ну, скажите, кто же теперь ею не интересуется? Я тоже ею интересуюсь, да и нельзя не интересоваться, когда повсюду о ней слышишь; ведь недавно чуть не 1/2 университета была засажена по всем тюрьмам России, ведь у каждого студента есть близкие люди и все они заговорили.

— Но Вы интересуетесь платонически, а он фактически.

— То есть?

— У нас ведь есть факты несомненные, и я Вам должен сказать, что Ваш сын попал в очень скверную историю. Больше я Вам ничего не могу сказать.

Мне осталось только уйти.

На другой раз я поехала опять в охранку к товарищу прокурора, ведущего дело Графчика. Этот представитель правосудия, как бы защитник интересов заключенного, принял меня даже невежливо: не пригласив меня сесть, сам развалился передо мною в глубоком кресле, задрав левую ногу на колено правой и обхватив штиблет руками. "У Вашего сына компрометирующие его улики, а он упорствует, не признает их и этим все дело портит". Я с ним и разговаривать больше не стала, повернулась и скорее ушла, кипя злобой. Что предпринимать больше? Евграф заботится: "Смотри, как бы тебя еще на удочку не поддели эти ловцы!" Я, по крайней мере, узнала, что Графчик замешан в деле Крумбюгеля, а этот серьезно замешан. Такой красивый и богатый студент. У него дом в Москве и, кроме сестры, никого нет, а ее тоже арестовали. Наводят о нем справки профессора и говорят, что он здорово влип. Ну, значит, и Графчик не скоро выберется из этого омута.

Было дело так: мы все как-то поехали в театр на "Рогнеду", а так как паровик шел рано, то время до начала оперы оставалось много. Мы зашли в кондитерскую Филиппова, а Графчик на Дмитровке соскочил с конки, чтобы попутно забежать к Крумбюгелю, который его приглашал к себе. Это был первый его визит к нему. Не застав Крумбюгеля дома, пришел к нам в ложу. Оказалось, Крумбюгель был уже арестован, а у него на квартире сидела засада. Графчик и попал в ловушку. Через некоторое время после моих посещений охраны туда пригласили наших прислуг. Мы волновались целый день. Вернувшись, они рассказали, что им показывали фотографические карточки с тем, не признают ли они на них кого-нибудь бывавших у нас. Кухарка от всех отрекалась, так как она в кухне никого из гостей не видит; а горничная, славная, веселая, несколько кокетливая Маша, кого-то там приняла за Сережу Циммермана. Он же никогда арестован не был и карточки его там не могло быть. Мы в ужасе. "Да ведь это же может быть какой-нибудь убийца, а ты, дура, его признала за знакомого нашего молодого барина!" — напугала ее кухарка. Та давай реветь. Маша на другой же день помчалась в охранку, но, конечно, без всякого толку. Что делать?

Мне посоветовали обратиться к главному прокурору. Разделась я как можно изящнее и, стараясь разыгрывать *grande dame*, отправилась в Кремль. Меня товарищ главного прокурора усадил на стул недалеко от своего пись-

менного стола, и я стала ждать. Ко мне все приставали, зачем мне главный прокурор, когда я могу рассказать все им, а шеф так занят, что скоро меня принять не может.

— Ничего, я подожду, — успокаивала их я.

— Потом, как бы по наивности, я спросила товарища прокурора:

— Скажите, тот товарищ прокурора, который ведет дело моего сына, настоящий, а не переряженный жандарм?

Он и его секретарь так и подскочили ко мне:

— Почему Вы так думаете?

— Да он так непозволительно невежливо держал себя со мной; меня жандармский офицер вежливее принял.

— Но, скажите, почему же Вы делаете такое различие между ними? — ехидно спросили оба.

— Да как же? Громадная же разница.

— Громадная разница?! Да в чем же?!

Тогда я, не торопясь, начала объяснять:

— Товарищ прокурора имеет ценз научного образования, прошел высшее учебное заведение, значит, интеллигент, и я вправе с него требовать культурности, а жандармские офицеры не все интеллигенты, иные из них выслуживаются из солдат, и с них много требовать не станешь.

Они отпрянули от меня и сели за свои столы. Наступило молчание. Каждый думал свою думу; кругом шла какая-то суета вокруг столов, приходили и уходили, и решались чьи-то судьбы, имевшие несчастье попасть в их когти. Вдруг приходит с портфелем товарищ прокурора. Оба мои собеседника быстро подскочили к нему. Он только успел взглянуть на меня, как секретарь его увел куда-то.

Я объявила, что если сегодня меня не примет главный прокурор, то я буду приезжать во все его приемные дни. Наконец, меня впустили в его шикарный, обширный кабинет, устланный весь богатым ковром. Когда захлопнулась за мной массивная дверь, я была встречена "старым барином" с изысканною вежливостью, проводившим меня до кресла и севшим в другое, против меня, со словами: "Чем могу служить?" Я начала так: "Я пришла к Вам как к представителю закона искать правосудия", — и рассказала всю историю с горничной, наивной, простой девушкой, которая и в фотографиях хорошо не разбирается, а тут признала мальчика, не бывшего никогда арестованным. Я даже хотела назвать фамилию, но он меня остановил и, пообещав расследовать это дело, проводил до двери. Что будет дальше, увидим.

Жизнь брала свое. На Рождество мы прямо завертелись: каждодневные елки то у одного, то у другого семейства, концерты, театры. Хоть по временам несколько забывался кошмар охраны и ненавистная жандармерия. Наконец, опять вызвали нашу горничную в охранку. Опять мы весь день волновались. Вот что она нам рассказала: ей пришлось там долго сидеть и ждать в прихожей. Жандармский солдат-швейцар спросил ее шепотом, зачем она пришла второй раз. Она ему поведала свою оплошность. Тогда он, покачив головой, сказал ей: "Ай, ай! Милая, разве здесь можно кого-нибудь признавать! И знаешь, так и то отречься надоть. Я вот отслуживаю скоро свой срок и убегу отсюда со всех ног. Здесь, милая, творятся такие, такие дела, что упаси Боже! Из белого делают черное. Вот тебе пример: жена с любовником донесла на мужа, его упекли, а она завладела его домом и имуществом. Господа-то, говоришь, хорошие? Тебе, видно, их придется покинуть. Эх ты!" Все это, плача, рассказывала Маша. Потом ее позвали в другие комнаты, посадили на диван. Один длинный статский (по описанию, товарищ прокурора), другой с забинтованной головой и лицом жандарм все время ее запугивали, если она будет говорить неправду, когда ей покажут нескольких и между ними она кого-нибудь узнает из тех, которые бывали у нас. Мимо нее два

раза провели человек шесть молодых людей, в которых, конечно, не было ни одного нашего знакомого. Уж если солдат-жандарм высказывает накипь своей души от режима этого застенка-охранки, то каково было нам с нею соприкасаться!

Возвращаясь как-то с концерта Святловской, у которой учились Мила и Женя пению, мы шли пешком к Страстному монастырю на конку и слышали вдали на улицах пение "Боже, царя храни" и крики "ура!" Пела толпа, в которой, говорили, немало студентов. Одни из них вот поют, другие сидят в тюрьмах, и все идет, и во всем двойственность. Война начата уже, а единодушия нет⁹². Ах, эта злосчастная война! Она уже с самого начала доставила нам много горьких минут; шли слухи о повреждении судов эскадры Небогатова в Балтийском море, еще по пути на войну.

Говорят, как пойдет беда, отворяй ворота, так и у нас теперь: захворала Мила. С нею стало твориться нечто непонятное. Такая миротворица, всепрощающая, кроткая Мила, которую все прислуги и бонны, жившие у нас, хвалили за ее характер, вдруг возненавидела Машу, стала ее подозревать в самых невероятных действиях, плакала, жаловалась на слабость в руках, горя, что у нее нет теперь сильного удара на рояле. "Мои руки, как плетки", — жаловалась она; боялась лихорадки. Она — этот бутон розы, как ее называл И.И. Белагин, доктор в Богословске, как-то захирела, стала какой-то надломленной. Правда, здесь вся почти молодежь какая-то была нецветистая, что бросалось в глаза, а между тем почти все время на воздухе. Даже еще при своей жизни наш бывший доктор Е.И. Кондаков как-то сказал нам: "Приехали-то Вы, петербуржцы, к нам цветущие, а тут точно слиняли". Это верно. Все мы тут переохворали малярией. Ах, Петровское-Разумовское — эта роза в букете нашей жизни — имела, как и все розы, шипы; они незаметно вонзались, как бы доказывая, что как нет худа без добра, так и добра без худа нет. И в каких только формах не проявлялась эта малярия: у Зельмы Ивановны пухли в 7 часов уши, у меня пухли губы, и я должна была уходить, если была не дома, а то на меня нельзя было смотреть без смеха; у некоторых появлялись петехии на ногах. И все это проходило от хины.

Как ни жаль было расстаться с Машей, мы решили ее на время удалить, а Милу Евграф свез к моему брату Коле в Витебск, где теперь он служил инспектором врачебной управы. Милу там оставили погостить. Она совсем там успокоилась, а то я испугалась было, не начинается ли у нее меланхолия. Через некоторое время я поехала за ней в Витебск. Там мы с ней много гуляли, осматривая город. Но даром Мила боялась лихорадки — у нее временами стала сильно повышаться температура и делаться худо, и опять плачет, что все больна, инвалид и для всех обуза. И вот раз температура у нее поднялась выше 39°, а лежит она на кровати в платье, не желая раздеться и лечь в постель. Я пошла, было, позвать жену брата помочь мне ее раздеть, как с ужасом увидала мелькнувшее Милено платье и ноги в объемистой форточке. Я заорала благим матом, брат бросился во двор, откуда и привел Милу вполне невредимую. Она в бреду выпрыгнула на громадный сугроб снега.

Я так была все же перепугана, что решила взять ее в Петербург и там показать ее разным специалистам и переменить лихорадочный климат Петровско-Разумовского. Как раз в это время приехала моя сестра Миля из Петербурга, и мы все трое отправились туда. По приглашению Евгения Степановича поселились у него; на углу Воскресенского проспекта* и Невы у него была квартира в 5 комнат. Он уступил нам гостиную, очень уютную комнату. Я пригласила первым делом Бехтерева. Он, осмотрев ее, заявил, что тут дело терапевта, а не психиатра, что меланхолии у нее никакой нет. Терапевты находили ее организм столетним, а отчего у нее истощение какое-то — так и не поняли. Хина, железо, мышьяк и

* Сейчас проспект Чернышевского. — *Примеч. сост.*

соленые ванны, предписанные ими, не помогают — не ест и все жалуется, исхудала. Мы ее развлекаем, читая ей вслух. Миля приходит после службы каждый вечер. Я просто не знаю, что предпринять, разрываюсь на две части: и в Петровско-Разумовском семья без меня, особенно самый большой мой ребенок — Евграф; ему тяжелее всего выносить наше отсутствие, хотя он иногда и наезжает сюда, и пишет чуть не каждый день.

Про Графчика ничего не известно, сидит. Наконец как-то раз Евгений Степанович, вернувшись с какого-то званого обеда, говорит мне, что он там разговаривал о Миле и узнал, что доктор Ижевский, живущий на Литейном, как раз против Воскресенского, лечит электричеством, возбуждающим сильный аппетит. <...> Наняла я сестру милосердия. То она, то я стали водить Милу на сеансы. Приближалась весна. Мила начала лучше кушать.

Евграф писал, что к нему пришла 1 марта 1904 г. из Академии наук бумага такого содержания: "Физико-математическое отделение, выразив единогласно желание сохранить Вас в своей среде, поручило мне просить Вас взять просьбу об отставке обратно. В ожидании желательного согласия Вашего, прошу принять уверение в моем искреннем уважении и преданности. Н. Дубровин". А его превосходительство Е.С. Федоров думал, что он уже не адъютант Академии наук, а свободный гражданин, а тут опять сызнова начинается та же канитель.

28 марта была этот год Пасха, и Евграф с Женей провели ее у нас в Петербурге. Евграф жаловался на Академию.

"Я не хочу быть только ее пенсионером; я же им не ко двору. Когда я жаждал попасть туда и рассчитывал обогатить науку большими вкладами, она меня игнорировала, а теперь без музея заставит меня, ты пойми, по своей дудке плясать, когда я даже чужую работу не могу читать без того, чтобы сейчас же не приклеивать своего. С их требованием переезда я, значит, уже не свободен. Там надо быть дипломатом, а я ни по натуре, ни по воспитанию никогда им не был, да и не хочу быть им. Там рука мою. Между их партиями идут интриги, мне они претят".

И Евграф стоит перед дилеммой, какой путь избрать. Я не знаю, не могу утверждать, мне даже по временам казалось, что Евграф чересчур мнителен, но и мною чувствовались тут чьи-то козни. Как они могут осуществляться, Бог ведает, но как объяснить, что такой могикан науки, как Менделеев, не попал в Академию наук? Потом, как протолкали в 1893 г.* в академики профессора П.В. Еремеева, этого ремесленника, как его называли тогда, когда Е.С. Федоров был первым кандидатом и за него ходатайствовали заграничные ученые Чермак и Грот, превознося его работы выше всех работающих в этой научной области⁹³. Кончают они свое обращение к Президенту Академии так: "Нижеподписавшиеся не сомневаются в том, что Россия имеет в г. Е. фон Федорове на упомянутом поприще авторитет, за который мы завидуем ей, как Франции за так высокозаслуженного по кристаллографии Малляра. Мы считаем г. ф[он] Федорова за самого способного (пригодного) кандидата для кафедры кристаллографии и минералогии в Государственной Академии и считали бы большим поощрением этой науки в России, если бы ему было предложено беспрепятственное дальнейшее исследование вследствие его достижения".

Но Академия предпочла Еремеева. Почему, на каком основании, чем он заслужил такое к себе внимание от Академии? Не будь Е.С. Федорова, тогда другое дело, на безрыбье и рак рыба. Знакомые тогда говорили: "Евграф Степанович еще молод, успеет еще получить этот орден, а где же старичку ждаться". Вот как отзывались тогда об Академии. Стыдно было слушать. Тут не обошлось без кумовства; как ни думай, ничем не объяснишь. <...>

Приехав после Пасхи в Москву от нас, Евграф нашел много писем, в том

* Год указан ошибочно: П.В. Еремеев избран академиком в 1894 г. — *Примеч. сост.*

числе письмо от 27 марта от Евгения Евстафьевича Семашкевича — директора кадетского корпуса в Симбирске*; он его переслал мне со своим письмом. Приведу оба. Евграф писал:

"Первое, с чего начинаю, приехав домой, это с письма к тебе, моя бесценная и дорогая Людмила; но так как писать мало о чем, то посылаю полученные письма. На имя Жени есть письма и несколько карточек, в том числе от Майер из Петербурга. Ехал я в купе с офицерами, отправляющимися на войну. Последние известия столь всеобщие подавляющие, что даже извозчик обратился ко мне с вопросом, знаю ли я телеграммы. И как раз по приезде домой узнаю, что газеты еще не получены. Встретился с Болдыревым, который тоже только что приехал и даром заезжал ко мне. Он не думает даже возвращаться, так как принадлежит к тому большинству, которое не будет держать экзаменов. Сообщил Жене, что Макс даже не похудел, хотя и сейчас по временам пищит. Думаю сейчас же писать прошение об освобождении Графчика на имя прокурора. Передай тете Миле, что офицеры вздумали меня угощать своими дорожными запасами, а я, не имея при себе ничего другого, кроме ее шоколада, вручил его им на дорогу. Надеюсь, что она не будет в претензии. С нетерпением жду частых писем. Твой Евграф".

Возясь с Милой, мне здесь было не до гостей, и многие не знали, что я еще здесь. Евграф отсюда уехал один, а Женя еще оставалась у нас. Макс — крупный, красивый серый кот — вечная распря между Евграфом и Женей. Евграф протестовал [против] баловства и возмущался, когда она кормила его деликатесами. Когда же Женя уезжала, то он брал на себя обязанность кормить и ухаживать за котом. Макс еще котенком играл с Женей в прятки и вообще был очень хорошо воспитан. Вильямсы даже говорили: "У Федоровых даже кошка получила прекрасное воспитание". <...> Он никогда не шкодил, не лазал на столы, и вдруг Евграф пишет: "Сегодня я страшно разозлился на Макса. Вчера я кормил его до отвала, тем более что во время пребывания Эрн брал по две порции завтрака и обеда и кормил его все эти дни по 4 раза, сколько он мог съесть, и даже давал свое мороженое; от вчерашнего обеда оставил на столе в корзинке на утро пирожок (оказывается, с мясом). Прихожу утром, и уже он наполовину съеден. Жалею, что мы завели такое вредное животное". Все же он с ним дружил. Со дня на день Евграф ждал от нас телеграмму; как-то во время нашего отсутствия слышит он, кто-то трясет ручку от двери в спальную, где он, лежа на постели, читал. Он спросил: "Что, телеграмма?" — и вдруг: "Мяу, мяу!" Это Макс просится к нему. С этих пор Евграф, идя спать, брал его к себе в спальную. Раз, читая, видит, что на рядом стоящей моей постели покрывало образовало какой-то бугор. Что за чудо?! Он покричал: "Макс!" Бугор исчез. На кровать Макс заперещалось ложиться, так он, видимо, хотел схитрить.

К Евграфу в наше отсутствие продолжали наезжать ученики. Эрн жил у него несколько дней. Кедабек продолжал обогащаться рудой на миллионы. Эрн говорил Евграфу: "Сименс никогда не забудет Вашей заслуги". Жди! Приезжал Е.Д. Стратанович. Болдырев в среде бастующих студентов Горного. Там неладно: Коновалов всех восстановил против себя, и даже многие профессора собрались уходить и прискивают себе частные места.

Теперь приведу письмо Евгения Евстафьевича к Евграфу:

"Многоуважаемый Евграф Степанович, я думаю, Вас поразит известие, что недавно, в бытность великого князя Константина Константиновича в Симбирске, речь шла о Вас. Заговорили об Академии наук. В[еликий] кн[язь] сказал, что нигде нет столько интриг, дразг, как в ученом мире. Я в подтверждение этого указал на отношение Академии к Вам. В[еликий] кн[язь] начал Вас хвалить, называл "гениальным ученым", говорил, что он ни за что Вас не выпустит из Академии, несмотря на резкости и оскорбления, какие Вы наносите ей. Я указал, что Вы человек скромный, не заносчивый, непритязательный, но, воодушевленный правдой, готовы и сказать всякому, и горой ее отстаивать. Мы очень долго о Вас говорили с князем. Он очень интересовался Вашей биографией и очень был доволен, узнавши, что Вы — "наш", т.е. питомец военно-учебного заведения. Вел[еликий] кн[язь] пробыл в Симбирске трое суток, пять раз был у нас на квартире, обедал, завтракал и ужинал. Конечно, он человек неглубокий, легко поддается постороннему внушению, но он хорош тем, что держит себя чрезвычайно просто и, насколько ему доступно, желает знать правду..."

* Родственник Федоровых. На его сестре Анне Евстафьевне был женат брат Людмилы Васильевны, Николай Васильевич. — *Примеч. сост.*

Вот выдержка из письма, рисующая отношение Президента Академии наук к Евграфу. И понятно, почему Академия не отпускала теперь Евграфа. Евгений Евстафьевич вскользь упомянул об аресте Графчика князю, так как и сам не знал ничего больше. Великий князь пригласил Евграфа к себе и, уговаривая его остаться в Академии, спросил, между прочим, и про арест сына; посоветовал Евграфу подать прошение Главному прокурору, а сам в скором времени запросил министра Плеве: "Почему арестован сын академика Федорова?" И Графчика вышвырнули из тюрьмы в Витебск.

Приведу выписки из письма ко мне за это время Евграфа:

«Графчик в Витебске, а Николай Васильевич* с женою как раз собираются уезжать из Витебска. Что же из этого выйдет? Женья в слезах. Она пишет тете, чтобы Графчика устроили у Харкеевич, и непременно сама хочет туда ехать, чтобы не оставлять его одного, очевидно, на него не полагаясь... Сегодня с вечерним поездом я еду в Витебск познакомиться с Графчиком и узнать, в чем дело... Привожу буквальный текст письма Плеве к великому князю (письмо это на пергаментной бумаге): "Вашему высочеству угодно было передать мне ходатайство профессора Сельскохозяйственного института Федорова об освобождении сына его, студента Евграфа Федорова, заключенного под стражу в Москве за государственное преступление. По доставленным мне из Москвы сведениям, этот молодой человек причастен к преступной агитации и пропаганде, но ввиду его молодости будет, по всей вероятности, на днях освобожден из тюрьмы. Об изложенном долгом считаю донести Вашему высочеству с возвращением прошения Федорова».

Из этого письма видно, что действительно его ни в чем определенном не обвиняли. Нужно, во всяком случае, торопиться с его устройством. Дальше Евграф пишет:

"Возмутительная жестокость! Сейчас получил письмо от Графчика. Он пишет, что когда он отказался уезжать из Москвы, если не дадут поведаться с нами, то его силою проводили по этапу до Витебска, и на этапе же украли все вещи. Об этом стоит сказать великому князю".

Да, многого не знают те, кого охраняет эта охрана, сеющая повсюду недовольство, которое, уже чувствуется, исподволь накапливается и начинает бродить. Графчик ушел в участок налегке, ничего не взяв с собой, а если его еще обокрали, то он, верно, ехал чуть не голый. Но все же лучше, что он не в тюрьме, и теперь от него самого зависит начать заниматься науками, хотя университет и закрыт теперь для него. Витебск он выбрал потому, что там дядя, и он живет у Коли. Не забрали бы его на войну, хотя он единственный сын. Свойны идут скверные слухи.

Когда пришли слухи, что броненосец "Петропавловск" от мины перевернулся и затонул со всем экипажем, а с ним вместе погиб находившийся, к несчастью, на нем наш знаменитый художник Верещагин, противник войны, что видно из его картин, например, "На Шипке все спокойно" и <...> "Апофеоз войны", <...> от Евграфа пришло письмо:

"Дорогая моя Людмила, опять надеюсь на днях увидеть тебя. Дело в том, что, носясь с мыслью об отпоре от японцев, я, наконец, напал на такое изобретение, которое наверняка уничтожит японский флот. Мысль в высшей степени простая и в своем осуществлении легко и скоро достижимая, без затрат особенно больших средств и не требующая устройств сложных аппаратов. Пока это изобретение неизвестно другим, оно делает даже наш маленький пострадавший флот сильнейшим в мире, так что можно бы сейчас же начинать хоть морскую войну с Англией, с успехом, наверняка обеспеченным. С японским же флотом можно покончить в кратчайшее время и тем быстрее окончить войну, почти без всяких дальнейших потерь с нашей стороны. Понятно, что прежде всего должен сообщить изобретение Скрыдлову. С этой целью я написал письмо Макарову, Аполлону Николаевичу, но, кажется, ошибся в адресе... Написал и брату, а там, чтобы через Макарова или как-нибудь иначе устроить, как можно скорее, аудиенцию у Скрыдлова. Рассчитываю на брата, что он согласится провести изобретение в осуществление, так как придется сделать небольшие инженерные подсчеты, которые мне, не инженеру-практику, сделать было бы трудно. Кроме того, важно соблюсти в высшей мере тайну от всего мира, так как иначе повсюду тотчас же могут воспользоваться этим изобретением против нас самих. Это нам не было бы опасно, но лишило бы нас преимуществ на море. Поэтому мне хотелось бы, чтобы брат не только сам взялся бы за это дело, но и подобрал бы

* Брат Людмилы Васильевны Федоровой. — *Примеч. сост.*

несколько товарищей из лучших и надежных инженеров, чтобы они могли сейчас ввести устройство в дело везде, где нужно. Вчера целый день не мог приняться ни за какие занятия, а все ходил и обдумывал, ходил так много, что устал и заболели ноги. Даже ночью чувствовал боль и только к утру окончательно отдохнул. В ожидании скорого свидания. Твой Евграф”.

Удивительный этот Евграф! Он повсюду что-нибудь да придумает. На его изобретение обратили внимание, и к нему был прислан Александр Михайловичем, [великим] кн[язем], командир императорской яхты Путятин. Он сказал, что Россия не имеет таких мин, но во Франции и Японии есть что-то вроде этого, и это их секрет, а они важны, особенно для Тихого океана с его громадными приливами и отливами. Евграф сдал свою выдумку, а о судьбе ее выразился так: ”Эх, жаль! Судьбой России управляет аристократия, не видящая ничего дальше своего носа, и, пожалуй, из моего проекта ничего и не выйдет и, чего доброго, он убежит скорее за границу, не успев осуществиться у нас”⁹⁴.

Переехав на дачу в мае, я продолжала лечить Милу все лето электричеством, которое на нее оказывало громадное влияние. Она пополнила, перестала совсем хныкать, оживилась, появилась жизнерадостность и стала играть на пианино. Раньше она даже не отвечала на вопросы в сидячем положении, а когда лежит, то тогда только отвечает — такое у нее было малокровие мозга, или говорила не те слова, какие хотела, а выходила чушь и понятия спутывались. Евграф, такой семьянин, чувствующий себя в своей тарелке только среди своей семьи, должен был отрываться от нее; точно судьба вздумала шутить над ним. Нам пришлось разбросаться в трех местах: я с Милой в Лесном, Графчик в Витебске, Евграф по временам совершенно один дома в Разумовском, так как Женя металась между нами, и с ним оставался только пишущий от тоски по Жене Макс. В мае Евграфа отвлекали экзамены и занятия частные с учениками. У него их все прибавлялось и прибавлялось, между ними появились Константин Алексеевич Фортунатов и химик Чичибабин.

Покончив с занятиями, Евграф приехал в июне к нам в Лесной. В половине июня, как раз в тот день, когда Евграф вернулся в Москву, был там циклон, и мы беспокоились, но особенно страшного, по крайней мере, в П[етровско-] Разумовском, не произошло. Евграф описывает его, как грозу:

”Дорогая моя Людмила, только что посвятил часа два созерцанию грандиозного, но прелестного явления — совершенно необыкновенной грозы, подобной которой мне не приходилось видеть. Это произошло как раз в день моего возвращения, перед вечером, особенно в 5—7 часов. Утром хотя и было сыро, но все-таки я весьма благополучно дошел до дому, почти насухо; луж, собственно, не было, а только сырая земля. День не представлял ничего особенного и не позволял предвидеть столь грандиозного окончания. По временам светило солнце, но в общем было облачно. К вечеру стало сильно заволакивать и стало настолько темно, что нельзя было заниматься, и совершенно незаметно загремел гром, при полной сухости и сравнительной тишине. Меня поразило то обстоятельство, что слабый гром был слышен непрерывно и до иллюзии подражал отдаленной езде по мостовой. Я подошел к окну и стал наблюдать. Хотя еще было довольно светло, но небо все время вздрагивало от молний и зарниц. Особенно замысловатыми зигзагами взад и вперед проносились молнии на чистых пространствах почти голубого неба. Что за роскошь фиолетовых зигзагов, едва заметных при дневном освещении; но ясно видно, что молния повторяется в течение секунды или больше несколько раз по одному и тому же зигзагу; часто видны сложные разветвления, и так как почти не проходило секунды, чтобы в том или другом месте не вздрагивала молния, то естественно, что гром был непрерывен и даже почти ровен. Затем закапал дождь, но молнии без перерыва продолжались не менее двух или трех часов. Под конец разразилось два и три громовых удара, подобных пушечным выстрелам, но все-таки не таких ужасных, как случилось слышать. Потом дождь несколько усилился, и изредка стал перепадать град; меня поразило, что некоторые градинки снежно-белого цвета были величиною почти в куриное яйцо. Потом град как будто стал ослабевать, и вдруг посыпалась и началась настоящая бомбардировка. Град, необыкновенно крупный, падал с большим шумом, разбиваясь и раздавливаясь на части. Он различной величины, но были и такие градинки, что несомненно крупнее куриного, а пожалуй, что и в гусиное яйцо. Сейчас после того прошло больше часу, а на траве все еще видно много таких крупных градинок. Понятно, что на нашем опытном стеклянном флигеле перед балконом много стекол разбилось. Я насчитал на одной стороне больше девяти разбитых с большими и малыми дырами. Я не выдержал и отправился посмотреть крупные градинки. Они весьма напоминают по форме морских ежей;

такие же круглые, с круглым углублением наверху и плоским обледелым основанием, а вместо игл ежа торчат крупные кристаллы льда, к сожалению, тающего, и потому кристаллы изуродованной формы. Но как раз в то время, как я под зонтиком рассматривал выпавшие раньше градинки, так как больше граду уже не выпадало, разразилось опять необыкновенное: поднялся такой шторм, что нельзя было бы выдержать — удержаться на ногах, и я поспешил под навес. Даже стоя у края навеса, я поддерживался, на всякий случай, за стенки. Шторм сопровождался столь густым ливнем, что все скрылось в тумане: ближайшие деревья превратились в облачные пятна, а страшный ветер гнал водную пыль с необыкновенным шумом и какими-то своеобразными полосами. Затем все стало ослабевать; наша полянка перед балконом превратилась в озеро, а по дорогам парка с шумом, грохотом и необыкновенными волнами понеслись настоящие горные ручьи.

Теперь снова тишина, серое небо с едва различимыми облачными полосками, и только остатки крупного града напоминают о необыкновенном явлении. Бывшая духота сменилась свежою прохладой... Твой Евграф".

В начале июля вся наша семья соединилась в Лесном, куда часто наезжал и Евгений Степанович, а сестра Миля проводила все воскресные дни, с субботы приезжая к нам, так как Графчику разрешили на две недели выехать в Лесной. Мы тогда даже все снялись [сфотографировались] группой на крыльце дачи.

15 июля был убит Сазоновым министр внутренних дел Плеве⁹⁵. Что с того? Другой будет.

Через две недели Графчик с Женей уехали в Витебск, куда вскоре поспешил и Евграф, так как случилось большое несчастье — умер мой дорогой брат Коля. Сам такой прекрасный доктор и диагност, работал, не щадя сердца, и умер от паралича его. <...> Женя и Евграф после ликвидации всего имущества, проводил Анну Евстафьевну в Симбирск к ее брату, Евгению Евстафиевичу, тоже уехали из Витебска, а Графчик остался один, служа в редакции газеты; занялся привезенными ему книгами по математике. <...>

Однажды, сидя одна на балконе, я увидела входящего в нашу калитку с трамвая высокого интеллигентного вида господина, но в нетрезвом состоянии. Да ведь это же Карножицкий, мелькнуло у меня в голове. Я схватила бинокль. Он! Тогда я быстро бросилась на кухню к Евгении Бонифатьевне и просила скорее всех внизу предупредить, чтоб сказали ему, что я уже уехала в Москву. Так и есть, он спрашивает меня. Потом мы проследили, как он вышел, пошатываясь, прошел сад, вошел в трамвай и уехал. Тогда я только успокоилась. Какой несчастный! Мы раньше еще слышали, что он начал попивать. Такой способный и вот чем кончает. Неудовлетворенное самолюбие? Неустойчивость натуры? Чем не объясняй — от этого не легче. От кого он мог узнать, что я здесь? Не знаю. Я его как-то боюсь с тех пор, когда он рыдал перед нашим отъездом в Богословский округ, повторяя: "Что я без Вас буду делать?!" Точно ребенок какой.

Миля поправилась и запросилась домой. <...> Раньше была апатична, а тут и энергия вернулась. Вот что значит питание организма. Он обновился без всяких лекарств. Питание у нас было хорошее, но, значит, пища у нее не всасывалась. Верно, после тифа у нее атрофировалось много желез, а тут еще малярия ее истощила. Вернувшись в Петровско-Разумовское, она опять стала брать уроки у Шора и сама давать уроки, танцевала. И помину не было об овладевавшей ею, так еще недавно, прострации. Я была счастлива не только за Милу и за себя теперь, но и за Евграфа. Чтоб выразить всю его тоску по нас, я приведу письмо ко мне из Москвы во время болезни Милы:

"Моя дорогая Людмила. Твой упрек относительно писем неоснователен. Мы с Женей скорее бомбардируем письмами, чем ленимся писать. Вот и сейчас, писать делового ничего нет, а хотелось бы в длинном поэтическом письме излить свои чувства. Но когда подумаешь, что если только удастся перелить бушевающие чувства, то это значит передать жгучую тоску, душевную боль, то решаешь, что уж лучше не мучить, так как и без нашей помощи ты достаточно страдаешь. Что я испытывал, когда пробовал повторять те симфонии Чайковского, которые мы столь недавно играли с Милой! Миля вставала в моем воображении в виде бестелесного существа на недостижимой высоте. Наша прежняя игра восстает во мне в виде какого-то неописуемого счастья, каким я пользовался и не умел

оценить. Я всегда любил, особенно любил Милу, и страдал от ее слабостей, грубо воздействовал, полагая, что достигну цели. Но теперь, хоть временно, потеряв ее, я навсегда ощущаю свое бессилие перед нею и чувствую, как безмерна была бы моя радость, если бы я снова увидал ее хоть такую, какой она была. Пиши, пиши мне, есть ли надежда на осуществление этой мечты? Твой Евграф”.

Какое счастье! Они теперь опять часто играют и доставляют всем окружающим большое удовольствие. Мила — талант. Но не ко времени. Эта ужасная война подготавливает, по-видимому, революцию, она носится в воздухе.

Наша Женя совершенно другого пошиба. Ее тоже хорошо характеризует письмо Евграфа ко мне, когда ему пришлось остаться с нею.

”Дорогая моя Людмила! Ты, конечно, уже получила посланные мною 100 руб. Конечно, остался еще резерв, особенно благодаря той исключительной экономии, с которою мы живем с Женей. Женя меня положительно трогает. Уже теперь я, кажется, могу быть спокойным за ее будущее. Она проявила не только достаточно самостоятельности и хорошего направления в жизни, но даже достаточную расчетливость, а главное — умение смотреть жизни прямо в лицо и понимать ее требования. Нравится ей или не нравится, но раз она видит, что делать то или другое нужно, она исполняет это без всяких колебаний. Несмотря на то, что мы получаем пищу из общежития, она находит, что было бы еще экономнее самой готовить обед и почти нужно оказывать давление, чтобы она не увлеклась этой утрированной экономией. Во всяком случае, это показывает, что труда она не боится и даже не особенно высоко его ценит и что у нее за трудом дело не стоит. Она находит достаточное время и для остальных занятий, а нередко мы играем с нею в четыре руки. Я чувствую себя даже виноватым перед нею, не умея облегчить ее труд. Вначале она вздумала даже стлать мою постель. Но этого уже я не допустил и делаю сам”.

Женя, правда, за это тяжелое для нас время выказала себя героиней. Она всем нам старалась облегчить тяготы этой жизни, забывая свои личные стремления даже, уже не говорю о нарядах. Сама себе стала учиться шить кофточки и в то же время ходила шить на раненых. Знакомые, когда я вернулась, выражали восхищение ее энергичности.

Мы зажили опять в мире природы, науки и искусства своей семьи, только График стал отрезанным ломтем. Это, пожалуй, ему на пользу, пускай знакомится с жизнью. Евграф теперь более спокойно мог писать свои научные работы. Перед сном на ночь в постели до часу мы читали современные журналы и иностранную беллетристику, чтобы не позабыть языков. Евграфа по временам только нервировала Академия наук. На ее бумагу [с просьбой] взять отставку назад, он ответил ей так:

”Происходит какое-то сплетение недоразумений. Подавая в отставку, я исполнил только категорически выраженное желание самой Академии. Но об этом жалеть нечего. Я вдвойне благодарен Академии не только за честь, какую она оказывает мне ныне, желая оставить меня в своей среде, но и за самое предложение подать в отставку; я вполне сознаю, что с моею слабеющей из года в год энергиею я уже не могу удовлетворить тому ответственному назначению, какое соединяется в моем представлении со званием действительного члена Академии великого, но отсталого государства, даже если бы внешние обстоятельства были и более благоприятны и давали возможность в стенах Академии посвятить себя науке и ее распространению”.

”И действительно, я с ужасом думаю, как была бы искажена моя жизнь, если б я попал в общество этих иезуитов, интриганов”, — добавлял Евграф.



Евгений Степанович Федоров, старший брат Е.С. Федорова

После этого все пока остановилось на точке замерзания, и с обещанием Минералогического кабинета — ни тпру, ни ну. При выборе его в Академию присылались поздравительные письма со всех сторон. Восторженность этих писем Евграфа дивила, хотя и высказывалось и проскальзывало удивление к адъюнктуре.

В октябре началась бомбардировка Евграфа письмами математика Маркова. Этих писем много, с разными препирательствами. Приведу из них одно, на которое ответил и Евграф.

"Милостивый государь, Евграф Степанович, ваша записка была мною вчера доложена Отделению и будет приложена к протоколу. Была также прочитана и жалоба, поданная Вами Президенту. Вместе с тем я узнал об одном обстоятельстве, не упомянутом Вами ни в одном из писем ко мне, ни в Вашей записке. Как в письмах ко мне, так и в записке, Вы заявляли, что Вы просите от Академии только Минералогический институт. Между тем, в последнем письме Вашем к [непрерывному] секретарю Вы просите исходатайствовать в Мин[истерстве] пут[ей] сообщения о ежегодной выдаче проездного билета, годного для всех поездов, для исполнения обязанностей по Академии. Эта незаконная просьба не могла быть исполнена, и потому Отделение, желая, с одной стороны, дать Вам возможность исполнять обязанности по Академии, а с другой, узаконить Ваше пребывание в Москве, остановилось на известной Вам мере, которую признаете незаконной только Вы, особенно при условии, что Вы будете принимать участие в заседаниях. Признаюсь, если бы мне была известна Ваша жалоба на Отделение, поданная Президенту, а также то обстоятельство, что постановление о выдаче Вам содержания вызвано Вашею собственною просьбою, и притом незаконною, то я отказался бы прочесть Вашу записку. В заключение считаю своим долгом уведомить Вас, что пока решено только приостановить дело о выдаче Вам содержания.

Прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности. А. Марков. 21 октября 1904 г. Относительно устройства Минералогического института полагаю, что это дело будет оставаться без движения до тех пор, пока Вы не примете деятельного участия в заседаниях Академии. Ваш А. Марков".

Ответ Евграфа Маркову 22 октября 1904 г.:

"М[илостивый] г[осударь] А[ндрей] А[ндреевич]. Прошло ровно 3 года со времени подачи мною докладной записки об устройстве Минералогического института при Академии и только теперь в первый раз в Вашем последнем письме, устанавливается связь между этим вопросом и посещением мною заседаний Академии. Как понимать это обстоятельство? Личное ли это Ваше мнение или, может быть, мнение большинства? Почему же в таком случае я не получил официального об этом извещения? Почему в таком случае единственным ответом на мою записку было предъявление мне требования подать в отставку? Если это только личное Ваше мнение, то, конечно, продолжать обсуждение вопроса излишне; если же таково мнение Академии, то как объяснить отсутствие извещения об этом?

Если Вам известно содержание того, что Вы изволили назвать моею жалобой (?) великому князю, то Вы видели, что исключительно в ответ на настоятельное его желание, я решил заявить о недействительности поданной отставки (это в протоколах передано в извращенном виде) и сейчас же принял свои меры, чтобы собрать средства на устройство института, и тогда, конечно, мне пришлось бы по этому делу ездить в Петербург. Заявление об исходатайствовании мне проездного билета было прямым следствием настоятельного желания великого князя для исполнения дела, которое я считаю полезным и важным. Но это никоим образом не мое личное дело, а дело, связанное с Академией, почему, заявляя об этом, я следовал общему закону (не умею называть параграфы), по которому проезжающим по делам казенных учреждений выдаются прогоны или проездные билеты. Этим законом я пользовался, когда читал лекции в Горном институте, а теперь как раз Вы находите "незаконным". Устройство Минералогического института при Академии, может быть, дело менее важное, чем чтение лекций в Горном институте? Да, наконец, разве о важности идет дело? Но есть и существенная разница, которая усугубляет законность именно такого оборота: 1) прогоны всегда выдаются в изыскание (по расчету на лошадей), а 2) целым рядом статей закон стремится избавить Академию от побочных расходов (уверен, что Вы их знаете), как-то всякого рода отправка не только писем, бумаг, книг, но и тяжестей (не свыше известной меры), если они адресуются в Академию для ее ученых надобностей.

Если закон не мог предусмотреть такой редкой случайности, что по таким же делам придется проезжать самим членам Академии, то все эти статьи легко указывают на дух закона; его цель — избавить Академию от таких случайных, почти непредвидимых расходов. Таких привилегий Горный институт не имеет, и все-таки Министерство путей сообщения, по первому заявлению его директора, выдало ему годовой билет на мое имя. Правильное толкование духа закона очевидно даже и там, так как такой исключительный случай, как необходимость приезда из Москвы для лекций и занятий слишком редкий случай, чтобы стоило его предусматривать, а между тем в смете Горного института такой статьи не имеется и, если бы Министерство, неправильно толкуя закон, отказало, то мне пришлось бы за один проезд платить больше, чем я получал за лекции, и притом, сверх лекций и

занятий, проводить еженедельно две ночи в вагоне и за все это самоотвержение приплачивать из своих средств. Но, во всяком случае, какое отношение имеет билет на проезд по исполнению обязанностей к тем 1500 руб., которые составляют личное вознаграждение академиков и которые мне предлагались вопреки точным словам закона?

Повторяю, если Ваше заявление в последнем письме есть только Ваше личное мнение, а Академия вовсе не желает идти навстречу моим вопиющим ученым нуждам, то, конечно, мои отношения с Академией окончены. Если же так думает и Академия, то возобновляю свое ходатайство о проездном билете и назначении заседания, на котором будет обсуждаться вопрос об устройстве Минералогического института, на которое непременно постараюсь приехать.

Уважающий и преданный Е. Федоров".

После этого Марков еще в нескольких письмах попрепирался, тем пока дело и кончилось. Творится что-то несурзное. Вот уже и конец 1904 г., а Евграф все беспрепятственно профессорствует, между тем как Академией наук его профессура разрешена только до окончания 1903 г. Я не понимаю, почему Евграфа прямо не выбрали в академики, тогда мы бы переехали в Петербург, и Евграф давно бы уж работал в Академии, и не было бы той канители, как теперь. Неужели Еремеев был достойнее его? Евграф и сам понять не может, чего хочет от него Академия. Сейчас в ней он только числится, но какая от этого польза для науки? А Президент, в[еликий] кн[язь] Константин Константинович, кажется, и этим удовлетворился, призывая Евграфа к себе и упрасывая его не покидать Академию. <...> Он как-то понимал, что Евграф не малая величина в науке.

Я в этих переговорах Евграфа с Академией совершенно запуталась: это какой-то клубок из недоразумений, который чем больше распутывается, тем больше запутывается. Кажется, ясно: человек хочет одно — двигать науку вперед и просит дать ему возможность осуществить это, даже на его личное жалованье адъюнкта, а почему-то это не полагается, точно присутствие в конференциях важнее; а между тем Евграф вычитал из присылаемых ему протоколов конференций удивившее его предложение А.П. Карпинского о подаче прошения на высочайшее имя об испрошении добавочного содержания до "звания академика" адъюнкту Е.С. Федорову с обязательством эту добавку тратить только на нужды науки. Его даже не запросили о согласии и решили без него, не предупредив его. Он даже сильно протестовал, когда в бытность его в Берлине академик Клейн предложил ему тоже хлопотать у царя за зачисление Евграфа в нашу Академию.

Он не желал никакой высочайшей милости. Он кипятился: "Даровой билет по железной дороге у них беззаконие, а выклянчивать у царя незаконное, считают законным. Ну, нет. Я на это не пойду". И окончательно подал прошение Президенту об отставке:

"Ваше Императорское высочество! Когда накануне моего выбора в члены Корол[евской] Баварской Академии наук, поставленный при своем непреодолимом научном влечении в безвыходное положение, но полный сил, имея весьма неправильное представление об императорской СПб Академии наук, [я] обратился к ней за помощью, она меня грубо оттолкнула. Она пожелала привлечь в качестве "адъюнкта", т.е. начинающего ученого, когда я стал инвалидом. Было так устроено, что, приняв выбор, я остался бы без средств для научных занятий и даже без средств к жизни. Конечно, зная теперь, что такое Академия, я должен был отказаться от этого выбора; но, пока еще были остатки сил, мой отказ мог со стороны потомков вызвать справедливый упрек, что я не сделал попытки вынудить Академию оказать помощь делу русского просвещения устройством Минералогического института.

Ваше Императорское высочество изволили видеть, что моя попытка вызвала со стороны Академии обратную попытку запачкать мое имя, побудив принять участие в противозаконном дележе казенного пирога. Такова пропасть в воззрениях, целях, задачах скромных людей чистой науки, подобных мне, и гг. академиков, важных представителей нашей бюрократии, той самой бюрократии, которая как своих выдающихся представителей выдвигала бионов, арачневых, Дм. Толстого, Плева.

Не могу допустить для себя чести принадлежать к этом словословию, почему и решаюсь всепокорнейше просить Ваше императорское высочество дать моему прошению об увольнении из Академии, представленному мною в мае 1903 г., законный ход и считать меня окончательно выбывшим из Академии не только без оставления в какой-либо должности при ней, но даже без всякого звания, какое могло бы напоминать мне об Академии и тем отравлять духовный покой, столь необходимый в последние годы научной деятельности.

Если бы Академия была действительно рассадником просвещения, теперь с моей стороны

было бы безнравственно занимать в ней место, так как при ослаблении сил я уже не мог бы быть на этом месте полезным деятелем, и только заграждал бы дорогу более к тому пригодным. В[ашему] Им[ператорскому] в[ысочеству] всепокорнейший слуга Е. Федоров. 7 января 1905 г. П[етровско]-Разумовское”.

По поводу формы прошения у меня с Евграфом были жаркие споры. Мне досадно было, что он обвиняет огулом всю Академию, когда всем делом ворочают несколько интриганов. ”Я же говорю о большинстве, оно дает тон всему; несомненно, есть тут громадные силы науки и не подхалимы, но это меньшинство такое же наивное, каким и я был прежде, оно не разбирается в иезуитских каверзах, они их не касаются, а мне надо бы было опасаться; ведь вот чуть было не попал впросак с царской милостью”.

Я ему припомнила одно письмо, где аналогично он был сам свален в одну кучу с министрами. Справедливо? Это было в 1903 г. во время войны Англии с бурами⁹⁶, когда Евграф отказался от диплома, присланного ему Лондонским Королевским обществом. Буры выставляли перед фронтом женщин и детей, а англичане, не щадя, их расстреливали. Евграфа это возмущало. По всей России распространилась в газетах заметка: Москва, корреспонденция „Биржевых ведомостей”: «Е.С. Федоров, профессор Московского сельскохозяйственного института отказался от диплома Лондонского Королевского общества, заявляя в письме, что ”не желает принимать любезностей от нации, так бесчеловечно задавившей самостоятельность бурского народа». После этого Евграфа просто засыпали восторженными коллективными письмами со всей России, и только одно письмо его выругало. Вот оно: «Милостивый государь господин профессор. Из вышеуказанного отрезка газеты я узнал о Вашем вполне неосновательном отказе. Вы говорите, что англичане задушили самостоятельность буров, но какие будут результаты этого душения: те же самые, что и в других колониях. Все колонии англичан процветают и т.д., да и буры не особенно много прав имеют на Южную Африку, они задушили самостоятельность туземцев. Мы, русские, задавили, давим и будем давить поляков, финляндцев и много других народов. А у нас нет ни благоустройства, ни чего-нибудь подобного даже колониям англичан. Мы захватываем все новые и новые земли для того, чтобы ограбить. У нас голод, нужда, народная темнота, бессмысленная жестокость законов для поляков, литовцев и многое другое, а это все оттого, что Вы, профессора, министры и другие лица, заботитесь только о наживе. Согласны ли Вы с моим мнением? Будьте любезны опубликовать в ”Биржевых ведомостях”, которые с удовольствием исполнят Вашу просьбу». Подписался ”Зрячий” или ”Ваш коллега” (фамилию зачеркнул) ”с почтением” — тоже.

Евграф по существу с письмом был согласен, конечно, но не мог же он тогда согласиться, что все профессора только и думают о наживе, а теперь сам обвинял всю Академию. ”Где же мне разбираться, кто лично загородил мне дорогу, не в Академию, а к науке; ты пойми: они мне не дали осуществить все мною задуманное, а этого добра у меня было так много, что, проживи я еще столько же, то и то не успел бы в мир сплавить; без опытов нельзя; из-за них, начиная с химика Лисенки, досточтимого моего профессора, теперь вот это когда-нибудь предвосхитит заграница. Они не понимают, что избирают родину”.

Мне, профану, чудилось в нем нечто великое. Ведь он не был узким специалистом и поневоле становился им, так как крылья его связывались все время. Приспосабливаться и принаравливаться не в его было духе. Он чувствовал себя совершенно одиноким, непонятым. Он шел своей дорогой, какую ему указывала совесть.

Как-никак все же мы почувствовали облегчение, избавясь от вечных препирательств с Академией. ”Точно у меня гора скатилась с плеч”, — говорил Евграф. Он как бы оживился, хотя немало седины у него прибавилось в его кудрях.

В этот 1905 г. повсюду, куда ни пойдешь, разговоры о войне. Странная эта война, она не воодушевляет. Японцы — макаки, а русские — косаки, и все желают поражения последним, точно это не их братья русские или они сами другой какой-то национальности. Думают не о нижних чинах, а кипит злоба к правительству и мстительность к нему. Газеты подбадривают, а слухи удручающие: наша армия в холоде, без сапог и полушубков, чуть не раздетая, вечно отстывает; Алексеев с Куропаткиным грызутся, идет ужасная безалаберщина. Пленные японцы знают чуть ли не лучше наших расположение русских войсковых корпусов. Офицеры чуть ли не все перебиты. Дисциплина падает. Протекция — всё. Евграфа это все волнует. Он не был "пораженцем". Он, как и всегда, был индивидуален, и по поводу пораженчества шли между многими споры.

В конце января пришел к нам расстроенный А.Ф. Фортунатов и сообщил, что университет закрыт, и его старшие два сына, верно, будут взяты на войну в солдаты, многих студентов уже забирают. Недавно приезжал Пругавин и в столовой студентов сообщал о беспорядках 9 и 10 января в Петербурге, с расстрелом рабочих у Зимнего дворца, куда повел их священник Гапон. Сместив министр просвещения Сахаров и назначен Глазов. Гапон — это какая-то загадочная личность, лишен священнического сана⁹⁷. Речи священника Рахманова и тоже архиерея Антония в антиправительственном духе приветствовались. У земцев на съезде в спорах проскальзывали тоже антиправительственные фразы, бурные речи чередуются одна за другой; взволновались земцы до того, что раскололись на два лагеря.

Газеты даже заговорили другим языком; что прежде можно было только читать между строк, теперь прямо прет в глаза. Пишут про внутренние волнения отовсюду. Точно с цепи сорвались все. У нас тоже студенты собираются забастовать до осени, так как все высшие учебные заведения бастуют. Это нервнует и профессоров, они ходят друг с другом советоваться. Евграф удручен. Пугают даже, что закроют все высшие учебные заведения на несколько лет, и многосемейные профессора особенно озабочены. Студенты, собираясь на сходки, приглашают на них и профессоров, особенно часто Евграфа и А.Ф. Фортунатова, а мы волнуемся, как бы Евграф в горячности не наговорил чего лишнего, да и для здоровья так волноваться вредно.

4 февраля Каляев убил великого князя Сергея Александровича в Кремле⁹⁸. Опять, видно, начинается террор. Евграф встретился с Константином Алексеевичем Фортунатовым, и он так весело сказал ему об этом, что Евграф удивился и спросил: "Что же тут веселого? Ведь поднявший меч тоже от меча погибнет". — "Я не радуюсь, я против всяких убийств". Студенты же наши уже поговаривают о вооружении. Нам показывали две карточки Каляева — одна до убийства, другая вскоре после него. Какая же громадная разница: он точно за это время проболел несколько лет какой-то неизлечимой ужасной болезнью, до того он быстро постарел и выражение лица его стало неузнаваемым. Видимо, не легко убивать человека, хоть он и ненавистный паразит.

Как в романе Толстого "Война и мир", жизнь наша идет своим чередом изю дня в день среди воинственного всеобщего настроения.

Все наше общество пользуется прекрасной погодой, встречаясь каждодневно на катке, ведет беседы на злобу дня. Молодежь носится на коньках и в одиночку, и попарно, и цепью, оживленно и весело; на вечеринках танцует и в разные игры играет. У каждого продолжается свой роман, поглощая их мысли. Лунными ночами мирно гуляют многие, наслаждаясь природой, а в душе все же гложет какой-то червяк. Нет-нет и прорывается беспокойство в речах. Точно живешь на вулкане и по временам ждешь извержения. Вот-вот! А что? Трудно объяснимо это чувство неопределенного ожидания. Вести все идут не радостные: в Курске забастовка; демонстрантов, даже не щадя детей, избили казаки и краснорядцы-лавочники. В Баку резня татар с армянами. До 1000 человек уже убитых и т.п.⁹⁹

Продолжается наше шитье на раненых воинов у Шимковых. Мария Антоновна, жена директора, руководит. Все дамы наши шьют рубашки, Женя им помогает. А Милу директорша, сама музыкантша, засаживает за рояль: "Для Милочки будет другая работа: она усладит наш труд музыкой". И мы всегда работали при музыке Милы. На меня была возложена прометка петель. Лучше меня никто не умел их метать. Шьешь, бывало, и чего-чего не передумаешь. По изречению Монтеня: "В глубине души все дозволено". Перевоспитай человека — и тогда произойдет бескровная революция, социализм. Почему-то припоминался монолог из "Доктора Штокмана"¹⁰⁰. Штокман ратовал: "Право только меньшинство, потому что только меньшинство умно и благородно. Вы лжете, что грубая масса, чернь имеет такое же право осуждать и санкционировать, советовать и управлять, как немногие представители интеллигентного меньшинства". В конце он провозглашает: "Самый сильный человек в мире тот, кто остается одиноким". По поводу этого возгласа было много споров. Но толпа сама по себе — дура, и кто против нее несет свои высокие идеи, а не виляет перед нею хвостом, тот действительно сильный человек, и им недовольны.

Чудесный этот необыкновенный Художественный театр! Это не театр, а сама жизнь. Бывало, не просто смотришь, как во всяком театре, а переживаешь чужую жизнь, и, когда наступает антракт, то точно проснешься к своей жизни, к своим ощущениям — так он захватывает. Много мы там переглядели. Евграф с удовольствием там бывал. Станиславский, Книппер, Андреева, Савицкая, да всех не перечесать, они не играли, а перевоплощались в изображаемые ими типы.

19 февраля узнали, что японцы заняли Мукден, куда еще раньше приглашали наших на блины. Обидно. Доколь же русские будут получать оплеухи?

Вот уже и начало марта. Погода все время чудная, а на душе тревога, да еще у меня и у Милы была свинка, но в слабой степени. Евграф пасмурный. Он тревожится за молодежь. <...>

Приехал на Пироговский съезд докторов зять Евграфа — Николай Афанасьевич. Университетская зала оказалась мала, и заседание перенесли в консерваторский зал; но 23 марта были разбросаны противоправительственные прокламации, и съезд был закрыт¹⁰¹. <...>

17 апреля. Пасха — праздник прощения, мира и любви. Эта волшебная мечта человечества, душу возвышающая, очаровывающая иллюзия; это воскресенье погибшей было надежды на справедливую, братскую, добродетельную жизнь, так не вяжется с окружающим озлоблением, резней... Я с А.А. Фортунатовой сидела на балконе. Из церкви доносился звон и пение крестного хода вокруг церкви. Евграф с Женей были у заутрени. <...> Мы их встретили накрытым столом.

Всю эту неделю гостила у нас Миля, и Ольга Петровна Щербакова, учившаяся в Москве массажу, часто наезжала. Были частые гости у нас, и мы — в гостях. Щербаковы — чудачи, повздорили и разъехались. Она и приехала сюда учиться. Оба славные, но разные люди. Она — практичная, прекрасная хозяйка, из ничего сумеет хорошо покормить. Он без нее пропадет. Он — пострадавший горняк*, переезжающий с места на место, и только в последнее время осел в Саратове; красненький, больше болтун, вечно возится с запрещенными книгами; красивый и симпатичный Виктор Степанович, верящий, что после революции так и потечет мед и млеко. А она, как начнет рассказывать про свою жизнь с этим седым уже мечтателем, то дивишься ее терпению. Обыски у них часты, но они умели припрятывать. Раз она встретила жандармов в одной юбке и шали. Ничего не нашли, а все запрещенные книги были у нее на груди под рубашкой, из худой она стала полнорудая и боялась, как бы этого не заметили. Он ее таскал к

* Бывший студент Петербургского Горного института, отчисленный за революционную деятельность. — *Примеч. сост.*

несимпатичным ей людям, заботясь о ее развитии. Она рассказывала: приходят они на собрание — большой деревянный стол, пьют чай, от дыма папирос стоит мгла, жарится, а окон из-за противоправительственных разговоров отворять нельзя. Папиросы тушат прямо в лужах чая на столе. Задев ногою что-то под столом, она заглянула под стол, а там целый склад окурков, скорлуп от яиц, кожиры от колбасы и т.д. Она, такая аккуратная, была поражена. Много она рассказывала о саратовской политической богеме, с большим юмором. Было смешно и грустно. <...>

18 мая ужасные вести: во Владивосток вернулись, и то поврежденными, "Алмаз", миноносец "Грозный", а всю остальную Тихоокеанскую эскадру Россия потеряла. Рождественский и Небогатов взяты в плен, а Фелькерзам убит*. Начали поговаривать о мире, но японцы будто желают, чтобы были уничтожены на Тихом океане все наши крепости, отдан им весь Сахалин и 2—3 миллиарда контрибуции.

Идут по поводу этого нескончаемые жаркие споры в обществе, и все за прекращение войны, тем более что внутри страны неспокойно: начались погромы евреев, армян с татарами; появилось хулиганье, от которого проходу нет, а полиция избивает учащихся. Дочери наши с опаской ездят на уроки. Заговорили о Земском соборе¹⁰², даже стали готовить списки народных представителей. Все вдруг затормошились, заговорили, что уже больше нельзя допускать такое разгильдяйство, какое показала эта война, такую самоуверенность с никудышними средствами, нужно подтянуться; в пример ставились уже не "макаки", а японцы. Они гораздо оказались культурнее нас. Пошла быстрая смена министров, ее называли "чехарда". Пошли запрещения то той, то другой газеты, а то выходили с большими плешинами в тексте; читают их нарасхват. По городам размещаются войска, так как повсюду забастовки. Берет тревога. Евграф жалуется: его вся эта кутерьма так волнует, что выбила из кол ее занятий. Да и всех повышибало из колеи привычных занятий.

Пошли, например, такие разговоры: как лучше воспитывать детей — альтруистами или эгоистами? Последние легко прокладывают, видите ли, дорогу в жизни, не смущаясь страданиями других, и потому счастливы, хотя первые симпатичнее. Мать многочисленного семейства — жена священника — заблудилась в этих двух соснах, не зная, к которой пристать. Что это? Устои уже зашатались. Споры переходили на Ницше и обыкновенно тонули в бурном океане возгласов и криков спорщиков. И раньше был, жил и умер Ницше, а теперь вдруг вспомнили о нем, и нравственные вечные понятия закритиковали. Правду говорят: где соберутся три немца, там они поют квартет, а где соберутся четверо русских, там они основывают пять политических партий. Какое возможно создать человеческое общество без общего нравственного кодекса? Забывают, что Ницше хлопотал не об обыкновенном субъекте, а о выдающихся из среды, о гениальных людях. А то скажете, эгоисту все дозволено. Будь бы все альтруисты, тогда и революций бы не было. С Любавиными у нас даже размолвка произошла. Они очень уж нетерпимы. Он, прежний революционер, выписывает „Московские ведомости“¹⁰³.

Все же наша жизнь идет обыденным порядком. Женя в беседке занимается со своими ученицами: Кисой, Соней, Гулей. Евграф смеется, что это подбор зверенышей. Мила учит музыке и сама играет. Обе учатся петь. Женя учится еще в Строгановском училище рисованию. По вечерам Евграф с Милой играют или в четыре руки, или Евграф на фисгармонии, Мила на рояле, а Женя поет. Я слушаю их на балконе; под балконом же много набирается публики. Иногда даже

* Контр-адмирал Фелькерзам умер от болезни за три дня до Цусимского сражения. *Примеч. сост.*

хлопают. крича "браво", "бис". Хлопают иной раз и из парка при игре на рояле одной Милы. Каждодневно катаемся на лодке. Евграф всегда гребет, ради гимнастики. Сирень в цвету, благорастворение воздушных.

Холера все не прекращается, и Женя даже раз, возвращаясь с урока пения у Бутырской заставы, поджидая трамвая, видела женщину, которую рвало. В теплушке и в Москве теперь повсюду пахнет дезинфекцией, что заставляет вспоминать о холере. Холера еще задержала нас на все лето в П[етровско]-Разумовском, так как боялись оставить Евграфа одного. Жизнь берет свое: 3 июня свадьба Мити Любавина. Он был хороший инженер*. <...>

Евграфа все наши невзгоды и на Дальнем Востоке, и внутри страны и в придачу холера и утомительная жара довели до нервничанья. Так, раз, вернувшись поздно из Москвы из гостей, мы стали закусывать. Евграф не спал, а почему-то поджидал нас. Вдруг, выйдя из кабинета, заявил: "Поздно возвращаетесь и не даете прислугам спать, а меня заботите". Следовало бы пропустить это замечание мимо ушей, а я ушла в спальную. Он пошел за мной и стал ласково уговаривать идти есть. Я заартачилась. Он вышел из себя и повысил голос; дети забеспокоились, но, поняв, что он обо мне же заботится, успокоились все и пошли ужинать.

У многих за это время нервы издергались. А Евграф очень был отзывчив на всякое страдание. Да и вспыльчивость была чуть ли не единственным его недостатком, хотя, сдерживаемая силой воли, проявлялась редко. В молодые годы при его страстном, кипучем темпераменте она вырывалась из повиновения воли, и тут нельзя с него было требовать тактичности. Когда же клокочущая лава вся изливалась, а особенно когда она кого-нибудь задевала и обижала, наступала сразу реакция и тем скорее, чем бурливее проявлялось возмущение. Так и теперь. <...>

К нам на август приехала в отпуск Миля. 6 августа были взяты билеты на железную дорогу, и мы на другой день уехали с ней в Крым. <...> Поехали мы, собственно, по приглашению Ивана Степановича, брата Евграфа от первой жены его отца. Он, полковник в отставке, жил в Симферополе с женою-болгаркою Фросей и дочерью-гимназисткой Леночкой. От них мы вместе с ними в шестиместной коляске на четверке лошадей, любуясь видами, поехали из Симферополя в Ялту. <...> На пути в Ялту заехали в церковь Фороса. Тут я пришла в восхищение от картины Маковского "Рождение Христа". Мария наклонилась над младенцем, а от него на ее лицо исходит свет, освещая это чудное лицо. Это не краски, а свет, настоящий свет. Что значит сила искусства! Эта картина меня так очаровала, что мои спутники чуть не силой меня от нее оттащили. Воздвиг эту церковь А.Г. Кузнецов, двоюродный племянник нашей матери, миллионер, но несчастный, умерший от чахотки молодым. <...>

К 12 сентября мы уже вернулись к покинутому нами Евграфу. А занятия в высших учебных заведениях не начинаются. У нас сходки; в университете на сходках какие-то замечательные речи, по рассказам Артемьева. Забастовали булочные, типографии и металлургические заводы. Умер скоропостижно ректор университета Трубецкой. Все жалеют, а митинги и беспорядки продолжаются. 2 октября прочли в газете, что в Витебске арестовали 30 человек и найдена тайная типография. Опять у нас тревога за сына.

Евграф получил приглашение из Горного на пост директора и отказался. Очень уж беспокойно сейчас, да и занятий нет. 8 октября [1905 г.] приехали профессора Долбня и Курнаков депутатами от Горного уговаривать Евграфа. Он пока упорствует. Что покажет еще баллотировка? А я уже горюю. Мне жаль этот чудный

* Он в 1918 г. расстрелян большевиками в Архангельске, где служил инженером-строителем на верфи. — *Примеч. авт.*

парк, наш балкон, садик, такую славную, удобную квартиру и многих милых людей, с которыми мы почти каждый день видимся. Софья Александровна Боголюбская даже заплакала, узнав о возможности нашего отъезда. Вот уже и в газетах объявлено, что Евграфа приглашают в Горный на пост директора. Наша прислуга Саша так сдружилась с прислугой наших соседей Фортунатовых Иришей, что обе они уже плачут о предстоящем расставании и наводят еще большую тоску. Одно за Горный: это более подходящая арена для Евграфа, чем Сельскохозяйственный институт, но административная должность не в его духе. Она отнимет у него много времени от науки и спокойствие.

Евграф ходит, посматривая в окна и говорит: "Там тоже из директорской квартиры прекрасный вид, но совершенно в другом роде; мне, главное, заполучить кафедру Горного; здесь мне нельзя развернуться вовсю, а там, как вспомню, что придется иметь дело с министрами, так только ради кафедры иду на эту сделку. Без грызни, предвижу, дело не обойдется". Евграф до сих пор не удостоился этой кафедры и должен идти на компромисс, чтобы достичь ее. Но, впрочем, это участь всех новаторов науки: их никто не понимает, они идут впереди своего века.

После депутатов у нас все гости. Ахи и охи. Приехал зять Евграфа, Николай Афанасьевич, проездом в Ялту. Да забастовали многие железные дороги, и он у нас застрял. Август Эрнестович тоже очень взволнован. Евграф и мы все уговариваем его ехать в Петербург с нами. Он хочет подумать. Ему очень жаль разлучаться с Евграфом. Приходил А. П. Шимков и выражал сожаление, что Евграф уедет. Приезжала и Зельма Ивановна, которая собирается ехать с нами, хотя она уже давно не у нас, а на другом месте. Женя очень жалеет бросать учение рисования в Строгановском училище, где ее хвалят и учитель сказал ей, что у нее верный глаз. Евграф тоже ее одобряет.

Вот уж 13 октября — снег и дождь. Ученицы Жени пришли ее уговаривать просить папу принять место профессора в Московском университете, где ему пожалован диплом доктора и куда тоже стали приглашать занять кафедру¹⁰⁴. Премилые девчурки! 14 октября забастовка на всех железных дорогах, кроме Савеловской. Все конки прекратили движение. Происходят рукопашные сражения между забастовщиками и несочувствующими. Студенты Фортунатовы, застрявшие в Москве одно время, вернулись невредимыми, а бедная их мать страшно за них беспокоилась. Теперь много таких матерей. Вот и ожидаемая всеобщая забастовка. Особенно жаль малюток и больных — они все без молока. Все жители без воды, раненные без перевязок, без лекарств, докторам нечем вымыть руки. Все, и мы, заранее закупили все необходимое на несколько дней. Студенты, курсистки и рабочие забаррикадировались в университете. На другой день все они были выпущены. Они вышли с условием, что их не заберут, если они разойдутся по домам. И они "правильными колоннами", как сказано в газетах, разошлись. Витте назначен председателем Совета Министров. Это известие несколько подбодрило общество, но его недолголюбивают при дворе, не доверяют ему, хотя он сумел ублажить японцев и умерить их аппетиты¹⁰⁵.

19 октября уже торжествуют¹⁰⁶. Раздается: "Да здравствует свобода". Народ ходит толпами, а казаки и черносотенцы нападают то тут, то там и избивают. Давно желанные обещаны свободы слова, совести и действия. Ура! Не сон ли это? Не верится. Я неверный Фома. Однако 41 тысяча политических заключенных выпущены из тюрем. Кого ни встретишь — сияющие лица, радостно приветствуют: "Со свободой!" Пожимают руку дружески, крепко. Общая радость заражает, а все берет еще сомнение. Евграф с Николаем Афанасьевичем не наговорятся. Что это в самом деле? Дивная какая-то действительность.

А вчера, т.е. 20 октября, похоронили с разноцветными флагами убитого политического деятеля Баумана. Он ехал, стоя с красным флагом, по Тверской, его сразили ломом, и он упал. Кто виною?¹⁰⁷ Всюду проиходят столкновения; расстреливают и зверски убивают краснофлажцев. А третьего дня вечером я с Женей

и Милой пошли к Боголюбским, прошли наш освещенный четырьмя фонарями дом и вступили в полутемную неосвещенную прямую аллею; там девять человек рабочих расступились, и один, громадного роста детина, не наш, спросил грубо: "Ну, чего еще, бить, так всех бить". Мила быстро пошла вперед. А наш рабочий ответил: "Этих не надо". Ему ответили: "Всех же господ надо бить". Мы уже их прошли. У меня сердце так и упало, но мы с Женей не прибавили шагу, будто ничего не слышали. Я даже крикнула Миле, куда она так торопится. Прошли аллею, но потом мы даже побежали; рассказали Боголюбским и от них прошли по людному освещенному месту к Мейеру. Он нас проводил домой.

Николай Афанасьевич наконец-то уехал. График собирается возвратиться к нам. На днях убит наш студент и еще другой, товарищ К.А. Фортунатова. По городу идут грабежи и убийства с истязаниями, особенно студентов. Одного из них, сына купца Лопатина, стащили с извозчика и какие-то мужики били его, топтали, выворачивали суставы и, когда он уже слабо дышал и только стонал, его бросили с Каменного моста в Москва-реку, а когда он всплывал, хватаясь за купальню, в него швыряли камнями и так добились. Хотя перестали терзать потом двоих: за одного заступился священник, а за другого — женщина. Тоже рыцари, патриоты! В Твери сожгли дом, где укрывалась толпа, чествовавшая конституцию а выбрасывавшихся из пламени, терзали до смерти. Промелькнуло в газетах об отнятии конституции. А тут еще митрополит Московский Владимир на проповеди назвал забастовщиков "гадинами", которых надо уничтожать. Из уст в уста передается, разжигая страсти, приказ Трепова: "Холостых залпов не давать, а патронов не жалеть". Трепова из Петербурга перевели в коменданты Кронштадта, где происходит нечто ужасное¹⁰⁸.

28 октября наши студенты, наконец, приступили к занятиям и составили добровольную милицию и упражняются в стрельбе. Все они переоделись в штатское платье, чтоб не бросаться в глаза. То дождь, то снег идет, и опять всеобщая забастовка, потому что обещанные свободы не даны и во многих городах введено военное положение. Кронштадтских матросов хотят судить военным судом, т.е. расстреляют¹⁰⁹.

Евграф уже единогласно выбран в директора, а утверждения все нет, хотя уже ноябрь, и началось катанье на коньках <...>

Вообще неспокойно. Распоясались темные элементы. Ходят еще слухи, что собираются избивать наших студентов рабочие¹¹⁰. Они в противовес красному флагу называют себя белой партией. Ничего не поймешь. Идет какая-то неразбериха. Интеллигенция за народ, а народ против них, его науськивают. Шимков распорядился запретить всех рабочих на ферму и усовещивать их, а студентов тоже попросил не раздражать их и некоторое время не выходить из общежития, да они и сами струсили. Одна жена сторожа, бия себя кулаками в грудь, вопила неистово, что она за царя-батюшку готова всех этих негодяев-студентов передушить, задирали юбки так, что студенты удирали от нее врассыпную, не успев повесить красные флаги. С этой истеричкой все боялись связываться. Она торжествовала.

Вот забастовал и наш паровик, извозчики пользуются этим и дерут немилосердно. Все-таки Артемьев не перестает ездить на занятия к Евграфу, хотя не совсем здоров. В Москве забастовала прислуга. В середине ноября забастовали и почтовые служащие. Студенты наши пока уgomонились после того, как рабочие с фермы взяли за топоры и вилы, решив их избивать за развешивание красных флагов. <...>

Студенческая учебная стрельба не замолкает. А.А. Фортунатова передала мне, что старший ее сын, Костя, бросил учиться стрелять, потому что не в состоянии убить человека, даже и нападающего на него. Какой славный во всех отношениях был у них этот Костя! Он сильно вздыхал по Жене. Родителям хотелось их поженить. Я не впутывалась, так как это их личное дело. Да и время было такое неподходящее, смутное, и близился наш отъезд. Следующие за ним три сына продолжали учиться стрелять, приговариваясь сопротивляться полиции. Это сильно

мать беспокоило, так как двое — еще мальчики и вышли из повиновения. Ну и времечко! Почтмейстер Иванов на телеге с эскортом жандармов препровожден в жандармское управление по поводу забастовки почты, а его жена и три дочери всю ночь, плача, промучились, боясь за него и поджидая его. Женя вызвала ее запиской к нам, и мы ее утешали, как только могли. Муж ее вернулся невредимым с распоряжением на другой же день открыть почту.

ДИРЕКТОР ГОРНОГО ИНСТИТУТА

Узнав из газет о своем утверждении в должности директора, Евграф 5 декабря выехал в Петербург. Неопределенное положение было так неприятно, что мы даже обрадовались, кроме Саши. Пошли со всех сторон поздравления и сожаления что покидаем их. Теперь, по крайней мере, выяснилось то странное положение, которое Евграф занимал с конца 1903 г. С выбором его адъюнктом Академии ему официально разрешена была профессура только до конца 1903 г., а следующие годы он, значит, занимал ее как бы не по закону. Хотя его не тревожили, но он боялся, чтоб, чего доброго, не стали бы вычитать за эти годы с него получаемое жалованье и был все в тревоге. Но в бумаге, утверждающей его директорство, санкционировалась его должность профессора, и у чего эта тяжесть спала с плеч.

7 декабря опять забастовали фабрики и заводы и железные дороги, начавшие было действовать, из-за затяжки дарованного 17 октября манифеста о гражданских свободах¹¹¹. Нас беспокоило, как доехал Евграф. Ожидают опять беспорядки. Узнали, что Москва на военном положении. Обычно из наших окон виднелось всегда над Москвой зарево от ее фонарей, а сейчас там темь, и наводит она жуть. Николаевская и Виндавская дороги ходят. Ломовики убили 35 человек из старавшихся остановить поезд. Вся Москва в баррикадах, для них выламывают двери, вытаскивают мебель, валят столбы, вагоны конок и пр. Идет настоящая бойня, больницы переполнены ранеными. Училище Фидлера, где мы раньше бывали на концертах, теперь прострелено снарядами из-за собиранья митингов. Ходят разные слухи и немало вздорных: будто на Мясницкой взорван снарядами дом — громада с 20000 человек жильцов, сочувствующих революции, и от него поднялся громадный столб пыли и остался только мусор. Уверяют, что видели. Оказалось, что он бомбардировался, но не рухнул, а стоит с пробойнами, что мы впоследствии сами видели. Говорят, будто взорвано охранное отделение. Правда ли, нет ли?

Страшная тревога всех берет. Боятся, чтоб чернь не начала и в самом деле избивать интеллигенцию. Народ наш темный. Недовольство общее; полиция науськивает на студентов. У правительства сила в руках. Бедная А.А. Фортунатова плачет, беспокоясь, что Костя вот уж три дня как не возвращается из Москвы; вернулся было, а потом опять дал знать, что не может вернуться, боясь выйти из дому на улицу, где [стоит] пальба. А одна курсистка сообщила по телефону, что она ранена и в больнице. Час от часу не легче.

Берет забота, как-то вернется Евграф из Петербурга; не знаем, что там делается. Поезда ходят нерегулярно. Одни группы стараются задержать и по пути, и на вокзалах, а крестьяне обещают громить служащих, если совсем забастуют; уже некоторые служащие и поплатились, хотя по всем вокзалам размещены войска. Да и по деревням идут погромы помещичьих имений: грабят, жгут, режут племенной скот, даже зверствуют, гоня животных со вспоротыми животами. Ни людям, ни себе. Всюду злоба, жестокость. К чему идет человечество?

Думаешь, как-то живут теперь в Москве, что они едят? Два-три дня идет резня и бомбардировка. Бежавшие оттуда говорили, что не позволено подходить к окнам, уж тем более открывать форточки. Губины, переехав в Москву, стали жить как раз на перекрестке двух улиц с окнами на обе. Из-за них спрятались в кухне, выходящей во двор, а их младший сынишка забрался в запертые комнаты и высунул голову в форточку, тут пошла такая пальба, что ему не миновать бы

ранения, если б его во время не унесли, так как форточка пострадала. У нас на Выселках была фабрика Йокиша, где рабочие только потому не работают, что забастовщики их застрашали, обещая сжечь их дома, сами же они, говорят, довольны своим положением.

Вот уже три дня идет резня, особенно на Тверской и около Страстного монастыря. К.А. Фортунатов санитаром пошел-таки помогать. Ночью у моста между Савеловской ж[елезной] д[орогой] и Бутырками обнаружен был раздетый труп молодого человека. А.А. Фортунатова в ужасе — уж не Костя ли, так как неизвестно где он, в каком месте. Она рано утром сама пошла посмотреть, но к счастью ее, это оказался не он, а думают на одного нашего студента. У Страстного монастыря видели труп с отрубленной головой студента в нашей форме и опознали в нем нам знакомого студента Красина. Всем стало жаль его, особенно горевала Верочка Вильямс, равнодушная к нему, и вот два подростка гимназиста, чтобы утешить Верочку, зная, где живет его замужняя сестра, отправились тайком от родителей, в обход, в Москву и пробрались на ее квартиру разузнавать. Первое, что они увидели, был сам Красин. Была общая радость, а потом его поздравляли с "воскресеньем". Убит же был его двойник, их обоих часто издали смешивали.

18 декабря наконец возвратился Евграф. Он решил пробыть директором не более двух лет. Что-то будет? Приехал и принялся за укладку своих книг в ящики. Значит, несомненно едем, а то все как-то еще не верилось. Он рассказал, что в Питере спокойнее здешнего; квартира наша большущая. "Как-то ты ее обставишь? Хотя дадут кое-какие казенные вещи, а сейчас только в ванной стоит какой-то простой некрашенный шкаф; я думаю его утилизировать. Сделаю будку для общего телефона, тебе он, верно, ни к чему".

Во время отсутствия Евграфа, особенно с 16 декабря, у нас было в квартире большое веселье и шум, потому что ежедневно собиралось много детей. Оно и кстати: отвлекало от совершающейся бойни. Часть из них — беженцы из Москвы, а четверо Боголюбских, даже здешние, жили и ночевали у нас, потому что у них 16-го вечером появилась новая сестрица, Галя. Шумливая, веселая, беспечная детвора рассеивала наши мрачные думы. 23 декабря были назначены крестины Гали. Я была приглашена в крестные матери. Просыпаюсь утром, меня тревожно предупреждают не подходить к окнам; под ними стоят солдаты с ружьями, все дома окружены солдатами и объявлено, что будут стрелять при первом услышанном выстреле. Против общежития поставлены пулеметы с дулами, направленными на него, а по всем квартирам и кабинетам идет обыск, и потому всем живущим запрещен выход из квартир, при неповиновении будут стрелять. Евграф заявил категорически, что, если придут с обыском, то он не пустит, хоть пускай его расстреляют. "Подумайте только, сколько труда я положил на укладку, а мне все разворотят. Это им, бездельникам, нечего делать..." Вот тут уж мы с Женей перетрусили. Как мы его ни уговаривали, ни упрашивали, он все повторял, что какого труда ему стоило уложить несколько ящиков книг. Со своею вспыльчивостью он мог бы наделать большие беды. Мы просто измучились, поджидая обыск. Сердце так и бунтовало в груди. А обыск шел уже под нашей квартирой в кабинетах с нашего подъезда. Но пошел слух, что солдаты собираются уходить. В окно посмотреть нельзя. Но, правда, они ушли, сделав обыск повсюду, кроме нашей квартиры да Мейера, как не русского подданного. А у нас, что это? Чудо? Они, верно, узнали, что Евграф уже питерец и директор. Кто их душу знает!

Руководит всем Дубасов¹¹². Потом было много рассказов. Был повальный обыск и ничего компрометирующего не нашли. Солдаты прислугам говорили, что они шли сюда как бы на смерть, попрощавшись с семьями, что будто здесь идут бои и 200 человек вооруженных, идет стрельба. Между тем в общежитии всего-то осталось 20 человек, и те держали себя корректно, а остальные все разъехались на праздники к родным. "Так зачем же нас сюда нагнали?" — удивлялись солдаты. Вероятно,

нужно было припугнуть наших стрельцов. Жена одного профессора рассказывала, что ей велено было сидеть, пока муж ходит, показывая обыскателям свой кабинет. К ней был приставлен субъект с револьвером, который он все время заряжал и разряжал и все время вертел перед ней. Она сидела ни жива, ни мертва. А если бы он выстрелил, тогда пошла бы страшная тревога. Мейер, когда уже солдаты собрались уходить, вышел из дому, держа руки в карманах шубы. Дубасов, на коне, крикнул ему, чтобы он руки вынул из карманов. Наконец Академия из военного лагеря приняла обыденный вид. Все зашевелились. Пошли и мы на крестины к Боголюбским. Сам он нам рассказал, какие жуткие минуты он испытал. Он вышел утром для службы обедни, был остановлен солдатами, но он воспротивился, говоря, что это его долг идти служить; тогда ему было объявлено, что в него будут стрелять. Он все же пошел, а за ним, с направленным в его спину револьвером, шел субъект. "Не очень-то приятное ощущение, я Вам скажу", — смеялся Николай Иванович.

Профессор Вильямс обыкновенно через лупу отбирал семена, и такие отборы разных семян хранятся в шкафах в разных отделениях. Ему при обыске устроили невообразимый *pêle-mêle**, смешав разнокалиберные семена вместе. После такого варварства за подписью всех профессоров подан был протест генерал-губернатору с вопросом: чем институт мог навлечь на себя готовность его бомбардировать, и обращено было внимание на некультурное обращение с научными предметами. Ответа пока никакого.

Евграф решил уехать в начале января, а после него и мы займемся укладкой.

После обыска мы зато повеселились у Мейеров на елке в сочельник, а потом пошли елка за елкой. 30 декабря Шимковы устроили нам прощальный обед. В два часа дня все профессора собрались в их длинном зале, но, кроме хозяйки, меня с Милой и Женей никого из дам не было. Обед и перед ним закуски были роскошны, торжественно все настроены. Хозяин первый сказал речь, Евграф ему ответил несколько в минорном духе, как бы уж выходя на арену для боя с министрами. После обеда был подан кофе. Все мужчины ушли в кабинет, а мы с Марией Антоновной — в гостиную, где к нам присоединились Алексей Федорович Фортунатов и профессор Герценштейн (впоследствии депутат [Государственной] думы, убитый в Териоках и похороненный на пляже у моря). Алексей Федорович спросил, рады ли мы отъезду; для него лучше Петр[овско]-Разумовского места нет. А мы, рады или не рады, ехать должны.

Москва мне, собственно, более чужда. Я ее и мало знаю. Меня восхитил вид на нее с Воробьевых гор. Петербург с Москвой не сравнимы, у них совершенно разные типы и характеры. Москва скучена и сумбурна, что бросается в глаза после простора и стильности Петербурга. Петербург выложенный, в нем можно не иметь галош, а Москва грязна. Зато там нет Художественного театра. А П[етровско]-Разумовское мы все сильно полюбили. Герценштейн больше молчал и слушал, так что я его раскусить не могла.

Мария Антоновна заговорила об эмансипации женщины: им нужно равноправие, чтоб они могли участвовать в парламенте наравне с мужчиной, но Женя возразила, что прежде всего им нужно дать образование наравне с мужчиной и употребить все средства на их умственное развитие, а то они слишком неразвиты и думают только о нарядах. Я ее поддержала, прибавив: и о флирте. Таким разве можно доверить решать важные государственные вопросы? Расстались мы, расцеловавшись с Марией Антоновной. Много есть таких, которые любят выставять себя передовыми, а копнешь — пустота. Что такая принесет парламенту?

3 января 1906 г. Евграф выехал в Петербург. 11-го приехал Графчик помогать укладываться, распрощавшись с Витебском. Началась понемногу укладка. Погода все время восхитительная, с небольшим морозцем, солнечная, чудные громадные

*Смесь, мешанина (фр.).

деревья стоят иногда под инеем, как невесты в белом уборе, чисты и величественны. Так жаль все это покинуть и навсегда. Молодежь пользуется и каждодневно носится и веселится на катке. Женя с целой гурьбой детей. Они ловят друг друга, играют в салки и "казаки-разбойники"; шум, гам детских голосов, смех взрослых. Слышишь, бывало: "Женя — казак, тетя Женя — разбойник", — и видишь их восторг. Они все ее любят. И приходится расставаться с ними. Мы покинем наш клуб на чистом воздухе.

А Евграф пишет, что у него начались хлопоты и советы профессоров и он не один, а приехали два племянника с их прислугой. Это хорошо. На катке — игра в "казаки", а настоящие казаки нагайками разгоняли в Петербурге демонстрантов. Революция подавлена. Вопреки рассудку и наперекор стихии шли эти мечтатели на баррикады и многих из них уже нет, а другие далече: за тремя замками тюрем, им название — смертники. Чего они добились, увидим. Стоит ли это жизни? И такой массы жизней!

19 января, а мы все еще не уехали, задерживает укладка; возьмем все вещи, так как дали на перевозку 600 руб. День чудный; пошли на каток и увидели удалявшуюся кавалькаду военных, встретили Н.И. Боголюбского, нашего священника, пошли с ним, тут подошла его семья. Он нам рассказал, что приезжал Дубасов и губернатор с офицерами и со 100 драгунами. Они приезжали узнавать, действительно ли было так, как написано Советом профессоров в жалобе. Им все показали и объяснили. Но забавно, что Дубасов не ожидал здесь увидеть бактериологический кабинет, не видя здесь в нем необходимости. Ему пришлось объяснить. Евграф потом потешался над этим курьезом, когда я ему рассказала. Он был сторонник неприкосновенности личности и жилища, а тут еще такое недоверие ко всему Совету.

Теперь идет прощание: то мы в гости, то у нас гости, хотя в квартире хаос. <...> Вот и квартира пуста, уже не снуют упаковщики, все увезено и затихло. Завтра, 4 февраля, мы уедем, билеты взяты; послана Евграфу телеграмма; последний раз на катке — и все прощаемся, прощаемся. Обедали у Фортунатовых.

Хожу я вдоль всей нашей милой квартиры, в окнах передо мною наш парк, гляжу на свой садик с декоративными в нем пихтами. Так и взяла бы все это с собой. Меня смущает директорство еще тем, что для него требуется представительство, а для этого надо иметь большие деньги, а Евграф уже объявил мне: "Ну, Людмила, директорское жалованье твое, а профессорское мое, на него я устрою Минералогический кабинет". <...> Прощай милое Разумовское! Многих мы, верно, уж никогда, никогда не увидим. Михельсон недолговечен. Он и сейчас живет при особом режиме: спит лето и зиму с откидной форткой в пуховом матрасике. Когда он нам всем показывал лучи Рентгена, то попросил меня обратить внимание на его легкие. Я заметила у него в левом легком темное пятно. Оказалось, у него тут была каверна, теперь она зарубцевалась, но он все-таки покашливает. Он нам тоже показывал радий с его эманацией. Вообще интересное это было знакомство. <...>

Наконец-то Евграф попал на подобающее ему место в Горный, хотя, конечно, по-настоящему такому нужна Академия. А что она ему предлагала? Вице-президент П.В. Никитин заявил ему, что он уже не состоит профессором и что Академия требует вообще отрешения от всяких других обязанностей и полного, полного поглощения наукой. Это на адъюнктское-то содержание с семьей? А почему это требование не применялось к другим? Ф.Н. Чернышев, А.П. Карпинский служили геологами в Геологическом комитете, да и многие другие совмещали академические обязанности с другими. Значит, был какой-то побочный выход. Но Евграф ни кланяться, ни выпрашивать не любил и никогда не продавал себя за "чечевичную похлебку" и решил лучше со всем этим делом покончить. А сколько нужно было ему иметь знаний, гениальности, энергии и терпения, чтоб пробиться через баррикады всех препятствий к науке. Не позаботься о нем И.В. Мушкетов и не вспомни о нем Костычев, так кафедра и прошла бы мимо такого выдающегося новатора.

На досуге в вагоне ехала я и думала обо всем этом. Завтра начнется новый период нашей жизни. Что-то он нам даст? Евграф не политик, да и не хотел им быть, не в его это натуре; слово "дипломат" он всегда произносил иронически, но [подразумевал] хитрого, изворотливого человека. Он следовал совету мудреца Сократа: "Сделайся на самом деле таким, каким ты хочешь казаться". Теперь знакомые меня начали называть "директорша", воображая, должно быть, что это слово мне как бы льстило. Ничуть. Оно меня заботило: визиты, приемы, соответствующие наряды, на которые у меня и средств не хватит. Я вспоминала М-ме Ауэрбах и А.К. Фигнер вечно с гостями. Мне тяжела была бы такая жизнь.

Вот и Петербург — старый друг. Жилось нам в нем, собственно, всегда скучнее, чем где-либо. Потянулась платформа, суeta носильщиков, мелькнуло дорогое родное лицо. Встретили нас Евграф, Миля и племянник Евграфа студент-медик Володя. Евграф, я, Миля и Женя в карете, а остальные, обогнав нас на извозчиках, уже встретили нас дома. Как странно, эта шикарная квартира в 17 комнат — моя, и я в ней заблудилась. Привыкли мы за последнее время приезжать только в гости и потому тут, с чужой мебелью, чувствуешь себя не дома.

В этот же день мы всей компанией вечером отправились к брату Евграфа, Евгению Степановичу.

— Ну, брат, мне, признаться, странно видеть тебя администратором, — встретил Евграфа Евгений и обратился ко мне: — Не кажется Вам, что он залетел не в свои хоромы? Да? <...>

Я ответила, смеясь:

— Но он не ворона.

— Я его и не считаю вороной, но место-то ему скорее в Академии.

— Да! Но Еремеев оказался достойнее меня, — сказал с горечью Евграф. — И сейчас медлят с назначением меня в профессора, для чего я, собственно, и пошел в директора.

Евгений Степанович теперь жил в лучшей квартире с прекрасным видом на Неву.

На третий день нашего приезда прибыла и вся наша мебель, и так жданный Милой и Евграфом рояль. Упаковщики все быстро раскупорили и расставили, и мы сразу очутились в хорошо обставленной квартире. Но в чудных бархатных обоях с золочеными багетами зияли громадные расковыренные дыры от выдернутых крюков. Какое варварство! Что делать? Евграф говорит: "Так и оставь, это хорошая характеристика бывшего директора, моего предшественника: не пожалел казенных обоев, на которые ухлопал уйму денег, а пожалел свои крюки". Правду Герцен писал: "Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надо выдумать". Заплаты из других обоев в приемной комнате будут бросаться в глаза. Я придумала купить картины. Стала смотреть по объявлениям и нашла, что за смертью художника дочь его распродает картины. Купила две превосходных картины, для таких недорого, хотя для моего кармана и не дешево, но *noblesse oblige**.

Евграф в детстве привык к большим квартирам и говорил, что в них воздуху больше, дышать легче. Мы бы после П[етровско́]й-Разумовского задохнулись в маленькой, а тут с одной стороны обширный вид на Неву, а с другой — чистый двор и сад. Пока некогда скучать по П[етровско́]й-Разумовскому. Оно осталось только в воспоминании как очаровательный, мирный сон. Тишина его и покой сменились неумолкаемым грохотом колес о мостовую. Евграфа часто видим мелькающим из кабинета в спальную для переодевания, что он так не любил, и вечно торопящимся то к министру, то в Совет профессоров, то в церковь на какие-то панихиды, то еще куда-то; поговорить с ним толком удавалось только перед сном. Вставал Евграф всегда раньше меня и опять спешил уходить куда-то. Теперь ему даже не каждодневно удавалось поиграть в четыре руки на рояле. Завтракать торопился, за обедом просматривал газету.

*Положение обязывает (*фр.*).

Тут было нам не до визитов, и тем более, к моей радости, Василий Васильевич меня успокоил, что теперь уже здесь это не принято и каждый живет сам по себе, и потому мы были только у Курнаковых, как у прежних знакомых, и посетили вечером Е.П. Мушкетову, уже овдовевшую и жившую на частной квартире. Как странно и печально видеть было ее одну. Отсутствие Ивана Васильевича чувствовалось, и думалось мне: "Вот кому следовало бы быть директором Горного, особенно теперь, при начинающемся возрождении России". За Евграфа побаиваюсь, с его вспыльчивостью и прямоотой. Иван Васильевич был тактичен. <...>

Кроме кабинета личного, Евграф взял еще зал для занятий с приходящими к нему, желающими позаниматься. Пока у нас жили племянники Евграфа — Коля, Шура и Вава [Золотавины] — было очень весело. Музыка, пение, смех, шутки, рассказы разные. Даже как-то после Совета профессоров И.Ф. Шредер заметил: "У вас все взрослые, а слышны такие молодые голоса". <...>

Коля был уже учителем, сначала во II казенной гимназии, откуда за политику был уволен, и был приглашен в частную, общеобразовательную школу под председательством Балаева, устроенную родительским советом, куда приглашались уволенные учителя и принимались исключенные ученики. Школа эта была знамением настоящего времени. Шура — студент историко-филологического факультета, прозванный Колей остроумцем. Все трое — славные серьезные ребята, каждый в своем роде.

Евграф мог без усталости заниматься и потому был в этом отношении требователен к молодежи; бывало, бежит по коридору, видит, что Коля ничем не занят, крикнет:

— Благодушествуешь?

— Я устал.

— А я тоже устал и старше тебя, а бегу опять заниматься.

Но Коле, правда, было слишком далеко ходить: на Надеждинскую приходилось два раза промаршировать, и он стал подумывать о найме себе комнаты поближе к школе. Конечно, Жене и Миле этого не хотелось, а между тем зачастую, возвращаясь слишком поздно, он, звоня, будил только что с большим трудом уснувшего Евграфа, который потом долго не засыпал от наплыва мыслей и забот, да и прислугам не давал покоя.

А забот у Евграфа было немало. Он как-то приходит ко мне и говорит: «Ну, я тебе скажу, мое дело хуже губернаторского, я прямо попал в капкан, как я из него выберусь, не знаю. Оказывается Горный весь в долгах и кредиторы ему уже ничего не отпускают, говорят: "Заплатите сначала долги", — а платить не из чего. Откуда бы мне выжать деньги? Хозяйство тут шло безалаберно. Подумай, одна отделка этой квартиры для моего предшественника поглотила массу денег, на одно ее освещение шли большие средства, так как не соблюдалось ни малейшей экономии. Ну, а мы с тобой не такие магнаты, и я прошу тебя быть в этом отношении расчетливее. Я думаю также уничтожить выдачу казенных свечей. Они даже за ненужностью и излишеством продавались получателями на сторону. Потом произведу учет бесконтрольной выдачи дров. Придумаю еще что-нибудь указать и так нагоню экономию, хотя, конечно, многие хозяйки меня возненавидят, но Совет профессоров, верю, согласится: а с моей профессурой все еще замедляют». Решено было платить также самим, кроме электричества, и казенным полотерам, чтоб казенными деньгами затыкать нехватки Горного.

Но забот все прибавлялось и прибавлялось. Так, от министерства вышла задержка в выдаче пособий студентам. Евграф созвал Совет профессоров, и на нем они решили самообложить процентным вычетом себя в пользу студентов. Конечно, на директорское содержание плата пришлась не маленькая. Личные расходы Евграфа сводились на табак, марки, на письменные, почтовые и проездные расходы, на все это он брал из директорского жалованья, остальное шло в мое распо-

ряжение, а профессорское он все целиком тратил на устройство своего личного минералогического кабинета.

Министерство точно нарочно ставило Евграфу препятствия: в нынешнем году не выдали денег на учебные расходы. Евграф, бедняга, приходил ко мне расстроенный и выкладывал мне всю свою бескорыстную душу: "Затянул же я себе петлю на шею, я никак не ожидал, что Горный такой банкрот; выпутаться ли я?" Мне было его крайне жаль, но я все же надеялась на него, старалась ободрить; придумывали еще что-нибудь сократить, вывернуться во что бы то ни стало.

22 февраля приехал Купфер, чтоб освоиться с предложенным ему Евграфом местом в музее Горного. Странно было его видеть при здешней обстановке.

Племянники Евграфа переехали от нас в Ковенский переулок. Вместо них у нас стала жить сестра моя, Миля. Графчику, Миле и Жене, конечно, без них не так весело. <...> Заботит Графчик. Он все еще четверокурсник Московского университета из-за разных забастовок. Сейчас он пока слушает социальные науки на курсах Лесгафта¹¹³. Но и там уже начинается брожение: одни за прекращение лекций, другие — против. Положение Графчика очень волнует Евграфа.

Его кратер даже по временам дымит, и не хватает силы воли сдерживать пары и пламя. Он так боится, чтобы сын не вышел шалопаем. Раньше он все мечтал провести его в профессора, если не математики, то физики*. Но Графчик увлекся политикой. У отца нарождалось раздражение против него еще и потому, что сам видел, куда ведет политика, как она убивает даровитые силы молодежи. Я находилась между двух огней: мне жаль было и того и другого. В такое беспокойное время долго ли пропасть, всяко бывает. Грозные тучи все больше и больше заволакивали политический горизонт. Мысль о смертниках в казематах и казни отравляла покой. Лейтенант Шмидт с взбунтовавшегося "Потемкина" приговорен к повешению¹¹⁴. Много уже казнено. Жуткое время. Как могут спокойно есть и спать, кто виной этому, на чьей душе столько крови?! Говорят еще, что кровь вопиет! Евграфу раздражительности и это все подбавляло.

Судя по своей неутомимости, он того же требовал от других и был подчас для них несносен. "Почему ты придираешься только к одним мужчинам?" — спрашиваю у него. — "Вас, женщин, надо щадить, вы ежемесячно больны, и конструкция у вас иная". Он ставил Милу в пример из-за ее работоспособности. Гений — это талант плюс усидчивость. Мила была талантлива и усидчива, но ее заела лихорадка. Женя тоже талантлива и к рисованию, и к музыке, и к пению, но усидчивости не было; разбрасывается, и нет уверенности в себе. Сестры, а не похожи ни по наружности, ни по характеру одна на другую. Мне говорили: "Вы верно назвали своих дочерей: Мила, Милочка, Людмила — настоящая славянка с русой косой и черными хотя глазами, но бела и румяна, а Евгения, Женни, Eugénie — француженка у вас".

7 марта—именины Евгения Степановича, и все мы собрались вечером у него. Было немало гостей. Часть из них, более солидная, засела за винт; Евграф с Милой за рояль, Женя пела, а потом и другая часть гостей затеяла играть в карты, в "мельницу" и в "мнения". Называли меня "пани директорова", а дочерей моих — "цурки директоров", хохотали до упаду, одним словом, дурачились. Даже к нам присоединились кончившие винт, заразившись нашим смехом. Один Евграф только ходил из комнаты в комнату и что-то обдумывал, пощипывая бороду. Позвали ужинать. Разговор за ужином, как всегда теперь, перешел на политические темы. Началось с того, что вот уже до чего дошло: бывший бакинский губернатор Новиков недавно выступил с речью публично. Между прочим, он говорил, что в России

*Евграф Евграфович Федоров—впоследствии известный климатолог, член-корреспондент АН СССР. — *Примеч. сост.*

хотя не меньше заграничного жертвуют на народное образование, но правительство наше его тормозит. Вдруг один из гостей заявил, что он не только бы все нынешние газеты запретил, а даже без суда стал бы вешать всех, нарушающих закон. И это говорил старый знакомый, раньше даже либерал. Тут возгорелся сыр-бор, все на него накинулись, и такие пошли споры. Упрекали его, что он ради законности намерен делать беззакония. Миролюбец-хозяин, вообще всегда ко всем снисходительный, не отзывавшийся ни о ком дурно, "человек как человек" — его фраза, старался маневрировать между спорщиками. Разъехались каждый при своем взгляде на происходящие дела. А Шмидт и трое матросов казнены.

Еще только 18 марта последовало учреждение Государственной думы. Странные идут выборы в Думу¹¹⁵: в некоторых местах нормальные, в других же арестовывают то выборных, то выборщиков, а в третьих выбирают насильно отказывающихся, или глухого, или даже собаку и вроде этого. Вообще происходит нечто несерьезное. Тут кто-то гадит. Но однако все зашевелились, даже духовенство собирает помпезный Собор, о чем мы узнали от посетившего нас Николая Ивановича — священника из П[етровско]-Разумовского. Он рассказал, что нас все там жалеют и вспоминают, а мы уже начали отвыкать. Женья наша тоже затормошилась: вошла членом в общественную даровую детскую столовую и помогает кормить ребят. Но все же она и Мила зачастую то со мной, то с кузенами бывают на симфонических концертах. Недавно они были с братьями в концерте Горного кружка с чаепитием. Это была поражающая выставка костюмов, чего мои девицы не ожидали в настоящее смутное время. Милу особенно возмущали громкие разговоры во время музыки, это неуважение к артистам.

20 марта выборы в Г[осударственную] думу по Петербургу сопровождаются нелепыми слухами о том, что готовят взрывать Думу при ее открытии. Поживем, увидим. <...>

Вот уже апрель и страстная суббота. Нева наполовину разошлась. Наши намереваются идти к Исаакиевскому собору, а я и Евграф что-то недомогаем, инфлюируем. В столовой — длинный стол, красиво убранный, уставленный куличами, пасхами и всякою снедью. Ждем гостей, а Евграф в шубе чихает и кашляет и прикладывается на диван. За весь первый день у нас был только доктор, никого нельзя было принять. У Коноваловых была сильная инфлюэнца, от которой он даже глож и, вероятно, это от них осталось наследство. В ночь на 4-й день Пасхи у нас переполох: с Евграфом сделался обморок, а потом со мной, был даже вызван доктор. Евграф, когда из-за болезни должен был лежать в кровати, при поправлении делался несносным; как ребенок капризничал, не хотел принимать лекарство, требовал, чтобы его спустили с кровати, критиковал докторов. Рад был, что болел на праздниках, а не в будние дни. Я прохворала гораздо дольше его. И вот уже настоящая весна, повывставлены рамы, и окна открыты, в них врывается аромат от распускающихся в саду деревьев. Нева загромождена всевозможными судами, пароходы уже снуют, в обычный шум улицы врываются свистки. Приближается день открытия Думы и несет с собою всевозможные опасения и тревоги. Накануне открытия председатель ее, Муромцев, ездил представляться государю.

27 апреля весь город расцветился флагами, по улицам разъезжают казаки, на каждом шагу разодетая с иголочки полиция. На Большом проспекте у нас прошла мирно демонстрация рабочих. "Видишь, революцию делает народ, а не кучка революционеров: в 1881 г. народ еще не был подготовлен, нарыв только назревал, — говорил Евграф, — не осознал".

В половине десятого мимо Горного по Неве на пароходе из Петергофа проехал со свитой государь в Зимний дворец, где сказал тронную речь перед собравшимися депутатами Г[осударственной] думы и Г[осударственного] совета. Смысл речи тот, что эти обе палаты только советницы самодержца. Мечтали, собственно, о парламенте на манер Англии¹¹⁶.

Мы тоже видели из окон, как царь с двумя царицами, с великими князьями

и свитой, стоя на палубе, проехал назад в Петергоф. Откуда-то слышалось "ура", но наш берег молчал, и даже военные чины не отдавали чести. Грохотали ломовики, дрожки, фабрики дымили, как бы ничего особенного не происходило. Дворцовый мост был разведен, а на Николаевском* был запрещен проезд. Немного погодя Миля, Мила и Женя проехали на пароходике вдоль Невы и нашли, что никакого праздничного настроения не видно, все обыденно, кроме флагов.

Недавно в Шемахе было сильное землетрясение, и Евграфу дана туда командировка. Меня же доктор шлет в Крым, а я не выношу жары. Евграф зовет после Шемахи и Крыма нас в Турьинские Рудники прокатиться. Женя рада, так как для нее нет места лучше него, а Миле жаль рояль. <...> К нашей молодежи еще прибавилась их прежняя подруга детства — приехавшая из Севастополя Катя Попова, дочь Ивана Васильевича, внучка милейшей и уже умершей Анны Ивановны Поповой, друга моей матери. Она, бойкая малорослая толстуха, приехала на зубо-врачебные курсы учиться. <...> Катя жила у Бострем, ее тетки, Елизаветы Васильевны, близко от нас, и часто мы с ними виделись.

Накануне отъезда Евграфа в Шемаху попрощаться с ним приехал Евгений Степанович. До половины первой ночи они спорили о политике. Он был октябрист и даже из-за разногласия во взглядах ему пришлось уйти из Технического общества, оставив пост секретаря его. Вот какое настало время, что даже инакомыслие влияет на технику. Евграф же был беспартийным свободомыслящим, большей частью по взглядам левой кадетов. Все были против дяди Гени. Он яро защищался, и один довод его заставил меня призадуматься: "Почему же при тех самых во всем условиях сектанты в России живут культурнее и благоустроеннее православных?" Мне захотелось добавить: "И колонисты — немцы и финны". Невежество, пьянство — вот злейшие враги народа. "Устройте, попробуйте, социализм, не искоренив этих недостатков, а для этого нужны годы и годы... Правда ведь?"

23 мая вечером мы все проводили Евграфа на Кавказ и только на Николаевском вокзале узнали о забастовке Черноморского флота. Евграф мне посоветовал скорее обратиться к наиболее известному доктору. Я отправилась к Кноху. Он, осмотрев меня, Милу и Женю, нашел всех нас теперь здоровыми, но все же не советовал оставаться в Петербурге и назначил мне ехать в Кисловодск с его чистым прохладным воздухом и живительным нарзаном и не менее как на два месяца.

Хотя Дума начала работать и уже проявила себя требованием отмены смертной казни и амнистии политическим заключенным, а все идут беспорядки, обыски, так претившие Евграфу. На требования Думы свыше — нуль внимания. Ей дают дела самые пустячные, например о прачечных при университете. Спускают ее с неба на землю. Общее недовольство. Злоба наших дней — это Дума: она наталкивала все разговоры на политику. Но, кроме нее, помню, какое сильное на нас впечатление производили сочинения Л.Н. Толстого с его проповедью непротивления злу: его "Живой труп", "Фальшивый купон", хотя в последнем несколько и подтасован клубок событий, и другие. Его воззрения будоражили и без того возбужденные умы; возникали разговоры, нескончаемые споры в обществе, критиковали не только его произведения, но и обсуждалась на все лады личная его жизнь: упрекали в непоследовательности и противоречиях, забывая о постоянной эволюции этого разностороннего, переполненного молодой энергией великого старика. Его, верующего в Бога, за критику обрядностей наши фарисеи отлучили от церкви; гуманиста, признававшего евангелие как моральный социальный закон, обвиняли: «Верует, а выставляет Бога мстителем — "Мне отмщение и аз воздам" — в эпиграфах, например, в романе "Анна Каренина"». Судили и рядили вкривь и вкось, будто она [Анна] погибла из-за нарушения церковного брачного обряда. По-моему,

*Ныне мост Лейтенанта Шмидта. — *Примеч. сост.*

все неправильно толковали этот текст. Мне казалось, надо было его понимать так: кто идет против закона природы, т.е. Божия, тот накажет себя. Анна нарушила закон, самый существенный в браке, — любовь, выйдя, не любя, за старика ("Он ни разу не подумал, что я живая женщина, которой нужна любовь"), что повело к двоебрачию, нарушила семью и долг матери к сыну. Не осуждал же Лев Николаевич Марию Дмитриевну в рассказе "Хаджи Мурат", что она сожигательствовала с офицером вне венчания. Когда я высказала свой взгляд на этот текст, то Евграф поддержал мой вывод: "А ведь ты права! Дело тут вовсе не в обрядностях, Толстой и сам отвергал их. Беда быть знаменитостью!" Да, кому много дано, с того много и спросится. Л.Н. Толстой бередил совесть, тянул ввысь от земных мерзостей. Когда-то еще большие споры вызывала "Крейцера соната".

Решили мы ехать в воскресенье 28 мая, хотя на Черном море забастовка еще не кончилась и может еще куда-нибудь броситься по воде. Хотим захватить в Москву на денек, повидать разумовцев и разузнать о событиях. Оттуда по Нижегородской дороге и по Волге до Царицына, а там по Тихорецкой железной дороге в Кисловодск. Пускаемся на авось. Забастовки из головы не выходят. <...> В Кисловодск приехали уже к вечеру и остановились пока в гостинице "Нарзан". <...>

На другой день наняли на даче у вдовы известного художника Ярошенко Марии Павловны две комнаты с балконом и третью по коридору, рекомендованные мне М.А. Шимковой еще в Петровско-Разумовском. Эти дачи от улицы отгораживает высокая каменная стена. Войдя в калитку, глазам представляется роскошный цветник с множеством роз. Аромат их и прохлада сада составляют резкий контраст с пыльной улицей. <...>

От Евграфа получала часто открытки, а в конце июня приехал и сам он. Он по дороге купил и прочел нам сочинение Рихтера "Социал-демократические картинки будущего". Он рисует, какой гнет общество испытает при социалистическом строе. Погостил Евграф недолго, так как скоро кончалась его командировка, да и своя работа тянула, и директорские заботы. <...>

Мы здесь окрепли. Так мы жили-поживали, силы набирали, никакой заботушки не знали, если б газеты не читали. Но вдруг все замесились, засуетились, поезда просто ломились от наплыва публики. Билеты брались в бою. Оказывается, переполох произвел роспуск [Государственной] думы. Все боялись железнодорожной забастовки. Не хотелось бросать начатое лечение, но и опасались застрять здесь. <...> Мария Павловна Ярошенко как нас ни уговаривала, но мы не хотели тут застрять. Эта Мария Павловна, теперь громоздкая, любящая покушать, когда-то, до замужества, были пассией Некрасова. Как странно это теперь при виде такой ожирелой туши, хотя она еще деятельная и занята своим дачным хозяйством. Жильцы ее — всё известности, и не малые, больше из медицинского мира. Есть у нее и огород свой под горой. На гору, хотя зигзагами, она еле идет. Жаль смотреть.

Перед роспуском [Государственной] думы появились в галерее нарзана карточки депутатов, особенно левых фракций.

Только еще июль, а мы уже в городе, но рады, что все вместе, хотя в такую прекрасную жаркую погоду сидим в комнатах. Пока было спокойно, но сейчас слухи плохие ползут. Финляндия бурлит, в Кронштадте тоже ненормально; идут повсюду забастовки, ждут с тревогой всеобщей¹¹⁷. Разговоров и споров злободневных не оберешься.

Сестра моя, Миля, ликует и восхищается Выборгским воззванием¹¹⁸. Спорила она со мной ожесточенно, не раз называя меня черносотенкой, благо я не обидчива. Она ярая красная, радующаяся всякому противоправительственному проявлению, оправдывающая террор; меня же кровь всегда ужасала, к тому же я отличаюсь скептицизмом. И вот у нас нашла коса на камень. «Да, председатель [Государственной] думы Муромцев и некоторые члены ее совершили геройский поступок,

благородный порыв, но, по-моему, неблагоприятный. Донкихотство какое-то, так как следствие его одно — возмездие со стороны правительства, и только кое-где произойдут беспорядки. Ну, как же можно было ожидать, что вдруг сразу все крестьянство необъятной Руси узнает их призыв, да еще из Финляндии, не платить податей и не давать рекрутов. Для этого надо немалое время, а пока наш богатырь раскачивается, так роса очи выест. Пока что всех этих буйных головушек посадят на некоторое время одуматься, поразмыслить и вспомнить, что Дума только "думушка, министерству кумушка, исполнительная только власть"». Я это говорила, а сестра кипятилась и все повторяла:

— Не может этого быть! Не смеют, не смеют!

— Вот те на! У нас-то? Уж коли правительство спокойно спало, не убоявшись галлюцинаций тысячу смертников, то ему ничего не стоит засадить одуматься кучку депутатов.

Евграф обыкновенно слушал наши споры и молчал, а тут не вытерпел и начал урезонивать, что стоит нам только подождать, и мы увидим, кто из нас дальновиднее. Сестра старалась видеть то, что ей хотелось.

Евграф очень боялся между нами ссоры по поводу подобных разногласий. Он был очень миролюбив и уважал чужие мнения, но был резок и беспощаден, если замечал в человеке желание сподличать или компромиссы с совестью. Да и то не всегда, стараясь оправдать обстоятельствами, побудившими человека на это. Так, раз его товарищ по Горному, взяв у него очень ценные книги по математике, такие, которые уже не купишь, продал их. Евграф прервал с ним отношения, назвав его вором. Но когда узнал впоследствии, что тот это сделал из-за крайней нужды, то простил его, поддерживал отношения до самой смерти.

Запасаемся на случай забастовки провизией. Чуется что-то. Эту Думу почему-то звали "Думой народного гнева". Наш народ сильно пьет, и если разбудить в нем зверя, то начнутся ужасы. Они уже и теперь кое-где происходят. Про русский народ Лесков сказал: "Дрянь славянская — навоз родной". Так ли? Его всегда считали "сфинксом". Евграф утешал, что революция с кровавыми эксцессами теперь едва ли будет, так как народы стали культурнее, и социалисты отвергают уже террор.

У нас уже не горит электричество и не ходят трамваи, хотя на пароходах работа кипит. Идешь, бывало, по набережной — смолистый запах от каната и пароходов, свистки, визг якорных цепей, сутолока погрузки и разгрузки переносят к воспоминаниям о Лязге. Но здесь не услышишь: "Эй, ухнем! Эй, ухнем! ... Сама пойдет... Сама пойдет... раз, два, дружно!" Здесь иностранцы, культура — подъемные краны, лучше. А чего-то жаль. Машина от многих отнимает работу и, главное, у самых бедных.

Душа болит за Евграфа, ему приходится быть директором в такое смутное время, да еще в заведении, не имеющем средств. Вводя экономию, он многим не по душе, хотя Совет профессоров идет с ним в ногу, и ему удастся корригировать экономические дела Горного.

В пожарном отношении Горный был неблагополучен: печи дымили, и во многих отношениях надо было быть начеку. И вот Евграф устроил на дворе демонстрацию пожара, пригласив брандмейстера учить тушить его. У нас ведь всегда — гром не грянет, мужик не перекрестится.

Все мы настроены тревожно, а тут еще известие огорошило об убийстве в Териоках члена [осударственной] думы Герценштейна, с которым мы не столь давно обедали вместе у Шимковых в П[етровско]-Разумовском. При натянутых нервах меня до дурноты напугала Саша, бросившаяся из кухни с криком сама отворять дверь, увидя приехавшего Алексея Федоровича Фортунатова. Он приехал делегатом от П[етровско]-Разумовского института на похороны Герценштейна.

Что происходит сейчас в Москве, не узнаешь: из газет выходят только "Новое

время", "Петербургские ведомости" да "Петербургский листок". Нам одно время присылали даром газету "Россия", очевидно, от правительства. 26 июля стало все спокойно. Но ожидаются беспорядки после окончания полевых работ, хотя аграрные беспорядки не прекращаются.

Недавно был взрыв на даче министра внутренних дел Столыпина¹¹⁹. Сам он невредем, а пострадали сын, дочь его, многие из просителей и служащих. Убит Зинаидой Коноплянниковой усмиритель московского восстания генерал Мин. Было покушение на Каульбарса, идет охота на городских, околоточных и приставов. В Варшаве полиция даже отказывается нести службу. Разве это можно назвать спокойствием? Одна надежда на созыв 2-й Государственной думы.

Семейная наша жизнь идет своим чередом. Женя готовится к поступлению на курсы Лесгафта. Будни разнообразятся празднествами чьих-нибудь рождений и именин; придирка к собранию родных и знакомых: на них идут споры и разговоры о происходящих событиях. Говорилось о будущем строе, решалась проблема брака, общественного воспитания детей; вопросы, в каком духе воспитывать, когда не знаешь, какие требования предъявит будущая жизнь. Мораль вечна. А религия? "Дрянь славянская — навоз родной!" — все вспоминался чудакосватый Лесков. Мне приходилось его видеть у сокурсницы-медики. Она была его гражданская жена, но жил и у нее, и легальную семью не покидал, где у него были уже сыновья-гимназисты, а у курсистки тоже двое детей. Он уже тогда разрешил проблему брака.

Я, ретроградка, и представить себе не могла отдать своего ребенка в чужие руки. У меня птичий инстинкт: я люблю свое гнездо. Все эти разговоры мне казались хороши только до осуществления.

С 1905 г. еще много идет разговоров в обществе о романе Вербицкой "Ключи счастья". Мы оба с Евграфом не читали ни одного ее романа, считая их пустыми и флибульными, судя по критике, где довольно талантливый критик Яблоновский советовал переаглавить "Ключи счастья" в "Ключи от беседки". Впрочем, тогда уже шла некоторая флибульность в литературе: роман Арцыбашева "Санин". "Измены нет! Любовь одна...", — пела когда-то Зинаида Гиппиус в своих стихах. "Не читай ты этой пошлятины! Не пачкайся!" — предупреждал меня Евграф, хотя "Санина"-то оба уже прочли. Я нашла, что, хотя это и не в моем духе, но написано талантливо. Евграф фыркал: "Это самое-то и есть вредное".

Как-то у Бострем зашел разговор на эту тему. Пишут о мимолетных близких встречах. Говорят снисходительно: "Такое уж теперь революционное время". При чем тут революция? По-моему, это распушенность, подумала я, и у меня вслух вырвалось: "Собаки, а не люди". Когда я пришла домой и рассказала, то Евграф меня поддержал: "Именно, это животные, у которых инстинкт руководит разумом". По Спенсеру даже: "Тонкость внешних чувств дикаря не нужна культурным людям; в силу общего антагонизма между деятельностями более простых и более сложных способностей следует, что это преобладание низшей умственной жизни мешает высшей умственной жизни. Чем более душевной энергии потратится на беспокойное и многочисленное восприятие, тем менее остается на спокойную, рассудочную мысль".

Итак, если даже чрезмерное развитие обоняния, как у собак, влияет на высшие центры, то уж нечего и говорить о других крайностях. Кант советует: "Действуй так, чтобы можно было представить себе, что правила твоей деятельности могут быть возведены во всеобщий закон, обязательно для всех, чтобы при этом не вышло никакого противоречия". А Бернс: "Muss ich selig sein im Paradiese, dann will ich lieber in der Hölle leiden"*.

А О. Вейнингер в своем труде "Пол и характер"

*"Чем быть мне святым в раю, я буду лучше грешником в аду" (нем.).

обобщает эти противоположности так: "Искусство созидает, наука разрушает чувственный мир, поэтому художник эротичен и чувственен, а человек науки вне чувственности". А нам кажется, много зависит и от воспитания.

То решаются мировые вопросы, то происходят не стоящие выведенного яйца распри между Евграфом и Женей из-за больного кота Макса, которого ей жаль отдать в больницу. Конечно, бывали у него и со мною стычки — без этого не проживешь, тирания мелочей легко подсовывается, а мы в пылу препирательств их раздували. Например, за обедом говоришь горничной:

— Разве с этой стороны подают блюдо?

— Ну, не все ли равно, Людмила. Ведь это сущие пустяки: справа ли, слева ли. Правая, левая где сторона? — обращается Евграф, смеясь, к детям.

По уходе прислуги у нас разгорается сыр-бор.

— Так мне никогда не выучить прислугу, — говорю я.

— Пустякам учишь, небось стирать-то она тебя научит. Вот вас в институте выучили не есть с ножа, а между тем с него очень удобно есть, и я, не обращая внимания, что не принято, ем себе преспокойно.

— Ну, верно, и считают тебя невоспитанным.

— И пускай себе считают на здоровье.

— Пошел же почему-то про тебя слух, что ты еврей.

— Ну, это скорее пущено, чтобы оттеснить меня от казенного пирога.

— Что правда, то правда! Но если она обольет или вывалит жаркое на платье, тогда что?

Я, конечно, чувствовала, что по существу он прав, но нельзя же мне было допускать дискредитировать себя перед прислужой и особенно при детях, в чем он потом со мной соглашался, но не всегда выдерживал такт. Он жил с волками, но не был по-волчьи. Это была натура самобытная, незаурядная. "И чудака же ты, Евграф", — так и слышатся слова покойного зятя Николая Николаевича с его милой усмешечкой на симпатичном лице.

Потом я старалась делать замечания уже после, на кухне. Зато знакомые меня считали прекрасной хозяйкой, и многие прислуги благодарили за выучку. Иные из них говорили: "Вы, барыня, строгая, но, правда, нельзя же нас не учить; а уж барин — предобрешущий". Мы оба были вспыльчивы, но отходчивы. Я, бывало, после яркой вспышки сейчас же делаюсь как ни в чем не бывало, редко малость надуюсь, а Евграф, как более мягкого характера, приходил извиняться и мириться. Вообще у нас чередуется ничтожное с великим, смех и горе.

В сентябре приехал уже совсем Август Эрнстович. Все мы ему обрадовались, особенно Евграф. Он ему поручил привести в порядок минералогический музей Горного, за что тот и принялся.

Стихия революции надвигается, исподволь подтачивая твердо веками державшиеся устои быта. Женя без году неделя как на курсах, а уже там политическая сходка и идет голосование: учиться или не учиться. Большинство, однако, за занятия.

На первой же лекции Лесгафт, знакомя с растворимостью вещества, упомянул об Евграфе Степановиче как о великом ученом, преданном своему ученому делу и фактически создавшем новую науку — кристаллографию.

Опять закрыт университет, требующий автономии, а на курсах Лесгафта поговаривают из солидарности пристать к нему. Бедный Петр Францевич только что воссоздал Вольную высшую школу¹²⁰. "Служите науке, а она сама уже послужит делу общественного воспитания", — внушал он это своим помощникам, а администрация его преследовала как угождающего политическим партиям и соучастника их. Там сходки чередуются все же с лекциями.

Евграф находит, что у Евгения Степановича не все благополучно. Он сохранил старые знакомства и связи. Общество склоняется более к левому направлению,

а эти переметнулись из либеральничавших в правый лагерь. Так, один из них, по фамилии Грушевый, был окрещен нашей молодежью за его воззрения, схожие с Крушеваном, Грушеваном. Они оба приписывали все беспорядки козням еврейства, хотя между ними большая разница. Крушеван орудовал против евреев погромами, а этот только болтал языком. Потом неприятна нам была частая встреча с особой, которая всю жизнь водила за нос Евгения Степановича и своего мужа, тоже инженера. Она цепко вцепилась в того и другого. Евгений сначала надеялся на развод, но такой особе это было невыгодно. Ей тогда не на что было бы разъезжать по заграничным курортам. Она, когда-то красивая, а потом подкрашенная, подваченная, с разными маникюрами и педикюрами, всегда нарядная, не оставляла ни на один день дядю Геню без своего визита зимою. Евграфа страшно возмущала такая бесхарактерность брата, но сначала ради матери, а потом и из жалости к брату он ее терпел.

Лесгафта послали на чистый воздух власти в Выборг. Он нездоров. Курсы его присмирели, и все с тревогой ожидают от него телеграмм, а он в них тревожился за курсы. Вот человек, не дававший никому из них спуска в своих научных требованиях, а был любим почти всеми, близко соприкасавшимися с ним.

14 декабря все общество было взволновано событием, происшедшим в Фонарном переулке. Убито много посторонней публики и лошадь брошенной бомбой с целью ограбить двух таможенных чиновников. Сопровождавшие их жандармы разбежались. И это происходило в 12 часов дня, а бомбисты скрылись. Вот тебе социалисты и отвергают террор! А на курсах Лесгафта, начавших было благополучно функционировать, опять сходка. Один агитатор даже проповедовал: "Такое ли теперь время, чтобы заниматься!" Но большинство решило учиться. Петр Францевич между двух огней: полицией и молодежью, подзадориваемый извне. Весь ноябрь он был в тревоге о закрытии курсов, а в начале декабря, демонстрируя препараты, объявил, что сдача препаратов слушателями не состоится, так как его требует к себе градоначальник, и курсы будут закрыты на неопределенное время, потому что все время шли сходки с посторонними лицами.

Нам было очень неприятно, что Женя начала было серьезно готовиться к экзаменам и вошла во вкус занятий и вдруг такое разочарование. Это так действует озлобляюще на молодежь, чего, собственно, и добиваются агитаторы, а наше правительство до того было недалекосвидно и тупо, что этого не понимало и не давало учиться и тем, кто этого жаждал и не занимался политикой.

Получили от Леночки из Симферополя письмо, что она с матерью приедут к нам на Рождество. Они ездили после смерти дяди Вани в Болгарию к родне Фроси. Болгария все еще надеется на Россию. Леночка — 17-летняя гимназистка, кумир и деспот матери. Пенсия их не удовлетворяла, и приходилось нам добавлять им немалые куши. Леночка — избалованная истеричка и, как таковая, эксцентрична, способна, очень недурно пишет стихи.

Пошли елки. И у нас по традиции в сочельник, в Женины именины, зажигали елку. Когда, повеселившись, все разошлись, Евграф и говорит мне: "Хотя елка, собственно,— языческий обычай и явилась к нам от тевтонов, но, если она соединяет и доставляет удовольствие даже взрослым, я даже разыгрался, то что же должны испытывать дети? Мне хотелось бы сделать что-нибудь для младших служащих. Вот не возьмешься ли ты повеселить их ребят? Пригласи их на елку".

И вот у нас в большом зале была устроена громадная роскошная елка. Картонажи и украшения у нас сохранились еще из Москвы, мы сами завернули шоколад и конфеты в блестящие бумажки, наклеив на них картинки, и вышло питательно и эффектно. Это для детей, а для родителей купили каждому ребенку на платье матери. Сестра моя купила каждому из них по игрушке. Пригласили милых наших Бострем и М.Ф. Погребову. Оля Бострем и Мария Федоровна — учительницы школьные, прекрасные педагоги и душевные люди. Они помогли расшевелить ди-

чившихся спервоначала малышей. Потом у нас были такой гам и неподдельное веселье, что даже родители детей, чинно стоявшие у дверей и стен и не решавшиеся садиться из-за почтения к директору, смеялись, глядя на своих ребятишек. Родителям, видимо, были по сердцу подарки на платица, а детишки, не желая расставаться со сладостями в мешках и игрушками, нагруженные по самые подбородки, были преуморительны: глазенки их сияли, щечки горели, ручонки крепко сжимали подарки. Какое удовольствие делать приятное другим, но не всегда это позволяет карман!

При отходе ко сну Евграф меня обнял и благодарил за хлопоты. Он был доволен. Но вот с Графчиком у Евграфа нелады. Он недоволен, что тот не кончает университета. А как кончить, когда только что все затихло? Надолго ли? А жизнь течет, унося в прошлое каждый день.

Женя и Графчик были на студенческом концерте на курсах Лесгафта. На вечере допоздна был сам Лесгафт. Он-таки выхлопотал позволение заниматься с 15 января, но сейчас курсисты ходят с заднего крыльца: парадный ход закрыт. Женя рада занятиям.

20 января [1907 г.] узнали печальную новость о кончине Д.И. Менделеева. Евграфа это опечалило. Он его чтит. В самые его молодые годы химия Менделеева была его настольной книгой, мы ее вместе переплетали¹²¹. Такой гений, а был не ко двору нашей Академии наук. Там требовалась благонадежность, а Дмитрий Иванович не был пай-мальчиком. Вспомнилось смехотворное утешение Циммермана Евграфу, когда выбрали в Академию Еремеева, а не его, что и Менделеева и Сеченова она [Академия] тоже забраковала. Это грустно и возможно только в России. Гении не часто рождаются. Они рвутся проявить себя, а им заурядность: "Вы не наши; если Вы гении, то и так сами пробьетесь". Пробиваясь, сколько сил теряют и многое не имеют возможности проявить. Зависть управляет людьми.

Раз, как-то вечером, это было уже на масленице, получили от Жени с курсов записку: просит не беспокоиться, если она вернется поздно, так как у них сходка. Как тут не беспокоиться! Оказалось, у них были две сходки по поводу оскорбления Петра Францевича представителем от старост разных отделений, т.е. факультетов. Хотя парадный ход на улицу был закрыт, а все-таки собирались сходки из рабочих. Когда Лесгафт запротестовал и предупредил, что уже опять несколько раз градоначальник ему напомнил о закрытии курсов и потому попросил рабочих разойтись, то староста с социального отделения и слушатели-партийцы разрешили рабочим остаться и "не обращать внимания на старика, выжившего из ума и не понимающего потому партийных нужд". Эти молодцы рублили сук, на котором сидели, а считали себя умнее Лесгафта. Большинство было за Лесгафта. Оскорбители начали вилать и обвинять Лесгафта в неправильном освещении и передаче инцидента. Женя была оскорблена за Лесгафта и ратовала в его защиту. Оскорбителей заставили извиниться.

Идут выборы во 2-ю [государственную] думу. Пока побеждают кадеты и левые партии¹²². Настроение молодежи левое. Пока что нет-нет да и происходят экспроприации: среди бела дня в Московском университете какие-то субъекты в масках забрали приготовленное для раздачи служащим жалованье, а присутствующие с поднятыми по приказу руками молча наблюдали.

В Петровско-Разумовском было совершенно нападение на правителя канцелярии института, везшего казенные деньги. Для большей сохранности высшее начальство решило вывезти на Монетный двор из Горного музея при Горном институте слитки золота. Я и Вас[илий] Вас[ильевич] Никитин стояли у окна и наблюдали медленно удалявшуюся по набережной процессию, точно везли большую тяжесть; экипаж сопровождали конные жандармы. Я заметила:

— Это настоящие похороны, ему, как умершему, уж никогда, видно, не вернуться в Горный.

— Вот-вот, и у меня такое же впечатление, — сказал Василий Васильевич.

Когда пришел Евграф, отделившийся от хлопот с проводами золота, и тоже стал смотреть на удалявшиеся сокровища, то сказал со вздохом:

— Ну, у меня точно гора свалилась с плеч, когда я благополучно развязался с ним, но музей обеднел. Что делать? Не моя в том вина. Жаль!

17 марта в Горном был концерт и бал в пользу неимущих студентов. Евграф со мной под руку в сопровождении дочерей, поднявшись по лестнице, направился в зал. На площадке, где отбирали билеты, столпилось много студентов. При виде Евграфа, они стали аплодировать и устроили ему овацию, обсыпав нас всех конфетти. Не привыкшие к таким овациям, мы, смущенные, но довольные, вошли в зал и заняли места не в 1-м, а во 2-м ряду, чтоб быть подальше от сцены. На это уже было обращено внимание. Как бывают люди мелочны!

С нами была Маруся Майер, ее родители не могли быть и поручили ее нам. После концерта Евграф повел нас всех смотреть устроенные собственноручно студентами из картона гроты, штольни и даже кабинет алхимика, где в углу прежде всего бросался в глаза и поражал скелет человека и развешенные по стенам черепа разных животных, повсюду колбы, реторты, громоздкие фолианты на разных языках действительно производили впечатление чего-то древнего, таинственного при сумрачном освещении. Но кресло алхимика возвращало к действительности. Это кресло было Евграфа Степановича. Заведовал этим кабинетом студент Болдырев, и у меня промелькнула мысль: не намек ли это на ученость директора? Ну, что же, хорошо! После мрачного этого кабинета пришлось испытать совершенно противоположное впечатление — предлагали посмотреть в зеркало, где все лица представлялись мертвецами или всевозможными рожами, и после молчаливого почтения в кабинете алхимика здесь стоял неумолкаемый хохот, выкрики и говор. И придумают же! Симпатичная же эта молодежь! <...>

Евграф ушел, а я осталась с девицами посмотреть на танцующих. Графчик и даже Купфер отплясывали. На площадке подле двери в зал в киоске продавала шампанское хорошо нам знакомая еще по Турьинским Рудникам С.В. Литауер. Я пошла поискать Марусю, куда-то скрывшуюся, и, увидав ее облокотившейся на перила этой площадки, подошла к ней. Софья Владимировна предложила мне бокал шампанского. Я могла положить только 5 руб., так как, отвалив большие деньги за билеты, карман больше не позволял. Около М-те Литауер сидело несколько расфранченных дам, мне неизвестных, которые оглядывали мое скромное черное шелковое платье без шлейфа. Позже, уже дома, Маруся мне сказала, что жалеет, что, придя к ней, я помешала ей дослушать интересный разговор между Литауер и этими дамами, очевидно, из "горного" мира. Они удивлялись, что "наша директорша так скромно одета, верно, у них очень скудные средства". М-те Литауер, как нашу знакомую, они расспрашивали про Евграфа и про всю нашу семью. Литауер на это ответила: "Да, у них больших средств нет, кроме заработка, но они такие необыкновенные люди, что не пожалели денег и купили дом в Рудниках для бедного больного, безногого Бутова". Литауер еще не знала, что Евграф тратил все профессорское жалованье на устройство научного кабинета. Мне понравилась наша рекомендация Софьей Владимировной, но не думаю, что эти дамы одобрили наш поступок. Кто знает, как они ее поняли?

Мне рассказывали, что при назначении Евграфа директором мир Горного института был как бы шокирован. Кто такой Федоров? Он был неизвестен в их мире. Они не подозревали, что он уже мировая известность, а кто и знал, то замалчивал. Недоброжелателей у Евграфа было немало. Однако студенты оценили Евграфа. Чуткую молодежь не проведешь. <...>

Прилетела первая ласточка, хотя она одна весны и не делает, — Художественный театр. <...> Я взяла на "Драму жизни" Гамсуна. Вот тяжелая-то вещь! <...> Женья поехала на "Горе от ума" и на "Три сестры" Чехова. На Чехова поехал и Евграф, он его очень любил и мог читать по несколько раз. Оба они недолюбливали

партийность, и Евграф не раз повторял слова Чехова: "Партийность, особенно, если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха". Конечно, в единении — сила и, где нужна сила, там играет большую роль партийность. А большой ум требует размаха.

По поводу этих произведений шли интересные и жаркие разговоры. Евграф осуждал Грибоедова за то, что Чацкий полюбил у него глупую Софию, а я за то, что он рассыпал бисер перед свиньями; другие спорили, что надо учить людей, а то дураками и останутся, а Евграф решил, что Грибоедову нечего было бы и писать. "Горе от ума" — вечно: всегда будет больше дураков, хотя больше будет образованных. Он нашел, что в "Трех сестрах" Чехов великолепно показал русское безволие при прекрасных намерениях, без инициативы — только хныканье. Евграф очень редко бывал в театрах, но все же не был им чужд, но он во всем был оригинален. Шляпина, этого кумира публики, он не любил за то, что он любитель денег и недоступен для бедноты, и потому не ехал его слушать, когда представлялся случай.

Но вот как-то поехали мы слушать Мазини в "Риголетто". Декорация изображает летний пейзаж. Кущи деревьев, цветущие кусты освещает полная луна. Так и чудится поэтическая, чарующая ароматная теплая ночь. Налево решетка сада с калиткой; выступает, крадучись, тень, и тенор Мазини страстно поет. Эффект большой, зал замер в восторге. Любовник осторожно пробирается к возлюбленной, но... Мазини дернул калитку и сорвал ее с петель. Да хоть бы поставил, а он старался нацепить ее на петли. Иллюзия и очарование пропало. Послышались даже смешки и шиканье. Евграф передернул плечами и потом долго не мог успокоиться и всю дорогу на извозчике возмущался, зачем он поехал: "Стоило ехать смотреть такого болвана". Я смеялась, а Евграф кипятился из-за этого пустяка. За что бы он ни брался, он отдавался душою делу, и даже тут. Я защищала Мазини. Вообще итальянцы игнорировали игру. <...>

Хотя Евграф уже втянулся в практическую работу и не раз говорил, что ему хотелось бы во что бы то ни стало привести запущенные дела Горного в порядок, но поговаривал еще чаще о том, что оставаться дольше положенного трехлетия директором не желает и даже, может быть, придется уйти и раньше прямо в отставку. Это меня заботило.

После жизни в Турьинских Рудниках и в Петровско-Разумовском нас тянула жизнь среди природы, но как это осуществить? Если Евграф выйдет в отставку, хорошо, если с пенсией. Я долго ломала себе голову, обдумывая, как это осуществить, тем более что лихорадка и корь сильно ослабили Милу, даже Женю. Директорские занятия удерживали Евграфа при Горном, значит, приходится жить поблизости от Петербурга. Мои близкие знакомые Копчинские жили зиму и лето в Териоках по Финляндской железной дороге*. Териоки — у моря, воздух там полон озона, купанье в море или соленые ванны, близко от Петербурга, хоть каждый день езди. Даже если Евграф выйдет в отставку, то поселимся там; все же будет свой угол, заведем корову, кур. Будет дешево и здорово. Но... Это "но" вечно на дороге. Чтоб купить дачу, нужно немало денег. Как я ни старалась прикапливать, но мало еще, наверно, для дачи наберется. Мне помог Костя Копчинский найти хорошее уединенное местечко за баснословно дешевую цену с двумя дачками. Хозяин продал ее в рассрочку и надстроил у большей дачки верх. Вышло дешево и мило. Евграф просто не верил, что за такую дешевую баснословную цену у нас своя дача: "Воображаю, какая это дача за эту цену!" Он не ожидал еще, что их две. Наконец, у Жени закончились благополучно занятия на курсах. Пригласив гостить Шуру (у Володи Медицинская академия закрыта до октября)** , мы в конце мая переехали на дачу с кошкой и канарейкой, оставив Евграфа на

* Ныне г. Зеленогорск. — *Примеч. сост.*

**Шура и Володя — племянники Е.С. Федорова. — *Примеч. сост.*

Якова*. Сестра моя, получив льготный день на службе, субботу, в пятницу приезжала к нам и уезжала утром в понедельник.

Подошли Троицын и Духов дни. Евграф, наконец, мог выбраться на дачу. В пятницу под вечер мы пошли встречать. Приехали Евграф, Миля, Сашенька Копчинская и Яков. Меня сильно интриговало, какое впечатление произведет на Евграфа дача. Я пошла с ним вперед. Вошли мы в наш лесок, и я нарочно веду его мимо дачи и, когда прошли ее, говорю:

— Что же ты минуешь нашу собственную дачу?

— Как, неужели это наша?! Такая большая?! А там что же виднеется?

— А там еще наша маленькая.

— Тоже наша?! Ну, и умудрилась же ты!

Евграф был очень доволен. Конечно, он приехал не без работы; но он мало сидел в кабинете, а все разгуливал по только что устроенной аллее взад и вперед, обдумывая что-то, и даже иногда кормил кур крошками и очень потешался, когда они бросались и скакали, подхватывая высоко пищу. Хотя погода и не особенно сначала благоприятствовала их приезду, но все много гуляли. Троицын день 10 июня простоял зато прекрасный. Далеко и много ходили днем. А так как по новому стилю это был канун Ивана Купалы, празднуемого у финнов зажиганием костров, то вечером по всему пляжу там и сям пылали громадные костры, и даже их видно было из сияющего электричеством Сестрорецка. Над морем в дымке спокойно взидала и мирскую суету холодная луна, а море от ее лучей блестело, как гигантская рыба чешуя. Красивая была картина, хотя нечто подобное нам пришлось видеть в Гунгербурге. Евграф — неутомимый ходок: он день и вечер гулял.

Все идут разговоры и разные толки о роспуске [Государственной] думы, и все вертятся на этой теме. Наши уехали и стало пусто без них, хотя я это лето все провела в хлопотах: устраивала дорожки; у меня был лес, тропинка к даче и только, а сейчас за подстрижкой деревьев, посадкой ягодной рассады и кустов, полкой, поливкой цветов много времени уходит. Евграф в свои приезды иногда колет дрова. <...> К нам часто приезжали погостить знакомые и Купфер с Евграфом. Мила, Броня и Сашенька Копчинская купались в море. Женя их даже сфотографировала. Устроили экскурсию на трех извозчиках на Черную речку, где дом писателя Андреева. Там очень красивая холмистая местность. Мы любовались ею с перекинутого через речку мостика; заинтересовались плывущей лодкой и катающейся публикой, в которой встал мужчина и начал нам махать шляпой. Оказалось, это был В.И. Бауман. Он жил с семьей на даче в Тюрсево.

Воздух здесь чудный. Напоминает Кисловодск, здесь легко дышится. <...> Все живет и радуется. Чего не достает человеку? Радости жизнью почти нет ни у одного взрослого. Всё думы не дают покою. Медленно, но надвигается гроза. Зачем ждать шквала? Отчего не предупредить бы его реформами, желательными народу? Такая неограниченная власть могла бы много сделать, а тут фигурирует какой-то безграмотный мужик — Распутин¹²³. Это кошмар какой-то! К чему он ведет? Распутин — факт, и даже наша всетерпеливая Русь не хочет с этим фактом считаться.

Женя, пробыв пять дней в Петербурге для варки варенья, без которого Евграфу чай не чай, и доставив ему удовольствие, поиграв с ним в четыре руки, вернулась и порассказала нам о разных экспроприациях, убийствах и ограблениях. Это просто *garpus* какой-то, т.е. повальное помешательство. Просто берет жуть за людей. У нас здесь мир и тишина.

Вот уже вторая половина июля. Ночи темнее и длиннее, скоро конец нашему благодушию. А какой очаровательный воздух! Спим и чувствуем его аромат и через запертые окна. Так жаль покидать рано эту тихую заводь. Но бурливая жизнь дает себя знать, нарушая покой. Так, из газет вычитали, что курсы Лесгафта,

*Служитель. — *Примеч. сост.*

после четырех обысков, не обнаруживших, однако, ничего компрометирующего, закрыты министрами народного просвещения и внутренних дел, так как они решили, что Вольная высшая школа служит не для просвещения, а для распропагандирования слушателей. Женю это известие очень удручило. Она старалась за лето подогнать все пропущенное во время кори. Евграф уверяет, что Лесгафт — необыкновенный администратор и сумеет опять смягчить гнев этих плохих администраторов, которые не на своем месте.

Прошел август, и от Териок одно воспоминание, да куриное царство уже в подвале. Все возвращаются, кто откуда, и происходят радостные встречи после разлуки.

Но все окружающее нас сильно гнетет. Прочли недавно в газетах, что на Надеждинском рельсовом заводе Богословского округа убит Григорий Осипович Сципио. Он, такой еще молодой, красивый, убит; такой хороший дельный человек убит рабочим, с которым он был даже в хороших отношениях. Дело было так: от заведующего заводом инженера Прахова рабочие стали требовать прибавки к жалованью, но он не мог их удовлетворить, так как завод начал работать в убыток, да и не от одного его это зависело. Его окружили рабочие и хотели убить, а Сципио заслонил его и за свою самоотверженность заплатил жизнью. Убили не Прахова, а его. Сципио был хороший наш знакомый. Он провел несколько лет на Урале в экспедиции с Евграфом, где был помощником Лебедзинского. Такие известия хватают за душу.

Приехала из имения племянница Евграфа, Александра Федоровна, и привезла дочку свою старшую, Катю, недурненькую блондинку, для поступления на Бестужевские курсы. На мои именины, 16 сентября, набралось много гостей. Играли на рояле и в разные игры, даже Евграф и Август Эрнестович принимали в них участие. За ужином зашел разговор о курсах Лесгафта. Проскользнула в газетах надежда на их открытие. Говорили, что они очень трудные и из-за этого многие их не кончают. Это правда, но суть-то ведь в знании, а не в аттестате, хотя без него никуда не берут. Советовали Жене их бросить. Александра Федоровна высказала Жене свое мнение, что чем скорее окончить курсы, хотя и не основательно пройти его науки, тем лучше. Женья с ней не согласилась. Лесгафт же советовал: выучить, забыть и опять выучить по несколько раз, тогда будешь знать.

Вышучивали Лесгафта, что он дает свои названия вместо общепринятых, например: вместо клетки — образовательный элемент, вместо шариков крови — тельца и пр. Забывали, что это делает не кто иной, как такой необыкновенный специалист своего дела и педагог. Да и совершенно справедливо: шарик — это что-то неживое, нежизненное, а тельце — значит, живет. У нас разумное заедает шаблон. Вообще старались Жене внушить, к чему ей такая ученость. Женья не сдалась. Д.Н. Артемьев, хотя и был привлечен к этому спору, но, видимо, еще не решил, что лучше. Что лучше для женщины? Конечно, всего хватавшись поверхностно, можно в обществе блеснуть разговорами обо всем, и таких верхоглядов много, да еще с апломбом.

Министр просвещения разрешил открыть курсы Лесгафта, только без социального отделения. Петр Францевич торгуется. Видно, он набрался сил, побывав с И.П. Долбней летом в Швейцарии, хотя Иван Петрович преуморительно рассказывал, как Лесгафт, лазая по горам, ворчал, что они его душат, а сам как кошка прыгал по ним.

За это время у Жени появились новые знакомые — пермячки, приехавшие учиться на фельдшерские курсы. Они показывают их ей и водят к себе на лекции.

У нас играют и поют и "режут" уши Евграфу. При замечательном слухе и необыкновенных своих способностях Евграф был требователен к другим. Так, например, подарив свою работу "Новая геометрия" брату Кати Поповой, Васе, новоиспеченному студенту университета из кадетов морского корпуса и узнав, что он с большим



В.В. Никитин, профессор Горного института. Ученик, коллега и друг Е.С. Федорова

трудом одолел только первую главу, иронизировал над его способностями, которые так расхваливали. Слышишь, бывало: "Как! Вы этого не понимаете? Ну, и головы же у Вас!" На него за это не обижались и потом не избегали обращаться, так как понимали, что у него особая голова. Но разве можно было требовать, чтоб человек способный, далеко не глупый, равнялся с ним, с его гениальными способностями? Особенно он был требователен к сыну; но гений рождается в 100 лет раз, а себя он, очевидно, не считал гением, что сравнивал с другими. Я старалась образумить его, и с годами он как будто сознал, что не всем же доступно то, что ему, и умерил свои притязания на понимание всеми понимаемого только им самим. Однако как еще многие не знали трудности его работ, что наивно удивлялись Жене, как это она не знает всего, что создает ее отец. Они не подозревали, что для понимания его работ нужна большая эру-

диция, а многие ли ее имеют? Даже специалисты по тому же предмету не угонятся за ним: один не знает хорошо химии, другой физики, а многие ли знают математику?

Так как Д.Н. Артемьев все время днем занимался у Евграфа в его научном кабинете, то Евграф часто приглашал его то выпить чай, то завтракать, то обедать и тут, не стесняясь, делал ему при всех замечания и указывал его ошибки. Тот с почтением выслушивал, не обижаясь, несколько смущаясь. Мне казалось, он любил Евграфа, за это он мне нравился. Евграф говаривал:

— Эх, если бы Болдыреву да усидчивость Артемьева!

— Ты ставишь по науке Болдырева выше Артемьева?

— У Артемьева, к сожалению, хромает математика. Он, хотя и карьерист, но предан науке, а Болдырев разбрасывается, вдается в политику, разменивает себя на мелкую монету.

Иной раз у Евграфа вырывалось:

— Тот негодяй, кто не работает.

Петровско-Разумовское оставило нам гибельное наследство — малярию. Она время от времени давала себя знать. Евграф, чтоб подбодрить и отвлечь внимание от болезни, своими возгласами: "Хворают только те, кто не желает заниматься", — только раздражал и подрывал самоуверенность. Вообще энергии у него был непочатый край. Даже родные Дмитрия Николаевича обращались к нему с их личными семейными недоразумениями, прося воздействовать на него. Да и не один этот случай, а много других, где Евграф избирался судьей. Так, между Эрном и Н.С. Успенским он исполнял роль судьи и миротворца. Они его оба избрали. Он был для них авторитетом. Переписка тянулась чуть не год. Успенский исписывал целые тетради, благо прекрасным почерком. Евграф смеялся: "Вот никогда не ожидал попасть в судьи".

Вот уже середина октября, а точно лето, ходи хоть без пальто. Василий Васильевич Никитин при директорстве Евграфа согласился быть инспектором. Студентам было объявлено, что с разрешением директора сходки дозволяются, а они собрали ее почему-то без разрешения. Лезут на рожон. Евграфу и Вас[илию] Васильевичу это большая неприятность. Взволнованный Вас[илий] Вас[ильевич] ходит от студентов к Евграфу и от него к студентам. Узнала полиция, явились воору-

женные городские разгонять сходку, но их в Горный не пустили, студенты сами стали расходиться, а Василий Васильевич препирался с полицией и немало, защищая студентов от арестов.

— Как узнала полиция?

— А ты думаешь здесь нет соглашения? Даже среди студентов, верно, их несколько.

Опять у Евграфа потеря времени на визиты к министру Шипову. Он выразил Евграфу доверие. "С ним можно говорить по-человечески, — как выразился Евграф, — он не такой уж заядлый формалист-администратор". Все обошлось благополучно.

Идут бесконечные выборы в Гос[ударственную] думу. Они у всех на устах. Это уже третья будет¹²⁴. Как скоро они меняются!

Женя на Невском встретила профессора Прянишникова, приехавшего только что из П[етровско]-Разумовского. Только в половине десятого вечера отпустили его к нам дела. Много их, и не все приятны. Директор сельскохозяйственного департамента Крюков бесцеремонно распоряжается всем, и с директором института у него частые столкновения. Прянишников рассказывает, а Август Эрнстович: "Как? Как? Это самое страшное есть!" И так, нас не забывают прежние коллеги Евграфа. Но их интересы уже не так захватывают нас.

Артемьев познакомил с нами приехавшую к нему жить сестру, Евгению Николаевну, недурненькую барышню. Так как у Жени вследствие закрытия курсов оставалось много свободного времени, то она знакомила ее с Петербургом. Они ездили вместе в театры, на концерты, иногда в сопровождении Дмитрия Николаевича.

Как-то после обедни в память Чайковского в А[лександро-Невской] лавре, где так чудно пели артисты, зашел у Евграфа с Артемьевым разговор о религии. На вопрос о Боге Евграф всегда отвечал: "Не знаю". Оказывается, и Дарвин на вопрос о борьбе существования с идеей Бога тоже отвечал: "Не знаю". Не отрицал, однако. Многие смешивают веру в Бога с религией. Религий много. Чья правильной? Каждый народ считает лучше свою. Наконец, они перешли на философию, не уступая в знании учения философов один другому, так что Женя удивлялась, когда это они успели познакомиться со всем этим. Рядом с философскими рассуждениями о Боге жизнь показывает уродливые формы веры в виде иоаннитов — последователей священника отца Иоанна. Сам отец Иоанн был, несомненно, истинно верующий бессеребренник, а окружало его стадо изуверов, про дела которых мало кто знал. И вот на сцене появилась пьеса Протопопова "Черные вороны", где описаны чуть не уголовные дела этих юродивых, так как они крали детей, особенно девочек, в свою секту с богородицами и Иисусом в лице Иоанна Кронштадского; это были дети их духовного (не плотского) брака. Детей заставляли работать и, продавая их изделия, существовали. При подкупах полиции дети не могли быть разысканы родителями. Союз русского народа, по прозванию "черносотенцы", стал требовать снятия со сцены этой пьесы. И вот, когда она должна была идти в последний раз, наши взяли ложу, и даже Евграф поехал. Были и Артемьев с сестрой.

После театра опять шли разговоры о религии и о Боге, хотя Бога можно только чувствовать. Религия, это прибежище человека в горестях, извращена, сделана чем-то внешним. Недаром Достоевский писал, что, приди опять на землю Христос, то его распяли бы снова. Однако это христианство дало идею единства человечества во всей ее глубине. Присущая, однако, человеку какая-то жажда веры — нечто сверхчувственное или это прививается воспитанием? Не знаешь! "Все знают и всё понимают только дураки и шарлатаны", — писал А.П. Чехов. Известен странный факт: взрослая дочь Герцена, воспитанная без понятия о Боге и религии, придя в костел из любопытства, стала потом яркой католичкой. Известный наш историк Соловьев немало претерпел неприятностей за свою религиозность от студентов-нигилистов. Достоевский, Л. Толстой, Гоголь и многие другие были ве-

рующими в Бога. Толстой даже снят молящимся. А знаменитый хирург Пирогов писал в своей книге "Вопросы жизни": "Меня несколько не шокирует происхождение человека от обезьяны (Это не мешает ему веровать в Бога и преклоняться перед крестом Христа. — Л.В.Ф.) Но можно опасаться другого — как бы человек не обратился опять в обезьяну". Да, с разными "Ключами от беседки" это легко возможно. Даже декабрист Пестель выразился так о материализме, как записал А.С. Пушкин: "Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse"*. Но не наоборот. Ну, да эти вопросы — дело совести каждого человека и подлежат индивидуальному решению каждого. Приведу лучше письмо Тиме (математика) к Евграфу, хорошо характеризующее их обоих:

«Многоуважаемый Евграф Степанович!

Не зайдете ли Вы завтра в библиотеку для присутствия при трогательной сцене: я буду извиняться перед Дементьевым за слово "дурак". При прежних директорах, когда назовешь его дураком, он не ходил жаловаться, но отвечал обыкновенно тихим голосом: сам дурак. На что я отвечал ему: "И прекрасно, значит, мы оба дураки". Нынче он пошел с жалобой к Вам. Я обругал его дураком после того, как я увидел, что он приказал своему писарю записать книгу Königsberger. Biographie von Hermann v. Helmholtz в XII разряд: Химия и Технология — на букву "Н" вместо того, чтобы записать ее во II разряд: История, Биография и Нумизматика — на букву "К".

Таких бессмысленных записей сделано им множество, и невольно выскочит слово "дурак".
Готовый к Вашим услугам.

Г. Тиме.

Евграф заставил Тиме публично извиниться перед Дементьевым. Что, [господин] профессор, с выборным-то директором повеяло, видно, иным духом? "Хотя мне уже и жаль старикашку, но надо же его распушенность подтянуть. Какое он имеет право оскорблять других?!" — говорил мне Евграф при рассказе о сцене извинения. Добрая душа была у Евграфа, но с Тиме все, как с гуся вода.

<...> Как-то сошлись у Евграфа Долбня и К.В. Аркадакский, корреспондент от "Русских ведомостей" в Государственной думе — он проживает тут ради нее, а она молчит, ей уже опять зажали рот. И.П. Долбня зол на студентов за их самовольную сходку и обижен за Евграфа; кипятится: "Мальчишки, баранье стадо за коноводом, не ведают, что творят! Ведь они Вас подводят, Евграф Степанович! Такого директора не щадят. Драть их надо, драть, как прежде драли ребят, как сидоровых коз! Ведь это же дети, которые не понимают, что творят. Какого им еще рожна надо?! Это не им надо, а тем, товарищам, которые делают революцию, им лишь бы была смута; а студентам надо учиться, учиться, ведь и после революции нужно ученье. Да! Драть, драть!" Говорил он горячо, страстно, делая при этом такие выразительные гримасы. Мы слушали только. Он говорил как бы с ненавистью к студентам, но чувствовалось у него такая горячая любовь к ним и такая боль за них, что он со всевозможными гримасами и даже рожами на своем некрасивом, но чрезвычайно умном лице, пробуждал у нас всех большую симпатию.

До декабря в Горном было все благополучно. Студенты уже мирно устраивали декорации к своему ежегодному балу. Вдруг узнаем об увольнении Лутугина из Геологического комитета директором его Коноваловым, бывшим раньше директором Горного. И это несмотря на то, что Лутугину пришлось немного не закончить составляемую им карту по Донецкой области, очень важную для коммерческих целей. Начали поговаривать о личной ненависти Коновалова к Лутугину еще со времени его директорства в Горном, так как и в Горном начались уже подкопы под Лутугина. Евграф заявил, что и он с уходом Лутугина подаст в отставку. Совет профессоров решил тоже уходить за Евграфом, и даже студенты. Евграф смеялся, что студенты тоже собираются подавать в отставку; а между тем занятия у них на всем ходу, и они, как муравьи, хлопотливо

*"Сердцем я материалист, но мой разум этому противится" (фр.).

бегают по всем направлениям. Не один, так другой администратор затевает тревогу.

По обыкновению, 10 декабря, в именины Евграфа, у нас собралось много народу за обедом, а ужинали даже на два стола. В.И. Бауман говорил Евграфу, что Бехтерев, директор Медицинской академии, не зная, куда деваться с своими новооткрывающимися неврологическими курсами, предлагал Лесгафту уступить дом, дарованный ему Серебряковым* для Вольной Школы, так как его курсы уже разрешены, а Лесгафту Столыпин не разрешает, но Лесгафт не унывает, выжидает¹²⁵.

11 декабря состоялся студенческий бал. Я не пошла, так как пришлось бы делать нарядное платье, решила лучше отдать эти деньги бедным студентам. Евграф пошел с девицами. <...> Концерт был хорош: пел Фигнер, Сладкопевцев смешил своими анекдотами и подражаниями; декорировано было удачно. Было устроено как бы спускание в шахту. Становились на площадку, как бы готовясь к спуску, и казалось, что спускаются, — от вида поднимающегося занавеса, изображающего досчатую стену в действительности. Как бы спустившись, проходили шахту, т.е. коридор, превращенный в нее картоном. <...> Евграф вернулся, прослушав концерт; удивлялся молодости Фигнера: "Уже седой, а голос молодой; как мальчик скачет по лестнице, а ведь он куда старше меня". <...>

В жизни рядом с пустяками уживается и более серьезное. Так, в этот день пришла бумага от Горного департамента, что Лутугин считается уволенным из Горного института без права служения на государственной службе, даже и по вольному найму. Евграф считал это увольнение неправильным, но Лутугин просил не поднимать из-за него истории. <...>

Во все три Государственные думы выбирался Е.Д. Стратанович, но он каждый раз отказывался, не желая покидать Федоровский музей в Т[урьинских] Рудниках. К тому же он не верил в пользу думских заседаний. Перед праздниками Рождества он приехал к Василию Васильевичу и прямо с вокзала пришел с ним к нам. На праздники кто уезжает, кто приезжает. Артемьев с сестрой приходил прощаться и уехал в Нижний Новгород. Сестра его уже давно рвется туда, а ему неохота ехать. Евграф ему сочувствует, говорит: "Вот я это понимаю; ему трудно оторваться от любимого дела, он втянулся уже в него". А вид у него неважный, и Август Эрнестович уговаривает его не ехать. С Москвой у Артемьева еще не совсем порваны связи, хотя с сентября уже он перебрался заниматься к Евграфу. В то время он писал из Москвы между прочим: "Вы не можете себе представить, как я доволен, что ухожу из Московского университета, так как теперь там у нас такая безалаберщина и запустение, что прямо неприятно даже прийти в кабинет, а не только заниматься. Кроме полного отсутствия руководителей, всюду чувствуется страшный застой и рутина, между тем как у Вас видишь кипучую деятельность и расцвет научной деятельности... Глубокопреданный Вам Д. Артемьев".

У нас в сочельник уже всегда зажигается елка, а в первый день у Бострем в школе очень интересная елка с пением, с разными представлениями и танцами школьников, с раздачею им подарков. Учитель пения был превосходный. Он быстро выучивал ребят петь без фальши, точно у всех был превосходный слух. <...>

Евграфу не до елок. Стратанович каждодневно у него занимается. Приехал Виктор Степанович [Щербаков] из Саратова. Евграф сидел с ним, разговаривал и вдруг встал, перебирая пальцами усы, и начал ходить взад и вперед по столовой. Ну, думаю, пошло у него бродить в голове; стараюсь занять гостя разговором, а Евграф и рад, ходит уже по всей анфиладе комнат. Виктор Степанович,

*Описка, правильно — Сибиряков. — *Примеч. сост.*

что-то вспомнив интересное, устремляется за ним. <...> Очень трудно бывает привести Евграфа к действительности в это время, разве кто придет другой. Побывал у нас и Федя Фортунатов и рассказал, что Константина Алексеевича, сидевшего в тюрьме, выпустили и высылают в Псков на 2 года. Я думала, он станет ученым, а он теряет время по тюрьмам, а у него все задатки ученого есть.

Побывал у Графчика его сотоварищ по гимназии и университету Д. Они оба одновременно сидели, только в разных тюрьмах и потому разное испытали. Это ли, или его недавняя женитьба изменили его в корне. Из социалиста он стал ретроградом до такой степени, что теперь отвергает все, чему поклонялся прежде, отвергает равноправие женщин не потому, что у них иная конструкция, а потому, видите ли, что женщина создана для мужчины. Вот как жизнь меняет воззрения людей!

Незаметно подкатил новый 1908 г. Встретили его по обыкновению дома, все вместе, музыкой, пирожными, с рюмкой наливки. Трудное наше время, выбивающее из колеи занятий. В обществе большие разногласия: для одних Государственная дума — спасение, для других — крамола, хорошо что на одном пункте сходятся взгляды: на вреде Распутина для царской семьи, но и то советуют из уважения к царствующему дому терпеть. Доколе же?

В газетах появилось объявление об открытии Психоневрологических курсов в конце текущего января; и сказано: помещается институт, будто пока, в Биологической лаборатории (курсы проф. Лесгафта), каковое помещение, естественно, является самым подходящим и т.д.¹²⁶. Вот это пока дает хоть некоторую надежду на открытие курсов Лесгафта. А пока Женя занялась выжиганием. У нее несомненный художественный талант. Она подарила Оле Бострем разрезной нож, где выжгла миниатюрного волка в поле превосходно. Все любовались. Из-за ужасов революции 1905 г. ей пришлось прекратить ученье по рисованию.

Приходит ко мне как-то Евграф и говорит:

— Ко мне собирается приехать заниматься англичанин — бакалавр Оксфордского университета; как ты думаешь, как и где его поместить? Нельзя же ему жить далеко от Горного, да и дорого.

— У нас места много, но кто его знает, что он из себя представляет? И мы, и'он будем стесняться друг друга; наша повседневная музыка может ему мешать заниматься и читать. Посели его у кого-нибудь из одиноких, тихо живущих, — сказала я.

И Евграф решил поразузнать. Ждали англичанина с интересом. Больше всех тормошился по этому поводу Купфер. Кажется, он и предложил поселить англичанина у библиотекаря Дементьева.

Наконец 25 января Евграф объявил, что завтра здесь будет англичанин. Мы с большим любопытством ждем. Англичан почему-то представляют напыщенными, но сколько мне ни приходилось с ними встречаться, они были все очень симпатичными людьми. Настало завтра. Перед обедом второпях прибегает Евграф и, смеясь, говорит: "Приехал англичанин Mister Barker! Я его приглашаю к нам обедать, а он замялся и в смущении говорит, что у него нет фрака. Да зачем же Вам фрак? У нас не переодеваются к обеду. На Вас и так приличный костюм. Он обрадовался, а я пришел тебя предупредить, что он будет у нас обедать".

Настал час обеда. Появились приглашенные Артемьевы, брат и сестра, Купфер, и Евграф ввел мистера Баркера. Высокий, худошавый полублондин, с усиками, в очках молодой человек, скорее красивый, чем некрасивый. Представил нам его Евграф и сказал: "Мистер Баркер уже два года как изучает русский язык". Уселись. Я во главе стола, слева, как всегда, Евграф, а справа Баркер. Евграф спросил, как его имя.

— Томас, — был ответ.

— А Вашего отца?

— Тоже Томас.

— Ну, значит, Вы по-нашему Фома Фомич. Вы согласны, чтобы мы Вас звали Фома Фомич?

Это крещение вызвало со стороны мистера Баркера полное согласие.

Говорить с ним по-французски мне не удалось — он не мог. Евграф и Купфер разговаривали с ним по-немецки, хотя он и на этом языке объяснялся неважно. Сначала Купфер нам переводил, что он хотел сказать, а потом с ним старалась заговорить по-английски сестра Артемьева. Он был разочарован, приняв сначала ее за англичанку, когда узнал, что она русская и неважно знает английский язык. Наконец Женя хорошо с ним разговорилась по-немецки. Евграфу он выражал большую почтительность, к остальным же он внимательно приглядывался; когда его просили говорить по-русски, он очень стеснялся, ему не удавалась буква "ы". Он очень потом смеялся, когда у него выходило не так, как следует, а мы за ним. Евграф его подбодрял, советуя ему не смущаться и продолжать говорить по-русски для практики. И вот он говорил фразу с русскими, немецкими словами, дополняя их пантомимами. Женю за ее короткие волосы, стриженные после кори, он принял за нигилистку, так как думал, что только они ходят стриженные. Его старались разубедить, но он долго почему-то сомневался. А потом удивил нас, спросив: "Правда ли, что все русские дамы курят?" Мы же никто не курили.

Евграфу после обеда нужно было уехать на панихиду по умершему Тюрину, преподавателю Горного института по термодинамике. Когда он вернулся, то была уже половина двенадцатого, а у нас господствовало тут такое оживление, смех и веселье, что мы и не заметили, что прошло столько времени, а Фоме Фомичу с дороги следовало лечь раньше спать. Но он так был оживлен, что не выглядел уставшим и еще долго пробеседовал с Евграфом. Всем нам он очень понравился. Его искренний смех над собой же и его необходимость нам очень понравились.

На другой день Фома Фомич пришел к нам обедать и много говорил с Женей по-немецки. Рассказал, как он кончил школу 17 лет, поступив в нее шести лет; 4 года пробыл в университете и вот уже 5 лет как бакалавр, т.е. по нашему приват-доцент. Сюда направил его профессор Оксфордского университета, порекомендовав специализироваться у Евграфа Степановича. Ему дали командировку. Он нашел Петербург роскошным и красивее, чем то, что он когда-либо видел раньше. Лондон уступает ему даже по архитектуре зданий, а Нева куда шире и величественнее Темзы. Зато у них есть пароход "Мавритания", величайший в мире, на нем есть даже подъемная машина и он ходит от Ливерпуля до Нью-Йорка в 5 суток. Рассказывал об их воскресных днях, в которые ни играть, ни петь нельзя, чтоб не нарушать божественного настроения верующих, только одно церковное можно. "Но есть и неверующие?" — "Да, но мешать другим нельзя". А когда спросили про танцы, то он точно в ужас пришел: они дозволяются только в будни. Спросил Женю, учится ли она где-нибудь и, узнав, что ее курсы закрыты, был изумлен, особенно при объяснении причины. У них прекращают занятия только для каникул; студенты могут сколько угодно собираться и выделять что угодно, небезнравственное. Он вчера, верно, не понял, что Женя — дочь наша, и потому спросил, где она живет, спросил также, где живет Купфер, и Евграф повел его показывать комнату Купфера, через коридор от нашей квартиры. У Фомы Фомича в обоих боковых карманах по словарю: с английского на русский и с русского на английский. В затруднениях он их вытаскивает и отыскивает нужные слова. При всей своей простоте он очень вежлив и внимателен ко всем. Итак, Фома Фомич нас

очаровал своей естественностью, искренностью, простодушием и как бы некоторой наивностью при всей своей учености.

Увел его Евграф в 8 часов, а мы поторопились уехать к Евгению Степановичу, где с энтузиазмом рассказывали о заграничном госте. Дядя Геня выразил большое удовольствие, что в Россию, да еще вдобавок к его брату, приехал учиться ученый из такой культурной страны, как Англия, с ее высокой постановкой в научном отношении. Приехал он на год, и нам уже теперь жаль, что уедет навсегда. <...>

Вот уже и начало февраля, а Лесгафту на запрос об открытии его курсов ни слова, но он все же начал читать анатомию и идут практические занятия, хотя здание занято пока Психоневрологическими курсами Бехтерева. Некоторые лесгафтовские курсанты временно пристали к этим курсам, а другие разбрелись по разным заведениям, но все же приходят на лекции анатомии. Молодежь любит Лесгафта, он ее заражает своей энергией. Он говорит, что учащийся должен не ломовой лошастью "потеть" и "пыхтеть" над знанием, а быть "скакуном". Женя рассказывает, что слушатели его при встречах друг с другом среди массы чужих лиц издавали радостные восклицания, как родные, и были точно отщепенцами на своих же курсах.

Дмитрий Николаевич [Артемьев] у нас завсегдатай: то пьет чай, то завтракает, то обедает. Приходит обедать и Фома Фомич. Он все так же мил, прост и скром. Он после занятий у Евграфа никуда не выходит, а сидит дома и изучает русскую грамматику; старается говорить только по-русски; даже отказывается отвечать по-английски Евгении Николаевне, когда она с ним заговаривает на этом языке. Засиживаемся мы с ним чуть не до часу ночи.

Как-то отправился Фома Фомич к Артемьевым, туда пошел и Евграф с Женей. Они рассказывали, что он выразил желание совсем войти в русскую жизнь: просил звать его всегда Фомой Фомичем, а не мистером Баркером; увидав, что пьют чай с лимоном, решил, что будет пить по-русски с лимоном, а не с молоком, как пил всегда. А сам отличается таким непониманием России, что часто приводит нас в изумление. Почему-то вообразил, что мы, интеллигенты, не знаем самых обыкновенных вещей: например, град — что такое? Хотя знает, что мы все с высшим образованием. Чудак! У самого же уже есть научные работы, а наивен и незлобив, как ребенок, поразительно необидчив, больше всех искренне хохочет над своими ошибками и подкупает нас своею непосредственностью.

Начались его занятия у Евграфа под руководством Артемьева. Евграф очень рад, что они оба усердно занимаются, а сам он разрывается на все стороны, еле успевая все сделать, что требуется, жертвуя своими научными работами и по временам сокрушаясь об этом; все надеясь после трехлетия скинуть директорство с плеч. <...>

Приехал к нам познакомиться с англичанином дядя Геня. К обеду пришли Фома Фомич и Дмитрий Николаевич. Евгений Степанович уже 4 года, с выставки с Сан-Луи, не говорил по-английски, а тут разговорился с англичанином, который, видимо, душу отвел на своем языке, хотя сделал большие успехи и на русском, так что мы уже недурно его понимали. Дядя Женя умел поддерживать оживленный и даже увлекательный разговор о чем бы то ни было, и мы в этот раз разошлись в 2 часа ночи. Конечно, англичанин очень понравился дяде Гене, да и не могло быть иначе, <...> хотя в этот раз Фома Фомич держал себя несколько сдержаннее, не так экспансивно, видимо, подтянулся; нас он уже считал как бы своими близкими.

Вскоре после поступления своего в директора Евграф обратился в министерство с просьбой о выдаче денег на ремонт, так как печи в Горном дымили

и требовали починки; но министерство отказало, ссылаясь на неимение денег, нужных на более важное. Евграф волновался: "На роскошные обои в квартирах им не жаль денег, а в аудиториях и коридорах и подымит, так ничего; все у нас сводится на авось!"

Его еще заботили провода электричества, проведенные под обоями между деревянными планками, чтоб не портить вида столь драгоценных обоев. Тогда Евграф пригласил брандмейстера из Василеостровской части, составили из служащих противопожарную команду, собрали из разного мусора на дворе высокий костер, зажгли его и научили всех, как тушить его, снабдив металлическими бутылками с лорантиной (вещество, тушащее огонь).

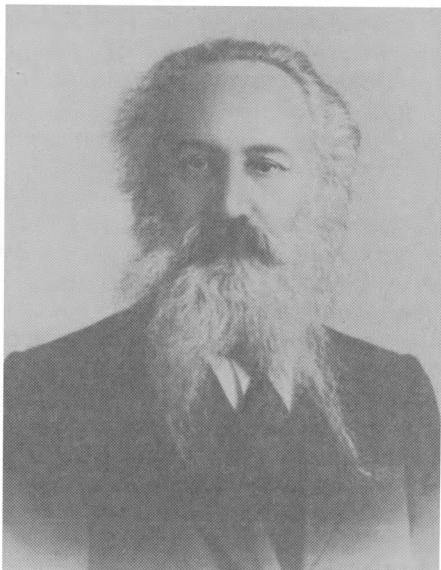
И вот вскоре после так приятно проведенного нами вечера при дяде Гене, 14 февраля после 2 часов ночи Женя услышала беготню прислуги и запах дыма в

нашей квартире. Узнав, что в Горном пожар, она разбудила меня и осторожно Евграфа. Он быстро оделся, и с Графчиком они ушли. Мы все из окна наблюдали, как прискакали три пожарных части: Василеостровская, Коломенская и Казанская. Последняя скоро уехала — хороший признак для нас, что опасность меньше. Пришла рота солдат для охраны, прикатил сам брандмайор, набралась масса сторонних зрителей, несмотря на ночные часы. Наша квартира была полна дымом.

В 5 часов пришел Евграф и успокоил нас, что вовремя удалось захватить пожар. Он рассказал, что загорелись балки между полом модельной и потолком библиотеки, к которым проник огонь из щели дымохода печи, как раз в том самом месте, где раньше предполагали опасность. Тлели балки, очевидно, раньше, а огонь прорвался только теперь. Пламя вырвалось вдруг с силой и осветило ярко окна библиотеки и, к счастью, как раз в то время, когда наш дворник стоял против них, разговаривая с городовым. Они тотчас же бросились оба: один к сигналу в пожарную часть, устроенному недавно Евграфом, а другой — к окну, будить нашу прислугу. А тут уж начала делать свое дело лорантина. Не будь ее запаса под рукой, модельная и библиотека бы пострадали, угрожало и минералогическому музею.

Заслуга Евграфа Степановича громадна. Что уж и говорить! Его дальновидность, предприимчивость и распорядительность разве были оценены свыше? Евграф наградил дворника, а сам и потом испытывал какое-то недоброжелательство к себе со стороны Горного департамента. Он чувствовал это и тяготился.

17 февраля Купфер поздравил нас с широкой масленицей. И правда, звон стоит в ушах от бубенчиков веек, они носятся по всем направлениям. Чаше показывается солнышко, но вот беда, наш милый англичанин захворал и два доктора у него определили тиф. Это серьезно, а он говорит, лежит и смеется. Пил, верно, сырую воду из нашей прекрасной, но коварной Невы, которой он так восхищался и подолгу, облокотясь на парапет, любовался. Он признался Артемьеву, что уже сейчас с грустью думает о разлуке с Россией и готов бы был даже остаться здесь и только ездить в Англию. Не преувеличил ли Артемьев? А Россия в благодарность наградила его тифом, чтоб он узнал все прелести



Е. С. Федоров, директор Горного института.
1908 г.

ее. Поместили его в Александровскую немецкую больницу и телеграфировали его родителям. Не удалось Фоме Фомичу познакомиться с нашей масленицей и блинами; тогда он захворал бы от них.

Побывал у нас на блинах племянник Евграфа Коля. Он увлечен своим учительством, это хорошо. Евграф же думает, что мало увлечения, а для учителя требуется, кроме знания своего предмета, побольше эрудиции и хорошее знакомство с психологией, физиологией и философией, а то много односторонних, не видящих дальше своего носа учителей. Коля ушел. Женя попела. Потом сели играть в 4 руки. Я ходила взад и вперед, слушая. Мне принесли открытку с видом Зимнего дворца летом. <...>. А письмо это было преинтересное. Вот оно: "Madame Федорова. Горный Институт. <...> Я чувствую очень хорошо и, вероятно, поеду квартиры через некоторых дней. Фома Фомич". Ну, и умилил же нас этим письмом этот удивительно чистосердечный человек с младенчески чистой душой. Среди нашей молодежи таких мало. Я, по крайней мере, не встречала.

Еще юноша, гимназист безусый, а его уже разъедает яд неудовлетворенности жизнью, хотя она еще милостива к нему и хороша сама по себе. Живи и наслаждайся этим благом! А между тем так все условия нашей жизни порождают недовольство с ранних лет. Одна школа с ее классицизмом, со шпаргалками чего стоит! В семьях разговоры о ненавистных существующих порядках и т.п. оставляют осадок горечи в чистых душах подростков. На школьной скамье, когда ему нужно учиться, он уже социалист, анархист, коммунист, большевик, меньшевик... Масса их гибнет по тюрьмам, ссылкам, от чахотки. Я помню, мы во цвете лет в нашей студенческой компании пели все грустное, как вся Русь поет, заунывное: "Назови нам такую обитель, где бы русский мужик не стонал" Некрасова. Евграф Степанович даже написал на это свою музыку. Или уже такое неподходящее для жизнерадостной молодежи:

Так жизнь молодая проходит бесследно,
А там — там уж близок конец!
А все, как посмотришь, так пусто, так бледно!
И смерть мне — желанный венец.
Чем вспомнить кипучую жизнь молодую?
Любовью ль холодной, любовью ль бесстрастной?
Застынь же ты, сердце, и с жизнью ненастной.

Это пелось тогда, когда мы только что начинали знакомиться с жизнью, совсем не зная ее на опыте, не зная еще и настоящей любви: делались раньше времени стариками. Хорошо еще, что у многих была через край энергия и жажда жизни, и ее трудно было подорвать. Тут играло, и большую роль, и здоровье субъекта, с которого все это нытье скатывалось, как с гуся вода, и многие спасались от тюрем, каторги и печоринства.

Март с небольшими морозцами и солнышком живет душу и поднимает настроение. Скорый переход к весне. 7-го, в именины дяди Гени, по обыкновению проводим вечер у него. Пока там был какой-то военный, Евграф увлекался разговором с ним. После его ухода начал слоняться, пощипывая бороду, по комнатам до тех пор, пока его чуть не силой усадили за винт; когда же он выигрался, то вошел в азарт, как самый заядлый игрок-завсегдатай. Когда и едем уже на извозчике, он нет-нет и вспомнит неправильности игры, до того заражался ею. Такой впечатлительный! Странно, такие гении, как Л.Толстой — любил винт, Д.И. Менделеев — шахматы, а Пушкин даже проигрывался в пух и прах за картами. Для меня всякая игра скоро делается снотворным зельем и просто непонятна страсть к картежничанью.

На другой день собрались у нас вышедший из больницы Фома Фомич со своим братом мистером Арчибальдом, приехавшим из Англии на тревожную

телеграмму о болезни Фомы Фомича, и Д.Н. Артемьев. Фома Фомич сильно похудел, побледнел и не так уже оживлен, как раньше. На другой день они все у нас обедали. После обеда мистер Арчибальд поспешил на поезд. Он произвел на нас приятное впечатление своим видом, но говорить с нами не мог, не зная ни одного языка, кроме английского. Он только улыбался, слушая непонятные чуждые звуки, хотя, видимо, интересовался разговором, и тогда Фома Фомич переводил, и было странно услышать от него единственное русское слово "плохо", над которых он сам же смеялся. Потом Фома Фомич рассказал нам, что его брату очень понравился Петербург, и он намеревается еще раз побывать в России.

А вот кто удивительный, так это Петр Францевич Лесгафт. Официально его курсы закрыты до осени, а неофициально они функционируют: он их умудряется вести под шумок бехтеревских курсов, хотя и не в полном размере. Женя ходит на них, слушает лекции, делает опыты и препараты по химии.

Н.А. Морозов — лаборант у Лесгафта по химии, Новорусский — его ассистент, а Лукашевич — лаборант по гистологии, все шлиссельбуржцы с 25-летним стажем высидки, удивительно сохранившиеся, и трудно поверить, что они были как бы заживо похоронены когда-то. Н.А. Морозов только несколько бледен и борода седая только, но очень живой и расторопный, импонирует своему ассистенту с флегмой, тормоша его, спокойно сидящего на лекции со сложенными на груди руками и уносящегося думами в иной мир. Высокий, широкоплечий и румяный Лукашевич, с черными и только с проседью волосами, самый здоровый из них. Н.А. Морозов предложил курсантам поехать в Пулковку смотреть Венеру. Все три шлиссельбуржца встретили желающих ехать курсантов на вокзале Варшавский железной дороги. Погода была чудесная, а дорога с вокзала Александровской станции до Пулкова грязнее грязного. Шлепали они по ней пешком. Женя зашибла колено, перескакивая канаву, но приехала довольная и рассказала, как они смеялись, когда Новорусский, придерживая свой черный шарф на груди, глядя в трубу на Венеру, как бы страстно объяснялся ей в любви, а у слушательницы, рассматривающей Марса, сдуло шляпу, и точно она с ним раскланялась. По выражению астрономов, Венера волновалась, так как она быстро прыгала, и Марс тоже, и потому затруднялось рассматривание их. Юпитер же с четырьмя спутниками и с полосами как бы облачности было хорошо видно. Хорошо также видели, как переплетались лучи от звезд. <...> Итак, Женя была довольна. Задаешься неразрешимым вопросом: и для чего все эти миры? Какая цель их существования и нашего — ничтожных микробов?

Страстная неделя, и у нас, по обычаю, помаленьку идет стряпня, чишение миндаля, орехов, коринки, изюму и прочее для разных печений. Надо же угостить гостей, а теперь еще и иностранца. Его у нас за это время не было видно. Он усердно занят. С этой стряпней чувствуется праздник. Евграф сладко-ежка, но не гурман — он не любит изысканных блюд. Идут разговоры, как провести эту ночь. Женя с Милей пошли бродить, Графчик тоже. Они так долго не приходили, что мы с Евграфом улеглись спать. На другой день с визитом пришел Фома Фомич. Он был с Дементьевым в церкви в Горном. Службу нашел очень торжественной. Евграф с Милой ему сыграли "Камаринскую" Глинки как самое что ни на есть русское. Ему очень понравилось. От Артемьевых получили поздравительную телеграмму из их имения. <...>

Ездили на сутки к Бострем на дачу в Преображенское и, хотя погода не очень нам благоприятствовала, вернулись довольные, овсянные чистым, уже ароматным воздухом, в пасмурный Петербург с ползущим по Неве ладожским льдом.

Фома Фомич часто теперь приходит к нам. Как-то передал поклон от брата

и еще повторил, что хотелось бы снова приехать в Россию. Вот как! А сам смеется, уверяя, что ему хотелось бы и совсем обрusters. Конечно, это только шутка. Он очень любит музыку, слушает со вниманием; оказывается, и сам играет, но не решается при нас играть, а только перелистывает ноты. Я как-то спросила Евграфа:

— Ну, что, доволен ты своим англичанином, не жалеешь, что он приехал?

Его озабоченное лицо прояснилось, озарилось приятной улыбкой, и он сказал:

— Это такой милый человек, именно милый, возбуждает к себе такую симпатию, что я даже помимо всего рад с ним познакомиться. И очень жалею, что мои занятия не позволяют мне уделять ему больше времени.

Наконец-то Графчику удалось окончить университет, от чего его несколько раз отвлекали забастовки, закрытия и его политическая неблагонадежность, что очень огорчало меня и особенно Евграфа, поэтому у отца с Графчиком были нелады.

Женя, узнав, что в половине мая кончаются занятия на их курсах, уже теперь горюет, так как Лесгафт умеет привлекать к работе. Он так обрадовался, застав Женю за химическими занятиями, что даже воскликнул, протягивая руки вперед: "Какая картина! Какая картина! Я вижу Вас работающей в химической лаборатории!" Он знал Женю лично. Его курсы очень были полезны для Жени, не только для знакомства с отраслями наук, но они как бы закаляли ее. Она была уж чересчур чувствительна, еще с детства, не могла видеть пролом в голове куклы, мяса, крови. Смерть цыпленка приводила ее к дурноте, идя, все смотрела на дорогу: не раздавить бы букашки; и т.д. У Лесгафта она тренировалась и даже до того дошла, что могла присутствовать в больницах при вскрытиях. Ее многие уговаривали, особенно дядя Женя, поступить на более специальные курсы какие-нибудь. Но никакие Бестужевские и другие курсы не могли бы ей в этом отношении дать того, что дали курсы Лесгафта. Они не только учили ее, но и воспитывали. Евграф и я — за Вольную школу.

Пахнуло весной. Прошла гроза, тепло, и приехал Художественный театр на гастроли из Москвы. Люба опять предоставила нам билеты. Женя взяла на "Вишневый сад" Чехова, а Евграф, я и Графчик — на "Доктора Штокмана".

Женя уже распрощалась с курсами до осени. Не совсем ли? Петр Францевич что-то уж больно грустно прощался: "До более благоприятного времени". А Н.А. Морозов так даже напугал, упомянув слово, что, может быть, и "навсегда". А так как он очень плохо выглядел, то слушатели за него испугались.

Министерство надеялось, что курсы расползутся сами собой. Но нет, спайка была крепкая. Конечно, в закрытии курсов были виновны сами слушатели: они рубили сук, на котором сидели. И, не сознавая, мучили своего доброжелателя — Лесгафта. Не все общество обвиняло молодежь и точно сочувствовало, предполагая у нее стремления к чему-то высшему и справедливое недовольство. Петр Францевич приезжал к Евграфу и убедительно просил его вступить в члены Совета профессоров и преподавателей Вольной высшей школы и даже стать его заместителем после его смерти и уверял, что тогда он спокойно умрет. Что это? Неужели он почуял близость смерти?

Евграф согласился вступить только в члены Совета, но директорство над ними отклонил, отговариваясь неимением административных способностей и политичности, необходимой при сношении с министрами. Администрация не в его духе. Его и в Горном-то тяготит директорство, и все мечтает вырваться и заняться только наукой. Долго потом после ухода Лесгафта мы с Евграфом обсуждали положение школы. Ей не найти другого Лесгафта. Он не только учитель, но и педагог.

— Я могу только, пожалуй, на время принять школу после его смерти сейчас же, пока не отыщется более подходящий, но руководить все время ею не берусь. Эта вечная тревога за нее не даст мне заниматься, заставит водиться с министра-

ми и, еще хуже, с градоначальником, и возня со строптивыми студентами мне претит; некогда мне да и не в моем духе усмирять. Только подумаешь и становится гадко! — и он хватался за голову и бегал взад и вперед по кабинету. — На это способен только Лесгафт — великий педагог и психолог, для него это не жертва. У меня свои задачи, я уже принес жертву, вступив здесь в директора, чтобы попасть на профессиру в Горный, и за это расплачиваюсь потерянными часами для своей научной работы. Нет, нет и нет!

Нас удивило обращение Лесгафта к Евграфу, именно к нему. Скорее был бы более подходящим Максим Максимович Ковалевский, но Лесгафт не говорит почему, но утверждает, что предпочитает Евграфа. <...>

Погода была чудная, тянуло на дачу, но жаль было покидать Евграфа, хотя это и была уже суббота, но ему даже нельзя было нас проводить; по обыкновению и он грустно попрощался с нами, хотя обещал завтра, в воскресенье, приехать и пригласить с собой Фома Фомича. Купфер прибежал сам с нами проститься. И вот 31 мая мы все затормошились, чтоб попасть к половине первого на поезд. <...> Была такая жарница, особенно в вагоне, а когда в Териоках катили с поезда на шустрых финских лошадках по шоссе на дачу, то просто наслаждались, глотая упонительный ароматный воздух. Кругом среди яркой зелени заливались малиновки. Вот и наша дача. Началась уборка, мытье, расстановка, а тянуло в сад, где бегали дети. Жаль было Евграфа, пригвожденного к Горному в пекле Петербурга.

На другое утро чудный воздух так и врывается в растворенные окна, бодрит и возбуждает волчий аппетит. <...> Мы, разодевшись, так как была Троица, пошли встречать через лес к Келомяккам* Евграфа и Милю. Приедет ли Фома Фомич? Погода удивительная, чудный воздух, море лазурное. Вдали показались три фигуры: Евграф, Миля и Фома Фомич. Приехал-таки! Славный какой! Перезнакомились, а с Гулей и Соней он быстро сдружился: играл с ними в мяч, в серсо и бегал взапуски, так что они пришли от него в восторг. А мы-то боялись, не будет ли ему скучно тут. Куда там! Его не надо было занимать, он сам находил себе занятия. Евграфу это нравилось, и он говорил: "А что? Англичанин-то во всяких обстоятельствах хорош; нету у него этой напускной серьезности, какой щеголяют большинство наших юнцов". В следующее воскресенье с Евграфом опять приехал Фома Фомич и так же был мил. Каждый приезд много гулял; ходили на высокую гору, с которой виднеется весь Петербург. Фома Фомичу у нас понравилось, но мне показалось, что он несколько утомлялся от долгой ходьбы. Евграф был неутомим. Он ведь в военной гимназии был левофланговый маршировщик.¹ <...> Все проходит, и лето прошло, и они уехали, а я что-то стала недомогать, постепенно мне стало делаться хуже и хуже, и у меня оказался тиф. Меня на руках перетаскивали на извозчика и в вагон. <...>

Я хворала, а Фома Фомич побывал за это время на Урале и у Артемьевых в имении. Он стал знакомиться с жизнью русского общества, посещал театры, концерты и даже балы, для чего учился танцевать. Евграф говорил: "Хорошо ли это? Не испортили бы его тут". Но через неделю он уедет до Рождества нашего в Англию по требованию матери, которая, верно, боится продолжающейся у нас холеры, хотя она идет уже на убыль.

Лесгафт начал читать анатомию, хотя курсы не только не открыты, а даже у подъезда дежурит полиция, что заставило Лесгафта раз заявить, что 2-й лекции не будет и предупредить слушателей не входить и не выходить гурьбой и идти больше по заднему ходу со двора. Женя, всегда правдивая, возмущается: "Должна точно красться по темной лестнице, как тать". Академические сходки

*Ныне Комарово. — *Примеч. сост.*

были разрешены, а полиция боялась политических и не давала возможности заниматься желающим и науками.

Министр народного просвещения Шварц своими репрессиями уже вызвал уход ректора университета Боргмана, и университет готовится к забастовке, а за ним из солидарности и другие научные заведения. Устоит ли Горный? Но он в ведомстве министра торговли и промышленности Шипова. И то недавно Евграф был у него по поводу уменьшения нормы приема евреев в Горный. Евграф спросил: "Справедливо ли будет не допускать к учению выдержавших конкурс?" Шипов ответил: "Администрация решает иначе". А когда Евграф сказал, что ему тогда не останется ничего иного, как подать в отставку, то Шипов дружески уговаривал не делать этого, так как это примут за демонстрацию и лишат пенсии и профессуры. Приехав от министра, Евграф жаловался мне: "Я так устал с этим директорством, а моя мечта остаться только профессором и погрузиться только в науку не только все отдалается, но еще пугают отнять профессуру. Подумай, сколько я теряю времени на эти, столь ненавистные мне визиты к министру. Шипов еще лучший из них, а имей я дело со Шварцем, я, кажется, плюнул бы ему в лицо".

Побывав на заседаниях Совета профессоров в Биологической лаборатории Вольной высшей школы Лесгафта как член его, Евграф дивился мудрости и энергии Лесгафта: он устраивал обеды в 1 копейку, в 2, 3, 10 копеек для безработных, умудрился поставить реальное училище с платой в 2,5 руб. и городское училище в 2 руб. в год.

Обсуждали мы не раз свое положение, если у Евграфа выйдет какой-нибудь конфликт с министром. <...>

В университете забастовка из-за циркуляра, недавно изданного, об отмене курсовых старост и об изменении выбора профессоров. Теперь администрация назначает двух профессоров, а Советы только выбирают одного из этих двух. В университете вывешено увещание профессоров к студентам о прекращении занятий, в виду того что с открытием [Государственной] думы этот циркуляр Шварца думают представить на ее усмотрение. Рождественские курсы тоже забастовали, поддерживая университет. Ждут общей забастовки. В Горном пока спокойно.

Октябрь подходит к концу, а я все еще лежу. Женя передала мне, что приходил прощаться Фома Фомич и с ним Артемьев, но Евграфа не было дома, и Женя, пока они ждали его, угощала их чаем. Женя завела разговор о желании Евграфа отказаться от поста директора. Фома Фомич как бы был озабочен этим известием, так как заявил, что вполне зависит от него, а Дмитрий Николаевич с несвойственной ему горячностью даже заявил, что, если уйдет Евграф Степанович, то и он уйдет, так как только ради него приехал из Москвы. Фома Фомич, когда вернулся Евграф, очень их смешил, рассказывая, будто на венчании ассистента В.И. Соколова он вообразил, что дьякон был пьян, потому что тот так неистово кричал, и тогда ему объяснили, что для дьякона обязательно иметь голос, как иерихонская труба, так как он как бы возвещает. Все долго смеялись. Вообще венчание поразило иностранца своею декоративностью. На вопрос Жени, что, конечно, Фома Фомич рад ехать в Англию, он признался и признался, что ему жаль покидать Россию, и он даже избегает думать, что придется расставаться с ней совсем, но, конечно, рад повидать папу и маму; боится, что мама его не отпустит к нашему Рождеству, а ему так бы хотелось. Славный Фома Фомич, наивный, подкупает своею искренностью. Хотя они ушли в 12 часов, но мы долго еще проговорили на эту тему. Нашу молодежь наша администрация только толкает на политику, на жертвоприношение. <...>

Всполошила нас телеграмма Леночки. Ей необходимо перейти в другую гимназию из Симферополя для окончания 8-го класса. <...>

Несмотря на закрытие Лесгафтовских курсов, занятия там идут, производятся часто в больницах вскрытия трупов. Женя уже так навестила по химии, что другим помогает, когда у них не удастся анализ. Мих[аил] Ва[сильевич] Новорусский сочувственно дружески относится к ее успехам, но хлопоты с Леночкиным поступлением отвлекают ее от занятий. Куда-куда только она ни обращалась — все переполнено. Все эти хлопоты выпали на долю Жени. Она, бедная, возмущена приемом директора Покровской гимназии: представительный, лысый, он, когда она заявила, что ей надо, протянул ей, ни слова ни говоря руку, не то здороваясь, не то прощаясь, вывел ее из кабинета и только тогда сказал, что 8-й класс переполнен. "Недоставало еще вывести меня за шиворот!" — возмущалась Женя. Женя тогда поняла, что значит просить. Евгений Степанович уже заранее предупреждал Женю, чтобы она не ждала доброжелательности и благодарности, а приготовилась даже к упрекам. По Евграфу, то, что должно, — нужно хотеть, и добиваться, и достигнуть. Это его правило и тот, кто этого не мог, был ему жалок, а кто не желал, тех он считал недобросовестными и не уважал. Наконец, Леночку удалось пристроить в гимназии Лохвицкой, и она приехала с матерью. <...>

Уже после Рождества приехал Фома Фомич. Мы ему были рады. Он сделал в Оксфорде блестящий доклад при Минералогическом обществе о своих работах под руководством Евграфа Степановича, которого иностранные ученые очень ценят. А в России? Оценят ли когда-нибудь?

А вот на Рождество вышла курьезная оценка Евграфа Степановича министром торговли и промышленности Шиповым. По новому уставу, к новому 1909 г. все директора и ректоры высших учебных заведений должны были быть переизбраны, но уже не на 2 года по-прежнему, а на 3 года. При перевыборах в Горном Евграфа опять выбрали в директора уже на 3 года, как он ни отказывался. Все выбранные должны были явиться к своим министрам для утверждения; в данном случае, к Шипову. Тот принял всех очень любезно и отпустил; Евграфа же задержал и выразил недоумение: "Как это Совету профессоров не стало жаль закабалить в директора такого знаменитого ученого, как Евграф Степанович Федоров, такого честного и нехозяйственного человека из-за своей поглощенности наукой". Для Евграфа эти слова были загадкой. "Отгадай, что этим хотел сказать министр?" Он выразил как бы сожаление, зная желание Евграфа убежать с директорства, что его отрывают от науки. Но честность? Разве она не обязательна для каждого человека, на каком бы поприще он ни был? Но он, верно, боялся за ярое проявление у него ее при несправедливостях. Но Евграфа нельзя упрекнуть в нехозяйственности: Горный уже вылезает благодаря ему из банкротства. Неужели министр этого не знает? Наши студенты усиленно занимаются, а не бастуют, как другие. У них стараниями Евграфа и Василия Васильевича и при повышении ценза научного нет недовольства. Чего же еще надо? Мы поняли, что честность мешает администрации проводить их неблагоприятные поступки, и им нужны люди, у которых бы рука руку мыла. Евграф им не ко двору. Как и в Академии когда-то. Он был неудобен; не продавал себя за чечевичную похлебку никогда. Женя коротко и ясно выразилась: "Просто-напросто министру более удобен плут". Верно. Они на все руки мастера.

Фома Фомич все мил и прост. Он точно стесняется один приходить к нам, всегда таскает с собой Дмитрия Николаевича, мы и тому рады. Евграф им как-то прочел свои уральские рассказы. Они очень заинтересовались и удивлялись, когда это Евграф Степанович нашел время и для этого¹²⁷. <...>

29 марта был первый день Пасхи. <...> После обеда зашел разговор об обычаях, традициях и привычках. Я сказала, что без подобных праздников, как Рождество и Пасха, было бы очень однообразно, это как бы встряска будням. При социализме, думают, будет скучно. "А у нас самые скучные и тихие дни —

это праздники”, — сказал Фома Фомич. Тогда я спросила его, принадлежит ли он к какой-нибудь политической партии? Он ответил, что в политике он ничего не понимает, и думает, что правительство компетентнее его в этих делах: “Я только мешал бы ему и наделал бы много глупостей, впутываясь не в свое дело”. <...>

В мои именины хотя набралось и немало народу, но заметно было отсутствие Фомы Фомича и дяди Гени. Он болен, доктор нашел у него воспаление желчного протока. Это смущало наш покой. За ужином интересно рассказала Оля Бострем о самоуправляемой общине, существующей с 1906 г.: “Есть квартира для нескольких десятков детей до 15-летнего возраста с их личным уставом, руководствуясь которым и точно его исполняя, они живут самостоятельно, выбирая из старших себе руководительницу, и повинуются ей беспрекословно. Выполняют по очереди все домашние работы: стирание, уборку, штопку и пр. Некоторые из них ходят в школу, где учат на казенный счет. Существует взрослая надзирательница, но она дает совет, когда ее спрашивают. Все это ею устроено. Хотя она и необразованная сама, но с чуткой душой”.

В этом пчелином улье хотят устроить вечерние лекции и предлагали Жене участвовать, тем более что у Жени с курсами неладно: они совсем, под давлением администрации, перестраиваются. Меняется даже название: вместо Вольной высшей школы — Народный университет или Естественно-исторические курсы. Все предметы начнутся сызнова, а будут ли продолжать начатое, неизвестно. Лесгафт просил читать Евграфа у него на курсах, но Евграф вместо себя направил Артемьева.

На другой же день после моих именин Евграф с Женей поехали навестить дядю Геню. Он произвел на них удручающее впечатление. Сгорбленный, похудевший до того, что стал даже меньше ростом. Женя даже плакала, возвращаясь на извозчике. Они потом от него поехали к имениннице Верочке. Вернувшись, Евграф говорил мне, что он рад был побыть в чужом обществе, так как этим хоть немного сгладилось тяжелое впечатление от вида брата. На следующий день Женя опять навестила дядю и снесла ему лекарства на случай дурноты. Евгений Степанович, на вид такой несчастный, умудрялся бодриться и даже шутить. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. На некоторое только время приходила его метресса Е.Ф.Б. да Володя прибегал из Медицинской академии измерять у него температуру. <...> И вот Женя предложила тете Миле дежурить у дяди по ночам и вечерам. <...> Приехала помогать ухаживать за братом Мария Степановна. Теперь его уж не оставляют ни на минуту одного. Володя днем на лекциях, а ночь спит на диване в спальне у больного. Утром его сменяют Мария Степановна, днем Женя, вечером Миля. <...> С Женей очень нежен, треплет ее по плечу, задерживает ее руку в своих горячих руках и зовет ее “деточка”.

Евграф мог навещать брата только по воскресеньям. У него теперь шла усиленная переписка с Н.С. Успенским и Эрном из Кедабека, которому Евграф рекомендовал Николая Семеновича как дельного, знающего и добросовестного человека. Это понятие Евграф составил о нем, соприкасаясь с ним на службе в Богословском округе. Евграф из Кедабека получил от него письмо, в котором слышался вопль от обиды и возмущение на несправедливое обвинение в недобросовестности. Успенский прислал потом целую тетрадь большого формата почтовой бумаги, где доказывал свое алиби. Оказывается, он применял практикуемый в Богословском округе всеми инженерами способ использования отбросов, когда не хватает доброкачественной руды. В Кедабеке это сочли за подлог. Пошли большие распри у него с Эрном и Кёлле. Евграфа обе стороны избрали посредником, считая его поборником правды. Евграф был убежден в честности Успенского, но решил, что ему уж нельзя там оставаться: в горяч-

ности с обеих сторон наговорено было много резкостей. Кедабеком заправляют немцы, а они педантичны и не такие авоськи, как мы, великороссы.

До 11 октября дядя Геня чувствовал себя лучше, хотя все говорил, что умрет. Это подрывало радость ухаживающих. Его уже перенесли из спальни в кабинет, где больше воздуха и света; огородили ширмой, и он разговаривает с присутствующими за ней. Но Графчик, возвратившийся от него в воскресенье, сказал, что температура с 39,3° сразу упала до 37,2°. Нас всех это испугало. <...> При приезде наших боль стала усиливаться все больше и больше, и он начал стонать все громче и громче, и наконец отдельные стоны слились в один протяжный, душу надрывающий у всех присутствующих. Пришел Володя и побледнел, сел за ширмы и взял за пульс дядю. <...> Доктор впрыснул морфий, прописал лекарство, советовал ставить горячие бутылки. После его отъезда наши приободрились. Не станет же доктор назначать лекарство умирающему. <...> Больной по временам переставал стонать. Женя взялась за пульс. Он был слабый-слабый, а временами не прощупывался, стон прекратился. Женя дала понюхать нашатырный спирт, не понимая, засыпает он или умирает, и бросилась за Володей. Все реже и реже слышались стоны; наконец открылись глаза и стали двигаться из стороны в сторону, как бы ища кого-то, но это были уже не прежние светлые прозрачные глаза, а какие-то мутные. На вопросы он уже не отвечал, но руки еще медленно двигались и временами вырывался стон. Женя с леденящим ужасом следила за умирающим и вспомнились ей его слова: "Женя, тебе придется в первый раз увидеть, как умирает человек". Да! Да, теперь она это видела. Он еще шевелился, но все медленнее и медленнее. Вот стих, замер стон. Умер!? Нет: вот левая рука поползла вверх. Женя показала Володе на пульс, он схватился за правую руку, а левая поползла до шеи, осторожно схватилась за нее и замерла, а больной вытянулся, как бы желая поудобнее лечь уснуть. Женя взглянула на Володю. Он со странным каким-то лицом держал еще пульс. <...> Миля, сидевшая на кресле неподалеку, думала, что Евгений Степанович уснул. Но Володя подошел к ней и шепнул, что все кончено, а сам осторожно переложил левую руку. Миля вышла. Величие и также простота смерти поразили Женю. <...> Все заплакали, кроме Володи, который закрыл покойнику глаза и сложил на груди руки. Женя не могла усидеть и бегала из угла в угол по кабинету. Была половина второго ночи. Пришли помощники Евгения Степановича по электрической станции; военный инженер Хорунженков объявил Евграфа Степановича наследником и принял на себя хранение всех бумаг, печатав их и письменный стол. <...> Хорунженков не оставлял зала и ждал Евграфа Степановича, которого поехала подготовить Миля, чтоб не поразить его сразу через телефон, а Милочке даже не сказали, что дядя умер.

Евграф и то очень расстроился, а по приезде туда пришлось овладеть собой, так как его совсем замотали потянувшиеся к нему за распоряжениями о похоронах различные личности, начались розыски квитанции на место на Преображенском кладбище и т.п. Первая панихида в 12 часов была на электрической станции под шум работающих машин. Евгения Степановича очень любили все его подчиненные. Ими же и была заказана эта панихида. <...> Набралось знакомых и незнакомых Евграфу такая масса, что заполнился ею весь этот большой зал. <...> Евгений Степанович был в детстве учеником нынешнего министра путей сообщения Шаухфуса и потому для провожающих был подан особый вагон. Евгения Степановича похоронили на Преображенском рядом с матерью и сестрой Женей¹²⁸ <...>

В 9-й день смерти Евгения Степановича в Окружном инженерном управлении была панихида по нему, и Евграф с Женей на ней присутствовали, где Женя была единственной дамой среди массы мужчин. Оттуда они проехали навестить больного Лесгафта. После инфлюэнцы у него остались осложнения в легких

и почках, и доктора посылают его в Каир, но ему не хочется уезжать. Он все бодрился и, выражая почтение Евграфу, не хотел лежать и все тормозился; жалел, что Женя уходит с его курсов и обещал ей найти уроки. Женя и без его рекомендации начала давать уроки по арифметике и географии в детском доме самоуправляемой общины. Потом ее пригласили заниматься в детском саду. <...>

Смерть Евгения Степановича прибавила Евграфу немало хлопот. У него, кроме найденных нескольких рублей, Евграф не нашел никаких денег, хотя было несколько банковых счетов, но они все были ликвидированы и даже оказались долги, так как недоставало каких-то казенных счетов и расписок. Евграф заволновался, но благодаря инженеру Хорунженкову, все обошлось благополучно, так как по наведенным им справкам у подрядчиков все было выплачено как следует, а потом разыскались и расписки.

Но началась канитель с разделом имения Клобины в Ковенской губ[ернии]. Имение большое, в 600 с лишним десятин. Разделом был занят старший в роде, теперь умерший, и все эти хлопоты легли на Евграфа. Наследников осталось трое: Евграф, племянник Коля С. и племянница М. Езерская. Евграф хотел включить свою сестру; пошла переписка, но сонаследники наотрез отказались. Тогда Евграф решил по разделе отделить сестре от себя половину своей части. <...> Все трое обсуждали, как выгоднее поступить: продать такое большое имение сейчас было некому; решили продавать по частям. Дом там был каменный в 15 комнат, с тремя фруктовыми садами, при нем мельница, четыре небольшие леска, один чисто дубовый, а другой чисто сосновый, дальше громадный лес с деревьями в 3—5 обхватов и заливные луга. Езерский предлагал, что нам и хотелось, оставить за собою дом, мельницу и три леска. Мы стали бы ездить туда, как на дачу. Евграф большую собственность отвергал. Мы мечтали, что к нам будет ездить Марья Степановна со всей ее семьей отдыхать, и им бы ничего не стоило летнее прожитье. Так мы мечтали и решили будущим летом поехать посмотреть. Но вышло все не так, как задумано.

Пока что Коля С. испросил наше согласие на привоз для знакомства с нами своих трех уже взрослых сестер. Мы их видели только детьми. <...> Проводив их, Евграф схватился за голову и стал жаловаться:

— Несчастный тот, кто получает большое наследство; вот Евгений умер, и на меня взвалена тяжесть раздела. Будь это математическая задача, я решил бы ее с удовольствием, а теперь сколько теряю драгоценного времени, точно толку воду. При Гене получил бы свою долю и все тут, а сейчас приходится иметь дело с несимпатичным мне Колей. Я готов на все махнуть рукой, если б не забота о вас, да об Маше.

Он бегал по спальне взад и вперед. Милый, бедный Евграф! Мне было жаль его и хотелось отвлечь:

— Самому надоело, а сейчас уже 3-й час и пора давно спать, а ты все твердишь на ту же тему, брось! Ты выслужил уже пенсию и я, если не умру раньше тебя, буду ее получать, незамужние дочери тоже по закону получают, так ты успокойся.

Конечно так, но все же мне не хотелось, чтоб Евграф отказался. Езерский, видимо, дока, и Коля С. с радостью подхватят его долю. С Евграфом это могло случиться. С этих пор я стала за него беспокоиться, и у нас по этому поводу происходили иногда разговоры. Тогда он говорил: "Ну, и бери на себя все эти хлопоты". Боже меня упаси вмешиваться в эту кашу, особенно с его родственниками. Он наследник, а не я.

У Евграфа за это время еще неприятность, хотя и небольшая, но тягучая и надоедливая: Пуришкевич закидывает его письмами в стихах с еврейским жаргоном, принимая его, верно, за еврея¹²⁹. Евграф хотел их сжечь, не читая, а я их жгла, уже познакомившись с ними. Мне хотелось узнать причину его

ненависти к Евграфу. Пуришкевич шипел и изливал свою желчь на него, <...> потом нападал на Горный и писал, что "рыба с головы всегда начинает вонять", и все эти стихи полны подобных выражений и ругани. И это депутат [Государственной] думы! Справился бы сначала с послужным списком директора. Еще со студенческой поры кому-то надобно было по каким-то причинам пустить слух, что Евграф еврей, и это пускается в ход при желании оттереть Евграфа с его пути, когда он мешает. А что если бы он в самом деле был еврей?

В то время, как в Горном шли усиленные занятия, Пуришкевич в [Государственной] думе задевал Горный институт всеми способами и дошел до того, что заставил студентов Горного подать на него в суд за клевету на их фондовую комиссию в незаконной трате денег на политические цели. Однако все свидетели опровергли эти измышления. Пришлось Евграфу с Коноваловым — прежним директором Горного — и товарищем министра торговли и промышленности Остроградским как свидетелями по этому делу просиживать в отдельной комнате с 11 часов утра до 2 часов ночи. Много было между ними переговорено горьких истин, и заставило министров войти в положение студентов и оправдывать эксцессы с их стороны.

Защищал Пуришкевича Булацель, оба какие-то ненормальные. Пять студентов-свидетелей со стороны Пуришкевича путались и не могли привести доказательств, а потом признались, что их подкупили за 600 руб. Финал показателен: Пуришкевича оправдали все же, ему поднесен был венок. К.В. Аркадакский, корреспондент в [Государственной] думе от "Русских ведомостей", муж Сони, моей двоюродной сестры, бывал нередко у нас рассказывал, как в [Государственной] думе чудит Пуришкевич. Он до того травил там Евграфа Степановича в лице директора Горного, говоря, "рыба с головы начинает вонять" и т.п., что член [Государственной] думы Василий Александрович Степанов, горный инженер, не выдержал и выступил с большой речью в защиту Горного и его директора, указывая на все улучшения, проведенные им, между прочим, на поднятие научного уровня студентов, и что горняки не покидали занятий, когда другие учебные заведения бастовали.

Евграф тогда отлично понял, что что бы он ни делал, он все будет не гош: он человек не из их лагеря. Он считает себя сжигаемым между двух огней. Его задача была, с одной стороны, как директора как можно больше сделать для студентов, чтоб выпустить их в жизнь во всеоружии знаний. По своей добросовестности он должен был так поступать, его совесть иначе ему не позволяла действовать. Этим он оказывал тоже услугу и ненавистному ему правительству, которое это не понимало и слушало больше шептунов. С другой стороны, он был в душе революционером, сочувствующим протесту против несправедливостей, а по своей гуманности чувствовал на своей совести каждую жертву забастовочного движения и потому старался предотвратить излишне, по пустякам возникавшие столкновения студентов с полицией, за что, как он сам говорил: "На меня, верно, злятся вожди забастовочного движения, и я поджариваюсь между двумя огнями". Итак, его очень тяготило директорство, но зато оно спасало студентов.

Наша семейная жизнь тоже переживала в связи с этим пертурбации за это время. Женя продолжала давать уроки детишкам, которые к ней привязались, и она к ним. Сотрудники детского сада уже заговорили о елке для детей и об их одежде, так как она ободрана и грязна.

Графчик продолжал служить в Главной физической обсерватории. Молодежь собиралась, ездила в Преображенское бегать на лыжах большой компанией и полюбоваться лунными вечерами, изредка посещала театры и концерты. Катя Попова, невеста Графчика, часто проводила время у нас. И вдруг Графчик объявил, что прискал себе комнату и переедет туда с Катей, и они будут жить в гражданском браке, чтобы служить примером для других обрученных.

Узнав об этом, Елизавета Васильевна Бострем пришла в ужас, Аня даже плакала, а Женя наша была очень обижена таким их скрытничаньем; Евграф махнул рукой и сказал про Графчика:

— Пускай он поступает, как хочет, он у нас с тобой никогда ведь не спрашивал совета; жизнь сама его научит; не скажу, чтоб эта Катя мне очень нравилась.

Я тогда пошла в комнату Графчика, где была и Катя, и сказала:

— Конечно, делайте, как хотите, но наши законы не дают никаких прав незаконным детям, а вступая в брак, надо это иметь в виду.

Катя, стоя у притолки двери, возразила вызывающе:

— У нас не будет детей!

— А если? — спросила я и вышла.

Бострем со своей стороны влияли на Катю. Не знаю, что между ними произошло, но они решили венчаться и назначили днем свадьбы 10 января. Графчик пока переехал один в свою комнату, приглашая нас к себе в гости.

У кого что: у нас готовится свадьба, а 28 ноября в Каире умер П.Ф. Лесгафт. Смерть его немало нас поразила — такой живой, кипучей, такой неувыдающей, казалось, была его натура: сколько трупов и их частей прошло через его руки, а теперь он и сам труп. Не верилось. Такого необыкновенного педагога не стало! Его курсы осиротели, они будут уже не те, с ним ушла их душа. Как он изворачивался, спасая курсы! Им двигала любовь к молодежи и науке. Бывшие и настоящие его слушатели назначили, было, сходку, чтоб обсудить, как отозваться на смерть своего любимого учителя, но полиция запретила собрание и было решено собраться на Бестужевских курсах. Здесь собрались все бывшие слушатели, и то, что было предложено Стрельниковым, одним из его любимых учеников, все одобрили. Все проходит. Прошли и похороны Лесгафта, с венками без красных лент, с массой народа и полиции.

Лучшая характеристика Лесгафта — это его изречения.

"Лицо — существо временное, цель жизни — создать вечное, содействовать вечному, это вечное может быть только идейным, идейное должно состоять в содействии совершенствованию человека, распространению понятия о правде, все равно будет ли это связано с личным счастьем или нет".

"L'ordre c'est la vie."*

"Не позволяйте, чтоб вас водили за руку; вы не должны быть марксистами, фебристами, лесгафтистами... Каждый человек сам по себе..."

"Необходимо, однако, помнить, что произвол порождает произвол и что поэтому справедливость, законность и любовь к молодому поколению являются главным основанием всякого обращения с ним".

"Я был бы доволен, если бы мне удалось заложить в вашу душу червяка, который бы постоянно тревожил и беспокоил вас, заставлял бы над всем задумываться, все анализировать, ко всему относиться сознательно".

"Движение — жизнь, покой — смерть".

"Ubi iritatis ibi afluxus". — Где раздражение, там прилив.

Он не был таким ученым, как характеризовал: "Идет ученый по улице, натывается на фонарный столб и думает, что это фонарь стоит не на месте". В.Л. Грубер скрупулезно занимался аномалией нервов и сосудов, а Лесгафт пошел дальше: он как бы вдохнул душу в труп, этот сухой перечень названий одушевил в человека. Он говорил: "Без философии предмета нет науки, нет связи между формой и отправлением".

Он не останавливался на одном описании, а действовал и создал много руководств. Соединение в Петре Францевиче анатома и биолога сделало из него педагога. Его "Семейное воспитание ребенка", "Школьные типы", "Руководство по физическому образованию детей", "Основные проявления ребенка" — все это

*"Порядок есть жизнь" (фр.)

нами с интересом читалось, а также его капитальный труд "Основы теоретической анатомии".

На его лекциях в университете в 1891 и 1895 гг., говорят, аудитории ломились от слушателей и других факультетов, а тогда был только приват-доцентом и читал в непрезентабельной аудитории. Я сама испытала, как бодряще действовали его лекции. Он умер, но как живой стоит передо мной в моей памяти в своем поношенном сюртуке и выкрикивает, не давая заснуть на лекции: "Прошу обратить особенное внимание... Ясно? Все поняли?!" Как шумливо, весело мы возвращались с его лекций, ни малейшего утомления, хотя слушали их уже после своей службы. После всей видимой и обоняемой мертвечины охватывала какая-то жизнерадостность, подъем какой-то духа. Вот действие его лекций по анатомии. Другая картина получалась после слушания его лекций по воспитанию ребенка. Там слушатели — уже не сплошная шумливая молодежь, а озабоченные отцы и матери преобладающий в ней элемент, и возвращающаяся из Соляного городка не бурливая толпа, а тихо переговаривающиеся, задумчивые солидные люди. Да, воспитание не легкая задача!

Лесгафт — анатом, физиолог, гистолог, психолог, педагог, гуманист и даже механик. Он восхищался механической целесообразностью устройства тела, и жалел ребенка, принужденного долго сидеть без движения. Вот характеристика Петра Францевича на лекциях нашего воспитания: «Когда Саше было 3 года, мать его рассказывала всем знакомым: "Мой Сашенька идеальный мальчик, такой хороший и умный". Над матерью смеялись, говорили, что любовь делает ее слепой к недостаткам сына. Проходят годы, и чем старше становится Саша, тем более убеждается мать, что ошибалась относительно него — он оказывается капризным, грубым, ленивым, неискренним. Но она ошибается теперь, а раньше была права: мальчик Саша был хорошим и умным, но его не поняли и изуродовали, затоптали то благородное и чистое, что таилось в его душе, не дали возможности сделаться человеком».

Не раз он говаривал: "Никогда никаким способом ни в себе, ни в других не понижайте человека, но всегда разглядывайте человека во всяком и повышайте его". По его убеждению, человек идеально, нормально развитой будет непременно гением, в противном случае, он узок и односторонен. Он молодежь называл зеркалом среды, так как на ее воспитание имеет громадное влияние окружающая среда. Евграф и я ходили его слушать, еще когда у нас не было детей.

Такой моралист, всегда точный, деятельный до того, что неизвестно, когда он успевал есть и спать; всегда полон энергии, он мог служить прекрасным примером для многих. При всем этом он не забывал ни одной мелочи, не уставал воевать с администрацией, отстаивая свою школу от окончательного закрытия.

Во время лекций он был очень подвижен, жестикулировал, копировал плач, испуг, разные улыбки и даже наивность юности — все это для показа сокращения мышц лица. Утверждал: "Изучение медицины без солидных знаний или, вернее сказать, без понимания смысла естественных наук — бессмысленно; будет торговое дело без души и идеи". Еще 3 ноября он писал уже на пути к смерти: "Нахожу, что мало говорю на своих лекциях о психическом состоянии человека в связи с состоянием его внутренностей; на самом деле связь очень глубокая и теперь я всего точнее изучаю эту связь..."

Я знаю только двух людей, которые стремились бескорыстно провести свои научные идеи через горнила всевозможных препятствий, и причислить их, пожалуй, можно к мученикам науки: это П.Ф. Лесгафт и Е.С. Федоров. Сколько они выносили щелчков, и не перечесть! Оба они, идя по рутине, миновали бы их.

Новый 1910 г. был, по обычаю, встречен нами дома. Что-то он нам сулит? У Евграфа муть на душе от травли его Пуришкевичем и тревога за студентов,

разделившихся на два лагеря: академистов, желающих заниматься, а их окрестили, как в университете, "белоподкладочниками", и остальная бродильная масса. Ничего хорошего. Бывший министр внутренних дел Дурново сказал как-то раз в Государственной думе: "Когда правительство не имеет своего ставленника в высшем учебном заведении, контроль за ним переходит в руки охранки". Понятно теперь, почему министр Шипов пожалел Евграфа при вторичном его выборе в директора. Он не был ставленником правительства. За время директорства Евграфа — уже 3-й министр торговли и промышленности; 1-й — Тимирязев, 2-й — Шипов, 3-й — Тимашев, при нем первая скрипка Лагорио, почему-то не влюбивший Евграфа. Пожалуй за то, что Евграф упорно отстоял Горный институт от перевода в провинцию, чего всеми силами добивался Лагорио и поддерживал Тимашев. Тимашев замучил Евграфа своими приглашениями к себе.

От Д.Н. Артемьева пришло из Москвы очень интересное письмо:

«Января 4-го 1910 г.

Многоуважаемый Евграф Степанович!

Очень Вам благодарен за Ваше письмо. Я сделал уже свои два доклада. Было очень много возражений, особенно со стороны Вульфа, которому даже пришлось на другой день взять свои слова обратно. Вернадский говорил, что законы компликации установлены Малляром, который писал о них в своем неизданном сочинении. Я нахожу довольно странным ссылаться на неизданные сочинения для восстановления приоритета. Кроме того, возражения Вульфа были направлены против формулы $W = csacs\beta cs$ (A-j), которую Вульф назвал "ложной". Я сказал, что не понимаю, почему эта формула ложная, но Вульф не счел нужным объяснить своих слов. Вообще было много странных вещей, о которых я Вам расскажу в Петербурге.

В общем, съезд очень многолюдный, но интересных докладов, особенно по кристаллографии, совершенно нет, так что все говорят, что самые интересные доклады были мои. Впрочем, завтра будет еще доклад Ферсмана о природных гранях кристаллов, где он будет теоретически разбирать появление фигуры вытравления и растворения. Вероятно, придется возражать.

Курьезно, что теперь уже начинают меня побаиваться, и некоторые докладчики страшно смущаются, когда я выступаю с возражениями.

Желаю Вам всего хорошего...

Искренне преданный Вам Ваш ученик Д. Артемьев»

По приезде своем много чего он порассказал Евграфу, но все сводилось к тому, что чувствовалось у некоторых какое-то недоверие к новшествам, введенным в науку Евграфом, особенно у Вульфа и Вернадского. Молодежь же недоумевала — кто тут прав, еще с трудом разбиралась, хотя и чуяла, что подул свежим ветром в затхлую атмосферу¹³⁰.

Потом уже, гораздо позже, весной 1919 г., когда Евграф, почти умирая от голода, сидел в пальто в кабинете с протянутыми на другой стул опухшими ногами, приехал к нему Вульф с молодым химиком за разъяснениями по кристаллохимическому анализу, но Евграф уже не в силах был с ними заниматься, да и Вульф стал ему несимпатичен. После их ухода Евграф сказал мне: "Пускай сам разбирается как знает, видно сам-то не в состоянии объяснить обращающихся к нему за разъяснением, вот и притащил ко мне этого молодого химика; если б химик приехал сам по себе, то я принял бы в нем участие и направил бы его к Орелкину, либо к Болдыреву, а с Вульфом я теперь никаких дел не желал бы иметь: он недобросовестный человек. А как, однако, наружность бывает обманчива", — добавил он¹³¹.

10 января, как и предполагалось, состоялась свадьба Графчика с Катей. <...> Привычка о нем заботиться отпала. Евграф философски заметил: «Ничего. Чем раньше станет на свои ноги, тем тверже будет держаться на них. Хорошо, что и Женья принялась за уроки. В случае революции все переменится: тогда, кто не работает, тот не ест», — закончил он революционным припевом. А Женья, кроме арифметики, географии, взяла и русский. Она довольна, и дети ею. У нее еще и взрослая ученица — 17-летняя Лида.

Побывал у нас К.А. Фортунатов. Он как будто вырос и постарел. Показа-

лось, что он все еще равнодушен к Жене, хотя уже женат и появился перенец у него. <...>

Сижу я обыкновенно за работой с одного боку на диване, рядом кресло. Прибегит, бывало, Евграф второпях и поделится либо своими радостями, либо горестями, последние бывали, пожалуй, чаще. Пришел как-то, сел подле на кресло и говорит: "Ты, конечно, помнишь, когда я захотел специализироваться, я взял все программы из всех высших учебных заведений и выбрал самую обширную из них — Горного [института], чтоб еще получить лишние знания из тех предметов, которые мне незнакомы. А для чего поступают, как ты думаешь, наши студенты? Горько думать, что большинство — только из-за диплома. Они собираются даже, кажется, забастовать из-за увеличения Фридманом программы по его предмету, а тот не желает убавлять. Я ему предлагаю: для массы убавить, а с желающими больше знать отдельно позаниматься, как я делаю. Не согласен. Точно нарочно бросает искру в огонь. Того и гляди разгорится сыр-бор. Эта вечная тревога за Горный мешает и мне спокойно заниматься". Всего только второй месяц нового года — февраль и еще начало его, а начались уже непорядки, волнующие Евграфа.

Началась забастовка, как он и предвидел. Евграф думал все уладить скоро по-своему; но впутался Тимашев: вызвал Евграфа по телефону к себе, сурово спросил, почему он не доложил о сходке и забастовке? Евграф ответил, что не хотел пока беспокоить его высокопревосходительство, так как он хотел удалить выставленную студентами причину забастовки — уменьшение субсидий. Он хлопочет об этом, тогда забастовка сама собой сойдет на нет и прекратится. Министр вскипел, настаивал на исключении непокорных студентов, стал упрекать Евграфа, что он потворствует студентам, а он, министр, должен лучше знать, как в этом случае нужно поступать, а дело директора слушать, исполнять его советы и указания и поступать согласно с ними. Он **требует**, чтобы лекции во что бы то ни стало продолжали читаться, "если даже не будет ни одного слушателя"! Евграф не выдержал и возразил: "Едва ли профессора согласятся читать одним стенам", — но он постарается все это обсудить и соберет экстренный совет. На этом порешили.

Возвращаясь от министра, Евграф ехал и думал: за 4 года его директорства сменилось три министра торговли и промышленности, все они по-разному к нему относились. Шипов ставил его высоко в научной деятельности и прекрасно понимал, что он не пойдет на компромиссы против своей совести. Тимашев? Евграф знал только, что он неиндифферентен к нему. Тимашев совершенно его не понимал и чуть ли не считал его способным в мутной воде половить рыбку. Конечно, Тимашев так думал с чужого голоса и, вернее всего, суфлером был Лагорио, тоже, верно, с другого голоса. К этому заключению привело Евграфа то, что при приемах его Тимашевым тут же "торчал" (по выражению самого Евграфа) и Лагорио. Однажды это соглядатайство вывело из себя Евграфа, и он сказал министру: "Хотелось бы мне, Ваше превосходительство, побеседовать с вами без посторонних". Лагорио вышел. Верно, не простил этого Евграфу, хотя лично ничем не выказывал.

Собрать Совет на другой день не удалось, так как было воскресенье и многих профессоров не оказалось дома. Евграф пока советовался только с Василием Васильевичем Никитиным и Владимиром Ивановичем Бауманом, теперешним инспектором. Это же дико — читать стенам, хотя академики изъявили желание слушать, но их мало, а остальной массе? Что же, опять повторять? Создавать рознь и ненависть между ними? Министр загнал Совет в какой-то тупик. Долго обсуждалось, как выйти из создавшегося положения.

Евграф решил подать рапорт об отставке. Он мотивировал причину отставки тем, что не решается брать на себя обязательства, налагаемые на него министром,

и просит освободить его от поста директора. В Совете профессоров он заявил, что подает рапорт о нежелании быть дольше директором. Лекций, конечно, никто не читал. Фридману было предложено тоже самовольно уйти. И Евграф упомянул, что, если б лекции читались двум-трем студентам, то потом как же? Опять их повторять бастовавшим? Министр решил, что не надо. Тогда Евграф удивился и сказал:

— Что же, выпускать неучей? И ждать эксцессов со стороны бастующих? Они могут устроить обструкцию.

— Пригласите полицию, — сказал на это министр.

— Но тогда будут жертвы.

— Пускай будут жертвы.

Тогда Евграф заявил, что при таких условиях он не желает быть больше директором, и подал заготовленный рапорт. Но министр пошел на уступки, положился на "благоразумное усмотрение Совета профессоров, как вести себя по отношению к студентам". Отставку Евграфа не принял, не соглашаясь с мотивировкой рапорта, где прямо указывалось, что директор уходит из-за невозможности выполнить требования министра. Евграф должен был переделать рапорт в другом духе, не затрагивая министра. Это было 9 февраля. Студенты на сходке выразили свою признательность Евграфу и порешили приняться за занятия. Была всеобщая радость.

10 февраля появилась в "Новом времени" пасквильная статья Меншикова о Горном институте "как очаге терроризма, где заправляет всеми студент Гапеев, а директор и профессора потакают всему, что угодно студентам. Пуришкевич — герой, открывший все безобразия и продажность фондовой комиссии..." Но на суде была доказана лояльность этой комиссии, и единственное ее темное пятно было в том, что пособия передавались иногда через другие руки. Конечно, в этой статье шла травля евреев как продажных душ и революционеров. А того не сообразят, что правительство само способствует разведению революционеров. Исключили когда-то Плеханова из Горного, а он ушел в подполье. Газета подняла шумиху, а тем временем студенты начали приступать к занятиям, а министр заговорил о закрытии Горного института как рассадника крамолы. Идет какая-то неразбериха.

Евграф подал переделанный уже третий рапорт об отставке, а в семье заговорил, что в случае закрытия Горного уйдет из него и сделается лишь преподавателем и погрузится в науку. И хорошо бы было. Я уже начала мечтать о переезде на жительство в Териоки на нашу дачу. Выстроим уютный зимний дом, заведем лошадь, корову, птицу, хрюшку и отлично проживем. Близко от Петербурга — кому надо, легко приехать к Евграфу; ездил же Фома Фомич. Кабинет, который устроил Евграф на свой счет для желающих заниматься кристаллографией и петрографией, перевезем сюда. Не теряем и знакомств и даже можем посещать театры и концерты, если найдем комнату с услугами в Питере. Отлично бы зажили. Но Евграф заговорил о доме в имении. Женя запротестовала, не желая забираться такую даль. Так пока ни на чем не порешили и оставили вопрос открытым. Стали жить в неопределенном положении.

12 февраля министр не принял и последний рапорт. Он так разгорячился, что уволил Евграфа без прошения. Евграф, вернувшись от него, сказал мне, смеясь:

— Вот так штука! За все мои старания я уволен без прошения.

Я возмущилась до глубины души.

— Какая несправедливость! Какое унижение!! Какой произвол! За что?

Но Евграф был относительно спокоен, даже весел.

— Вот так заслужил! — часто повторял он.

Он даже приготовился к увольнению без пенсии. Во мне все кипело от такой несправедливости.

А чем дальше в лес, тем больше дров: к довершению всего Евграф получил от Пуришкевича телеграмму; в ней он, поздравляя с увольнением, выражал радость по поводу его отставки, прибавляя, что "мертвая рыба с головы воняет". На нее Евграф отозвался так: "Собака лает, ветер носит, хотя надо отдать ему справедливость, он искренний патриот, а собратья его — продажные люди".

А немного погодя, еще позор: министром назначена была ревизия Горного в хозяйственном отношении. Назначение ее доказало Евграфу недоверие к нему администрации и непонимание его. Не бесхозяйственность нашли, а улучшения; Горный уже не считался неоплатным банкротом, долги были почти все уже покрыты во время директорства Евграфа. Тогда министр старался замазать увольнение без прошения такого директора и оправдывался, что он ведь уволил его не по третьему пункту. Еще этого не доставало! Но Евграф говорил, что из Горного журнала не вычеркнешь уже заметку, позорящую его, об отставке без прошения. Несмотря ни на что, Евграф повеселел. Он был выше всех этих дрызг.

После ревизии Совет профессоров выразил ему свои чувства, как раз в противоположном духе, написав ему следующее:

"Глубокоуважаемый Евграф Степанович!

Совет Горного института императрицы Екатерины II с глубоким сожалением принял весть об оставлении Вами поста директора института.

Избранный на этот пост Советом института, Вы являлись по своей европейской научной известности знаменем, которое могло и должно было сплотить в те тяжелые дни молодежь, пришедшую за знанием в стены института.

Совет не ошибся. Ваше появление в институте создало целое пятилетие плодотворной работы, ознаменованной введением предметной системы преподавания и развитием работ в кабинетах под руководством преподавателей и помощников их*.

Только уверенность, что переживаемый институтом момент требовал такого знамени, давала Совету смелость просить Вас принять пост директора с неотделимыми от него обязанностями, заставляющими отнимать у Вас часть драгоценного для Ваших научных работ времени.

Дела хозяйственные приведены Вами в такой порядок, которого и мы давно не видали, а если библиотека и музей института не стали жертвою огня, то и этим институт обязан Вашим заботам.

Позвольте принести Вам от имени Совета глубокую благодарность за все труды, принесенные Вами на его пользу".

Чем объяснить такое недомыслие министра? Не иначе, как наветами недоброжелателей Евграфа. Тютчев, поэт, прав: "Как сердцу высказать себя... Другому, как понять тебя?" Но Тимашевым нужна только угодливость без возражений.

Масса перебивалась у нас знакомых, а у Евграфа лично даже незнакомых, поздравляющих его с освобождением от пут директорства¹³². "В моем увольнении чуть не героизм какой-то видят с моей стороны; странно даже", — удивлялся он. А в газетах шла полемика насчет него между двумя лагерями — радикалов и черносотенцев. Я одно время даже собирала вырезки из газет, да их зачитали желавшие познакомиться с ними. Жалею, что пропали. В одних сыпались эпитеты: гуманный, благодарный, неподкупный, выдающийся ученый, затертый бездарностями, и всех похвал не перечтешь; в других же почему-то фигурировал в разных вариациях жид, жид и жид, как будто Евграф был еврей. Даже Владимир Федорович Алексеев (химик) защищал его в газетах и приходил выражать свое сочувствие, но памфлеты сыпались и сыпались на Евграфа. Эта шумиха его сместила и удивляла. Такие возгорелись страсти вокруг его имени только потому, он уверял, что он — искра, попавшая случайно в тлеющий костер. Милый, бедный Евграф, ты, такой скромный, не любивший рекламы, попал в перезвон газет!

Горечь и обида меня берет за него. Я ощущаю свое бессилие выразить

*Свои взгляды на преподавание Е.С. Федоров изложил в "Докладной записке по вопросу о преподавании кристаллографии в Горном институте", доложенной Ученому совету института в декабре 1896 г. См.: *Федоров Е.С. Переписка. Неизданные и малоизвестные работы.* Л.: Наука, 1991. (Научное наследство; Т. 16).

вполне неисчерпаемый материал деятельности такой необыкновенной личности, такого выдающегося человека, каким был мой супруг. Это трудная для моих слабых литературных сил задача. Это была личность, подчиняющая страсти разуму, не допускающая разлада с совестью.

МИРОВАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИЯ

У нас без каких-нибудь эпидемий не проживешь. Сейчас распространилась оспа, и я занята прививкой ее своим и чужим. Теперь Евграф чаще стал бывать с нами и передавать нам разные новости из политических сфер.

А на дворе уже март, и тянет в простор полей. А жизнь идет да идет: работаем, читаем. Женя увлекается своими занятиями в детском доме, Мила перехварывает и лежит после гулянья. Женя таскает ребят по музеям, водила их и в музей Горного, и в шахту. Они прыгают от удовольствия, а ее это радует. В нынешнем году вместо обычного бала-концерта горняки устроили выставку-аквариум. Поехал Евграф с Женей, а она забрала своих учеников и учениц. Выставка была небольшая, но интересная: масса разных рыб, вуалехвостые понравились. Особенно прельстили детей морские коньки, рак-отшельник, актинии и пр. — все это виденное ими впервые. Все остались довольны, и даже Евграф. К нам охотно приходили дети: привлекали их ручные кольца, висящие в Жениной комнате. Они кувыр-кались на них, играли в разные игры. <...> Вот в детском саду Женя устает, там дети очень малы; но она не только учительница, а и попечительница их: возит их к зубному врачу. Надю хочет везти с собой в деревню отпаивать молоком, так как она истощена. Повезла их всех на вербное, дав им по 10 копеек каждому для покупки по своему вкусу, и потом спрашивала меня: "Как ты думаешь, кто из нас был счастливее — дети или я, глядя на их сияющие глазки?"

Почти совсем лето — 11° тепла, хотя идет ладожский лед и еще только 26 апреля. От Фомы Фомича пришла Жене открытка с видом храма Воскресенья. Значит, у него осталось приятное воспоминание от прогулки в пасхальную ночь прошлого года. Он и Евграф все время переписываются.

От Евгения Степановича остался нам в наследство автомобиль. Он стоит и стоит в сарае. Никто не умеет им управлять. Наконец приехал муж Лоты [прислуги], механик, служивший у Евгения Степановича, и поклат наших с целой компанией не раз. Всем понравилось, но мы поторопились его [автомобиль] продать. Евграф относился очень щепетильно к казенному добру и не хотел пользоваться казенным сараем.

— Да ведь сарай-то все равно стоит пустой, — возражали ему.

— Все равно мы не имеем на него права, ведь мы его заняли с разрешения Хозяйственного совета только на время. <...>

Мне жаль было расставаться с моими дачками, а Евграфа, конечно, тянуло в имение, где он бывал еще мальчиком. С Клобинами у него связано много воспоминаний, но он был, или его держали, пай-мальчиком. Он не помнил за собой там шалостей. <...>

А мы между тем упаковали чемоданы, корзины, картонки, баулы. Я — как гоголевская помещица Коробочка, а Евграф хлопочет: "Поменьше, как можно меньше в вагон".

На 30 мая взяты спальные места. Надо торопиться. У Евграфа закончены все экзамены и дела.

Прощай, просторная директорская квартира! Мы к ней успели уже привыкнуть. Особенно жаль чудного вида на Неву. Евграф часто теперь подходит и стоит подолгу у окна, как бы прощаясь с этой живой картиной, но молчит. Я не спрашиваю, понимая, какая у него горечь обиды на душе.

Раньше его отвлекали экзамены, потом сдача казенной мебели, чем он заведовал лично сам и в приеме ее. Она сейчас переходила к новому директору Долбне. Он несемейный и решил разделить квартиру, так как она ему непомерно велика, и мы с помощью Графчика и Кати перетасили всю мебель в один конец квартиры. С этим ералашем уже теперь и не узнать нашей квартиры. А куда денется его научный кабинет, уставленный шкафами, заполненными шлифами? Мне больше всего было жаль чудесного вида на Неву, который Женя описала в стихах "Вид из моего окна в Петербурге". <...> Но не надо думать. Будь что будет! Теперь не до этого. Я не люблю преждевременно ныть. Евграф был мнительнее меня. С нами едут Фрося и Леночка. Куда им деваться? Они прицепились к нам. Женя берет Надю. <...>

Прощайте все, прощай и квартира. Выехали мы в 10 час. 45 мин. вечера, проводили нас Миля, Артемьев и служитель Максим. Майская красивая ночь, показались поля, а вдали огоньки Петербурга, постепенно таившие. С нами в вагоне были две собаки, привыкшие уже ездить: наш сеттер Бой и Фросин Мальчик. Они первые улеглись спать. На другой день утром замелькали поля ржи, пшеницы, овса; попевала уже земляника, сажали картофель. Тут жили по новому стилю во всех отношениях, наша природа ползла, когда здешняя бежала. В Новосвенцях* пересели на узкоколейку до Уцян**. Пошла интересная, холмистая местность; но и жара же была! Мила заметила первого аиста. "Как на картинке!" — шумно, восторженно встретила его Надя. Лошадей мы взяли почтовых. У Жени тут было большое разочарование. Тут не то, что на Урале, — тройка с колокольцами, если не повозка-дормез, то широкая тележка. Здесь же лошади в дышле, нетычанки так малы и узки, что только на двоих. Надо было умудриться рассадить на три такие нетычанки девятерых. <...> Подъехали к спуску с большой горы, в ложине которой зеленели густо большие деревья. "Клобины!" — крикнул Евграф. Спустились не без опаски, завернули налево и лихо подкатали мы с Евграфом первыми к подъезду двух этажного белого каменного дома, утопавшего в цветущей сирени. Выскочил на подъезд видный высокий мужчина весь в белом — наш управляющий и экономка, вертлявая расторопная бабенка. Прежде всего уложили Милу спать, так как она почти всю ночь простояла у окна, да и вследствие ее лихорадки ей предписано ложиться до захода солнца. Вышли на терраску с круглыми белыми колоннами. Евграф задумчиво ходил по дорожкам пустующего цветника, вспоминая былое великолепие. Теперь уже не то — полное оскудение и запущение. Повел меня под руку через мостик, перекинутый через речку Веринту, протекающую перед террасой в парк с громадными деревьями всех сортов, и мне вспомнился стих Пушкина:

Огромный запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

Того уже нет, что было! Он нас не признавал — мы для него чужие. Нашего тут только какая-то частичка. И сами не знаем еще, какая, свое и не свое — это неприятное положение. Меня удивила экономка, сказав, что после смерти Евгения Степановича они думали и считали это имение выморочным. Они не знали, будто, что есть еще наследник. Чудную резную мебель отдал Евгений Степанович старинному другу этого дома М., ближайшему соседу-помещику. Осталась, хотя тоже недурная, карельской березы, но ее было мало для таких больших комнат. Евграф даже говорил, что он поражается такой переменой, нет той уютиности, что раньше была, шика, а точно мы приехали в какую-то гостиницу. Все же он спросил меня:

* Ныне Швенчёнелай (Литва). — *Примеч. сост.*

** Ныне Утена (Литва). — *Примеч. сост.*

— Ну, как ты находишь? Все же это будет куда лучше нашей дачи, но у той преимущество — близость Петербурга.

— Вот проживем и увидим, оставлять ли за собой эту прелесть.

Потом Евграф оживился, делился воспоминаниями детства и показывал, как прежде тут было. А надо правду сказать — это местечко восхитительное, с живописно извивающейся Веринтой, полной рыбы; сирени кругом видимо-невидимо, яблони, груши, сливы, вишни — все в цвету, кругом террасы — розы и кое-где в цветнике пионы уже цветут, много гвоздики. Оранжерея пуста. Впоследствии мы узнали, что управляющий все, что получше, увез в свое имение, даже цветы, выкопал луковицы лилий, подтибрил лучших лошадей и много-много чего. Экономка тоже не зевала. Пока мы ее оставили нам стряпать.

Напившись с жадностью от жары чаю, мы легли спать, кто куда попал. На другой день стали устраиваться. Евграф потребовал письменный стол — стол явился. Он поставил его в прежнюю гостиную с дорогими синими обоями, подле нее устроили нашу спальную, через коридор — комнату Милочке, зал превратили в гостиную, в ней рояль, рядом столовая, где и была, а за ней комната Жени. Все окна выходили в сад. Бильярдная занята управляющим. Фросю с Леночкой поместили наверх. <...>

Здесь тоже красивые закаты со всевозможной окраской облаков, и мы восхищались ими, но не поражались, как в Териоках.

Управляющий нашел нам прекрасного повара за 10 руб. в месяц: старик-поляк, вежливый и мастер своего дела. И вот мы стали жить и хорошо поживать, но добра не наживать, и думали и гадали, оставить ли это добро себе, уж больно оно было хорошо, но... Было много "но". Сейчас имение с нашим инвентарем еле окупало себя и разрушалось без ремонта, а когда еще состоится раздел.

Наш выезд на паре разношерстных лошадей в небольшом фазтончике всех наших соседей удивлял: прежде выезд был шикарный, как у всех здешних помещиков-поляков; у них что ни лошадь, то красота. А наших рысаков управляющий перевел в свою конюшню, а к нам поставил своих рабочих лошадей. "Не судиться же с ним! Мне это все противно". Тут не управляющий стыдился своего стяжательства, а Евграф за него стыдился. Он всегда стыдился и терялся за обманывающих его и не любил поднимать вопрос об этом, хотя заочно называл его мошенником. Деликатность или жалость к грешному тут преобладала — трудно было определить. Управляющий сначала только по праздникам и изредка в будни давал нам наших лошадей, отговариваясь полевыми работами. И Евграф молчал ради пользы общего дела. <...>

Евграф засел за свой письменный стол, даже появились на нем уже стереографические сетки. Не имея лучших слушателей, он объяснял свою теорию Жене и Леночке. <...>

В 9 верстах от нас было местечко Ованты*, где бывал базар, и мы там покупали. При въезде бросался в глаза высокий белый костел, неподалеку — домик ксёндза, а кругом большой площади — лавки и лачужки евреев. Во время дождя посередине площади образуется озеро, заброшенное отбросами, в нем полощутся утки, в грязи копошатся поросята, а здешние санитары—свиньи отдыхают, растянувшись в этой жирной грязи в истоме от жары. Повсюду слышишь еврейский жаргон, мелькают ермолки и пейсы, все лавки еврейские. Для нас это ново, и мы присматриваемся. Тут амбулатория, квартира земского врача, почта и аптека. Еврей-аптекарь при моем появлении в первый раз засуетился и объявил мне, что прекрасно знает, что я врач, и сейчас же ко мне на осмотр привели девочку. Собралась как раз гроза с ливнем, и было кстати укрыться от нее тут. У католиков

* Ныне Аланта. — *Примеч. сост.*

24 и 25 июня было торжественное богослужение с крестным ходом, и мы поехали в костел посмотреть. У нас причащаются сами — подходят к дарам, а тут они шеренгой стояли на коленях перед низкой решеткой, а ксёндз торопливо давал причастие. Тут в костеле литовцы и поляки, а окружают евреи, как бы два царства, а мы, русские, точно инородцы в России, а не они.

<...> Проезжаю по деревне, а ко мне зачастую подбегают за советами или приглашают заехать осмотреть больного. Дома же все утро проходит в приеме больных. Удивляюсь: у них тут немало докторов, а болезни запущены, диагноз не верен. Я оказалась хорошим диагностом и потому скорее вылечивала, и у меня много пациентов, к тому же не беру гонорара, но больные все-таки оставляют на столе 25—30 коп. Например, одна женщина лечилась уже у многих докторов и даже побывала в больнице в городе и хворала уже не один год, а я ее вылечила от плеврита, который у нее почему-то игнорировался. Как-то проезжаю деревню, вдруг слышу я крики, и из одной избы выбегает женщина, а за ней вся семья, подбегают к экипажу и бросаются целовать мои перчатки. Что такое? Вижу, суют мне в экипаж большого петуха со связанными ногами. Это, оказывается, благодарность от всей семьи за излечение больной. Конечно, я этого петуха, может быть, единственного у них, не взяла, у меня и свои были, да и купить могла. Из всех окон и крылец деревни мне машут и кланяются — это овация. Она меня тронула. Я рада помочь, но приходилось хорошее, более прохладное время утра просиживать в комнатах в испарениях больных. Не скажу, однако, что это мне нравилось. Что поделаешь? Признаюсь, к моему стыду, что меня больше тянуло копать в саду. Я уже там сделала обследование, начала поправлять дорожки, клумбы; забралась в глубину сада, в то отделение, где была сильная заросль бурьяна и травы мне до плеча, а из всего этого травяного моря возвышались яблони с зачатками яблок и вишневые деревья. На мой вопрос управляющий дал ответ как-то нехотя: "Это пустошь". Меня взяло подозрение, что тут что-то не ладно, и я пошла на рекогносцировку, хотя для моих еще слабых ног это было нелегко, но все же я добралась до сути дела. Когда я попросила кучера Людвиг, славного малого, скосить траву, то обнаружили кусты крыжовника, ежевики и разных смородин; получился хороший фруктовый садик. Все кусты и деревья я распорядилась подкопать, выписала из Питера рассадку земляники, понасажала ее в ряды, сама полола, поливала и подвизывала. Она разрослась.

Среди нашей трудовой и отчасти отдыхающей жизни в нашу мирную пастораль ворвался диссонанс: сюрпризом для нас подкатил на одной лошади к подъезду Николенька Ст. Для него, оказывается, наше пребывание в Клобинах было тоже сюрпризом, что несколько странно. Почему Михаил Михайлович ему ничего не сказал? Тут какая-то двойная игра. <...> После обеда происходила проверка отчетно-расходных книг. Коля тут разыгрывал роль как бы единственного наследника и измывался над волнуемым, красным, точно пришибленным, управляющим. Перед ним Евграф выдерживал тон Коли, хотя это было не в духе Евграфа. Но вечером он с возмущением говорил мне: "Как мне все это противно! И когда этот дележ кончится, а он только начинается. Положим, управляющий — мошенник, следует его устранить, но уличать, унижать, когда и так уж он смущен и не знает, куда деваться от стыда, как бы добивать лежачего, это бессердечно и мне это уже претит, претит!" И долго мы еще переговаривались в кроватях. Николенька смутил наш покой. Хотя он долго с разными уверениями и эпитетами целовал Евграфа: "Многоуважаемый, досточтимый дядя", — все же он был только отшлифованным правоведем для него. Управляющий, почуяв,

верно, инстинктом, чувства и нрав Евграфа, пришел к нему за советом на другой день, как ни в чем не бывало. У него ко всем его неприятностям еще была больна мать. <...>

На крыше конюшни было большущее гнездо двух аистов. Самец сидел на яйцах тоже, либо стоял на страже на одной ноге. Птенцов они оба попеременно кормили. Евграфа эта семейная идиллия приводила в восторг, и он приводил их в пример людям: "Как многим семьям следовало бы это перенять". Он каждодневно ходил полюбоваться на них.

Управляющий, заведомый мошенник, хорошо умел прятать концы, но кое-где они вылезали, а Евграф и виду ему не подавал, что подозревает его, и был очень недоволен, когда тот пришел жаловаться на Фросю, что она его обозвала вором. Евграф говорил: "Не пойман — не вор. Я ловить не собираюсь, уличать его — дело Мих[аила] Михайловича. Я считаю человека, присваивающего чужое добро, ненормальным, и с ним иметь дело надлежит не мне, а судье или психиатру. Мне претит улавливать и уличать".

Цветут липы, здесь их много. Цветут цветочки, посаженные мною в клумбы цветника. Такой аромат от них и от скошенного сена! Особенно мне памятна поездка всех нас в длиннющей каре на сене, с управляющим за кучера, на покос в дальние заливные луга, где мы провели чуть не весь день. Даже Евграф и думать забыл о своем письменном столе. Две такие продолжительные прогулки — в луга и дальний лес — только и могли увлечь беззаветно Евграфа на весь день. Лес был действительно необъятный; хотя и были три сторожки лесников, но в нем легко было заблудиться. Деревья были разных величин и возрастов, но в большинстве великаны, попадалось много дубов в 5—6 обхватов. Этот лес имел большую ценность, и напоследники возлагали на него большие надежды; а Евграф говорил: "Не остаться бы нам с носом в расчете на лес: вырубят исподволь самые ценные деревья и все тут, да хоть этот же управляющий, лесники ему ведь подвластны. Недаром Мих[аил] Мих[айлович] подал на опеку в суд. По-моему, с моего детства лес не постарел, а помолодел".

Излюбленная дорожка Евграфа была подле террасы. По ней он мелькал взад и вперед, если не сидел за письменным столом; в дождь прохаживался вдоль кабинета и залы. Изредка он отдалялся от дома, так как там его отвлекало многое от наплывающих в его мозгу мыслей. Но он стоял за пунктуальный распорядок дня, и редко что-нибудь или кто-нибудь его задерживал к обеду. К счастью, приезд гостей совпадал с минутами его отдыха, чаепитием или игрой на рояле, и он тогда был приветлив и любезен, общителен и сидел все время с ними, хотя бывали больше дамы. Все знакомые относились к нему с большим уважением и почтением как к известному ученому.

Мы тут познакомились со всеми через нашего соседа, помещика М. Он нас пригласил на именины. Вот у него-то мы и увидали все здешнее общество, конечно, все больше поляки, но говорящие прекрасно по-русски. Большинство весь вечер винтили на нескольких столах. За ужином меня посадили во главе стола. Я запротестовала и пригласила сесть со мною рядом старушку-польку, Марию Ивановну. Мы с нею разговорились. Оказалось потом, эта Мария Ивановна была пассией Петра Герасимовича, второго брата матери Евграфа, значит, его дяди, и только потому они не поженились, что были разных религий. Выйди она тогда за него и имей детей, она была бы теперь полной владелицей Клобин, а сейчас она, бедная одинокая старушка, приехала погостить к племяннице, Терезе Ивановне Д[жикман], из Вилькомира.

После ужина захожу в комнату, куда забрались все дамы; слышу шипящий польский говор. Думаю, обрадовались, отдыхают от ненавистой им

русской речи — поляки ведь ненавидят все русское. Мы среди них здесь, как белые вороны среди черных. Вот почему неприятно было бы здесь жить все время. Как хорошо, если б не было разных наций и религий, промелькнуло у меня в голове. Вошла и сказала: "Нас с мужем только двое русских среди Вас, господа, а вам пришлось в угоду нам все время проговорить по-русски, вопреки, конечно, Вашему желанию, хотя Вы великолепно говорите и даже без акцента". Все запротестовали, уверяя, что они часто и между собой говорят по-русски, так как все учились в русских гимназиях. Только одна из дам, в изящной белой кофточке, оказалась русской. Она, самая красивая, оказалось, была женою полковника русской армии, учившегося и живущего всегда в России и приезжавшего со своею семьею к сестре-вдове. Хотя отец был поляк, двое сыновей их были православными и тоже офицерами; очень красивая дочь тоже за русским офицером. Муж Терезы Ивановны был немец. Такое скрещивание народностей уживалось рядом с религиозным фанатизмом Петра Герасимовича и Марии Ивановны. После этого вечера у нас завязалось знакомство с двумя семьями: с Терезой Ивановной Дикман, очень образованной, интеллигентного вида блондинкой, и с семьей полковника Довноровича. <...>

Познакомился с нами еще сосед с третьей стороны имения. Этот уже был литовец, крестьянин, помещик и арендатор другого имения. Он сам сделал нам визит с сыном, студентом-медиком. Отца привлекало наше имение, а сын не прочь был поразвлечься с нашей молодежью, любя немного порисоваться, пооригинальничать во взглядах и вкусах; он был интересный собеседник даже для меня и Евграфа. С ним затевались обыкновенно ярые споры на всевозможные темы. О равноправии женщин — он, не боясь прослыть отсталым, доказывал, как медик, большое их различие от мужчин и потому отвергал [равноправие]; признавал даже разницу в мозгах обоих полов, что, собственно, ведь и правда, но со временем, может быть, этого не будет. Он не был шаблонен, это-то мне в нем и нравилось. <...>

От директора Долбни Евграф получил очень любезное письмо с просьбой выбора одной из двух [квартир], выкроенных из одной директорской; присланы были и планы их. Евграф выбрал угловую, там была и комната с его шлифами, и оставался наш любимый вид на Неву. Такая предупредительность Ивана Петровича тронула Евграфа. Мы было уже совсем собрались уезжать, но пришлось Евграфу уехать одному, так как явился Михаил Михайлович наводить порядок. Евграф был рад-радешенек улизнуть от всех этих перипетий. Михаил Михайлович суетился, повсюду бегал и сидел только за чаем, обедом и ужином. Он в 2—3 часа раскрыл все художества управляющего. Рабочие все настаивали о подаче на него в суд, готовясь быть свидетелями всех его махинаций. Управляющий был удален, и на его место приехал новый — Валентин Люцианович Герман, молодой, высокий, довольно красивый, с лысинкой, блондин. Ему были сданы все дела, и мы выехали в Петербург.

Туда мы приехали рано утром; в чистенькую новую квартиру в восемь комнат с простенькими обоями провел нас сам Евграф, все показывал. Одно неудобство: кухня внизу, но не все коту масленица. Зато перед глазами остался чудный вид на Неву, и Евграф в своих кабинетах, как прежде. Первое время после простора полей и изобилия воздуха мы задыхались при паровом отоплении и, начиная с Евграфа, все зачихали и закашляли.

В 3 часа дня 27 сентября появился на свет наш первый внук и первенец Графчика. Они жили недалеко от нас на Большом проспекте. Это маленькое существо возбудило в нас всеобщую радость и интерес. Графчик сиял. Женя, крестная мать, все дни там проводит. Теперь в нашей семье

это третий Евграф. Он с каждым днем красивеет, крепнет и даже начинает проявлять пронзительным криком требование, чтоб взяли на руки; засовывает свои малюсенькие изящные пальчики в ротик.

17 октября глубокий снег, 10° мороза. Что-то больно рано, но лучше, а то была гололедица и повсюду падали лошади. Мосты загромаждаются от этого возами. Жена опять принялась за уроки. С разделом имения ни тпру, ни ну. Явился как-то Николенька, сначала лебезил, как всегда, а потом стал протестовать, что мы живем одни в имении, и выразил желание приехать со всем своим семейством (значит, и с матерью, совершенно невменяемой особой по своему характеру) на будущее лето. Нам этот сюрприз пришлось, как обух по голове. Колиного наследства в доме третья часть; всего, значит, пять комнат его, но вся движимость наша. Что станет делать он там в пустых комнатах без мебели, без коров и лошадей, если мы все это продадим? Обработка имения остановится, и оно из малодоходного будет бездоходным. На наше содержание там мы не затрачивали третьей части дохода с имения, а наоборот, давали имению в работу лошадей и на продажу молоко от коров, беря себе только 4—5 крынок; единственно только пользовались пустующим домом, который, как нежилой, мог сыреть, и вдруг мать Николеньки чуть было не подала на Евграфа в суд, да ее успели во время удержать. Волновался Евграф от всех этих дряг. Наконец он написал племяннику, что прекращает с ним личные отношения по имению и припугнул его продажей инвентаря. Теперь будущее лето под знаком вопроса. А мы-то уже рассчитывали в апреле выехать в Клобины. Даже Мила своей чудной игрой не успокаивает взбудораженное настроение. Между тем из имения пришли два письма с отчетом от Германа и другое — от рабочих, оба утешительные и зовущие нас опять приехать.

В ноябре появилась тревога за жизнь Л.Н. Толстого: ему уже 80 лет*, а он даже при особом бдительном надзоре безнадежно болен крупозным воспалением легких. Теперь только и разговоров, что о нем повсюду. Рассказней разных не оберешься, споры идут об его уходе из дому. Особенной мишенью служит его жена, Софья Андреевна. Чуть ли не от нее он бежал будто. Я не верю, не верю! Он не такой, чтоб бросить жену, выходящую столько его детей. Нет, тут нечто другое. Я думаю, скорее, он хотел скрыться от окружающей его сутолоки и провести последние дни своей жизни в уединении и сосредоточении, вдали от суеты мирской. Евграф держался моего взгляда. Мы с ним возмущались, что многие считали Л.Н. Толстого чуть не юродивым за его прощение и непротивление злу, забывая прибавить: злу — злом, считая его фаталистом. Он же сам не был безразличен ко злу и возмущался, и протестовал: "Не могу молчать!"... "Стыдно!"... Он это кричал, а не молчал, как подобало бы фаталисту. Он мечтал о социалистическом строе по Евангелию.

...Лев Николаевич умер. На перепутьи, на станции ж[елезной] дороги Астапово 7 ноября. Кроме семьи, понаехало туда много посторонних. Рассказывали, что доктор в последние минуты, думая, что все кончено, подошел констатировать смерть, а умирающий отстранил его своей рукой. Вот если бы он мог описать свои последние минуты! Никому этого не дано. Он был верующим в Бога, молился, но он не признавал религиозных обрядностей и за их критику был отстранен от церкви, т.е. отлучен.

После его смерти студенты бастовали три дня. В честь его была устроена демонстрация. Полиция, как всегда, своими арестами подливала масла

* Л.Н. Толстому было 82 года. — *Примеч. сост.*

в огонь, и пошли, хоть и не вполне дружные, забастовки высших учебных заведений. А Л.[Н.] Толстой был непротивленец злу злом. А тут еще прибавились отравление, бунт и расстрел в Зерентуйской тюрьме и вызвали сходки и распри у студентов. В Одессе произошла возмутительная история: расстрел академиками в университете собравшихся на сходку товарищей, причем был убит студент Иглицкий. Администрации, как она ни старалась, замять дело не удалось, и пошли сходки за сходками повсюду, высылки выборных студентов в северные губернии из каждого высшего учебного заведения. Сотнями увольнялись студенты, и даже из Московского университета уволили профессоров Мануйлова, Менсбира и Минакова за бездействие власти. Следом за ними ушло еще несколько известных профессоров. Общество волнуется. Их закидало оно отовсюду сочувственными письмами, даже были и от капиталистов, которые собирались устроить даже академию в Москве, куда хотели пригласить всех уволенных и вышедших профессоров и приват-доцентов¹³³. Вообще бурлит наше болото. А Столыпин не унывает. В одних заведениях полная забастовка, в других производят обструкции, идут увольнения, аресты.

Графчику предложили место физика в Константиновской магнитно-метеорологической обсерватории в Павловске. Много за и против есть. Там казенная квартира с отоплением и освещением, жалованье 120 руб. в месяц, чистый воздух, более дешевые продукты питания. А против: Кате хочется продолжать учиться на зубо врачебных курсах; будут жить далеко от нас, значит, ребенок будет оставаться на нянюку весь день. Нас всех это беспокоило. <...>

От времени до времени стал у нас бывать Франц Иванович, студент, познакомившийся с нами летом, наш сосед по имению. С ним не соскучишься, он всесторонний, интересуется живописью. Женю водил в Эрмитаж, где его знакомый, Шмидт, был заведующим, и читал частным образом группе студентов лекции из истории искусства; показывал им картины итальянской школы, начиная с XIV до XVII в., переходя постепенно от схематической живописи к более современной; указывал на несоответствия в картинах; например, при казни люди все стоят с индифферентными лицами. А может быть, прежние люди так и относились к смерти? Зачем ходят смотреть на казнь?

Евграфу с оставлением директорства редко приходилось облачаться в сюртучную пару, а тут раз быстро побежал переодевать свой домашний костюм на парадный и говорит мне:

— Иду на свадьбу. Отгадай, к кому?

— На свадьбу? — удивилась я.

— Да, я и сам удивлен, Артемьев пригласил.

— Как! Сейчас?

— Только сейчас и не знаю даже, на ком он женится, даже Купфер не знает.

Приходят со свадьбы с Купфером. Оба смеются.

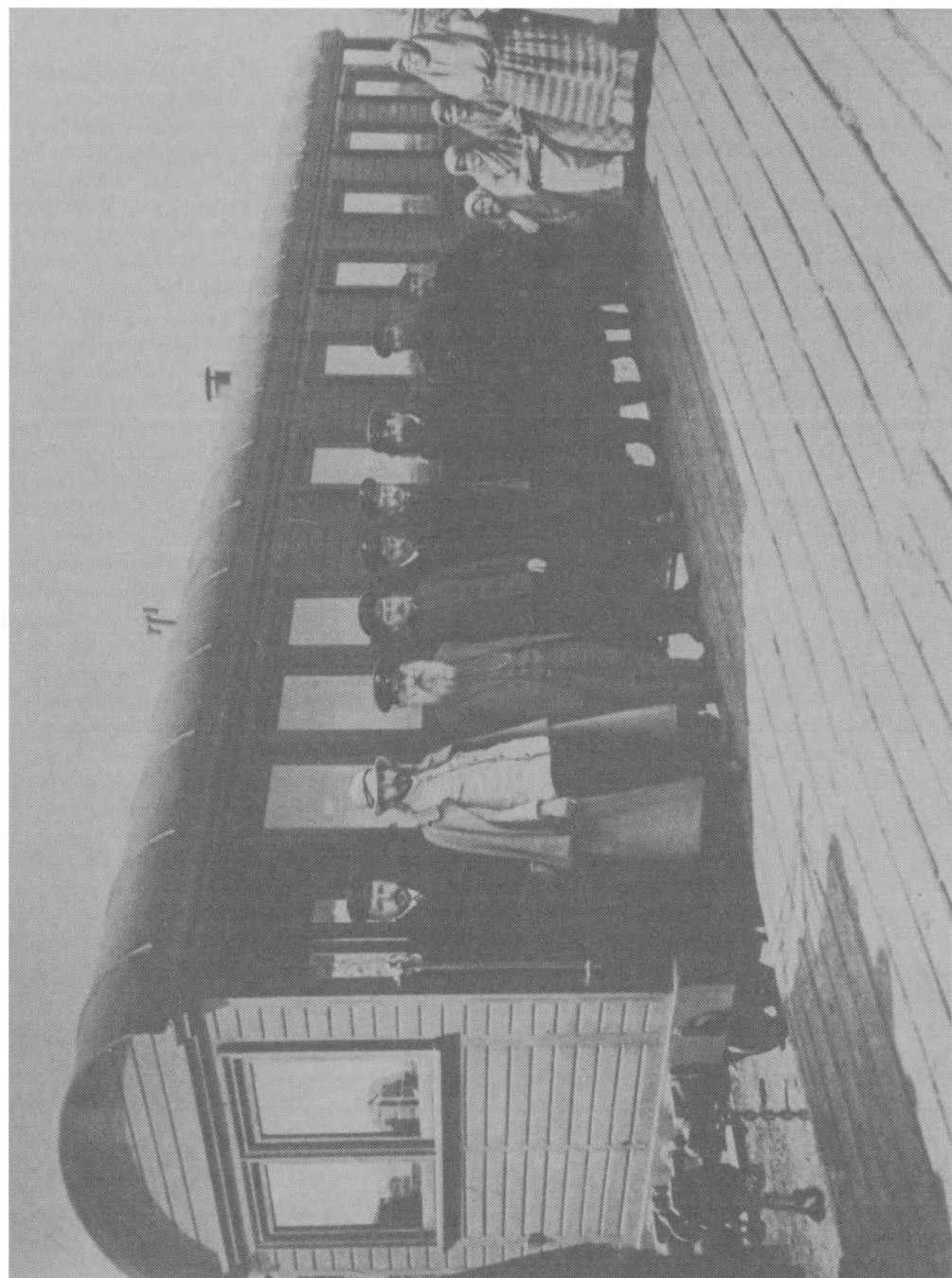
— Это не жена, а мамаша.

Оказалось, это богатая вдова с детьми. Купфер смешил нас: он суетился и поражался больше нас всех.

— Может быть, это давнишняя любовь Артемьева?

Но Купфер даже замахал руками и категорически отрицал. Евграф уверял, что не понимает таких браков. Если это брак по расчету, то Дмитрия Николаевича мне было жаль. <...>

У кого что, а у Жени с Леночкой споры о высших материях; так, обязаны ли они отплачивать народу за свое образование и как? Леночке было мало отдавать свои научные знания в народное пользование и тем самым выплачивать свой долг за ученье. За битого (т.е. ученого) двух небитых



дают, гласит русская пословица. Но Леночка, уже нахлебавшаяся социалистических идей еще в гимназии, жаждала жертвы и готова была идти на заклание. Пока что она только болтала, а сама была большая эгоистка. Евграф, желая дать возможность ей продолжать ученье, решил и ее присоединить к своему наследству. Адвокат возмущался, так как имение было со стороны матери Евграфа, а Леночка — племянница Евграфа только со стороны отца его и его первой жены. Я предлагала лучше выдавать ей от себя плату за ученье, не делая ее наследницей. Но Евграф, вписав ее в свое прошение, как бы закрепил ее. Женя была альтруистка, она стояла за исправление испорченных, преступных элементов, объясняя их проступки ненормальным воспитанием и была против всякого убийства; Леночка же настаивала на уничтожении преступных субъектов. <...>

Наш такой красивый сеттер Бой, жизнерадостная и так нами любимая собака, околел. До чего можно привязаться к животному: у меня с Женей томило сердце, глядя на окно, где он зачастую, положив передние лапы на подоконник, глядел на улицу, виляя хвостом при виде знакомых. Опустел и угол между буфетом и стеной, где он спал и проделывал разные фокусы под командой Евграфа за лакомый кусочек. "На место!" — бывало, крикнет Евграф, и он смирно отправляется в свой угол, пока не разрешат выйти. Выход сопровождался бурной радостью. Однажды мы наблюдали в окно такую картину: собралась толпа зрителей, городской командовал, а Бой выделял фокусы безвозмездно, пвинуясь благоразумно полиции. Это, должно быть, единственный случай в жизни городского, что он не разгонял, а собирал толпу. Евграф любил животных, он и в имении двух наших дворовых собак выучил разным фокусам. Одна из них, старая, умудрялась становиться "во фронт" и "на караул" или ждала терпеливо разрешения съесть лакомый кусок на носу. Эти собаки, Вильчик и Кудлис, особенно последний, старший, очень скучали по нему, когда он уезжал. Кудлис даже долго не вылезал из конуры и ничего не ел.

На нашем пруду и на реке плавали наши утки. Евграфу вздумалось как-то их покормить, и когда он вернулся в гору к террасе, утки пришли за ним и стали каждодневно приходить к террасе, и когда Евграф к ним не выходил, то они обходили ее и отправлялись к его окну, вызывая его гоготом. Оказалось, у них было соображение. Евграф был этим удивлен и выходил их сам кормить. После его отъезда они настойчиво гоготали у его окна, где стоял его стол, а не у другого: верно, они видели его в этом окне. Эти утки спасли этим даже себе жизнь — мы их не могли поест.

В [Государственной] думе идут речи и речи, одна зажигательнее другой, зачитываемся ими. К.В. Аркадакский с Соней довольно часто бывали у нас и много рассказывали; хотя Пуришкевич оставил травить Евграфа, но еще немало чудил там и произносил очень смелые речи. <...>

Уже половина марта, а с Рождества ни в Горном, ни в университете, ни в Технологическом и во многих других заведениях почти нет занятий. Заговорили об уходе Столыпина. <...>

Нынче мы рано выехали в Клобины, уже в конце апреля. У Евграфа еще продолжались лекции и экзамены, а потом он должен был ехать, по приглашению Стратановича, в Турьинский Рудник, куда приглашал и нас, но наши дела звали нас в имение. Тут уже сажали картошку; все же нам пришлось подтапливать печи. Не успела я еще разобрать багаж, как ко мне повалили больные. Новый управляющий не такой заискивающий, и семья

его оказалась симпатичной. Жена его, Любовь Тимофеевна, воспитанница двоюродной сестры Евграфа, училась и воспитывалась с племянницей его — сонаследницей. У нас сразу установились приятельские отношения. Я, любительница детей, рада была их милым ребятам: хорошенькому, кудрявому Вечуку трех лет и годовалой Ирочке.

Погода делалась все лучше и лучше, распустилась сирень, и на каждом почти кусте запел соловей. Хожу я тихохонько и слушаю. И какая же это была прелесть! Я уносилась думами за много лет назад. Владелец бывший этого имения, сановник, отец матери Евграфа, купил это имение у магнатов Радзивиллов, которые, в свою очередь, тут пировали. Взглянули бы они теперь на это свое разоренное гнездо, на полное оскудение, благодаря забравшимся вора и обчистившим все дочиста.

В июне приехал Евграф. Его в это лето, бедного, все время отрывали от научной работы дела по имению. Управляющий уже недоволен Михайлом Михайловичем и хочет уезжать. Мих[аил] Мих[айлович] приехал в июле и сообщил об убийстве в Киеве в театре Столыпина охранником, евреем Богровым. На Столыпина давно уже охотятся. Дочь Мих[аила] Мих[айловича], сонаследница, оказывается в злостной чахотке. Он уговаривает Любовь Тимофеевну ехать ухаживать за ней, а Герману предлагает взять в аренду свое имение. Одним словом, идет какая-то неразбериха. Евграф хватается за голову и говорит: "Одно бы хотел, чтоб меня оставили в покое, и никакого наследства мне не надо и с этими дельцами лишь бы разделаться скорее". Нас уже начало брать сомнение насчет Езерского. Когда доктора объявили его дочь безнадежной, он заторопился с продажей имения, а между тем с ее смертью осталось бы только два наследника: Евграф и Коля С. А Евграф твердил: "Скорее бы разделаться, лишь бы оставили в покое". Это было на руку Михаилу Михайловичу. Тут как раз заявили к нам три сестры Коли. Мы их поместили наверху. <...> А Езерский потащил Евграфа в Вилькомир* искать покупателя на большой лес и хлопотать о его вырубке. Евграф поехал недовольный, поварчивая; а вернулся радостный, что находятся покупатели и на лес, и на имение. Но и он начал разочаровываться в Езерском. "Жаль Клобин, но по крайней мере разделяешься с мошенниками и плутами". Мошенник был у него прежний управляющий, а плут — Езерский. "Поверь мне, он нас так обделает в свою пользу, что мы выйдем с тем же, с чем пришли". Но машина пущена, и ее нельзя уже остановить без скандала. Будь еще умнее Николенька, другое бы дело. Его сестры жили у нас, как гости. Пока не было никаких недоразумений между нами, но чувствовалась отчужденность. Мы были люди разных миров: мы — идеалисты, чистоту нашей совести мы ценили выше денег и старались ее соблюсти, а они все какие-то меркантильные людишки, не могли нас понять и, судя по себе, не доверяли нам. <...> Мне вспоминались слова Мора из "Разбойников" Шиллера: "Эта земля так хороша, а я так гадок (человек) в этом чудном мире. Я такое чудовище на этой прекрасной земле". И правда, какая здесь очаровательная природа, все цветет, благоухая, какое изобилие всего, просто рай какой-то. А человек? Сколько больных, искалеченных и подлых душ! <...>

Мы узнали про лихоимство Езерского: он с покупателей требует взятки для себя. Так, есть три покупателя на Клобины; один дает ему 1000, другой 2000, не знаю, сколько дает ему третий. Это, собственно, из нашего кармана. Евграф говорит: "Хорош гусь! Пускай берет, скорее бы с ним распрощаться". Да, и больше бы уже не видаться, а то приходится его принимать и угощать.

* Ныне Укмерге — *Примеч. сост.*

... Зима [1911—1912 гг.] прошла незаметно за усиленными занятиями у всех нас и обычным прихварыванием Милы. <...> А наш младший внук Евгений, появившийся на свет 7 февраля, пока еще живет в колясочке, спит, сосет и удивительно спокоен; личико у него, как луна. Зато старший внук Графочка — большой боец, такой самостоятельный малец, что за ним по пятам ходи из-за его проказ, хотя говорит еще на своем воляпюке, но уже выдерживает дедушкины экзамены: показывает на картинках всех животных, их глаза, носы, рты, уши, рога, хвосты. У него живое, с черными глазками личико.

С 28 апреля мы уже опять в Клобинах. В этот раз Женя с собой притащила своих неуспевающих заморышей-учеников — Устю и Валю — и каждодневно с ними занимается и откармливает. Очень еще холодно, сильные леденящие ветры, я опасалась, кабы эти хилые создания не простудились в их легкой одежде. Постепенно теплеет. Цветут сирени, каштаны, акации, пионы; фруктовые деревья все белые, как невесты в уборе, все благоухает. И эта вся прелесть скоро будет не наша. Все зависит от случая и от плута Езерского, стакнувшегося с Николенькой, которого он тоже стремится поднадуть. Герман уволен, ему наобещано было много, но даже не платилось жалованье, и он не знал бы, как свести концы с концами, если бы не мы. Нам было грустно расставаться с такой милой семьей, и мы уговорили Любовь Тимофеевну остаться у нас до осени.

Только порешили, как 21 мая Клобины были проданы Слижису; хорошо, что ему: его все хвалят за честность, он покупал для себя, а не для перепродажи. Он, несомненно, человек умный, сам крестьянин, но всем детям дал образование, даже трем младшим сыновьям высшее. Старший сын помогает ему в хозяйстве, второй, Франц Иванович, — студент-медик, Яков Иванович — студент-путеец. Еще сын учится за границей на гражданского инженера и дочь Михалина только что кончила учиться в Ковно*. Хотя и проданы Клобины, но мы продолжаем жить, как жили, и нас не тревожили, а даже приглашали приехать и на будущий год. Тогда Евграф уговорился с новым хозяином о нашем приезде сюда ежегодно каждое лето в продолжение 10 лет за известную плату. У нас тут будет оставаться вся обстановка, экипажи, две лошади и две коровы. Значит, 7 месяцев в Питере, да 5 в Клобинах проживать будем. Как хорошо для Милы с ее хронической лихорадкой! Она здесь катается, ослабев, что немудрено в Петербурге, здесь она гуляет по лесу, собирая грибы, а не по душным улицам города. Евграф рад-радешенек был, что скоро разделается с этим дележом, а пока то уезжал, то приезжал к нам в хлопотах по запродажам. <...>

А нас особенно тянет в сад в лунные ночи. Уж больно они хорошо бывают. Так хороши, что надо быть поэтом, чтобы их описать. Сидели мы так на скамье перед цветочной клумбой, а полная луна освещала ее и нас. Невольно разговор зашел об этом странном светиле, и Женя вспомнила, что она видела луну в телескоп в Народном доме Паниной. <...> Видели созвездия с их яркими расходящимися лучами и, наконец, Луну, что было всего интереснее, с ее цирками, кратерами округлой формы, ярко освещенными верхушками гор и сероватым "Морем смерти", на котором, при увеличении в 3000 раз виднелись маленькие неровности, как бы от застывшего зыбления. Но луна мертва, на ней ни воды, ни жизни. Неужели и на ней была когда-то жизнь? Этот дом Паниной был очень благоустроен, там с пользой можно было провести день и выйти оттуда сытым: выдавалась еда и чай по билетикам, и все цены дешевые. Публика бывала в большинстве простая, но тихая, вежливая, без задора, пьяных и в помине

* Ныне г. Каунас — *Примеч. сост.*

не было. Я там тоже бывала с удовольствием и всегда возвращалась с каким-нибудь новым знанием — я, уже много выдавшая. А как много, значит, этот дом давал необразованному!

По обыкновению, у нашего соседа М. на именинах собралось в это лето много гостей. Обсуждали все наши дела по наследству, и досталось же тут плуту Михаилу Михайловичу, все косточки ему перемыли. Жаль Клобин, прелестное местечко, но оно не больно-то далеко от немецкой границы. Пруссия все время бряцала оружием, к чему-то все готовится, об этом много тут поговаривали. Дикманы продают даже свое имение. Они называют причиной раздел, так как старшие дети уже взрослые, но чувствуется и другое. <...>

Ехали мы этот раз [в Петербург] на поезде с Францем Ивановичем и Яковом Ивановичем. Смеялись над ними, что последний будет строить костоломки, как путеец, а брат его, доктор, будет излечивать его жертвы. Могли ли мы думать и предвидеть тогда, что этот круглолицый, с детски наивным лицом, казавшийся тогда мальчуганом, симпатичный Яков Иванович будет впоследствии выбран в министры путей сообщения в свободной автономной Литве! Если б тогда какой-либо оракул это ему предсказал, мы только посмеялись бы. А тогда мы, беспечные и довольные, что долго-долго будем часто видаться, шутили. Только Франц Иванович выражал недовольство, что в этот год кончается академия и придется зарыться в глуши, докторствовать. Спали великолепно. Вот уже и Гатича; кофе с французскими булками, которых все лето не видали. Петербург, карета, грохот колес, рев сирен автомобилей, суета сует; шум этот поражал после пятимесячной тишины. Мила даже зажимала уши. Горный. Радость встречи. <...>

В нашу мирную трудовую жизнь врываются отголоски болгарской войны со зверствами башибузуков¹³⁴. Особенно бурно возмущается Евграф, читая за обедом нам статьи; ест как-то автоматически, даже часто давясь, запихивая в рот помногу, чтоб только скорее сглотнуть все, что полагается. А некоторые уверяют, что болгары исподтишка вырезают поселившихся у них уже давно турок. *A la guerre comme á la guerre!** Сколько поколений еще переживет, пока война станет анахронизмом?

Фрося подумывает отправиться в Болгарию в сестры милосердия, тем более что у нее с Леночкой большие нелады. Та уже успела посидеть в участке за какой-то протест. Там, познакомившись, завела себе подружку, пригласив ее жить к себе на дачу. Потом та и в городе переехала к ним жилищей. Она так взвинтила и распропагандировала Леночку, что та стала сама не своя, бредит революцией, ученье забросила, вызываясь дерзко держит себя с матерью, а Фрося, главное, боится, не провокаторша ли эта подруга.

Фрося-таки уехала в Болгарию. <...> Фрося преобразилась: пишет, что дежурит у раненых по ночам, делает им перевязки и даже присутствует при операциях отнятия рук и ног. <...> Больные ее любят. Она их угощает подаренными ей мною на дорогу печеньями и конфетами, а те, узнав, что это из России, обрадовались, так как (будто?) благоговеют перед Россией.

Конечно, Фрося скучает по Леночке, а та здесь чудит. Она не желает быть дворянкой и интеллигенткой. Она все три комнаты отдала в наем и со своей товаркой переселилась в кухню; прислуге отказала и стала прислуживать жильцам. Трудиться лучше, чем бездельничать; но по ее способностям и знаниям с нее следовало требовать большего, чем черная работа. Придя как-то к ней, Женя застала ее за уборкой комнат жильцов и помогла

* На войне как на войне (фр.).

ей ставить самовар. Леночка, видимо, устает, но считает свой труд плодотворным, хотя потом, провожая Женю до Гороховой, призналась, что раньше у нее было много энергии и веры в себя, да свободы не было, а теперь есть полная свобода, да ничто больше не радует, все тоска.

Леночка — тип нашего интеллигента-русака; его совесть к чему-то его обязывает, а к чему — и сам не разберет: чего-то нет, чего-то жаль, к чему-то сердце мчится вдаль. Со школьной скамьи уже гнетущий режим нашего строя тушит молодую радость жизни и заменяет ее собачьей старостью. Разочарование жизнью у Леночки сейчас; через день-два Леночка социалистка. Сидела она как-то у нас в столовой и проповедовала, что теперь это единственная цель ее жизни, и когда я ее предупредила, что теперь провокатор на провокаторе и она с ее разгильдяйством прежде насадится в тюрьмах, чем успеет что-нибудь сделать и будет только давать заработок шпикам, то она состроила мне такую презрительную насмешливую мину: "Не тебе бы меня учить!" — и не удостоила ответом, так что я замолчала. Это была уже та бабочка, которая во что бы то ни стало лезет в огонь, пока не сожжет крылья. Для бабочек спасение — электрическая лампочка, она не обжигает. А тут уж ничего не поделаешь, хотя она из тех пустозвонов, которым хорошее определение дал Гейне: "Преисполненный огромными порывами, он был в своей общественной функции совершеннейший нуль, нет, скорее только тень от нуля".

Евграф сделал громадную ошибку, вписав Леночку в свое прошение о наследстве, помимо закона и протеста адвоката. Но он стремился облегчить ей получение высшего образования. Леночка начала проявлять свой социализм с требования причитающихся ей семи тысяч. Как ни уговаривал ее Евграф не тратить и лучше не брать их сразу, какие резоны и комбинации ни приводил, она твердила, что обязана употребить их "на дело" и никаких условий не примет, они ее только унижают. Евграф ушел в кабинет. Жене и Миле она наговорила много непозволительных вещей: мы-де занимаемся благотворительностью и милостями, чтобы похвастать перед другими своими добродетелями и т[ому] под[обное]. Я не впутывалась. Я заранее предупредила Евграфа, чем вся эта затея с ее наследством окончится. Все ушли из дому, кроме меня и Евграфа. Леночка прошла к нему в кабинет. Я сидела в спальне за работой, как вдруг быстро-быстро подходит ко мне Евграф весь бледный, садится и говорит: "Мне дурно! Я не хочу больше ее видеть, пойдй, скажи ей, чтобы она сейчас же от нас уходила и чтобы ее нога не переступала нашего порога никогда-никогда". Я испугалась. Мне еще не приходилось видеть его в таком состоянии. Накапала ему валерианки, дала выпить воды и побежала отыскивать эту девчонку. Она уже одевалась в передней, я ей передала желание дяди, чтоб она не переступала его порога никогда-никогда. Она молча ушла. Оказывается, она заявила Евграфу, что она подаст в суд для разрешения вопроса, вправе ли она требовать эти деньги целиком или нет. Какая неблагодарность за все заботы о ней! Это был ей подарок. Она не наследница и не имела никакого касательства даже к матери Евграфа, она ему родственница по отцу только. Деньги, все семь тысяч, были ей высланы через нотариуса, и все отношения с нею были прерваны.

Даже всех наших знакомых ее выходка возмутила. Немного погодя от Фроси из Болгарии телеграмма: "Задержите деньги". Но было уже поздно. Мы не знали, какие личности Леночку окружали, куда уйдут эти деньги. Фрося поторопилась вернуться, привезя с собой годовалого болгарчонка, мать которого на войне с мужем.

Приезжал из Киева Евгений Евстафиевич, он теперь уже в Киеве дирек-

тором корпуса. Такой бравый, видный генерал, а весь трясется и приехал к Бехтереву за советом. Он либерал, а направление теперь в высших кругах черносотенное, и ему очень трудно служить, приходится изворачиваться между разными направлениями, что ему сильно издергало нервы.

Дigna рассказывала интересно, как у них в Психоневрологическом институте у Бехтерева, куда она перешла с курсов Лесгафта, лечат особым способом алкоголиков. Приходящим в особо устроенном кабинете, с красным освещением — для тихих, зеленым — для буйных, делают внушение.

А вот когда к нам приезжают наши маленькие внуки, мы все без исключения радуемся. Происходит шумная встреча. Маленький Графочка бросается к нам в объятия с таким восторгом, что нас умиляет. Потом бежит здороваться с тигром — это ковер из шкуры тигра, убитого отцом Кати в Приамурском крае. Графочка сначала заглянет в его стеклянные глаза, погладит голову, обнимет ее, засунет свой маленький пальчик в его огромную зубастую пасть, потом несколько раз скатится с этой скользкой головы на ковер, хохочет, радуется и смешит нас. В кабинете здоровается с драконами и "левами" (львами) на мебели Евграфа, гладит их, засовывает тоже пальчики в их пасти и смотрит вызывающе на нас: "Что, небось "левы" его не кусают". Бежит в большой зал искать большой деревянный шар, который Евграф дает ему катать, и он кричит озабоченно: "Аись", т.е. берегись, если шар катится на кого-нибудь. Евграф, бывало, долго с ним занимается, не жалея времени, а если ненароком кто-нибудь в зале занимается, то Графочка, протянув ручку, поздоровается, тихо-тихо отыщет шар и, погладив его, уйдет. Знает уже, что нельзя мешать. Евграф с маленькими — сам дитя, а со старшими становится требователен.

На традиционном студенческом балу в Горном убранство было знатное. Вся парадная лестница задекорирована горами (из папье-маше) в розовой дымке. Во главе пейзажа на самом видном месте — огнедышащая гора, выбрасывающая из кратера огонь (красный клякс-папир, освещенный изнутри электричеством, колеблемый вентилятором); водопадик, снежная гора. Вся столовая разукрашена горными знаками. Была устроена большая гостиная, вдоль стен которой натянута полотно с разрисованными на нем красивыми горами, лесами и домиками, изображающее какое-то горное местечко. В гостиной был полумрак и уютно.

Женя, боясь занести какую-нибудь заразу своим племянникам, вышла из детского сада, где вечно не один, так другой ребенок захварывает. Ее считали там хорошей и аккуратной работницей. В.Д. Никитина принялась энергично за дело, и устроенный ею концерт в зале фон Дервиз поднял ресурсы сада. На этом концерте Женя встретила Д.Н. Артемьева с супругой. Он подошел поздороваться с Женей, но супругу не представил. После своей свадьбы он почему-то прекратил бывать у нас и не познакомил нас с женой, хотя продолжал аккуратно заниматься у Евграфа. Купфер, бывавший у них, говорил, что она неумна и пуста.

Зато теперь зачастую у нас то завтракает, то пьет чай Борис Петрович Орёлкин. Евграф очень был им доволен. Он до того говорил тихо, что я многое не слышу, и очень застенчив. В химическом обществе университета пришлось ему делать доклад по кристаллохимическому анализу, и он до того смутился, что долго ни слова не мог выговорить. Он ужасно был огорчен, а Евграф его утешал, что на первых выступлениях почти со всеми учеными, не привыкшими к ораторству, так бывает. Бедный Борис Петрович, состояние его духа мы понимаем. Хотя он уже женатый, а как красная девица, — эта скромность нам нравится.

На Рождестве на нашей елке Евграф носил внуков вокруг нее и экзаменовал их: "А где лиса? А где фламинго?" Это были заграничной работы

прекрасно выполненные картонажи. Графочка выдерживал экзамен хорошо, даже заранее кричал названия и показывал верно, но бутуз Геня, вытянув пухлые губки, с серьезной миной тыкал пальчиком не попадал, но ему был только 1 год 10 месяцев тогда.

В первый день Нового года — именины тети Миля — всегда были у нас гости. В этот вечер 1913 г. молодежь наша вздумала рядиться: Женя — шведка, Броня — боярышня, Толя Диев — поваренок, Дигна — французская крестьянка. Особенно смешили нас двое. Эразм — барышня с открытой шеей и обнаженными руками, у него такая была нежная белая кожа, совершенно женская, но резкие манеры и широкий шаг не соответствовали приторной маске и наряду барышни и вызывали смех. Графчик — высокая, румяная, полногрудая, со спеленутой, вместо ребенка, кошкой на руках кормилица — вызывал общий хохот. Танцевали много. В играх принимали участие даже Елизавета Васильевна Бострем и Евграф, которому немало доставалось от молодежи. Много было шума и веселья. Именинница осталась довольна. Евграф, такой серьезный, мог искренно, от души хохотать до слез. Так, в цирке, на представлении Дурова, он так заразительно хохотал, что увлекал других.

Течет наша жизнь и в этом году по обычному, хотя много разных разговоров и споров о думских вызывающих речах. Даже удивляешься их смелости. Пуришкевич даже либеральничает. Были у нас супруги Дикман из Варшавы. Его мы видели впервые. Он — немец, она — полька. Они в первый раз в Петербурге. Он им очень понравился своей грандиозностью и оригинальностью. Они нашли, что он своеобразнее всех заграничных городов. <...> Муж уехал по делам, а жена еще некоторое время оставалась; зашел разговор о бойкотировании поляками приехавшего в Варшаву Московского Художественного театра. Я удивлялась. Театр этот частный, наука и искусство интернациональны, а их ненависть к правительству распространяется даже на все русское искусство. Она обратилась к Евграфу: "А Вы меня понимаете?" Евграф, помедлив, задумчиво сказал: "Да, пожалуй, отчасти понимаю". Я удивилась. Когда, ложась спать, я выразила ему свое недоумение, что он оправдывает польский шовинизм, то он возразил: "Это уже не шовинизм, а фанатизм, он их спасает от поглощения другими нациями". Может быть, это и верно, но обособление нации ведет к вырождению; чем она меньше, тем быстрее. <...>

По случаю 300-летия царствования дома Романовых была грандиозная роскошная иллюминация. Особенно оригинально был разукрашен Николаевский мост грандиозными орлами из лампионов, они блестили, как бриллиантовые, а от них шли гирлянды белых матовых шаров, как большие жемчужные ожерелья. <...>

Этой весной в Горном обнаружили нелегальную типографию; был большой переполох, начались репрессии. Директор И.Ф. Шредер умел ладить с министрами. "А случись это при мне — меня бы затравили. А теперь и Пуришкевич молчит", — говорил Евграф.

Ныне в Клобины мы привезли с собой погостить Евгению Бонифатьевну. Хотя и встретила нас Михалина Ивановна с затопленными печами и кипящим самоваром, но пришлось сидеть в пальто. Ничего еще не цвело, было неуютно, неприветливо, комнаты, как сараи, оскудение еще больше бросалось в глаза. Мы здесь уже не собственники, а жильцы. Первым долгом мы занялись грядками в нашем фруктовом саду. Спозаранку, с 10 час. вечера, залегли, настроенные в минорном тоне, а встали в мажорном, с возобновленной энергией и работали продуктивно. Евгения Бонифатьевна была ярая работница. Мила днем каталась в экипаже, а Женя под вечер верхом, при

луне. С утра до вечера мы пребывали на воздухе, хотя и перепархивал снег. Мы Ивану Яковлевичу Слижис похвастались своими работами, а он своими, показав нам, как у него прибран большой фруктовый сад; дорожки расширены, выполоты, фруктовые деревья и кусты подкопаны, подчищены, стволы у яблонь обмазаны известью. Полный порядок. Ни один управляющий об этом не заботился. Вот что значит свое. Через несколько дней уже жара. Сидим на балконе в легких платьях. Приходит Михалина Ивановна, принесла луковицы лилий, чтобы мы посадили в свой цветник. Оказалось, эти лилии возвратились домой, — их из Клобин продал первый управляющий.

В конце мая приехал Евграф, когда здесь уже давно зацвела сирень, ландыши, фиалки, нарциссы, тюльпаны. Все время стояла жара, бездожде, что стали опасаться за хлеба. А у меня масса больных, не только приходящих, но и приходится далеко ездить. Беру с собой каждый раз прокатиться Евгению Бонифатьевну, она это любит, а мне веселее. <...> Моя возрастающая практика меня начала уже утомлять, особенно дальные разъезды, а тут как раз захворал земский доктор. Пригласили его заменить Франца Ивановича; он не приехал, а я как раз приехала на базар. Аптекарь всех больных направил ко мне. Я, однако, запротестовала, так как по окрестностям есть еще доктора.

Пришлось взяться за лечение одного, требовавшего немедленной помощи, ввиду возможности заполучения им перитонита. Он упал с яблони и ушиб внутренности живота с прободением. Осматривала его в аптеке, предварительно выпроводив всех ахающих, выражающих вслух неминуемость его смерти, аптекарь тоже причитал, подобострастно суетясь передо мною, что больной наверно умрет, ничуть не стесняясь больного. Жена больного тараторила посвоему и не помогала. Женя была моим фельдшером. Взялась я лечить с тем условием, что больной останется в Ованте, так как деревня его очень далеко, откуда он трясся на каре по скверной дороге, чуть не крича. В Вильно* в больницу его невысказанно было везти. Он лег к своему знакомому, и я стала его навещать каждодневно, боясь перитонита. Этот Вильдзюнис был пресимпатичный, терпеливый и культурный малый. Это его и спасло. Он исполнял в точности все мои предписания. Заживанию очень мешал кашель. Температура начала понемногу спадать. При нем все время дежурят его товарищ и жена товарища, они предоставили нужный ему покой. Опухоль, кровоизлияние рассосались. Не знают все, как меня и благодарить.

Раз пришлось запоздать мне с визитом, и вот была радость при появлении моего экипажа. Один еврей предусмотрительно со всех ног бросился предупреждать о моем прибытии. Удивительно! Я евреев не так уж много лечила, а они еще экспансивнее выражали мне свои чувства, хотя мы ведь для них "гой", и они приготовленного нами кушанья не едят, как и наши староверы. Вильдзюнис поправился, голос его окреп, и его перевезли в деревню на каре, лежа на спине. Дорога к нему была убийственная. Приехав его навестить, я с Женей были удивлены, когда он вышел нас встретить за ворота и даже поддерживал меня за локоть на ступеньках крыльца. У него четверо ребят, один еще в люльке. Женю умилила до слез картина их семейного счастья при возвращении к жизни отца.

Укажу пример другого отношения к больному. Мальчик лежал в сильном жару от брюшного тифа. Приезжаю на другой день, ни одно предписание мое не исполнено отцом, мать в поле, младшие дети все трутся около больного. Вот и лечи тут!

Поговаривают о маневрах, и крестьяне торопятся с уборкой полей. Будто государь сам придет в Вилькомир делать смотр войскам.

* Ныне г. Вильнюс. — *Примеч. сост.*

Женя вечно кого-нибудь да учит. Теперь взялась за учение Михалины Ивановны музыке.

18 августа получили телеграмму о рождении третьего внука Эллия. 26-го ездила с Женей в Ованту, а там не продаться к лавкам: вся площадь заполнена конными солдатами в красных рейтузах, лес пик; вся Ованта и окрестные деревни заполнены ими. В воротах одного двора видели автомобиль и постарались скорее убраться, пока это чудище для наших лошадей мирно стоит. Подходил к нам там Вильдзюнис, опять благодарил и приглашал к себе в гости, хотя и их деревня полна солдатами. Женя ездила встречать в Уцяны Графчика с Сократом. По шоссе тянется масса войск, летал дирижабль. Хорошо, что заменили пугливого Паукчиса лошадей от Слижиса, которая равнодушна ко всему на свете и даже к кнуту. Сократ погостил недолго и уехал с Евграфом 1 сентября в Петербург, нагулявшись и накатавшись верхом. Евграф это лето жил спокойно, отстранясь от дел о разделе. Зато Езерский, взявшись за продажу наших коров, лошадей и экипажей, все, что получше, перевез к себе, уверяя, что там выгоднее продать, но это так и кануло в воду, мы никакой прибыли не получили, попросту он все это подтибрил. Графчик остался еще и вернется с нами. По вечерам Мила ему играет, а Женя поет.

12 сентября у нас в бильярдной поместился генерал, а наверху полковник с офицерами. У парадного входа поставили солдата с ружьем у денежного ящика на колесах. Звон шпор в передней, по лестнице, топот бегающих взад и вперед денщиков оживили дом, и он зажил полной жизнью, даже прежней, так как все дяди Евграфа были военными. По вечерам гремела духовая музыка. Все окна сияли огнями. Я нарочно заходила подальше от дома и любовалась со всех сторон всем этим необыкновенным оживлением, и мне чудилось, что воскресли прежние времена, когда этот дом жил такой же полной веселья помещичьей жизнью с балами, пикниками, визитами. Сюда много наезжало гостей из Вильно. Фонтан только в обрыве не бил, но за темнотою оскудение скрадывалось. И я долго ходила с этой сказочной иллюзией прежней жизни, отходящей в историю. Одни пировали, другие страдали. В порядке ли это вещей?

Нас поразила честность солдат. Один из денщиков даже принес забытую Михалиной Ивановной в передней, где толпится много народа, сумочку с деньгами. Я отдала солдатам все наши овощи на огороде. Толстый повар с утра до вечера у плиты. Наш сад богат розами, и они цветут и цветут <...>, офицеры ходят и любят, когда нас в саду нет. Сентябрь очень хорош, и наш парк декоративен в разнообразном убранстве. Женя с Броней еще в июле, катаясь, нашли в болоте тонущего котенка, привезли его мокрого домой. Евграф не любил, когда заводили животное, а потом бросали, а тут иногда сам кормил и потешался, когда тот шипел, выгибая спину горбом при испуге и прыгал за бумажкой, привязанной к веревке. Евграфу были не чужды даже радости животных. Яков Иванович рассказывал, что говорят крестьяне про Евграфа Степановича: будто он никогда не гуляет, а если иногда и выходит в сад, то все что-то сочиняет в голове, а потом скоро бежит домой записывать надуманное и пишет, пишет без конца, а потом целыми книгами отсылает по почте. Это отсылались корректуры.

13 сентября мы уже в Петербурге. В ушах долго еще гремела духовая музыка, и впечатление Клобин долго еще пересиливало. Жаль было душистый сад в полном цвету. Я рада была, что моя капуста и все овощи пригодились солдатам. Это они в недалеком будущем пойдут под пули в кромешный ад войны. Недаром тут затеяны маневры. Германия чуть не 40 лет готовилась к реваншу.

Потекли наши обычные, довольно монотонные трудовые будни. Евграф поглощен своими научными занятиями; все же от времени до времени забегают ко мне поделиться своими выводами. Он неважный популяризатор, не любит размазывать, как сам признавался, но все же я кое-что смекаю, а ему как бы яснее становится выраженная вслух мысль, да и "от избытка чувств уста глаголят". Жаль было, что я не могла специализироваться по его предмету.

Ездили мы часто в Павловск, и павловцы к нам. Элличка — очень миленький ребеночек, уже следит глазками за нами, но еще личинка в пеленках. Старшие два подросли и препотешные малыши, каждый в своем роде: старший — черненький, с острыми живыми глазенками в черных ресницах, подвижный, юркий, скорее худенький; второй — бутуз, тюфяк, с пухлыми пунцовыми губками, с карими глазенками — любитель покушать, вскарабкивается, пыхтя, на стул, чтобы залезть на стол. Мы протестовали, когда Катя их пичкала без перерыва. С прибавлением Графичкиной семьи прибавились и дни празднеств: рождений и именин малышей с придумыванием подарков поинтереснее; радостью их наслаждаемся. Графочку особенно прельщали поезда заводные и заводные. У него были они даже с рельсами. Бывало, проложим рельсы по анфиладе комнат с уклоном, заведем паровоз и поезд мчит далеко. Надо было видеть восторг Графочки. Я могла долго с ним забавляться, а дедушка купил им тележки на рельсах, которые по уклону катали ребят, и сам с ними забавлялся.

Уедут наши и еще долго в ушах звучат детские голосенки: Графочки — "баська", "Зеня", а Гени — "тетя Неня", "Олель" — чучело орла, висевшее над дверью в Жениной комнате. Оно его привлекало, и он подолгу, задрав голову, им любовался. Но гости Кати, особенно мало знакомые нам, нас утомляли, и мы точно оттаивали после их отъезда.

Почему-то некоторые люди не могут жить без частых гостей, не то это привычка, не то у них мало внутреннего содержания. В большой мере это чувствовал Достоевский. Он писал: "Самое большое лишение каторги — это отсутствие одиночества". Правда, один из этих гостей был преинтересный собеседник. Он окончил два факультета университета, умный, начитанный, любитель красного словца, самодовольный, самоуверенный, говоря, слушает самого себя с удовольствием, говорит с апломбом, с иронией на взгляды других, будто он только один и может быть прав. Одним словом, он нас завлек своим разговором допоздна. И даже Евграф забывал свой обычай ложиться в 12 и читать по-английски до часу, и засиживался при нем до двух часов ночи. Трамвайные гости разъедутся, а с ним продолжают споры. Он наизусть декламировал Сашу Черного, а нам он не нравился. Разгорался спор о литературе. Кого-кого только из литераторов они не перебирали: иностранных, начиная с Жорж Занд, Золя, Ибсена, хотя в начитанности беллетристикой Евграф перед ним пасовал. Но все же он со всеми авторами известными был знаком. Вересаева произведения и Горького подряд он не мог читать долго, "однотонность специалиста" в них уж очень сказывалась, как он заявлял. Хотя беллетристы и должны изображать жизнь как она есть, с ее недостатками, но не возводить эти последние в культ — жизнь разносторонняя; и он отказывался читать, где преобладало описание половых инстинктов и говорил: "Без того много на свете мерзостей, а тут они сосредоточены и их смакуют, как Арцыбашев, подкупая читателя красотой слога".

Ему очень нравились мелкие рассказы Чехова, которые раскритиковал когда-то Щедрин, и пытался читать их вслух даже. Нам вставлять свои замечания в их споры было трудно; интересно было их слушать. Они сцеплялись в такой жаркой словесной битве, что даже вскакивали, оба экспансивные, но гость все же не забывал своего почтения к Евграфу Степановичу и опять

садился, сдерживаясь. В другой раз заходил разговор на политические темы, где у них было меньше разногласия, так, все общества, подобные "Дву-главому орлу", им претили обоим.

Евграф не был непротивленцем злу по Толстому, но был противник всякого насилия над личностью за ее убеждения. Он был индивидуалист, не любил толпы, стадности и находил, что даже партийность обезличивает индивидуальность, связывает, гипнотизирует. Мысль требует полета, свободы от пут чужого ума, свободы действовать самостоятельно недюжинному уму. Мы все были на стороне Евграфа. Силу побеждают силою же, но не всегда физическая сила берет верх, есть, кроме нее, и нравственная сила.

После кражи минералов в музее Горного института с проломом потолка, как раз над столом Купфера, на хорах, куда можно было легко прыгнуть вору из отверстия пробоины с чердака, много говорилось и предполагалось об участии в этом деле не одних профессионалов-воров, так как чердаки Горного представляли настоящий лабиринт, где неизучившему их хорошо легко было бы заблудиться без знающего руководителя. Поэтому подозревался вор свой. Вскоре после этого происшествия произошла тоже странная история: Евграф, сидя в кабинете, увидел вбежавшего из коридора в зал, где обычно кто-нибудь занимался у Евграфа, но в это время пустой, какого-то человека, который, в мгновение ока что-то схватив со стола, убежал опять в коридорчик. Евграф позвонил и вышел в коридорчик, куда одновременно с ним вошел с другой стороны из студенческой передней служитель, и они задержали этого человека с похищенным минералогическим атласом. Эта книга с прекрасно изображенными цветными кристаллами и минералами была редкостная, драгоценная, даже уника. Она лежала всегда на среднем столе, чтобы занимающиеся у Евграфа всегда могли в нее заглянуть. Задержанный оказался студентом Горного института Эльбаумом. Странное произошло замешательство. Эльбаум путался в своих объяснениях. Евграф был поражен и недоумевал: почему бы студенту не попросить одолжить атлас на время или, лучше, приходить и просматривать, что надо. Евграф никогда не отказывал, в чем мог, студентам, даже помог бы разобраться. Дело с этим студентом затянулось, так как он путался, а ввиду кражи в музее у студентов правительством был сделан обыск.

Наконец Евграф получил от него [Эльбаума] письмо, где он оправдывается своею мозговой усталостью, и странно читать слова от такого детины:

"Я виноват перед Вами в том, что вошел и взял книжку без Вашего разрешения и что не сейчас ответил на Ваш вопрос... пусть по преступному легкомыслию. Мне казалось, что вот возьму и просмотрю книжку, которая, вероятно, является учебным пособием и положу на прежнее место на учебном же столе... Да, но с Вашего разрешения, и вот этого я не сразу сообразил, не имея понятия о том, что это Ваша собственность, а не относится к институту и к занимающимся студентам на таком же положении, как, например, пособия (книги и атласы) по палеонтологии в палеонтологической комнате (при кабинетах Н.Н. Яковлева) или же разные справочники в кабинете горного искусства и т.д. ... Оклика же Вашего, честное слово, не слыхал. Помещение, в которое вошел, я, искренне заблуждаясь, всегда принимал за учебную комнату, примыкающую к Вашему кабинету, по той простой причине, что мы (студенты) всегда на экзаменах все занимались в этой комнате и, только когда готов был ответ (и сетка или шлиф), Вы поочередно приглашали каждого в свой кабинет. Может быть это неубедительно, но, поверьте, это так. Я сделал безактность по отношению лично к Вам, профессор Евграф Степанович, как к владельцу данной книжки, но при чем тут унижительный обыск, в связи с недавним варварством в музее института? Я виноват перед Вами только, и умоляю Вас, как человека и учителя, не доводить этого случая до дисциплинарного суда или Совета профессоров. Реагируйте лично на мою преступную небрежность, накажите сами, сделайте внушение, выговор по-отечески, и это на меня достаточно повлияет. И даю честное слово, что впредь случая ослушания у меня не будет. Я жду с минуты на минуту Вашего великодушного решения — мне извиниться перед Вами. Простите же меня и сообщите об этом профессорам. Я жду Вашего ответа — ст[удент] Г[орного] и[нститута] Л. Эльбаум".

За вечерним чаем как-то завязался разговор о Л.Н. Толстом как искателе правды жизни. Не все в философии его Евграф одобрял, но беллетристическими произведениями восхищался. Я сказала, что мне из всех его романов больше всех нравится "Война и мир" и что я могу его читать бесконечное число раз. Моя сестра возразила с горячностью, что считает лучшим его романом, как и все, "Воскресение". Тогда Евграф вступился, сказав: «Ну, а ей нравится больше "Война и мир", о вкусах не спорят». Потом Евграф долго ходил взад и вперед по гостиной и когда пришел ложиться спать, то раздумчиво сказал: "А знаешь, я, видно, не герой, я не мог бы, кажется, ни за что жениться на проститутке, даже и представить себя не могу на месте обольстителя такой Катюши, вообще героем, которым могут нравиться подобные Катюши".

Леночкину подругу, с которой она все время жила, засадили, и Фрося теперь боится за Леночку. Леночке все равно несдобровать, она лезет на рожон.

Все теперь заняты судебным разбирательством дела Бейлиса о ритуальном убийстве мальчика Ющинского. Только и слышишь, куда ни приди: Чеберяк, Косоротов, Замысловский. Бесконечные повсюду споры. Ну, конечно, и у нас. Идет чистая словесная война людей разных направлений. Мы обыкновенно с нетерпением ждем газет. Уликой ритуалу служило только большое количество ран на теле убитого ребенка. Присяжные заседатели были все крестьяне, кроме трех мещан. И вот одни думают, что еврея Бейлиса, на которого падает подозрение в убийстве, засудят; но тут вокруг этого дела возгорелась настоящая война двух противоположных направлений. С одной стороны, свидетельница Вера Чеберяк из партии "Двуглавого орла", товарищ прокурора Винавер, Шамаков, Замысловский, Черносвитов, эксперт — профессор Сикорский, старая развалина. Всех их окрестили черносотенцами. С противоположной стороны другого лагеря люди: [Н.А.] Маклаков, Корабчевский, Грузенберг — защитники, а эксперты — профессора Павлов, Бехтерев и Кадыан, а впридачу выступил В.Г. Короленко.

Все общество было затронуто этим процессом. Большинство не верило в ритуал: "Это дико даже слышать в наше время". Почти все желали скорее оправдания Бейлиса, не столько даже для него самого, сколько для всего еврейства в его лице. Но слышалось и противоположное о ритуале и, что удивительно, от людей вовсе не антисемитов, а либеральных. Один доктор уверял, что между евреями существует секта, которая придерживается ритуала. А у нас разве нет изуверских сект, где фанатики себя сжигают и закапывают себя живыми в землю? Один товарищ прокурора, изучивший еврейский язык и талмуд, тоже уверял, что из него узнал о ритуале и теперь уверен в нем. Мы все защищали евреев от взводимых на них таких ужасных преступлений. Один их противник, умный ученый, с саркастической улыбкой, глядя на нас, предрекал: "Погодите, когда евреи сядут Вам на головы, тогда Вы не то запоете! А что это будет в будущем, то это верно, так как им Иегова заповедовал: плодиться, множиться и заполнять землю; они в точности это исполняют и не будут щадить нас и миндальничать с нами, как мы".

Одним словом, споры шли всюду, и даже эта шумиха не скоро прекратилась и после оправдания подсудимого. Убийство произошло на заводе Зайцева, и ни один рабочий ничего не видал. Говорили даже, что все они подкуплены евреями. Чтоб всех подкупить — трудно и потому мало вероятно. Однако убийство так и осталось загадкой и кануло в вечность¹³⁵.

Жалкая, безобидная и безалаберная Фрося уехала со своим болгарчонком Стефчиком в Харьков вслед за высланной туда Леночкой, подруга которой сидит уже в московской тюрьме. На дорогу Фросе денег дал Евграф. Не думаем, что она найдет там покой.

10 декабря было отпраздновано тезоименитство трех Евграфов. Веселья было много и смеху. Потешала и молодежь своими играми. За ужином завязался увлекательный разговор и воспоминания между Н.А. Морозовым, его женой Ксенией Алексеевной, К.В. Аркадакским, Юлей, судившейся в процессе 193-х, и Соней, бежавшей с Константином Васильевичем за границу. Нас связывали с ними общие интересы прожитого одновременно времени. Все они потеряли от нажима царского режима в разной степени и больше их всех — Н.А. Морозов, а между тем он бодрее их всех смотрит на божий мир и сохранил свою энергию и, оказывается, эволюционист, а засажен был как террорист. Соня мне рассказывала, что ей партией Нечаева¹³⁶ было предписано наняться гувернанткой или бонной в многодетную семью и убить их всех ночью. Это ей, чуть не ребенку, так как ей было тогда только 16 лет! Она рассказывала, какой ужас нападал на нее при мысли об этом; но она должна выполнять предписания партии. У нее ум мутился от этой альтернативы. Она прижимала горящую голову к холодному стеклу рамы и уже помышляла о самоубийстве, как в дверь постучали и вошел Константин Васильевич и уговорил ее бежать с ним за границу, так как и ему необходимо было скрыться. Она тоже рассказывала, какие лишения они перенесли за границей, побывав в Германии, Франции, Англии и Швейцарии. Преинтересно и со смехом она рассказывает о своем хождении в народ. Хорошенькая, молоденькая Сонечка добровольно закабалала себя в батрачки, выбиваясь из сил и отдавая себя на съедение не только блохам, вшам, клопам, но и тараканам, которые искусывали ее босые ноги. Этими странными путями шло возрождение России. А многие ли из этих мучеников достигли желаемого? Сколько переменялось взглядов и направлений! Человек — не застывшая глыба.

После всех разговоров этого вечера нас с Евграфом долго не спало, и мы проговорили допоздна. Все рассказы и воспоминания этих людей нас взбудоражили, а Евграф всегда после таких собраний или докладов возбуждался, я его угощала валерианкой. Не убей тогда террорист Александра II, после смерти которого нашли уже готовый манифест о даровании конституции, у нас бы не было смрада распутищины, который возмущает всех и ведет к желанной всеми революции; но революция, по выражению депутата [Государственной] думы В.А. Маклакова, — "палка о двух концах; каким концом ударит?" Это ведь еще неизвестно. Партий политических много. В революционное время они будут грызться еще больше, чем теперь, и на вершинах приборя революционной бури сменять друг друга, и "паны будут драться, а у холопов будут чубы лететь", если не слетят совсем с головой.

Евграф высказал оптимистический взгляд. Ему казалось, что народы стали выше в умственном отношении и гуманнее, им уже должно претить зверство, и потому настоящая революция будет менее кровавой предыдущих. Он судил по своей светлой личности. Хотя, кажется, Руссо еще сказал, что умственное развитие не смягчает нравов. <...>

Этот новый 1914 г. мы встречали у Бострем за столом, украшенным маленькой елочкой с зажженными свечами. Встретили приятно. Нас сфотографировали, особенно все хлопотали, чтобы вышел Евграф. <...>

На масленице, только засели с гостями за блины, как звонок, пришел профессор Васильев, член [Государственного] совета, либерал, с добродушнейшим цветущим лицом. Он нам понравился своею простотою и прямодушием. Он кушал, похваливая блины и критикуя и очень не похваливая наши государственные порядки. Кто их сейчас не критикует? Куда ни кинь, все клин. Почему-то и Евграфу многие стоящие выше его по иерархической лестнице делали визиты. Почему? Он и сам не понимал; а он за своими вечными делами забывал отплачивать. Это, может быть, и не выгодно было для него, но ему это

было так все равно. Он смеялся: "Ему, может быть, хотелось только меня посмотреть, а я его уж видел, так зачем же мне ехать?" — когда пропускал свой визит. Вдруг у нас появился Д.Н. Артемьев, не бывавший со времени своей женитьбы, хотя не прекращавший занятий у Евграфа. Оказалось, у него в Ницце умерла жена и ему приходится туда ехать для перевозки ее тела в Россию. Наследники ее — дети от первого мужа и отчасти он. <...>

Вот мы уж опять в Клобинах. Выехали 27 апреля, когда в Питере еле-еле распускались листочки, а тут уже все в цвету, пропасть фиалок, ландышей, нарциссов, а луг за парком — как южное небо, весь голубой от незабудок. Щелкают соловьи, <...> 18° тепла в тени, а Евграф еще в городе. Лето предстоит хорошее.

А второму сыну И.Я. Слижиса предстоит засесть в тюрьму на 5 месяцев и 10 дней. Он еще в 1906 г., будучи восьмиклассником гимназии, увлекшись Выборгским воззванием депутатов [Государственной] думы¹³⁷, наговорил лишнего, и один солдат за 10 руб. предал его. Он испугался и бежал за границу. Оказалось, он сделал большую ошибку, бежав, так как его товарищи, запутанные вместе с ним, отделались только допросом и выговором, а он уже вернуться не мог; там и окончил курс на гражданского инженера. Вернувшись недавно из-за границы, начал хлопотать о паспорте и сам заявил о своем дезертирстве. Его и приговорили к высылке в тюрьму в одиночке, а потом к отбыванию воинской повинности. Зимой было бы не так обидно закупориться. Он ходит грустный, и нам всем жаль его. Такая кругом благодать, и я рада была, что Евграф, приехав 25 мая, застал все в цвету. <...>

Этот день был канун отъезда Болеслава Ивановича в Вильно, где с 1 июля он должен засесть в крепость. Не шутка—просидеть все летние жары в одиночной камере. Евграф советовал запастись научными книгами и изучать что-нибудь, тогда не будет заметно одиночество. Нас всех возмущало: человек сам вернулся, сознался в сделанной им глупости еще мальчиком. Чего еще? Такая строгая кара задним числом только озлобляет.

Весь вечер Болеслав и Яков Ивановичи провели у нас, пили чай и ужинали и за разговорами просидели допоздна. Я напоследок рассказала, в каком я была жутком состоянии, еще в молодости, когда начальник нововыстроенной тюрьмы Кресты на Выборгской стороне, показывая нам тюрьму, запирали меня, по моей просьбе, на три замка в одиночную камеру. Самое ужасное — это не одиночество, оно, пожалуй, лучше совместного сидения с кем попало, но три замка, это ощущение неволи, связанности твоей воли. Это ощущение трудно выразить словами. Женя справедливо заметила мне тогда: "Зачем ты Болеслава Ивановича пугаешь?"

Когда они ушли, мы еще побродили по саду и парку; такая была теплая ароматная ночь, воздух пьянил, всходила полная луна, заливались соловьи, покрикивали совы. Думалось: как хорош мир и как жалок человек, этот царь природы. Человек, с большой буквы "звучит гордо", очень гордо, когда тебя запирают в конуру, как собаку. Испокон века одни порабащают других. <...>

Узнав, что семья Болеслава Ивановича не получала от него никаких известий и ему не пишет, Евграф написал сам письмо: "Многоуважаемый Болеслав Иванович. Мы все желаем Вам выразить свое сочувствие и лучшие пожелания. Еще не кончился варварский период истории нашего отечества, еще не находится честным людям, желающим блага родине, лучшего места, как в грязном заключении. Рассчитываем на Ваше терпение и благополучное завершение Вашего преследования. Е. Федоров". Прочтя это письмо, я спросила его, смеясь, "ты, верно, хочешь, чтобы это письмо не дошло до узника? Ну, какой же жандарм не примет его за агитацию?" Евграф согласился со мной, и письмо переделали по моему указанию, но переписывать дал Жене, потому что, "это уж не то, что вылилось из души у него". Послано

такое: "М[илостивый государь] Б[олеслав] Ив[анович]. Мы все горячо желаем выразить Вам свое сочувствие и лучшие пожелания. Нам всем очень жаль, что такому деятельному молодому человеку приходится сидеть, подобно птице, в клетке и даже не иметь права утешать себя пением. Рассчитываем на Ваше терпение и на благополучное завершение Вашего заключения". <...>

Недаром, однако, мы с таким нетерпением все это лето ожидали газеты, где все время маячил призрак войны. Особенно после сараевского убийства¹³⁸. Сейчас Сербия получила от Австрии ультиматум, а Россия не преминет вступить, и война на носу, по-видимому. Здесь уже появились некоторые ее признаки. Наш кучер Юзеф сообщил, что пришел приказ скорее убирать с полей, ввиду начала в скором времени маневров. Опять? Это нас удивило, и начала брать тревога.

16 июля Австрия-таки объявила Сербии войну. Ну, значит, двинется и Россия. Но пока что сидим на террасе спокойно и чистим черешни для варенья. Погода в этот год превосходная для нас, сплошь чудные дни. Жара. Зато для крестьян это лето убыточно, от бездождия много повыгорело. Они хотя утешают себя: "Ну что ж, оно может и к лучшему, меньше немцу достанется". Но говорят так, точно никакого немца на свете нет, шутя, беспечно, игриво даже, только для утехи. А может быть, мы напрасно страхи на себя напускаем? Улита едет, когда-то будет? Может быть, все уладится мирным путем? Да и немалое время надо раскататься нашей матушке Руси. Так думалось всем потому, что так хотелось думать. Всем претила война.

Вдруг вбегает на террасу Евграф с газетой и сообщает об убийстве во Франции Жореса — противника войны¹³⁹. Это нас взволновало. Уже даже во Франции закопошились. Убийство, кровь, преступление — это так не вязалось с окружающим нас миром, уютом и радостью жизни вокруг, хотя бы тех же пернатых, беззаботно поющих и чирикающих в кустах. На другое утро приходит ко мне Варуся, наша кухарка, и объявляет, что она не знает, что готовить, так как мясник не едет. <...> Что бы это значило? Вот уже три дня мы без мяса. Наконец привозит красавец-еврей, извиняется и говорит, что на их деревню было нашествие пруссаков, которые отобрали у них все продукты и потому не было мяса. Это нечто невероятное! У Пруссии же еще нет с нами войны, а немцы уже хозяйничают в России. И это корректные немцы! Какая бесцеремонность! Еврей правду говорил: в пограничной полосе происходят частые налеты немцев. А 23 июля вот уже объявлена Австрией война и России.

Ну, мы думаем, пока будет идти мобилизация, мы еще здесь проживем. Такая тут прелесть! Так неохота в город. Сестра заторопилась и уехала. Она служила в Управлении по постройке железных дорог; ездила всегда по даровому билету 2-го класса, а теперь возвращалась от нас, как писала, в товарном вагоне и советовала нам торопиться выезжать, писала, что едут уже войска и снаряды. Мы никак не ожидали такой прыти от нашей авоськи-России; думали, когда-то еще соберутся.

Наши ящики с яблоками и вареньем так и застряли в Клобинах, железные дороги уже не принимали клади, и объявлен предельный вес багажа и то без ручательства доставки. Авоськами-то оказались мы. Значит, надо скорее убираться. Но другие советуют пообождать, так как бегут с границы, поезда переполнены и, говорят, в Свенцянах вавилонское столпотворение, целый табор чающих чуда, ждет по несколько дней попасть в переполненные поезда, идущие с границ не по расписанию и с опозданием. Пускай главная волна схлынет. Мы сидим и ждем у моря погоды, волнуемся.

Я думала, особенно будет беспокоиться Евграф, но он, к моему удивлению, спокоен, и даже как будто его забавляет создавшееся затруднительное положение,

и он к нему относится объективно, а не субъективно, как мы, особенно Мила. Я и рада, а то если б еще и он был, то и свет божий был бы не мил, а свет этот вне войны такой прекрасный, чарующий, манящий своим изобилием; фруктов, ягод и овощей не переест, все раздаю остающимся здесь: кучеру, старательному, приветливому, во всех отношениях противоположность большая Петру; семье мельника-еврея. Луч надежды только мерцает на будущее лето. Не удалось пожать плодов своих трудов и забот в это лето, а цветы так и цветут во всей красе. Все это приходится бросить. Уже немец хозяйничал тут. У всех почему-то была уверенность в непродолжительности войны.

Наконец и мы выехали на Оникшты*, боясь автомобилей, которые теперь так и шныряют по шоссе. Меня удивляла всегда трусость Евграфа при езде в экипажах; при боковом наклоне, при спуске с крутой горы или при разгоне лошадей он беспокоился; а между тем на Урале каких только ужасов он не переиспытал: его там вытаскивали жердями из засасывающего болота, скатывался с осыпью в овраги и чуть не в пропасти; блуждал в тумане, сбившись с дороги. Подобные страсти в продолжение 7 лет могли бы его, кажется, закалить. Я ему это высказала. Он засмеялся и сказал: "Там так уже полагается, а здесь полагается ехать спокойно, что зависит от кучера, и там я был один, а тут с тобою и боюсь не за себя". Боялся того, что не страшно.

В Новосвенцях весь вокзал был заполнен публикой. Еле-еле мы добились сесть за стол пообедать. Шли поезд за поездом, все со стороны Петербурга, а с запада реже и все переполненные, не принимающие пассажиров, останавливаясь на минуту. Мы и ели, и пили, а больше глазели с перрона на проходившие один за другим поезда, груженные пулеметами и орудиями более тяжелого калибра. Подходит поезд, солдатики чуть не на ходу соскакивают, бросаются с чайниками за кипятком, беспечные, веселые, им публика кричит "ура". Они подхватывают, вскакивают, плывут мимо нас и поют "Боже, царя храни", махая фуражками кричащей "ура", "с Богом" публике и хлопающим в ладоши. Какой был удивительный подъем духа, точно они ехали не на убой, да еще к врагу, который готовился чуть не 40 лет к этой бойне. Мы же, вечные разгильдяи, не позаботились о достаточной заготовке оружия, что уже и теперь шепотком передавалось в публике. "Это черт знает что!" — возмущались некоторые.

Приближается уже вечер, а мы все сидим с билетами, а в поезда не берут. Наш носильщик лезет из кожи за хорошую мзду, а поезда идут и идут мимо нас. Надвигаются сумерки. Военские поезда движутся с музыкой, убажая солдат. И нам не скучно, интересно даже. Евграф решил послать в Вильно телеграмму, прося оставить нам места в поезде, но частных телеграмм не принимали. Как-то носильщик все же умудрился это устроить и предупредил нас быть готовыми, когда он даст знак Евграфу.

Так как багаж принимался в умеренном количестве, то мы нагрузились разными свертками и понатолкали их во все карманы. У Евграфа было до того понапихано и в пиджаке и в пальто, что у него пальто оттопырилось и он представлял смешную фигуру не солидного горного инженера, а карикатуру его, а я под тальмой вдруг непомерно растолстела. Это, верно, подало повод заподозрить нас коменданту, встречавшему и провожавшему поезда, и он вежливенько попросил Евграфа удалиться с перрона в зал, а потом и всю публику понемногу. Теперь только из окон спешащих солдатиков видно и уже никто не кричит им "ура". Они только вдали уже запевают песни. С песнями и музыкой ехали на смерть. Сердце за них сжималось.

Уже огнями блещет вокзал; то и дело из тьмы продвигаются с севера ог-

* Ныне г. Аникшты (Литва). — *Примеч. сост.*

ненные глазища локомотивов, слышится топот по платформам, хлопанье дверей, говор. Хлынет в зал толпа офицеров разных физиономий и форм, подплывет к столу либо тучный, либо поджарый генерал с величественной осанкой и серьезной миной лица. Они все не так беспечны и веселы, как солдаты. Они знают больше, они знают, что война не шутка, и на них легла ответственность за сотни человеческих жизней, но солдаты беззаветно отдаются долгу, а у этих большую роль играют чины. Все они с любопытством оглядывали нас, а мы их. Посмотрели—и будет. Звонок. Второпях напихивают рты и, жуя, уносятся в тьму ночи. Свисток. Лязг цепей и колес. И этих лиц мы уже никогда не увидим, как и они нас. Наступает сравнительная тишина и томление ожидания.

Без новых впечатлений дремлет. Евграф все же умудряется что-то соображать, шагая без усталости по вокзалу из конца в конец. Опять свист, лязг колес, шипение паровоза, топот и говор уже других людей; в зале новая волна офицеров, звон шпор, ножей о стаканы и опять эти люди канули в темную ночь, а скоро, может быть, канут в вечность.

Что такое вечность? Что такое жизнь? Смерть? Сам человек? Кончается для него все с его смертью? Имеет ли право человек убивать себе подобных? Все эти уже сто раз неразрешимые вопросы лезут в голову, особенно назойливо теперь. Как все это не вяжется с философией Л.Н. Толстого в его произведении "Для чего мы живем?" Он пишет: "Я живу затем, чтоб исполнять волю пославшего меня в жизнь. Воля же Его в том, чтоб я довел свою душу до высшей степени совершенства в любви и этим самым содействовал установлению единения между людьми и всеми существами в мире".

Уже ночь, не спим, Евграф забегал с нашим носильщиком, хлопочут о пропуске нас на перрон к предстоящему поезду, где нам оставлены места в 1-м классе, так как поезд будет стоять только 3 минуты. И вот наконец пришел желанный. Втиснули нас в переполненный вагон 2-го класса и мы, не успев опомниться, стоя в толпе, поехали. Поехали! Поехали! Значит, завтра в Питере. Ах! Как он стал нам теперь люб. Мы бы теперь не желали вернуться в Клобины; со всеми их подкупающими прелестями, они — уже прошлое. Теперь уже не до деликатесов, быть бы живу. В толпе говорят, что поезд идет не по расписанию, едем с опаской, часто свистим. Не свернуть бы шеи до прибытия в желанный Питер. Недаром наши нас бомбардировали письмами: "Что, Вы хотите попасть в плен немцев? Они уже близко около вас". Им издали-то было виднее нас. Однако под утро нас втиснули и на диваны, посидеть и подремать. Несмотря на все страхи, доехали мы благополучно к радости наших и нас самих.

Теперь все, что осталось позади, казалось каким-то необыкновенным сном. Что сказать про годы этой грандиозной мировой войны? Она порождала много надежд и еще больше разочарований и озлоблений против облепивших ее паразитов, вампиров, спекулянтов и tutti quanti*.

Сначала Петербург наш не напоминал нам о войне, кроме разговоров и газет. О! Они читались теперь запоем во все свободные минуты. Наша столовая увесилась громадными картами; втыкались булавки по ходу армий. Сначала особое внимание привлекала Франция. Поход немцев на Париж сосредоточивал одно время все внимание. Это разрушительное нашествие культурных вандалов сравнивалось еще с налетом все уничтожающей саранчи. Куда девалась высокая культурность немца? Это какой-то остервенелый, бешеный пес. Добро бы на него нападали, а то он сам полез в драку: повсюду громит, топит. Идут разговоры по поводу зверств немцев. Соня, живавшая подолгу за границей, умиляется, когда говорит о французах. Она уверяет, что французы по душе отзывчивее и гуманнее всех народов, кроме славян. Ей это

* И всяких других; и пр. и пр. (итал.).

лучше знать, претерпевшей за границей немало лишений. От других слышали мы лучшие отзывы об англичанах.

Евграф всегда ставил немцев выше в научном отношении и в культурности. У французов большую роль играет показная сторона, мраморные постаменты для фонарей и другая роскошь на виду, а рядом в жилье — клоповник и грязь; у немцев же с виду все топорно, грубо, прямолинейно, а внутри домов абсолютная чистота. Теперь Евграф точно стыдится за них. У него это нередко бывает: стыдиться за совершение мерзкого поступка другим. Не тот, бывало, краснеет, кто совершает гадость или говорит ложь, а Евграф Степанович за него.

Всех споров и разговоров не передашь. Но некоторые выдумали же ставить Вильгельма II выше Наполеона. Даже на одну доску их не поставишь: Наполеоном руководила мировая идея, а Вильгельмом только узкие интересы Германии, он гешефтмахер еще и потому, что своею речью он народ свой обманул, уверив его, что войну начала Россия, а не Германия. Вероятно, вследствие этого немцы были так озлоблены, что выдворяли не так вежливо, как мы их из России, застрывших у них во время объявления войны. Они выгоняли русских с ненавистью, озлоблением, ругательствами и даже побоями и издевательствами.

Тереза Ивановна и многие русские с курортов бросились в Берлин. Набралось их куда больше других иностранцев. Собрали их всех под открытым небом, хотя дождило. Набралась громадная толпа, преимущественно женщин, иные с ребятами и все с дорожным багажом. Окружили их солдаты с ружьями и погнали. Именно погнали. За солдатским шагом большинство женщин не могло поспевать, так их подгоняли прикладами и пугали штыками. Гнали их несколько верст с мокрыми подолами, промокшими ногами и с пустыми желудками. Они выбивались из сил, а "культурная" публика угощала их пощечинами, пинками, шлепками и плевками, сопровождая их руганью, гоготала, когда плевки попадали в лицо. Тереза Ивановна, рассказывая нам, называла это Голгофой и говорила, что у нее по временам терялось сознание, в каком-то тумане проносились озлобленные рожи хулиганов и фурий с красными перекошенными физиономиями в растрепанных волосах под съехавшими шляпками, и она не видала ни одного сочувствующего лица. Пригнали их в громадный зал, втиснули в него так, что Тереза Ивановна и некоторые другие женщины, лишившись сознания, не упали, а простояли так; она и сообразить не могла, сколько времени продолжался обморок, когда она очнулась. Воздух в зале был ужасный, от мокрой одежды и поту шел пар. Она удивлялась, как у нее не лопнуло сердце или она не сошла с ума. Наконец их расскассировали по вагонам. Хотя голод, тошнота и головокружение и мучили их, но, усевшись, они могли дать отдых распухшим ногам и переменить обувь. Тереза Ивановна радовалась, что не поддалась соблазну бросить свой чемоданчик, что сделали многие и теперь жалели. После этой пытки она только поняла, до чего вынослив человек. Германец был для нее куда выше москаля, и вдруг такое разочарование! Не только у нее, но и у нас вся кровь кипела от возмущения: измученных, голодных, ни в чем неповинных женщин истязать!

Очевидно, народ не желал войны, которую затеяли милитаристы. Носились слухи, что Вильгельм рассчитывал на революцию в России, обещанную ему немецким посланником, и будто, когда тот был отозван по случаю разрыва отношений, то Вильгельм его уволил в отставку. Он впал в немилость за ложные уверения. Правда ли, нет ли все это? Много говорят, и не знаешь, чему верить, чему нет! Знаменитый Бисмарк, куда умнее своего патрона, говорил, что Пруссия никогда не должна ссориться с Россией; им это невыгодно. Но Вильгельм даже удалил Бисмарка от дел и, где мог, подставлял России ножку и ждал в ней революции. Вот эта надежда видна из письма Вильгельма II

от 10 марта 1888 г. к Бисмарку: "Я всецело держусь мнения Вашей светлости, что даже при счастливом ходе войны с Россией нам не удастся окончательно уничтожить ее боевые силы, но я полагаю, что в случае несчастной для нас войны эта страна вследствие внутренних политических неурядиц окажется более бессильной, чем всякое другое европейское государство, включая Францию".

Наш Николай II тоже произнес речь с балкона Зимнего дворца. Народ заполнял всю Дворцовую площадь. И странно: та же площадь, на которой не так уж давно расстреляли рабочую демонстрацию во главе с Гапоном, а теперь на ней народ, коленопреклоненный, слушал царя. Вообще подъем духа был громадный, все сравнивалось в одном порыве и растворилось в нем все политические партии. Все почти старались по своим средствам облегчить тягость войны защитникам. Повсюду пооткрывались госпитали. В Горном тоже устроили госпиталь для солдат. Некоторые студенты поступили в санитары, а дочери профессоров — в сестры милосердия.

Женя наша, накупив разных игр, как: шахматы, шашки, хальму, рич-рач и другие — и принося беллетристические книги, развлекала раненых от госпитальной скуки: Она стала тоже помогать в раздачах чая, вообще старалась помочь, где и чем могла. Ей доставляла большое удовольствие оказываемая ей симпатия со стороны раненых. Они с ней сдружились так, что по отъезде из лазарета переписывались с ней, и за время войны у нее накопилось их писем целая большая шкатулка. Мы ее друзей приглашали на Рождестве на елки, на Пасхе угощали куличами. Летом я посылала им с дачи выборгские крендели. В действующую армию накупила я комплекты белья и шила из одеял жилеты. Одним словом, все из кожи лезли, стараясь порадовать мучеников войны.

Теперь уже нельзя было отогнать мысли о войне. Она врывалась как кошмар какой-то. И как странно: до сих пор мы не привыкли верить в нелояльность и зверства немцев. А между тем Германия прошла нахрапом через нейтральный Люксембург, напала на Бельгию, когда сама же гарантировала ее неприкосновенность. Брюссель — этот чудный город — разрушен. В Болгарии немцы разрушили бомбами приют, причем перебито больше сотни детей. В Австрии русских курортников везли в скотских вагонах, предварительно согнав всех в одну комнату и, заперев вместе женщин и мужчин, продержали их в продолжение 11 дней. Да всех их ужасных деяний не опишешь. Немудрено — война затягивается, чем-то кончится?

Теперь уже часто приходится наблюдать картину проводов новобранцев — с чайниками в руках, с мешками за спиной, шагают спешно неровными рядами в своих неуклюжих громадных сапожищах по мостовой. По сторонам, торопливо утирая слезы, не причитая, спешили провожающие их женщины; рысью бежала стая мальчишек, то за ними, то перегоняя их. Им, видимо, было весело. Они не думали о том, что эти люди обречены на убой, и сила обстоятельств, от них не зависящая, несет их в крошечный ад войны. А как сбросить это наваждение, не преклоняя колен перед Вильгельмом?

Сами наши раненые тоже беспечны, как дети, не задаются вопросом о будущей своей судьбе, а интересуются общим делом, успехами военных действий; радуются продвижению наших войск вперед за Сольдау, стойкости французов, не уступавших Парижа, хотя немцы громят их, не щадя; пострадал уже исторический собор Notre Dame и много других ценностей.

Война принесла с собой дороговизну. Она здорово бьет нас по карману. Приходится урезывать себе во всем. Но все же продолжаем снабжать солдат посылками. Они доходят, так как получаем благодарственные письма.

За газетами и всеми делами не увидели, как подкатила так всегда желанная весна, и прошла незамеченной. Пришлось выехать на дачу только в середине

июня. Ночь с 11 на 12 июня провели мы необычно. После нашего ужина, уже с 11 часов, Максим, кабинетный слуга Евграфа, известил, что привезут раненых. Я с сестрой пошли посмотреть их приемку. То прогуливались мы по набережной, то сидели на пьедестале статуи подъезда парадного входа Горного. Ожидających набралось много: служащие с женами, прислуги, сестры милосердия, сиделки, санитары-студенты. Пришлось ждать долго, каждый проезжающий автомобиль принимали за ожидаемый — санитарный. Благо погода была хороша: со свежинкой, но с безоблачным, каким-то зеленым небом, светлым, прозрачным. Белая ночь. Хороши эти задумчивые белые ночи! Если не заснешь во время, то не до сна потом и ждешь восхода солнца с его красными лучами.

Раненых привезли только в час ночи. Так и теперь не хотелось спать. Сестры и санитары успели покататься на лодках по Неве. Раненые подкатили на четырех ярко освещенных автомобилях. Пока возились с уборкой этих, подкатила другая партия. Жене пришлось одной разливать и разносить чай, так как все так переутомились, что легли спать, и даже помогавший ей сначала слуга тоже задремал на окне. Женя, казавшаяся хрупкой, стала проявлять большую выносливость. Она рассказывала потом, что наши раненые не только не спали при появлении сотоварищей, а даже оживились, интересуясь ходом войны, расспрашивали новоприбывших. А вести были нерадостные. Быстро зашедшие в Пруссию наши воины отступают, не хватает снарядов. Известие это взволновало всех раненых, и шум стоял от их разговоров. Угломонились они, когда дежурная сестра зажгла темные ночные лампочки вместо светлых.

С дачи Женя ездила každонедельно на два дня дежурить в столовой лазарета и позанять раненых; возит им гостинцы, ягоды и букеты цветов. Один из раненых научился делать бумажные цветы, и его розы в букете ландышей, привезенных Женей, стояли, как живые. Вообще всех поправляющихся обучают всевозможным мастерствам: плетению, вязанию шарфов и др. Они даже ходили в школы учиться ремеслам: сапожному, столярному... Вообще дело нашего лазарета было поставлено хорошо, шло дружно и мирно; все раненые, точно на подбор, были претилые люди. Женя испытывала большое наслаждение им услуживать и помогать чем только могла. Ее так и тянуло с дачи к ним.

Конечно, мое любимое детище — наша дача — после Клобин казалась такой мизерной: нет уже того простора, а главное, изобилия, здесь надо еще многое заводить, насаждать, вырубать, хотя последнее — большое благо, так как с переходом на дровяное отопление из-за нехватки каменного угля в России дрова вздорожали, а у нас были свои: Евграф спиливал деревья, распиливал их и нарубал дрова.

Был только июль, а наши войска быстро отступали и даже отдали немцам Варшаву. (Где-то Тереза Ивановна, узнавшая их хорошо?) Они уже на восток от Паневежа и на 30 верст от Оникшт, значит, недалеко и от Клобин. Что-то там творится? Нелегко представить. Стало в лазарет прибывать много раненых; дано звать, чтобы не было отказа, сколько бы ни привезли. Пришлось отвести чертежную под палату. Каждую неделю добавляли по 20 человек, и стала Комиссия быстро выписывать в отпуск.

Когда наши отступали из Пруссии, то немцы их обстреливали из-за каждого угла, балкона, окна каждого дома, и наши отступали с большими потерями, потому что защищаться из-за недостатка снарядов и оружия не могли. Деньги выдавались немалые на снаряжение, но ничего не было заготовлено. Повсюду стала наблюдаться расхлябанность, бесхозяйственность, вороватость. А про военного министра Сухомлинова сначала шепотом говорили, а потом и вслух, что он чуть ли не шпион и продался немцам и действовал в их поль-

зу. Последнее было правдой, но вопрос: с намерением или без оно? Не разберешь! Однако Сухомлинова предали суду. Министры внутренних дел [Н.А.] Маклаков, юстиции Щегловитов и Саблер из Синода слетели, лишившись высшей милости, пользуясь ею сначала вопреки общественному мнению.

Наши герои-солдаты без снарядов сражались, говорят, как тигры, даже на удивление врагу. Наш знакомый Сергей Сергеевич Киселев, 3-й сын Клавдии Алексеевны, мобилизованный в офицеры, скромный, умеренный молодой человек, проявил геройство — застрелился, не желая сдаваться в плен окружившим его немцам. Немцев это так поразило и вызвало такое почтение, что они его похоронили с почестями и помпой, как рассказывал, возвратясь из плена, его товарищ, бывший в то время при нем.

Гибли герои из-за халатности и разгильдяйства наших заправил. Но поговаривали с презрением и о Сергее Михайловиче, великом князе, управлявшем артиллерийским ведомством, превратившем снаряды в ожерелье для балерины Кшесинской, бывшей любовницы Николая II. Все эти слухи в связи с военными неудачами нервировали общество.

Начали заговаривать об автономии Польши. Царь сам уже заговорил о созыве [Государственной] думы. Созванная Дума дружно принялась за обсуждение создавшегося удручающего положения, и произошло в ней небывалое до сих пор — ее единение с правительством¹⁴⁰. Восторженно приветствовали появление нового военного министра Поливанова. Дружно хлопали социалисты с националистами и кадетами стремление к победе до конца, к искоренению шпионажа; слушают внимательно даже Горемыкина, про которого в обществе раньше сложился стих: "Мы с министром Горемыкиным все время горе мыкаем"¹⁴¹. Даже уже и в Думе подняли вопрос об автономии Польши, были овации ее представителям и представителям наших союзников. Они, правда, очень заботились о снабжении нас оружием.

Пошла дружная работа со всех сторон. Правительство соединилось с Думой. Этот подъем духа захватил и все общество. Надо же было во что бы то ни стало выручать наших страстотерпцев-воинов, не бросать же их на заклание, или под огонь врага, или с позором бежать, сдав Россию? А между тем в августе в Циммервальде съехались социалисты и ратовали против войны¹⁴². Чего бы, кажется, лучше? Не было бы ее никогда-никогда; но пока что она есть, факт. Затеяли ее немцы и, пока они лезут, надо защищаться и отбить охоту начинать другой раз. "Теперь не время писать законы. О чем думали раньше?" — как-то сказала я. "Но теперь особенно нужен строгий контроль и чистка", — возразил Евграф. Желания сами по себе, а на деле?

Петербург обрусел, стал Петроградом, жителям России запрещено говорить и писать на немецком языке. А губернатор Петрограда Адлерберг — немец, он демонстративно объяснялся с подчиненными и просителями на немецком языке. А при дворе мало немцев? Можно ли было думать, что они желают поражения Германии? "Фатерлянд превыше всего! Боже! Покарай Англию!" — этот припев прибавился со вступлением Англии в войну. Этот стих придумал какой-то проходимец, а Вильгельм так восхитился им, что пригласил этого шалопаю жить при своем дворе. Чего не бывает на свете! Евграфу пришлось писать свои работы по-русски и по-английски. Карать-то следовало бы забияк и мошенников наших, из-за них наша армия босая, сапоги на ней с отваливающими подошвами. Все это так угнетало, такая жалость брала за родину и ее защитников. Вся эта наша разруха была на пользу Германии.

А лето! Это лето 1915 г. с дивным финляндским воздухом, с небольшими дождями и проносящимися грозами, но сейчас же бывало сухо и все сияло; феерические закаты бывали часты. Ходили мы лунными вечерами любоваться морем. Когда выходим мы из переулочка на нашу красивую дорогу, прямую, как стрела, в виде длинной аллеи, спускающейся с горы, то в конце ее

блестит море внизу, а с высоты между просекой деревьев глядит полная луна. Сидим, бывало, в скверике курорта <...> на полукруглом диванчике у берега моря. Публики мало.

А прежде, до войны, сквер бывал полон народом, курорт блестел огнями, гремел духовой оркестр, шум, говор, смех, флирт. От этого шума и массы народа мы спасались, спускаясь на пляж, ложились на песок и любовались морем и луной. Она иногда в затейливых облаках, от нее на море блики, как золотая чешуя. Слушали музыку. Хорошо! Никакого угнетения не было. Вокруг общее довольство.

Теперь уже не то: точно куда-то всех сдуло. На душе беспокойно. Курорт закрыт, не освещен, куртины в сквере без цветов. "Отгорели огни, облетели цветы", настала тишина и запустение. Где прежде было такое оживление, осталась только задумчивая природа. И хорошо, пожалуй, для нас лучше так, но грустно, тоскливо. Да и мы уже не те: какие-то не совсем свободные; должны ехать не туда, куда хотим. Большой бинокль нельзя было провезти на дачу, так как конфисковали бы, подозревая повсюду шпионаж. Теперь сидим почти одни. Изредка пройдут потихонечку гуляющие. <...>

Приехала Женя с дежурства и, между прочим, рассказывала, что в лазарете школы Оли Бострем раненные утверждали применение немцами разрывных пуль и зверства их с пленными; наши же раненные даже не слышали об употреблении немцами таких пуль. Катя, приехав из Крыма, рассказывала, что ее заверяли знакомые офицеры об употреблении немцами разрывных пуль, а один ее знакомый офицер с наглым видом рассказывал, что и сам в отместку старался истязать пленных и делал надрезы на пулях, уподобляя их пулям дум-дум. Фу, какая гадость! Война пробуждает в человеке звериные инстинкты прапращуров зверя. Потом Женя рассказала, как она с раненым Талашевым смеялась над тупой шашкой при форме прапорщика-студента Назарова. Он едет санитаром с питательным отрядом имени высших учебных заведений. На погонах у него студенческий значок Горного института и красный крест. Шашка ему только мешает. Он жаловался, что приходится на каждом шагу отдавать честь. А раненные смеются, что ему теперь "сам черт не брат". А славный он! Его лицо еще такое детское, наивное, симпатичное. Он, пожалуй, был самый деятельный санитар нашего лазарета. Я его видела в вечных хлопотах: то обучает раненных, то при приемах записывает, помогает при купании, при переодевании, проводах. Он был мне симпатичен своею миловидностью и казался мне человеком доброй души.

Евграфу этим летом часто пришлось ездить в Петроград, так как из-за отъезда нынешнего директора И.Ф. Шредера пришлось принять заведование лазаретом на себя. Он не любил замещать. Он был настолько самостоятелен и самостоятелен, что совмещение его связывало. Он чувствовал себя, по его выражению, как бы сидящим на чужом стуле.

Все надежды на скорое прекращение войны рухнули. Она все больше затягивалась. Теплая сентябрьская ночь; так хорошо, а думы о мучениках окопов с кишасими на них паразитами, в настоящем и переносном смысле, не дает покоя нам. Так и зима эта прошла в больших волнениях.

Немцы уже у Двинска, где сильно укрепились. Теперь больше всего приходится страдать Бельгии; до того ее немцы разгромили и разорили, что бельгийцам больше ничего не оставалось, как открыть шлюзы и затопить всю местность вместе с варварами. Король Альберт выказал в этой смертоносной войне большое мужество, присутствуя лично в армии и переноса вместе с нею лишения и опасности. У нас повсюду его портреты и даже на конфетных коробках.

А наш царь в ставке в Могилеве со своими немцами, Адлербергом и др.,

где интрига за интригой против начальника штаба Алексева. Царь поддавался влияниям, говорили, кроме царицы и Распутина, еще и Питирима; на этого влиял Осипенко, а на него — черносотенцы (кличка монархистов) и духовенство [Государственной] думы. Говорили, что Алексееву приходилось оказывать большое сопротивление желанию Александры Федоровны втиснуть Распутина в ставку. А народ считал его за шпиона и взяточника, да и саму царицу чуть ли не подозревали в содействии вражьей стороне.

Подумать только, какие знаменитости тогда на устах у всех фигурировали! Распутин, Вырубова, князь Андронников, Митя Рубинштейн, Манасевич-Мануйлов, Иллиодор et cetera*. Ходила темная история, наделавшая много шума, о покушении на Распутина его зятя. А оказался почему-то раненым зять. Это мнимое покушение будто было устроено министром внутренних дел [А.Н.] Хвостовым для поднятия падавшего престижа старца.

Хвостов же впутался в дело с записками Иллиодора, сбросившего сан монаха, убежавшего в Финляндию; в записках этих разоблачалось многое тайное, задевавшее Распутина и ... царицу. Послан был некто Ржевский уговаривать Иллиодора перейти на сторону Распутина и отказаться от своих разоблачений. Всю эту махинацию, говорили, разоблачил Осипенко, расследовавший этот казус с Манасевичем-Мануйловым. И Хвостов слетел с министерского поста.

Вся эта муть мутит умы и сердца нам, несчастным подданным России. Есть какой-то роман: "Тайны Мадридского двора". Но тайны нашего двора с психологической точки зрения; наверное, побили рекорд в сравнении. Здесь господствовала патологическая психология. Фигурировали психопаты и мошенники. Говорили, что Ржевский получил от Хвостова 60 000 золотом для выкупа компрометирующих царских особ записок Иллиодора. Ржевский этот наживался, спекулируя вагонами с продовольствием, попался только благодаря вражде и подставлению ножек друг другу между министром внутренних дел Хвостовым и шефом жандармов Белецким. Куда ни взглянешь — видишь подкуп, наживу рядом с геройством и самопожертвованием.

Немцы, уже ощущая нехватки в продовольствии, навели скрупулезную экономию: у них ни одна обожженная спичка не пропадала, а доставлялась на завод для накладки фосфора. А мы — широкие натуры — расплодили таких хапуг, которые, орудуя вокруг армии, наживают миллионы; их приходится осаживать. Одного из этой плеяды "славных" — заводчика Миронова — за доставку в армию плохой обуви приговорили к полутора годам арестантских рот. Попался один из множества.

К самым ответственным делам ставились не соответствующие данному страшному времени люди. Хвостова заменил Штюмер, отец которого был немец, прусский подданный. А между тем все жалуются у нас на сильное развитие шпионажа со стороны немцев. Они как-то быстро узнают о наших диспозициях и будто отпускают с этой целью из плена к нам евреев. Не разберешь, где тут правда. В японскую войну были предателями даже два офицера. Может, их и больше было? У нас в госпитале два еврея. Женя и раненые их хвалят: "Добрые, даже щедрые не по-еврейски", — а сами ими помыкают и зовут их не иначе, как "жиды", без имени. Теперь даже высылают евреев из зоны войны. Поговаривают о разводе царя с царицей-немкой.

Вот уже и 1916 г., а все война не ослабевает. Немцы начали только кряхтеть. Ждали их истощения, а к ним присоединились Турция и Болгария, и война делает свое разрушительное дело. Зверства немцев не прекращаются. Их подводные лодки топят даже мирные суда: без сожаления потопили госпитальное судно. Когда потонул пароход "Титаник" из Америки, столкнувшись с льдиной, с 1600 потонувшими, то сколько было шума и сожаления и ахов в этой же Германии тогда. А теперь немцы злорадствуют. Какое огрубение нравов ведет за собою война! Они,

* И прочие (лат.).

не считаясь с белым флагом, бомбардируют госпитали. Для них перестали существовать международные соглашения и условия.

Но вот посетил нас приехавший на побывку из армии доктор Франц Иванович Слижис. Порассказал он нам такие вещи, что мы ахали, и если б это рассказывал не сам очевидец, то не поверили бы. Он был на западном фронте, где наша армия почти без боя быстро прошла к Кенигсбергу, несмотря на непредвиденные частые задержки. Например, сидит их отряд в резерве на бивуаке, благодушествует, но всегда наготове быстро сняться на подмогу дерущимся впереди, ждут только извещения. Вдруг тревога — прискакал посланец с приказом резерву выступить на поддержку. Быстро весь лагерь свертывается; несется; встречает в лесу другого посланца с извещением, что уже дело кончено и не нуждается в подмоге. Развьючиваются, устанавливают палатки, ждут прибытия раненых. Как хорошо! Значит, наши победили! На сердце радость. Вдруг опять тревога. Что такое? "Что значит, что вы расселись?! Вы не повинуетесь приказу!! Наши еле держатся, а от вас не дожидесь подмоги!" — кричит в неистовстве посланец. Картина изумления и переполох. Посланцы все русские, в соответствующих формах. Вот тут и разбери, кому верить! Значит, в отрядах были доброжелатели немцев. Это так удручало наших героев-воинов; но они не опускали рук и шли с такими раздражающими, задерживающими продвижение подвохами; под конец и без снарядов, а некоторые с испорченным оружием и даже без него.

Пришлось отступать. Когда им стало нечем прокладывать себе дорогу, то немцы погнали их, обстреливая из-за каждого угла, чердака, крыши, дерева, а им оставалось отбиваться прикладами и рукопашную. От невидимого врага оставалось или умирать без помощи, или отступать, что их приводило в отчаяние; хотя многие из них уже были ранены, они, попав в окружение к немцам, выказали тут такой героизм русского солдата, несравнимый ни с чем, что просто брало благоговение к этим мученикам долга. Плен для них, видимо, казался таким позором, что они дрались под градом пуль врага не только штыками, прикладами, но и в рукопашной схватке, отыскивая за деревьями стреляющего врага.

Франц Иванович, хватаясь за голову и качая ею, повторял: "Что тут было! Что тут было в этом хаосе смертельной схватки, какие ужасы и жалость! Ни рассказать, ни описать! С этих пор я преклоняюсь перед русским солдатом. Офицеры тоже с одними попорченными уже саблями отбивались. Все могли бы спокойно сдаться в плен; но они прорвали, израненные, голыми руками, стальное кольцо немцев и бурной лавиной хлынули из него, смяв врага. Ну, и полегло же их тут! Ужас! Ужас!"

Евграф долго не мог прийти в себя после рассказов Франца Ивановича. И это говорил литовец! В его рассказах чувствовалась такая мука человеческой души, именно общечеловеческой, забывшей национальности. Евграфа тронула отзывчивость Франца Ивановича.

Все возмущались нашими заправилами. Но русским не привыкать к героизму, вся их история такая, и мне лезли в голову стихи из сказания Евпатия Коловрата:

Вы курганы, курганы седые!
Насыпные курганы степные,
Вы над кем, подгорюнившись, стонете?
Чьи Вы белые кости хороните?
Расскажите, как русскую силу
Клала русская удаль в могилу!..

В этот хаос окружения германцами наших и бегства чуть-чуть не попала А.А. Фортунатова — мать Кости Фортунатова, тоже доктора, умершего от тифа в Сольдау. Она приехала его навестить, но он скончался, и пока она его хоронила, началось отступление нашей армии. Она еле успела унести ноги; по ее пятам уже шел бой, и опоздай она минуту, попала бы в кольцо пруссаков. Она ненадолго пережила любимого сына.

Франц Иванович потом перешел на румынский фронт, где затишье и раненых

мало, о чем писал племянник Евграфа, тоже доктор, Володя. Много, много горя; встречаешь часто дам в шляпах с крепом. А что делается в деревнях? Там преобладает женский пол и старики, работать на полях некому. С востока на запад волнами прибывают в армию новобранцы, а с запада на восток раненые, пленные немцы и хлынула волна беженцев. Все они нуждаются в продовольствии, а его-то как раз мало. Цены вздутые. Чувствуются нехватки.

Вызывает меня как-то горничная из-за обеда: пришел мальчик и просит взять щенка. Их семья беженцев должна ехать дальше. Нечем им кормиться и самим, а щенка жаль бросить, и его направили к нам как к добрым людям. Евграф, к моему удивлению, запротестовал: "Видишь, людям есть нечего, а ты будешь кормить собаку, лучше возьми мальчика". "Не его же отдают, а собачку", а потом, мне так хотелось утешить мальчика, я его успокоила, взяла щенка, Гектора. Он оказался породистым черным сеттером. Я дала за него мальчику денег. Евграф поварчивал: "Кормила бы человека, а не собаку". Но человека не выкормишь отбросами и остатками, а этот и кости ест.

У Евграфа в Академии наук печатали научные работы. Уже с 1905 г. там был непременно секретарем уже не генерал Дубровин, а Сергей Федорович Ольденбург, совершенно другого пошиба человек, именно человек с душой, а не чиновник с бюрократическими навыками. По поводу этого печатания Евграфу приходилось переписываться с Сергеем Федоровичем. Евграф в своей жизни по своей честности, чистосердечию и прямоте руководился не таким, не фиглярами-миглями вежливости, как некоторые другие, которые мягко стлали, да жестко становилось спать, а сутью дела, пользой его, и потому он бывал иногда резок. Приведу в пример любопытную и характерную переписку двух подобных друг другу людей. К сожалению, у меня не сохранилось копии того написанного Евграфом письма, на которое отвечал С.Ф. Ольденбург, но содержание его выясняется из ответа от 24 марта 1916 г.:

«Глубокоуважаемый Евграф Степанович.

Не могу оставить без ответа Вашей заметки в приложении к корректуре, потому что мне кажется, что у Вас есть фактические неточности, а, кроме того, быть может, после моих объяснений Вы иначе оцените решения Академии. Прежде всего фактическое: передо мною подлинное "Дело" о соискании премии митрополита Макария на 1891 г., где вижу печатный список сочинений, полученных на соискание премии, и там напечатаны заглавия Ваших работ. Какой список печатный Вы видели, я не знаю, так как другого списка не имеется в Академии¹⁴³.

Далее Вы говорите, что Ваши труды, около 50 лет печатающиеся, не получали премии. Вы забыли, что в 1908 г. Академия желала присудить Вам одну из главных своих премий по собственному почину — премию С.А. Иванова. Вы тогда категорически отказались от премии. И вот что я читаю в отчете: "Комиссия единогласно остановилась на кристаллографических и кристаллооптических исследованиях одного известного русского ученого. Имея, однако, в виду определенное нежелание этого лица пользоваться премиями, Комиссия, признавая, что премия Иванова по своему характеру предназначается для особо выдающихся научных работ, не нашла возможным присуждение премии за другие сочинения, минуя упомянутые кристаллографические исследования, и постановила оставить ее в настоящем году неприсужденною". Трудно, мне кажется, более определенно выразить высокую оценку трудов ученого. Я убежден, что, если б Вы вспомнили о только что приведенных выше словах, то беспристрастие побудило бы Вас признать, что Ваши слова о присуждении премии были неверны.

Обстоятельства Вашего отъезда из Петербурга в 1894 г. мне неизвестны, могу только сказать, что в бумагах Академии я не нашел Вашего письма к Президенту, и оно доложено, по-видимому, не было, и, таким образом, Академия о нем и не могла иметь суждения и ответственность за то, что ей осталось неизвестным, очевидно, нести не может. Но Вы не упоминаете, что в том же году ряд членов Академии сделал попытку избрать Вас в действительные члены Академии. Это могло быть сделано только с разрешения Президента и с Вашего согласия. Передо мною записка, подписанная академиками: Бекетовым, Чебышевым, Фамининым и Ковалевским, предлагающая Вас к избранию. Вы получили 8 голосов¹⁴⁴.

Вопрос о выборе всегда до известной степени спорный, и в нашем составе есть и теперь лица, которые в свое время были забаллотированы; припомню, что ведь и Вы в 1901 г. были избраны¹⁴⁵. Об этом выборе Вы пишете, считая его как бы оскорблением. Начну с первого Вашего указания, которое не отвечает тому отношению, которое в Академии существует уже с конца прошлого столетия к адъюнктуре. Вам, вероятно, неизвестно было, что и из ныне состоящих академиков большинство в зависимости от свободных мест были избираемы в адъюнкты, притом целый ряд из них немолодых ученых, и уже после

длинного ряда работ и многих годов профессуры, назову только Карпинского, Никитина, Белопольского, Вернадского.

Когда, при введении новых штатов, Академия возбудила вопрос об установлении одной академической ступени, то основным аргументом было то, что в действительности Академия за все последнее время не делала разницы между степенями. И, таким образом, новый штат только санкционировал то, что уже выработано было жизнью. Я помню, что Н.Н. Бекетов говорил тогда же, что, спрашивая Вас о согласии на выборы, он Вам разъяснил это обстоятельство. Вы видите, что ни о каком приравнении адъюнктуры к приват-доцентуре, разумеется, и речи быть не может. Чтоб подтвердить это чисто канцелярской справкой, которая дополнит предыдущее, укажу, что адъюнкты по классу должности и содержанию были приравнены к ординарным профессорам.

Далее, я совершенно не понимаю Вашего указания на какое-то закрытие Минералогического института Академии: такого учреждения нет и не было в Академии, а Минералогическое отделение геологического и минералогического музея не только существует и поныне, но необыкновенно разрослось и расширилось. Ваше заключение о какой-то клеветности показывает, что Вы, очевидно, были введены в заблуждение слухами, носившимися о несуществовавших в действительности событиях.

Относительно указания Вашего насчет того, что Вице-президент потребовал от Вас, чтоб Вы не искали и не брали профессуры, могу только указать, что Академия ходатайствовала об оставлении Вас одновременно и профессором Московского сельскохозяйственного института и адъюнктом, и это ее ходатайство было уважено. Правда, я нахожу в протоколах Академии, что Физико-математическое [атическое] отделение предъявило Вам категорическое требование переезда в Петербург, но то было вызвано требованиями устава, причем, однако, как только выяснилось, что Вам нельзя сейчас же устроить здесь нужные для Ваших работ условия, было возбуждено указанное Ваше ходатайство. Ваше указание на то, что в Академии не было места и средств в достаточной для Ваших работ мере, несомненно справедливо, но ведь в том положении находится большинство академиков, и приходится медленно, шаг за шагом, добиваться ассигнования кредитов. Я помню, это уже было при мне, что П.В. Никитин говорил Вам об этом пути. Укажу также на то, что, например, когда Вы нашли необходимым устройство экскурсии на Колыский полуостров, Академия немедленно ассигновала средства и на поездку, и на анализы, и на издание г. Болдырева.

Ведь и когда после ухода Вашего Вы пожелали печатать Ваш большой труд "Das Kristallreich" с многочисленными таблицами, то Академия, получившая к тому времени большие средства на ученые издания и предприятия, сейчас же постановила печатать этот труд и его таблицы. Ведь и вообще ряд Ваших работ напечатан в изданиях Академии. Указываю на это только потому, что Вы в Вашей записке обвиняете Академию в систематически недоброжелательном к Вам отношении.

Перехожу теперь к последнему, в моих глазах, самому тяжкому Вашему обвинению Академии — в кумовстве. Если для указаний на неточности чисто фактические, которые были приведены мною выше, мне нужно было только тщательно пересмотреть дело и протоколы, то в данном случае вопрос гораздо шире, ибо и обвинение носит характер общей оценки, а потому и я должен уже выйти из границ "дел" и "протоколов". Вы, верно, не вполне взвесили всю тяжесть брошенного Вами обвинения Академии в кумовстве, иначе Вы привели хотя бы одно указание на действительный факт кумовства, ибо слово это в русском языке имеет совершенно определенное значение. Вам известен также, как и мне, нынешний состав Физико-математического отделения и, обвиняя в кумовстве Отделение, Вы обязаны указать, кого из членов Отделения Вы имеете в виду, так как Вам хорошо известно, что никто из членов Отделения не состоит ни во взаимном родстве, ни даже ближе, чем в простом знакомстве. Я категорически утверждаю, и мне тем легче это сделать, что я к Отделению не принадлежу и могу, значит, быть более беспристрастным, что ни в одном из постановлений Отделения, по крайней мере за те 16 лет, что я в Академии, никогда не было и тени кумовства. Ведь не можете же Вы предполагать, что члены Отделения, по самым разным вопросам голосующие разное, каждый по своему пониманию и убеждению, почему-то именно по отношению к Вам все сойдутся на мысли оскорблять и преследовать Вас, к тому же те же члены Физико-математического отделения, которые и выбирали Вас, и в 1908 г. хотели присудить Вам премию, и постоянно постановляя печатание Ваших трудов в академических изданиях? Где же была тогда последовательность их действий?

Ошибками и недоразумениями полны людские отношения, потому каждая человеческая личность своеобразно откликается на те или другие явления жизни, но, думается мне, каждый из нас обязан с особенной осторожностью относиться к толкованию побудительных причин тех или других действий людей, а тем более к обвинению их в сворыстных побуждениях. Извинюсь за то, что я, быть может, в слишком резкой форме выразил свое отношение к Вашему обвинению Физико-математического отделения в кумовстве, но трудно молчать там, где высказываются тяжелые обвинения, которые ничем не подкрепляются, ибо, повторяю, не могу же думать, что Вы полагаете, что именно по отношению к Вам и только к Вам Отделение оказалось зараженным кумовством? Членами Отделения состоят: Фаминцын, Баклунд, Карпинский, Марков, кн. Голицын, Рыкачев, Белопольский, Ляпунов, Бородин, Вернадский, Стеклов, Курнаков, Андрусов, Палладин, к ним надо прибавить скончавшихся: Бредихина, Сони́на, Чернышева, Воронина. Пе-

речитав это письмо, Вы, быть может, признаете, что обвинение Ваше этих людей в кумовстве было неверное. Я кончил свой ответ, на который вынудили меня слова Ваши, что отсутствие ответа в Ваших глазах будет означать, что все Вами в записке изложенное верно и оспариваемо быть не может. Я соглашаться с Вами в том, что Вы сказали, по вышеуказанным основаниям, не могу. По отношению к Вашему примечанию, если Вы его сохраняете, я, как редактор "Известий", обязан сделать фактическое примечание, восстанавливающее точную передачу фактов.

Примите уверение в совершенном моем почтении и таковой же преданности

Сергей Ольденбург

Ответ Евграфа Степановича на это письмо (копия):

"Глубокоуважаемый Сергей Федорович.

Мое глубокое уважение к Вам заставляет меня признать без колебаний, что, если в печатном списке 1891 г. Вы нашли заглавие моего сочинения, то это не может быть неверно; но ведь об этом я не говорю в примечании, и я буду очень рад, если Вы в своем редакторском примечании приведете что-нибудь, в чем тогда же (т.е. в 1891 г.) выразилось какое-нибудь внимание Академии к этой работе. Да это и фактически невозможно, если рецензентом не был высокий заграничный авторитет, чего, конечно, не было. В России в то время не было лица, способного понять работу; но если приводимые факты будут относиться к позднейшему времени, то это уже к делу не относится, так как выбор в Баварскую академию за эту же работу естественно не мог не повлиять на отношение г.г. академиков к моим трудам.

Остальные Ваши указания, насколько они заимствованы из документов, вполне согласны с моею памятью, но многое, на что я указывал, в документах не попало и даже не могло попасть: ведь в компрометирующих деяниях расписок не дают. Кумовство открыто не мною, а давно сделалось достоянием публицистики. Если бы я стал передавать факты, мне сделавшиеся известными, то покраснела бы бумага. Можно бы допустить, что эти факты, вплоть до забракования Менделеева, есть дело прошлого, но недостаточно приведенного Вами списка академиков, чтобы видеть, что история Академии продолжается. Этим я отнюдь не хочу сказать, что в списке отсутствуют имена весьма почтенные (по моему, конечно, недостаточно компетентному разумению) в научном отношении.

Относительно премии 1908 г. я не получил от Академии и цидулки. Покойный же Чернышев говорил о предположении некоторых академиков присудить премию не за какое-либо сочинение, а за совокупность научных трудов, т.е. попросту по старости лет. Но мне кажется даже смешным поощрять к научным занятиям старика, отдавшего науке всю жизнь. Вам это не кажется? Что же касается премии за отдельные статьи, о чем я говорил в письме, то это даже неосуществимо иначе, как через посредство высокого авторитета, какого можно найти только за границей.

Наконец, сам выбор в члены Академии, который по глубине понимания своей специальности должен стоять выше других, людьми, понимающими в этой специальности очень мало, разве не есть факт кумовства, основанный не на самостоятельном суждении, а на доверии или недоверии к докладчику? В старых культурных странах этот акт явился сначала по необходимости, а затем поддерживался по рутине, но факт кумовства даже в лучших академиях мира все-таки остается этим печальным фактом (вспомните про Дюде). По моим, впрочем, недостаточным сведениям в Германии кумовство даже сильнее, чем в Париже; по-видимому, слабее всего в Англии, а у нас, конечно, в таких делах делают рекорд. У нас же легко было бы сделать иначе.

Сожалею, что не получил от Вас ответа на случай, если бы моя смерть застала Вас еще в должности неперменного секретаря, исполнили бы Вы мое завещание: не упоминать в стенах Академии наук моего имени? (Разве если случится неожиданное мною в ближайшие годы преобразование Академии, устраняющее возможность кумовства; тогда мой дух действительно перенесется в стены Академии.)

В заключение не могу не преклониться перед Вашею внимательностью даже к такому второстепенному делу, как то, о котором сейчас речь. Я Вас хорошо понимаю, и горячность Вашего письма вызывает у меня восхищение; несмотря на Вашу задолженность во времени по другим, быть может, делам, в Вашем сердце хватает места и для второстепенных. Должен сознаться, что таких членов Академии я еще не встречал (разве только что почивший Ковалевский). Был бы несказанно рад, если бы Вы поняли и меня. Тем с большим чувством выражаю Вам свое глубокое уважение и преданность.

Е. Федоров. 24/III—1916 г."

Это письмо было сейчас же написано по получении письма от Сергея Федоровича, и они совпали.

Апрель принес известие о съезде социал-демократов в Кинтале¹⁴⁶. Они там разгрызлись. У нас тут клич: "Война до победного конца!", а там: "Долой войну!" Желание поражения России. Союзники обещали после окончания войны передать Константинополь русским. Стояли мы как-то с Евграфом перед

картой; замечтались о громадных возможностях нашего отечества с приобретением Константинополя. Между прочим, я говорю: "Если Цареград будет наш, поедем полюбоваться Босфором; если ты не поедешь, я обязательно съезжу". Евграф раздумчиво ответил, игнорируя свои мечты: "Рассчитывай! Как же! Им только по губам нас помажут". Он был уверен, что немцы и побежденные сумеют нас обойти. "Велика Федора, да дура". Эту пословицу обыкновенно применяют к России; но нет, она не дура, а неразвита и податлива, как ворона, на лисицыны слова. Когда возразила я, он кончил так: "Поверь мне. Ну, да поживем, сами увидим". Ведь и верно: другим подавай факты, а для русского довольно и красного словца.

Это лето 1916 г. на дачу мы переехали 1 июня. До середины его мы мерзли и топили печи, хотя луга и пестреют разнообразной окраской цветов, особенно много колокольчиков. С нами переехала Катя с детьми. В Павловске дизентерия. Дети стали препорядочные озорники. Элик по пустякам орет, и нельзя в нем узнать прежнего спокойного младенца. Ребята, правда, вольные, но шалости их безобидные, но только не для котенка Кассия и не для сеттера Гектора — черного красавца, которых они так жулькают и мучают, что опасались, как бы один не выцарапал им глаза, а другой не искусал бы. <...>

Прошлом лето к нам еще мясник возил мясо на красивой вороной лошади, купленной от уехавшего на войну русского помещика. Теперь кто разоряется, а кто наживается. Евграф — альтруист, у него предобрейшее было сердце, но при его правилах не поддаваться чувству и не выражать его, а руководиться только разумом он казался тем, кто его не понимал, черствым, с тяжелым характером; был иногда несносен со своими правилами. Я же была экспансивна, это приводило иногда нас к скоро проходящим стычкам. Я сейчас же забывала распрю, он же извинялся и становился нежен, как после грозы приятно греет солнце.

Поводов теперь к несогласиям много было, дороговизна росла и росла. Стояли в очередях у лавок за мясом целыми часами то Женя, то прислуга, то сам вызвавшийся помогать Евграф. В Териоках стояли хоть на чистом воздухе, вольно, лежа на траве, ждали. Евграф с газетой или с книгой. А в Петрограде стояли люди под солнцем в жару, среди нагретых камней, в испарениях от потных тел, в громадных очередях, так как мясо выдавалось только по субботам и в воскресенье — в свободные дни от работы. Сахару нет, а сахарный песок выдавался только 1—2 фунта, смотря по семье, по карточке и то в немногих магазинах. Побаивались голодных бунтов.

Хорошие вести с войны еще поддерживали дух и бодрили несчастных людей, изнервничавшихся в постоянных очередях. Их пустые желудки и кошельки дают назойливо себя знать и не забывать. Радуют тоже успехи союзников, а еще больше наши: Галич взят, скоро и вся Буковина будет в наших руках. Мы с юга будем обходить крепости и укрепленные места неприятеля. На севере же положение было тогда в status quo* пока. Раненые, привезенные 1 июля в наш лазарет, верили в наш успех, бодро смотрели в будущее и надеялись на скорое заключение мира, даже этой осенью, потому что снарядов и оружия у нас теперь больше было, чем у врагов, и людей больше. Наша артиллерия сметает ураганным огнем неприятельские заграждения; фугасы, взрывая, дают ход вперед пехоте. У Двинска только что-то замаялось, взято только три окопа. Турок оттеснили на юго-запад. Недаром немцы заговорили о мире. О сепаратном мире никто и слушать не хочет, и царь отверг его¹⁴⁷. Тысячами стали пригонять пленных австрийцев, пруссаков и турок. Настроение новоприбывших раненых приподнятое, уже не такое подавленное, как у прежних,

* Здесь: в прежнем состоянии (лат.).

завидовавших и консервам, и теплой одежде, а главное, богатству снарядов немцев.

Все это всех радовало, но странное я с Евграфом испытывали чувство и настроение. Они неуловимо проскальзывали, бесформенные. Выразить нам обоим их трудно было другим. При всех данных на успех и при общем ликовании, нас в глубине души брала смутная тревога и сомнение. Почему? Где были данные для этого? Да, верно, просто оттого, что за последнее время мы привыкли к получаемым Россией шелчкам. Помощь нам со стороны союзников шла им же на пользу. Не будут они в нас нуждаться, Россия и от них получит фигу. А на то идет: подпольные силы, их сейчас нет, но они чувствуются, они как подземные черви, подтачивают, рыхлят землю и фундамент этого благополучия, хотя еще не ощутимо, но уже колеблется. Немцы стараются нас взять хоть не мытьем, так катаньем. И возьмут, думалось нам.

Мы, русские, как воск или как мякиш, податливы. <...> Трудно было высказать то, что только чувствовалось. Начинались только кое-какие признаки.

Протопопов, член [Государственной] думы, промышленник, кадет, был послан в Англию в числе других членов с делегацией от [Государственной] думы. На возвратном пути, в Стокгольме, он отстал от уехавших сотоварищей и свиделся с секретарем посольства Германии Варбургом, убеждавшим его в выгоде для России заключения сепаратного мира. Это известие породило большой шум в обществе, запросы и допросы в Государственной думе. А в Англии в Манчестере разогнали митинг и, будто, там ранено и убито до 400 человек. Подивил нас бой английской с немецкой эскадрой, результатами которого обе стороны остались довольны. Скорее, немцы пускают пыль в глаза своему народу. Недаром у них 1 мая была грандиозная демонстрация против войны.

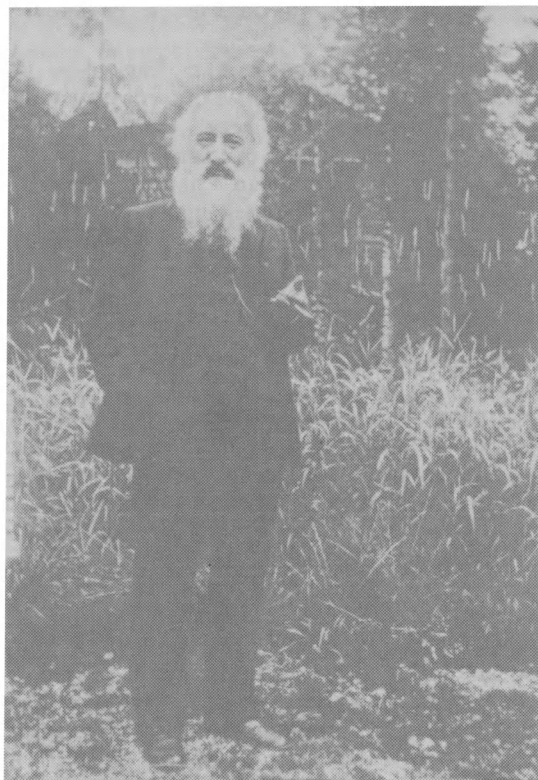
21 августа наши павловцы уехали. Графчик забрал их. Териоки детям пошли в пользу, они окрепли, хотя лето было дождливое. При наших с Катей разных взглядах на воспитание у нас установились с ней натянутые отношения, хотя столкновений и не было. Мы считали, что воспитание — это навыки, и детям не все разрешается, и этим они привыкают себя сдерживать и развивают силу воли. У Кати же детям все дозволено, и при ней они распускались до непослушания, капризничали, требовательны. Без нее — славные покладистые ребята. Элик-рева замолкает, зная, что ревом не добьется желаемого. Он любит, чтобы его слушали, и тогда он без конца готов рассказывать. Всех благодунеев Геня с личиком-солнышком. Графочка требователен и привязчив к тому, кто ему угождает. Так полюбил прислугу Катерину, а она его, что даже плакала после его отъезда.

Евграф, возясь с пилкой и колкой дров, заполучил расширение сердца, что делается легко при экономии в еде, которую он проповедовал всегда и соблюдал в большей степени теперь. Он стал задыхаться при скорой ходьбе и после еды.

Это лето не раз приезжала к нам погостить Броня. Они с Женей растревляли сердца воспоминаниями о Клобинах; но они уже не наши, а тут хоть клок, а все же свой, делай с ним, что хочешь по своему вкусу. У меня что-то птичье: я люблю свое гнездо, уют; желала бы каждому того же. Теперь это именуется мещанством. Я поверю в счастье социализма только тогда, когда оно настанет, и я его испытаю на себе и увижу воочию на других, а пока довольствуемся мечтаниями о нем.

Меня и Милу схватила лихорадка, заторопились уезжать, всю ночь проукладывались.

В Петрограде уставшие, больные, долго маялись, сидя на вокзале, не находя извозчиков; нужно было ждать, когда вернутся уехавшие. Вот времена настали! В Петрограде не хватает извозчиков! Цены небывалые стали: самое



Е.С. Федоров на даче в Териоках. 1916 г.

простое масло 1 руб. 80 коп., сахарный песок 40 коп. и еле достанешь. Мясо 50 коп. фунт тоже редкость и то только через нашу кооперативную лавку в Горном и только давали по 5 ф[унтов] на семью. Хорошо еще, что у нас были кое-какие запасы. Да сестра моя к именинам сделала мне роскошный подарок из служебной при их министерстве лавки: 1 пуд муки, 18 ф[унтов] сахарного песка и 10 ф[унтов] серого мыла.

Больных в нашем лазарете только 38 осталось. Не то подвозу нет, не то экономия. Передышка какая-то. Женя аккуратно дежурит и развлекает оставшихся. Жени и Катерины обязательно с 7—8 часов нет уж дома. Они дежурят в очередях: за ситным, за мясом, за обувью, за дровами..., по всему Петрограду хвосты у лавок и в дождь, и в снег. Хорошо еще на сахарный песок выдали карточки. Поговаривают о прибавках к жалованью чиновникам, а дороговизна растет и растет (мыло уже 2 руб. 50 коп.). Мила слабеет с каждым днем. У нее атрофия кишечных желез после тифа. Их уже не вставишь, и она, как фараонова корова, кушает хорошо, а всасывание пищи нарушено, организм голодает, истощается, худеет она и слабеет при уменьшении питания.

Начало нас беспокоить и здоровье Евграфа. По временам ему при ходьбе делалось дурно и через несколько минут от валериановых капель проходило. Он упрямо противился показываться докторам, а я стала что-то плоховато слышать и выслушать его не могла. Наш доктор при Горном, видимо, ничего не понимал. Евграф выходит из дому, дурно; возвращается, примет капли — лучше; идет опять, хорошо, и дальше, без одышки, поднимается на 4-й этаж. Наконец удалось его уговорить показаться солидному доктору. Он нашел у него небольшое расширение сердца, назначил строфант, который я ему уже давно

давала, советовал каждодневно съедать по 2 яйца (а где их достанешь?) и побольше масла. Но с Евграфом, разве его уговоришь? Он не стал бы есть один такие деликатесы, в которых другие члены семьи себе отказывают и трудно достать. Ему следовало бы принимать иод, а он противился: "Что ты пичкаешь меня лекарствами, у меня это и так пройдет, когда начну хорошо есть". А когда это будет?

Конца этой войне не предвидится, после нее ждем еще революцию, а она, по [В.А.] Маклакову, палка о двух концах, каким ударит? А как почнет ударять то одним, то другим? Газеты выходят с белыми пустотами. Блок пишет:

На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне.

Предостережения со всех сторон. Сенсационные известия так и сыплются. Теперь говорят о Васильчиковой, жене члена [Государственного] совета, высланной в свое имя в Новгородской губернии за письмо к царице о Распутине. А представитель Красного Креста в ставке Кауфман уволен. Он пострадал за обращение к царю с просьбой об увольнении Протопопова. Министр [Н.А.] Маклаков был скоморохом при дворе, говорят, а Протопопов спиритом. Уверяли, что он теперь занимался не делами, а спиритизмом в царской семье, за него все справлял генерал Курлов. Вообще он проявлял большие странности за последнее время: так, в [Государственную] думу являлся в жандармском мундире.

16 декабря Дума была распущена до 9 января на праздники Рождества. Мы зачитывались думскими страстными речами В.А. Маклакова, Милюкова, Керенского, даже Шульгина. Пуришкевич заговорил другим языком. Всем осточертел Распутин. Дмитриюков-октябрист заговорил о взятках и растратах в артиллерийском ведомстве под управлением Сергея Михайловича, особенно после взрыва на пороховом заводе. Само открытие этой сессии Думы ознаменовалось скандалом: при выходе Штюмерера с левых скамей раздавались крики: "Вон! Долой изменника!" Потом речь Милюкова вызвала целую бурю и даже уход Варун-Секрета с места товарища председателя. Вот те строки, из-за которых возникла буря: "То, что Протопопов сделал в Стокгольме, было сделано в наше отсутствие. Я не могу сказать, какую именно роль эта история сыграла в той уже известной нам прихотей, через которую вслед за другими прошел А.Д. Протопопов на пути к министерскому креслу. Там, вероятно, эти вещи любят. Я вам называл этих людей: Манасевич-Мануйлов, Распутин, Питирим, Штюмерер. Это та придворная партия, победой которой, по словам "Neue Freie Presse", было назначение Штюмерера и которая группировалась вокруг молодой царицы". Превосходную прочувствованную речь тогда произнес В.А. Маклаков.

Штюмерер и Протопопов хлопотали о закрытии Думы и она замолчала; а как раз в ночь с 16 декабря на 17 был убит Распутин¹⁴⁸. Вот-то был переполох! Предположений, разговоров сколько! Трепов, Игнатьев, Макаров, Волконский, давнишний товарищ министра внутренних дел, подали в отставку. По крылатому словцу Пуришкевича, шла "чехарда": А.Н. Хвостова сменил Макаров, его сменил [А.А.] Хвостов-старший, Штюмерера — Протопопов, этого — старик Голицын, помощник царицы по комитету раненых. На квартиру председателя Думы Родзянко за это время был совершен налет. Кого? Уверяют, что полиции, так как ничего не взято. Почему? Отчего у него? Никто не знал и не понимал. Может ум за разум зайти от всей этой неразберихи!

Переправа продовольствия все больше и больше задерживается. Никаких съездов уже не разрешается. Втуне остаются все требования об открытии съездов общедворянского и Новгородского дворянства. Дворянство уже под сомнением. Транспорт расхлябался. Морозы — а дров мало и цены недоступные.

Снарядов теперь больше, чем надо, а недовольство во всей армии. Скорее бы уж кончалась эта война! Такое неопределенное положение угнетает. У немцев, говорят, неблагополучно, даже будто голод и недовольство растет, выражаясь в голодных бунтах. В Австрии даже убит Адлером, социал-демократом, премьер-министр Штюрк*. А у нас по Высочайшему помилованию выпущен из тюрьмы Сухомлинов, погубивший чуть не всю западную армию. Наши мошенники-интенданты, спекулянты, взвинчивающие цены, процветают, несмотря на всевозможные совещания по продовольствию и урегулированию цен. Боятся голодных бунтов, что было бы на руку врагу, а уже кое-где идут усмирения беспорядков с помощью солдат. Происходят экономические забастовки на разных заводах, вспыхивают и потухают в стычках с полицией. Россия кишит пленными немцами. Все внимание теперь сосредоточено на продовольствии; а на театре войны, на румынском фронте, где Володя и Франц Иванович, наших сдавливают с двух сторон германо-болгарские войска. Нами послано туда 15 корпусов на помощь. Немцы только несколько отступили во Франции, а повсюду еще крепко зацепились за свои позиции, и их трудно сдвинуть. Раненых к нам в лазарет привозят все меньше и меньше, и сейчас только 26 человек, да и то одного увезли в Николаевский госпиталь за воровство, а другой замешан. Раньше ничего подобного не было, но, видно, в семье не без урода. Живем, как на почтовых, за работой и газетой, с тревогой, дни и даже недели так и мелькают, принося что-нибудь новое, и не заметили, как подкатил 1917 год.

С января уже начались стачки на заводах. На душе неспокойно. Разговоры о сепаратном мире волнуют. В феврале вышло распоряжение о выделении Петроградского округа из военного северного фронта, где он до сих пор состоял. Вновь назначенный его начальник генерал Хабалов занялся, говорили, обучением городских стрельбе из пулеметов. Это был секрет, который все почти знали. Очевидно, к чему-то готовились. Мы тоже должны были приготовиться к тому смутному, неизвестному, ужасному или к чему-то светлому, что принято называть "весною". Как весна несет жизнерадостность и обновление природы, так и в наших измученных сердцах зарождалась безумная надежда и в мечтах рисовались упоительные картины после переворота, а сам переворот — неизбежную весеннюю грозу:

Люблю грозу в начале мая.
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Так многие и представляли себе. И на сердце делалось светло и радостно. Заражали друг друга этой радостью. Но... Вечно это "но"! Но революций не бывает без борьбы и жертв, против них уже заготовлены пулеметы. Опять эта липкая кровь не дает покою, вселяет ужас, и вместо радости жуть берет. Евграф успокаивает:

— Сейчас такое общее недовольство существующим порядком, скорее беспорядком, что те же городские перейдут на сторону народа; народ стал культурнее; война, хотя и портит нравы, но она же и героев создает. Так что, я думаю, эта революция будет почти бескровной, если только...

— Что только?

— Если не перехватят ее большевики, стоящие за гражданскую войну. О, тогда польется море крови! Тогда, пожалуй, и нам не жить. Вспомни, что про них писал Гейне.

Тут еще к большему устрашению себя мы выкопали из сочинений Гейне следующее: «С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда коммунисты,

* Правильно — Штюрк. — *Примеч. сост.*

эти мрачные иконоборцы, достигнут господства; своими грубыми руками они разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу. Они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любит поэт!.. Соловьи — эти бесполезные певцы — будут прогнаны и — увы! Из моей "Книги песен" бакалейный торговец будет делать пакеты, всыпать в них кофе или нюхательный табак для старых баб будущего. Увы! Я предвижу все это, и несказанная скорбь охватывает меня, когда я думаю о гибели, которой победоносный пролетариат угрожает моим стихам, которые сойдут в могилу со всем старым романтическим миром». Прочел это вслух и печально сказал: "Та же участь постигнет тогда и мои работы. Мы, теоретики чистой науки, будем им не ко двору, но пускай-ка они попробуют обойтись без чистой науки, это все равно, что построить дом без фундамента".

Ибсен в письме к Брандесу пишет, что весь XIX век питается крохами с революционного стола прошлого столетия. Эта пища увязла уже в зубах. Этого не понимают политики, хотящие только революций внешних, политических. Он их ненавидит. По его мнению, это мелочь, а нужна революция человеческого духа.

Достоевский, Гоголь и многие другие писатели вроде этого же думали. В массе народ наш темный, а тип нашего русского интеллигента-идеалиста симпатичен, у большинства все взгляды чисты и направлены ко благу, а все какого-то винта не хватает, и мечутся они из одной крайности в другую, не находя осуществления своей мечты, потому что это же только мечта, иллюзия, утопия, что хотите, но не действительность, не факт; когда же осуществилась бы их мечта, они, зачарованные ею, едва ли увидели бы дальше своего носа, с них потребовалось бы практическое международное дело. Сумели ли бы они вывести Россию на самостоятельную, подобающую ей дорогу? Интернационал — излюбленная их мечта, прекрасная перспектива — нечего и говорить; но все значительное оценивается не сразу, и нужны года для всеобщего стремления к нему. А пока что живем мы и не знаем, что нас ожидает: радость или горе.

14 февраля все же открылась Государственная дума и занялась хозяйственными делами без громких слов, как бы подавленная гнетущими мыслями, а ее окружающие дворы скрывали попрятавшихся полицейских и сыщиков, как охотников, поджидающих дичь. [Государственная] дума, как-никак, все же была представительница народная, и потому общество питало надежду на ее защиту от надвигающейся анархии.

Царь потерял уже давно свой престиж. Его, упрямого, но слабовольного, забирала в свои руки самовольная царица, по народному прозвищу "немка". Она шла вразрез с желаниями и требованиями народа, как бы в руку немцам. Она проводила и покровительствовала всем ставленникам Распутина. Точно бы афишировала свое знакомство с Сухомлиновой, вопреки доказанному сношению ее с лицами, замешанными в шпионаже: с Мясоедовым, повешенным даже (другом самого Сухомлинова), и с австрийским агентом Альтшуллером.

Но и Дума теперь уже дискредитируется: ее уже не называют Думой народного гнева, а поют про нее: "Дума наша Думушка — министерская ты кумушка". Неуважительно. Она же с 14 февраля хлопочет о хлебе насущном. Даже Совет Министров занимался продовольственными делами, приписывая вспыхивающие беспорядки нехваткам хлеба. Хотя генерал Хабалов заявлял, что недостатка в хлебе не должно быть, но сейчас, 24 февраля, уже не один хлеб, казалось, здесь играет роль, одним им не удовлетворишь, уже поправляет переворотом.

Как ни думай, что ни желай, а жизнь идет и забирает свои права. Началось с Петрограда — стали заводы. Говорили, за неимением сырья; транспорт расхлябался уже до того, что пассажирские поезда должны про-

пускать продовольственные. Не выходят газеты; хлеб, сахар и белая мука выдавались по карточкам, но все же голода настоящего еще не было, питались помаленьку. Потом ни хлеба, ни сахара, ни дров не стало хватать и пошли перерывы в выдаче их. Не потому, конечно, что всего этого мало было в России, а была нераспорядительность, и мошенники спекулировали, увеличивая дороговизну. Правительство плохо справлялось с этой разедающей язвой. Всех это нервировало. Столько развелось этой мрази, не знающей ничего святого и не признающей ничего лучшего, кроме наживы. Разные удавы хапают все, что плохо лежит. Руки опускаются, и жуть берет за родину. Ее топят эти акулы, пожирающие направо и налево в то время, когда в смертельной хватке калечится и умирает их собрат, защищая их. За спиной этих героев эти подлые людишки обделывали свои грязные делишки. И стар и млад — все жаждали перемены, чтобы смыть эту всю муть. Но позорный сепаратный мир отвергали, и шел лозунг: война до победного конца.

Забастовка расширялась, шли демонстрации, и даже появлялись с красными флагами, кое-где и с плакатами: "Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!" Соединяя со многих сторон, рабочие подошли к Александровскому мосту*, желая перейти и попасть на Невский, полиция не пропускала, но часть прорвалась и загрохотала Литейный проспект, а другая появилась на Казанской площади. Были свалки с полицией, так как кричали: "Долой правительство, долой царя!" На другой день та же история, да к тому же говорили, что солдаты братались с демонстрантами, а казаки даже отдавали им честь, вместо разгона. Неслись сочувствующие крики от зрителей: "Ура! Да здравствует республика! Долой войну!"

Рассказывали, что будто царица Александра Федоровна выразила мнение, недооценивающее эти демонстрации; по ее убеждению, все эти беспорядки продельваются мальчишками и девочками не из-за хлеба даже, а из-за хулиганства под влиянием агитаторов из рабочих. Что агитаторы-то тут играли немалую роль, это верно, но беспорядки производились и солидными рабочими при сочувствии народа и даже при попустительстве военных чинов. Многих, конечно, привлекали лозунги: "Долой войну! Свобода!" Играл тут роль у многих и шкурный вопрос. Но в общем хотелось сбросить кошмарную тягость самодержавия, потерявшего доверие и уважение к себе. Наш народ давно уже жаждал справедливости и облегчения от слишком давившего ярма самодержавия. Его слова: "Правда ушла на небо" — доказывали это, и он как бы считал ее несуществующей на земле, так он был забит и приучен к терпению, но всему есть предел. Терпению его пришел конец. Под влиянием кошмара распутинщины и при помощи пропагандистов прозрели его глаза, и он с энтузиазмом пошел добывать правду, добиваться справедливости, требовать человечности, равноправия. Святая справедливая борьба. Всякий порядочный человек ей сочувствовал. Но оправдаются ли надежды? Жизнь покажет.

Родзянко, тогдашний председатель Государственной думы, хлопотал о подавлении беспорядков ввиду их неблагоприятного влияния на театр войны. Но это уже была сдвинувшаяся лавина, которую трудно было остановить. Рассказывали, что партия большевиков сильно агитировала против войны. Лозунг "Долой войну!" заманивал, но рабочие еще упорно не поддаются этому соблазну, хотя и гибнут их близкие там; потом, объявленный недавно локаут тридцати тысячам рабочих лафетной фабрики Путиловского завода, да в придачу все усиливающаяся дороговизна, так и толкали их всех на мятеж. Время нашли для локаутов!

И вот 23 февраля можно, пожалуй, считать первым днем революции. То была только подготовка к ней. Рабочие вышли на улицу, стали появляться кое-где

* Ныне Литейный мост. — *Примеч. сост.*

баррикады. Женя с компанией знакомых отправилась посмотреть, что творилось на улицах. На 16-й линии им пришлось задержаться в толпе глазееющих. Вдруг раздался какой-то треск и с крыши что-то посыпалось. Публика шарахнулась, и все побежали куда попало. Оказалось, трескали с крыш пулеметы. А сначала наши и не сообразили, что подвергались опасности. Жене не показалось это страшным. Это действовала протопоповско-хабаловская остроумная выдумка. Но скоро рабочие ее раскассировали и завладели сами пулеметами.

На другое утро я еще одевалась за ширмой, как услышала говор и голос Евграфа: "Людмила, вставай, вставай скорее!" Я выскочила и увидела в окно на нашей стороне набережной, недалеко от Николаевского моста, баррикаду из каких-то досок, тележек и разного хлама, низкую, по пояс солдатам, за которой они еле, лежа, скрывались, а от кого — не видно. Никто в них не стрелял, и они не стреляли и точно играли в прятки. Выходило забавно и ни чуточки не страшно. А 25-го, в воскресенье, Михалина Ивановна (она с осени 1914 г. жила у нас, отправленная к нам отцом, когда у них появились немцы), вернувшись с Невского из костела от обедни, рассказывала, что, выйдя на площадку лестницы, она услышала залпы выстрелов, а народ, вышедший из костела на Невский, стал бросаться на мостовую и панель и ползком пробираться через проходной двор костела на Большую Итальянскую*.

Незадолго до революции, как на грех, заявила к нам Фрося из Нижегородской губернии, куда была сослана Леночка. С ней было настоящее мучение. Ее обуял революционный дух, и она лезла повсюду, где пожарче, под самые пули; находились там добрые люди, которые и спасали ее от них, вытаскивая с угрозами, что старушкам не подобает тут быть, отстраняли ее: "Ты, мамаша, уходи-ка подальше, тут тебе не место!" Мы вздохнули свободнее только тогда, когда она уехала восвояси.

26 февраля — мороз, ни трамваи не ходят, ни извозчиков нет. Многие попрятались и выжидают заносы, а чистить снег некому. Беспорядки продолжают. События не ждали, и 26-го, в день роспуска [Государственной] думы восстали Петроградские войска. 27-го на Выборгской стороне была сходка рабочих, на Невском — баррикады, разгонять их некому. По городу разъезжают грузовики, переполненные солдатами, с ошестинившимися, как у ежей шипы, штыками.

Пока действовало в Думе бюро прогрессивного блока; а Дума до отвалу заполнялась толпами разношерстных людей; это был какой-то бурлящий поток, потерявший берег; происходили в разных местах митинги, мирно образовались Временный комитет Государственной думы¹⁴⁹ и исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов (зародился Исполком, Совдеп)¹⁵⁰. Появились комиссары вместо министров-сановников. Царские министры сами запросились засадить их в крепость, боясь эксцессов. Они последнюю Думу бойкотировали, и министерская ложа в ней всегда блистала пустотою, и даже при открытии. Но министры напрасно боялись. К удивлению всего общества, не только не было ожидаемой анархии, но даже ни малейшего нигде хулиганства, ни воровства не произошло за всю эту революцию.

Евграф торжествовал: "Вот видишь, видишь, какой наш народ: мирный, прекрасный, благородный народ!" А я думала и соглашалась, но считала наш народ инертным и податливым, и он хорош, пока его не науськали, а неизвестно еще было, что дальше будет.

А в это время начальник Петроградского военного округа Хабалов и военный министр Беляев требовали у царя назначения диктатора и воинской помощи. 27-го был прислан старик генерал Иванов с двумя батальонами георгиевских

* Ныне улица Ракова. — *Примеч. сост.*

солдат с назначением его главнокомандующим Петрогр[адским] военным округом с подчинением ему всех министров. Батальоны оба, побратавшись с солдатами в Царском Селе, сдались, не желая стрелять в собратьев, а Иванов бежал. Его поезд задержали. Он был арестован и уже Керенским при Временном правительстве выпущен. Железные дороги поддержал Бубликов, и они действовали.

Председатель Думы Родзянко, командующий армией Брусилов, Рузский и другие долго уверяли царя, что другого выхода нет из создавшегося положения, как его добровольное отречение от престола. Но как, значит, он был еще далек от этой мысли, что только 28 февраля протелеграфировал Родзянке о разрешении составить новое министерство с условием, что министра иностранных дел, военного и морского он будет назначать сам. Поздно спохватился! Тут уж без него распоряжались.

В Москве солдаты присоединились к революции, образовался и там Совет рабочих и солдатских депутатов. Эти Советы вызывали некоторое недоумение: выходило двоевластие, даже троевластие, так как Николай II еще не был низложен. Только 2 марта он отрекся в пользу своего сына, но, когда к нему приехали депутаты [Государственной] думы Гучков и Шульгин, он и за сына отрекся. Вот слова отречения: "В день великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать Нам новое тяжкое испытание. Признали Мы за благо отречься от престола государства Российского..." Эти слова повернули рычаг России в иную сторону, совершив обрыв самодержавия царей и пустив плыть Русь по ветру с двумя рулями, так как 3 марта и великий [князь] Михаил Александрович отказался принять престол¹⁵¹.

Тогда сформировалось Временное правительство: вместо Голицына — Львов, вместо Беляева — Гучков, вместо Покровского — Милюков, Керенский — министр юстиции, Шингарев — внутренних дел, Маклаков — иностранных и т.д.¹⁵² 8 марта Николай II был препровожден из Могилева в Царское Село к арестованной же там жене. Он жил там с семьей под домашним арестом, работая мирно в саду. И этого недалекого человека-тряпку судьба поставила в цари!! Это была злая шутка случая.

Последовали реформы: 10 марта — 8-часовой рабочий день; 15-го объявлена независимость Польши; 21-го отменены национальные и вероисповедальные стеснения, теперь свобода в том и другом; а самое главное достижение — это отмена смертной казни. О чем думал наш царь раньше? Вспоминал бы знаменитые слова из Указа Петра I Великого: "А о Петре ведайте, что Петру жизнь не дорога, жила бы только Россия, ее слава, честь и благоденствие". А этих царя с царицей и приближенных обуял гартус — стихийное безумие, бывающее в монастырях и тюрьмах, повальное помешательство на Распутине, а не забота о России.

Боялись сначала мы анархии, но пока все благополучно: ни грабежей, ни насилий нет. Народ стал точно сразу культурнее. Все сияют, поздравляют "со свободой", целуются, как на Пасхе. Только и слышишь отовсюду: "С обновлением жизни поздравляю!" У всех красные бантики, розетки, цветы красной гвоздики в петличках. Это что-то небывалое! Какое бледное воспоминание встает о 1905 годе при настоящем ликовании. Это такое непривычное состояние: можно обо всем говорить, не оглядываясь, не боясь чужих ушей. Это какая-то фантазмагория, совершившаяся чуть не в три дня в феврале.

В воскресенье 26-го, понедельник 27-го и вторник 28-го события развертывались с удивительной быстротою, ум не успевал переваривать и усваивать одно впечатление, как подкатывало другое; душу волновало и изумление, и тревога, и обуревал тот восторг, который испытывался когда-то в молодости

при игнорировании опасностей. Не знаешь, что преобладало; тревога, радость или восхищение? В Николаеве даже, будто, городовые демонстрировали и кричали: "Да здравствует свобода!" Настал какой-то рай: и волки были сыты, и овцы целы, и даже волки превратились точно в овец. "Свобода! Свобода! Свобода!" Это слово было у всех на устах, при нем все страхи проходили; испытывали все какую-то легкость, как у птиц, точно выросли крылья и спала непомерно гнетущая тяжесть. Бедные мы! Непривыкшие к свободе, от души тогда ликовали.

На Пасхе пришел нас поздравить наш бывший раненый поляк. Такой наряженный, с красной розеткой в петличке. Мы его посадили угощаться за убранный цветами стол. Он нас поздравил со "свободами", а мы его с автономией Польши, так как все поляки о том только и мечтали; а этот удивил нас, выразив ненужность теперь отделения, ведь свобода как бы всех сравнивала. Вот до чего это слово тогда гипнотизировало. Это радостное время никогда, никогда не забудется.

Вся эта кутерьма, хотя и вышибла, конечно, Евграфа из ежедневной работы, но он все же продолжал заниматься с перерывами, но окрыленный надеждой еще больше сделать сделанного раньше. Он был жизнерадостен и доволен. За это время Временное правительство назначило комиссию для расследований злоупотреблений и хлопотало об Учредительном собрании. Были розданы листки для выборов, много было номеров, так как образовалось много партий. Кто был беспартийным, терялся в выборе их и шел ощупью, к какому берегу пристать, под чужим влиянием. Большевики не дремали и сильно агитировали¹⁵³.

Под конец Пасхи наши прислуги в компании с другими сидели на диванчике в садике во дворе Горного института. Вошел туда какой-то незнакомый им нездешний "чуйка", подсел к ним, заговорил, навел разговор на выборы и стал советовать опускать в урну N5 большевистский лист, так как он хлопочет об улучшении их жизни. Они смеялись, говоря, что им и так живется хорошо, а что билет они уже опустили, а не скажут какой, так как выборы тайные. Он сейчас же ушел в ворота. Вернувшись домой, они смеялись и уверяли, что много таких теперь бегают в хлопотах за N5, а на перекрестках митингуют и призывают: "Долой войну!"

Народ устал от войны, и это воззвание подкупало в их пользу. Прислугам писали из деревни, что и там идет повсюду сильная агитация. Свобода слова была полная. Мы не раз ходили слушать этих демагогов¹⁵⁴. Возможно ли было что-нибудь подобное прежде? Ни "кутузок", ни "фараонов" не стало. Удивительное было время.

Но в народе говорят: хорошенького понемножку. Так и вышло: в бочку меда попала ложка дегтя — это двоевластие, которое сначала недооценивали. Совет рабочих и солдатских депутатов во всем шел вразрез с Временным правительством. Оно решило во что бы то ни стало продолжать войну до победного конца. Немцы истощены, у них не хватает бойцов, и окончание войны было не за горами, а тут призывы от Совета за мир без аннексий и контрибуций, как бы в угоду не России, а Германии, и приказ N1¹⁵⁵. Приказ этот гласил, что выборные комитеты из солдат должны будут посылать своих представителей в Совет, подчиняться ему, Совету, при его разногласиях с военной комиссией правительства; лишать офицеров выдачи им оружия по их требованию и пр. и пр. Одним словом, лишил офицеров самостоятельности, а значит, и власти. А война-то ведь еще продолжалась, и эти изменения вводили в ряды сражающихся разруху. Этот приказ изумил общество, наделал много шума. Он ворвался, как режущий слух диссонанс в мелодию нашей теперешней идиллической жизни. <...> Начались хлопоты о восстановлении офицерских прав в войсковых частях.

В Совете преобладали меньшевики, и Керенский, настоящий военный министр,

вел переговоры с Сухановым, а Милюков — с Чхеидзе о создавшемся ненормальном положении. А тем временем солдаты стали самовольно возвращаться с войны. Лозунг "Долой войну" действовал, а офицеров сделали пешками.

3 апреля возвратился из Швейцарии самый ярый идеолог большевизма В.И. Ленин. С другими эмигрантами его толка его провезли в запломбированных вагонах через Германию¹⁵⁶. Удивлению и толкам несть конца. Стали ходить слухи, что все приехавшие — подкупленные Германией шпионы. Другие решали эту загадку иначе: Вильгельм переслал их в Россию, надеясь на гражданскую войну, которая отвлекла бы русских от Германии, немцев же он предохранил от их демагогии, запломбировав вагоны. Моя двоюродная сестра Соня, знавшая очень хорошо Ленина, воспитавшую его тетку¹⁵⁷ и всю его семью, заверяла, что этого ярого фанатика своей идеей социализма нельзя подкупить. Это его *idée fixe**, и вся его жизнь в ней. У нас же думали за войну о наживе, о социализме, о чем угодно, только не о России. Подрубали сук, на котором сидели, подкапывали корни того дуба, желудями которого питались.

С приездом Ленина пошла сильная агитация за большевизм. В это время все же шли выборы в Учредительное собрание и была надежда на него. Сам Ленин агитировал с балкона особняка на Каменноостровском пр[оспекте] балерины Кшесинской, которая умчала за границу. Набиралось его слушать много народу. Возбужденные жаркою, страстною речью толпы возвращались с песнями.

Публика останавливалась, дивилась и продолжала свой путь, плохо соображая, что происходит. Некоторые присоединялись к пению „Интернационала“, а другие орали, стараясь перекричать шум улицы: "Долой войну!" С одной стороны, бывало, дивишься на неустанную непрекращающуюся агитацию, а с другой — зачитываешься возвышенными ораторскими речами; это был как бы некоторый просвет для нас в надвигающейся грозовой туче большевизма. Вот тут и выбирай, или покоряйся року. Большевизм был нам непонятен.

В погожий день 1 мая помпезно праздновалась первая доступная маевка грандиозными манифестациями. Рабочие собирались порайонно, соединялись в условленном месте и шли на Невский. Некоторые пели: "Дружно, товарищи, в ногу!.." Один знакомый инженер, из простых, рассказывал, что он втесался в ряды шагающих рабочих, немного нарушив их, и опасался, что вызовет недовольство, но оказалось, что они приняли его даже приветливо, втиснув в свой ряд, и добродушно беседовали, хотя он был в форме. Право, это было замечательное по своему миролюбию время. Мы все наблюдали из окна это бесконечное, в полном порядке, торжественное шествие через Николаевский мост. Непривычно было видеть такое множество рабочих без суетящейся полиции.

А в начале мая на Невском выступили солдатские жены. Они требовали возвращения мужей с войны. В Таврическом дворце устроили общегородское собрание солдаток и образовали комитет. Правительство ликвидировало солдатские комитеты, так как они шли вразрез с ним относительно продолжения войны; оно старалось тоже прекращать на фронтах занятия политикой. А между тем Ленин в том же Таврическом дворце жаждавшим его увидеть работницам сказал свою пресловутую фразу, породившую много споров: "Я твердо уверен, что настанет время, когда каждая кухарка будет уметь управлять государством". Говорят часто: "О! Это тонкий дипломат!" Когда этой тонкости достигнет каждая кухарка, то едва ли Ленин воочию увидит осуществление своей мечты. "Мечты, мечты, где ваша сладость?" Может быть, кухарка и будет заседать и решать государственные вопросы, все теперь может быть, но только с чужого голоса, и будет, так

* Навязчивая мысль (фр.).

сказать, плясать под чужую дудку, или она будет тогда уже не кухарка. Все это пересуживалось на разные лады. А время шло и шло. А что оно несло нам?

Это лето нам удалось еще провести в Териоках, но уже не с прежними удобствами и благодушием. В продуктах и здесь все ощутительнее начала сказываться нехватка. Хвосты у лавок росли. Жене и прислугам приходилось уж каждодневно дежурить, заменяя друг друга. Иногда даже и Евграфу. Все это лето наше благодушие нарушалось неблагоприятными известиями. Так, образовался в июне уже съезд рабочих и крестьянских депутатов¹⁵⁸, 6-го [июля] была разгромлена редакция большевистской газеты "Правда". На другой день арестовали Ленина*; 11-го разоружили рабочих; 18-го узнали о неудачах на фронтах¹⁵⁹. Вообще стало неблагополучно: идет братание с немцами, дисциплина нарушена; 25-го — съезд большевиков¹⁶⁰; 30-го бывшая царская семья переправлена в Тобольск в ссылку. Видима перемена ветра теплого, ласкового, южного на суровый северный, вызванный большевиками.

3 июля в Петрограде было выступление рабочих и солдат с требованием: "Вся власть Советам!" А 4-го уже подавлено казаками и юнкерами. Было и кровопролитие.

Хоть и не каждый день приносил новости, приводил в изумление, но покой и мир уже нарушен. 12 августа всеобщая забастовка. Почему? Зачем? Чем недовольны? Не понимали тогда. А в Москве Государственное совещание. На нем громом аплодисментов был встречен Корнилов, известный по своей храбрости и беззаветному патриотизму генерал, назначенный Керенским главнокомандующим. Гегечкори жал ему руку, Бубликов — тоже, от лица всего торгово-промышленного класса¹⁶¹. Большевики не допустили в собрание, так как они сначала хотели бойкотировать его, а потом решили послать членов-делегатов от их ЦИК передать только декларацию. В ней говорилось, между прочим: "Пролетариат не допустит торжества буржуазных насильников. Он доведет революцию до конца и обеспечит крестьянам землю, народу мир, хлеб и свободу". Ах, как хорошо! Чего бы кажется лучше! Ах! Кабы их устами да мед пить! А другие говорят: "А как наобещают, да покажут фигу? Не остаться бы при печальном интересе, поверив". Всякий мыслящий человек немало призадумывался над этим.

Все дачники бросились в город, вагоны шли переполненными, а лояльные финны точно издевались. У нас, приняв корзину в багаж с выкормленными нами курами, не предупредив, на пути конфисковали.

27 августа весь Петроградский район был уже на военном положении. Министры-кадеты подали в отставку. Корнилов было собрался идти на Петроград против большевиков и Советов, и вдруг услышали, что Корнилов объявлен Керенским изменником и арестован¹⁶². Корнилов опубликовал обращение "Ко всем русским людям". ЦИК большевиков обратился с воззванием к народу не повиноваться Корнилову и его помощникам Крымову и Деникину. Вся наша армия деморализована. Она воевать не желает, а Корнилов, желая продолжения войны, собирался вводить дисциплину. Но узда уже сброшена, и одичалому коню неумоготу залезать опять в нее.

Не поймешь, что творится в этой борьбе за власть. "Паны дерутся, а у быдла чубы трясутся". Нет уже того лучезарного выражения глаз и лиц, их сменил озабоченный вид, экспансивность исчезла, все, как улитки, вошли в себя, точно испугались грядущего. А события разворачивались и поражали смелостью и стихийностью. 6 сентября Россия провозглашена республикой¹⁶³. 6-го Государственная дума распущена; 1-е заседание Совета республики, а на нем большевики потребовали власти Советов. 16-го опять вооруженное выступление рабочих

* Автор ошибается, это были только слухи. — *Примеч. сост.*

за власть Советов; и рабочие делегации на Демократическом совещании требуют власти Советов¹⁶⁴.

16-го — это день моих именин, и я еще получила коробку кондитерских конфет, и мы еще сыты. Разговоры идут уже часто шепотком. Странная неразбериха какая-то. С одной стороны, кажется, что еще надо? Свободы достигнуты, значит, строй свою жизнь как тебе надо, на Учредительном собрании решай это, как угодно, выборы в него уже состоялись. Нет; с другой стороны, желают иначе мыслящие устроить эксперименты теории Маркса, и идет смута. Большевизм — это пугало, как нянькина "бука", пугает всех своей гражданской войной. Если верх возьмут большевики, то добытую бескровно свободу и мир заменят потоки крови, думали все с ужасом. Кровь претит, чья бы то ни была, нормальному человеку. Керенский теперь пешка, предав Корнилова, он утерял заручку и свой престиж.

Я учение Маркса не одолела и только слушала споры по поводу классовой борьбы. Одни говорили, что он предписывает бойню, а другие уверяли, что только идейную. Он жил 110 лет тому назад*. Нервы людские тогда были крепче. Вон рыцари все время выпускали себе кровь, и даже дамы их сердца не смущались при виде ее. Социализм — гуманное учение, кровь его пачкает и искажает. Чистое дело не делается грязными руками. Говорилось, обсуждалось. А события, нас не спрашиваясь, шли да шли своим чередом.

Как всегда: иллюзии гибнут, факты остаются, так и теперь. Знакомые нам советовали деньги от продажи имения, положенные в банк на дочерей, перевести за границу, но мы в порыве благородных чувств, не желая финансового подрыва революционного правительства, оставили их в российском банке, где они и пропали. Со знаменитого большого леса тоже ни копейки не получили: как слышали, его вырубил и сплавил в Германию немцы. М.М. Езерский стал нам недосыгаем за границей России, и с него взятки гладки. "Не нами нажитое — не жаль", — уверял Евграф.

17 октября как раз 12-летняя годовщина дарования в 1905 г. конституции, тогда на другой день толпы кричали: "Манифест! Манифест!" И пели "Марсельезу". Какая смелость! А Бауман, мчавшийся с красным знаменем, был убит ломом. А сейчас в 1917 г. — 1-я Всероссийская конференция в Петрограде фабрично-заводских комитетов¹⁶⁵; 25 октября образовался Совет Народных Комиссаров; 26-го было первое заседание ВЦИК; 27-го в Москве революция¹⁶⁶.

Вечером наблюдали из окон на далеком горизонте вспышки снарядов и небольшое зарево. Это далеко, где-то у Гатчины, идет жаркий бой Керенского и Краснова с большевиками. Уханья пушек не слышно, но при мысли, при одной только мысли, что там идет брат на брата, только инакомыслящего, сердце щемит и ужас берет. Большевики, однако, брали на свои плечи громадную ответственность. Для этого нужна большая смелость, захватив права, переделать совершенно заново жизнь на Руси, веками сложившуюся. Справятся ли? Но это, видимо, люди дела, ни перед чем не останавливающиеся. Материалисты. Замолкли блестящие речи, которыми мы зачитывались даже последнее нудное время. Вот последняя ласточка — речь Коновалова, министра торговли и промышленности Временного правительства: "Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов?.. Я жалею, что не умер два месяца назад: я бы умер с великой мечтой, что раз навсегда для России загорелась новая жизнь, что мы умели без хлыста и палки уважать друг друга и управлять своим государством не так, как управляли прежние деспоты! Государство не может взять на себя обязательство предоставить рабочему классу исключительно привилегированное положение". А теперь к тому клонится.

* Так в рукописи. Годы жизни К. Маркса 1818—1883. — *Примеч. сост.*

Ночь на 28 октября мы не могли спать, вспышки все продолжались. А на другой день взбудоражило кровавое восстание юнкеров. Этих мальчиков осадили в юнкерском училище и расстреливали, как зайцев. Рассказы об их похоронах с массой венков вызывали жалость, сложился романс в их честь о гибели такой юной жизни. 29-го войска Керенского были разбиты большевиками. Гатчина взята ими. Краснов арестован, а Керенский бежал. На другой же день вышел декрет о создании рабочей милиции. С 1 ноября все пошло по-новому. У нас арестован студент А. Он не догадался держать язык за зубами. Бразды правления перешли в ВЦИК с председателем Свердловым. Мы не большевики, но я рада была, что бойня кончилась, и довольна, что Керенский унес ноги живым, хотя его ореол уже давно угас.

Надо правду сказать. Все, даже старики, жаждали переворота, перемены царского режима, но боялись эксцессов и, когда произошла революция так быстро, почти без крови, то всех, всех обуяла радость. Ясным изнутри светом озарились глаза и преобразились лица, одухотворились как-то. Решили, что народ рад. И вдруг грянул гром из большевистской тучи и, как пораженные им, все остолбенели и, в зависимости от перипетий борьбы, стали медленно приходить в себя в застилавшем еще их глаза тумане; заговорили, заспорили и вкривь и вкось, понимая только одно: жизнь опять изменяется и требует приспособления к не известному еще никому чему-то новому. Живи и жди. Однако на всякого мудреца довольно простоты. Так и Карл Маркс ошибся: не любя и игнорируя русских¹⁶⁷, упустил из виду, что задавленный рабством народ скорее ринется на свободу, с ожесточением разрывая все пути, почуяв ее и имея малейший выход из затягивающей его петли.

Преимущество большевизма перед демократией¹⁶⁸ сразу трудно было осознать. Он был такое новшество, не испытанное еще ни одним народом, и требовал потому много экспериментов и слепой веры в себя. Нам неоткуда было ее взять. Народ пошел за ними. Мы, беспартийные, решили разделить участь народа нашего, хотя Евграфа всегда больше чтили за границы как ученого. Все лезли в голову стихи А. Толстого:

**Кабы Волга-матушка да вспять
 побежала,
Кабы можно, братцы, начать жизнь
 сначала!**

25 ноября уже началась демобилизация старой армии, эксцессов которой так все опасались. А на румынском фронте только перемирие. Провозглашаются декрет за декретом: об отмене сословных привилегий, о суде. Окружного суда здание сожжено, горят участки, городские и офицеры разоружены, нижние чины осмелели и самовольно бегут из армии на родину на буферах, на подножках и крышах вагонов, где их сметают перекладины больших мостов. Их много гибнет. Идут аресты. Министры [Временного правительства] сидят в крепости, а царских князят.

Мы уже вступили в новую фазу жизни. Эта фаза была для нас точно уравнение с несколькими неизвестными, со сколькими — тоже неизвестно. Невесело. Большевики нас дивили своею самоуверенностью и храбростью ни перед чем не останавливаться и казались людьми теории без души. На каком основании мы должны были им верить? Мы оба, беспартийные, — эволюционисты, были за социализм, эксперименты же их приводили к опаске: не попасть бы с ними к Вильгельму в лапы.

В Москве подавлено начавшееся против большевиков восстание белогвардейцев, так они называют своих противников. Наших раненых точно кто подменил: вместо симпатичных, добрых, деликатных людей, явились дерзкие, картежники, которые на ночь убегали из лазарета, стаскинувшись со служителями Горного. Самовольство полное, и сладу с ними не было. Они чуть не убили старшую сестру.

Все добровольные сестры ушли из лазарета. Женя даже плакала от оскорбления. Они приняли ее за фискалку. Да и все стали какие-то злющие.

Евграф пошел как-то на почту. Какой-то гражданин мел панель и ворчит на проходящих; когда же Евграф возвращался с почты, то метельщик грубо закричал на него: "И чего этот хрыч тут шляется взад и вперед, я вот те метлой так садану, что..." Евграф, не дослушав, поторопился убраться. Отправилась я с Евграфом как-то пройти по набережной и посмотреть, что творится на белом свете; встретили студента А. в воротах, только что выпущенного из-под ареста. Причина ареста ему осталась неизвестна, но еще раз испытать он не желал бы того же, так как в небольшом помещении какого-то темного подвала в Смольном их было набито, как сельдей в бочке, и они задыхались от недостатка воздуха. Пошли мы по набережной. На 19-й линии грузовик, на нем пулемет, направленный на набережную. Студенты встречные предупреждают Евграфа: "Что Вы делаете! Идите скорее обратно!" Нам и свет Божий стал не мил и засели дома опять.

18 декабря отделилась Финляндия от России, и там, слышали, идут большие беспорядки, громят дачи русских. Из-за царского режима и всех русских все ненавидят. Это лето, верно, не ехать туда.

Уже развеивается красный флаг, а красные матросы — эмоциональная вольница — проявляет бесшабашное самоуправство по квартирам под предлогом обысков. Некому жаловаться, и сопротивляться невозможно. Они теперь господа положения. Убивают своих начальников. Облетели цветы, догорели огни нашей идиллии — свободы. Пошел развал — кто палку взял, тот и капрал. Так, в крепости убиты два министра Временного правительства: доктор А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин, депутаты последней Государственной думы, члены Учредительного собрания. Убиты они оба в своих одиночных камерах¹⁶⁹. Значит, и вход в крепость матросам свободен? Почему из министров Временного правительства убиты эти двое? Корнилов успел бежать на Дон, где впоследствии убит большевиками¹⁷⁰. Чего-чего только мы не наслышались тогда, и многое на ушко. Кому охота была попасть в смрадную кашу подвала Смольного?

В Горный часто стали присылаться анкеты. Каждый профессор должен был заполнять целые листы параграфов. Главное, какого происхождения, чуть не до пращуров. Пролетарскому отдавалось преимущество. Ценился человек не сам по себе, а по происхождению. Евграфа это раздражало: "Есть мне время заниматься подобными пустяками! Я потерял счет своим работам, они так разбросаны, что я их и сам не соберу. Какое им дело, кто были мои предки? Я теперь самостоятельная единица и за поступки своих предков не ответствен. На какие пустяки я должен тратить свое время в угоду какому-то бездельнику, не жалеющему времени на подобные глупости". И не писал. В канцелярии к нему приставали и не знали, что делать с незаполненной анкетой. Я предложила было ему свои услуги, тогда он совсем начинал сердиться: "Меня какой-то болван хочет заставить ходить по жердочке ему в угоду, так ты хочешь ему помочь сделать из меня шута горохового?" Так и не записал ни одной.

Творилось рядом нечто великое и смешное. Пришла нас как-то навестить наша прежняя прислуга. Стояли все мы среди гостиной, она и говорит:

— Что же, теперь и мы, все простые, заживем в таких же хоромах?

— Залетела ворона в чужие хоромы! — захохотали другие прислуги.

— Едва ли. Скорее все одинаково потеснимся, — сказала я. Потом как-то мылась я в ванной, приходит прислуга Анисья. Воспользовавшись, что мы одни, тихонько спрашивает:

— А что, барыня, правда ай нет, говорят, что Бога нет и все теперь можно делать?

— Ну нет, хотя бы и не было Бога, а делать всего безнаказанно нельзя; тебя просто засудят.

— Ну, человек-то пока доберется еще, а Бог-то сейчас все увидит, — возразила Анисья.

Религия — это моральная узда.

Теперь только один снег пользуется свободой. Зима снежная, намело сугробов до того, что на панелях не пройдешь, они — как окопы. Вышел приказ, чтобы из каждой квартиры по человеку выходило по нарядам на уборку снега вместо дворников; и вот такие приказы были вручены и профессорам Горного. У нас пришлось идти Жене. Она небольшого роста, субтильная. В этот же наряд попал юноша Толя, хрупкий, как жердочка, тонкий, бессильный, и наша милая фельдшерница Прасковья Степановна, которой место в амбулатории, а не за чистой улицей следить.

Выходил курьез, какое-то издевательство. Кабинетные сторожа и дворники некоторые потешались, а другие жалели. Лопаты тяжелые. Женя с Толей еле ее одну поднимали, а со снегом и поднять не могли, а требовалось его сбросить на высокие сани. Вместо снега ее самое отбрасывало в сторону. Ей было не по силам это сделать. Мы смотрели из окон и дивились с прислугами, они не решались помочь, боялись придирки. Порывавшегося было Евграфа я удержала — у него же было расширение сердца. Наконец добрая душа, альтруистка Прасковья Степановна, суевившаяся, старалась помочь обоим, но сугробы не убывали. Тогда она догадалась дать Жене лом. Он сам от тяжести колол заледеневшее пространство.

Разговоров и рассказов про эту выдумку было много. Выдающиеся певицы тоже попадали в наряды с опасностью потерять чудные голоса. Одной из них пришлось работать на Александровском мосту в пургу и сильный ветер. Она выбивалась из сил, ее хотели заменить ее поклонники, а надсмотрщик, истинный пролетарий, не позволил. Пианистки замораживали пальцы. Вот какие происходили дела под громкими возгласами: социалистическое уравнивание в правах. Многие это считали за издевательство над интеллигенцией. Приходили наши даровые дворники голодные и усталые, а еда-то плохая и не обильная. Деньги были, а купить нечего, продуктов все меньше и меньше, началось недоедание. Анисья от голодовки уехала в деревню, а Катерину приезжали родные уговаривать уехать, да ей жаль было пока бросить нас.

Прошел и первый день нового 1918 года невесело. Вышел декрет о гражданском браке. Декрет об учреждении революционного трибунала поднял немало шума, особенно когда происходил суд над известной Паниной, учредительницей Народного дома, благополучно существовавшего и при царском режиме. Большевики все учреждения конфисковали. Газеты нам не дали возможности точно уяснить, в чем была вина Паниной, что нашли необходимым судить такую почтенную особу и к тому передовую, а не ретроградку. За неимением судебного здания использовали конфискованный дворец бывшего великого князя Николая Николаевича¹⁷¹.

В январе было покушение на Ленина. В "Правде" прочли: "За каждую голову наших (т.е. коммунистов) они (кто они?) будут отвечать сотней (сотней!) голов своих". Первый номер газеты так поздравил общество с Новым годом.

С самого января пошли один за другим декреты. Публика не успевала приспосабливаться, даже обсудить первого, как рождался другой, нас гнали, спеша, к чему-то для нас неизвестному. Так, сыпались декреты: о новом правописании. Еще при царе поднимался и обсуждался этот вопрос, и Евграф участвовал тоже в этой комиссии, но "ъ" умер только сейчас, при большевиках. Это показало, как сильна рутина и как трудно расставаться с навыками, и потому мы думали, что нелегко большевикам будет справляться с окостенелым тысячелетним укладом. Пережить надо года и года для переделки и экспериментов.

Признаться надо, что несладко быть объектом экспериментаций. Новые декреты весь наш уклад жизни переворачивают наизнанку. Нравится, не нравится, бери что дают—и берем, стараемся приспособляться, недовольные бойкотируют

власть и платятся. Множество ушло за границу, особенно когда большевики разогнали открывшееся такое желанное Учредительное собрание с нежеланным председателем Черновым. Сила солому ломит, а "Учредилка", по-большевистски, вышла хрупкой соломинкой, не в состоянии была за себя постоять. Большевики, не дремля, воспользовались ее слабостью и выбрали сами себя¹⁷². Устроили 3-й съезд Советов под девизом: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Провозгласили Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику — Р.С.Ф.С.Р. и объявили диктатуру пролетариата. Самое слово "диктатура" уже исключает слово "свобода". Вот до чего дожили! Еще до чего доживем?

Мы не только с любопытством, но и с интересом и с ощущением тревоги наблюдали все происходящее. Всякий призадумается над этой новой властью немало. Одно слово "диктатура" — неограниченная власть — пугает, да еще голодного пролетария. Очень хорошее правило древних вспоминали: "Не удивляться причудливым гримасам жизни". Напрасно, легко это только сказать! Конечно, переживали интересный, необыкновенный период жизни, но уж больно он нас захлестывал, беспощадно, до самой смерти даже многих. "Не может сердце жить покоем", — утверждал Блок. Ну нет, без отдыха организму нельзя работать, и сердце, без отдыха работая, тоже начинает страдать, особенно при нашей голодухе оно сильно слабеет, быстрее устает, требует большего покоя, а жизнь требовала нынче большой работы. Теперь у многих появилась его слабость. У Евграфа опять его расширение.

И последняя наша прислуга уехала от голодухи в деревню и нам приходится все самим делать без помощников к, конечно, сильно устаем.

В Венгрии тоже Советы¹⁷³. Восьмого февраля вышел декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. По новому стилю февраль, а у нас настоящий январь. 10-го объявлено прекращение войны — срам для России — позорный Брестский мир. Радуемся только одному, что он был еще не подписан с Германией¹⁷⁴. Дивились, и брала бессильная злоба. А декреты валяются, как из рога изобилия: об аннулировании международных займов (Россия стала злостным банкротом), декрет о социализации земли. Давно уже неслись слухи о разгромах помещичьих усадеб. Писали нам, что творилось по деревням. Вот, например, такие необъяснимые безумства народ проделывал: двухэтажные каменные дома разбирались по кирпичикам; кирпичи старинные, крепости необыкновенной, разбирались старательно на мелкие кусочки, чем засорялась земля, деревянные части сжигались, фруктовые сады и столетние парки вырубались, породистым лошадям распарывали животы, и окружающие люди-звери гоготали, глядя как несчастные животные в смертной тоске носились, наступая и путаясь в своих же внутренностях, падали.

24 февраля все же таки принят злополучный Брестский, такой позорный мир с Германией, а 3 марта даже и подписан. 7-го образовался III Коммунистический Интернационал. 8-го [марта] большевики переименовались в коммунистов, переехали в Москву и древняя столица превратилась в новую¹⁷⁵. А тем временем союзники победили и оккупировали Германию без нас. Мы умыли руки. В апреле немцы, ничем не сдерживаемые, и, должно быть, вообразив себя нашими победителями за наше такое необыкновенное к ним миролюбие, не постеснялись и преспокойно заняли Харьков. Однако большевики пошли на выручку. В апреле тоже десант англичан на Мурмане, а японцы во Владивостоке. Большевики занялись разоружением анархистов; везде кровопролитие, и знаем случаи, когда убивали, не познав своя же своих.

За это время много пропало без вести молодых людей в разных местах. Пропали и два племянника Евграфа: один учитель, а другой доктор. Последний впоследствии нашелся на границе Китая. Он как полковой доктор не имел права самовольно бросить полк, а попав к большевикам, испытал немало, когда его гнали по этапу. Во время пути он перехворал сначала сыпным тифом, а

потом возвратным. Приходилось лежать ему только при остановках партии на отдых. Крепкая натура выдержала эту каторгу. Его, в виде испытания, заставили работать на сыпняке в Красноярской больнице, откуда он и дал знать о себе родителям.

Вышел декрет о национализации внешней торговли. Каждый месяц дарится нам по декрету, а то и по несколько. Так, в мае вышел декрет о взяточничестве; взятка, та давнишняя воспитанница России, не испугалась большевиков и расцвела пышным цветом. Ну, конечно, рядом с этим декретом вырос и другой: об инспекции, декрет об единой трудовой школе, о совместном обучении, национализации крупной промышленности.

Декреты декретами, а наш добродушный, самоотверженный, выносливый, уживчивый народ в гражданской войне, сорвавшись с цепи, точно озверел. Начались ужасы нашей жизни — эта гражданская бойня. Какая война!! Уж коли Плеханов в разногласии с Лениным, то где же уж нам была бы возможность разбираться в этом хаосе. Право строить жизнь Руси перешло к рабочим. Мы утратили равновесие, наш прежний относительный покой. Нас угнетала братоубийственная война, хотя революций еще не бывало без крови, огня и жертв, но равнодушно к этому все же относиться нельзя.

На месте бойни, в пылу озлобления с идеалом чего-то высшего в душе, с сознанием своего права, может быть, обретают даже радость и потому легко убивают себе подобного, иначе только мыслящего. Нас же все время берет отчаяние, когда приходится отовсюду слышать, что столько-то изрубили, повесили, потопили, сожгли живьем, закопали живыми и т.п. Ужасно! Ужасно! Какие нервы нужны, чтобы не волноваться при этом?! И вот ходит, бывало, Евграф по своей анфиладе комнат, тербит бороду, хватается за голову, повторяя: "Ужасно! Ужасно! Кабы хоть иметь уверенность, что это приведет ко благу народа!" Где же благо народа? Только и было утешения, что эта бойня не может же вечно продолжаться, она временна. А что невременное нас ожидает? Может, еще перманентная революция, борьба разных партий? Французская революция тянулась немало лет, уничтожая людей то одних, то других взглядов.

Оптимисты утешали: "Поверьте, русский народ живуч, уж коли он скинул с плеч монгольское иго, поляков и теперь царя, то не пропадет". А один даже картинно выразился: "Народ наш — народ труда, всю муть смоем, и она схлынет с прозрачных, чистых вод русских душ, и они воспрянут". Пессимисты же мрачно смотрели вперед: "Большевизм — танк, давящий беспощадно все встречающееся на пути и мешающее его прохождению". А мне думалось: эта высшая форма жизни — коммунизм — возможна тогда, когда человек станет сверхчеловеком, т.е. будет думать больше о ближнем, чем о себе. Что-то будет?!

Примешивалась забота и о распадении России. Ее живо растащили бы на куски. Все поглощены политикой и изысканием всевозможными способами продуктов питания. Но это все ту же и ту же приходится, желудки чаще напоминают о себе.

А природа нам приветливо улыбается. Май благоухает. В ушах назойливо поет куплет романа: "Вновь настала весна, льют цветы аромат. Тихой ночью не до сна: муки душу все томят". Вся природа ликует. Вся тварь радуется своему существованию и спешит выполнить закон природы — продолжение своего рода. Быстрые ласточки будут носиться стрелами, спешить, хлопотать о новом поколении. А человек? Что за творение человек? Где его радости жизни? Все его не удовлетворяет. Вечное искание лучшего и разочарование. Часто теперь слышишь: "Буржуазия пользовалась жизнью, мы также хотим ею пользоваться". Ошибочный взгляд на буржуазию: редкие из них пользовались жизнью в чистом понятии о настоящей жизни. Это были мученики наживы, проводящие все дни в конторах, на бирже, развратничающие зачастую, перепадающие до ожирения. И это носит название "пользоваться жизнью!" Какой абсурд! Счастье жизни в здоровье, в любимой работе, в творчестве, в спокойной совести и т.п., и не в нужде.

Териоки для нас теперь недостижимы. Графчик приглашает нас в Павловск к себе. Там ближе деревни, легче пропитаться. В конце мая мы собрались туда. В это время беженцам было разрешено возвращение на родину. Михалина Ивановна тоже собралась домой к отцу в Клобины. У нее набралось немало поклажи, а извозчиков нет, все разъехались по деревням, ликвидированы все выезды. Затруднительное наше положение, наконец, было разрешено: за плату нам одолжили казенную лошадь с платформой. На ней превосходно весь багаж разместили, как пуфы и табуреты для нас, мы по лесенке взобрались на платформу и расселись, как на балконе. Евграф отправился искать трамвая.

Такое наше необычное путешествие смешило всех встречавшихся, а Михалина Ивановна — нас: "Я буду рассказывать дома, что теперь пани директорова ездит на платформе для багажа, вместо фазтончиков клобинских". Она была весела, что скоро увидит родителей и вырвется из тисков голода. С высоты платформы была видна даль пустынных улиц. Эта пустота бросалась в глаза. Петроград точно вымер: ни людей, ни лошадей. Только пересекая Большую Морскую*, по торцам, гулко стуча копытами, пронеслась породистая лошадь в красивой упряжи. Кто сей муж, восседающий на блестящей пролетке? Все мы решили, что это не буржуа, их уничтожили, иные бежали за границу, иные притаились и так уже не решаются выехать. На Царскосельском вокзале мы распрощались с Михалиной Ивановной и ее братом навсегда. Мы ей оказывали гостеприимство в течение трех лет.

В Павловске встретивший нас на казенной лошади Графчик прокатил меня с Милой по парку. После Петрограда мы наслаждались прохладой, вдыхая жадно ароматный воздух. При квартире Графчика огородик — это было большое подспорье в эту голодную пору.

Большевикам не приходится дремать: в Челябинске взбунтовались пленные чехи и словаки¹⁷⁶; в июне открылся Союз защиты родины и свободы, он объявлен контрреволюционным; убит Володарский — редактор "Красной газеты". За границей тоже неспокойно: в Вене и в Чехо-Словакии восстание. Июльские газеты заполнены речами на Всероссийском съезде рабочих, солдатских и крестьянских депутатов¹⁷⁷. В Москве прихлопнули протест эсеров. Многие социал-революционеры переходят в коммунистическую партию.

В июле пришли известия о смерти Мечникова, достигавшего продления жизни, об убийстве в Москве немецкого посла Мирбаха и об убийстве в Екатеринбурге всей царской семьи. Подавлено, наконец, упорное Ярославское восстание. Повсюду льется кровь. Правду говорил Евграф, что не то еще будет, когда я радовалась прекращению боя с Керенским, и что это только начало. В довершение всего в августе Архангельск заняли англо-французские войска, бывшие наши союзники, теперь враги наши¹⁷⁸. Генерал Деникин взял Киев. Ленин ранен двумя пулями какой-то женщиной Каплан, и в тот же день убит Урицкий, председатель Петроградской Чрезвычайной комиссии.

Мы лето прожили недурно в Павловске; получали по карточкам хлеб, кету и селедочку, кое-что раздобывали и в деревнях. Здесь у всех семейств козы. Благо здесь много травы, и, куда ни пойдешь, везде козы пасутся, они сытее нас. Здесь тоже много травы *Aegopodium podagraria* (сныть). Она съедобна, и мы с мукой из нее делали лепешки. Женя из подсолнухов стряпала пряники, хотя сахару не было уже давно, чай пили с молоком, без него. В огороде было много ягод, а варенье сварить было не на чем. Жили мы без прислуги.

У нас было разделение труда. Евграф взялся ставить самовар и аккуратно, по часам, исполнял свою обязанность без ропота; хотя от неудовлетворительного питания и от долгой физической работы, такой, как пилка бревен на дрова

* Ныне улица Герцена. — *Примеч. сост.*

и колка дров, работы на огороде, все переутомлялись, становились неврастеничны, нетерпеливы и быстро раздражались. Только, бывало, уберем кухню, ни соринки, а Евграф опять со своим самоваром насорит. Убирая, иногда наворчишь на него. Он терпеливо сносил: "Что ж, справедливое ворчанье". Но вот раз вышел из себя, оставил колоть щепки и, сказав: "Ставь сама", — ушел, засел за свой загроможденный книгами и бумагами стол у открытого окна и занялся своим, более ему подобающим делом. Я поставила самовар, скрепя сердце, так как была уставшей от другого дела. Вообще мы тогда все с утра до вечера были на ногах. Катя, Графчик, Женя и все прочие здешние жители, кроме стариков, шли после службы работать на общественные огороды. Неприятны были только ночные дежурства под осень; а то все загорели, окрепли даже телом. На другое утро Евграф сам поставил самовар, а когда я ему сказала: "Я ведь знаю — ты ушел вчера вовсе не из-за моего ворчания, а потому, что тебя тянула неведомая сила к твоему столу", — он смеялся.

Вот уже и сентябрь, пора восвоися, но там чем мы будем питаться? Евграфу нужно было раньше выехать. Погода чудная, и мы еще остались. Катя закупила сено для двух коз на зиму и, не зная, куда его девать, ввиду скорого отъезда Евграфа, заполнила им угол комнаты Евграфа. Переночевав с этим сеном, Евграф утром почувствовал себя дурно, уверяя, что он ничего не соображает и даже ему трудно связывать слова и мысли. Мы все перепугались, усадили его на воздух, не зная, что предпринять. Я боялась кровоизлияния в мозг. Но оказалось, это он только угорел от душистого сена. Ему стало лучше, и он вечером уехал в Петроград.

Вернулись мы в обширную нашу квартиру, она нам стала в тягость, уборка ее при кухне внизу, при дежурствах в хвостах у лавок, при ходьбе за обедами в общественную столовую утомляла. Ближайшая столовая была плохая, пришлось ходить далеко. Сначала давалось два блюда: водянистый суп и каша без масла. Потом стали давать один суп-бурду. Изредка выдавался сахар. Его ничтожное количество раскалывали на малюсенькие кусочки, и потому у каждого в кармане находилась маленькая коробочка с этими кусочками, чтоб в гостях пить чай со своим сахаром. Евграф был сладкоежка, и для него недостаток в сахаре был большим лишением. Наши запасы приходили все к концу.

В припасенной мною для Евграфа баночке с притертой пробкой с сахарным песком образовались друзья кристаллов (должно быть, песок был сырой). Евграф за это время работал над кристаллохимическим анализом, и химики ему передавали неизвестные ему кристаллы для определения их химического состава. Я преподнесла ему другу сахара, а когда он определил, то подарила ему всю банку для употребления с чаем, но он так заинтересовался этими кристаллами, что не кушал их, брал только понемногу для исследования и просил баночку с ними сохранить, как они есть.

Жизнь же становилась все труднее и труднее, обстоятельства менялись, выбивая Евграфа из колеи научных занятий. "Не хлебом единым жив будет человек!" Мы же хлебом только и живы. До духовной ли пищи теперь, когда в желудках пусто, музыка играет и спазмы хватают? Для Евграфа это было невыносимо.

Даже из-за границы шли сенсационные слухи: так, в октябре прочли в газетах о революции в Австро-Венгрии. Из тюрьмы там освобожден Карл Либкнехт — кумир коммунистической молодежи. Революция в Будапеште. В ноябре революция в Киле; забурлила и Германия; стачки в Гамбурге. 9 ноября, наконец, перемирие на западном фронте и отказ Вильгельма II от престола в Германии — событие большой важности. В Мюнхене образовался Совет; Роза Люксембург выпущена из тюрьмы. В это же время и австрийский император отрекся от престола. Саксония, Баден, Вюртембург тоже стали советскими республиками¹⁷⁹. Точно эпидемия какая на всех напала.

Наш ВЦИК воспользовался и аннулировал позорный Брестский мирный договор с Германией. Союзники оккупировали Австрию; в Латвии — демократическая республика¹⁸⁰. А у нас в Омске диктатура Колчака. Он морской офицер, патриот. Ему, видно, тоже головы не сносить, как и Корнилову, который убит на Дону, куда бежал. Вот какие события совершались в эти два месяца быстро друг за другом.

Евграфом все это принималось близко к сердцу. Его всегда привлекала и интересовала Германия, где прежде всех и его оценили, поняв его работы. "Не знаю, не доживу я, должно быть, до дальнейших великих событий, но и тому несказанно радуюсь, что умер немецкий милитаризм раньше меня; но такие события, видишь, не даются даром, а требуют миллионов жертв".

Вышедший в декабре декрет о социальном обеспечении трудящихся навел Евграфа на мысль о семье и наваял заботу, особенно о Миле, которая от слабости уже не вставала с кровати, такое у нее было истощение от недоедания, а оно все больше и больше усиливалось. Евграф тоже начал сильно слабеть. Отобедав жидким непитательным супом из столовой, выходил из-за стола со словами: "А я, кажется, если б еще столько же съел и то был бы голоден". Но он всегда умеренно ел. Что делать? Деньги есть, а купить нечего и негде. Хорошо еще, что Катерина от времени до времени привозила масло и крупу из Вологодской губернии.

При виде Милы я думала с горестью: Евграф от радости начинает оправдывать и миллионные жертвы при уничтожении немецкого милитаризма, но история не стоит, он может народиться со временем опять и опять, если не в Германии, то в другой стране, тут надо нечто другое. И вот человечество мается, пока не дойдет до решения этой задачи.

В декабре как-то приходит Евграф, садится на кресло подле дивана, где я всегда работала, и говорит: "Вот я всегда тебе говорил, что наша Академия наук — богадельня. Когда я был молод, полон сил, кипел, горел, пылал жаждой деятельности, когда силы били через край, но применить вполне я их не мог, как ты знаешь, из-за неимения под руками нужных материалов, приборов, инструментов и средств, тогда Академия предпочла выбрать Еремеева, а позже косвенным образом выперла меня под видом разных условий и разговоров. Ну, ты это все знаешь. Она меня не одного так обошла; я в выдающейся компании Менделеева, Сеченова; даже за границей Гельмгольц, открывший закон сохранения энергии, рассказывал, что Академия наук назвала этот закон бессмысленным и пустым умствованием. А сейчас, когда я только тлею, еле таскаю ноги от голода, меня приглашают в академики. Я не сказал ни да, ни нет пока — хотел посоветоваться с тобою. Лично я отказался бы из-за потери сил физических, хотя умственной энергии у меня еще много. Но, скорее всего, меня хотят облагодетельствовать пайком, который выдается академикам, и я предполагаю, что об этом хлопочет добрая и справедливая душа С.Ф. Ольденбург, хотя он и раньше заботился о моем избрании, как ты знаешь, и, кажется, понял меня; но одна ласточка весны не делает. Ну, вот, подумай и обсуди, как мне целесообразнее поступить? Если бы моя умственная энергия пропала, я без сомнения, отказался бы сейчас же". Он встал и начал ходить взад и вперед по спальне.

Грешница я! Но да будет мне извинением мое голодное удрученное состояние и невыразимая жалость к бледному, ослабшему Евграфу, я в своих думах ухватилась прежде всего за паяк, он прельстил меня до такой степени, что в сравнении с ним мне все-все показалось сущими пустяками: и гонор Евграфа, и дума его о пользе науки, и сама Академия без паяка мне стала лишней. Он засиял мне, как маяк спасения. Одно желание во мне преобладало: спасти жизнь Евграфу. Все это быстро пронеслось в голове моей, и я сказала спокойно, хотя во мне все клокотало: "По справедливости твое место в

Академии, и не твоя вина, что теряешь силы, может быть, паек и поможет тебе их восстановить". Он, смеясь, сел и сказал: "Не продаться же мне за чечевичную похлебку? Но теперь Академия уже не та, и ее революция коснулась и, верно, проветрит затхлый воздух косности, поэтому и интересно теперь попасть туда". Он, как юноша-мечтатель с чистой душой, верил во все высокое, даже чуть не умирая от голода.

Его выбрали в январе 1919 г. Он со всей энергией принялся за работу. Извозчиков не было, приходилось ходить голодному до трамвая, и он очень уставал. Пакет, моя надежда, оказался незначительным, а Евграф еще непременно делился со мною, как ни старалась я отнекиваться. При такой слабости своей он еще умудрялся мечтать: с лихорадочно блестящими глазами говорил о Кольском полуострове, о его апатитах, сиенитах и о возможности там залежей золота, хлопотал об экспедиции в Америку молодых ученых.

Из газет прочли в январе об убийстве в Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Это известие в нашей Советии наделало много шума и протестов, но, как ни шуми, мертвых уже не воскресить. Образовалась Лига Наций, и в марте от нее вышло распоряжение о затоплении Германией ее излюбленных подводных лодок, наделавших столько бед. Сама Германия оккупирована союзниками. Бавария в апреле провозгласила советскую республику¹⁸¹, но нам с нашими голодными желудками уже не до политики — нас сторожит уже смерть. Теперь материальные заботы превыше всего. "Нет, нет, человек теперь не выше сытости!" — сказал кто-то.

Какая уже тут спокойная работа ума, когда бурлит в животе от голода. Социализм пока выразился в общих столовых, да и то по необходимости, потому что нет возможности нигде ничего купить. А в столовой многие отравлялись соленой рыбой, в том числе отравилась и я. Ее даже голодная кошка не стала есть; а Евграфу, к счастью, соленое было запрещено, он спасся от отравы. Во многих столовых были обнаружены плутни. Ницше трактует людей так: "Земля — это кожа, на ней бывают разные болезни, и одна из них — это человек". Да, теперь совершается нечто болезненное на земле. С такой болезнью кожи возможен ли социализм?

У нас горе и смех вяжутся вместе. Шутники РСФСР прозвали и расшифровали так: редкий случай феноменального сумасшествия расы. В самом деле, со стороны посмотреть, так не понять, что творится. Мрут, мрут, как мухи на липкой бумаге. Уж тысячи сгублены. Сыпной тиф так и косит; на помощников его, вшей, уже наконец пошли походом. Под тиф отводятся помещения кинематографов, и они уже не вмещают, и прибывающие без конца больные валяются у входов по панелям. Творилось нечто невероятное. А кого не успел подобрать сыпняк, того выхватывала оспа, крупозное воспаление легких. От него умер наш теперешний директор Шредер. Его тело стало так скоро разлагаться, что в квартире невозможно было держать дольше, а церковь наша была закрыта, и пришлось его вынести в актовый зал. Поставили его перед портретом Екатерины II. Перед ним служили и панихиды. На одной из них студент обратил внимание Жени: "Могла ли вообразить себе Екатерина II, что перед ее портретом будут кадить и молиться". В ночь перед похоронами была пурга, снегу на большие уже сугробы навалило еще больше, так что дорога была выше панелей, они представляли из себя окопы. Дороги с привязанным гробом ныряли из ухаба в ухаб — было не благолепно. Да уж какого благолепия можно было теперь ожидать, когда по неделям покойники ждут очереди захоронения, такое их множество.

Кроме болезней, косит и голод, особенно младенцев. У нашего кабинетного служителя умерла недавно родившаяся девочка буквально от голода из-за потери матерью молока, а коровьего ни за какие деньги не достали. Пошел

отец хоронить. Вернулся и на вопрос: "Ну что, схоронили дочку?" — мрачно ответил: "Куда уж тут. И не знаем, когда захоронят, там гробов-то, что полениц дров, один на другом стоят, ждут своей очереди; мрет народа больше, чем на войне". Ужас! Ужас!

А что начинало твориться на Волге! Шло людоедство, это все знали. Вот времена-то! Людоедство! Дожили до чего!

При Горном в подвальном этаже открыли для служащих потребительскую лавку, куда какими-то путями раздобывались ее заправилами продукты; заполучать их можно было, конечно, только в малом количестве и изредка. К Пасхе в эту лавку, к общей радости обитателей Горного, были доставлены сахарный песок и мука, по два мешка, кажется. И каково же было всеобщее разочарование, когда накануне перед самой раздачей, ночью, сахар и мука исчезли, а воры, обокравшие кооператив, предупредительно засыпали свои следы нюхательным табаком. Наши голодные желудки сильнее заныли. Повышенная возбудимость нервов — следствие их поста — повысилась; было всеобщее негодование, хотя кто крал был, быть может, еще голоднее нас. Но голод не свой брат, у всех животы подтянуло. Тут не до гуманности.

На случай болезни одного из нас мы хранили в коридоре в шкафу немного муки и сахару, раньше закупленных. В столовой, в буфете, кроме посуды и бутылок с остатками наливок, хоть шаром покати, съедобного не было. Между буфетом и окнами стоял обеденный длинный стол. Сидели мы как обычно за этим столом: я во главе его, спиной к буфету, Евграф слева от меня, Женя справа, сестра подле Евграфа и обсуждали важный вопрос о хлебе насущном и о проскользнувшем невероятном слухе, что пропавшие мешки с мукой и сахаром будут, будто бы, искать у всех обитателей Горного. Меня возмущал такой позор, а Евграф не верил слуху. Нас ставили на одну доску с ворами. "Они, верно, этим хотят показать равноправие, если действительно будет обыск", — смеялся Евграф. Я раздражалась: "Социализм — экономическое равенство, а не с ворами. Ницше прав — нужно шадить дарования: вдруг бы Бетховена, Мендельсона, Глинку, Гофмана и пр. и пр. послали чистить ретирады!" Начинало смеркаться. Вдруг снизу по лестнице из кухни послышался топот нескольких ног. Мы замолкли. Отворилась дверь в столовую и вошли трое: наш смотритель, комиссар и понятой, один из сторожей наших. "Обыск!" — промелькнуло в наших мозгах. Комиссар прямо, ни слова не говоря, к буфету. Евграф остался сидеть, я встала, облокотившись спиной к столу, смотритель рядом со мною. Все, молча, смотрели, как страж закона и справедливости рылся во всех ящиках и отделениях буфета, точно копался в наших душах. Наконец он добрался до верхнего левого отделения с бутылками, графинами и фляжками наливок; хотя не полные, но по числу немало их, и потому надо было видеть изумление комиссара — он как бы на мгновение остолбенел, потом стал отставлять, нюхая каждую друг за другом. Он так увлекся этим делом, что Евграф заерзал на стуле и, вижу, он сам не свой и даже побледнел. Во мне уже давно все бушевало, но я в этих случаях сдержаннее Евграфа. Я испугалась за него и, обратясь к смотрителю, хладнокровно спросила его: "Собственно, что Вы пришли искать?" Он мне ответил: "Муку и сахарный песок". Тогда комиссар быстро-быстро стал составлять на место наливки и даже запер дверцу отделения и затеялся по квартире, запутавшись в комнатах, попал в переднюю и, видимо, был рад, так как при виде указанного смотрителем выхода, бросился в него.

И хохотали же мы, когда он скрылся. В увлечении наливками и потом в смущении он не заметил коридорчика, а найди он нашу муку? Такой дурак мог бы, чего доброго, причислить нас к ворам. Не уйди он вовремя, кратер Евграфа уже дымился, и могло возникнуть дело об оскорблении власти при исполнении служебных обязанностей.

Обыск в Горном продолжался до двух часов ночи. С нашей началось, как с

квартиры N 1, и мы вовремя легли спать, а мелкие служащие провели бессонную ночь. Воры же тем временем, поди, успели уже поделить муку и сахар. Неразумие какое-то происходит! Куда уплыли все мечты прежние: о неприкосновенности личности, домашнего очага, о свободе слова и девизе "Свобода, равенство и братство"? Сейчас шли обыски, расстрелы, гражданская война, один ест, другой мрет с голоду. У нас еще были цветочки, но вот, где появлялись матросы, так там такие были ягодки — прямо грабеж и оскорбление. Чего-чего мы не наслушались! Интеллигенты шли за буржуев. Все понятия перепутались. Буржуа тот, кто загребаёт деньги чужими руками, а у нас и тот буржуй, кто зарабатывает своим умом да почище одет.

Начал проповедоваться коллективизм: каждая человеческая личность как бы растворялась в общем, как винтик, гвоздик, втулка — в громадной машине. Евграф, не выносивший никаких цепей, даже читая чужие книги, не мог читать, не придумав своего, нервничал, когда к нему приставали с анкетами, с каким-то теперь вечными советами, дознаниями и т.п. Он видел, что ученые теперь для большевиков — нули¹⁸². "Потом они спохватятся — без науки не обойтись". Он, дорого ценивший каждый час и только ценою директорства дорвавшийся до возможности создания так необходимого ему научного кабинета и работавший в нем все свое свободное время от казенных занятий, должен был отрываться от них в ущерб делу науки, для которой он, собственно, точно только и был создан судьбою.

В пасхальную ночь уже не было прежнего торжества, но все же нашу церковь священник открыл и служил заутреню. Евграф сам меня пригласил, из любопытства, идти в церковь, чем меня подивил, так как ходил туда только по служебной обязанности директорства да для отдания почести умершим. Народу было много, немало интеллигенции, в их числе президент Академии А.П. Карпинский. Мы даже прошли за крестным ходом по громадным залам Горного, в многочисленных окнах которых отражались бесчисленные огоньки от свечек. Картина была незабываемая, хотя вся публика была одета куда скромнее прежнего.

Как-то разговорились мы с Евграфом об изданной им не так давно "Новой геометрии"¹⁸³. Я спрашивала его:

— Что это ты скачешь от микроскопического кристаллика к четвертому измерению, как бы с земли на небо?

— Это тебе кажется, что я скачу, потому что ты не понимаешь, а, напротив, я иду шаг за шагом постепенно к определенной цели — из этого у меня выйдет нечто цельное, грандиозное, что, я думаю, удивит ученый мир, — он мне, улыбаясь, ответил.

— Вот, написал о четвертом измерении, а может быть, есть и пятое?

— Конечно, может быть и 6-е и 7-е... Кто его знает, мы живем в трех измерениях, а если бы жили в двух, то и третье не могли бы представить; что выше нас, не было бы нами тогда видимо, а если б жили в одном измерении, то только и видели бы то, что около, сзади, да перед собою.

Мы с ним размечтались, и я сказала:

— А может быть, в окружающих нас надзвездных нам невидимых мирах и существуют эти высшие измерения, 4-е, 5-е, 6-е...? Вот бы хорошо после смерти нашей душе переселяться из одного в другой; вот человек, и не живя в четвертом измерении, а открыл, почувал!

— Да, тут для фантазии непочатый край, но тут чудеса делает математика, она даже предсказывает невидимое, а астрономические трубы открывают планеты и звезды.

Однако дела наших большевиков на фронтах шли успешно: они отбивают понемногу все нашествия, повсюду льется кровь русских русскими же, идет брат на брата, сын на отца, теперь родство не по крови, а по духу. Если не умрем, увидим, что дальше будет. Отбито наступление Колчака у Бугуруслана.

У нас же тут голод, настоящий голод. Трамваи ходят только до шести часов, а там плетись слабыми ногами, с пустым желудком, с кружением головы, как знаешь, а лучше всего никуда не ходи, ляг, сложи руки и жди смерти, как Мила. Она уже совсем не встает; затихла ее чарующая музыка; а я должна была испытывать муку кормить ее этой водянистой жижей — супом из столовой. Всю эту зиму мерзли мы в полутопленной квартире, а сейчас, хоть и весна, а Евграф не снимает пальто, зябнет. На Урале при снеге ходил в кителе, а тут в пальто зябнет.

Продукты у приезжающих на вокзале реквизировались, и Катерина уже не могла нам привозить масла. Только по ударным карточкам выдают 3/4 ф[унта] хлеба, а в городских лавках хлеб по пайкам с перебоями. Железнодорожные вагоны и трамвайные брались с бою, с опасностью для жизни висели на подножках. Фу, какое ужасное тяжелое чувство переживалось за это время. Я удивляюсь, как я тогда с ума не сошла — голодная, уже часто перехварывающая малярией с высокой температурой, глядя на умирающую Милу и Евграфа, труднее всех переносящих голод. Милу, наконец, доктора помогли мне пристроить в больницу, как бы меланхоличку. Там ее стали лучше кормить.

Когда у Евграфа в кабинете весною появилось солнышко, отсутствующее всегда зимою, он позвал меня, по обыкновению указал на его след на обоях и сказал:

— Вот, видишь, и теперь в это страшное время опять порадовало меня солнышко, но долго ли нам осталось им любоваться?

— Ну что ты, Евграф, брось думать... так... брось!

У меня в горле застряло это ужасное слово — смерть. Но он, очевидно, не переставал думать о смерти.

Ходит он, бывало, по всей анфиладе комнат взад и вперед, иногда останавливаясь у своего любимого окна, выходящего на площадь с видом на Неву, и долго стоит и смотрит. Я сижу на диване, работаю и с беспокойством поглядываю на него, но так, чтобы он не заметил. Думает, вижу я, грустную думу. Я чувую, не новая работа его занимает, нет, а другое, чуждое прежде ему, энергичному. Тоска и страх на меня нападает, глядя на его удрученную фигуру. Это не прежнее его хождение для обдумывания, я вижу по виду, я так его изучила, и не то хождение, чтоб полюбоваться чудесным видом захода солнца либо луною. Тогда он не удержится никогда, чтоб не поделиться впечатлением со мною или с кем-нибудь из домашних. Теперь же молчит, а мне жутко выпытывать.

Он сам меня раз поразил, сказав спокойно:

— Собственно, умереть не страшно, а вот быть похороненным живым — ужасно! Смотри, если я умру, удостоверься хорошенько, не похорони живым.

— Ну, что это ты, не думай о смерти! Брось! Ты же сам говорил, что у тебя непечатый край задуманного.

— Да, дух-то бодр, да плоть-то немощна.

— Ну, надо стараться во что бы то ни стало пережить это время.

— Пережить, это только легко сказать, когда ноги еле волоочишь. Чем же жить, когда желудок пуст? Нет, Людмила, нам с тобою теперь не житье, давай умерем вместе!

И опять он ходит, и опять мне страшно спросить, о чем он думает. Я, скрепя сердце, завожу какой-нибудь разговор, но его, видимо, не интересует он. Особенно боишься затронуть разговор о будущем, так как он как-то сказал:

— Погоди, сначала переживи голод, а тогда и говори о будущем.

Надежда пропала — все пропало!

Ходил он так раз, я стала его уговаривать не тратить сил на ходьбу, лучше сидеть или лежать.

— Вот чего я никогда и раньше не мог без умственной работы выносить, так теперь и подавно не смогу!

— Но разве у тебя уже иссяк источник твоих работ? — спросила я.

— О нет! У меня их все еще непочатый край, только физические силы подорваны, а для их восстановления надо то, чего сейчас нет. Сама знаешь.

И он еще улыбнулся. Тут, как назло, я чаще стала перехварывать, он забеспокоился и не раз говорил:

— Людмила, ты опять больна, смотри, не оставь меня одного, что я стану без тебя делать?

Я старалась отвечать веселее, но он твердил:

— Мне без тебя не жизнь.

Но Женя наша, это с виду хрупкое создание, проявила такую выносливость и такой альтруизм и героизм даже, спасая нас обоих, что я умерла бы спокойно, оставив Евграфа на ее попечение. Кончится же голод! Большевики в своей декларации обещали хлеб народу. Дожить бы только до окончания гражданской войны. Не век же она будет продолжаться! Уже почти год, как Володарский, покойный, заявил в школе агитаторов: "Мы выдержали экзамен на разрушение. Теперь нам нужно держать экзамен на созидание".

Евграф, раз, встав утром и одевшись, только без пиджака, прилег ко мне на кровать и говорит:

— В самом деле, Людмила, давай умрем вместе. Я не хочу жить без тебя.

Я лежала, подложив руки за голову, на спине. При его словах так и застыла. Он начал доказывать всю абсурдность настоящей нашей жизни при медленном умирании в муках голода. Опять мне захотелось ободрить его, влить в него надежду, но у меня сдавило горло так, что я не могла ни слова вымолвить. И я лежала, как истукан, не могла говорить еще и потому, что, если б я только открыла рот, то я, наверное, заревела бы, даже завывала бы, кажется. Не знаю, чем он объяснил мое молчание, только полежав еще немного, поцеловал меня, встал со словами:

— Однако пора и за дело браться.

Я набралась сил и сказала вдогонку:

— Однако не надо так падать духом! С поля сражения не бегут!

Когда он ушел, я закрыла голову простыней с одеялом и залилась слезами. Они меня несколько облегчили.

Я весь день продумала о его словах. Вот когда необходима была бы беззаветная детская вера. Чего бы лучше, как умереть вместе; но как это сделать без самоубийства одного из нас? Прежде всего следовало бы решить: что такое человек, для чего он живет, и прекращается ли его жизнь со смертью тела? Я думала с горестью, смотря на его могучую голову, из которой каким-то непонятным чудом белый лист бумаги заполнялся ценными научными истинами, что материалист объяснил бы очень и очень просто и кратко: мысль — продукт нейронов человеческого мозга — проходит на бумагу по нервам через руку по привычным рефлексовым путям, и вроде этого. Но... откуда и как в мозгу зарождаются новые идеи, непривычные ему? Телефон сам не заговорит. Разве можно категорически сказать: человек — это химико-магнитно-электрическая батарея и только. Это так просто и легко сказать, но слишком поверхностно, и так обидно за человека становится.

Мозг, нервы, пищащая рука — не есть ли это только приборы, через которые проявляется "нечто" — та сущность, что живет наше тело, пока оно способно служить передаточным пунктом, наше в совокупности "я", по общепринятому названию — душа. А что, если эта душа совершает после смерти какую-то нам непонятную эволюцию, сбрасывая непригодную уже для нее оболочку — наше тело с его несовершенными пятью внешними чувствами, пригодными только для некоторых ощущений и не удовлетворяющими пытливым дух, который все больше и больше стремится превзойти с помощью инструментов и разных физических приспособлений данные ему природой органы чувств? Мозг наш

и представить не может, что такое вся вселенная с ее бесконечностью и для чего она существует. У Шиллера проскользнула мысль в "Разбойниках": "Если бы человеку удавалось все, то он сравнялся бы с Богом".

И вот, может быть, наша душа тоже вечна, только ее оболочка до бесконечности меняется, приспособляясь к разным измерениям этих бесконечных миров вселенной. Может быть, они-то и служат стадиями для эволюции и усовершенствования нашего духа. Какое же мы тогда имеем право прерывать цикл нашей или вообще человеческой жизни, нарушать целесообразность мировой гармонии, когда ни одна песчинка в мировой экономике не пропадает; жизнь же — это нечто высшее. Непостижимая для нашего ума бесконечность для чего-то существует? Для чего же тогда она? Если человек только машинка, тогда встает неотвязный вопрос: для чего жить? Влачить наше жалкое, подчас мученическое существование? Тогда пропадает ценность жизни; значит, убивать себя и других ничего не значит? А почему совесть — это драгоценнейшее свойство нашей души, наш страж — это запрещает нормальному человеку, карая его муками совести, как бы человек ни пал?

Л.Н. Толстой писал, считая людей посланцами Бога на Земле: "Требования совести суть то, что на христианском языке называется волей Бога". После прочтения "В чем моя вера?" и "Для чего мы живем?" Л.Н. Толстого когда-то Евграф выразился так: "Не знаю. Мне кажется, что Бога можно только чувством постигать, философствовать я не берусь, у меня на это нет и времени, и с математической точностью все равно не доказать, так уж лучше помолчать. Интересно бы позаниматься метафизикой, да жаль время отнимать от более для меня интересного". Он был удивительно разносторонен. "Мы не знаем; утвердительно ничего сказать не можем и отрицать не можем", — думала я, переворачивая в голове эту тему сто раз, а с Евграфом затронуть ее не решилась, благо он был сейчас занят, отвлекся чем-то, и я боялась навести его опять на мысль о смерти.

С грустью узнали мы, что на Урале в Богословском округе все затихло: шахты залиты водой. Какие средства потребуются на исправление? Евграфа и это удручало. Стратановича, если б не убежал, убили бы. (Потом он, профессор, умер от сыпного тифа.) Дом наш, купленный для стариков Бутовых, сожжен. Мы мечтали его отдать в пользу музея Федорова.

Евграф как-то реже стал заговаривать о смерти, а я все еще испытывала смятение в душе и, конечно, тогда не так просто решала этот вопрос, как теперь написала. Должна сознаться, что были моменты, когда моя мысль подолгу останавливалась на разных комбинациях с морфием. А голод-то чертовски продолжал морить нас! Из столовой получали только суп-воду, в которой плавали редкие крупинки или клочки капусты; прекратилась даже выдача небольших пластинок к нему хлеба.

В один из этих самых голодных дней Евграф грустно сказал: "Теперь, на склоне лет вспоминаешь пережитые кипучие страсти и с удивлением себя спрашиваешь: к чему было все это? Кому были нужны те внутренние волнения, которые приходилось переживать при проявлении несправедливостей? Да и всегда ли это были истинные несправедливости?" Да. Но как подумаешь и составишь резюме, то выходит, как-то странно сложилась жизнь Евграфа Степановича.

Его, чуть не с малолетства стремящегося к науке, судьба в лице министра Д. Толстого толкнула в подполье. Он составил геологическую карту Северного Урала, а геологом не удостоился быть, и потому ему в Геологическом комитете давали только забракованный микроскоп. Потом, кажется, только для таких, собственно, и должна бы существовать Академия наук, а ему дорогу в нее загородил Еремеев. Кокшаров выразился так: "Будь хоть семи пядей во лбу, хватай хоть звезды с неба, а у нас этим ничего не достигнешь". Его, скромного бессребреника, судьба наталкивала на хорошие должности, но отнимающие

много времени от науки. Он все же умудрился на свои средства устроить себе научный кабинет, на который Академия наук не находила средств. А Евграф писал: "Если б я получил в руки средства еще в 90-х годах, в расцвете своих сил, то широкие научные идеи тогда, вероятно, потребовали бы и больших затрат, и мой научный путь, конечно, принял бы иное направление". И он как-то говорил, что ионы были бы открыты в России, а не за границей¹⁸⁴.

По моему, может, неверному понятию Академия разменивала себя на мелкую монету, играя роль какого-то представительного органа, отнимая драгоценное время от занятий ученых наукою на разные чествования. Так, я, помню, была с Евграфом на чествовании Пржевальского. Эти золотом шитые мундиры с треугольными шляпами, вся эта мишура не соответствовали серьезности этого учреждения. Хотя и некоторые тут не в свои сани сели. Противно было смотреть, как после заседания Кокшаров вилял и подхалюзничал перед сильными мира сего, представляя своего сына и что-то выпрашивая.

Потом такой директор, как Евграф, вытаскивший Горный из банкротства, был уволен Тимашевым без прошения.

К довершению всего ядовитая слюна бешеной собаки Пуришкевича от времени до времени брызгала на него пасквили.

Нашему прежнему правительству хорошие люди были не ко двору. И это все Евграф Степанович вытерпел ради науки; не убежал на большое жалованье на частный завод, куда его приглашали не раз. А сейчас умирает медленно от голода. И только Л.Н. Толстой утешает: "И смерть — переход к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большой радости" ("Для чего мы живем?").

10 мая [1919 г.], в воскресенье, у Евграфа сделалась астма. Два доктора определили ее желудочное происхождение. Он задыхался, как рыба на суше, два дня. В кабинет я его не пускала, чтобы он не накурился, но он как-то улизнул туда, но не для куренья, а что-то писал, но скоро ушел в спальню к своим делам. Он уверял, что чувствует себя хорошо. В один из этих дней он попросил пригласить академика Н.С. Курнакова и передал ему для напечатания в Академии только что оконченную свою работу и говорил с ним о делах, так как сам уже не мог идти туда. Мы выбивались из сил, чтобы достать для него что-нибудь попитательнее. Деньги у нас были, но не знали, откуда бы раздобыть продуктов.

16 мая Евграф, еще не вставая с кровати утром, заявил, что чувствует себя нехорошо. Я измерила ему температуру — она была повышенная. Я ему запретила вставать, хотя он порывался, но послушался и стал читать в постели. Он взял мою руку, когда я подошла, прижал ее к своей щеке и сказал: "Ах, Людмила, ты никогда не понимала, как я тебя любил". Я его поцеловала в лоб и сказала, что ему не следует теперь волноваться, а нужно скорее поправляться. Он замолчал, но, видимо, ему хотелось еще говорить. Мои нервы тогда не выдержали бы равновесия. Температура повышалась. Доктора определили крупозное воспаление легкого. Верно, во время астмы, дыша открытым ртом, он захватил пневмококков. В то время у Чернышева, доктора, лечившего Евграфа, были, как оказалось, больные с крупозным воспалением легких.

Еще 20 [мая] он был в сознании, захотел видеть внуков, приехавших из Крыма. При моем вопросе на его тихий стон: "У тебя что-нибудь болит, что ты стонешь?" — он ответил: "Нет, ничего не болит". А когда моя сестра спросила: "Так тяжело, верно?" — он ничего не ответил. По ночам дежурили у него профессора Никитин, Соколов и Аншелес. 21-го утром, увидя внуков, он что-то хотел сказать, но стал беспокоен, ворочая головою, все повторял: "А всем, а всем!" Это был день его кризиса, и началась агония, а к 7 часам его не стало. Он умер тихо, точно задремал. Я вдруг заметила, что он перестал дышать и раскрыл глаза, и только. Он умер! Вот свершилось то страшное, чего мы боялись с приходом голода. Воспаление рассосалось. расширение сердца пришло в норму и, не будь

истощения от голода, он бы выжил, так говорили доктора. Натура его была крепкая. Я не понимаю, как я могла выжить, осознав, что он отошел от нас навсегда.

Какой был чудный, солнечный, с безоблачным небом весенний день 24 мая, когда его хоронили. Нашу церковь открыли. Белый гроб стоял посередине ее. Через цветные стекла алтаря врывался в полумрак церкви золотистый отблеск, как что-то светлое, радостное, приветливое и соответствовало словам напева гимна: "Идеже несть болезни, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная". Да, хотелось верить этому беззаветно, без размышлений. Покойный точно спал. Меня до того запоили за это время разными снотворными и наркотиками, что я ходила точно во сне, на меня напало какое-то безразличие. Ведь только какой-нибудь месяц тому назад мы стояли перед картой рудных богатств России, и они его радовали, а теперь его несли мимо, и это уже не он, а его тело, неодушевленный предмет. Как странно! Можно было с ума сойти от этих дум. При выносе гроб поставили на нижнюю площадку, а с верхней говорились речи. Две фразы только запечатлелись в моем мозгу из речи Д.И. Мушкетова, тогдашнего директора, сына И.В. Мушкетова: "Я высоко ценил научные силы отца и потому был удивлен, когда увидел, что его учит Евграф Степанович. Тогда отец сказал: мы все должны учиться у Евграфа Степановича". Я-то знала, как ценил Иван Васильевич Евграфа, и всеми силами он единственный старался протащить Евграфа на кафедру. Сейчас их обоих уже нет!

Меня подивила фраза студента А.: "Теперь следует позаботиться о сохранении от вымирания оставшиеся научные силы". С горечью думала: спохватился студент, а о чем думало правительство? В России вдруг не стало дров и хлеба, самого главного ее богатства. У Болдырева вырвался крик души, вместо речи, что дали умереть такому человеку и ученому! Катафалк ехал сзади, а гроб все время до Смоленского кладбища несли высоко на руках все милые большею частью люди и его ученики.

Без него пусто стало, остались одни воспоминания. Раньше хоть было его тело, его чудная, требующая скульптуры голова, его музыкальные руки. Он почти до самой смерти играл на рояле, но фисгармония уже его утомляла, она требовала сил, а он их терял с каждым днем от голода. Он часто говаривал мне: "Ты — моя душа". Нет, не я была его душою, а он моею. Из меня точно вынули душу, когда его не стало. Да, он был моей душой, он меня воодушевлял, тянул ко всему высокому и поднимал вверх от будничной суеты. Он, точно яркий луч, пронизывал сумрак, и когда этот луч погас, все стало серо, не колоритно, не ярко. Трудно выражать ощущения словами. Теперь становится понятным утешение спиритизмом многих. Я и этим утешать себя не могла. По-моему, это либо внушение, либо фокусы. Хотя Чехов отнесся к нему так: "Я не порицаю, не утверждаю, но и не смеюсь. Разве мы понимаем, например, настоящую суть телеграфа? Однако посылаем депеши".

После похорон на другой день в Минералогическом обществе устроили собрание в память Евграфа Степановича. Краткую вступительную речь произнес президент Академии А.П. Карпинский, а за ним Ферсман, Болдырев и Аншелес прочли как бы лекции-указания на заслуги Евграфа Степановича в науке. Во время перерыва Александр Петрович подошел со мной поздороваться. Я не утерпела и высказала свою думу: жаль, что Еремеев умер и не может присутствовать теперь здесь и слышать и видеть учеников Евграфа Степановича.

— А что? Почему? — спросил Александр Петрович.

— Разве Вы не помните, как он всегда вертел пальцем перед своим лбом, когда его спрашивали о работах Евграфа Степановича, выражая его умственную ненормальность?

— Ну, что Вы хотели от этого полишинеля?! — возразил Александр Петрович.

— Однако этот полишинель был выбран в академики.

И вдруг Александр Петрович подивил меня вопросом:

— А я?

Я, не привычная к лести, прямо ответила:

— Что Вы сделали, я не знаю. Вот что сделал Иван Васильевич Мушкетов, я знаю.

— А! Иван Васильевич Мушкетов! — повернулся и ушел.

Я же, правда, не знала и не знаю ни одного случая помощи Евграфу со стороны Александра Петровича. Я ни льстить, ни обижать не хотела¹⁸⁵.

ОДИНОЧЕСТВО

В этот же день я с Женей переселились в Павловск по приглашению Графчика. Бедная Женя, как ломовая лошадь, перетаскивала нужные нам вещи, ликвидируя квартиру; извозчиков не было.

Я в физической работе топила свою тоску; но все же часто приходило в голову: "Где ты?" И нет ответа. Да, раз видела во сне: будто не могу никак запереть разбухшую дверь на балкон, а наступает уже ночь, и я одна во всей квартире; вдруг выходит из внутренних комнат Евграф в своем дачном сером пальто, запирает дверь легко и, сказав мне: "Зови меня всегда, когда встретишь затруднения", — вышел. Обыкновенно снов не помнишь, а этот ясно врезался в память.

Неужели же то высшее создание всего живущего на земле, что гордо звучит "человек", с его идеями высшего добра, с высоким стремлением к самоусовершенствованию, к идеалу, к неисчерпаемому источнику знания, творец науки, кончает тем страшным, что творится в могилах, превращаясь в навоз, и служит удобрением только? Нет, это слишком обидно и значило бы, что жизнь — какая-то бесцельная, злая шутка, игра, не стоящая свеч. Да, правда, от тебя остался яркий след — твои научные работы, которые толкнули дальнейшее движение в науке. Это утешает до некоторой степени. Не хочется соглашаться, что такой человек — только комплекс рефлексов каких бы то ни было, безусловных и условных. Хотя еще Бертелло всю жизненную силу свел к химическим процессам, а сам-то умер вслед за женой, потрясенный ее смертью. Его смертью руководила психика.

Нет, наша мысль не материальна, не только продукт нейронов. Она, конечно, зависит от них, как свет от проводов электричества. Мозг болен, и мысль страдает, не имея возможности правильно пройти, блуждает, как в лесу. Это все грубые сравнения, но почему это невозможно? А то из-за навоза стоило ли бы огород горчить?

Не прекрасна ли мечта о бессмертии души? Эта мечта ведет к самоусовершенствованию на земле. И Л.Н. Толстой писал: "То, что цель жизни есть усовершенствование бессмертной души, есть единственная цель жизни человека, справедливо уже потому, что всякая другая цель, ввиду смерти, бессмысленна". Для Евграфа целью жизни была наука, и его внутренняя жизнь озарялась значительным ясным светом его чистой души. <...>

Кончиной мужа я решила, было, закончить мои воспоминания, но меня просили еще продолжить, интересуясь, как мне жилось без него и почему я была лишена персональной пенсии, когда вдовы менее значительных личностей в науке ее получают, чего я и сама не могла объяснить.

Мы все продолжали работать на огородах: молодежь — на общественном, а я — на домашнем. Голодали и, как куры, заботились только о еде. Особенно жаль было детишек, которым приходилось выдавать порциями. Младший Эля не выдерживал и зачастую прихватывал из порций братьев.

Страшно тяжелое было время, но вскоре обо мне ученые позаботились и выхлопотали мне паек и пенсию в 100 рублей. Чернявский даже письменно предлагал мне выхлопотать пособие. Такая забота меня очень тронула, но цены

на все были такие невероятные, что покупательная возможность была не по нам. На деньги трудно было достать что-нибудь, приходилось обменивать вещи за продукты. Сын тоже получил из ЦЕКУБУ паек. Вагоны трамваев брались с бою, висели люди на поручнях и подножках, а еще хуже на поездах, и Графчик с Женей ездили за пайками с опасностью для жизни. Спекулянтов, благодетелей голодных, имеющих деньги граждан обыскивают и продукты конфискуют. Мы тогда испытали не только муки голода, но и нравственные унижения: повсюду обыскивали. Женю чуть не арестовали. Она ночевала у Брони, опоздав на поезд. Как раз пришли с обыском; пристали: кто она? где служит? У нас ни документов, ни службы пока не было, и ее арестовали, и только благодаря заступничеству смотрителя Горного, доказавшего, что она потому в неопределенном положении, что недавно лишилась отца-профессора, она отбоярилась от кутузки.

Докатились обыски и до Павловска. В июне как раз паек уменьшили, и мы нервничали. Пришел некто высокий в серо-гороховом пальто и с ним несколько, по виду рабочих, с ружьями. Высокий руководил, а те рылись по комодам и в шкафах. Я сидела на диване и наблюдала, не стянули бы чего, что, говорят, нередко бывало. Прежде исполняли эту миссию жандармы в форме, с ордерами, а это какие-то добровольцы-обыватели. Откуда они и кто? Раздумалась это я, и вдруг слышу приказ: "Встаньте!" Я даже не поняла, что это относилось ко мне, но когда все заговорили: "Мама, встань, Людмила Васильевна, встаньте", — я удивленно вскочила. Высокий старательно прошупал диван, потом он раскрывал печи и тщательно прошупывал нутро их. Ну, думалось, эти добровольцы чуть ли не поопытнее прежних жандармов. Интересно было знать, что этот руководитель? Сподручных я скоро узнала. При обыске набегало, кроме наших, со всей обсерватории ребят. Наглядное обучение обыска чужих комодов им, видимо, было занятно, а многих привлекали ружья и, не удовлетворяясь их видом, старались и осязать, крутились подле них, толкая друг друга. Я, боясь, чтобы ружье не выстрелило, ребят отстраняла, тогда один из рабочих предобродушно сказал мне в утешенье: "Не выстрелит, не заряжено, так, только для остротки". Наш народ спокон века зовется сфинксом.

Они искали оружие, а попутно серебро и золото. Шли разговоры о готовящемся нашествии белых. Не знали: верить или не верить; но наши красные готовились, забегали в ночи прожектора. А наш муравейник пока живет заботой о хлебе. Хлеб, да рыба-кета — вот наш обед. Никакой столовой у нас тут нет, желудки причиняют много бед; сахару тоже нет.

Июньское восстание на Красной горке подавлено. Хотя нам и не до газет при нашей беспросыпной работе, но слухом земля полнится. В сентябре в Москве анархистами, брошенной ими бомбой в Комитет коммунистической партии, убито и ранено немало. В сентябре сильнее заговорили о белых. 10 октября они ближе и ближе, 11-го взято Волосово, а 12-го уже и у нас слышна стрельба. Хлеб совсем не выдают. 14-го разведены мосты; 16-го не ходят трамваи. Вот тут и живи! Ребят жаль. Народ мрет, как от чумы. Положение неопределенное. Юденич продолжает наступать. 17 октября им занято Красное Село.

В одно прекрасное осеннее утро на поле за нашим белым домом показались перебегающие ряды солдат с ружьями наперевес; достигнув обсерваторской изгороди, они ее перелезли, отворили калитку, и мы из окон увидали бегающих солдат в прежней форме по всем направлениям — это были белые. Про красных говорят: у баб юбки по колено, а у солдат до пят. Убедившись, что нет засады, они расположились у нас. По Садовой и окружающим нас дорогам сначала шла кавалерия, а потом артиллерия, в конце пошла пехота и обозы. Ни единого выстрела не было, а мы-то боялись, притулились по квартирам. Понемногу осмелели, повывезали и даже пошли за ворота, где производился смотр войску каким-то генералом, и оно уехало дальше к Петербургу. Солдатам было

запрещено с нами разговаривать. Наши конюшни заняли лошадьми и обозами. Обсерваторские дети обрадовались необычайному происшествию и, как спугнутые воробьи, стаями бегали туда и сюда, с любопытством осматривая солдат, а они их угощали белым хлебом, век, кажется, не виданным нами. У Элика личико оживилось, глазенки блистали при виде булки. Грустно было за мальчугана. К нам пришел ротный фельдшер и попросил кипятку, пил чай внакладку с белым хлебом, а у нас слюнки текли, глядя, как он уписывал досыта.

У нас в обсерватории ночевал только обоз. На другое утро все от нас уехали к Петрограду. За это время беспрерывно слышалась оттуда пальба; значит, встретились с красными. Наши мальчики, все трое, захворали корью. Наша семья зажила в карантине.

Через несколько дней переполох: залетали и затрещали по всей обсерватории пули и даже бомбы. Одна из них взорвалась в нашем саду, оставив глубокую воронку, вырвав с корнем молоденький дубок. Другие — повредили дома. Из всех квартир все семьи выселились, кроме нас, в подземелье с магнитными приборами. Они там терпели немалые муки, спали, сидя вплотную один подле другого в плохом спертom воздухе, не смея высунуть носа под снаряды, без пищи почти, а податься было некуда. Кому охота была быть убитым? И так дни и ночи. Наша семья, как зачумелая, сидела в карантине в своей квартире, и одна выносила бомбардировку, спасаясь в центре квартиры в полутемном коридоре, заперев вплотную все двери из комнат и кухни, не зажигая огня по вечерам, питаюсь всухомятку.

Оказалось, что это красные выживали белых, ушедших от нас уже давно, не заботясь ни чуточки о нас. Когда бомбардировка окончилась, то оказалось, что единственная наша квартира не пострадала от нее. Странная случайность! Все успокоилось, все разошлись по своим квартирам, заделывая в них пробоины.

Я с Женей пошли как-то посмотреть повреждения. Наш каменный дом загораживает как бы часть поля с одного его угла от обсерватории. Мы отправились в лесок, ничем не огражденный от поля, кроме жердей. Осмотрели там повреждения электрического павильона, направились назад, как вдруг затрещали, защелкали, отскакивая от стволов деревьев, откуда-то пули около нас. Женья меня таяет: "Мама, бежим! Скорей! Скорей!" А я и от страха, и от болезни, и от голодовки ослабла и бежать не могла; уговаривала Женю оставить меня и бежать, но она меня не оставила и тянула под руку, и мы шли под сильным обстрелом до самого дома. Физик Т., забивавший на лесенке свое окно, выбитое бомбой, упал на землю. Мы думали — он подстрелен, бедняга, но он вспрыгнул и задал такого стрелка за дом, что за прикрытием нашего дома мы принялись неистово хохотать. Собственно, тут было не до смеха, могло бы окончиться печалью. Красные, засев в поле, подстрелили не одну проходящую женщину. Бомбардируя обсерваторию, они как дон-кихоты, сражались с мельницей. У них, очевидно, сплеховала разведка.

Так мы и жили между смертью и жизнью. Много ночей пришлось нам спать, не раздеваясь. Самое необходимое и ценное для нас, завязанное в узлы, лежало наготове подле наших кроватей, чтоб в случае пожара при бомбардировке бежать, схватив узлы, а куда, и сами не знали. Пальба и зарево с разных сторон не давали спать спокойно. Какие нужны были нервы, чтоб переносить все эти страхи? Уже одна дачница сошла с ума.

После 22 октября началось отступление белых. Перестрелка слышалась все дальше и дальше. У нас в Павловске и Царском наступало сравнительное спокойствие. Тем временем на юге Буденный разгромил конницы Мамон-

това и Шкуро. В ноябре взят обратно красными Ямбург*, где в это время находилась сестра Евграфа, Мария Степановна, с мужем-доктором, переехавшие из Нарвы, уже не нашей. Они натерпелись тоже немало. При пожарах деревянных построек от бомбардировки им приходилось сидеть ночами на своем скарбе, и так не раз старики маялись, пока за ними не приехал сын-учитель и не увез в Волоколамск к себе, куда они ехали целую неделю в багажном вагоне.

У нас коммунизм процветает и дает ростки, все больше и больше захватывая в свою партию членов и сочувствующих, а в Венгрии над коммунистами совершают массовые казни.

Уже 4 декабря, а трамваи еще не ходят. Сын и другие пайщики на салазках таскают пайки. Теперь все, точно паломники, с котомками за плечами. Раз как-то Графчик возвращался вечером в поезде на Павловск-II, который ходит в Вырицу. Он еле втиснулся на площадку: столпотворение вавилонское было. Окружающие граждане сначала только ворчали за его санки, наступая на них, а потом начали ругаться, называя его спекулянтом, кто-то предложил его бить. Графчик струсил, но молча ждал своей участи. В неосвещенном вагоне темь и битком набито публикой, податься некуда, Графчик за это время сильно поседел, хотя ему было только 39 лет, и толпа приняла его за старика. "Ишь, старикашка-спекулянт!" — кричали в ярости, топча привязанные к санкам пайки в ситцевых мешках. Графчик только тем и спасся, что вся ярость недовольных обратилась на продукты, и в это время поезд подошел к платформе Павловска, куда Графчик выскочил. Одно время он опасался, что его сбросят с поезда, до того остервенела толпа. Он успел вырвать санки, но хлеб был истоптан, крупа из разодранных мешков рассыпалась. Графчик вернулся расстроенным, говорил, что он так и думал, что его не выпустят живым.

Переживали трудное время, каждый час сулил нам какую-нибудь катастрофу. Железная дорога одна представляла немалую опасность: в мороз, держась ооченелыми руками за поручни, приходилось висеть, так как все площадки набивались до отвалу. А тут еще пошли слухи о варфоломеевской ночи. Откуда они шли? Кто их знает. Потом читали: в Торопце комендант Зисман в Исполнительном комитете Совета заявлял: "Буржуазия спит, красная армия в полной боевой готовности. Жду распоряжения, когда начать варфоломеевскую ночь". И подпись: комендант Зисман. Не отсюда ли?

Голодно. В квартире холод и темь. На дрова выдавали целые бревна, которые приходилось распиливать самим; при голодном желудке приходилось усиленно работать. За неимением угля электричество прекратилось, выдавался в небольшом количестве керосин. Ламп керосиновых не было. Графчик набрал баночек, оборудовал на них жестяные кружочки с дырочкой для фитиля, мы скрутили шнуры, и вышли ночники. С этим жалким освещением и жили, и приходилось работать иголкой и пером. Ночники эти изрядно коптили, и мы их прозвали коптилками. Сидим в комнатах в шубах, пальцы рук коченеют, пар от дыхания волнами ходит, от коптилок носы прокопченные. Точно мы ссыльные в Сибири при царе.

На Рождестве я все же для внуков в сочельник устроила елку. У меня сохранились от прежних елок картонажи, украшения, свечи и безделушки — остатки прежнего величия, и елка вышла с подарками, но, увы, без сластей и угощения. Все же дети повеселились.

После этой минуты забвения пришла горестная весть о кончине в больнице Милочки. Бедная, бедная Мила! Она погибла от истощения, как писал доктор, так как с приходом белых прекратился подвоз продуктов по боль-

* Ныне г. Кингисепп. — *Примеч. сост.*

ницам. Масса больных повывмирала, в том числе и Милочка. Такая одаренная, талантливая, доставлявшая многим большое наслаждение своею чудною музыкой. Таким, как Евграф и Мила, следовало бы появиться на свет позже. Вот проклятый этот 1919 год!

Про Женю могу сказать, что это вышла какая-то просто героиня, все переносящая, не теряющаяся ни при каких обстоятельствах. <...>

В канун 1920 г. все полегли спать. Мне с Женей не спалось. Это для нас первая встреча Нового года без Евграфа и Милы. Скоро должно пробить 12 часов. Захотелось смертельно есть. Женя пошла на поиски, нашла только кусочки селедки, и мы ею встретили новый 1920 г. Что он еще сулит? Довольно бы уже смертей...<...>

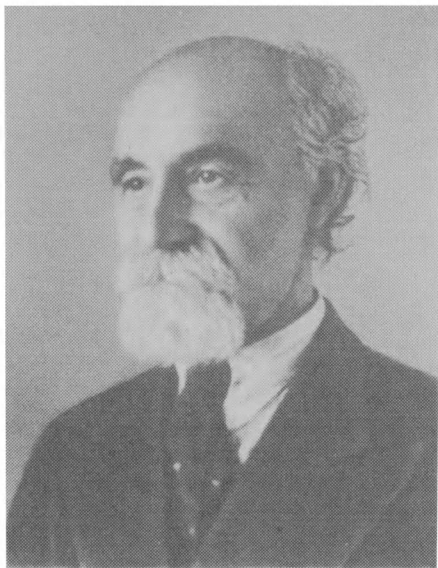
Нас обуяла какая-то настороженность. Ждешь все еще чего-то необычного; эта животная жизнь донимает нас, интеллигентов, до одурения. Легла и думала, думала долго. Вспоминались разные изречения прежних выдающихся людей. По прежнему закону я уже давно бы получала пенсию, а теперь на меня напало какое-то безразличие, безличие, хожу, как автомат.

Но кто-то заботится обо мне: стала получать из ЦеКУБУ бумажки. Так, одна гласила, что мне выхлопотана пенсия в 10000, но последствий от нее не было никаких.

В 1919 г. вызвали меня в Царское Село на комиссию; поехала с Женей, так как стала плохо слышать. Там усадили меня за стол с больным, по виду лепрозным. Другие три стороны стола были заняты на вид рабочими, не распознать было, кто из них доктор. Меня не осматривали, у больного же поверхностно осмотрели раны и желваки; обоих нас отпустили.

Вскоре я стала получать из социального обеспечения пенсию в 100 руб. в месяц, за которой приходилось ездить в Царское Село по железной дороге. Жизнь с каждым днем все дорожала и дорожала, сотни заменились тысячами, а потом миллионами. Мы стали миллионерами без миллионов. Моя пенсия вышла нищему полушка. Проезд за ней обходился гораздо дороже и приходилось терять для нее все рабочее время в давке и духоте в низких темных комнатах. Я хотела отказаться, но меня отговорили. И когда она сама собою прекратилась, я была рада-радешенька. У нас еще не было законности.

О, никогда, никогда мне не забыть того сочувствия, внимания и помощи, какие выразил и оказал мне англичанин мистер Баркер (наш незабываемый милый Фома Фомич!); Отыскав меня какими-то путями через Горный, он мне существенно помог в самое трудное для меня время, не только материально, но и псих[олог]ически; привел в умиление нас всех своей доброй и отзывчивой душой в наш черствый век. Он даже намеревался ежегодно по два раза присылать мне по 10 фунтов стерлингов, но я устыдилась, когда в 1923 г. после хлопот Горного я стала получать, хотя не персональную, пенсию в 56 руб. 25 коп., но которую перед юбилеем 200-летия Академии наук убавили до 40 руб. Вдова И.Ф. Шредера даже удивлялась, что она получает больше моего, хотя ее муж не был академиком¹⁸⁶.<...>



Сын Е.С. Федорова Евграф Евграфович Федоров, член-корреспондент АН СССР. 1947—1948 гг.

Начиная свои воспоминания, я подумала: Евграф не любил перед посторонними высказывать свои чувства. Ему было неприятно, когда супруги перед всеми "лижутся", по его выражению. Он считал любовь таинством и говорил, что, если выставляют ее напоказ, то дело обстоит неладно. Но если не упоминать об этой интимной стороне его жизни, то личность выразилась бы неполно. Он был любящий муж и заботливый отец. Его заботило не материальное обеспечение детей, а приобретение ими солидных знаний, и потому он затрачивал на их образование больше, чем требовалось в гимназии. Он выше ставил тех, кто стремился к усовершенствованию.

Теперь уже 1928 г. идет. С годами полегчало, не голодаем, уже едим не так скудно; живем более культурно, хотя мы, стряпухи, — как кочегары, от копоты российских доморощенных примусов. Мы уже не обтянутые кожей скелеты, а вошли в тело; все помаленьку образуется; но все же трудно живется, особенно когда болеешь и не хватает на самое существенное.

Еще во время голодовки появилась на нашем горизонте Леночка, бросила нам свою дочку 6 лет, а сама ускакала в Москву — зачем, почему, мы и не знали. Щенка жаль, а тем более ребенка. Я обмыла, вычесала из ее головки мириады паразитов, обшила, обула этого заброшенного, капризного ребенка и научила читать и писать. Теперь она способная славная девочка, не требует больших расходов, а пенсию убавили. Тогда я обратилась к академику Ферсману как бывшему ученику моего мужа письменно, прося его похлопотать о прибавке мне пенсии, но, не получив ответа на свое письмо, я тогда решилась побеспокоить досточтимого Сергея Федоровича Ольденбурга. Он дал сейчас же ход делу. Оказалось, что в 1923 г. мне была назначена даже персональная пенсия, но извещение о ней было послано в Белоруссию в Слуцк вместо Слуцка-Павловска близ Петрограда, где я живу с 1919 г. Я, конечно, его не получила, и меня за это наказали, сняв меня с персональной пенсии. Теперь я получаю бумажку за бумажкой и все через Белоруссию, а месяца идут и идут и прибавка меня только по губам мажет, и я сижу у моря и жду погоды. Не остаться бы у разбитого корыта, как пушкинская старуха, — больно много захотела! Или не умереть бы раньше ее назначения. Всяко бывает.

Помню, в 1925 г., когда угощали иностранных физиков, прибывших на празднование юбилея Академии наук, у нас в Павловске, после осмотра ими обсерватории, меня заинтересовали японцы, и я подседа к ним, но это оказались корейцы. Со мной был юбилейный номер "Огонька", где красовался портрет Евграфа Степановича. Они быстро залопотали по-своему при виде его, через переводчика я с ними разговорилась, и оказалось, что они знакомы с работами Федорова и даже с "Kristallreich". Удивительно! Ведь это же были физики, а не кристаллографы.

В этом году [1927] с 12 на 13 сентября, ночью, умер наш внук, 17-летний Графочка, от миллиарной бугорчатки — хороший и красивый мальчик.

Еще много у нас волокиты и несообразностей, еще много разрушений кругом, несоответствий: социализм — экономическое равенство, а рядом с ослепительным блеском бриллиантов в магазинах — вонючие лохмотья беспризорных, этого порождения голода и гражданской войны. И нищие, повсюду нищие, безработные. Нет еще настоящей законности, и идут приспособления, эксперименты. Как это отзывается на психике нас, живых существ, нечего и говорить, но без надежды нст жизни. Она окрыляет.

Как много прежде писалось красивых и хороших слов! Например, Миль думал: "Человечество получит большую долю счастья, когда каждый человек будет преследовать свое счастье под условием соблюдения правил и условий, требуемых для блага прочих, нежели когда человек поставит единственной

целью благо всех прочих". А Л.Н. Толстой к этому добавил: "Но, кроме того, надо жить, прислушиваясь к голосу совести". Да кабы все! Леруа-Болье писал: "Во всяком государстве, будет ли в нем неограниченная или ограниченная форма правления, будет ли это монархия или республика, лучшая гарантия граждан — хорошие суды. Без правосудия, можно сказать, нет настоящей свободы, а при существовании его, смею сказать, нет места произволу, по крайней мере, тирании".

Свобода там, где есть уставы,
Где добрый, не боясь, живет.
Там рабство, где законов нет,
Где гибнет правый и неправый.
Свобода мудрая свята!

"Чтоб было в государстве благоденствие, необходимо нужно, чтобы все, что составляет жизнь души человеческой, жило без всякого утеснения" (Жуковский).

"Жизнь есть не писать историю, не писать трагедию или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать" (Карамзин).

И все мечтали о свободе.

Писалось, но мало кем читалось, кому надлежало видеть. А Жемчужников писал:

Не вывели реформы,
Не вышло ничего,
Все, недозрев, пропало.
Кругом — темно, мертво;
Нет сил, нет идеала,
И интерес один:
Кармана да желудка.
О, русский гражданин!
Ужель тебе не жутко?!

Тогда Россия кружилась, как "Поповка" Некрасова — это стихотворение, им написанное (как сатира на адмирала Попова, придумавшего круглый броненосец) еще при Александре II, запрещенное и ходившее по рукам. Оно характеризует русское хождение вокруг да около цели — шаг вперед, да шаг назад. Вот оно:

Здравствуй, умная головка!
Ты давно ль из чуждых стран?
Кстати, что твоя "Поповка"?
Поплыла ли в океан?
— Плохо, дело не спорится,
Опыт толку не дает.
Все кружится, да кружится,
Все кружится, не плывет...
Это, брат, эмблема века,
Если толком разберешь,
Нет в России человека,
С кем бы не было того ж.
Что-то каждому неловко,
В чем-то, где-то есть грешок.
Мы кружимся, как "Поповка",
А вперед — ни на вершок.

А в 1917 г. мы сдвинулись, поплыли, пошли на всех парах, но не без камней преткновенья. Диктатура ведь наша ни под какие рамки не подходит, она здорово сразу рушила все устои вековой России. На развалинах и голоде принялся русский народ строить свое благополучие — социалистический уклад жизни, чуть не голыми руками, окрыленный надеждой. Разрушать-то легко, а созидать потруднее. Для этого нужно время, умение,

деньги, а главное — хорошие люди, одушевленные идеей. А животный-то эгоизм не изжит: повсюду лихонимство, пьянство, хулиганство. Маяковский охарактеризовал хулигана:

Души не имеет (выдумка бар),
В груди пивной и водочный пар.

Вокруг смертоубийство, дебоширство. Нынешний разврат мы не называем прямо похотью, похотливостью, а мягко: "природой". Но при этом уважаем все же только тех, кто ради долга жертвует своими низменными чувствованиями. Все-таки, в общем, наш народ — великий народ-энтузиаст, он прошел через горнило ужасов смерти героем. Как много он может сделать! Он поражает своей энергией под умелым руководством. Возможности его громадны; считался он флегмой: авось да небось, а творит чудеса. Он доказал свою выносливость, жизненность под давлением голода, разутый, раздетый, стремясь к мечте, хорошо выраженной в четверостишии Есенина:

Чтоб каждому хлеба и песен
И в меру труда и забот.
Кристалльно будет чудесен
Наш кровью стекающий пот.

Вот уже идет второе десятилетие, а социалистическая Россия все еще только в будущем. Достоевский писал: "Человек не только живет, но и самосочиняется". Самосочиняемся и мы. А что покажет будущее? Для стариков нет будущего. Особенно без прежних удобств, в лишениях, при всевозможных эпидемиях, таких длительных в настоящее время, скоро все старятся и молодые, так где уже мне дожить и увидеть, достигнет ли народ, чего добивается с таким самоотвержением и упорством. Он темный, а быстро осознал пользу науки и рвется к ней жадно. Что дальше? История напишет, но меня уже не будет. А так хотелось бы увидеть воочию, что будет? На щите или под щитом наш многострадальный народ? <...>

Меня просили писать воспоминания по годам, что было для меня довольно затруднительно и привело к непомерной их растянутости, за что пускай и не сетуют на меня. Приведу выдержки из письма В.А. Михельсона ко мне от 31/X 1919 г.:

"Писать об Евграфе Степановиче без вдохновения было бы не только жалко, но прямо обидно для его памяти! Он был редкий, выдающийся человек, не только среди нас, русских, но и среди мировых ученых! Написать очерк или воспоминания, как мне было выражено пожелание со стороны нашей комиссии, действительно, его достойные, очень и очень трудно, в особенности для меня, который уже так давно, к сожалению, его не видел. А теперь при переживаемых всеми нами событиях особенно трудно привести себя в то спокойно-торжественное и объективно-научное настроение, которое открывало бы двери желательному вдохновению!

За последнее время я два раза был болен и пришлось полежать, с начала октября приступил к чтению лекций, которые для меня теперь более утомительны и трудны, чем раньше. К тому же сегодня в физическом кабинете уже только 4° и отопления как будто не предполагается... Желаю Вам успешно закончить Ваши "Воспоминания" о незабвенном и дорогом Евграфе Степановиче, которые, конечно, будут интереснее и важнее, чем всякие другие воспоминания, которые мог бы написать кто-либо другой. Ведь Вы разделяли всю его жизнь и знаете такие факты, которых не знает никто другой. Только не слишком старайтесь быть "объективной и беспристрастной", как Вы пишете. Мне кажется, что Ваши "Воспоминания" обязательно должны быть "субъективными", и чем субъективнее, чем непосредственнее они будут, тем ценнее они будут для всех почитателей и для тех, которые будут ими пользоваться, как материалом и источником. Простите, что позволил себе высказаться откровенно. Ваш В. Михельсон".

Мои "Воспоминания" не застали уже его в живых — опоздали.

Затянула я свои воспоминания по многим причинам. Во-первых, для писания не было времени, его не хватало даже для чтения, весь день поглощала всевозможная работа по дому, стряпня, штопка и чинка старой одежды

тоже брали немало времени, летом огород, стирка, только занятия с Зоей не давали опроститься совсем, старалась попить ее духовной пищей хоть малость. Во-вторых, не на чем было писать черновики, собирала повсюду разные клочки бумаги; оберточной из лавок даже, бывало, не соберешь — и там шла все больше печатная; даже, стыдно сказать, употреблялись на обертку сочинения известных писателей: Писемского, Помяловского, Гончарова и других, и я с грустью вспоминала предсказание Гейне. Даже прочли как-то в "Красной газете" горькую шутку: "...Нет, друзья мои, заворачивать надо с умением. Понимать надо, что во что и кому что во что: селедка любит энциклопедию Брокгауза и Эфрона, копченой обязательно подай газету; вобла любит научную литературу и больше всего о жизни бабочек; окорок любит обязательно в стихи Маяковского"... Даже советовалось: "И чтобы Госиздату руководство не издать!". В-третьих, мешала писанию и разная хворость, особенно моя хроническая малярия, хотя меня уже снабдил бумагой для переписки — спасибо ему — А.К. Болдырев. <...>

Как-никак, я все же кончила и рада, что исполнила, хоть неладно и поздно, свое обещание; а боюсь, угодила ли желающим? Но на всех ведь не угодишь!

Воспоминания прошлого счастья и несчастья — это надрыв души, поэтому иногда приходилось (невыносимо писать было) откладывать в долгий ящик.

Да к тому же, как справедливо сказал Гете: "Вдохновение не селедка — его не засолишь".

Писала я одну правду, не лицеприятствовала (а правда, говорят, глаза колет, но и не моя же тут вина). Ошибочные взгляды могли быть, но писалось, не мудрствуя лукаво.

Повторяю и повторяю: личность Евграфа Степановича несколькими штрихами не опишешь. Он принадлежал к тем редчайшим натурам по своей глубине души и разносторонности, как например, Л.Н. Толстой, поэтому после него осталась большая груда писем к нему от разнокалиберных людей¹⁸⁷, прибегавших к нему не только за научной, но и за материальной помощью. "Просит — значит, нуждается". Часто его надували, обещая вернуть долги. "Давай, но возвращения не жди", — вот его фразы. <...>

Евграф Степанович мог бы уехать за границу, где ему всегда нашлось бы место, но он не пожелал покинуть Россию при ее новой судорожной стройке, при возвышенном ее порыве, а беспощадный голод его сгубил. Наша матушка Русь испытала сильную встряску, косность ее взорвана, зализывать раны ей некогда, она торопится строить новое.

Добиваясь социалистического строя, мы точно лезем на необыкновенно крутую высоченную горищу, и с таким трудом лезем, что сердце заходится; многие уже надорвались и попадали в пропасть. Оставшиеся вылезают из кожи и все лезут и лезут, хотя вершина горы, где маячит желанный блуждающий огонек, чуть видна; но хорошо видно, как под горой идет пир горой: пьянство, разврат, грабежи и кровавая классовая борьба; много вырожденцев-убийц; погоня за копейкой.

"Как нельзя судить об отдельном человеке по тому, что он думает, точно так же нельзя судить о революционной эпохе по ее сознанию", — писал когда-то Маркс.

- ¹ Рукопись под заглавием "Императорская Петербургская Академия наук" хранится в ЛО Архива АН СССР (Ф. 831. Оп. 1. N 22. Л. 12—55). Написана, вероятно, в 1915—1916 гг. Касается в основном истории взаимоотношений Е.С. Федорова и Петербургской Академии наук, но одновременно содержит автобиографический материал. Впервые опубликована в 1991 г. (Научное наследство. Е.С. Федоров. Переписка. Неизданные и малоизвестные работы. Т. 16. Л.: Наука, 1991).
- ² "Современник" — литературный и общественно-политический журнал, выходивший в Петербурге в 1836—1866 гг. Основан А.С. Пушкиным. В 1847 г. издателями его стали Н.А. Некрасов и И.И. Панаев, идейным руководителем был В.Г. Белинский. В нем сотрудничали А.И. Герцен, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский и др.
- ³ "Русская старина" — ежемесячный исторический журнал; выходил в Петербурге в 1870—1918 гг.
- ⁴ Смольный институт — закрытое привилегированное женское учебно-воспитательное заведение в Петербурге для дворянских дочерей. Открыт в 1764 г., просуществовал до 1917 г.
- ⁵ Ушинский К.Д. (1824—1870) — знаменитый педагог. С 1859 г. был инспектором Смольного института. Ушинский построил учебный процесс на прогрессивных началах: знакомил воспитанниц с произведениями лучших русских писателей, широко применял принцип наглядности обучения и т.п. По доносу был уволен в 1862 г.
- ⁶ Шла франко-прусская война, развязанная Францией, стремившейся к гегемонии в континентальной Европе. В ходе войны немцы продвинулись вглубь Франции вплоть до Парижа. В сентябре 1870 г. империя Наполеона III пала, во Франции была провозглашена республика. С этого времени война со стороны Франции стала носить освободительный характер. Патриотический подъем охватил всю Францию и нашел отклик в России.
- ⁷ Медико-хирургическая академия — высшее учебное заведение в Петербурге. Образована в 1798 г. на базе госпитальных школ, созданных в 1733 г. В 1881 г. была преобразована в Военно-медицинскую академию с целью подготовки врачей для военного и морского ведомств. Сыграла выдающуюся роль в развитии естествознания и медицины в России. В ней работали в разное время И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, В.М. Бехтерев, Н.Н. Зинин, А.П. Бородин, П.Ф. Лесгафт, К.М. Бэр и многие другие. В 1872 г. на базе Академии были открыты Высшие медицинские женские курсы, положившие начало женскому медицинскому образованию в России.
- ⁸ Большой театр в Петербурге иначе назывался Каменным театром. До середины XIX в. служил основной сценой, где ставились русские и зарубежные оперы. В 1896 г. на месте Каменного театра было построено здание Консерватории.
- ⁹ Е.С. Федоров вначале учился во Второй военной гимназии в Петербурге (1867—1869), а затем закончил военное Николаевское инженерное училище (1872) в Петербурге, которое пользовалось правами высшего учебного заведения. Был выпущен офицером.
- ¹⁰ Е.С. Федоров, не выходя из офицерского звания, поступил вольнослушателем в 1873 г. в Медико-хирургическую академию. Окончил успешно первый курс, но вынужден был ее оставить в связи с циркуляром министра просвещения Д.А. Толстого об обязательном представлении аттестата зрелости, которого Е.С. Федоров не имел, так как ушел из последнего класса гимназии, блестяще сдав экзамены в Николаевское инженерное училище (1869 г.), в которое был зачислен даже вопреки закону, не допускавшему приема раньше полных 16 лет.
- ¹¹ Е.С. Федоров вышел в отставку с военной службы в 1874 г., решив целиком посвятить себя науке.
- ¹² Здесь автор заблуждается. К. Маркс и Ф. Энгельс интересовались Россией и специально изучали русский язык. Они верили в близость русской революции, но скептически относились к будущему крестьянской общины. В этом они расходились с народниками. Маркс и Энгельс были в дружеских отношениях со многими русскими революционерами, со многими находились в переписке. Маркс написал предисловие к русскому переводу "Коммунистического манифеста", сделанному Г.В. Плехановым. В августе 1880 г. он прислал через Гартмана две свои фотографии в знак симпатии к народникам.

* Комментарии составлены Е.М. Доливо-Добровольской.

- ¹³ "Перфекционизм" — философское произведение Е.С. Федорова, к работе над которым он возвращался в течение многих лет. Напечатано оно было в 1906 г. (Изв. СПб. биол. лаборатории. Т. VIII, вып. 1. С. 25—65. Вып. 2. С. 9—67). Термин "перфекционизм" введен Е.С. Федоровым и означает "совершенствование". Е.С. Федоров делает попытку показать общность основных законов эволюции, которым следуют в своем развитии самые разнообразные явления. Закономерности, установленные точными науками (физикой в широком понимании), он считает возможным распространить на биологию, психологию и социологию. Е.С. Федоров считает, что эволюция никогда не может закончиться достижением совершенства, а лишь вечно к нему стремится. Возникающие в процессе эволюции наиболее "стройные", совершенные элементы неизбежно и скоро гибнут, освобождая место новым, еще более стройным и совершенным.
- ¹⁴ Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский — родной брат деда Софии Перовской.
- ¹⁵ Отец Евграфа Степановича — Степан Иванович Федоров, умер в 1866 г. На обратной стороне фотографии отца рукой Евграфа Степановича написано: "Родился в крестьянской семье, откуда и вынес некоторую грубость манер, неприятно действовавшую на людей высшего света. Отличительная черта — неустойчивость и доброта. Не сделал ничего великого и умер мирным генералом в 1866 г. 15 июня в Баку в командировке".
- ¹⁶ Владимирские волные курсы (названы по имени проспекта в Петербурге) — предшественники знаменитых Бестужевских курсов (1878 г.). В 70-х годах прошлого века здесь читали по вечерам общеобразовательные лекции по различным разделам науки виднейшие петербургские профессора: Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, А.Н. Бекетов, П.Ф. Лесгафт и др. Лекции были очень популярны в обществе.
- ¹⁷ Еще с ранней юности у Е.С. Федорова под влиянием статей Д.И. Писарева появились в сознании мысли "об обязанностях к отечеству", в нем растет оппозиционное настроение к власти имущим. Впоследствии он писал: "... я сознательно и на всю жизнь стал врагом той хищной клики, которая захватила и почти непрерывно умела удерживать в своих руках свою зловредную, пагубную власть".
- ¹⁸ Существует семейное предание, что скрипачом, подававшим сигналы игрой на скрипке во время побега П.А. Кропоткина из тюремного госпиталя в 1876 г., был Е.С. Федоров.
- ¹⁹ Русско-турецкая война 1877—1878 гг. явилась следствием подъема национально-освободительного движения на Балканах. Россия выступала под лозунгом защиты братьев-славян. Освободительный характер войны сделал ее популярной. Тысячи добровольцев участвовали в сражениях. Русская армия одержала победу. В январе 1878 г. был заключен Сан-Стефанский мирный договор. От пятивекового турецкого ига была освобождена Болгария, обеспечена полная независимость Румынии, Сербии и Черногории.
- ²⁰ "Начало" — первая в России нелегальная социалистическая газета. Вышли номера в марте—мае 1878 г. Е.С. Федоров был одним из ее организаторов. Газета ставила своей целью критику существующего строя и объединение социалистов разного толка для выработки революционной программы. Газета освещала освободительное движение в России и на Западе, рассказывала о положении политических ссыльных, вела полемику с либеральной печатью. В ней была помещена одна из первых публикаций Г.В. Плеханова "Стачка рабочих на новой бумагопрядильной фабрике в С.-Петербурге". С газетой был знаком Ф. Энгельс.
- ²¹ Птаха, Пташка, Птица (по-разному у разных авторов) — подпольная кличка наборщика-революционера Сергея Николаевича Лубкина (1854—1880), работавшего в трех подпольных типографиях, выпускавших газеты "Начало", "Земля и воля", "Народная воля". Известен также под именем Абрам. Застрелился при разгроме типографии "Народная воля". Безымянный в воспоминаниях С.М. Степняка-Кравчинского, позже он у разных авторов предстает под разными именами: Абрам Лубкин, Любкин, Абрам Лунгин, Ногин.
- ²² Федоров был не только одним из редакторов, но и автором. Он вел раздел "Хроника социалистического движения на Западе", печатал отдельные заметки в разделе "Разные известия", являлся автором статей "2-й французский рабочий конгресс", "Краткий очерк социалистического движения на Западе за 1877 год" и т.д.
- ²³ С.М. Степняк-Кравчинский писал: "...газетка ["Начало"] стояла у нее [полицей] белым в глазу, и все жандармские ищейки лезли из кожи, чтобы напасть на след таинственных издателей" (Подпольная Россия. ГИХЛ, 1960. С. 182).
- ²⁴ Судебный процесс над народниками, участниками "хождения в народ", происходил в Петербурге в октябре 1877—январе 1878 г. Народники рассматривали крестьянскую общину как зародыш и основу социализма, считали крестьянство главной революционной силой. Основными идеологами были М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев.
- ²⁵ Последний номер газеты "Начало" (четвертый) вышел в мае 1878 г. Судя по литературе о подпольных типографиях 70-х годов, считалось, что с прекращением выпуска газеты прекратил существование и сама типография на Кирочной. Настоящие воспоминания дают иные сведения. Оказывается, типография продолжала работать, только печатала другие материалы (таких подробностей Людмила Васильевна могла и не знать). Переехала типография с Кирочной только весной 1879 г. Глубокая конспирация даже среди единомышленников сделала неизвестной ее работу после мая 1878 г. Эти сведения должны представлять интерес для историков.

- ²⁶ Газета "Начало" из-за своей оторванности от активной революционной деятельности не имела успеха среди русских революционеров. Фразу «не "Начало", а мочало» бросил Д.А. Клеменц. Автор воспоминаний ошибается, считая, что "Начало" было переименовано в "Народную волю". После мая 1878 г. типография на Кирочной газет больше не печатала. Другая группа активно настроенных революционеров-народников, объединившихся в организацию "Земля и воля", стала выпускать с октября 1878 г. свою газету под названием "Земля и воля", но в другой типографии, на Николаевской улице (ныне улица Марата). Всего вышло пять номеров, последний — в апреле 1879 г. В редакции входили С.М. Кравчинский, Д.А. Клеменц, Н.А. Морозов (будущий шлиссельбуржец), Г.В. Плеханов, Л.А. Тихомиров. Неудачи в деревне, усиление репрессий привели к образованию в организации "Земля и воля" фракции террористов (Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Л.А. Тихомиров, А.А. Квятковский и др.), которые стали выпускать листок "Земля и воля". В августе 1879 г. произошел раскол. Образовались две организации: "Народная воля" (террористическая) и "Черный передел". Группа террористов стала выпускать свою газету "Народная воля" в типографии в Саперном переулке с октября 1879 г., куда она переехала с Николаевской улицы. Типография просуществовала до января 1880 г. и была разгромлена полицией. Об этих последних трагических событиях и пишет позже Людмила Васильевна.
- ²⁷ Правильнее сказать "типография", а не газета "Начало", так как последний номер газеты вышел в мае 1878 г.
- ²⁸ А.К. Соловьев (1846—1879), народник, член общества "Земля и воля", разочаровавшийся в деревенской пропаганде, по своей инициативе совершил 2 апреля 1879 г. неудачное покушение на Александра II. Был повешен в мае 1879 г.
- ²⁹ Типография в Саперном переулке, которая печатала газету "Народная воля", была раскрыта полицией в ночь на 18 января 1880 г. "Птах" застрелился, а остальные четверо, в том числе Н.К. Бух, были арестованы.
- ³⁰ Здесь, действительно, речь идет о газете "Народная воля", но выпускаемой в типографии в Саперном переулке. Вместе с Н.А. Морозовым редактором газеты был и Л.А. Тихомиров.
- ³¹ В 1879 г. Е.С. Федоров уже закончил свой первый большой научный труд "Начала учения о фигурах". А впервые он заинтересовался геометрией многогранников еще в 16-летнем возрасте, в 1869 г., будучи студентом Николаевского инженерного училища. Эта работа привела его в соприкосновение с кристаллографией и определила выбор специальности в Горном институте. Однако работа была напечатана лишь в 1885 г. Ее глубину и значение не поняли ни отечественные кристаллографы, ни математики. Исключением был А.В. Гадолин, настоявший на ее публикации. Но эта работа, в числе других его работ, была основанием в дальнейшем (1896 г.) для избрания Е.С. Федорова членом Баварской академии наук.
- ³² Взрыв в Зимнем дворце был совершен С.Н. Халтуринным 5 февраля 1880 г. Динамит был заложен под столовой. Но покушение не удалось, так как Александр II задержался и в обычное время не вышел в столовую.
- ³³ Организация "Черный передел" возникла в августе—сентябре 1879 г. после раскола "Земли и воли". Сторонники этой организации были за широкую пропаганду и агитацию в массах, противниками террора. Членами ее были Г.В. Плеханов, В. Засулич, П.Б. Аксельрод и др. Аресты 1880—1881 гг. ослабили ее, к концу 1881 г. она перестала существовать. Типография "Черного передела" была разгромлена в январе 1880 г.
- ³⁴ См. комментарий 29.
- ³⁵ "Русское богатство" — ежемесячный литературный и научный журнал, издававшийся в Петербурге в 1876—1918 гг. В 1880—1882 гг. издание осуществлялось группой писателей либерально-народнического направления: С.Н. Кривенко, П.В. Засодимским, Н.Н. Златовратским и др.
- ³⁶ Е.С. Федоров писал: "В эти, как и в последующие годы, перебиваясь ради жизни разнообразными занятиями, отнимавшими у меня очень мало времени, преобладающее время, и притом распределяя по часам, посвящал изучению разнообразных наук и, по дороге, первым опытам составления набросков по разнообразным отраслям науки, особенно по математике и физике, но частью и по химии".
- ³⁷ Евграф Степанович имеет в виду личную драму брата: его сердечную привязанность к замужней женщине, которой он остался верен до последних своих дней, но которая умело пользовалась этим в своих интересах, по словам Людмилы Васильевны. (см. Богаева Е.Ф.)
- ³⁸ Е.С. Федоров имеет в виду свой труд "Перфекционизм". См. комментарий 13.
- ³⁹ Вера Фигнер была арестована в феврале 1883 г. и 20 лет провела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Умерла в 1942 г., прожив 90 лет.
- ⁴⁰ Казнь была совершена 3 апреля 1881 г.
- ⁴¹ Это не совсем так. Действительно, аресты после 1 марта 1881 г. нанесли непоправимый урон народовольческой организации, но деятельность оставшихся не раскрытыми кружков не прекратилась, хотя она в основном сводилась к пропаганде среди рабочих, к выпуску нелегальных брошюр и прокламаций.
- ⁴² То, что Дегаев не мог сообщить об Е.С. Федорове компрометирующих его сведений, спасло Евграфа Степановича. В подполье у Е.С. Федорова была кличка "Итальянец". Власти этим лицом интересовались. На допросе Виктора Обнорского в октябре 1879 г. ему был задан вопрос об "Итальянце", но псевдоним раскрыть им не удалось.

- ⁴³ С.П. Дегаев, отставной офицер, участник народовольческого движения с первого года его существования, был введен в состав Исполнительного комитета "Народной воли" летом 1882 г. по предложению Веры Фигнер. В декабре того же года он был арестован и стал агентом-провокатором. Его предательство привело к разгрому "Народной воли", Военной организации и др.
- ⁴⁴ Геологический комитет — правительственное учреждение, созданное для изучения геологического строения европейской России и составления геологической карты. Основан в 1882 г. Сыграл важную роль в развитии геологии в России. Сейчас — Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ) в Ленинграде.
- ⁴⁵ Находясь на канцелярской должности консерватора, делопроизводителя и казначея в Геологическом комитете в течение 10 лет, Евграф Степанович с 1884 по 1890 г. ежегодно летом выезжал руководителем экспедиции на Северный Урал по приглашению с Горным департаментом. Но интенсивного научного труда он не прекращал. За эти годы вышли его основные труды по теоретической кристаллографии, объединенные им впоследствии в цикл под общим названием "Начала анализа симметрии", центральной в котором была работа "Симметрия правильных систем фигур" — вершина его деятельности и целая эпоха в науке о кристаллах (см.: Классики науки. Е.С. Федоров. Симметрия и структура кристаллов. Основные работы. М.: Изд-во АН СССР, 1949). В эти же годы им были созданы два уникальных прибора для исследования кристаллов — двухлучный гониометр и универсальный столик, составившие эпоху в области кристаллографических исследований. Непонимание его работ и непризнание его как ученого больно ранilo Евграфа Степановича, и эта горечь сильно отразилась на его характере и обстоятельствах жизни.
- ⁴⁶ Е.С. Федоровым была напечатана "Заметка о Кунгурских пещерах" на материале студенческой командировки в 1882 г. Материалы для геологии России, СПб., 1883, т. XI, с. 210—243.
- ⁴⁷ Было ложное сообщение, будто бы С.П. Дегаев умер в Новой Зеландии. Он хотел, чтобы его имя было забыто. Сам он в это время перебрался в Америку, жил под именем Александра Пэлла, окончил университет, был профессором математики. Умер в США в 1920 г.
- ⁴⁸ В России работы Е.С. Федорова могли оценить только очень немногие. Имя его оставалось мало известным. Остро стал ставиться вопрос и о приоритете его открытий, и вообще о приоритете русской науки, так как за границей стали появляться работы, частично повторяющие его выводы. В связи с этим с 1890 г. Евграф Степанович стал печатать рефераты своих работ и многие статьи в иностранных журналах (библиографию работ см.: Рукописные материалы Е.С. Федорова. Труды Архива. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1957. Вып. 14). На Западе Е.С. Федоров сразу же выдвинулся в первые ряды ученых-кристаллографов и пользовался большим уважением.
- ⁴⁹ Речь идет о фундаментальной работе Е.С. Федорова "Симметрия правильных систем фигур" (1890). В этой работе Е.С. Федоров впервые выводит 230 законов, в соответствии с которыми располагаются в пространстве атомы, ионы и молекулы в кристаллах. Замечательно, что теоретически эти законы были открыты за четверть века до экспериментального их подтверждения (1912). К счастью, Евграф Степанович дожил до этого триумфа, хотя думал, что для этого потребуются не меньше столетия. Одновременно и независимо от Е.С. Федорова в Германии решал ту же задачу, другим путем, математик А. Шёнфлис. Они вступили в переписку, когда это обнаружилось. Судя по письмам, в конечных результатах Е.С. Федоров опередил Шёнфлиса, и Шёнфлис письменно признал за ним приоритет.
- ⁵⁰ Работа "Основные формулы аналитической геометрии в улучшенном виде" была издана в 1888 г. Она имеет особое значение для кристаллографии, так как позволяет алгебраически выразить совокупности элементов симметрии (видов симметрии) конечных фигур.
- ⁵¹ Евграф Степанович эти слова приписывает П.В. Еремееву ("Императорская Петербургская Академия наук", см. комментарий 1).
- ⁵² Очерки об экспедициях по Северному Уралу все же были Е.С. Федоровым написаны. Они найдены в черновиках в архиве издательства Сабашниковых и хранятся в рукописном отделе Государственной библиотеки им. В.И. Ленина в Москве. В 1991 г. они были изданы (см. комментарий 1). В этих очерках "Семь лет в мире камней" есть и вышеупомянутый рассказ "Страшная встреча".
- ⁵³ Выморочное имение — имение, которое осталось после умершего хозяина, не оставившего завещания и не имеющего законных наследников.
- ⁵⁴ Силоамская купальня находится около Иерусалима. Вода ее источника считается священной, исцеляющей больных.
- ⁵⁵ Вольное экономическое общество — первое в России из ученых обществ. Создано в 1765 г. в целях "распространения в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений". В 1870—1890 гг. было руководящим центром оспаривания в России. После Октябрьской революции прекратило свое существование.
- ⁵⁶ Напрасно Евграф Степанович укоряет себя. Им была исследована и описана значительная область Северного Урала и прилегающих Печорского и Сосьвинского (Березовского) краев (площадью более 45 000 кв. км), составлены геологические карты, открыты ранее не известные геологические отложения и определен их возраст. И это в труднейших условиях безлюдного Севера (см. комментарий 52).

⁵⁷ На соискание премии митрополита Макария, присуждаемой Академией наук, Е.С. Федоров подал в 1890 г. две работы: "Начало учения о фигурах" и "Симметрия правильных систем фигур". В воспоминаниях "Императорская Петербургская Академия наук" (см. комментарий 1) Е.С. Федоров пишет, что он не нашел своих работ в списках сочинений, представленных на премию. Однако в письме неперменного секретаря Академии наук С.Ф. Ольденбурга от 24 марта 1916 г. (см. с. 293) указывалось, что в бумагах, хранящихся в Академии наук, в списке сочинений на соискание премии напечатаны обе работы. В ответном письме Евграф Степанович не подвергает это сомнению, но указывает, что Академия наук и не предприняла никаких мер, чтобы объективно оценить эти работы, хотя именно за них, в основном, и ряд других работ он был избран в 1896 г. в члены Баварской Академии наук.

⁵⁸ П.В. Еремеев (1830—1899) и Е.С. Федоров принадлежали к разным поколениям и разным научным школам. Еремеев — представитель старой описательной школы, который не только не смог понять теоретических работ Федорова и оценить их новаторство и глубину, но он не оценил даже знаменитый универсальный (федоровский) столик — прибор для исследования оптических свойств кристаллов под микроскопом. При этом в 1894 г. П.В. Еремеев был избран в Академию наук, а Евграф Степанович забаллотирован. Е.С. Федоров болезненно переживал это всю свою жизнь, но был все же не совсем справедлив в своем отношении к Еремееву. Труды П.В. Еремеева сохранили свое значение для минералогов до настоящего времени. Его выборы в Академию также понятны: его многочисленны труды знали и понимали, а достижения Е.С. Федорова тогда казались заумными. Подробнее об этом см.: *Аляев В.Ф.* Павел Владимирович Еремеев. Л.: Наука, 1986.

⁵⁹ Федоров Евграф Евграфович (1880—1965) окончил Петербургский университет в 1908 г. Работал до 1934 г. в Магнито-метеорологической обсерватории в Павловске под Ленинградом, затем в Институте географии АН СССР. Крупный климатолог, разработал основы комплексной климатологии. Член-корреспондент АН СССР с 1946 г.

⁶⁰ В 1891 г. вышла книга Е.С. Федорова "Краткое руководство по кристаллографии". 2-е и 3-е издания (1897 и 1901 гг.) назывались "Курс кристаллографии", 4-е издание — "Сокращенный курс кристаллографии" (1910 г.). Книги оригинальные, математически строго изложенные. Каждое последующее издание не повторяло предыдущее, глубина и полнота их менялись с творческим ростом самого Е.С. Федорова. Это классические труды, оставившие глубокий след в учебной литературе по кристаллографии.

⁶¹ В 1892 г. Е.С. Федоров проводил геологические исследования в Ветлужском, Кологривском и Варнавинском уездах Костромской губернии, 1893 г. — в Вятской губернии.

⁶² См. комментарий 49.

⁶³ Вульф Георгий (Юрий) Викторович (1863—1925)* — крупнейший кристаллограф и кристаллофизик. Область творческой деятельности весьма разнообразна. Широко известны работы Г.В. Вульфа по росту кристаллов, жидким кристаллам, методам обработки кристаллографических данных (сетка Вульфа). Г.В. Вульфom одновременно с английским кристаллографом Брэггом и независимо от него был выведен основной закон интерференции рентгеновских лучей, отраженных кристаллом (формула Брэгга—Вульфа). В 1913 г. Вульф поставил первые в России рентгеноструктурные исследования. Первый инцидент, который осложнил отношения между Е.С. Федоровым и Г.В. Вульфom, произошел в 1890 г. в связи с публикацией рефератов работ Е.С. Федорова в немецком кристаллографическом журнале. Положение, в котором оказался Вульф, было действительно неприятным, и ему можно посочувствовать (подробнее об этом см.: *Шафрановский И.И.* Е.С. Федоров. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 95—102). Второй инцидент связан с изобретением линейки для пологих дуг. Идея линейки устно была изложена Вульфom. Е.С. Федоров обосновал ее математически, построил и опубликовал, назвав линейку вульфовской. К сожалению, возникшая неприязнь стала углубляться. Так, в 1896 г. Вульф опубликовал серию работ по федоровскому универсальному методу без ссылок на его автора, чем очень обидел Евграфа Степановича. Федоров ценил Вульфа как ученого, благодаря его рекомендации Вульф был избран профессором Казанского университета в 1897 г.

⁶⁴ Е.С. Федоров изобрел два замечательных прибора, которые произвели полный переворот в методах экспериментальных исследований кристаллов. Один — двухкружный теодолитный гониометр для угловых измерений кристаллов (1889 г.), другой — прибор для оптических исследований кристаллов под микроскопом, известный как "универсальный федоровский столик" (1891 г.). В 1893 г. Е.С. Федоровым была опубликована классическая монография "Теодолитный метод в минералогии и петрографии", описывающая приемы работы с этими приборами. Вторая часть монографии "Кристаллооптические исследования" переиздана в 1953 г. См.: Универсальный столик Е.С. Федорова. М.: Изд-во АН СССР, 837 с. В этой толстой книге помещено также около двух десятков статей Е.С. Федорова, посвященных кристаллооптическим исследованиям, и работы других наших ученых, продолжавших развивать универсальный метод.

⁶⁵ Отзыв был прислан П. Гротом. 7 декабря 1893 г. Е.С. Федорову была присуждена премия Петербургского минералогического общества. Текст письма Грота см. на с. 146.

*Свои научные работы он подписывал "Г. Вульф", в общении же он был всегда Юрием Викторовичем. — *Примеч. сост.*

- ⁶⁶ Речь идет об универсальном федоровском столике, представленном на Всемирной промышленной выставке в Чикаго в 1893 г. За этот прибор Е.С. Федорову была присуждена премия.
- ⁶⁷ В 1894 г. должны были состояться выборы на вакантное место в Академии наук. Е.С. Федоров был включен в список кандидатов. Единственным побуждением Евграфа Степановича к этому была возможность в случае избрания целиком посвятить себя науке. Он обратился к П. Гроту и Г. Чермаку — наивысшим авторитетам в области минералогии и кристаллографии на Западе — с просьбой о письме, "в котором Вы подчеркнули бы мои научные права и высказали мнение о том, каких взглядов на мои работы придерживаются лучшие специалисты за границей" (см.: Научное наследство. Т. 16. Л.: Наука, 1991, письмо П. Гроту от 28 ноября 1893 г.). П. Грот и Г. Чермак прислали обращение к Президенту Академии наук, в котором были такие строки: "...Россия имеет в лице Федорова авторитет на поприще кристаллографии, которому мы завидуем". Однако избранным оказался П.В. Еремеев, хотя его многочисленные труды (по описательной минералогии) с современной точки зрения не могут быть поставлены в один ряд с достижениями Е.С. Федорова. Но следует признать, что в то время избрание П.В. Еремеева было и понятным: его многочисленные труды знали и ценили, а работы Е.С. Федорова казались заумными и чрезмерно сложными отечественным ученым, представителям старой школы.
- ⁶⁸ Русское техническое общество — научное общество, основанное в 1866 г. Задача общества — содействие развитию техники и промышленности России. Евгений Степанович, брат Е.С. Федорова, — известный изобретатель в области воздухоплавания и авиации — много лет был председателем воздухоплавательного отделения общества. Инженер-полковник, профессор, автор многочисленных работ по аэродинамике и теории летания. В 90-х годах XIX в. он составил проект оригинального аэроплана с разрезным крылом, построил его и проводил испытания в полете, буксируя его за автомобилем. Оригинальная конструкция аэроплана Федорова явилась прототипом целого семейства аэропланов. Ряд его идей и конструкций после его смерти (1909 г.) был осуществлен за рубежом и запатентован другими лицами. Обычная история для России. См. также комментарий 128.
- ⁶⁹ Речь идет о: 1) публикации статьи "Проблема-минимум в учении о симметрии" в немецком журнале (*Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, 1894. Vol. 1. S. 56—78). В работе доказывается, что самые симметричные формы обладают также и минимальной поверхностью; 2) корректуре работы "Универсально-теодолитный метод в минералогии и кристаллографии", часть 2 (*Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie*. 1893. Vol. 23. S. 229—268); 3) статье "Новые приборы для геометрических и оптических исследований кристаллов" (*Mémoires de l'Acad. des Sciences*. 7-e serie. 1894. Vol. 42, N 1. S. 1—27); 4) статье "Основания морфологии и систематики многогранников" (Зап. СПб. Минерал. о-ва. 1893. Ч. 30. С. 241—341); 5) отчете о деятельности геологической партии Северной экспедиции "Геологические исследования в Северном Урале в 1887—1889 годах" (Горн. журн. 1896. Т. 2, 3; 1897. Т. 3; 1898).
- ⁷⁰ А.Г. Столетов (1839—1896) — выдающийся физик, профессор Московского университета. Своим сочувствием к революционным выступлениям студентов он навлек на себя немилость правительства. Это послужило одной из причин, по которым в 1893 г. его кандидатура в Академии наук была неожиданно снята, что тяжело отразилось на его душевном состоянии. В 1896 г. он умер.
- ⁷¹ См. комментарий 65.
- ⁷² Д.И. Менделеев (1834—1907) — великий ученый, был дважды отвергнут при представлении его кандидатуры в члены Академии наук — в 1874 и 1880 гг. Это позорное для Академии решение вызвало резкий протест общественности. Он был избран почетным членом многих университетов России и Европы, Академий Запада, научных обществ России, Европы, Америки.
- ⁷³ Работа Е.С. Федорова как геолога превзошла все ожидания, она буквально спасла этот край. Была составлена детальная геологическая карта Богословского округа, возрождены старые прииски и открыты новые рудные месторождения.
- ⁷⁴ Никитин Василий Васильевич (1867—1942) — ученик, помощник и друг Евграфа Степановича. Автор классической монографии "Универсальный метод Федорова". С 1901 г. — профессор Петербургского Горного института, в 1917—1918 гг. — его директор. В начале 20-х годов он уехал в Югославию, был заведующим кафедрой в университете в Любляне, стал академиком. Умер в 1942 г.
- ⁷⁵ См. комментарий 31, 57. Сам же Федоров писал: "Едва я приступил к опубликованию серии своих работ [в иностранных журналах], немедленно же после опубликования той части, которая была признана не заслуживающей внимания в нашей Академии, Баварская академия избрала меня своим членом-корреспондентом".
- ⁷⁶ У Е.С. Федорова появился второй помощник — Евгений Дмитриевич Стратанович. Федоров писал, что В.В. Никитин и Е.Д. Стратанович в настоящее время являются единственными специалистами, "которые лучше всего ориентируются в применении универсального метода". Е.Д. Стратанович — автор монографии "Определение плагиоклазов по новейшему способу Федорова" (1899 г.)
- ⁷⁷ Е.С. Федоров прибыл в Берлин 20 декабря 1897 г. Вернулся в Россию, по-видимому, к середине января, так как есть письмо к П. Гроту от 20 января 1898 г. из России со словами благодарности за пребывание в Германии. О своих впечатлениях Федоров более подробно

пишет в воспоминаниях, помещенных в "Императорской Петербургской Академии наук" (см. комментарий 1).

⁷⁸ Федоровский геологический музей до сих пор существует в г. Краснотурьинске (б. Турьинские Рудники). Небольшой коллектив сотрудников музея с большой любовью и заботой не только сохраняет экспонаты, но и ведет просветительскую работу, устраивая систематические экскурсии. К сожалению, местные геологические службы не используют богатейшие коллекции музея. В первые десятилетия существования он, как и было задумано, был своего рода штабом геологической службы Богословского горного округа. С рудников поступали образцы горных пород с точной привязкой места и времени. В музее определялся минеральный состав образцов и давались рекомендации, как проводить дальнейшие работы. Так, в 1900 г. за 11 месяцев поступило более 10 000 образцов. К 1918 г. в музее насчитывалось 220 000 образцов, около 51 000 шлифов, ценная научная библиотека, различные приборы и пр. Это был уникальный, первый и единственный в России производственно-геологический музей. В первые же годы существования было открыто несколько месторождений. После революции подобные работы прекратились, хотя музей и помог уральским геологам открыть бокситы знаменитой Красной Шапочки и Белкинские огнеупорные глины.

⁷⁹ Е.Д. Стратанович и в последующие годы был причастен к политической деятельности. Избирался депутатом в Государственную думу. См. комментарий 76.

⁸⁰ Е.С. Федоров написал небольшую заметку в три страницы "Обобщение в высокой степени одной теоремы Евклида" и передал ее в Физико-математическое отделение Академии наук. А.А. Марков, которому она была дана на отзыв, объявил ее не заслуживающей внимания, не удосужившись даже прочитать. Статья была напечатана во французском математическом журнале под названием «Одна теорема "Начал" Евклида, выраженная в общей форме» (*Bulletin des sciences mathematiques. 2-e serie. Paris. 1894. Vol. 38, p. 1. S. 59—64*).

⁸¹ См. комментарий 15.

⁸² Речь идет об интервенции в Китае восьми империалистических держав, среди которых была и царская Россия. К 1898 г. Китай оказался поделенным между империалистическими государствами. Среди крестьянства и городской бедноты Китая возникло тайное общество И-хе-цзунь, которое в июне 1900 г. выступило против иностранных завоевателей и местных феодалов. Интервентами восстание было подавлено.

⁸³ Мальтус, автор книги "Опыт о законе населения" (1798 г.), предложил теорию, согласно которой производство средств существования увеличивается лишь в арифметической прогрессии, в то время как люди размножаются в геометрической прогрессии. Для того чтобы эти прогрессии были в равновесии, надо воспрепятствовать росту населения. Таким препятствием Мальтус считал бедность (разрушительная мера) и нравственную воздержанность (предупредительная мера). Взгляды Мальтуса оказали огромное влияние и на людей науки, и на практическую деятельность политиков, вызвав в Англии реформу законов о бедных, ухудшивших их положение. Большинство социалистов резко высказалось против взглядов Мальтуса.

⁸⁴ Катастрофа произошла 18 мая 1896 г. на Ходынском поле на окраине Москвы в дни коронации Николая II.

⁸⁵ Болдырев Анатолий Капитонович (1883—1946) — выдающийся ученик Е.С. Федорова и продолжатель его дела. С 1921 г. — профессор Горного института, заведующий кафедрой кристаллографии. После смерти Евграфа Степановича он возглавил кристаллографическую школу. Развивая идеи Федорова, Болдырев разработал более простой и доступный, чем федоровский кристаллохимический, метод определения вещества по гониометрическим измерениям. Замечательно, что таким методом за лабораторным столом, на музейных образцах, был открыт касситерит (оловянная руда) в Атянских россыпях на Урале. Болдырев создал одну из первых рентгенометрических лабораторий в нашей стране и предложил метод определения кристаллического вещества по их порошковым рентгенограммам. Были опубликованы два выпуска "Рентгенометрического определителя минералов", продолженные после смерти А.К. Болдырева его учеником В.И. Михеевым. По инициативе А.К. Болдырева в Ленинграде был создан Федоровский институт кристаллографии, минералогии, петрографии и рудных месторождений, где была разработана кристаллографическая номенклатура.

⁸⁶ Сетования Е.С. Федорова были не напрасны. В период первой русской революции 1905 г. Болдырев принимал активное участие в студенческом движении и в работе кружка эсеров. В 1910 г. он был исключен из Горного института, затем арестован и выслан на Урал с правом поступления на службу по специальности. Из ссылки вернулся в 1914 г. и только в 1919 г. окончил Горный институт. В период сталинских репрессий в 1938 г. он был арестован и выслан на Колыму. Спустя несколько лет использовался как специалист-геолог в Геолого-разведочном управлении Дальстроя. Сыграл выдающуюся роль в освоении минеральных богатств Северо-Востока страны. Смерть А.К. Болдырева была трагичной. 25 марта 1946 г. он выехал на машине из Магадана в рыбацкий поселок по льду бухты для чтения популярной лекции. Машина провалилась под лед. Мороз был 25—30°. Анатолий Капитонович выбрался из воды, несколько сот метров пробежал по торосам, поднялся на крутую береговую террасу, присел на пенек и замерз недалеко от поселка (*Шафрановский И.И., Аляudin В.Ф. Анатолий Капитонович Болдырев. Л.: Наука, 1978*).

- ⁸⁷ В 1900 г. академики Н.Н. Бекетов, Ф.Б. Шмидт, А.П. Карпинский и Ф.Н. Чернышев на заседании Физико-математического отделения Академии наук вторично выступили с предложением избрать Е.С. Федорова в адъюнкты Академии по минералогии. 3 марта 1901 г. Физико-математическое отделение его избрало, а 5 мая 1901 г. это избрание было утверждено Общим собранием Академии наук.
- ⁸⁸ Ферсман Александр Евгеньевич (1883—1945) стал профессором в 1910 г., а в 1919 — академиком. Выдающийся минералог и геохимик. Придавал большое значение теоретическим основам поисков месторождений полезных ископаемых; один из инициаторов использования аэрофотосъемки. Автор популярных книг "Воспоминание о камне", "Занимательная минералогия", "Занимательная геохимия" и др.
- ⁸⁹ Студента Петровской земледельческой академии Иванова убил в 1869 г. Сергей Нечаев. Нечаев развивал план общественного преобразования, который Маркс и Энгельс охарактеризовали как "казарменный коммунизм". Во имя цели оправдывалось любое злодеяние: ложь, клевета, шантаж и пр. Студента Иванова Нечаев ложно обвинил в предательстве и убил. Этот инцидент лег в основу романа Ф.М. Достоевского "Бесы".
- ⁹⁰ 3 мая 1903 г. Е.С. Федоров подал прошение Президенту Академии наук с просьбой об освобождении его от обязанностей адъюнкта Академии, ввиду недооценки членами Академии его научных работ в прошлом и отрицательного отношения к его проекту организации Минералогического института при Академии наук.
- ⁹¹ Речь идет о русско-японской войне. Япония 6 февраля 1904 г. начала войну за господство на Дальнем Востоке; по своему характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон. Отсталость армии и флота и бездарность командования, обусловленные деградацией самодержавного строя, привели к поражению царской России. По Портсмутскому мирному договору (5 сентября 1905 г.) Россия потеряла южную часть острова Сахалин и право на аренду Порт-Артура и Южно-Маньчжурской железной дороги.
- ⁹² См. комментарий 91.
- ⁹³ См. комментарий 67.
- ⁹⁴ Е.С. Федоров предложил систему мин, статически держащихся в воде на определенной, заданной глубине. Впоследствии, во время первой мировой войны, в своих воспоминаниях "Императорская Петербургская Академия наук" Е.С. Федоров писал: "После того о судьбе моего предложения я никаких сведений не получил, и почему-то уверен, что таких мин в России не имеется и поныне" (см. комментарий 1).
- ⁹⁵ В.К. Плеве (1846—1904) — министр внутренних дел и шеф жандармов с 1902 по 1904 г., жестоко расправлялся с участниками революционного движения. Широко использовал провокации, создавая фальшивые рабочие организации под опекой жандармов и полиции. Убит 15 июля 1904 г. эсером Е. Сазоновым.
- ⁹⁶ Англо-бурская война 1899—1902 гг. — захватническая война Великобритании против южно-африканских республик Оранжевая и Трансвааль, завершившаяся превращением их в английский доминион Южно-Африканский Союз (1910 г.). Буры (африканеры) — потомки европейских, преимущественно голландских колонистов.
- ⁹⁷ Г.А. Гапон (1870—1906) — священник в одном из рабочих районов Петербурга. Создал по типу зубатовской рабочую организацию, чтобы отвлечь рабочих от политической борьбы. Члены ее распространяли религиозную литературу, организовывали духовные хоры, лекции. В декабре 1904 г. администрация Путиловского завода уволила четырех рабочих. В ответ рабочие забастовали, а 8 января 1905 г. бастовали все крупные заводы Петербурга. Гапон предложил рабочим составить петицию и отправиться к царю. 9 января 140 тысяч человек двинулись к Зимнему дворцу. Мирная рабочая демонстрация была расстреляна ("кровавое воскресенье"). Вечером того же дня рабочие Петербурга начали строить баррикады. Это было начало первой русской революции. Гапон в марте 1906 г. был повешен на даче под Петербургом.
- ⁹⁸ И.П. Калаяев (1877—1905) — член боевой группы партии эсеров. В июле 1904 г. принимал участие в покушении на Плеве, 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, дядю Николая II. В мае повешен.
- ⁹⁹ Чтобы подавить выступление бакинского пролетариата, полиция спровоцировала в Баку татаро-армянскую резню, длившуюся 4 дня (6—9 февраля 1905 г.). Бакинский комитет РСДРП развернул широкую агитацию и способствовал прекращению резни.
- ¹⁰⁰ "Доктор Штокман" — пьеса классика норвежской литературы Г. Ибсена. У Ибсена пьеса называлась "Враг народа". Поставлена в Московском Художественном театре в октябре 1900 г.
- ¹⁰¹ Пироговские съезды проводило Общество русских врачей в память Н.И. Пирогова. Проходили съезды с 1885 по 1918 г. Съезды сыграли огромную роль в развитии медицинской науки, в деле организации общественной медицины (земской, городской, фабрично-заводской), в изучении санитарного состояния страны. В 1905 г. съезд был чрезвычайным по борьбе с холерой.
- ¹⁰² Земский собор — центральное сословно-представительное учреждение, возникшее в середине XVI в. в период укрепления Русского централизованного государства. Земские соборы представляли собой форму участия народного представительства в управлении страной. В разные времена менялись значения Земского собора, организация и даже принцип, лежащий в его основании.

После утверждения абсолютистской монархии (80-е годы XVII в.) Земские соборы были ликвидированы.

¹⁰³ "Московские ведомости" — газета, основанная в 1756 г. Московским университетом. Просуществовала до 1917 г. В 50-е годы XIX в. связь с университетом была утрачена. С конца XIX в. стояла на позициях великодержавного шовинизма, с 1905 г. — орган черносотенцев.

¹⁰⁴ В 1901 г. Е.С. Федоров был удостоен Московским университетом степени доктора минералогии и геогнозии *honoris causa*.

¹⁰⁵ С.Ю. Витте (1849—1915) — министр финансов (1892—1903), председатель Совета Министров царского правительства (1905—1906), убежденный сторонник самодержавия. Стремился сохранить монархию путем незначительных уступок буржуазии. Своими мероприятиями в области финансов, таможенной политики, железнодорожного строительства способствовал капиталистическому развитию страны. Относительно его роли при заключении мира с японцами документы говорят о другом: не было нужды отдавать южную половину острова Сахалин, так как японцы согласны были идти на мир без этой уступки.

¹⁰⁶ 17 октября 1905 г. по предложению Витте был издан манифест, по которому народу были обещаны основы гражданских свобод: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов. В манифесте говорилось об амнистии заключенным, о созыве законодательной Государственной думы, избранной всеми классами общества. Буржуазия с удовлетворением встретила манифест. Большевики выступили с разоблачением и призывали не поддаваться обману и продолжать борьбу.

¹⁰⁷ Н.Э. Бауман (1873—1905) — один из руководителей московской организации большевиков. Бауман в прелетке с красным флагом ехал по Немецкой (ныне Бауманской) улице (а не по Тверской, как у автора воспоминаний) к рабочим, стоявшим у ворот фабрики, чтобы присоединить их к демонстрации, шедшей к Таганской тюрьме для освобождения политзаключенных. Был убит сзади обломком трубы агентом охраны. Похороны Баумана вылились в трехсоттысячную демонстрацию.

¹⁰⁸ 18 октября 1905 г. в Кронштадте под руководством большевиков состоялся митинг в целях разоблачения манифеста 17 октября. Но дальше события начали развиваться стихийно. 24 октября матросы потребовали человеческого обращения, улучшения пищи, сокращения сроков службы, увеличения жалованья, а также предъявили ряд политических требований. К матросам присоединились солдаты. При попытке арестовать солдат началась вооруженная стычка. Восстание было подавлено. Несколько тысяч солдат и матросов арестовано.

¹⁰⁹ По призыву большевиков на защиту солдат и матросов поднялись рабочие Петербурга и других городов. Выступление приняло такой размах, что правительство пошло на уступки, и суд применил более мягкие наказания.

¹¹⁰ Для расправы с революционным движением правительство начало создавать черносотенные организации, с помощью которых производило погромы, аресты, зверские избиения, убийства. Погромщиками часто бывали деклассированные элементы, озверевшие от нужды и пьянства, или рабочие, пришедшие недавно из глухих деревень, забытые и темные, сохранившие веру в царя-батюшку.

¹¹¹ Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. — пик революции 1905—1907 гг. 6 декабря Московская конференция большевиков приняла решение объявить 7 декабря всеобщую политическую стачку, с тем чтобы превратить ее в восстание. 7 декабря все крупные фабрики и заводы Москвы остановились. Произошли вооруженные столкновения с вызванными войсками. Начались баррикадные бои. 8 декабря был арестован Московский комитет большевиков. Восстание осталось без руководства. Бои в основном носили оборонительный характер. Наиболее упорно сражались рабочие Красной Пресни. Московский гарнизон справиться с восставшими не мог. Вызванные из Петербурга правительственные войска начали артиллерийский обстрел. Восставшие приняли решение прекратить вооруженное сопротивление в ночь с 18 на 19 декабря.

¹¹² Ф.В. Дубасов (1845—1912) — московский генерал-губернатор (1905—1906); руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве.

¹¹³ В конце 1905 г. в Петербурге П.Ф. Лесгафтом была открыта Вольная высшая школа, в которой были три отделения: биологическое, педагогическое и социальное. Школа пользовалась огромной популярностью, лекции в ней читали виднейшие профессора и общественные деятели. В 1905—1906 гг. в ней выступал В.И. Ленин. Помещения Вольной высшей школы не раз служили местом проведения социал-демократических собраний и конференций, лекций по общеполитическим вопросам, диспутов и митингов. После обыска Вольная высшая школа была закрыта в июле 1907 г.

¹¹⁴ Автор воспоминаний ошибается. Восстание на броненосце "Потемкин" произошло раньше, в июне 1905 г. Имя Шмидта связано с крейсером "Очаков". Когда в ноябре 1905 г. в Севастополе началось восстание матросов, солдат и рабочих, то П.П. Шмидт, революционно настроенный лейтенант Черноморского флота, по просьбе матросов принял на себя командование восставшим крейсером "Очаков", а затем объявил себя командующим флотом. На "Очакове" был разработан план активных действий по овладению кораблями, арсеналом и пр. Восстание потерпело поражение. Шмидт и трое матросов были расстреляны.

¹¹⁵ Государственная дума — законодательное, ограниченное в правах представительное учреждение, обещанное в манифесте 17 октября 1905 г. В выборах в Думу должны были участвовать

все классы населения. Но были большие ограничения в выборах, в законодательных правах и пр., сохранялись большие права за царем. Большевики бойкотировали выборы в 1-ю Думу. На выборах победили кадеты. Председателем был избран кадет С.А. Муромцев. Во главе правительства — черносотенец И.Л. Горемыкин. При решении аграрного вопроса в Думе произошло резкое размежевание. В стране усилились крестьянские волнения, волнения в армии и флоте. Государственная дума работала с апреля по июль 1906 г. и была разогнана. Во главе правительства стал П.А. Столыпин. Наступили годы жестокой реакции. 2-я Государственная дума работала с февраля по июль 1907 г. Выборы происходили в обстановке спада революции. В этих условиях большевики решили принять участие в работе Думы, как и в последующих, 3-й и 4-й. Состав 2-й Думы был более левым. Впервые прозвучало требование конфискации помещичьих земель в речи оратора-большевика, написанной В.И. Лениным. Дума была разогнана. 3-я Государственная дума работала с ноября 1907 по июль 1912 г. По своему составу была черносотенно-октябристской. Председателем Думы был сначала Н.А. Хомяков, затем А.И. Гучков, позже — М.В. Родзянко. 4-я Государственная дума работала с ноября 1912 по февраль 1917 г. Выборы в Думу происходили в условиях революционного подъема. Избирательная платформа большевиков разъясняла безнадежность конституционных реформ и ставила целью свержение самодержавия и установление демократической республики.

¹¹⁶ Государственный совет был создан в 1810 г. М.М. Сперанским как высшее законосовещательное учреждение. Председателем был царь. В 1906 г. Государственный совет получил права верхней законодательной палаты Государственной думы, рассматривавшей и утверждавшей законы после их рассмотрения в Думе, что являлось нарушением манифеста 17 октября. За царем сохранилось право изменения основных законов и издание особо важных, назначение председателя Совета и половины членов Совета (другая половина была выборной). Государственный совет был представлен дворянами, крупными землевладельцами, промышленниками и купцами. Был упразднен вместе с Государственной думой 6 октября 1917 г.

¹¹⁷ 17 июля 1906 г. комендант крепости Свеаборг арестовал революционно настроенную минную роту. В ответ вспыхнуло восстание солдат и матросов. Восставшие заняли часть островов и начали обстрел правительственных войск. К ним присоединился пролетариат Финляндии. Прервалось железнодорожное сообщение между Петербургом и Гельсингфорсом. Одновременно вспыхнуло восстание в Кронштадте. Началась всеобщая забастовка рабочих по стране. Восстание было жестоко подавлено.

¹¹⁸ "Выборгское воззвание" — обращение группы бывших членов 1-й Государственной думы — преимущественно кадетов, трудовиков и меньшевиков — к населению с призывом в знак протеста против разгона Думы прекратить до созыва новой Думы денежные платежи, поставку правительству рекрутов и других повинностей. Текст воззвания был написан Милюковым и подписан бывшими членами Думы, собравшимися в Выборге на следующий день после разгона.

¹¹⁹ П.А. Столыпин в период 1-й Государственной думы — министр внутренних дел, ярый реакционер. После разгона Думы (июль 1906 г.) стал главой правительства. Убит в 1911 г., по существующей версии, с провокационной целью агентом охраны.

¹²⁰ См. комментарий 113.

¹²¹ Речь идет о классическом труде Д.И. Менделеева "Основы химии", в котором неорганическая химия излагалась с точки зрения периодического закона химических элементов. Книга замечательна тем, что развивала в читателе "способность самостоятельного суждения". Е.С. Федотов писал, что в юности он за два года перечитал ее шесть раз.

¹²² См. комментарий 115.

¹²³ Г.Е. Распутин (1872—1916) — авантюрист, выходец из крестьян, фаворит Николая II и императрицы. Бывший конокрад, выдавал себя за провидца и целителя. По-видимому, обладал галлантом гипнотизера. Влияние его на Николая II и императрицу было таким, что по его советам снимались и назначались министры (например, Штюрмер, [А.Н.] Хвостов). Его влияние на царя использовали придворные реакционные круги (Горемыкин, [Н.А.] Маклаков и др.), представляли финансовый капитал (Путилов, Манус и др.) и различные высокосоциальные авантюристы (князь Андроников и др.), проводившие при помощи Распутина свои спекулятивные аферы. Распутинщина — проявление полного морального распада монархии. Распутин убит в ночь на 18 декабря 1916 г. группой монархистов (князь Юсупов, Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович).

¹²⁴ См. комментарий 115.

¹²⁵ Автор упоминает о благородном поступке ученика П.Ф. Лесгафта. Когда Петр Францевич переживал трудные дни при организации своих курсов в 1893 г., Сибиряков Иннокентий Михайлович, ученик Лесгафта и брат богатого золотопромышленника и патриота А.М. Сибирякова (финансировавшего полярные экспедиции Н.Э. Норденшельда и А.В. Григорьева и выделявшего крупные средства на издание трудов по истории Сибири), подарил Лесгафту 200 тысяч рублей и дом стоимостью 150 тысяч. Такой дар позволил Лесгафту открыть знаменитую Биологическую лабораторию, преобразованную в 1918 г. в научный институт его имени.

¹²⁶ В 1908 г. В.М. Бехтерев предложил П.Ф. Лесгафту занять кафедру анатомии на Психоневрологических курсах и попросил одновременно о предоставлении помещений Биологической

лаборатории. Лесгафт охотно откликнулся на просьбу. Так появился Психоневрологический институт, существующий в Ленинграде и поныне и носящий имя его основателя — В.М. Бехтерева.

¹²⁷ См. комментарий 52.

¹²⁸ Точное место погребения Евгения Степановича Федорова на Преображенском кладбище в Ленинграде неизвестно, но в 1950 г. на краю этого кладбища была найдена надгробная плита с надписью: "Евгений Степанович Федоров, инженер-полковник, первый составитель проекта аэроплана в России" (*Воробьев Б.Н. Работы Е.С. Федорова в области авиации*) // Изв. АН СССР. Отд-ние техн. наук, 1951. N 9. С. 1375—1389.

¹²⁹ В.М. Пуришкевич (1870—1920) — монархист и черносотенец, депутат Государственной думы, приобрел известность своими погромно-хулиганскими выступлениями. По выражению В.И. Ленина, "устаи Пуришкевича" говорил "дикий помещик и старый держиморда" (*Ленин В.И. ПСС. Т. 17. С. 435*). Активный участник контрреволюционного движения после 1917 г.

¹³⁰ Д.Н. Артемьев пишет о докладах на секции геологии и минералогии на XII съезде русских естествоиспытателей и врачей, происходившем в Москве в конце декабря 1909—начале января 1910 г. Теоретические работы Е.С. Федорова были новаторскими, опережавшими время, требовавшими и глубоких специальных знаний, и широкой эрудиции. В свое отношение к Евграфу Степановичу Вульфу (о Г.В. Вульфе см. комментарий 63) привнес много личного, часто в ущерб делу. В.И. Вернадский, сам будучи специалистом в области кристаллографии, оценивал труды Е.С. Федорова весьма высоко, хотя и не во всем был с ним согласен. В ходатайстве об избрании Е.С. Федорова почетным доктором Московского университета В.И. Вернадский писал: "Я не разделяю очень многие из его взглядов и в кристаллографии не принадлежу к его последователям, но я должен сказать по совести, что считаю его самым выдающимся кристаллографом Европы и Америки, одним из учителей нашей науки" (*Вернадский В.И. Избранные труды: Кристаллография. М.: Наука, 1988. С. 326*).

¹³¹ По-видимому, молодым химиком был Алексей Васильевич Шубников, ученик Г.В. Вульфа, будущий академик. Существует воспоминание о его визите к Е.С. Федорову. А.В. Шубников почувствовал неприязнь Евграфа Степановича к Вульфу, к тому же сильно опоздавшему. На следующий день, когда Шубников посетил Е.С. Федорова без Вульфа, беседа протекала совершенно в другой атмосфере (*Шубников А.В. Избранные труды по кристаллографии. М.: Наука, 1975. С. 525*).

¹³² В адресе студентов Горного института, преподнесенном Е.С. Федорову в связи с его уходом с поста директора Горного института, говорится: "Глубокоуважаемый и дорогой Евграф Степанович! Вы были первым выборным директором в Горном институте; Вы все пять лет своего директорства, совпавших с наиболее тяжелым в общественном смысле временем, неустанно работали на пользу науки и поставили научный уровень института на редкую высоту; Вы с неизменным благожелательством относились к нам, студентам, ревниво оберегали нашу общественную самостоятельность и готовы были горячо защищать наши общественные учреждения, столь несправедливо и низко оклеветанные.

Многие из нас, старых студентов, пережившие нескольких директоров, единодушно констатируют, что не было еще примера, чтобы студенчество в целом так горячо и искренно уважало кого-нибудь из Ваших предшественников, чтобы студенчество заявляло кому-нибудь, кроме Вас, что... авторитет Ваш, как человека и профессора, очень высок и непоколебимо устойчив в глазах студентов Горного института.

...Расставшись теперь с Вами как с нашим директором, выражая глубочайшее сожаление по поводу вынужденного оставления Вами этого поста, мы позволяем себе верить, что еще долго-долго Вы будете с нами, могучими шагами двигая вперед науку, оказывая свое светлое и благотворное влияние на весь институт. 1910 г." (Архив АН СССР. ЛО. Ф. 831. Оп. 2. Л. 27).

¹³³ Время столыпинских реформ (1906—1911 гг.) отличалось особо жестоким подавлением революционного движения. Министром народного просвещения в 1910—1914 гг. был Л.А. Кассо — реакционер и мракобес, который применял погромную политику в отношении учебных заведений. Весной 1911 г. он исключил из Московского университета несколько тысяч студентов и около трети всего преподавательского состава. В знак протеста покинули университет крупнейшие ученые: К.А. Тимирязев, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, С.А. Чаплыгин, Н.А. Умов, Г.В. Вульф и многие другие.

¹³⁴ В 1912—1913 гг. были две Балканские войны с разной расстановкой сил. Первая война (октябрь 1912—май 1913 г.) между Болгарией, Сербией, Черногорией, Грецией (Балканский союз), с одной стороны, и Турцией — с другой. Здесь же скрещивались и интересы западноевропейских держав: Австро-Венгрия, Германия, Англия и Франция противились освобождению балканских славян, Россия поддерживала страны Балканского союза. Война завершила освобождение балканских стран от турецкого гнета; получила государственность Албания. После подписания Лондонского мира в мае 1913 г. обстановка вокруг дела освобожденных от Турции территорий достигла предельной остроты. Свои притязания выдвинула и Румыния. Эта борьба обострялась вмешательством западноевропейских держав, особенно Австро-Венгрии и Германии, которые, стремясь развалить Балканский союз, столкнули интересы Болгарии с интересами ее недавних союзников. Стремление России уладить конфликт не дало результатов — Балканский союз распался. Началась 2-я Балканская война (июнь—август 1913 г.). Расста-

новка сил: Болгария с одной стороны, Сербия, Черногория, Греция, Румыния, Турция — с другой. Болгария потерпела поражение и примкнула к Австро-Венгрии и Германии. Россия сблизилась с Сербией. Этот узел противоречий явился одной из главных причин, приведших к первой мировой войне.

¹³⁵ Убийство Андрея Ющинского произошло в марте 1911 г. Версию о ритуальном убийстве еврейями выдвинули киевские черносотенцы. Действительные убийцы, по указанию министерства юстиции, были укрыты от суда. В июле 1911 г. был арестован Бейлис, приказчик кирпичного завода. Следствие длилось около двух лет. Была развернута антисемитская агитация под руководством министра юстиции Щегловитова, министра внутренних дел Маклакова и черносотенца Замысловского. Политический смысл этой кампании — погромная шовинистическая политика в период нового революционного подъема. Интеллигенция во главе с В.Г. Короленко и М. Горьким создала комитет в защиту Бейлиса. Бейлис был оправдан судом присяжных.

¹³⁶ См. комментарий 89.

¹³⁷ См. комментарий 118.

¹³⁸ 28 июня 1914 г. в Сараево сербскими националистами были убиты наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена. Это было поводом к нападению Австро-Венгрии на Сербию 28 июля 1914 г. 1 августа Германия объявила войну России, затем Франции. К австро-германскому блоку присоединилась Турция. Началась первая мировая война 1914—1918 гг. Против австро-германского блока, кроме России и Франции, выступили Англия, Япония, позже Италия, Румыния, а в апреле 1917 г. и США.

¹³⁹ Жан Жорес (1859—1914) — крупный деятель международного социалистического движения, активно выступавший против милитаризма и войны. Историк, основатель газеты "Юманите", ставшей впоследствии органом коммунистической партии Франции. Убит 31 июля 1914 г. шовинистом Вилленом.

¹⁴⁰ Со вступлением России в 1914 г. в мировую войну русская буржуазия заявила о полной поддержке царского правительства. Представители всех буржуазно-помещичьих фракций Государственной думы провозгласили лозунг забвения "внутренних распрей" и сплочения вокруг правительства для победы. Их поддержали меньшевики и эсеры. Большевицкая фракция Думы выдвинула лозунг превращения империалистической войны в гражданскую против буржуазии. В ноябре 1914 г. депутаты-большевики 4-й Государственной думы были сосланы в Сибирь.

¹⁴¹ И.Л. Горемыкин (1839—1917) был назначен председателем Совета Министров в январе 1914 г. и был им до января 1916 г. При нем распутинщина проявила себя наиболее сильно. Деятельность Горемыкина была связана с многочисленными нарушениями манифеста 17 октября и постановлений Государственной думы, так что большинство членов Совета Министров были вынуждены подать петицию Николаю II. Однако Горемыкин добился согласия царя на роспуск Думы (с 3 сентября 1915 г. до февраля 1916 г.), а министры один за другим были удалены.

¹⁴² Циммервальдская конференция — международная социалистическая конференция интернационалистов — открылась в сентябре 1915 г. в Швейцарии, после краха II Интернационала, лидеры которого изменили интернационализму и встали на защиту империалистической политики своих правительств. На конференции развернулась борьба между группой левых, возглавляемой В.И. Лениным, и правым большинством, одним из лидеров которого был Карл Каутский. Одним из пунктов разногласий было отношение к империалистической войне. Левая группа выступала за превращение войны империалистической и гражданскую против буржуазии.

¹⁴³ См. комментарий 57.

¹⁴⁴ См. комментарий 67.

¹⁴⁵ См. комментарий 87.

¹⁴⁶ Кинтальская конференция — вторая после Циммервальда международная социалистическая конференция, состоявшаяся в апреле 1916 г. в Швейцарии. На этой конференции левое крыло было сильнее, но последовательную позицию против войны занимала лишь большевицкая партия во главе с В.И. Лениным. Был принят манифест против войны, хотя и не приняты основные положения политики большевиков: превращение империалистической войны в гражданскую, поражение в войне своих империалистических правительств и т.д. Конференция способствовала созданию в дальнейшем (1919 г.) Коммунистического III Интернационала.

¹⁴⁷ Николай II и его окружение в лице Б.В. Штюрмера, А.Д. Протопопова и др. делали попытки заключить сепаратный мир с Германией, стремившейся к тому же. Лидеры "Прогрессивного блока" (созданного в августе 1915 г. для реализации программы реформ и мобилизации промышленности для победы над Германией) предъявили обвинение в измене.

¹⁴⁸ См. комментарий 123.

¹⁴⁹ Временный комитет Государственной думы был образован депутатами Думы 27 февраля 1917 г. для борьбы с революцией. Существовал до октября 1917 г. и играл большую роль в консолидации сил контрреволюции. Комитет тайно договорился с эсеро-меньшевистскими лидерами о создании Временного правительства.

¹⁵⁰ Советы возникли по инициативе самих масс и сразу же стали действовать как органы власти. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов возник 27 февраля 1917 г. В начальный период руководящее положение в Петросовете захватили эсеры и меньшевики. Во главе Совета стал меньшевик Н.С. Чхеидзе. Они рассматривали Советы как временные организации до созыва Учредительного собрания.

- ¹⁵¹ Произошла Февральская буржуазно-демократическая революция.
- ¹⁵² У автора есть некоторые неточности. Министром иностранных дел был назначен П.Н. Миллюков, а Маклакова не было в составе Временного правительства. А.И. Шингарев был министром земледелия, а князь Г.Е. Львов был, кроме председателя, и министром внутренних дел.
- ¹⁵³ Учредительное собрание — представительное учреждение от населения России. Идея созыва Учредительного собрания пользовалась популярностью в массах, поэтому большевики, подчеркивая превосходство Советов, не отзывались и от Учредительного собрания. Временное правительство, боясь Учредительного собрания, оттягивало выборы, назначило их только на 28 ноября 1917 г. Выборы происходили уже после Октябрьской революции.
- ¹⁵⁴ Автор неправ. Большевики были, пожалуй, единственной партией, которая в 1917 г. выдвинула четкие и ясные лозунги, понятные массам и соответствовавшие их чаяниям. Автора можно понять: столько горя и невзгод перенесла она в дальнейшем (Людмила Васильевна скончалась в 1936 г.), что воспоминания об этом времени полны горечи и не всегда объективны.
- ¹⁵⁵ В ответ на попытки Временного комитета Государственной думы разоружить солдат и восстановить старые порядки в армии Петросовет издал 1 марта 1917 г. приказ N 1, который фактически устанавливал новую, демократическую систему организации армии. Согласно этому приказу предлагалось: подчиняться только Совету; приказы Временного правительства исполнять, если только они не противоречат приказам Совета; избирать солдатские комитеты для заведования внутренним порядком и для контроля за оружием, не выдавая его офицерам; отменить обращение "превосходительство", "благородие" и пр.; запретить грубое обращение с солдатами.
- ¹⁵⁶ После обсуждения нескольких вариантов возвращения в Россию В.И. Ленина и других политэмигрантов через территории воюющих стран остановились на следующем: попытаться договориться с немецкими властями о проезде через Германию в обмен на освобождение интернированных в России германских граждан. Переговоры вел Фриц Платтен, секретарь Швейцарской социалистической партии. В основе соглашения с Берлином лежало право экстерриториальности вагона: никаких досмотров, проверки паспортов или багажа. В этом вагоне ехали 30 человек и один ребенок. Политэмигрантов сопровождал Ф. Платтен. Проехав Германию, на пароме переправились в нейтральную Швецию, затем в поезде через Гельсингфорс (ныне Хельсинки) доехали до Петрограда, где Владимира Ильича ожидала триумфальная встреча на Финляндском вокзале. Надо сказать, что такая встреча для Ленина была большой неожиданностью, так как он думал, что его ждет арест.
- ¹⁵⁷ Автор допускает неточность. Теткой была воспитана мать Владимира Ильича, Мария Александровна Бланк. Отец Марии Александровны, Бланк Александр Дмитриевич, был врачом и инспектором врачебной управы в Перми, где он жил с семьей до конца 40-х годов XIX в. В это же время в Перми в Александровской больнице служил главным врачом Панютин Василий Александрович, отец Людмилы Васильевны. Вполне вероятно, что они были знакомы. Здесь же в 1851 г. родилась и провела свое детство Людмила Васильевна, так что у нее есть и детские воспоминания и воспоминания ее родных. Тетка Марии Александровны, "танта Екатерина", как ее называли, была человеком яркого характера и хорошего образования. Неудивительно, что она могла оставить след в памяти многих как талантливый воспитатель. Если же автор имеет в виду тетку самого Владимира Ильича (у Марии Александровны были три сестры), то она, как известно, не была его воспитательницей.
- ¹⁵⁸ 3 июня 1917 г. открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Когда шло обсуждение вопроса об отношении к Временному правительству и министр-социалист Церетели заявил, что в России нет партии, которая согласилась бы взять власть в свои руки, то В.И. Ленин решительно заявил, что такая партия есть.
- ¹⁵⁹ 3 июля 1917 г. из Временного правительства из-за разногласий ушли министры-кадеты. В массах распространились призывы к передаче всей власти Советам. Инициатива принадлежала солдатам. Постановили выступать. К ним присоединились рабочие. Большевики считали это выступление преждевременным, так как Советы были меньшевистскими, и пытались превратить в мирную демонстрацию. 4 июля под лозунгами "Вся власть Советам!", "Долой 10 министров-капиталистов!" и др. на демонстрацию вышло более пятисот тысяч солдат и рабочих. Неожиданно они были обстреляны. Были многочисленные жертвы. К этому времени пришло известие о прорыве фронта немецкими войсками. Началась клеветническая кампания против большевиков, обвиняющая их в измене и требующая суда над ними. Временное правительство объявлялось "правительством спасения революции" с неограниченными полномочиями. Советы превратились в придаток Временного правительства. Двоевластие кончилось. Был сформирован новый состав Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским. Был отдан приказ об аресте В.И. Ленина, но он успел скрыться.
- ¹⁶⁰ 26 июля 1917 г. открылся полулегально VI съезд РСДРП(б), на котором нужно было разработать новую тактику в соответствии с изменившейся обстановкой в дальнейшем развитии революции. Съезд проходил без Ленина, он руководил из подполья. После 3 июля мирного перехода власти к Советам уже не могло быть, поэтому лозунг "Вся власть Советам!" временно был снят.

- ¹⁶¹ Л.Г. Корнилов был назначен 19 июля 1917 г. верховным главнокомандующим. Он готовил военный переворот и установление военной диктатуры. Переворот предполагалось совершить 12—14 августа, в дни работы Государственного совещания в Москве.
- ¹⁶² 26 августа 1917 г. Корнилов заявил, что для спасения родины он не видит другого выхода, как передача ему, Корнилову, всей военной и гражданской власти. В ответ Керенский, испугавшись за свою власть, потребовал себе диктаторских полномочий и объявил войну Корнилову. Корнилов двинул войска на Петроград. Десятки тысяч солдат и матросов Питера вышли на защиту революции.
- ¹⁶³ 1 сентября 1917 г. Россия была официально провозглашена республикой. Временное правительство объявило о создании Директории (Совета пяти) во главе с Керенским. В стране, по существу, установился режим личной власти, стремившейся сохранить господство буржуазии.
- ¹⁶⁴ К концу августа 1917 г. политическая ситуация изменилась. Основную роль в организации революционных сил страны стали играть большевики. На заседании Петроградского Совета впервые меньшевики и эсеры оказались в меньшинстве. Прошла большевистская резолюция, наметавшая программу дальнейших революционных преобразований в стране. Лозунг "Вся власть Советам!" был выдвинут опять: Петроградский Совет и Советы нескольких десятков городов страны стали большевистскими. Эсеро-меньшевистский ЦИК Советов созвал 14 сентября Всероссийское демократическое совещание и предложил создать представительный орган при Временном правительстве — Предпарламент. Это было третье (и последнее) коалиционное правительство; оно не пользовалось никакой поддержкой народа.
- ¹⁶⁵ Фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы) — выборные органы рабочих и служащих. Возникли в первые дни Февральской революции. Осуществляли контроль над производством, принимали активное участие в подготовке Октябрьской революции. Первая Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов происходила в Петрограде 17—22 октября 1917 г.
- ¹⁶⁶ Хроника событий 25 октября (7 ноября) 1917 г.: в 1 час 25 минут занят Главный почтамт; к 2 часам заняты Балтийский и Николаевский вокзалы; в 3 часа 30 минут крейсер "Аврора" стал на якорь у Николаевского моста; к 6 часам заняты Государственный банк и редакции центральных газет. Утром 25 октября в руках восставших находился почти весь Петроград, за исключением районов Дворцовой и Исаакиевской площадей. Около 10 часов утра Керенский бежит из восставшего Петрограда в Псков. К 13 часам взят Марининский дворец, где размещался Временный совет Российской республики. В 14 часов 35 минут в актовом зале Смольного на экстренном заседании Петроградского совета выступил В.И. Ленин, объявивший о свершении рабоче-крестьянской революции. В 22 часа 40 минут в Смольном открылся 2-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Во время съезда в 2 часа ночи 26 октября штурмом был взят Зимний дворец. Временное правительство перестало существовать. Было зачитано написанное Лениным обращение "Рабочим, солдатам и крестьянам", провозглашавшее переход всей власти в руки Советов. Около 23 часов 26 октября был принят Декрет о мире, в 2 часа 27 октября — Декрет о земле. Съезд избрал ВЦИК и создал первое Советское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. В Москве революции завершилась 3 (16) ноября 1917 г.
- ¹⁶⁷ См. комментарий 12.
- ¹⁶⁸ Под демократией здесь автор понимает тот образ правления, который осуществлялся Временным правительством.
- ¹⁶⁹ А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин были арестованы в числе других руководящих деятелей кадетской партии 29 ноября 1917 г. за развязывание гражданской войны в стране. Арестованные содержались в Петропавловской крепости. 2 января 1918 г. они обратились с просьбой о переводе их по состоянию здоровья в Марининскую больницу. В ночь на 7 января они были убиты в больнице ворвавшимися туда неизвестными матросами. Убийство было расценено Советским правительством как провокация. В.И. Ленин был возмущен и специальной телефонограммой отдал приказ срочно начать следствие и арестовать виновных в убийстве. Был арестован убийца матрос-анархист Преис, но при содействии министра юстиции левого эсера И.З. Штейнберга он бежал в Финляндию (*А.Л. Фрайман. Форпост социалистической революции. Л.: Наука, 1969*).
- ¹⁷⁰ Автор ошибается. На самом деле Корнилов был убит снарядом во время боя под Екатеринодаром (ныне — Краснодар) в апреле 1918 г.
- ¹⁷¹ Графиня С.В. Панина была товарищем (заместителем) министра Временного правительства, членом ЦК кадетской партии. Она обвинялась в саботаже, в сокрытии денежных сумм министерства признания. 10 декабря 1917 г. на первом заседании Петроградского революционного трибунала Панина была признана виновной, но трибунал ограничился общественным порицанием, задержав ее под стражей до возвращения правительству народных денег. После внесения денег С.В. Панина была освобождена.
- ¹⁷² Учредительное собрание открылось 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде под председательством Я.М. Свердлова, но оно уже не отражало расстановку сил в стране. Большевики и поддерживавшие их левые эсеры покинули зал, когда правым большинством были отвергнуты "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа", а также декреты о мире.

о земле, о переходе власти к Советам. Через несколько часов Учредительное собрание было закрыто. 12 января 1918 г. открылся III Всероссийский съезд Советов, который утвердил все декреты Советского правительства.

¹⁷³ Под влиянием Октябрьской революции в России по Венгрии прокатились выступления и забастовки. Монархия пала. Образовались Советы рабочих и Советы солдатских депутатов. 16 ноября 1918 г. была провозглашена буржуазная демократическая республика, а 21 марта 1919 г. — Советская республика, которая просуществовала до 1 августа 1919 г.

¹⁷⁴ История Брестского мира не столько позорная, сколько трагическая. Почти четыре года войны привели страну и армию на грань катастрофы. Армия развалилась. Продолжение войны ставило на карту существование Республики Советов. В.И. Ленин выдержал настоящее сражение, доказывая необходимость мира на любых условиях. Троцкий, несмотря на предписание Совнаркома, прервал переговоры в Брест-Литовске. Немцы начали наступление и заняли Прибалтику, часть Белоруссии и Украины, стали угрожать Петрограду. Пришлось согласиться на переговоры на невероятных тяжелых условиях (3 марта 1918 г.): отторгались значительные территории, были навязаны огромная контрибуция и крайне невыгодные торговые соглашения. Но была необходима передышка. После революции в Германии в ноябре 1918 г. Брестский договор был аннулирован.

¹⁷⁵ Переименование Российской социал-демократической рабочей партии большевиков в Российскую коммунистическую партию большевиков произошло на VII съезде партии 6—8 марта 1918 г. в Петрограде. Советское правительство переехало в Москву 10—11 марта 1918 г.

¹⁷⁶ Корпусу пленных чехов и словаков Советское правительство разрешило выезд на родину через Сибирь. Командование корпуса вместе с белогвардейцами, в большом числе влившимися в корпус, вовлекло их в мятеж. С мая по август 1918 г. мятежники захватили Самару, Казань, Екатеринбург, Челябинск и другие пункты вдоль Транссибирской магистрали, вплоть до Владивостока. Белогвардейцы здесь восстановили буржуазное правительство и подготовили почву для установления в ноябре 1918 г. военной диктатуры адмирала Колчака.

¹⁷⁷ 5-й Всероссийский съезд Советов происходил в Москве 4—10 июля 1918 г. На съезде была принята первая советская Конституция — Конституция РСФСР.

¹⁷⁸ В первой половине 1918 г. произошло объединение сил внутренней контрреволюции и империалистических сил Запада в борьбе против революции в России. Началась интервенция.

¹⁷⁹ Поражение Германии в войне против Антанты обострило в ней революционную обстановку. В начале ноября 1918 г. восстание охватило почти всю страну. В ряде германских государств были свергнуты династии. Повсеместно создавались Советы рабочих и солдатских депутатов. Руководство в них захватили правые социал-демократы, которые своей политикой способствовали утверждению буржуазной республики (июль 1919 г.)

¹⁸⁰ После изгнания немецких оккупантов была восстановлена советская власть в Эстонии (29 ноября 1918 г.), в Литве (16 декабря), в Латвии (17 декабря). Советская власть просуществовала в Литве и Эстонии до июля и августа 1919 г., в Латвии — до января 1920 г.

¹⁸¹ Баварская советская республика просуществовала с 13 апреля по 1 мая 1919 г.

¹⁸² Нельзя сказать, что Советское правительство не проявляло заботы об ученых. Еще в 1918 г. с санкции В.И. Ленина была создана комиссия по так называемому академическому пайку. Положение ученых было особенно бедственным в первые годы после революции. Меры, предпринятые против аристократии и буржуазии (аресты, подселения в квартиры, обыски, конфискации, уменьшение заработной платы), оказались распространяемыми и на ученых. Великий физиолог И.П. Павлов обратился летом 1920 г. с письмом в Совнарком и к А.В. Луначарскому с просьбой разрешить выезд за границу. В письме, описывая положение ученых и приведя многочисленные примеры невозможности потерпеть среди них, он писал о непонимании руководителями Петровета той простой вещи, что ученые являются трудящимися и никак не могут быть отнесены к эксплуататорам. Письмо было показано Ленину. Владимир Ильич просил передать И.П. Павлову, чтобы он не уезжал из России, и сообщить ему, что для улучшения положения ученых правительство примет меры. В декабре 1920 г. была создана Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦКУБУ). Активнейшее участие в работе Комиссии принимал М. Горький, который в 1920—1921 гг. был председателем Петроградского КУБУ. На эту Комиссию Совнаркомом была возложена постоянная забота об улучшении материального положения ученых, литераторов, артистов, художников.

¹⁸³ Речь идет о работах Е.С. Федорова "Новая начертательная геометрия" (Изв. Акад. наук. Сер. 6. 1917. Т. 11, ч. 1, N 10, с. 657—686); "Применение начал новой геометрии к кристаллооптике" (Там же. Т. 2, N 14, с. 1141—1166). Более ранние публикации: "Новая геометрия как основа черчения", СПб, 1907; "Основные черты новой геометрии" (Зап. Горн. ин-та, 1912. Т. 3. Вып. 5, с. 383—393) и др.

¹⁸⁴ Е.С. Федоров писал так: "Мною была составлена довольно большая рукопись по теории электричества, которую я, однако, не считал возможным представить к опубликованию, пока не удалось бы решительными опытами сделать очевидную правильность составленной теории. Но судьба мне решительно не благоприятствовала: не представлялось случая воспользоваться оборудованием физического института, и мало-помалу физика мною забывалась. И только в начале нового, текущего столетия, ознакомившись с новейшими учениями

физики, я увидел, что составленная мною за четверть столетия до этого теория есть, в сущности, теория электрона" (Имп. Петербург. Академия наук. Ссылка. — см. комментарий 1).

¹⁸⁵ Подробно о взаимоотношениях Е.С. Федорова и А.П. Карпинского см.: *Романовский С.И.* Александр Петрович Карпинский. Л.: Наука, 1981. С. 285—303.

¹⁸⁶ Шредер Иван Федорович — профессор Горного института, его директор с 1912 по 1917 г.

¹⁸⁷ Значительная часть переписки Е.С. Федорова с коллегами опубликована:

1) Из переписки Е.С. Федорова с А. Шёнфлисом. Из переписки Е.С. Федорова с Ю.В. Вульфом (Научное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 2. С. 314—354).

2) Из переписки Е.С. Федорова с И.В. Мушкетовым, П. Гротом, Т. Баркером, Г. Майерсом, Л. Спенсером и У. Брэггом (Кристаллография. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. Вып. 3. С. 169—250).

3) Из переписки Е.С. Федорова с П. Гротом. Письма Е.С. Федорова В.И. Вернадскому. Из переписки Е.С. Федорова с Н.А. Морозовым (Научное наследство: Е.С. Федоров. Переписка. Неизданные и малоизвестные работы. Л.: Наука, 1991. Т. 16).

4) 17 писем из переписки Е.С. Федорова с русскими и иностранными учеными. (Рукописные материалы Е.С. Федорова в Архиве АН СССР. М.; Л., 1957. С. 137—157).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е.С. ФЕДОРОВА

- 1853 10(22).XII. Родился в Оренбурге в семье генерал-майора инженерных войск
- 1862 Поступил во второй класс немецкого училища св. Анны в Петербурге
- 1867 Поступил в четвертый класс II Военной гимназии в Петербурге
- 1869 Поступил в Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге
- 1869 Начало работы над геометрическими многогранниками, отразившейся впоследствии в фундаментальной монографии "Начала учения о фигурах"
- 1872 Окончил Военно-инженерное училище, отбыл в чине подпоручика саперного батальона в Белую Церковь
- 1873 Поступил вольнослушателем в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Знакомство с Людмилой Васильевной Панютиной, своей будущей женой
- 1874 Вышел в отставку с военной службы. Ушел из Медико-хирургической академии в связи с циркуляром министра просвещения
- 1874—1876 Учеба в Петербургском технологическом институте
- 1875/1876 Вступил в народническую организацию
- 1876/1877 Пребывание за границей с партийными поручениями
- 1877.XI. Организация подпольной типографии в квартире Панютиных для печатания первой в России социалистической газеты "Начало"
- 1879 весна Прекращение работы подпольной типографии
- 1880 3.II. Венчание с Людмилой Васильевной Панютиной
- 1880 Поступил на III курс Петербургского Горного института
- 1880 21.XI. Рождение сына Евграфа
- 1882 лето Студенческая командировка на Урал
- 1882 14.VIII. Рождение дочери Людмилы
- 1883.V. Окончание Горного института первым по списку, с занесением на мраморную доску. Прикомандирование к музею Горного института
- 1884—1890 Летние экспедиции от Геолкома на Северный Урал для составления геологической карты
- 1885—1894 Работа в Геолкоме в должности консерватора и делопроизводителя
- 1885 Публикация первой работы из серии "Этюды по аналитической кристаллографии" (далее — 1886, 1887, 1893)
- 1885 Публикация фундаментального труда "Начала учения о фигурах"
- 1885 5.VII. Рождение дочери Евгении
- 1888 Публикация труда "Основные формулы аналитической геометрии в улучшенном виде", первой работы цикла "Начала анализа симметрии", в который вошли также "Симметрия конечных фигур" (1889) и "Симметрия правильных систем фигур" (1891)
- 1889 Изобретение двукружного теодолитного гониометра для угловых измерений кристаллов
- 1889 Публикация классического труда "Симметрия конечных фигур"
- 1889 21.XI. На заседании С.-Петербургского минералогического общества доложено об окончании труда "Симметрия бесконечных правильных систем фигур" с приложением таблиц
- 1891 Публикация фундаментального труда "Симметрия правильных систем фигур"
- 1891 Выход учебника "Краткое руководство по кристаллографии"
- 1891 лето Экспедиция на Белое море
- 1892 Изобретение прибора для оптических исследований кристаллов под микроскопом (универсальный федоровский столик)
- 1892 лето Геологическая экспедиция в Костромскую губернию
- 1893 Присуждение премии за универсальный федоровский столик на Всемирной промышленной выставке в Чикаго
- 1893 Публикация классической монографии "Теодолитный метод в минералогии и петрографии"
- 1893 лето Геологическая экспедиция в Вятскую губернию
- 1893 Выдвижение кандидатом в Академию наук. Не избран
- 1893.XII. Присуждение премии Петербургского минералогического общества за работу "Теодолитный метод" и "Краткое руководство по кристаллографии"

1894 весна	Отъезд на Урал в Богословский горный округ, в Турьинские Рудники, по контракту на 5 лет
1894	Основал Геологический музей в Турьинских Рудниках
1895.IX.	Вступление в должность профессора геологии Московского сельскохозяйственного института с правом летних поездок в Богословский горный округ до 1899 г. включительно. Состоял в этой должности до конца 1905 г.
1896	Избрание членом-корреспондентом Баварской академии наук
1896.X.	Приглашение читать лекции по кристаллографии в Петербургском Горном институте. Поездки из Москвы раз в неделю до июня 1900 г.
1897.XII.	Выход в свет учебника "Основания петрографии" и второго дополненного издания "Курса кристаллографии"
1897— 1.1898	Пребывание в Германии. Посещение научных центров в Берлине, Гейдельберге, Мюнхене, Вене
1900 лето	Посещение медных рудников Кедабека (Закавказье) и геологические исследования в Семипалатинской области
1901 5.V.	Избрание в Академию наук адъюнктом по минералогии
1901.IX.	Присвоение степени доктора минералогии и геогнозии honoris causa Московского университета
1901	Публикация монографии "Богословский горный округ. Описание в отношении его топографии, минералогии, геологии и рудных месторождений", итог работ за 1894—1899 гг., а также третьего издания, заново переработанного, "Курса кристаллографии"
1902 лето	Поездка на рудные месторождения Кедабека
1903 лето	Экспедиция на Кольский полуостров, на берега Белого моря
1904 7.I.	Избрание почетным членом Петербургского минералогического общества
1905 3.III.	Увольнение из Академии наук на основании поданного Е.С. Федоровым прошения от 15 мая 1903 г.
1905.XII.	Вступление в должность директора Петербургского Горного института (первый выборный директор)
1906 лето	Командировка в Шемаху (Кавказ)
1906	Публикация большой философской работы "Перфекционизм"
1907	Публикация работы "Новая геометрия как основа черчения", первой из большого цикла работ по новой геометрии
1908.XII.	Избрание директором Горного института на второй срок
1909.VII.	Избрание иностранным членом Римской Академии наук по кристаллографии и минералогии
1910 8.II.	Уход с поста директора Горного института в результате конфликта с министром
1910.III.	Избрание почетным членом Лондонского минералогического общества
1911 лето	Поездка на Урал в Турьинские Рудники
1911 26.X.	Представление в Академию наук колоссального труда "Царство кристаллов. Таблицы для кристаллохимического анализа". Опубликован после смерти Е.С. Федорова его учениками на немецком языке под названием "Das Kristallreich" в 1920 г. На русский не переведен
1912	Избрание почетным членом Французского минералогического общества
1914.VII.	Присуждение степени доктора физических наук honoris causa Женевского университета
1919 1.II.	Избрание действительным членом Российской Академии наук по кристаллографии
1919 21.V.	Кончина Е.С. Федорова

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- А. — студент Горного института 309, 310, 324
 А.А. Багаев — инженер, муж Е.Ф. Багаевой 94, 230
 Август Эрнестович см. Купфер А.Э.
 Адлер Фридрих (1879—1960) — секретарь австрийской социал-демократической партии 300
 Адлерберг фон, граф, генерал-лейтенант, губернатор Петрограда 289, 290
 Аксельрод Павел Борисович (1850—1928) — народник, член организации "Черный передел"; впоследствии один из лидеров меньшевиков 336
 Александр I (1777—1825) — император России 69
 Александр II (1818—1881) — император России; убит народолюбцами 1 марта 1881 г. 32, 34, 35, 75, 92, 281, 331, 336
 Александр III (1845—1894) — император России 93
 Александр Михайлович, великий князь (1866—1933) — контр-адмирал; в 1904 г. — председатель комитета по усилению флота 205
 Александр Петрович см. Карпинский А.П.
 Александра Петровна, великая княгиня (1838—?) — супруга великого князя Николая Николаевича (старшего) 34, 35
 Александра Федоровна, императрица (1872—1918) — супруга императора Николая II; до замужества принцесса Гессенская 224, 291, 299, 301, 302, 304, 307, 314, 343
 Александра Федоровна — племянница Е.С. Федорова 235
 Алексеев Владимир Федорович (1852—1919) — физико-химик, профессор Горного института, учитель Н.С. Курнакова 120, 122, 123, 128, 137, 138, 145, 259
 Алексеевы Коля, Лена, Соня — дети Алексева В.Ф. 120
 Алексеев Евгений Иванович (1845—1909) — адмирал, в русско-японскую войну главнокомандующий армиями и флотом 211
 Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал; с августа 1915 г. начальник штаба верховного главнокомандующего 291
 Алексей, царевич (1904—1918) — сын Николая II 304, 314
 Альберт I (1875—1934) — король Бельгии с 1909 г. 290
 Альтшуллер — австрийский агент 301
 Алядин Владимир Федорович (р. 1912) — кристаллограф, ученик А.К. Болдырева 338, 340
 Андреев К.А. (1848—1921) — математик, профессор Харьковского и Московского университетов, член-корр. Петербургской Академии наук 134, 141
 Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель и драматург 30, 234
 Андреева Мария Федоровна (1872—1953) — актриса Московского Художественного театра, друг М. Горького 212
 Андронников Михаил Михайлович (1875—1919) — князь, политический авантюрист, приятель Распутина 291, 343
 Андрусов Николай Иванович (1861—1924) — геолог и палеонтолог, академик (с 1914) 294
 Анна Андреевна см. Панютина А.А.
 Анна Андреевна — учительница 184
 Анна Ивановна — немка-бонна в семье Федоровых 152, 154, 156, 159, 161, 162
 Анненка — знакомая Федоровых 49
 Аннушка — 44
 Антоний — архиепiscop 211
 Аншелес Осип (Иосиф) Маркович (1885—1957) — кристаллограф, ученик и ассистент Е.С. Федорова, профессор, основатель кафедры кристаллографии в Ленинградском университете (1924) 8, 323, 324
 Аполлон — народовец, нелегальный 95
 Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — граф, генерал, временщик при Павле I и Александре I 209
 Аркадакский Константин Васильевич — корреспондент "Русских ведомостей" в Государственной думе, муж двоюродной сестры Л.В. Федоровой Сони 238, 253, 269, 281
 Арсеньевы — семья, близкая семье Панютиных 21—23, 25
 Арсеньев Александр Ильич — горный инженер, главноуправляющий заводом в Нытве Пермской губернии 15
 Арсеньев Дмитрий Александрович — сын Арсеньева А.И. 21—24, 27, 36, 41, 76
 Арсеньева Людмила Вильгельмовна — жена Арсеньева А.И. 21
 Артемьев Дмитрий Николаевич — кристаллограф, ученик и ассистент Е.С. Федорова 189, 214, 216, 235—237, 239, 240, 242, 243, 245, 247—250, 256, 261, 267, 274, 282, 344
 Артемьева Евгения Николаевна — сестра Артемьева Д.Н. 237, 239—242, 247
 Архимед (ок. 287—212 до н.э.) — древнегреческий математик и механик 6
 Арцуни Андрей Еремеевич (1847—1898) — про-

*Именной указатель составлен Е.М. Доливо-Добровольской

- фессор минералогии в Аахенском университете, член-корр. Петербургской Академии наук 146, 149
- Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — писатель 30, 228, 278
- Астафьева — сослуживица сестры Е.С. Федорова Марии Степановны 44, 45
- Ауэрбах Александр Андреевич (1844—1916) — горный инженер, управляющий Богословским горным округом на Урале (с. 1881) 150, 155—157, 164, 168, 172, 173, 175, 176
- Ауэрбах Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель 39
- Ауэрбах Софья Павловна — жена Ауэрбаха А.А. 155, 156, 168, 172, 176, 221
- Ауэрбах Толя — сын Ауэрбаха А.А. 164
- Бабушка см. Пиликина
- Багасева Елена Феликсовна — интимный друг брата Е.С. Федорова Евгения Степановича; организовала в Петербурге в 1907 г. женские архитектурные курсы 94, 230, 250, 336
- Байрон Джордж (1788—1824) — английский поэт 66
- Баклунд Хельге (Олег) Оскарович (1878—1958) — геолог и петрограф, после революции — профессор в Финляндии и Швеции 294
- Бакст Николай Игнатьевич (1843—?) — физиолог, профессор 78
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — идеолог анархизма и народничества 335
- Балаев — председатель общеобразовательной школы в Петербурге 222
- Баранов Николай Михайлович (1836—1901) — петербургский градоначальник после 1 марта 1881 г. 83
- Барзаковский — учитель истории в Смольном институте 30, 31
- Баркер Арчибальд — брат Т. Баркера 244, 245
- Баркер Томас В. (Barker T.) (1881—1931) — английский кристаллограф, ученик Е.С. Федорова 8, 240—245, 247—250, 258, 260, 329, 349
- Бауман Владимир Иванович (1867—1923) — горный инженер, профессор-маркшейдер Горного института 234, 239, 257
- Бауман Николай Эрнестович (1873—1905) — один из руководителей московских большевиков; убит агентом охраны 215, 308, 342
- Бауэр Макс (Bauer Max) (1844—1917) — профессор минералогии и петрографии в Марбургском университете, издатель журнала "Neues Jahrbuch für Mineralogie" 132, 145
- Бейлис Мендель — приказчик, обвиненный в ритуальном убийстве христианского мальчика по сфабрикованному черносотенцами делу 280, 345
- Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — ботаник, профессор Петербургского университета 52, 335
- Бекетов Николай Николаевич (1827—1911) — физико-химик, академик 146, 150, 189, 192, 193, 293, 294, 341
- Белавин Иван Иванович — доктор в Богословске на Урале 156, 159, 174, 175, 177, 201
- Белавина Наталья Дмитриевна — жена Белавина И.И. 166
- Белецкий Степан Петрович (1873—1918) — товарищ министра внутренних дел (1912—1915)
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — революционный демократ, критик и философ 28, 80, 334
- Белопольский Аристарх Аполлонович (1854—1934) — астроном и астрофизик, академик 294
- Белосельские-Белозерские — русские князья, им принадлежали железодельные заводы в Катав-Ивановске Уфимской губернии 173
- Беляев Михаил Алексеевич (1863—1918) — генерал, военный министр (январь—февраль 1917) 303, 304
- Беркли Джордж (1684—1753) — английский философ, епископ 80
- Бернс Роберт (1759—1796) — шотландский поэт 228
- Бертло (Бертло) Пьер Э.М. (1827—1907) — французский химик и политический деятель 325
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор 182, 318
- Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — невропатолог, психиатр, физиолог нервной системы 201, 239, 242, 274, 280, 334, 343, 344
- Бианки Виталий Валентинович (1894—1959) — писатель-анималист; за него вторично вышла замуж бывшая жена сына Е.С. Федорова 10
- Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — временщик русской императрицы Анны Иоанновны 209
- Бисмарк Отто (1815—1898) — князь, государственный канцлер Германии 286, 287
- Бланк Александр Дмитриевич (1799—1870) — доктор медицины, дед В.И. Ленина 346
- Бланк (Ульяновна) Мария Александровна (1835—1916) — мать В.И. Ленина 346
- Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт-символист 299, 312
- Богданович Юрий Николаевич (1849—1888) — народоволец, умер в Шлиссельбургской крепости 93
- Боголюбский Николай Иванович — профессор богословия в Московском сельскохозяйственном институте, духовный писатель, протоиерей 169, 216, 218—220, 224
- Боголюбская Софья Александровна — жена Боголюбского Н.И. 169, 215, 216, 218, 219
- Богров Дмитрий — эсер, присяжный поверенный; в 1911 г. убил П.А. Столыпина; повешен 270
- Болдырев Анатолий Капитонович (1883—1946) — кристаллограф и минералог, ученик Е.С. Федорова, профессор Горного института 8, 9, 186, 188, 203, 232, 236, 256, 294, 324, 333, 340
- Борган Иван Иванович (1849—1914) — физик, профессор, первый выборный ректор Петербургского университета (1905—1910) 248
- Борман, кондитерская Бормана в Петербурге 109
- Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887) — композитор и химик, профессор 334
- Бородин Иван Парфеньевич (1847—1930) — ботаник, академик (с 1902), организатор русского ботанического общества 60, 294
- Бострем (Попова) Елизавета Васильевна — дочь Попова В.А. (см.) 68, 145, 225, 228, 245, 254, 275, 281
- Бострем Аня — дочь Бострем Е.В. 68, 254
- Бострем Оля — дочь Бострем Е.В., учительница 230, 239, 240, 250, 290

- Ботвинко Герасим Осипович (1790—?) — дед Е.С. Федорова, сенатор 270
- Ботвинко Петр Герасимович — брат матери Е.С. Федорова 264, 265
- Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — терапевт, физиолог, общественный деятель 334
- Брандес Георг (1842—1927) — датский литературный критик 301
- Бредихин Федор Александрович (1831—1904) — астроном, академик, директор Пулковской обсерватории (с 1890) 294
- Брокгауз и Ефрон — издатели энциклопедического словаря (1890—1907); Ф.А. Брокгауз — немецкий издатель, И.А. Ефрон — русский типограф-предприниматель 333
- Бронислав Николаевич см. Савицкий Б.Н.
- Броня см. Шмигельская Б.
- Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926) — генерал 304
- Брэгг Уильям Генри (1862—1942) — английский физик; вместе с сыном У.Л. Брэггом применил дифракцию рентгеновских лучей для определения структуры кристаллов 7
- Брэгг Уильям Лоуренс (1890—1971) — физик, сын Брэгга У.Г.; вызвал уравнивание дифракции рентгеновских лучей в кристаллах (одновременно с Вульфом Г.В.) 7, 8, 338, 349
- Бубликов Александр Александрович (1875—?) — инженер, член IV Государственной думы, эмигрировал 304, 307
- Буденный Семен Михайлович (1883—1973) — маршал, в гражданскую войну командир 1-й конной армии 327
- Булацель — адвокат 253
- Бурдаков — лавочник в Турьинских Рудниках на Урале 163
- Бутов Логгин Федорович — горный инженер в Турьинских Рудниках 168, 177, 178, 232, 322
- Бутова Юлия Михайловна — жена Бутова 168, 177, 178, 322
- Бух Николай Константинович (1853—после 1934) — народовец, после каторги — эсер 71, 72, 75, 76, 84, 336
- Бычков Николай Михайлович — приказчик 110
- Бэр Карл Максимович (1792—1876) — выдающийся натуралист-естествоиспытатель, академик 334
- Вагнер Николай Петрович (1829—1907) — зоолог, а также писатель-беллетрист, профессор Петербургского университета 52
- Варбург — советник германского посольства в Швеции в 1-ю мировую войну 297
- Варун-Секрет — либерал, заместитель председателя IV Государственной думы Родзянко М.В. 299
- Варушкин — конюх в экспедиции Е.С. Федорова по Северному Уралу 131
- Варя, тетя см. Надеждина В.А.
- Василий Васильевич см. Никитин В.В.
- Васильев — профессор, либерал, член Государственного совета 281
- Васильчикова 299
- Вася дядя см. Пиликин В.А.
- В.Г.Д. — врач, знакомый Е.С. Федорова по революционной деятельности 55, 60, 63
- Вейерт — врач глазной лечебницы в Петербурге 38
- Вейнингер Отто (1880—1903) 82, 228
- Величковский — начальник Николаевского военного госпиталя в Петербурге 58, 62
- Венюков Павел Николаевич (1856—1916) — геолог, приват-доцент Петербургского, затем профессор Киевского университета 117
- Вера — двоюродная сестра Л.В. Федоровой 115, 250
- Вера Николаевна см. Ильина В.Н.
- Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928) — писательница 228
- Вересаев (псевдоним Смидовича) Викентий Викентьевич (1867—1945) — писатель 278
- Верещагин Василий Васильевич (1842—1904) — художник-баталист, погиб в Цусимском сражении при взрыве броненосца 204
- Вернадский Владимир Иванович (1863—1945) — профессор минералогии, основоположник геохимии, биогеохимии, академик (с 1909) 5, 9, 189, 256, 294, 344
- Вернер Константин Антонович (1850—1902) — статистик-агроном, профессор Московского сельскохозяйственного института 194
- Виллен Рауль — французский шовинист, убил Жана Жореса в 1914 г. 345
- Вильборг, музыкальная школа Вильборга в Москве 176
- Вильгельм II (1859—1941) — германский император, король Пруссии; после отречения в 1918 г. жил в Голландии 286, 287, 289, 306, 309, 315
- Вильдан — кучер Е.С. Федорова в Турьинских Рудниках 155, 161, 162
- Вильдзюнис — литовский крестьянин 276, 277
- Вильямс Василий Робертович (1863—1939) — почвовед, один из основоположников современной агробиологии, академик (с 1931) 168, 171, 194, 219
- Вильямс Вера — дочь Вильямса 218
- Вильямс Мария Александровна — жена Вильямса 168, 169, 194
- Винавер Максим Моисеевич (1863—1926) — кадет, товарищ прокурора, депутат Учредительного собрания, эмигрировал 280
- Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, министр финансов (1892—1903), председатель Совета министров (1905—1906) 342
- Владимир, митрополит Московский 216
- Владимир Михайлович см. Шамонин В.М.
- Войслав Сигизмунд Григорьевич (1850—1904) — профессор Горного института 89, 140
- Волконский В.М. — товарищ председателя III и IV Государственных дум, товарищ министра внутренних дел 299
- Володарский (Гольдштейн) Моисей Маркович (1891—1918) — член президиума ВЦИК; убит эсером Сергеевым 314, 321
- Володя см. Золотавин В.Н.
- Воробьев Б.Н. 344
- Воронин Михаил Степанович (1838—1903) — ботаник-миколог, академик 294
- Вульф Георгий (Юрий) Викторович (1863—1925) — кристаллограф и кристаллофизик, профессор Московского университета 133, 138, 140, 256, 338, 344, 349

- Вундт Вильгельм Макс (1832—1920) — немецкий психолог и физиолог 90
- Вырубова Анна Александровна (1884—после 1929) — фрейлина и личный друг царицы, в августе 1917 г. выслана за границу 291
- Гадолин Аксель Вильгельмович (1828—1892) — генерал, профессор Михайловской артиллерийской академии, академик 134, 147, 150, 336
- Гакс — англичанин, владелец завода пароходов в Кунгуре 27
- Гакс Эдя — сын Гакса 27
- Гамсун (псевдоним Педерсена) Кнут (1859—1952) — норвежский писатель 88, 292
- Гапеев Александр Александрович (1881—1958) — студент Горного института, впоследствии профессор 258
- Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, возглавил шествие 9 января 1905 г. ("Кровавое воскресенье") 211, 287, 341
- Гартман Лев Николаевич (1850—1908) — народо-волец, участник покушения на Александра II, эмигрировал 334
- Гегечкори Евгений Петрович (1881—1954) — социал-демократ, член III Государственной думы, после революции один из руководителей меньшевистского правительства Грузии 307
- Гейм Альберт (1849—1937) — швейцарский геолог, автор контракционной гипотезы горообразования 96
- Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт 273, 300, 333
- Гельмгольц Герман (1821—1894) — немецкий естествоиспытатель, работавший в области физики, математики, физиологии, психологии 238, 316
- Геня, дядя *см.* Федоров Евгений Степанович
- Геня, внук *см.* Федоров Евгений Евграфович
- Герман Валентин Люцианович — управляющий Клобинами, именем матери Е.С. Федорова в Литве 265, 266, 270, 271
- Герман Любовь Тимофеевна — жена Германа В.Л. 270, 271
- Герцен Александр Иванович (1812—1870) — революционер-демократ, философ, публицист, писатель 102, 221, 334
- Герцен Наталья Александровна (1817—1852) — жена Герцена А.И. 102
- Герцен — дочь Герцена А.И. 237
- Герценштейн Михаил Яковлевич (1859—1906) — профессор Московского сельскохозяйственного института, кадет, член I Государственной думы, убит черносотенцами 219, 227
- Герье — знаменитый московский врач 178
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт и мыслитель 333
- Гилёв — учитель пения в Елизаветинском институте в Москве 178, 183
- Гилпиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэт, беллетрист, критик, эмигрировала 228
- Гиртль Иозеф (1811—?) — знаменитый венский анатом 39, 44
- Глазов — министр просвещения в 1905 г. 211
- Глаша родственница Л.В. Федоровой, подруга детства 27
- Глинка Константин Дмитриевич (1867—1927) — почвовед, ученик В.В. Докучаева, академик 143, 164
- Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — писатель 18, 28, 136, 151, 237, 301
- Годнев И.В. — врач, член Временного правительства 94
- Голицын Борис Борисович (1862—1916) — князь, физик, академик, создатель сейсмологии 149, 294
- Голицын Николай Дмитриевич (1850—1925) — князь, последний председатель Совета министров царского правительства 299, 304
- Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — писатель 29, 67, 333, 334
- Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — председатель Совета министров в 1906 и 1914—1916 гг. 289, 343, 345
- Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868—1936) 278, 345, 348
- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик, музыкант, живописец 318
- Графочка, внук *см.* Федоров Евграф Евграфович
- Графчик, сын *см.* Федоров Евграф Евграфович
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — драматург, поэт, дипломат 233
- Григорьев Александр Васильевич (1848—?) — секретарь русского Географического общества (с 1883) 343
- Григорьев Василий Николаевич (1852—1925) — статистик, экономист и общественный деятель 126, 198
- Гринберг Христина — член народовольческой организации 95, 96
- Грот Пауль (1843—1927) — немецкий кристаллограф, профессор Мюнхенского университета, издатель журнала "Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie" 7, 8, 145—147, 173, 202, 338, 339, 349
- Грубер Венцеслав Леопольдович (1814—1890) — профессор анатомии Петербургской медицинской академии 39, 42, 44, 73, 254
- Грузенберг О.О. (1866—?) — защитник в деле Бейлиса 280
- Грушевый — либерал, после 1905 г. близок к черносотенцам 230
- Губины — семья заведующего фермой в Московском сельскохозяйственном институте 217
- Гуля *см.* Мейер Гуля
- Гурко В.И. (1863—?) — товарищ министра внутренних дел, член Гос. думы, эмигрировал 186
- Гучков Александр Иванович (1862—1936) — лидер партии октябристов, председатель III Государственной думы, военный министр Временного правительства, эмигрировал 304, 343
- Д. — товарищ сына Е.С. Федорова по гимназии и университету 240
- Дагмара, принцесса датская, будущая императрица (1847—1928) — супруга Александра III 33, 180
- Данкла Жан Батист Ш. (1817—1907) — французский скрипач, композитор и педагог 133

- Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, создатель теории эволюции 39, 100
- Дегаев Сергей Петрович (1857—1920) — член ИК "Народной воли", провокатор 104, 105, 107, 336, 337
- Дедушка см. Пиликин А.Г.
- Де-Кампо Сципио см. Сципио де-Кампо Г.О.
- Делоне Борис Николаевич (1890—1980) — математик, член.-корр. АН СССР 6
- Дементьев Е.С. — библиотекарь Горного института 238, 240, 245
- Демьянов Николай Яковлевич (1861—1938) — профессор органической химии Московского сельскохозяйственного института, академик (с 1929) 169
- Демьянова Амелия Федоровна — жена Демьянова Н.Я. 169
- Демьянова Маша — дочь Демьянова Н.Я. 169, 171
- Демьянов Миша — сын Демьянова 171
- Деникин Антон Иванович (1872—1947) — генерал царской армии 307, 314
- Дерюгин Николай Николаевич (?—1894) — инженер-путеец, муж сестры Л.В. Федоровой — Эмили Васильевны Панютиной 20, 55, 62, 72, 75, 77, 82—84, 86, 90, 91, 99, 102, 104—108, 117, 119, 134—136, 139, 142—144, 147, 148, 152, 158, 229
- Дigna — дочь двоюродной сестры Л.В. Федоровой Юлии 274, 275
- Диев Д.П. — инженер Надеждинского рельсового завода на Северном Урале 173
- Диев Толя — сын Диева Д.П. 275
- Дикман Тереза Ивановна — соседка по имению Федоровых в Литве 264, 265, 272, 275, 286, 288
- Дмитриев — товарищ сына Е.С. Федорова, студент 187
- Дмитрий Дмитриевич см. Семенов Д.Д.
- Дмитрий Павлович, великий князь (1891—?) — участник убийства Г.Е. Распутина, бежал за границу 343
- Дмитрюков И.И. — октябрист, член Временного комитета Государственной думы 299
- Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — революционный демократ, критик и философ 28, 152
- Довнорович — полковник, сосед по имению Федоровых в Литве 265
- Доде Альфонс (1840—1897) — французский писатель 295
- Докучаев Василий Васильевич (1846—1903) — основатель научного почвоведения 117, 139—141
- Долбня Иван Петрович (1853—1912) — математик, профессор Горного института 195—198, 214, 235, 238, 261, 265
- Доливо-Добровольская Елена Максимовна — кристаллограф и кристаллохимик, Ленинградский университет 10, 334
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель 192, 237, 278, 301, 332, 334, 341
- Дубасов Федор Васильевич (1845—1912) — адмирал, московский генерал-губернатор, усмиритель декабрьского (1905) восстания в Москве 218—220, 342
- Дубовин Николай Федорович (1837—1904) — историк, непреходящий секретарь Петербургской Академии наук (с 1893) 192, 202, 293
- Дурбыхев Н. — фельдшер в Турьинских Рудниках 174
- Дурново Иван Николаевич (1830—1903) — министр внутренних дел (с 1889) 256
- Дуров Владимир Леонидович (1863—1934) — цирковой артист и дрессировщик 275
- Дюринг Евгений (1833—1921) — немецкий философ, математик, экономист 49
- Евгений см. Федоров Евгений Степанович
- Евгений Евстафьевич см. Семашкевич Е.Е.
- Евгения Максимилиановна, великая княгиня (1845—?) — супруга принца А.П. Ольденбургского, попечительница Максимилиановской лечебницы, президент Минералогического общества (1891—1917) 35
- Евгения Николаевна см. Артемьева Е.Н.
- Евклид (Эвклид) (III в. до н.э.) — древнегреческий математик 390
- Евпатий Коловрат — легендарный народный герой во время нашествия Батыя на Рязань 292
- Егоров Николай Григорьевич (1849—1919) — профессор физики 78
- Езерский — бухгалтер, присвоил изобретенную Е.С. Федоровым четвертую бухгалтерию 83
- Езерский Михаил Михайлович — минский помещик 263—265, 270—272, 277, 308
- Езерская М. — сонаследница имения матери Е.С. Федорова в Литве, дочь Езерского М.М. 252, 270
- Екатерина, танта (1787—1863) — тетя и воспитательница матери В.И. Ленина 346
- Елена Вильгельмовна — сестра Арсеньевой Л.В. 23, 24, 27
- Елизавета Павловна — прислуга Федоровых в Турьинских Рудниках 154
- Елизавета Петровна, императрица (1709—1761) — дочь Петра I и Екатерины I 192
- Еня см. Федорова Евгения Евграфовна
- Еремеев Павел Владимирович (1830—1899) — профессор минералогии и кристаллографии Горного института, академик (с 1894) 6, 116, 117, 122, 124, 134, 136, 137, 140, 146, 150, 164, 173, 185, 191, 202, 209, 221, 316, 322, 324, 337—339
- Ермолов — министр 198
- Ермолова — директор женских врачебных курсов в Петербурге 60, 62, 82
- Есенин Сергей Александрович (1895—1925) — поэт 332
- Е.Ф.Б. см. Багаева Е.Ф.
- Желябов Андрей Иванович (1850—1881) — один из руковод. партии "Народная воля". казнен 93
- Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908) — поэт, один из участников группы поэтов под псевдонимом "Козьма Прутков" 331
- Женя см. Федорова Евгения Евграфовна
- Жорес Жан (1859—1914) — руководитель правого реформистского крыла французской социалистической партии, убит Вилленом 283, 345
- Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1852) — французская писательница 278
- Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт 331

- Завадская Евгения Флориановна (?—1883) — член организации "Народная воля", жена Франжолы А.А., после смерти мужа отравилась 104
- Заварицкий Александр Николаевич (1884—1952) — геолог, петрограф и петрохимик, академик (с 1939) 8
- Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель
- Зайцев — владелец завода в Киеве, где произошло убийство и возникло дело Бейлиса 280
- Замысловский Г.Г. — черносотенец, член Гос. думы 280, 345
- Заратустра (Зороастр) — легендарный иранский пророк, основатель религии зороастризма 67
- Засодимский Павел Владимирович (1843—1912) — писатель-народник 336
- Засулич Вера Ивановна (1851—1919) — активный революционный деятель, позже один из лидеров меньшевизма, публицист 73, 336
- Зверева — сокурсница Л.В. Федоровой по врачебным курсам 76, 77
- Зеленцовы Люба и Вера — подруги детства Л.В. Федоровой 23
- Зелинский Николай Дмитриевич (1861—1953) — химик, академик (с 1929) 344
- Зельма Ивановна — бонна в семье Федоровых 168, 171, 173, 176, 178, 181, 182, 201, 215
- Зинин Николай Николаевич (1812—1880) — химик, академик 334
- Зисман — комендант г. Торопца в 1919 г. 328
- Златопольский Лев Соломонович (1847—1907) — член организации "Народная воля", приговорен к каторге (1882), умер на поселении 104
- Златопольский Савелий Соломонович (1855—1885) — литератор, член ИК "Народной воли", умер в Шлиссельбургской крепости 104
- Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — писатель 336
- Золотавин Николай Афанасьевич (1845—1928) — земский врач, муж сестры Е.С. Федорова — Марин Степановны (см.) 69, 84, 121, 131, 188, 189, 212, 215, 216, 328
- Золотавин Александр Николаевич (Шура) (1883—1917) — сын Золотавина Н.А., учитель 121, 131, 188, 189, 222, 223, 233, 312
- Золотавин Владимир Николаевич (Володя) (1886—1971) — сын Золотавина Н.А., врач 121, 131, 188, 189, 221—223, 233, 250, 251, 300, 312
- Золотавин Николай Николаевич (Коля) (1881—1942 или 1944) — сын Золотавина Н.А., учитель 121, 131, 185, 188, 189, 222, 223, 244, 293, 328
- Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель 278
- Зоя — дочь племянницы Е.С. Федорова Леночки см. Федорова Елена Ивановна 330, 333
- Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург 278, 301, 341
- Иван Васильевич см. Мушкетов И.В.
- Иваницкая 104
- Иванов — почтмейстер в Петровско-Разумовском 217
- Иванов И.И. (?—1869) — студент, убитый С.Г. Нечаевым 341
- Иванов Николай Иудович (1851—1919) — генерал, в феврале 1917 г. — главнокомандующий Петроградским военным округом 303, 304
- Иванов Паисий Павлович — топограф в экспедициях Е.С. Федорова по Северному Уралу (1884—1890) 106, 110, 112, 121, 124—127, 129, 132, 133, 162, 163
- Иванов С.А. — одна из главных именных премий Петербургской Академии наук 293
- Иванова Мария Антоновна — жена Иванова П.П. 110, 124, 132
- Иглицкий — студент Одесского университета, убитый на сходке (1911) 267
- Игнатьев Павел Николаевич (1870—1926) — граф, министр народного просвещения (1915—1916) 299
- Ижевский — врач в Петербурге 202
- Изенберг — врач в Кунгуре 26
- Иллиодор (С.В. Труфанов) (1880—?) — иеромонах-проповедник, один из активных деятелей реакции и черносотенства 291
- Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк и публицист, автор школьных учебников 31
- Ильины — семья, близкая семье Панютиных 14, 23—25
- Ильин Николай Иванович — сокурсник отца Л.В. Федоровой по Казанскому университету 14, 23, 24
- Ильина Матильда Фоминична — жена Ильина Н.И. 23
- Ильина (Степанова) Вера Николаевна — дочь Ильина Н.И. 124, 141, 145, 147
- Ильина Надя — дочь Ильиных 23, 158
- Ильина (Энгельгардт) Ольга Николаевна (Олечка) — дочь Ильина Н.И. 23, 40, 42, 43, 47, 60, 124, 141, 145
- Ильха — сын медника 38, 62
- Иностранцев Александр Александрович (1843—1919) — геолог, член-корр. Петербургской Академии наук 117
- Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергеев) (1829—1907) — протоиерей Кронштадтского собора, проповедник и духовный писатель 237
- Иокиш, фабрика Иокиша 218
- Иосиф — библейский персонаж, сын патриарха Иакова 17
- Иосса Николай Александрович (1845—1916) — металлург, профессор Горного института 195, 197, 198
- Ицко — сын медника 38
- Кадыан — профессор, врачебный эксперт в деле Бейлиса 280
- Калачевский — студент Горного института 189, 190
- Калашников Виктор Алексеевич — студент Медико-хирургической академии 41, 43—46, 80
- Калаяв Иван Платонович (1877—1905) — эсер, в 1905 г. убил великого князя Сергея Александровича; казнен 211, 341
- Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ 50, 228
- Капитон Евграфович см. Надеждин К.Е.
- Каплан Фанни Е. — эсер, террористка; ранила В.И. Ленина, расстреляна в 1918 г. 314

- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель и историк 331
- Караулов Василий Андреевич (1854—1910) — народоволец; арестованный в 1884 г., прошел Шлиссельбург, каторгу 107
- Караулов Николай Андреевич — народоволец, умер в Петропавловской крепости 107
- Карножицкий Александр Николаевич (1867—1906) — минералог и кристаллограф, работал в Петербургском университете 133, 138, 140, 151, 152, 206
- Карпинский Александр Петрович (1846—1936) — геолог, президент Академии Наук СССР (1917—1936) 116, 117, 132, 140, 149, 150, 164, 185, 193, 209, 220, 294, 319, 324, 341, 349
- Карпинская Маруся — дочь Карпинского А.П. 132
- Карышев Николай Александрович (1855—1905) — экономист и статистик, профессор Московского сельскохозяйственного института 170—172
- Каслопов Николай — проводник-вогул в экспедициях Е.С. Федорова по Северному Уралу (1884—1890) 132
- Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — министр народного просвещения, (1910—14), профессор гражданского права 344
- Катенька — бонна в семье Панютиных в Перми 14
- Катерина — прислуга в семье Федоровых в Горном 298, 311, 316, 320
- Катя см. Попова Катя
- Катя — прислуга в семье Поповых 73, 77
- Катя О. — внучата племянница Е.С. Федорова, дочь Александры Федоровны (см.) 235
- Каульбарс Александр Васильевич (1844—?) — барон, командующий войсками, прославился расправой над революционным населением Одессы 228
- Каутский Карл (1854—1938) — лидер германской социал-демократической партии, центрист 345
- Кауфман-Туркестанский Петр Михайлович (1857—1926) — министр народного просвещения (1906—1908) 299
- Квятковский Александр Александрович (1853—1880) — член ИК "Народной воли", повешен 336
- Кейм (Ке) см. Гейм А.
- Кёлле — директор Кедабекских заводов по производству меди 198, 250
- Кеплер Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном 6
- Керенский Александр Федорович (1881—1970) — эсер, председатель Временного правительства нескольких составов 299, 304, 305, 307—309, 314, 346, 347
- * Кибальчич Николай Иванович (1854—1881) — народоволец, участник покушения на Александра II, повешен 92, 93
- Киселева Клавдия Алексеевна — знакомая семьи Панютиных 40, 43, 45, 46, 54, 63, 82, 289
- Киселев Сергей Сергеевич — сын Киселевой К.А. 289
- Кихлер Леопольд Феофилович — окружной горный инженер в Турьинских Рудниках 155, 180, 183
- Кихлер Эмма Ивановна — жена Кихлера Л.Ф. 155, 157, 180, 183
- Кихлер Эля — дочь Кихлера Л.Ф. 155
- Клавдия Алексеевна см. Киселева К.А.
- Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914) — участник революционного движения 1870-х гг., публицист, позднее археолог и этнограф 336
- Клейн Карл (1842—1907) — немецкий минералог, профессор Берлинского университета, академик 173, 209
- Клепинины см. Ильина Надя
- Клодт Константин — барон, заместитель А.А. Ауэрбаха, управляющего Богословским горным округом 175, 176
- Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959) — актриса Московского Художественного театра, жена А.П. Чехова 212
- Кнох — врач в Петербурге 225
- Князев Георгий Алексеевич — директор Ленинградского отделения Архива АН СССР 9
- Ковалевский Александр Онуфриевич (1840—1901) — биолог-эволюционист, академик 8, 293, 295
- Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — правовед, историк, профессор, член I Государственной думы и Государственного совета (1907) 247.
- Коган — студент Медико-хирургической академии 42, 72, 73
- Кокошкин Федор Федорович (1871—1918) — кадет, публицист, член Временного правительства, убит матросами 310, 347
- Кокшаров Николай Иванович (1818—1892) — минералог, профессор Горного института, академик 6, 117, 322, 323
- Кокшаров Николай Николаевич — сын Кокшарова Н.И. 117, 118, 146, 323
- Колоколова — думский врач 149
- Колонтаров ("Рулястый") — студент-медик, затем ассистент на врачебных женских курсах в Петербурге 46, 97
- Колчак Александр Васильевич (1873—1920) — адмирал, один из руководителей контрреволюции 316, 319, 348
- Коля см. Панютин Н.В.
- Коля см. Золотавин Н.Н.
- Коля Ст. — племянник Е.С. Федорова, сонаследник имения матери Е.С. Федорова в Литве 252, 263, 266, 270, 271
- Кондаков Е.И. — врач в Московском сельскохозяйственном институте 172, 201
- Коновалов Александр Иванович (1875—1948) — промышленник, заместитель председателя Временного правительства 308
- Коновалов Дмитрий Павлович (1856—1929) — химик, профессор, директор Горного института (1904—1905), товарищ министра торговли и промышленности (1908—1915), академик (1923) 198, 203, 221, 222, 224, 238, 253
- Коноплянникова Зинаида — совершила убийство генерала Мина, усмирителя декабрьского восстания в Москве в 1905 г. 228
- Константин Константинович Романов, великий князь (1858—1915) — внук Николая I, поэт и пианист, президент Академии Наук с 1889 г., печатался под псевдонимом К.Р. 7, 193, 202—204, 208, 209

- Конт Огюст (1798—1857) — французский философ и социолог 50
- Кончи — топограф в экспедиции Е.С. Федорова по Северному Уралу 106
- Копчинские Костя и Саша — знакомые семьи Федоровых 233, 234
- Корабчевский — защитник в деле Бейлиса 280
- Корба см. Прибылева-Корба А.П.
- Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал, верховный главнокомандующий в июле—августе 1917 г., убит в бою 307, 308, 310, 316, 347
- Коровов — владетель дома в Петербурге на Кирочной, где у Федоровых была подпольная типография 70
- Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель 90, 198, 280, 345
- Корш Федор Адамович (1852—1921) — театральный антрепренер, организатор московского театра Корша (1882) 145
- Косинский Михаил Осипович (1835—1883) — учитель математики в Смольном институте 31
- Косоротов — участник суда в деле Бейлиса 280
- Костычев Павел Андреевич (1845—1895) — один из основоположников современного почвоведения, профессор Петербургского университета и Лесного института 117, 118, 220
- Кохманский — начальник Контроля по ревизии учреждений императрицы Марии 39, 46, 54, 61
- Коцовский Николай Дмитриевич (1853—1910) — профессор Горного института 196
- Кравчинский (литературный псевдоним Степняк) Сергей Михайлович (1851—1895) — народник, писатель и публицист 72, 73, 335, 336
- Краевич Константин Дмитриевич (1833—1892) — педагог, автор учебников по физике, алгебре и космографии 59
- Красин — студент Московского сельскохозяйственного института 218
- Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — генерал, организатор белогвардейской армии на Дону; казнен по приговору Верховного суда СССР 308, 309
- Крафт-Эббинг Рихард (1840—1902) — австрийский психиатр 102
- Крѣз (VI в. до н.э.) — лидийский царь, один из богатейших людей древности 110, 130
- Кривенко Сергей Николаевич (1847—1907) — литератор, представитель революционного, а затем либерального народничества 104, 105, 336
- Крокодилова — соученица Л.В. Федоровой по гимназии 23
- Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — князь, теоретик анархизма, позже геолог и этнограф 335
- Крумбюгель — студент Московского сельскохозяйственного института 199
- Крушеван П.А. — один из лидеров черносотенцев 230
- Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — баснописец 32, 60
- Крымов Александр Михайлович (1871—1917) — генерал, застрелился после подавления корниловского мятежа 307
- Крюков — директор Сельскохозяйственного департамента 237
- Кудрявцев Петр Семенович — студент Московского сельскохозяйственного института 182, 183
- Кузнецов А.Г. — родственник Л.В. Федоровой, миллионер, воздвиг церковь в Форосе в Крыму 214
- Кузнецов Николай Иванович (1864—1932) — ботаник в экспедициях Е.С. Федорова по Северному Уралу (1884—1890), позже член-корр. Академии наук (1904) 106, 110, 113, 127, 133
- Кулагин Николай Михайлович (1860—1940) — зоолог и энтомолог, академик (1934) 164, 165, 168, 170, 172, 191
- Кулагина Анна Юльевна — жена Кулагина Н.М. 164, 165, 191
- Кулибин Николай Александрович (1831—1903) — профессор Горного института, директор Горного департамента (1882—1891) 104
- Кумок Я.Н. — советский писатель, автор книги "Е.С. Федоров", серия "ЖЗЛ", М., 1971 10
- Купфер Август Эрнестович (1842—1918) — помощник Е.С. Федорова в Московском сельскохозяйственном институте, с 1906 г. — помощник хранителя в Минералогическом музее Горного института 166, 215, 223, 229, 232, 234, 235, 237, 239—241, 243, 247, 267, 274, 279
- Купфер Каролина Юльевна — жена Купфера А.Э. 166
- Купфер Эдя — сын Купфера А.Э. 166
- Курлов Павел Григорьевич (1860—1923) — генерал, командир корпуса жандармов, товарищ министра внутренних дел 299
- Курнаков Николай Семенович (1860—1941) — физико-химик, академик (1913) 138, 143, 145, 195, 198, 214, 222, 294, 323
- Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал, в русско-японской войне 1904 г. главнокомандующий сухопутными войсками 211
- Курылев — фельдшер Александровской больницы в Перми 17
- Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — генерал-фельдмаршал 23
- Кшесинская Матильда Феликсовна (1872—1971) — прима-балерина Мариинского театра 289, 306
- Кюн Цезарь Антонович (1835—1918) — композитор, инженер-генерал 145
- Лавдовский Михаил Дормидонтович (1846—1902) — гистолог, профессор 78
- Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — идеолог народничества, профессор математики, с 1870 г. в эмиграции 49, 335
- Лагорио — 256, 257
- Лагузен Иосиф Иванович (1846—1911) — палеонтолог и геолог, профессор Горного института и директор (1901—1903) 195, 196
- Ланцерт — профессор анатомии в Петербурге 59, 78
- Лауэ Макс (1879—1960) — немецкий физик-теоретик, открывший дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах 7
- Лаферм, фабрика Лаферма в Петербурге 95
- Лебедев Георгий Глебович (1849—1909) — адъюнкт, затем профессор минералогии и кристаллографии в Горном институте 117, 196, 197

- Лебедев Петр Николаевич (1866—1912) — физик, профессор Московского университета 344
- Лебедзинский Люциан Антонович — горный инженер, административный распорядитель и руководитель поискового отряда в экспедициях Е.С. Федорова по Северному Уралу (1884—1890) 109, 110, 116, 124, 129, 130, 156, 235
- Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861—1939) — геолог и петрограф, академик (1925) 149, 177
- Левницкая (Гирс) Полина (Прасковья) Сергеевна (1847—?) — певица 43
- Лена — прислуга Федоровых 179, 181—183
- Леночка см. Федорова Елена Ивановна
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) 306, 307, 311, 313, 314, 342, 343, 345—348
- Леонтьева Мария Павловна — начальница Смольного института 25, 33, 37
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 16, 17
- Леруа-Болье Анатолий (1842—?) — французский публицист, профессор истории 331
- Лесгафт Петр Францевич (1837—1909) — педагог, анатом, врач, автор научной системы физического воспитания 51, 52, 223, 228—231, 234, 235, 239, 240, 242, 245—248, 250, 251, 254, 255, 274, 334, 335, 342—344
- Лесков Николай Семенович (1831—1895) — писатель 227, 228
- Лёшь Александр Александрович (1837—1889) — профессор фармации и фармакогнозии или Федор Александрович (1840—?) — профессор терапии; оба — в Медико-хирургической академии 42
- Либкнехт Карл (1871—1919) — один из основателей компартии Германии, убит; по профессии адвокат 315, 317
- Липин Вячеслав Николаевич (1858—1930) — металлург, профессор Горного института, член-корр. АН СССР (1928) 195, 196
- Лисенко Конон Иванович (1836—1903) — химик-технолог, профессор Горного института 103, 104, 140, 145, 210
- Лисовский Николай Михайлович (1854—1920) — известный библиограф 127
- Лисовская — жена Лисовского 127, 128
- Литтауэр С. — горный инженер в Турьинских Рудниках 156, 168
- Литтауэр Софья Владимировна — жена Литтауэра С. 156, 232
- Лодочников (Лодочникянц Вартан Мкртычевич) Владимир Никитович (1887—1943) — геолог и петрограф, профессор Ленинградского Горного института, Геолкома (ВСЕГЕИ) 89
- Лопатин — сын купца, убитый погромщиками в 1905 г. 216
- Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — революционер, социалист, первый переводчик "Капитала" К. Маркса, после ареста в 1884 г. находился в одиночке Шлиссельбургской крепости до 1905 г. 104, 107
- Лота — прислуга брата Е.С. Федорова — Евгения Степановича 260
- Лохвицкая, гимназия Лохвицкой в Петербурге 249
- Лубкин Сергей Николаевич (1854—1880) — студент-медик, народоволец, наборщик в подпольных типографиях, выпускавших газеты "Начало", "Земля и воля", "Народная воля" 71, 74—76, 84, 93, 335, 336
- Лукашевич Иосиф Деметьевич (1863—1928) — народоволец из группы А.И. Ульянова, с 1887 по 1905 г. находился в одиночке Шлиссельбургской крепости, позже эсер, кандидат в Учредительное собрание 245
- Лукка Паолина (1841—1908) — австрийская певица, сопрано 43
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — до 1929 г. народный комиссар просвещения 348
- Лутугин Леонид Иванович (1864—1915) — геолог, исследователь Донбасского угольного бассейна 238, 239
- Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, председатель Временного правительства в марте—июле 1917 г., эмигрировал 304, 346
- Люба Д. — актриса Художественного театра, знакомая Федоровых 246
- Любавин Николай Николаевич (1845—1918) — химик, профессор Петербургского и Московского университетов 97, 118, 173, 184, 186, 213
- Любавина Екатерина Федотовна — жена Любавина Н.Н. 97, 173, 184, 213
- Любавин Митя — сын Любавина Н.Н. 118, 214
- Любавины Боря, Таня — дети Любавина Н.Н. 184
- Любатович Ольга Спиридоновна (1855—1917) — член организаций "Земля и воля" и "Народная воля" 104
- Любовь Ивановна — прислуга в семье Панютиных и Федоровых 37, 41—43, 46, 53, 54, 62, 63, 71—77, 85, 86, 92, 105, 107—109, 121—123, 127, 128, 133, 134, 138
- Люксембург Роза (1871—1919) — одна из основателей компартии Германии 315, 317
- Лядов Василий Иванович (1834—1892) — педагог Смольного института 29
- Ляпунов Александр Михайлович (1857—1918) — математик и механик, академик (с 1901 г.) 294
- М. — помещик, сосед по имению Федоровых в Литве 261, 264, 272
- Магдалина см. Гринберг Х.
- Маевский (?—1884) — однокурсник Е.С. Федорова по Горному институту 95, 97—99, 103
- Мазини Анджело (1844—1926) — итальянский певец (тенор) 45, 57, 233
- Майер Павел Юлианович — инженер-путеец в Турьинских Рудниках 155
- Майер Маруся — дочь Майера П.Ю. 155, 164, 203, 232
- Майер Сережа — сын Майера П.Ю. 155
- Майерс Генри (Miers G.) (1858—1942) — профессор минералогии Оксфордского университета, ректор Лондонского университета 349
- Макарий, митрополит Московский (Булгаков Михаил Петрович) (1816—1882) — доктор богословия, церковный историк, академик (1854); им была пожертвована Академии наук крупная сумма денег для ежегодного присуждения премий (премия имени митрополита Макария) 134, 293, 337
- Макаров Александр Александрович (1857—1919) — министр внутренних дел и шеф жандармов (1911—1912), министр юстиции (1916) 299

- Макаров Аполлон Николаевич 204
- Маклаков Василий Алексеевич (1870—1957) — кадет, член II и IV Государственных дум, эмигрировал 281, 299, 304, 346
- Маклаков Николай Алексеевич (1871—1918) — министр внутренних дел и шеф жандармов (1912—1915) 280, 289, 299, 343, 345
- Маковский Константин Егорович (1839—1915) — художник, брат знаменитого живописца 214
- Максим — служитель в кабинете Е.С. Федорова в Горном институте 261, 288
- Малляр Франсуа Эрнест (Mallard F.E.) (1833—1894) — французский минералог и кристаллограф 202, 256
- Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист 180, 340
- Мамонтов Константин Константинович (1869—1919) — генерал, командир конного корпуса деникинской армии 327
- Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869—1918) — журналист, чиновник департамента полиции, аферист 291, 293
- Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист, профессор и ректор Московского университета (1905—1911) 267
- Манус — финансист 343
- Мария Александровна, императрица (1824—1880) — супруга Александра II 26, 32, 33, 39
- Мария Антоновна см. Шимкова М.А.
- Мария Ивановна — полька, невеста Петра Герасимовича, дяди Е.С. Федорова 264, 265
- Мария Петровна — княгиня, соседка Федоровых на даче в Плюссах 125, 130
- Мария Степановна см. Федорова М.С.
- Мария Федоровна, императрица (1847—1928) — супруга Александра III, до замужества датская принцесса Дагмара 33, 224
- Марков Андрей Андреевич (1856—1922) — математик, академик (1886) 180, 208, 209, 294, 340
- Маркова — певица в Большом театре в Москве
- Маркс Карл (1818—1883) 49, 308, 309, 333, 334, 341
- Матильда Фоминишна см. Ильина М.Ф.
- Маша — горничная в семье Федоровых 199—201
- Машенька см. Пиликина М.П.
- Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) 332, 333
- Медведев — однокурсник Е.С. Федорова по Горному институту 95, 97
- Меден Николай Николаевич (1833—?) — генерал, сенатор, губернатор г. Новгорода в 1902 г. 188
- Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878) — шеф жандармов, убит С.М. Кравчинским 73
- Мейер — студент Петербургского университета 41—43, 46, 47, 52, 60, 80
- Мейер Эмилий Адольфович — профессор, главный садовод Московского сельскохозяйственного института 170, 216, 218, 219
- Мейер Гуля и Соня — дочери Мейера Э.А. 247
- Мёллер Валериан Иванович (1840—1910) — геолог и палеонтолог, директор Горного института (1893—1900), член-корр. Академии наук 146
- Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — химик, профессор Петербургского университета 5, 8, 150, 168, 202, 231, 244, 295, 316, 335, 339, 343
- Мендельсон-Бартольди Феликс (1809—1847) — немецкий композитор, пианист, органист, дирижер 171, 318
- Мензбир Михаил Александрович (1855—1935) — зоолог, член-корр. Академии наук (1896), ректор Московского университета (1917—1919) 267
- Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — черносотенный публицист 258
- Мечников Илья Ильич (1845—1916) — биолог, один из основоположников сравнительной патологии, иммунолог 314
- Микулинский Семен Романович — член-корреспондент АН СССР 10
- Мила см. Федорова Л.Е.
- Миллер Всеволод Федорович (1848—1913) — фольклорист, этнограф и археолог, академик 173
- Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ и экономист 49, 330
- Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, лидер кадетов, министр иностранных дел Временного правительства, эмигрировал 299, 304, 306, 343, 346
- Миля см. Панютин А.В.
- Мин Г.А. (1855—1906) — генерал, усмиритель декабрьского восстания в Москве в 1905 г.; убит Конопланниковой 3, 228
- Минаков Петр Андреевич (1865—1931) — профессор Московского университета 267
- Мирбах Вильгельм (1871—1918) — граф, посол Германии в России, убит левым эсером Я. Блюмкиным 314
- Миронов — промышленник 291
- Миронович — пристав 107
- Миртов — псевдоним П.Л. Лаврова
- Митя см. Арсеньев Д.А.
- Митя см. Мушкетов Д.И.
- Михаил Александрович, великий князь (1878—1918?) — брат Николая II 304
- Михаил Михайлович см. Езерский М.М.
- Михайлов Александр Дмитриевич (1855—1884) — народоволец, умер в Петропавловской крепости 93, 336
- Михайлов Тимофей Михайлович (1859—1881) — народоволец, участник покушения на Александра II; казнен 93
- Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист, идеолог либерального народничества 68
- Михалина Ивановна см. Слижис М.И.
- Михеев Виктор Иванович (1912—1956) — кристаллограф, профессор Горного института 340
- Михельсон Владимир Александрович (1860—1927) — физик, профессор Московского сельскохозяйственного института 170, 220, 332
- Миша см. Шамолин М.
- Молчановская — соученица Л.В. Федоровой по Смольному институту 26, 33
- Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ, скептик 99, 212
- Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — писатель и историк 61
- Морейнис Фанни Абрамовна (1859—1937) — член организации "Народная воля", участвовала в подготовке покушения на Александра II 104

- Морозов Николай Александрович (1854—1946) — народовец, публицист, писатель, ученый; арестованный в 1881 г., просидел в Шлиссельбургской крепости до 1905 г. 79, 245, 246, 281, 336, 349
- Морозова Ксения Алексеевна — жена Морозова Н.А. 281
- Муравьев — смотритель Александровской больницы в Перми 15
- Муравьева Серафима Леонтьевна — жена Муравьева 16, 24, 40, 41, 43, 47
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1617(18)—1682) — испанский живописец 95
- Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, председатель I Государственной думы, один из лидеров кадетской партии 224, 226, 343
- Мусин-Пушкин — граф 13
- Мушкетов Иван Васильевич (1850—1902) — геолог и географ, профессор Горного института 95, 96, 105—107, 116—118, 122, 124, 125, 138, 141, 146, 150, 164, 167, 196, 220, 222, 324, 325, 349
- Мушкетов Дмитрий Иванович (1882—1938) — геолог, профессор Горного института, сын Мушкетова И.В., директор института (1918—1927) 141, 150, 324
- Мушкетова Екатерина Павловна — жена Мушкетова И.В. 95, 122, 124, 138, 150, 222
- Мясоедов С. (?—1915) — полковник, за шпионаж в пользу Германии казнен 301
- Надеждина Варвара Александровна — сестра отца Л.В. Федоровой 14, 15, 21, 22
- Надеждин Капитон Евграфович (?—1857) — муж Надеждиной В.А. 14, 15, 21
- Надя *см.* Ильина Н.
- Назаров — студент Горного института 290
- Нанява — доктор в Семипалатинской области 182
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821) 23, 34, 48, 286
- Наполеон III (1808—1873) — французский император (1852—1870), племянник Наполеона I 48, 334
- Небогатов Н.И. (1849—1922) — контр-адмирал, командующий эскадрой в Цусимском сражении в мае 1905 г. 201, 213
- Некрасов Николай Алексеевич (1921—1877) — 26, 28, 31, 226, 244, 331, 334
- Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — руководитель организации "Народная расправа"; за убийство студента Иванова арестован в 1872 г.; умер в Петропавловской крепости 192, 281, 341
- Никитин Василий Васильевич (1867—1942) — ученик, помощник и друг Е.С. Федорова, профессор Горного института и директор (1917—1918) 163, 164, 167, 168, 172, 174, 177, 181, 185, 207, 222, 231, 236, 237, 239, 249, 257, 323, 339
- Никитин Петр Васильевич (1849—1916) — филолог-классик, брат В.В. Никитина, вице-президент Академии Наук (1898—1900) 220, 294
- Никитин Сергей Николаевич (1851—1909) — геолог и палеонтолог, член-корр. Академии наук (1902) 116, 119, 120, 125, 145
- Никитин Юрий — сын Никитина С.А. 120, 145
- Никитина Екатерина Алексеевна — жена Никитина С.Н. 119, 120, 125, 145
- Никитина В.Д. 274
- Никитины Боря и Дима — сыновья Никитина С.Н. 120
- Николай I (1796—1855) — император России 69
- Николай II (1868—1918) — император России, убит с семьей в Екатеринбурге 173, 184, 209, 224, 276, 287, 289—291, 301, 304, 307, 314, 340, 341, 343, 345
- Николай — сторож в Горном институте 123
- Николай Афанасьевич *см.* Золотавин Н.А.
- Николай Иванович *см.* Боголюбовский Н.И.
- Николай Николаевич (старший), великий князь (1831—1891) — сын Николая I, главнокомандующий в русско-турецкую войну 1877—1878 г. 34
- Николай Николаевич (младший), великий князь (1856—1929) — дядя Николая II, сын Н.Н. (старшего), главнокомандующий в 1914—1915 г., бежал за границу 311
- Николай Николаевич *см.* Дерюгин Н.Н.
- Николай Филиппович — губернатор в семье Арсеньевых 22
- Нильсон Кристина (1843—1921) — шведская певица 43
- Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ 67, 141, 213, 317, 318
- Новиков — бакинский губернатор 223
- Новорусский Михаил Васильевич — народовец из группы А.И. Ульянова, отбывал срок в Шлиссельбургской крепости (1887—1905) 245, 249
- Ногин *см.* Лубкин С.Н.
- Норденшельд Нильс Эрик (1832—1901) — шведский полярный исследователь 343
- Ньютон Исаак (1642—1727) 80
- Обнорский Виктор Павлович (1852—1920) — революционер, арестован в 1879 г., отбывал каторгу в Сибири 336
- Оболенская (Мещерская) А.А., гимназия Оболенской — одна из лучших в Петербурге 38
- Обручев Владимир Афанасьевич (1863—1956) — геолог и географ, академик (1929) 164
- Овсянников — домовладелец в Петербурге и богач 24, 38, 86
- Ольга Николаевна, Олечка *см.* Ильина О.Н.
- Ольга Юльевна *см.* Сципио О.Ю.
- Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — востоковед, неприменный секретарь Академии наук (1904—1929), министр просвещения Временного правительства 293, 295, 316, 330, 338
- Ольденбургский Петр Георгиевич, принц (1812—1881) — сенатор, член Государственного совета, председатель совета женских учебных заведений 30, 103
- Орёлкин Борис Петрович (1884—1931) — химик, ученик и сотрудник Е.С. Федорова 256, 274
- Осипенко 291
- Остроградский — товарищ министра Торговли и Промышленности 253
- П. — студент Петербургского университета 63
- Павел Николаевич *см.* Серебрянников П.Н.
- Павлов Алексей Петрович (1854—1929) — геолог, профессор Московского университета, академик (1916) 164

- Павлов Иван Петрович (1849—1936) — физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности 5, 280, 334, 348
- Палладин Владимир Иванович (1859—1922) — физиолог растений, академик 294
- Паллечек Иосиф Иосифович (1842—1915) — певец (бас), педагог, режиссер 43
- Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель и журналист 334
- Панина Софья Владимировна — графиня, учредительница Народного дома, член ЦК кадетской партии, министр Временного правительства, эмигрировала 271, 311, 347
- Панютин Василий Александрович (?—1854) — отец Л.В. Федоровой, главный врач Александровской больницы в Перми 12, 13, 16, 63, 346
- Панютин Виктор Васильевич — сын Панютина В.А., сводный брат Л.В. Федоровой 13, 14, 24, 25, 30, 38, 40
- Панютин Николай Александрович — брат Панютина В.А., директор дворянского училища в Пензе 13, 14, 25
- Панютин Николай Васильевич (1852(53)—1904) — сын Панютина В.А., брат Л.В. Федоровой 14, 16—18, 20, 21, 23—25, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 54, 58, 61, 63, 72, 73, 84—89, 93, 100, 102, 107, 112—114, 139, 144, 178—180, 201, 203, 204, 206
- Панютина (Пиликина) Анна Андреевна (1833(34)—1895) — жена Панютина В.А., мать Л.В. Федоровой 13—18, 21, 23—25, 27, 37, 39—42, 44—46, 54, 55, 57, 58, 62—65, 67, 68, 70—72, 78, 80, 82—86, 91, 99, 101, 102, 104—107, 136, 147, 148, 152, 158, 187
- Панютина (Семашкевич) Анна Евстафьевна — жена Панютина Н.В. 107, 179, 180, 203, 206
- Панютина Людмила Васильевна (Люда) см. Федорова Л.В.
- Панютина (Дерюгина) Эмилия Васильевна (Милля) — дочь Панютина В.А., сестра Л.В. Федоровой 14, 15, 17, 20, 23—25, 27, 40, 43, 45, 46, 48, 50—52, 54, 56, 58, 62—64, 69, 72, 77, 80, 82, 86, 92, 93, 105—109, 114, 135, 136, 141—144, 147, 148, 152, 158, 187, 201—203, 206, 212, 214, 221, 225, 226, 230, 234, 245, 247, 250, 251, 261, 280, 283, 288, 298, 318, 323
- Панютина Юлия Николаевна — дочь Панютина Н.А., член организации народников 73, 281
- Патти Аделина (1843—1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано) 42, 43
- Перовская Софья Львовна (1853—1881) — член ИК "Народной воли", участвовала в покушении на Александра II; казнена 92, 93, 335
- Перовская — мать Софии Перовской 93
- Перовский Василий Алексеевич (1794—1857) — граф, генерал, оренбургский губернатор, двоюродный дед Софии Перовской, крестный отец Е.С. Федорова 50, 335
- Пестель Павел Иванович (1792—1826) — декабрист, полковник 238
- Петр I Великий (1672—1725) 34, 304
- Петр Герасимович, см. Ботвинко П.Г.
- Пиликин Андрей Григорьевич — дед Л.В. Федоровой 13, 18, 19, 62, 64, 105, 106
- Пиликин Василий Андреевич — сын Пиликина А.Г., дядя Л.В. Федоровой 13, 18, 20, 27, 63, 106
- Пиликин Степа — сын Пиликина В.А. 194, 195
- Пиликина Анна Андреевна — дочь Пиликина А.Г. см. Панютина А.А.
- Пиликина, бабушка Л.В. Федоровой 13, 18
- Пиликина Мария Петровна (Машенька) — жена Пиликина В.А. 115, 116, 121, 124
- Пирогов Николай Иванович (1810—1884) — хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии, академик 80—82, 238, 334, 341
- Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — критик и публицист 28, 335
- Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — писатель 333
- Питирим (Павел Окнов) (1858—1921) — петроградский митрополит 291, 299
- Платон (427—347 до н.э.) — древнегреческий философ 6
- Платтен Фридрих (1883—1942) — секретарь Швейцарской социалистической партии, погиб в сталинских лагерях 346
- Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел и шеф жандармов, убит эсером Е. Сазоновым 7, 204, 206, 209, 341
- Плевинский — делопроизводитель в Турьинских Рудниках 168, 172
- Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — теоретик и пропагандист марксизма, деятель социалистического движения 85, 258, 313, 334—336
- Поветкины Катя и Надя — приятельницы Л.В. Федоровой в юности 46
- Погребова Мария Федоровна — школьная учительница 230
- Покровский Николай Николаевич (1865—?) — министр иностранных дел во Временном правительстве 304
- Поливанов Алексей Андреевич (1855—1920) — генерал, военный министр (1915—1916); перешел на сторону советской власти 289
- Половцев Александр Александрович (1832—?) — сенатор, член Государственного совета 153, 164, 167, 168, 172, 174, 177
- Половцева Н.М. — жена Половцева А.А., владелица Богословского горного округа на Урале (с 1884 г.) 167
- Поля тетя см. Шамонина А.А.
- Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — писатель 333
- Попов Андрей Александрович (1821—1898) — адмирал 331
- Попов Александр Степанович (1859—1906) — электротехник, изобретатель радио 175
- Поповы — семья, близкая семье Панютиных 14, 23, 24, 73
- Попов Александр Васильевич — сын Попова В.А., врач 24, 38, 40, 54, 69
- Попов Василий Антонович — врач, сокурсник отца Л.В. Федоровой по Казанскому университету 14, 16
- Попов Иван Васильевич — сын Попова В.А., морской офицер 225, 274
- Попов Вася — сын Попова И.В. 235

- Попова Анна Ивановна — жена Попова В.А. 16, 38, 68, 73, 225
- Попова (Бострем) Елизавета Васильевна — дочь Попова В.А. см. Бострем Е.В.
- Попова Катя — дочь Попова И.В., жена сына Е.С. Федорова Евграфа Евграфовича 225, 235, 253, 254, 256, 261, 267, 278, 290, 296, 297, 315
- Попова Соня — дочь Попова В.А. 76
- Попова-Чернова — врач 78, 84
- Поссе Константин Александрович (1847—1928) — математик 51
- Потехин Иван Прокофьевич (1826—1886) — врач, писатель 113
- Прасковья Степановна — фельдшерница в Горном институте 311
- Прахов — инженер на Надеждинском рельсовом заводе на Урале 235
- Прейс — матрос-анархист, убийца министров Временного правительства Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева 347
- Прендель Ромул Александрович (1851—1904) — профессор минералогии Новороссийского (Одесса) университета 138, 146
- Пржевальский Николай Михайлович (1839—1888) — путешественник и географ, исследователь Центральной Азии, почетный академик 323
- Прибылева-Корба Анна Павловна (1849—1939) — член ИК "Народной воли", после ареста в 1882 г. срок отбывала в Сибири до 1905 г. 95, 96
- Придорогин Михаил Иванович (1862—1923) — зоотехник, профессор Московского сельскохозяйственного института 169
- Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918) — кадет, министр внутренних дел и шеф жандармов, ставленник Распутина 297, 299, 345
- Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915) — критик, был арестован (1884) за связь с народолюбцами 68, 104, 105, 237
- Пругавин Александр Степанович (1850—1920) — народник, этнограф 211
- Прянишников Дмитрий Николаевич (1865—1948) — агрохимик, профессор Московского сельскохозяйственного института 237
- "Птаха" см. Лубкин С.Н.
- Пуансо Луи (1777—1859) — французский механик и математик 6
- Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — монархист и черносотенец, член Государственной думы, участвовал в убийстве Распутина 252, 253, 255, 258, 259, 269, 275, 299, 323, 343, 344
- Путилов Алексей Иванович (1866—после 1926) — финансовый магнат России начала XX в. 343
- Путятин — командир императорской яхты Николая II 205
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 16, 17, 59, 238, 244, 334
- Пэлл Александр см. Дегаев С.П.
- Радзивиллы — литовский княжеский род 270
- Радонежский Александр Анемподистович — учитель литературы в Смольном институте 28—31, 35—37
- Рале — математик 138
- Раскин Наум Михайлович — доктор исторических наук, Ленинградское отделение Архива АН СССР 10
- Распутин Григорий Ефимович (1872—1916) — авантюрист, фаворит Николая II и императрицы, убит монархистами 234, 240, 291, 299, 301, 304, 343
- Раузер — домовладелец в Петербурге, в доме которого Федоровы жили в 1882—1883 гг. 98
- Раухфус Карл Андреевич (1835—1915) — педиатр-клиницист, профессор 26, 78, 103
- Рахманов — священник 211
- Рачинский К. — директор Московского сельскохозяйственного института 165, 186, 198
- Рачинская (Толстая) Мария Константиновна (1865—1900) — дочь Рачинского К., жена сына Л.Н. Толстого Сергея Львовича 165, 183
- Рейер Карл Карлович (1846—1890) — хирург 78
- Ржевский Борис Михайлович — журналист 291
- Репин Илья Ефимович (1844—1930) — художник 67
- Риккель — инженер на медных рудниках в Экибасте Семипалатинской области 181
- Рихтер — учитель немецкого языка в Смольном институте 29, 33
- Рихтер Эйген (1838—1906) — один из лидеров немецких либералов 226
- Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — один из лидеров октябристов, председатель III и IV Государственной думы, эмигрировал 299, 302, 304, 343
- Рожественский Зиновий Петрович (1848—1909) — вице-адмирал, командующий эскадрой в Цусимском сражении в мае 1905 г. 213
- Романовский Сергей Иванович (р. 1937) — доктор геолого-минералогических наук, ВСЕГЕИ 349
- Рубан — домовладелец в Петербурге, в доме которого жили Федоровы зиму 1880—1881 гг. 90, 103
- Рубинштейн Митя 291
- Рузский Николай Владимирович (1854—1918) — генерал, главнокомандующий Северным фронтом 304
- "Рулястый" см. Колонтаров
- Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский просветитель 281
- Рыкачев Михаил Александрович (1840—1881) — метеоролог, академик 294
- Рысаков Николай Иванович (1861—1881) — народовец, участвовал в покушении на Александра II; выдал своих товарищей; казнен 92, 93
- С. — первая жена Плеханова Г.В. 85—88
- Сабашниковы Михаил Васильевич (1871—1943) и Сергей Васильевич (1873—1909) — братья, известные книгоиздатели 337
- Саблер Владимир Карлович (1845—?) — обер-прокурор Синода (1911—1915) 289
- Савицкая Валерия Николаевна — сестра Савицкого Б.Н. 156, 157
- Савицкая Маргарита Георгиевна (1868—1911) — артистка Художественного театра 212
- Савицкий Бронислав Николаевич — инженер по золотодобыче в Турьинских Рудниках 156, 157, 177, 178
- Сазонов (Созонов) Егор Сергеевич (1879—1910) — эсер; в 1904 г. убил министра внутренних дел

- В.К. Плеве; на каторге покончил самоубийством 206, 341
- Салова Неонила Михайловна (1860—после 1934) — член организации "Народная воля", арестована в 1884 г. и осуждена на каторгу 104
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) — писатель-сатирик 278
- Самойлов Яков Владимирович (1870—1925) — минералог и геолог, ученик и ассистент В.И. Вернадского; профессор Московского сельскохозяйственного института (1906—1925) и Московского университета (1917—1925) 185
- Сахаров — министр просвещения (до 1905 г.) 211
- Саша — прислуга Федоровых в Петербурге 215, 217, 227
- Саша Черный (псевдоним Гликберга А.М.) (1880—1930-е гг.) — поэт-сатириковец, эмигрировал 278
- Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — соратник В.И. Ленина 309, 347
- Святловская — певица и педагог 201
- Сдкауер — петербургский врач 26
- Семашкевич Евгений Евстафьевич — директор кадетского корпуса в Симбирске, затем в Киеве; его сестра была замужем за братом Л.В. Федоровой — Панютиным Николаем Васильевичем 107, 108, 112, 203, 204, 206, 273
- Семенов Дмитрий Дмитриевич — учитель русского языка и географии в Смольном институте 26, 28
- Серафима Леонтьевна см. Муравьева С.Л.
- Сергей Александрович, великий князь (1857—1905) — сын Александра II, московский генерал-губернатор; убит эсером Каляевым 211, 341
- Сергей Михайлович, великий князь (1869—1918) — внук Николая I, генерал-инспектор артиллерии; убит в Алапаевске 289, 299
- Серебрянников Павел Николаевич — студент Медико-хирургической академии, приятель Л.В. Федоровой в юности 41, 48, 49, 67, 80, 86
- Серов Александр Николаевич (1820—1871) — композитор, музыковед 102
- Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — основоположник русской физиологической школы, академик 231, 334, 335
- Сибиряков Александр Михайлович (1849—1893) — богатый золотопромышленник, участвовал в организации и финансировании полярных экспедиций. издания их трудов 343
- Сибиряков Иннокентий Михайлович (?—1901) — ученик П.Ф. Лесгафта, брат Сибирякова А.М., подарил Лесгафту дом и крупную сумму денег для организации Биологической лаборатории 239, 343
- Сикорский Иван Алексеевич (1842—1918) — врач-психиатр, профессор 280
- Сименс 203
- Скрыдлов — вице-адмирал, командующий флотом в русско-японской войне 1904 г. после гибели адмирала С.О. Макарова 204
- Сладкопевцев — писатель-юморист 239
- Слижис Болеслав Иванович — инженер, сын Слижиса И.Я. 282, 283
- Слижис Иван Яковлевич — литовский помещик, купивший имение Федоровых в Литве 265, 271, 276, 277, 282, 303, 314
- Слижис Михалина Ивановна — дочь Слижиса И.Я. 271, 275—277, 303, 314
- Слижис Франц Иванович — студент-медик, сын Слижиса 265, 267, 271, 272, 276, 292, 300, 314
- Слижис Яков Иванович — студент-путеец, сын Слижиса И.Я., впоследствии министр путей сообщения в Литве 271, 272, 277
- Соколов Владимир Иванович (1875—1931) — ученик и сотрудник Е.С. Федорова; профессор минералогии Горного института 248, 323
- Сократ (~469—399 до н.э.) — древнегреческий философ 221
- Сократ — сын двоюродной сестры Л.В. Федоровой Юлии 277
- Соловьев Александр Константинович (1846—1879) — народник; неудачно стрелял в Александра II, повешен 75—77, 336
- Сонин Николай Яковлевич (1849—1915) — математик, академик 294
- Соня — двоюродная сестра Л.В. Федоровой, жена К.В. Аркадакского 253, 269, 281, 285, 306
- Соня см. Мейер Соня
- Софья Павловна см. Ауэрбах С.П.
- Софья Петровна — генеральша, соседка Федоровых по даче в Плюссах 125, 127, 133
- Софья Юльевна см. Шамарина С.Ю.
- Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ, психолог, социалист 228
- Спенсер Л.И. — английский минералог 349
- Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель при Александре I 343
- Стабель Иван Карлович — хозяин дачи в Плюссах, где Федоровы жили летом 1890 г. 125, 127, 133
- Стабель Карл и Эмилия — дети Стабеля И.К. 127
- Стабель Роза — дочь Стабеля И.К. 127, 134
- Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — режиссер, актер, создатель и руководитель (совместно с В.И. Немировичем-Данченко) Художественного театра 212
- Стеклов Владимир Андреевич (1863—1926) — математик, академик 294
- Стенбок-Фермор — графский род 196
- Степа см. Пиликин С.В.
- Степанов — повар 108
- Степанов Василий Александрович (Вася) — сын Степановой В.Н., студент Горного института, впоследствии член Государственной думы, кадет 141, 253
- Степанова Вера Николаевна см. Ильина В.Н.
- Степанова Соня — дочь Степановой В.Н., слушательница Бестужевских курсов 141
- Степняк-Кравчинский С.М. см. Кравчинский С.М.
- Степулин см. Примечание на с. 104
- Степурин К.А. — артиллерийский офицер, член Военной организации "Народной воли"; покончил с собой в тюрьме в 1885 г. 104
- Столетов Александр Григорьевич (1839—1896) — физик, профессор Московского университета 146, 339
- Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — председатель Совета министров с 1906 г., реформатор; убит эсером Богровым 228, 239, 267, 269, 270, 343

- Стратанович Евгений Дмитриевич — ученик Е.С. Федорова и помощник по работам в Турьинских Рудниках; эсер, избирался депутатом Гос. думы трех созывов 176, 177, 203, 239, 269, 322, 339, 340
- Стрельников — ученик П.Ф. Лесгафта 254
- Судейкин Георгий Порфирьевич (1850—1883) — жандармский подполковник, сыграл решающую роль в разгроме "Народной воли", убит народовольцами 107
- Сусанна Федоровна — няня в семье Федоровых 90—92
- Суттнер — писатель 180
- Суханов (Гиммер) Николай Николаевич (1882—1940) — меньшевик, экономист-аграрник, репрессирован в 30-е гг. 306
- Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — генерал, военный министр (1909—1915), обвинен в измене и арестован, эмигрировал 288—301
- Сухомлинова — жена Сухомлинова В.А. 301
- Сушин Константин Дмитриевич — химик, горный инженер, профессор химии Горного института (1868—1890) 145
- Сципио Де-Кампо Григорий Осипович — (?—1907) — инженер на Надеждинском рельсовом заводе в Богословском горном округе на Урале 156, 172, 235
- Сципио Ольга Юльевна — жена Сципио Г.О. 156, 165
- Т. — физик, работавший в Магнитно-метеорологической обсерватории в Павловске в 1919 г. 327
- Талашев — раненый солдат 290
- Талейран-Перигор Шарль Морис (1754—1838) — князь, дипломат, министр иностранных дел Франции 99
- Тарновский Вениамин Михайлович (1837—1906) — венеролог, профессор Медико-хирургической академии 78
- Тарновский Ипполит Михайлович (1833—1899) — гинеколог и акушер, профессор 78
- Тереза Ивановна см. Дикман Т.И.
- Тет — знакомые Панютиных в Кунгуре 27
- Теттон А.Е. (Tutton A.E.) — английский кристаллограф, профессор 8
- Тимашев — министр торговли и промышленности 7, 256—259, 323
- Тиме Георгий Августович (1831—1910) — профессор математики в Горном институте 89, 121—123, 139, 140, 148, 238
- Тимирязев Василий Иванович (1849—1919) — министр торговли и промышленности (1905—1906, 1909) 256, 257
- Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — ботаник-физиолог, профессор Московского университета 344
- Тихомиров Александр Андреевич (1850—1931) — зоолог, профессор и ректор Московского университета с 1899 г. 186
- Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — народоволец, впоследствии монархист 336
- Ткачев Петр Никитич (1844—1885) — один из идеологов народничества 335
- Токарев — врач на Надеждинском рельсовом заводе на Урале 159
- Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — поэт и драматург 309
- Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — министр народного просвещения (1866—1880), министр внутренних дел и шеф жандармов и одновременно президент Академии наук (с 1882 г.) 7, 45, 51, 209, 322, 334
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) 34, 88, 102, 162, 165, 225, 226, 237, 238, 244, 266, 267, 279, 280, 285, 322, 323, 325, 331, 333
- Толстой Сергей Львович (1863—1947) — сын Л.Н. Толстого 165
- Толстой Сергежа (р. 1897) — сын С.Л. Толстого и М.К. Рачинской (см.) 165, 183
- Толстая Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л.Н. Толстого 266
- Трепов Александр Федорович (1864—?) — сенатор, председатель Совета министров (1916); эмигрировал 299
- Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — московский обер-полицейстер (1896—1905), петербургский генерал-губернатор 216
- Трепов Федор Федорович (1812—1889) — генерал-адъютант, градоначальник Петербурга (1873—1878), в которого стреляла В. Засулич 73
- Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — народный комиссар по иностранным делам, по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета; выслан из СССР в 1929 г. 348
- Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905) — профессор философии и ректор Московского университета (с. 1905 г.) 214
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель 26, 28, 334
- Тюрин Владислав Александрович — преподаватель термодинамики в Горном институте (1907—1908) 241
- Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт 259
- Умов Николай Алексеевич (1846—1915) — физик, профессор Московского университета 344
- Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — председатель Петроградской чрезвычайной комиссии; убит эсерами 314
- Усов — профессор физики в Николаевском военном госпитале 78, 85
- Успенская Аделаида Ивановна — жена Успенского Н.С. 168
- Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — писатель-демократ 63, 126
- Успенский Николай Семенович — горный инженер в Турьинских Рудниках и в Кедабексе на Кавказе 168, 172, 176, 236, 250
- Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1871) — педагог, основоположник русской педагогической науки и народной школы 26, 334
- Фаддеев — хозяин юрты на Северном Урале 114
- Фаминцын Андрей Сергеевич (1835—1918) — ботаник, физиолог, академик 193, 194, 293, 294
- Фан-дер-Флит Петр Петрович (?—1904) — профессор физики в Николаевском военном госпитале 78
- Федоров Александр Степанович (1857—1877) —

- брат Е.С. Федорова, офицер, погиб в русско-турецкую войну 51, 52, 56
- Федоров Евгений Евграфович (Геня) (1912—1989) — внук Е.С. Федорова, геолог 10, 271, 275, 278, 297, 323, 327, 328
- Федоров Евгений Степанович (дядя Геня) (1851—1909) — брат Е.С. Федорова, инженер-полковник, профессор, изобретатель первых самолетов 45, 51, 52, 54—56, 61, 63, 64, 68, 70, 84, 89, 90, 93—96, 98, 102, 103, 107—112, 122, 131—133, 136, 145, 152, 158, 187, 201, 202, 204, 206, 221, 223, 225, 229, 230, 236, 242—244, 249—252, 260, 261, 336, 339, 344
- Федоров Евграф Евграфович (Графчик) (1880—1965) — сын Е.С. Федорова, известный климатолог, член-корр. АН СССР (1946) 8, 9, 91, 92, 94—98, 101, 104, 105, 108, 109, 111, 113—115, 118, 120, 122, 127, 130—132, 134, 135, 138, 139, 141—145, 147—149, 152—154, 158, 159, 164—166, 173, 176, 177, 180—184, 186—189, 192, 194, 195, 198, 199, 202—207, 214, 216, 219, 223, 231, 232, 236, 240, 243, 245, 246, 251, 253, 254, 256, 261, 265, 267, 275, 277, 278, 281, 297, 314, 315, 325, 326, 328, 338, 350
- Федоров Евграф Евграфович (Графочка) (1910—1927) — внук Е.С. Федорова 265, 266, 271, 274, 275, 278, 281, 297, 323, 327, 328, 330
- Федоров Евграф Степанович (1853—1919) 5—11, 43—57, 60—127, 129—290, 292, 293, 295—300, 303, 305, 307—312, 314—326, 329, 330, 332—344, 348—351
- Федоров Иван Степанович (?—1906) — сводный брат Е.С. Федорова, полковник 188, 214, 230
- Федоров Николай — сторож в Горном институте 123
- Федоров Степан Иванович (?—1866) — отец Е.С. Федорова, генерал-майор инженерных войск 50, 51, 123, 273, 335, 350
- Федоров Элий Евграфович (Элик) (1913—1982) — внук Е.С. Федорова, петрограф, доцент Горного института 10, 277—278, 296, 297, 323, 325, 327, 328
- Федорова Евгения Евграфовна (1885—1957) — дочь Е.С. Федорова 8, 108, 109, 113, 120, 121, 127, 129—132, 142, 153—155, 159, 164—167, 170, 171, 173, 174, 176—178, 181—183, 186, 192, 194, 198, 201—207, 212—225, 228—237, 240—258, 260—262, 265—267, 269, 271—278, 282, 287, 288, 290, 291, 296—298, 303, 307, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 321, 325—327, 329, 350
- Федорова Евгения Степановна (1859—1871) — сестра Е.С. Федорова, умершая в детстве 251
- Федорова Екатерина Ивановна (Катя) (1886—1958) — жена сына Е.С. Федорова Евграфа Евграфовича *см.* Попова Катя
- Федорова Елена Ивановна (Леночка) (1889—?) — племянница Е.С. Федорова, дочь Федорова И.С. 188, 214, 230, 248, 249, 261, 262, 267, 269, 272, 273, 280, 303, 330
- Федорова Ефросиния Евлампиевна (Фрося) — жена И.С. Федорова 188, 214, 230, 249, 261, 262, 264, 272, 273, 280, 303
- Федорова (Панютина) Людмила Васильевна (1851—1936) — жена Е.С. Федорова 5, 8, 9—174, 176—195, 199—250, 252, 254—267, 269—278, 280—285, 287—290, 292, 293, 296—300, 303, 305—330, 332—336, 346, 350
- Федорова Людмила Евграфовна (Мила, Милочка) (1882—1919) — дочь Е.С. Федорова 98, 102, 105, 106, 108—111, 113, 118, 120, 121, 127, 130—133, 135, 138, 139, 142, 144, 145, 149, 151—153, 155, 159, 160, 163—166, 170, 171, 173, 176, 177, 180—184, 186, 192, 194, 198, 201—203, 205—207, 212, 213, 216, 219, 221—225, 232—234, 245, 251, 260—262, 266, 271—273, 275, 277, 284, 297, 298, 314, 316, 320, 328, 329, 350
- Федорова (Золотавина) Мария Степановна (1849—1940) — сестра Е.С. Федорова 44—46, 50, 55, 57, 60, 62, 65, 68—70, 84, 94, 121, 131, 144, 188, 189, 250, 252, 328
- Федорова (Ботвинко) Юлия Герасимовна (1820—1902) — мать Е.С. Федорова 45, 50, 51, 54—56, 67—70, 77, 83, 85, 93—95, 98, 99, 102, 103, 111, 112, 114, 121, 122, 131—133, 145, 148, 151, 152, 177, 188, 230, 251, 273
- Федор Федорович — административно высланный в Пермь 16
- Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872) — немецкий философ-материалист 47
- Фекла — няня в семье Пиликиных 19
- Фелькерзам — адмирал, командующий броненосным отрядом в русско-японскую войну; умер от болезни перед Цусимским сражением 213
- Феодосий Печерский (ок. 1036—1074) — один из основателей Киево-Печерской лавры 31
- Феррари — математик 138
- Ферсман Александр Евгеньевич (1883—1945) — минералог и геохимик, ученик В.И. Вернадского, академик (1919) 8, 189, 256, 324, 330, 341
- Фигнер Анастасия Ксенофоновна — жена Фигнера П.Н. 160, 172, 181, 183, 221
- Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — член ИК "Народной воли", после ареста 20 лет провела в Шлиссельбургской крепости, после революции занималась литературной деятельностью 104, 154, 185, 336, 337
- Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — певец (тенор), брат В. Фигнер 161, 239
- Фигнер Петр Николаевич — управляющий рудниками Богословского горного округа, затем Катав-Ивановскими заводами Уфимской губернии, позже Воскресенскими рудниками в Семипалатинской области 126, 154, 155, 160—163, 172, 173, 179, 181—183
- Фидлер, училище Фидлера в Москве 217
- Филипповы — семья специалиста в Турьинских Рудниках 172
- Фленкель 175
- Флюиль Морис 88
- Фома Фомич *см.* Баркер Т.
- Фон Дервиз *см.* Дервиз
- Фортунатов Алексей Федорович (1856—1925) — агроном и статистик, профессор Московского сельскохозяйственного института 194, 198, 211, 215, 216, 219, 220, 227
- Фортунатов Александр Алексеевич — сын Фортунатова А.Ф. — студент Московского университета 194, 211, 215
- Фортунатов Константин Алексеевич — сын Фортунатова А.Ф., студент-медик Московского уни-

- верситета, погиб в 1916 г. 194, 198, 205, 211, 215, 217, 218, 240, 256, 292
- Фортунатов Федя — сын Фортунатова А.Ф. 240
- Фортунатова А.А. — жена Фортунатова 194, 198, 212, 215—218, 220, 292
- Фрайман Антон Львович — доктор исторических наук 347
- Франжоли Андрей Афанасьевич (1848—1883) — член ИК "Народной воли", умер за границей 104
- Франк-Каменецкий Виктор Альбертович (р. 1915) — кристаллограф, профессор Ленинградского университета 10
- Франц Иванович см. Слижис Ф.И.
- Франц-Фердинанд (1863—1914) — эрцгерцог австрийский, наследник австро-венгерского престола, убит сербским националистом Гаврилой Принципом 345
- Фридман — преподаватель Горного института 257, 258
- Фрося см. Федорова Ефросиния Евлампиевна
- Хабалов Сергей Семенович (1858—1929) — генерал, начальник Петроградского военного округа (1916—1917) 300, 301, 303
- Халтурин Степан Николаевич (1856—1882) — член ИК "Народной воли", за убийство военного прокурора В.С. Стрельникова повешен 336
- Харкевич — знакомая Федоровых 204
- Хвостов Александр Алексеевич (старший) (1857—?) — министр юстиции (1915—1916) и министр внутренних дел (1916) 299
- Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — министр внутренних дел (1915), племянник Хвостова А.А. 291, 299, 343
- Холостова — знакомая семьи Панютиных 58
- Хомяков Н.А. (1850—1925) — октябрист, председатель III Государственной думы (1907—1910) 343
- Хорунженков — военный инженер, друг брата Е.С. Федорова Евгения Степановича 251, 252
- Худяков Николай Николаевич (1866—1927) — профессор микробиологии и физиологии Московского сельскохозяйственного института 165, 170
- Хюне — барон, начальник Контроля по ревизии учреждений императрицы Марии 54
- Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917) — писательница 126
- Циммерман Анна Эмильевна — сестра Циммермана Э.Э. 79, 81, 118
- Циммерман Сережа — сын Циммермана Э.Э. 118, 199
- Циммерман Эмилий Эмильевич — приятель Е.С. Федорова 62, 79, 118, 119, 231
- Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — композитор 206, 237
- Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869—1942) — ученый в области теоретической механики, гидро- и аэромеханики, академик (1929) 344
- Чеберяк Вера — член партии "Двуглавый орел" 280
- Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894) — математик и механик, академик 144, 293
- Чермак Густав (1836—1927) — австрийский минералог 202, 339
- Чернов Виктор Михайлович (1876—1952) — один из основателей партии эсеров, министр Временного правительства, председатель Учредительного собрания; эмигрировал 312
- Черносвитов К.К. — кадет, член Государственной думы 280
- "Черный" — наборщик в подпольной типографии газеты "Начало" 75, 76
- Чернышев — врач, лечивший смертельно больного Е.С. Федорова 323
- Чернышев Боря — сын Чернышева Ф.Н. 120
- Чернышев Феодосий Николаевич (1856—1914) — геолог и палеонтолог, академик 116, 139, 143, 149, 189, 192, 193, 220, 294, 295, 341
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — революционный демократ, мыслитель, ученый, писатель, критик 49
- Чернявский Василий Васильевич — профессор Горного института 325
- Чехов Антон Павлович (1860—1904) 79, 80, 232, 233, 237, 246, 278, 324
- Чичибабин Алексей Евгеньевич (1871—1945) — химик-органик, академик (1928), в 1930 г. выехал за границу 205
- Чудновский Юрий Трофимович (1843—1896) — терапевт и диагност, профессор 61
- Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — один из лидеров меньшевистской партии, член III и IV Государственных дум, председатель Петросовета, эмигрировал, покончил с собой 306, 345
- Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — певец 179, 233
- Шамарин Н. — горный инженер, управляющий рудниками в Турьинских Рудниках 126, 156, 157, 159, 165, 167, 168, 172, 176
- Шамарина Софья Юльевна — жена Шамарина Н. 126, 156, 157, 159, 165, 176
- Шамонина Апполинария Андреевна (тетя Поля) — сестра матери Л.В. Федоровой 20, 21, 24, 115
- Шамонин Владимир Михайлович — муж Шамониной А.А. 20, 115
- Шамонин Миша — сын Шамониной А.А. 115
- Шаухфус — министр путей сообщения, в молодости — учитель в семье Федоровых 51, 188, 251
- Шафрановский Илларион Илларионович (р. 1907) — кристаллограф, профессор Горного института 10, 338, 340
- Шварц А.Н. (1848—1915) — филолог, министр народного просвещения (1908—1910) 248
- Шёнфлис Артур Моритц (1853—1928) — немецкий математик, профессор Геттингенского университета 8, 119, 139, 337, 349
- Шершевский Михаил Маркович (1847—?) — врач-невропатолог в Петербурге 149
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт 270, 322
- Шимков Андрей Петрович (1839—?) — профессор физики и директор Московского сельскохозяйственного института с 1904 г. 212, 215, 216, 219, 227
- Шимкова Мария Антоновна — жена Шимкова А.П. 212, 219, 226, 227
- Шингарев Андрей Иванович (1869—1918) — врач,

- член Государственной думы, кадет, министр Временного правительства; убит матросами-анархистами 304, 310, 346, 347
- Шипов Дмитрий Николаевич (1851—1920) — министр торговли и промышленности 237, 248, 249, 256, 257
- Шифф — профессор Михайловской артиллерийской академии в Петербурге 149
- Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — художник 153
- Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947) — генерал-лейтенант, эмигрировал; казнен по приговору Верховного суда СССР 328
- Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк, профессор Гейдельбергского университета 179
- Шмигельская Броня — дочь Шмигельской Е.Б. 234, 275, 277, 297, 326
- Шмигельская Евгения Бонифатьевна — близкая знакомая Федоровых 206, 275, 276
- Шмидт — учитель немецкого языка в Смольном институте 26, 33
- Шмидт Джемс Альфредович — хранитель картинной галлерей Эрмитажа, доктор философии 267
- Шмидт Петр Петрович (1867—1906) — лейтенант Черноморского морского флота, один из руководителей Севастопольского восстания в 1905 г.; расстрелян 223, 224, 342
- Шмидт Федор Богданович (1832—1908) — геолог, палеонтолог, ботаник, академик, директор Минералогического музея Академии наук 134, 341
- Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ 66
- Шор Давид Соломонович (1867—1942) — пианист, педагог и музыкальный общественный деятель 206
- Шперк Эдуард Федорович (1837—1894) — сифилодолог и дерматолог, доктор медицины, директор Института экспериментальной медицины в Петербурге (1892—1894) 78
- Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель-реалист 39
- Шредер Иван Федорович (1858—1918) — химик, профессор Горного института и его директор (1912—1917) 116, 145, 198, 222, 275, 290, 317, 329, 349
- Шредер Рихард Иванович (1822—1903) — главный садовод Московского сельскохозяйственного института 170
- Штанге Владимир Адольфович (1856—?) — врач, профессор физических методов лечения 143
- Штейнберг И.З. — один из лидеров левых эсеров, нарком юстиции (с декабря 1917 г.); эмигрировал 347
- Штольц — доктор-акушер в Петербурге 91
- Штургк Карл (1859—1916) — глава правительства Австрии (с 1911 г.); убит одним из лидеров социал-демократов Ф. Адлером 300
- Штурмер Борис Владимирович (1848—1917) — премьер-министр и министр внутренних дел (1916), ставленник Распутина 291, 299, 343, 345
- Шуберт Франц (1797—1828) — немецкий композитор 133, 144, 145
- Шубников Алексей Васильевич (1887—1970) — кристаллограф, академик (1953) 256, 344
- Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — монархист, член Государственной думы; эмигрировал, после второй мировой войны вернулся в СССР 299, 304
- Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор 145
- Шумский (Чесноков) Сергей Васильевич (1821—1878) — драматический актер 118
- Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции (1906—1915), председатель Государственного совета (1917); организатор введения военно-полевых судов, расстрелян ВЧК 289, 345
- Щедрин см. Салтыков-Щедрин М.Е.
- Щербаков Виктор Степанович — близкий знакомый семьи Федоровых 162, 185, 212, 239
- Щербакова Ольга Петровна — жена Щербакова В.С. 162, 212
- Эйхвальд — терапевт, профессор 78
- Эллий, Элик, Эля см. Федоров Элий Евграфович
- Эльбаум Л. — студент Горного института 279
- Эмилия — бонна в семье Федоровых в Петербурге 149, 153
- Эмма Ивановна см. Кихлер Э.И.
- Энгельгардт — барон 24
- Энгельс Фридрих (1820—1895) 6, 334, 335, 341
- Эразм — сын двоюродной сестры Л.В. Федоровой Юлии 275
- Эрн Адольф Г. — горный инженер, директор горных работ на Кедабекских заводах на Кавказе 192, 193, 203, 236, 250
- Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — генерал, главнокомандующий Северо-западной армией, в мае—ноябре 1919 г. возглавил поход на Петроград; эмигрировал 326
- Юлия см. Панютин Ю.Н.
- Юлия — двоюродная сестра Л.В. Федоровой
- Юлия Михайловна см. Бутова Ю.М.
- Юрьев — учитель русского языка в III петербургской гимназии 32
- Юсупов Феликс Феликсович (1887—1967) — князь, участник убийства Распутина; эмигрировал 343
- Ющинский Андрей — мальчик, убитый с провокационной целью киевскими черносотенцами в 1911 г. 280, 345
- Яблоновский Александр Александрович (1870—1934) — критик и фельетонист, эмигрировал 228
- Яков — служитель Е.С. Федорова в Горном институте 234
- Яковлев Андрей Владимирович — горный инженер, административный распорядитель в экспедиции Е.С. Федорова по Северному Уралу в 1884 г. 106, 109, 116
- Яковлев Николай Николаевич (1870—1966) — геолог и палеонтолог, профессор Горного института 279
- Ярошенко Мария Павловна — жена художника Ярошенко Н.А. 226
- Ярошенко Николай Александрович (1846—1898) — художник-реалист 226
- Ячевский — студент, однокурсник Е.С. Федорова по Горному институту 95, 97

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ОТ АВТОРА	11
ВОСПОМИНАНИЯ.....	12
Мое детство.....	12
Смольный институт.....	24
Встреча с Е.С. Федоровым	43
Участие в революционном движении	55
Студент Горного института	83
Работа в Геологическом комитете. Уральские экспедиции	104
Урал. Турьинские Рудники. Московский сельскохозяйственный институт ..	150
Директор Горного института	217
Мировая война. Революция	260
Одиночество	325
КОММЕНТАРИИ.....	334
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е.С. ФЕДОРОВА...	350
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	352

Научное издание

ФЕДОРОВА Людмила Васильевна

НАШИ БУДНИ,
РАДОСТИ И ГОРЕСТИ
ВОСПОМИНАНИЯ

*Утверждено к печати
редколлегией серии "Научное наследство"*

Редактор издательства

Н.И. Каверина

Художник

А.Г. Кобрин

Художественный редактор

Н.Н. Михайлова

Технические редакторы

И.И. Джигоева, Г.И. Астахова

Корректор

Т.И. Шеповалова

Набор выполнен в издательстве
на компьютерной технике

ИБ № 47368

Подписано к печати 01.10.92. Формат 70 X 100 1/16
Бумага офсетная № 2. Гарнитура Таймс
Печать офсетная. Усл.печл. 30,6 + 0,1 вкл.
Усл.кр.-отт. 32,0. Уч.-издл. 37,8. Тираж '690 экз.
Тип.зак. 2286

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485
Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАУКА"

готовятся к печати:

П Е Й В Е А.В.

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ.

ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В книге собраны статьи А.В. Пейве о полезных ископаемых Средней Азии и Урала. Это фосфориты, калийные соли, оптические минералы, бокситы. Анализируются геологическое положение месторождений, их тектоническая позиция, генезис — факторы, влияющие на методику поисков. В статьях, посвященных бокситам, разработано новое в то время представление о вулканогенно-осадочном происхождении этих полезных ископаемых. Анализ размещения полезных ископаемых ведется на глубокой научной основе и демонстрирует незаменимую роль фундаментальных научных исследований в решении практических задач поисковой геологии.

Для геологов, интересующихся тектоникой и полезными ископаемыми.

КОРЖИНСКИЙ Д.С.
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ПЕТРОЛОГИЯ МЕТАМОРФИЗМА

В книгу включены классические работы Д.С. Коржинского по изучению докембрия Восточной Сибири и связанных с ним флогопитовых и мусковитовых месторождений. В этих работах впервые в мировой литературе проведен парагенетический анализ ассоциаций минералов докембрийских толщ Сибири, выделены геологические комплексы архея Сибири и разработана общая концепция минеральных фаций метаморфизма, составляющая в настоящее время основу метаморфической петрологии.

Для петрологов, геохимиков, минералогов.

КРУШИНСКИЙ Л.В.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Том избранных произведений Л.В. Крушинского посвящен проблеме формирования нормального и патологического поведения животных. В нем отражена история создания линии Крушинского—Молодкиной (КМ), дается подробное описание целого ряда патологических состояний, которые можно вызвать у крыс с помощью звука. Рассмотрены некоторые механизмы аудигенного эпилептиформного припадка, миоклонического гиперкинеза, острых нарушений кровообращения и способы их предотвращения. Приведен опыт математического моделирования взаимоотношения основных нервных процессов.

Для биологов, патофизиологов, медиков, психологов, философов и тех, кто интересуется поведением животных.

*Адреса книготорговых предприятий "Академкнига"
с указанием магазинов и отделов "Книга—почтой"*

Магазины "Книга—почтой":

252107 *Киев*, ул. Татарская, 6.

197345 *Санкт-Петербург*, ул. Петрозаводская, 7

117393 *Москва*, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2.

